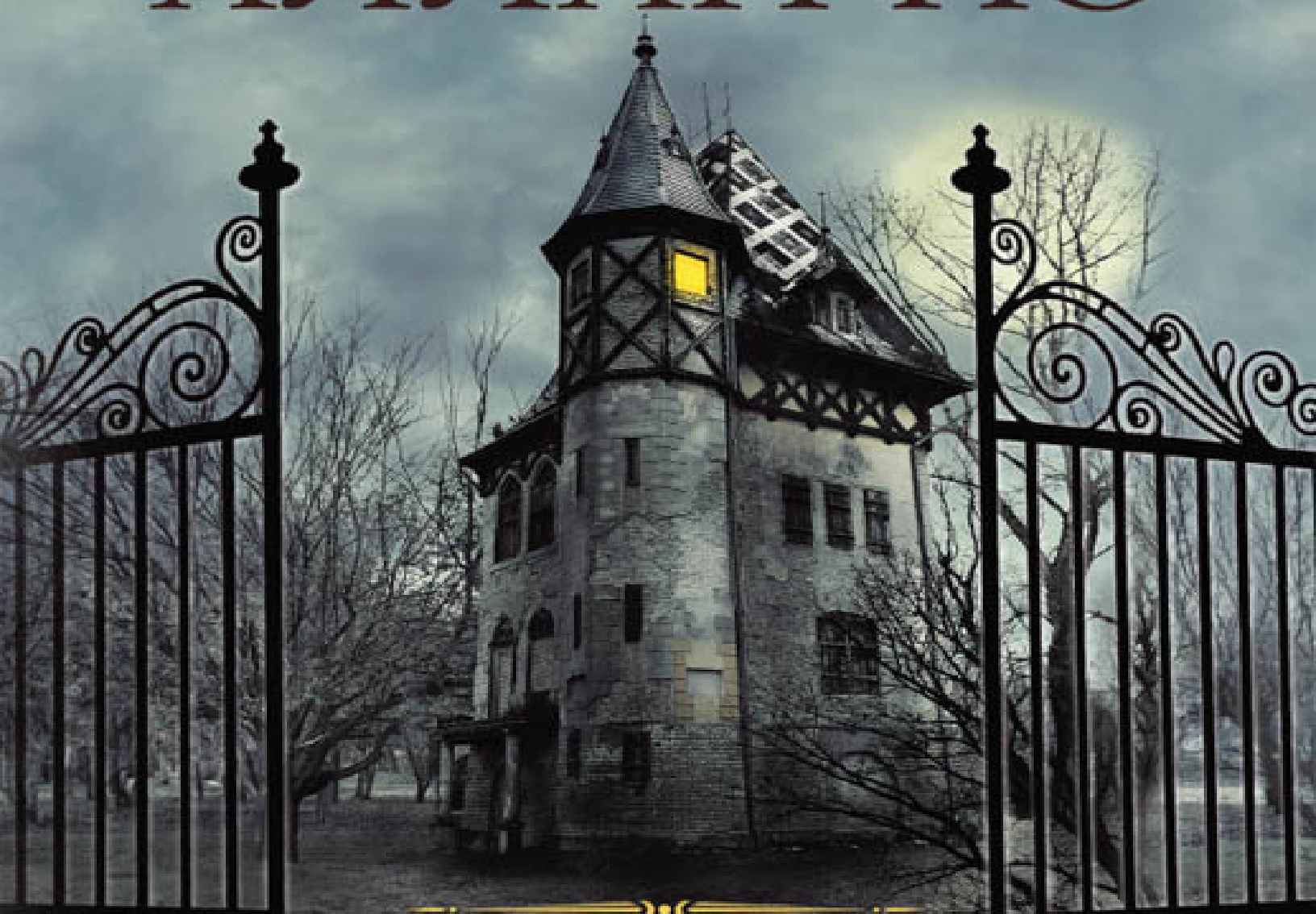


ЭДГАР АЛЛАН ПО



ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК

СБОРНИК

BRITISH
CEMETERY
MUSEUM

ЭДГАР
АЛЛАН ПО





Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](http://Royallib.com)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Повествование Артура Гордона Пима из Нантакета

Предисловие

Через несколько месяцев по возвращении в Соединенные Штаты после ряда удивительных приключений в морях к югу от экватора, а также в иных местах, рассказ о которых приведен на этих страницах, в Ричмонде случай свел меня с несколькими джентльменами, которые, весьма интересуясь всем связанным с местами, в которых мне довелось побывать, начали убеждать меня опубликовать мой рассказ. Однако у меня имелось несколько причин не делать этого, как частного характера и не касающихся никого, кроме меня самого, так и не совсем частного. Одним из соображений, удерживавших меня от этого, было то, что, поскольку большую часть времени, проведенного в странствиях, журнала я не вел, меня одолевал страх, что я не смогу, полагаясь лишь на память, описать события достаточно подробно и связно, чтобы они были похожи на правду, не считая разве что естественных и неизбежных преувеличений, к которым склонны все мы при описании событий, поразивших наше воображение. Еще одной причиной явилось то, что события, о которых предстояло рассказывать, носили столь невероятный характер, что я, не имея свидетелей (кроме меня самого и еще лишь одного человека, да и тот индеец-полукровка), мог лишь надеяться на доверие со стороны родственников и тех моих друзей, которые знали меня всю жизнь и не имели оснований сомневаться в моей правдивости, тогда как широкая публика, вероятнее всего, сочла бы мою историю бесстыдной и изобретательной выдумкой. Тем не менее неверие в собственные писательские силы было одной из основных причин, удержавших меня от того, чтобы выполнить просьбу моих советчиков.

Среди тех джентльменов из Виргинии, которые особенно заинтересовались моим рассказом, и в особенности той его частью, которая имела касательство к Антарктическому океану, был мистер По, незадолго до того ставший редактором «Южного литературного вестника», ежемесячного журнала, издаваемого мистером Томасом У. Уайтом в Ричмонде. Он настоятельно рекомендовал мне среди прочего не медля составить полный отчет о том, что я увидел и пережил, и

довериться проницательности и здравомыслию читающей публики, весьма авторитетно при этом убеждая меня, что, каким бы несовершенно с точки зрения стиля ни получилось мое сочинение, именно благодаря недочетам, ежели такие будут, оно будет скорее воспринято как правдивое.

Несмотря на это утверждение, я не решился сделать то, о чем он просил. Позже, поняв, что я в этом вопросе непоколебим, он попросил меня разрешить ему самому написать, как он выразился, «повествование» о ранней части моих приключений на основании фактов, предоставленных мною, и опубликовать его в «Вестнике» *под видом художественного произведения*. На это, не найдя возражений, я согласился, с тем лишь условием, что мое истинное имя должно остаться в тайне. Две написанные им части вышли в январском и февральском номерах «Вестника» (1837), и для того, чтобы достичь еще большего сходства с художественным произведением, в содержании журнала было указано имя мистера По.

То, как была воспринята эта уловка, побудило меня наконец предпринять систематическую публикацию данных приключений, ибо я обнаружил, что, несмотря на сказочный флер, столь искусно наброшенный на ту часть рассказа, которая появилась в «Вестнике» (где тем не менее не был искажен ни один факт), читатель вовсе не был склонен воспринимать его как вымысел, и на адрес мистера По даже пришло несколько писем, в которых выражалась твердая уверенность в обратном. Исходя из этого, я пришел к выводу, что факты моего повествования по природе своей содержат достаточно свидетельств их подлинности и, следовательно, мне нечего бояться всеобщего недоверия.

После этого *expos * сразу становится понятно, какая часть нижеизложенного принадлежит моему перу. Необходимо также еще раз напомнить, что на тех нескольких страницах, которые были написаны мистером По, ни один факт не был перевран. Даже для тех читателей, которым не попадался на глаза «Вестник», нет необходимости указывать, где заканчивается его часть и начинается моя; разницу в стиле письма невозможно не заметить.

А. Г. ПИМ

Меня зовут Артур Гордон Пим. Мой отец был уважаемым торговцем морскими товарами в Нантакете, где я и родился. Мой дед по материнской линии был стряпчим и имел неплохую практику. Удача сопутствовала ему во всем, и он весьма успешно вложился в акции «Эдгартонского Нового банка», как он прежде назывался. Этим и другими способами он сумел собрать приличную сумму. Думаю, ко мне он был привязан более, чем к любому другому человеку в этом мире, и я ожидал, что после смерти деда мне отойдет бóльшая часть его имущества. В шесть лет он отправил меня в школу старого мистера Рикетса, джентльмена с одной рукой и эксцентричными манерами. Любому, кто бывал в Нью-Бедфорде, он хорошо известен. В школе я оставался, пока мне не исполнилось шестнадцать, а после поступил в школу Э. Рональда, что на холме. Там я сошелся с сыном мистера Барнарда, капитана, плававшего на судах Ллойда и Вреденберга. Мистер Барнард тоже хорошо известен в Нью-Бедфорде и, не сомневаюсь, имеет много родственников в Эдгартоне. Его сына звали Август, и был он почти на два года старше меня. Однажды он плавал с отцом на китобойном судне «Джон Дональдсон» и часто рассказывал мне о своих приключениях в южной части Тихого океана. Не раз я ходил к нему домой и оставался там на весь день, а то и ночь. Мы ложились в кровать, и он почти до зари занимал меня рассказами об аборигенах острова Тиниан и других мест, в которых он побывал за время своих путешествий. Я не мог не увлечься его рассказами, и со временем моим самым большим желанием стало пойти в плавание. Примерно за семьдесят пять долларов я купил парусную лодку, которая называлась «Ариэль», с небольшой каютой, оснащенную как шлюп. Я забыл ее грузоподъемность, но человек десять могли разместиться в ней довольно свободно. Со временем у нас вошло в привычку устраивать на ней отчаяннейшие безрассудства, и теперь, вспоминая о них, мне представляется величайшим чудом то, что я до сих пор жив.

Об одном из таких приключений я расскажу, прежде чем приступить к более пространному и важному повествованию. Однажды мистер Барнард устроил у себя дома вечеринку, и под конец мы с Августом порядком захмелели. Как обычно бывало в таких случаях, я не пошел домой, а остался у него ночевать. Так и не заговорив на свою любимую тему, он, как показалось мне, заснул

(вечеринка закончилась около часу ночи). Спустя примерно полчаса, когда я только начал дремать, он вдруг сел и, выкрикнув ужасное ругательство, сказал, что никакой Артур Пим не заставит его заснуть, когда с юго-запада дует такой восхитительный бриз. Удивлению моему не было предела. Не зная, что он задумал, я решил, что выпитое вино и другие напитки несколько повредили его разум. Однако говорил он очень рассудительно и заявил, что, несмотря на то что я считаю его пьяным, на самом деле он совершенно трезв и ему просто надоело в такую чудесную ночь валяться в кровати, подобно ленивому псу, и что он собирается одеться и совершить вылазку на лодке. Не знаю, что на меня нашло, но, услышав это, я пришел в восторг, предвкушая невероятное удовольствие. Его безумная затея показалась мне едва ли не самой занятой и благоразумной на свете. В ту ночь дул сильный, почти штормовой ветер и было очень холодно — дело было в конце октября. Я вскочил с кровати, охваченный странным возбуждением, и сказал, что так же отважен, как он, и мне не меньше, чем ему, надоело валяться в кровати, как ленивому псу, и что я готов к веселью и проказам, как и Август Барнард из Нантакета.

Не теряя времени, мы оделись и поспешили к лодке. Она стояла у старого гнилого причала рядом со складом пиломатериалов «Пэнки и Ко», упираясь боком в бревна. Август забрался в нее и начал вычерпывать воду — лодка была наполовину затоплена. Когда с этим было покончено, мы, подняв стаксель[1] и грот, храбро вышли в море.

Как я уже сказал, с юго-запада дул сильный ветер. Ночь была ясная и холодная. Август стал у руля, а я расположился у мачты на палубе. Мы неслись с огромной скоростью, и никто не произнес ни слова после того, как мы отчалили. Я спросил своего спутника, какой курс он собирается взять и когда мы вернемся домой. Несколько минут он насвистывал, а потом с раздражением произнес:

— *Я* иду в море, а *ты*, если хочешь, можешь возвращаться.

Посмотрев на него, я понял, что, несмотря на кажущееся безразличие, он чрезвычайно возбужден. В лунном свете лицо его казалось бледнее мрамора, руки дрожали так, что он с трудом удерживал румпель. Я понял, что случилось что-то непредвиденное, и меня охватило сильнейшее волнение. В то время я мало что знал об управлении лодкой и поэтому вынужден был полагаться исключительно на навигационные способности моего друга. Ветер

внезапно усилился, и мы стремительно отдалялись от берега, но мне было стыдно признаться в своих страхах и почти полчаса я упорно хранил молчание. Однако потом я не выдержал и сказал Августу, что нам стоит вернуться. Как и в прошлый раз, прошла почти минута, прежде чем он ответил мне.

— Скоро, — наконец сказал он. — Время еще есть... Скоро повернем.

Подобного ответа я ожидал, но что-то в его тоне заставило меня похолодеть от ужаса. Я внимательно посмотрел на спутника. Губы его посерели, а колени дрожали так сильно, что он, казалось, едва держался на ногах.

— Господи боже, Август! — закричал я, уже не скрывая страха. — Что с тобой? Что случилось? Что ты собираешься делать?

— Случилось? — пробормотал он с величайшим изумлением, отпустив румпель, и вдруг повалился на дно лодки. — Случилось... Ничего не... случилось... плывем домой... р-разве н-не видишь?

Тут меня осенило. Я бросился к другу и поднял его. Он был пьян, мертвецки пьян, пьян так, что уже не мог ни стоять, ни говорить, ни смотреть. Глаза его совершенно остекленели, а когда я, охваченный отчаянием, отпустил его, он упал и, как бревно, скатился в воду на дне лодки. Я понял, что в тот вечер он выпил гораздо больше, чем я думал, и его поведение объяснялось крайней степенью опьянения, состояния, которое, как и безумие, часто заставляет жертву имитировать поведение совершенно нормального, владеющего собой человека. Однако прохладный ночной воздух сделал свое дело, возбуждение начало спадать, и то, что Август, несомненно, не осознавал всю опасность нашего положения, приблизило катастрофу. Он перестал что-либо понимать, и надежды на то, что он протрезвеет в ближайшее время, не было.

Вряд ли можно описать ужас, охвативший меня. Хмель улетучился, отчего я вдвойне оробел и растерялся. Я прекрасно понимал, что не справлюсь с лодкой и что яростный ветер вместе с отливом неотвратимо влекут нас навстречу смерти. Буря набирала силу. У нас не было ни компаса, ни еды, и стало понятно, что, продолжай мы идти тем же курсом, к рассвету земли уже не будет видно. Эти мысли и масса других, не менее пугающих, пронеслись у меня в голове с удивительной быстротой и на какое-то время совершенно

парализовали волю. Лодка с чудовищной скоростью, то и дело зарываясь носом в пену, мчалась по волнам, ни на стакселе, ни на гроте рифы не были взяты. Каким-то чудом вышло так, что мы не повернулись к волнам боком, ведь, как я уже сказал, Август отпустил руль, а я от волнения не подумал его взять. К счастью, лодка шла ровно и ко мне постепенно начала возвращаться способность мыслить. Но ветер становился все сильнее, и каждый раз, когда лодка, нырнув носом, поднималась, волны захлестывали корму. Я окоченел так, что почти перестал чувствовать собственное тело. Наконец отчаяние придало мне решимости, я бросился к гроту и сорвал его. Как и следовало ожидать, парус перелетел через борт и, набравшись воды, сорвал мачту, едва не разбив борт. Одно это происшествие спасло лодку от мгновенного разрушения. Теперь лодка под одним стакселем летела вперед по ветру, время от времени погружаясь носом в бушующие волны, но ужаса перед немедленной смертью я уже не испытывал. Взяв руль, я вздохнул свободнее, поскольку сообразил, что шанс на спасение еще есть. Бесчувственный Август, лежавший на дне лодки, мог в любую минуту захлебнуться, потому что воды уже собралось на фут. Я исхитрился приподнять товарища и придать ему сидячее положение, для чего обвязал его вокруг талии веревкой, конец которой прикрепил к рым-болту на палубе. Сделав все, что было в моих силах, я, замерзший и дрожащий от волнения, отдался на милость Божью и решил встретить судьбу, собрав все свое мужество.

Вдруг громкий, протяжный не то крик, не то вопль, как будто исторгнувшийся из глоток тысячи демонов, казалось, заполнил воздух вокруг лодки. Пока я жив, не забуду ужаса, охватившего меня в тот миг. Волосы встали дыбом у меня на голове, кровь застыла в жилах, а сердце остановилось. Так и не подняв взгляда, чтобы определить источник звука, я повалился ничком на безжизненно лежащего товарища.

Очнулся я в каюте большого китобойного судна «Пингвин», шедшего в Нантакет. Надо мной стояли несколько человек. Август, бледный как смерть, усердно растирал мне руки. Увидев, что я открыл глаза, он вздохнул с таким облегчением и радостью, что вызвал смех и слезы у грубоватых с виду мужчин. Загадка нашего спасения вскоре объяснилась. Мы столкнулись с китобойным судном, шедшим под всеми парусами, которые они отважились поднять, в Нантакет под

прямым углом к нашему курсу. Несколько человек следили за морем, но ни один из них не замечал нашей лодки до последнего, когда избежать столкновения было уже невозможно. Это их крики так испугали меня. Мне рассказали, что громадное судно переехало нас, как наше суденышко переехало бы перышко, даже не почувствовав помехи. Ни единого возгласа не донеслось с нашей палубы, лишь какой-то слабый скрежещущий звук примешался к реву ветра и моря, когда подмятый хрупкий парусник протащило вдоль киля его погубителя. Посчитав нашу лодку (которая, напомним, лишилась мачты) какой-то старой брошенной посудиною, капитан китобойного судна (капитан Э. Т. В. Блок из Нью-Лондона), особо не задумываясь о случившемся, решил продолжать движение по курсу. К счастью, двое вахтенных, готовых поклясться, что видели кого-то у руля, предположили, что его еще можно спасти. В разгоревшемся споре Блок рассвирепел и заявил, что «не обязан следить за каждой скорлупкой, болтающейся в море», что «корабль не станет из-за такой ерунды останавливаться» и что «если там и был кто, он сам виноват, и никто больше, так что пусть идет на дно, и дело с концом» или что-то в этом духе. Хендерсон, первый помощник, который тоже подключился к разговору, был возмущен, как и весь экипаж, подобными речами, выдающими всю степень бессердечия и жестокости капитана. Чувствуя поддержку матросов, он прямо сказал капитану, что его стоило бы вздернуть на рее и что он отказывается выполнять его команды, пусть даже его отправят на виселицу, как только он сойдет на берег. После этого он направился на корму, оттолкнув побледневшего, но хранившего молчание капитана, и, схватив штурвал, твердо скомандовал: «К повороту!» Матросы разбежались по местам, и судно сделало крутой поворот. Все это заняло не более пяти минут, и казалось вряд ли возможным, что человек или люди с лодки могли выжить, если допустить, что там вообще кто-нибудь был. Однако, как видит читатель, я и Август остались живы, и почти невероятное спасение наше стало возможным благодаря счастливому стечению обстоятельств, которое люди мудрые и благочестивые приписывают особому вмешательству Провидения.

Пока судно продолжало разворот, старший помощник приказал опустить шлюпку и спрыгнул в нее с теми самыми двумя вахтенными, я думаю, которые утверждали, что видели меня у штурвала. Едва они

отплыли от кормы — луна по-прежнему светила ярко, — судно сильно накренило по ветру, и в тот же миг Хендерсон, привстав с банки, закричал гребцам, чтобы те табанили. Он ничего не объяснил, только повторял нетерпеливо: «Табань! Табань!» Матросы принялись изо всех сил грести в обратную сторону, но к этому времени судно уже успело развернуться и на полной скорости двинулось вперед, хотя все матросы прикладывали огромные усилия, чтобы убрать паруса. Как только шлюпка приблизилась к кораблю, старший помощник, не думая об опасности, ухватился за вант-путенсы[2]. Тут судно опять сильно накренилось, обнажив правый борт почти до киля, и причина волнения первого помощника стала понятна. На гладком блестящем днище («Пингвин» был обшит медными листами, скрепленными медными болтами) каким-то невероятным образом держалось человеческое тело, с силой бившееся об него при каждом движении корпуса. После нескольких безуспешных попыток, предпринятых во время наклонов судна, едва не потопив шлюпку, они в конце концов подняли меня на борт, ибо это был именно я. Похоже, что какой-то сдвинувшийся и вышедший из медной обшивки крепежный болт задержал меня, когда я оказался под кораблем, и закрепил в совершенно невообразимой позе на днище. Конец болта пробил воротник моей зеленой суконной куртки и вышел через заднюю часть шеи между двумя сухожилиями под правым ухом. Меня сразу уложили на койку, хотя признаков жизни я не подавал. Хирурга на борту не было, но капитан принялся обхаживать меня с величайшим вниманием, думаю, для того, чтобы в глазах команды искупить вину за свое поведение.

Тем временем Хендерсон снова покинул корабль, хотя ветер уже превратился в настоящий ураган. Через несколько минут он наткнулся на обломки нашей лодки, а вскоре после этого один из его людей сказал, что сквозь рев бури слышал прерывистые крики о помощи. Это заставило отважных моряков продолжать поиски еще более получаса, несмотря на то что капитан Блок все время подавал им сигналы вернуться, а каждое мгновение, проведенное на воде в столь хрупкой шлюпке, грозило им неотвратимой гибелью. Действительно непонятно, как такое маленькое суденышко вообще сумело удержаться на плаву. Впрочем, шлюпка эта предназначалась для нужд китобоев, и поэтому, как я потом узнал, была оснащена воздушными ящиками, как

некоторые спасательные шлюпки, которыми пользуются у берегов Уэльса.

После бесплодных поисков, продолжавшихся указанное время, было решено возвращаться на корабль. И едва они собрались это сделать, со стороны быстро проплывавшего мимо темного объекта послышался слабый крик. Они бросились за ним и вскоре догнали. Выяснилось, что это палуба, служившая крышей каюты на «Ариэле». Август явно из последних сил барахтался в воде рядом с ней. Когда его поймали, оказалось, что он привязан веревкой к куску дерева. Напомню, что я сам обвязал его этой веревкой и закрепил на рымболте, чтобы придать ему сидячее положение, чем, судя по всему, спас жизнь своему товарищу. «Ариэль» была легкой лодкой, сработанной не особенно добротно, и потому, оказавшись под водой, естественно, развалилась на куски. Настил палубы, как и следовало ожидать, сорвало хлынувшей внутрь водой, и тот, несомненно, с другими обломками всплыл на поверхность вместе с привязанным к нему Августом, который благодаря этому избежал страшной смерти.

Прошло больше часа после того, как Августа подняли на борт «Пингвина», прежде чем он очнулся. Услышав, что случилось с нашей лодкой, он пришел в страшное волнение и рассказал об ощущениях, которые испытал в воде. Придя в сознание, он понял, что, кружась с невообразимой скоростью, уходит под воду, а веревка крепко обмотана три-четыре раза вокруг его шеи. В следующую секунду он почувствовал, что его стремительно потащило вверх, но сильно ударился головой обо что-то твердое и снова лишился чувств. Очнувшись, соображал он уже лучше, хотя сознание его все еще было затуманено, а мысли путались. Теперь Август понимал, что произошел несчастный случай и что он оказался в воде, хотя рот его находился над поверхностью воды, что давало ему возможность свободно дышать. Вероятно, именно тогда оказавшаяся рядом палуба увлекла его за собой. Конечно, пока он мог удерживаться в таком положении, утонуть ему было почти невозможно. Через какое-то время огромная волна зашвырнула его на палубу, и, уцепившись за нее, он стал звать на помощь. Перед тем как его нашел мистер Хендерсон, из-за полного истощения сил он перестал держаться, упал в воду и приготовился к смерти. За все время борьбы он ни разу не вспомнил ни про «Ариэль», ни про обстоятельства, приведшие к этому бедствию. Его умом

безраздельно завладели отчаяние и страх. Когда беднягу наконец вытащили из воды, силы покинули его окончательно, и, как уже было сказано, прошло не меньше часа, прежде чем он осознал, в каком положении находится. Меня же вырвали из состояния, очень близкого к смерти (и после того, как в течение трех с половиной часов были перепробованы все другие способы), энергичным растиранием кусками материи, смоченной в горячем масле, — способом, предложенным Августом. Рана у меня на шее, хоть и имела уродливый вид, оказалась несерьезной, и я вскоре полностью оправился от ее последствий.

«Пингвин» прибыл к порту назначения около девяти часов утра после встречи с одним из самых яростных штормов, когда-либо бушевавших у Нантакета. Мы с Августом успели вернуться в дом мистера Барнарда к завтраку, который, к счастью, начался чуть позже из-за ночной гулянки. Я думаю, все за столом были сами слишком утомлены, чтобы обратить внимание на наш изможденный вид. Конечно, при других обстоятельствах это бросилось бы в глаза. Школьники способны творить чудеса, когда нужно кого-то провести, и я убежден: ни один из наших друзей в Нантакете даже не подозревал, что страшные рассказы моряков о том, как они в шторм налетели на какое-то судно и отправили на дно тридцать — сорок несчастных душ, имели отношение к «Ариэлю», Августу или ко мне. Мы с ним довольно часто вспоминали это происшествие, и всегда не без содрогания. Август честно признался, что в жизни не испытывал такого смятения, как на борту нашего суденышка, когда впервые осознал, насколько пьян, и почувствовал, что начинает терять контроль над собой.

2

По совершенно разным причинам мы не способны извлекать уроки даже из самых очевидных вещей. Казалось бы, катастрофа, о которой я только что рассказал, должна была охладить мою зарождающуюся страсть к морю, но тщетно. Еще никогда меня так не тянуло к полным опасностей приключениям, присущим жизни мореплавателя, чем в первую неделю после нашего чудесного спасения. Этого короткого промежутка времени оказалось достаточно, чтобы стереть из моей памяти темные краски и ярко высветить все восхитительные цветные

пятна, всю живописность недавнего смертельно опасного приключения. Беседы с Августом день ото дня становились все более частыми и захватывающими. Его манера преподносить рассказы об океане (добрая половина которых, как я теперь подозреваю, была попросту выдумана) находила отклик в моей душе и несколько мрачном, хоть и живом воображении. Странно и то, что желание изведать морской жизни делалось особенно настойчивым, когда он приводил самые страшные примеры страданий и отчаяния. Светлая сторона общей картины мало меня занимала. Я рисовал себе кораблекрушения и голод; смерть и неволю среди варварских племен; жизнь, проведенную в горе и слезах на какой-нибудь одинокой скале посреди океана, труднодоступной и не нанесенной на карты. Впоследствии меня уверяли, что подобные видения или желания — ибо они превращаются в таковые — обычное дело для всей многочисленной расы меланхоличных людей, но в то время, о котором идет речь, я воспринимал их как первые знаки уготованной мне судьбы. Август проникся моим настроением, и вполне вероятно, что наше тесное общение и общность взглядов привели к тому, что ему передалось что-то от моего характера, а мне — от его.

Примерно через полтора года после крушения «Ариэля» фирма Ллойда и Вреденберга (заведение, насколько мне известно, каким-то образом связанное с господами Эндерби из Ливерпуля) занялась починкой и оснащением брига «Косатка» для охоты на китов. Это была старая посудина, едва ли годная для плавания, даже после того, как с ней сделали все, что было возможно. Я не знаю, почему ее предпочли другим хорошим судам, имевшимся в распоряжении у тех же хозяев. Мистер Барнард был назначен капитаном, и Август собирался плыть с ним. Пока бриг готовили к выходу в море, Август твердил, что появилась превосходная возможность удовлетворить мое желание отправиться в путешествие. Во мне он нашел весьма благодарного слушателя, однако устроить это было не так-то просто. Мой отец прямо не возражал, а вот у матери случилась истерика от одного упоминания о наших намерениях. Но хуже всего дед, на которого я возлагал такие надежды. Он поклялся, что оставит меня без гроша, если я об этом хотя бы заикнусь. Однако эти трудности не уменьшили мое желание отправиться в плавание, а лишь подлили масла в огонь. Я вознамерился добиться своего любой ценой, и, когда сообщил о своем

решении Августу, мы вместе начали думать, как этого добиться. С родственниками о предстоящем плавании я не разговаривал, и, поскольку усердно занялся учебой, было решено, что я отступился от своих планов. Я много думал о том, как вел себя тогда, и поведение мое вызывало у меня чувство неудовольствия и удивления. Грандиозная ложь, к которой я прибегаю для осуществления своего прожекта — ложь, которой были исполнены каждое мое слово, каждый поступок, — может быть хоть как-то оправдана лишь безумными надеждами, какие я возлагал на исполнение давно лелеемой мечты о путешествиях.

Мне во многом приходилось полагаться на Августа, который каждый день с утра до вечера пропадал на «Косатке», помогая отцу обустроить каюту. Однако по ночам мы обсуждали наши планы. После почти месяца безуспешных попыток все организовать он наконец сообщил мне, что все продумал. В Нью-Бедфорде у меня жил родственник, некто мистер Росс, в доме которого я, бывало, гостил по две-три недели. Бриг должен был выйти в плавание в середине июня (июня 1827 года), и было решено, что за день-два до того мой отец должен будет получить записку от мистера Росса с просьбой разрешить мне поехать к нему и провести две недели с Робертом и Эмметом (его сыновьями). Сочинить и доставить записку моему отцу взялся Август. Я должен был, сделав вид, что ему нужно в Нью-Бедфорд, присоединиться к своему товарищу, который приготовит для меня тайник на «Косатке». Тайник этот, уверял он меня, будет достаточно удобен, чтобы провести в нем несколько дней. Когда бриг отойдет от берега так далеко, что уже не станет возвращаться без крайней необходимости, я переберусь в удобную каюту, а что до его отца, так тот только посмеется над такой шуткой. В море нам наверняка встретится какое-нибудь судно, с которым можно будет послать моим родителям письмо с объяснениями.

Наконец в середине июня все было готово. Записка была написана и доставлена, и в понедельник утром я вышел из дому, якобы чтобы сесть на пакетбот до Нью-Бредфорда, а сам пошел к Августу, который ждал меня на углу улицы. Изначально мы задумали, что до вечера я где-нибудь поброжу, не попадаясь никому на глаза, а потом незаметно проберусь на бриг, но поскольку с туманом нам не повезло, было решено не тянуть и спрятать меня на корабле сразу. Август направился

к причалу, а я последовал за ним на небольшом расстоянии, закутавшись в просторный морской плащ, который он принес с собой, чтобы замаскировать меня. Едва мы прошли мимо колодца мистера Эдмунда и свернули за второй угол, как передо мной собственной персоной предстал не кто иной, как старый мистер Петерсон, мой дед.

— Ба, Гордон! — воскликнул он, осмотрев меня. — Так-так... Что это за тряпье на тебе?

— Сэр! — самым неприветливым тоном ответил я, напустив на себя обиженный вид, насколько это было в моих силах. — Сэр! Вы, верно, обознались. Имя мое, положим, совсем не Гордон, и вы, мерзавец, лучше бы подумали, прежде чем называть мой новый плащ тряпьем. — С великим трудом мне удалось сдержать смех при виде того, какое действие произвел на него этот милый ответ. Он попятился, побледнел, потом сделался пунцовым, вскинул к глазам лорнет и снова его опустил, вдруг замахнулся на меня зонтиком, но резко остановился, как будто что-то неожиданно вспомнил, а потом развернулся и поковылял прочь по улице, приговаривая:

— Никуда не годится... новый лорнет нужен... решил, что это Гордон... Чтоб тебе пусто было, старый краб Длинный Том!

После этой едва не закончившейся провалом встречи мы продолжили путь с большими предосторожностями и до места добрались благополучно. На борту было всего несколько человек, да и те были заняты — что-то чинили на баке. Мы знали, что капитан Барнард в это время находился в конторе Ллойда и Вреденберга и должен был пробыть там до позднего вечера, поэтому встречи с ним можно было не бояться. Первым на борт поднялся Август, и вскоре я, не замеченный работающими матросами, последовал за ним. Мы сразу же пошли в кают-компанию и никого там не застали. Надо сказать, что это было весьма уютное помещение, что для китобойных судов редкость. Здесь имелись четыре замечательные каюты с широкими и удобными койками. Я обратил внимание на большую печь и удивительно толстый дорогой ковер, покрывавший пол салона и кают. Высота потолка достигала ни много ни мало семи футов — короче говоря, все было намного просторнее и приятнее взгляду, чем я ожидал. Впрочем, Август не дал мне времени осмотреться как следует, настаивая на том, что я должен укрыться максимально быстро. Он провел меня в свою каюту, которая была расположена ближе к правому

борту брига, рядом с переборками. Когда мы вошли, он закрыл дверь и задвинул засов. Никогда я не видел более приятной комнатки. В ней было около десяти футов в длину и только одна койка, как я уже говорил, широкая и удобная. В ближней к переборкам части находилось отдельное небольшое пространство примерно в четыре квадратных фута, со столом, креслом и несколькими полками, заставленными книгами, в основном о путешествиях. Каюта была оснащена и другими удобствами, из которых нельзя не упомянуть нечто вроде сейфа или холодильника, в котором Август показал мне изрядный запас вкусностей в двух отделениях, для еды и для напитков.

Потом он надавил кулаком на определенное место на ковре, в углу упомянутого пространства, и рассказал, что люк размером примерно шестнадцать на шестнадцать дюймов был аккуратно вырезан в полу и вставлен обратно. Под его рукой одна сторона люка поднялась настолько, что он смог запустить в образовавшуюся щель пальцы. Подхватив таким образом крышку (ковер был прибит к ней гвоздями), он откинул ее, и я увидел, что ход ведет в задний трюм. Затем Август фосфорной спичкой зажег тонкую свечу и, поставив ее в закопченную лампу, стал спускаться в люк, пригласив следовать за ним, что я и сделал. После этого он закрыл люк, взявшись за специально вбитый с нижней стороны гвоздик — ковер, естественно, встал на место, скрыв все следы отверстия.

Свеча давала такой слабый свет, что мне приходилось с огромным трудом пробираться на ощупь через кладь, среди которой я оказался. Но постепенно глаза привыкли к темноте, и я, держась за куртку своего товарища, пошел дальше проворнее. В конце концов, после петляния по бесконечным узким коридорам, он вывел меня к обшитому железом ящику из тех, которые иногда используют для хранения фаянса. При высоте почти в четыре фута и длине в добрых шесть футов ящик был чрезвычайно узок. На нем стояли две большие пустые бочки из-под ворвани, а на них до палубы каюты кипой громоздились сложенные друг на друга соломенные циновки. Вокруг все было заставлено всевозможной корабельной утварью, до самого потолка возвышались горы ящиков, корзин и тюков, и, казалось, лишь каким-то чудом нам удалось пробраться сюда. Потом я узнал, что Август специально организовал здесь такой беспорядок, чтобы мне

было там безопаснее, причем соорудил он все это с одним лишь помощником, человеком, который в плавание не шел.

Август показал мне, что одна из поперечных стенок обшитого железом ящика открывалась. Сдвинув ее в сторону, он явил моему взору внутреннее пространство. Я был приятно удивлен. Все дно ящика устилал матрац с одной из коек, внутри были собраны практически все обеспечивающие удобство мелочи, какие можно было уместить в таком небольшом месте, и в то же время там было достаточно просторно, чтобы я мог свободно разместиться в любом положении — хоть сидя, хоть растянувшись во весь рост. Среди прочих вещей здесь были книги, перо, чернила и бумага, три одеяла, большая кружка воды, бочонок с галетами, три-четыре огромные палки копченой болонской колбасы, устрашающих размеров окорок, холодная жареная баранья нога и полдюжины бутылок ликера и других напитков. Я не медля устроился в своем новом обиталище, наверняка испытывая большее чувство удовлетворения, чем любой монарх, когда-либо входивший в новый дворец. Август показал мне, как закрываться в ящике изнутри, а потом, поднеся свечу к самому полу, показал лежащую на нем темную бечевку. Бечевка эта, пояснил он, тянулась от моего тайника между грузами и в конце была привязана к гвоздю, вбитому в палубу трюма прямо под люком, ведущим в его каюту. С помощью этого шнура я всегда мог найти путь без его помощи, если какое-нибудь непредвиденное обстоятельство сделает подобный шаг необходимым. После этого он ушел, оставив мне лампу вместе со щедрым запасом свечей и фосфорных спичек и пообещав навещать меня, как только появится возможность сделать это незаметно. Было это семнадцатого июня.

Три дня и три ночи (во всяком случае, так мне показалось) я провел в своем убежище. Лишь дважды я покидал его, чтобы постоять между двумя ящиками прямо перед входом и размять ноги. Все это время Августа я не видел ни разу, но это меня мало тревожило, поскольку я знал, что бриг мог в любую минуту выйти в море и в суматохе приготовлений у него, наверное, просто не было времени спуститься ко мне. Наконец я услышал, как открылся и закрылся люк, и вскоре он осведомился тихим голосом, все ли хорошо и не нужно ли мне чего-нибудь.

— Ничего не нужно, — ответил я. — Здесь очень удобно. Когда бриг выходит в море?

— Снимаемся с якоря через полчаса, — сообщил он. — Я пришел, чтобы тебе об этом сказать и чтобы ты не волновался, что меня так долго нет. Теперь я какое-то время не смогу приходить, может, дня три-четыре или даже больше. Наверху все спокойно. После того как я уйду и закрою люк, ты потихоньку иди по бечевке до гвоздя, там найдешь часы — они тебе могут пригодиться, ты же тут не можешь ориентироваться по дневному свету. Наверное, ты даже не представляешь, как долго уже пробыл здесь. Но не так уж долго, всего три дня, сегодня двадцатое. Я бы принес часы сюда, но боюсь, что меня хватятся. — С этими словами он ушел.

Примерно через час после того, как он поднялся в каюту, я почувствовал, что бриг пришел в движение, и поздравил себя с тем, что в конце концов честно начал путешествие. Удовлетворившись этой мыслью, я решил расслабиться и спокойно ждать развития событий, когда мне будет позволено сменить мой ящик на более просторное, хотя вряд ли такое же удобное помещение. Первый делом мне нужно было найти часы. Оставив свечу зажженной, я двинулся на ощупь сквозь темноту, следуя за бесконечными поворотами бечевки, которая иногда после долгих блужданий приводила меня к местам в какой-то паре футов от тех, где я уже проходил. Наконец я добрался до гвоздя и, забрав предмет поисков, благополучно вернулся с ним в ящик. Там я осмотрел книги, которыми столь предусмотрительно снабдил меня мой товарищ, и выбрал описание экспедиции Льюиса и Кларка к устью Колумбии. Ею я занимал себя некоторое время, потом почувствовал, что засыпаю, осторожно потушил свечу и погрузился в здоровый сон.

Проснулся я в каком-то странном смятении мыслей, и не сразу мне удалось собрать в единую картину все обстоятельства моего положения. Однако постепенно я вспомнил все. Тогда я зажег свечу и посмотрел на часы, но они остановились, и, следовательно, определить, сколько я проспал, было невозможно. Ноги мои затекли, и, чтобы размять их, мне пришлось выбраться наружу и постоять между ящиками. Почувствовав зверский аппетит, я подумал о холодной баранине, кусок которой с наслаждением съел, перед тем как заснуть. К своему величайшему изумлению, я обнаружил, что она полностью

сгнила! Это обстоятельство очень взволновало меня, ибо, соотнеся его с тем возбужденным состоянием, в котором пребывал мой разум после пробуждения, я начал подозревать, что проспал слишком долго. Спертый воздух в трюме, возможно, был тому причиной, и это могло вызвать самые неприятные последствия. Голова болела ужасно, каждый вздох давался с трудом, меня одолевали мрачные предчувствия. Тем не менее я не осмелился открыть люк или сделать нечто подобное, поэтому завел часы и устроился поудобнее в своем ящике.

Следующие томительные двадцать четыре часа ко мне никто не приходил, и я невольно стал винить Августа в безответственности. Больше всего меня тревожило то, что воды в моем кувшине осталось примерно полпинты, а пить хотелось сильно, потому что, лишившись баранины, я налег на копченые колбасы. Испытывая сильнейшую тревогу, я утратил интерес к книгам. Еще меня неудержимо клонило в сон, но мысль о том, чтобы поддаться этому желанию, приводила меня в трепет, ибо я подозревал, что в спертom воздухе трюма могу стать жертвой какого-нибудь пагубного воздействия — например, угарного газа от горящего угля. Тем временем бортовая качка брига указала мне на то, что мы уже вышли в открытое море, а глухой гудящий звук, доносившийся откуда-то издалека, укрепил меня в мысли, что разыгралась сильнейшая буря. Причина отсутствия Августа была мне не понятна. Наверняка мы уже уплыли достаточно далеко, чтобы я мог подняться наверх. С ним могло что-то случиться, но я не мог представить причины, по которой мой товарищ так долго держал меня в заточении, разве что он внезапно умер или упал за борт, и последняя мысль взволновала меня неимоверно. Могло случиться, что нам помешал встречный ветер и мы все еще находились недалеко от Нантакета. Впрочем, от этой мысли мне пришлось отказаться, поскольку в таком случае бриг должен был бы часто делать повороты, но по тому, как он постоянно кренился на левый борт от устойчивого бриза справа, я мог заключить, что мы уверенно шли вперед. К тому же, если мы не смогли отойти от острова, почему бы Августу не спуститься и не рассказать мне об этом? Размышляя таким образом над трудностями своего одинокого и безрадостного положения, я решил подождать еще сутки, а потом, если ничего не изменится, пойти к люку и поговорить со своим товарищем или хотя бы подышать

свежим воздухом и пополнить запас воды в его каюте. Занятый этой мыслью, я, вопреки всем попыткам добиться обратного, погрузился в глубокий сон или, правильнее сказать, некую форму оцепенения. Меня посетили видения самого жуткого свойства, в которых я претерпел все возможные беды и ужасы. Среди прочих несчастий демоны самого отвратительного и свирепого вида душили меня насмерть огромной подушкой. Неимоверного размера змеи сжимали меня в кольцо и заглядывали в лицо зловеще блестящими глазами. Потом вокруг меня распростерлись пустыни, бесконечные, безжизненные и повергающие в трепет. Но вот громадные стволы деревьев, серые и голые, поднялись из земли бесконечными рядами повсюду, куда хватало глаз. Корни их увязли в непроницаемо черной неподвижной жиже болот. И странные деревья эти, казалось, были наделены человеческими душами; раскачивая ветвями-скелетами, они молили молчаливые болота о пощаде пронзительными душераздирающими криками, полными неизмеримой боли и отчаяния. Обстановка снова изменилась. Теперь я, нагой и одинокий, стоял посреди горячих песчаных равнин Сахары. У моих ног припадал к песку лютый лев. Внезапно его дикие глаза открылись и он посмотрел на меня. Он резко поднялся и оскалил страшные зубы. В следующий миг из его алой пасти извергся рев, подобный небесному грому, и я пал на землю. Задыхаясь от ужаса, я наконец начал просыпаться. Так сон мой был не совсем сном! Во всяком случае, придя в себя, я понял, что лапы какого-то огромного настоящего чудовища попирали мою грудь — горячее дыхание обжигало ухо, во тьме блестели белые отвратительные клыки.

Если бы тысячи жизней зависели от моего движения или произнесенного звука, я и то не смог бы ни пошевелиться, ни заговорить. Незвестный зверь сохранял свое положение, не пытаясь причинить мне вреда, я же лежал под ним совершенно беспомощно и, как мне казалось, был близок к смерти. Я чувствовал, что силы, физические и умственные, стремительно покидают меня, я умирал, умирал от безраздельного ужаса. Голова у меня закружилась... Внутри все оборвалось... Зрение отказало мне... Даже горящие глаза надо мною погасли. Из последних сил я выдохнул имя Господне и приготовился умирать. Звук моего голоса как будто пробудил скрытую ярость животного. Оно растянулось в полный рост у меня на груди, но изумило меня не это, а то, что вдруг оно принялось облизывать мне

лицо и руки с величайшим усердием, самым неумеренным образом показывая приязненность и радость! Я был озадачен и совершенно растерялся... Но я не мог не узнать особенный визг своего ньюфаундленда по кличке Тигр и его неповторимую манеру ластиться. Это был он. В висках застучала кровь, меня охватила радость от головокружительного и всепоглощающего ощущения спасения и возвращения к жизни. Я бросился на шею своему преданному последователю и другу и выплакал тяготивший душу груз потоком горячих слез.

Как и в прошлый раз, когда я поднялся с матраца, мысли мои путались, в голове стоял туман. Долгое время я вовсе не мог ни о чем думать, но постепенно, мало-помалу способность мыслить вернулась ко мне и я снова воскресил в памяти некоторые особенности моего положения. Понять, каким образом здесь мог очутиться Тигр, я так и не смог. После тысячи построенных и отвергнутых гипотез и предположений мне осталось лишь радоваться тому, что он разделит со мной тягостное одиночество и будет утешать своими ласками. Большинство людей любят своих собак, но к Тигру я испытывал чувство намного более теплое, чем это обычно бывает, и надо сказать, что ни одно существо не заслуживало этого больше. Семь лет мы были неразлучны, и не раз он проявлял все те качества, которые мы так ценим в наших питомцах. Когда он был еще щенком, я спас его, вызволив из рук одного маленького злодея в Нантакете, который вел его с веревкой на шее к воде, и повзрослевший пес отплатил мне той же монетой, когда примерно три года спустя спас меня от дубинки уличного грабителя.

Приложив к уху часы, я обнаружил, что они снова остановились. Это меня несколько не удивило, потому что по своему особенному состоянию я понял, что проспал, как и раньше, очень долго — как долго, разумеется, определить было невозможно. Я изнывал от духоты, и жажда стала почти нестерпимой. Я пошарил рукой по ящику в поисках скудных запасов воды — света не было, потому что свеча в лампе сгорела до самой подставки, а коробка со спичками не попала под руку сразу. Но, нащупав кувшин, я обнаружил, что он пуст. Несомненно, это Тигр выпил воду точно так же, как он доел баранину, обглоданная кость от которой теперь лежала у входа в ящик. Испорченного мяса мне было не жалко, но при мысли о воде сердце у

меня сжалось. К тому времени я совсем обессилел, настолько, что весь дрожал, и от каждого, даже малейшего движения или напряжения меня бросало в озноб. В довершение всего от беспрестанной качки бочки из-под ворвани, стоявшие на моем ящике, грозили в любую минуту свалиться и загородить единственный вход в него. К тому же я очень страдал от морской болезни. Все эти соображения наполнили меня решимостью любой ценой добраться до люка и заручиться помощью до того, как силы покинут меня окончательно. Приняв это решение, я снова начал шарить вокруг себя рукой в поисках коробки спичек и свечей. Первые не без труда мне все же удалось найти, но, так и не обнаружив свечей там, где они должны были находиться (а я очень приблизительно помнил, куда их положил), я отказался от поисков и, велев Тигру сидеть тихо, отправился искать люк.

И тут моя слабость проявилась как никогда. Передвигался я с величайшим трудом, ноги подкашивались. Падая ничком на пол, я несколько минут лежал в состоянии, граничащем с обмороком. И все же я продолжал с трудом идти вперед, каждую секунду опасаясь лишиться чувств посреди узких запутанных проходов между завалами клади — случись это, меня ждало одно — смерть. Наконец, собрав последние силы, я сделал рывок вперед и сильно ударился головой об острый угол какого-то обшитого железом ящика. Столкновение это оглушило меня всего на несколько секунд, но, к моему огорчению, я увидел, что сильнейшей качкой ящик сбросило прямо на проход и дальнейший путь оказался перекрыт. Как я ни старался, сдвинуть его не удалось ни на дюйм, так тесно он вклинился между соседними ящиками и корабельной утварью. Поэтому теперь мне, несмотря на слабость, предстояло либо бросить путеводную бечевку и попытаться найти другой путь, либо перелезть через преграду и продолжить путь с другой стороны. Первое представлялось мне слишком трудным, сопряженным со многими опасностями, от которых меня бросало в дрожь. В нынешнем ослабленном состоянии как тела, так и разума я, решившись на это, наверняка заблудился бы и умер жалкой смертью посреди мрачного, отвратительного лабиринта в трюме. Потому я не колеблясь собрал все оставшиеся силы и стал карабкаться на ящик.

Встав в полный рост, я увидел, что предстоящая задача была еще труднее, чем я думал. Узкий проход был тесно зажат между горами клади, которые при малейшем неосторожном движении могли обрушиться мне на голову. А если бы даже этого не случилось сейчас, путь мог быть окончательно перекрыт потом, когда мне надо будет возвращаться, если упадет еще что-нибудь и образует преграду, подобную той, перед которой я стоял. Сам ящик был высоким, неудобным, и на нем даже негде было ногу поставить. Тщетно старался я всеми возможными способами дотянуться до его верха, чтобы подтянуться на руках. Но оно и к лучшему, потому что, если бы я и дотянулся, мне бы наверняка не хватило сил справиться с поставленной задачей. Наконец, бросившись на ящик в отчаянной попытке сдвинуть его с места, я вдруг почувствовал, что на боковой его стороне что-то дребезжит. Я провел рукой по краю досок и обнаружил, что одна из них, очень большая, оторвалась от остальных. Орудую перочинным ножом, который я, по счастью, захватил с собой, мне вскоре удалось ее оторвать, а потом, протиснувшись в образовавшееся отверстие, я, к величайшей радости, увидел, что на противоположной стороне досок нет, — другими словами, у ящика не было крышки, а я пробрался в него через дно. Затем я продолжил путь без особых трудностей и вскоре оказался у гвоздя. С трепещущим сердцем я встал в полный рост и осторожно надавил на крышку люка. Вопреки ожиданиям, та не поднялась, и я надавил сильнее, все еще боясь застать в каюте кого-то, кроме Августа. Как ни странно, крышка была неподвижна, и я ощутил беспокойство, потому что помнил: раньше ее можно было открыть очень легко. Я толкнул крышку — та не шелохнулась; я надавил на нее изо всех сил — та даже не приоткрылась; я обрушился на нее в ярости, в гневе, в отчаянии — та с легкостью выдержала мой напор, и по абсолютной неподвижности крышки стало понятно, что либо люк обнаружили и надежно забили гвоздями, либо сверху на него поставили что-то необычайно тяжелое и о том, чтобы сдвинуть его с места, не могло быть и речи.

Все, что я тогда чувствовал, — острейший страх и смятение. Напрасно я гадал, что могло стать причиной моего погребения. Мне так и не удалось справиться с мыслями, и, опустившись на пол, я отдался мрачным видениям, в которых меня настигали самые жуткие виды смерти: кончина от жажды и голода, удушье и погребение

заживо. Наконец ко мне отчасти вернулось присутствие духа. Я встал и провел пальцами по люку, надеясь найти какие-нибудь щели или стыки. Обнаружив их, я присмотрелся внимательнее, проверяя, не пропускают ли они свет, но света не было. Тогда я просунул в одну из щелей лезвие ножа и наткнулся на какое-то препятствие. Проведя по нему ножом, я понял, что это массивный кусок железа, и, ощутив некоторую неровность, заключил, что на люке лежит якорная цепь. Теперь мне оставалось лишь вернуться к своему ящику и там принять свою печальную судьбу или же попытаться успокоить свой разум настолько, чтобы придумать план спасения. После преодоления многочисленных препятствий я сумел вернуться к ящику. Когда я, совершенно изможденный, сел на матрац, Тигр лег рядом и прижался ко мне с таким видом, будто хотел утешить меня в моих невзгодах и призывал не падать духом.

Через какое-то время мое внимание привлекла необычность его поведения. Несколько минут он лизал мне лицо и руки, но потом вдруг перестал и завыл низким голосом. Прикоснувшись к нему рукой, я понял, что он лежит на спине, задрал лапы. Уже не в первый раз с ним происходило такое, и это странное поведение оставалось для меня загадкой. Поскольку пес был невесел, я решил, что он где-то поранился. Взяв его лапы, я начал ощупывать их по очереди, но никаких признаков повреждений не обнаружил. Тогда я решил, что он голоден, и подсунул ему большой кусок окорока, который тот жадно проглотил, после чего, однако, вернулся в свое необычное положение. Я было подумал, что он, как и я, испытывает муки жажды, как мне вдруг пришло в голову, что я проверил только лапы, а рана могла быть где-нибудь на туловище или голове. Последнюю я осторожно ощупал, но ничего не нашел. Однако, проведя ладонью по его спине, я обнаружил, что в одном месте шерсть стоит торчком. Мой палец наткнулся на какой-то шнурок, и, проведя по нему, я понял, что шнурок опоясывает все тело. При более внимательном изучении я нашел нечто похожее на ощупь на лист бумаги. Шнурок был продет через него так, чтобы он оказался прямо под левым плечом животного.

3

Первым делом у меня возникла мысль, что это записка от Августа. Должно быть, какая-то необъяснимая причина не позволила ему

выпустить меня из темницы и он придумал этот способ, чтобы сообщить мне истинное положение вещей. Дрожа от волнения, я снова принялся за поиски фосфорных спичек и свечей. Я смутно помнил, как перед сном осторожно отложил их в сторону; более того, до путешествия к люку я совершенно точно помнил место, куда положил их. Но теперь я, как ни старался, не мог вспомнить и потому провел целый час в бесплодных поисках пропавших вещей. Вряд ли кому-то доводилось испытывать подобное тревожное ожидание. Продолжая шарить руками и высунувшись из ящика так, что моя голова оказалась рядом с балластом, я вдруг заметил слабый свет. Удивившись, я двинулся в этом направлении, потому что мне показалось, что это совсем близко, в каких-то нескольких футах от меня. Но стоило мне сдвинуться с места, как свет пропал из виду, и снова я увидел его лишь после того, как, держась руками за ящик, вернулся на прежнее место. Осторожно наклоняя голову из стороны в сторону, я выяснил, что, если перемещаться медленно и не в том направлении, куда я изначально пошел, а в противоположном, можно приблизиться к свету, не выпуская его из виду. Наконец, миновав бесчисленное количество узких проходов, я приблизился к источнику света и увидел, что это обломки фосфорных спичек, лежащие на перевернутом бочонке. Пытаясь понять, как они могли попасть сюда, я наткнулся рукой на три восковые свечи, которые явно побывали в зубах у собаки. Пришло понимание, что пес проглотил весь мой запас свечей, и надежда прочесть послание Августа исчезла. Остатки свечей на бочонке были смешаны с прочим мусором, так что использовать их было решительно невозможно, и я совсем было опустил руки. Оставшиеся крупинцы фосфора я аккуратно собрал и вернулся с ними к своему ящику, где все это время находился Тигр.

Что делать дальше, я не знал. В трюме было так темно, что я не видел своих рук, даже когда подносил их к лицу. Белый прямоугольник бумаги можно было различить с большим трудом, да и то глядя не прямо, а скосив глаза, другими словами — боковым зрением. Можно представить, какая тьма царила в моем узилище, и записка от моего товарища, если это действительно была записка от него, лишь еще больше огорчила меня, растревожив мой и без того ослабленный и уставший ум. Напрасно я прокручивал в голове десятки самых невероятных способов раздобыть огонь — в точности такие порождает

беспокойный сон курильщика опиума, когда каждый из них по очереди мнится спящему то в высшей степени разумным, то нелепейшим из замыслов, так же как берет верх то способность здраво рассуждать, то воспаленное воображение. Наконец у меня родилась идея, показавшаяся мне рациональной и заставившая меня, совершенно справедливо, подивиться тому, что я не додумался до этого раньше. Я положил записку на книгу и, собрав остатки найденных на бочонке фосфорных спичек, ссыпал их на бумагу. Потом я стал тереть их ладонью быстро, но равномерно. Фосфор тут же вспыхнул и распространился по всей поверхности, и, если бы на бумаге было что-то написано, я бы, несомненно, прочитал послание без труда. Но там не было ни буквы, ничего, кроме тоскливой, пугающей пустоты. Свет погас через несколько секунд, а вместе с ним угасла и последняя искра надежды в моем сердце.

Я уже не раз упоминал о том, что до этого какое-то время мой разум пребывал в состоянии, близком к идиотии. Несомненно, случались и промежутки полнейшего здравомыслия, и даже всплески энергии, но нечасто. Нельзя забывать, что я наверняка уже несколько дней дышал ядовитым воздухом закрытого трюма китобойного судна, долгое время довольствуясь скудным запасом воды. Последние четырнадцать-пятнадцать часов я вовсе не пил и не спал. Соленые продукты были моей основной, а после утраты баранины и единственной пищей, если не считать галет, от которых мне все равно не было проку, потому что они были слишком сухими и мое распухшее, высохшее горло не приняло бы их. К этому времени у меня поднялся сильнейший жар, и вообще я чувствовал себя крайне нездоровым. Этим можно объяснить то, что лишь спустя долгие часы, проведенные в унынии после опытов с фосфором, я вдруг сообразил, что осмотрел только одну сторону бумаги. Не стану описывать ту ярость (а я уверен, что тогда самым моим сильным чувством была именно злость), которая обуяла меня, когда внезапно понял, какую чудовищную оплошность совершил. Сама по себе ошибка не была бы такой уж важной, если бы не мои собственные недальновидность и горячность: в расстройстве оттого, что на бумаге не оказалось послания, я, как ребенок, разорвал записку на кусочки и выбросил их, куда — теперь определить было невозможно.

Наиболее трудную часть задачи помогла решить смекалка Тигра. Найдя после продолжительных поисков маленький обрывок, я поднес его к носу пса и попытался дать ему понять, что он должен принести остальные. К моему изумлению (ибо я никогда не учил его тем фокусам, которыми славится его племя), он как будто сразу уразумел, что от него требуется, и, порыскав минуту, нашел еще один клочок бумаги. После этого он уткнулся носом в мою ладонь, кажется, ожидая похвалы. Я потрепал его по голове, и он тотчас продолжил поиски. На этот раз он вернулся через несколько минут, зато принес с собой большой обрывок, как выяснилось, последнюю недостающую часть — оказывается, бумага была порвана всего на три части. К счастью, найти то небольшое, что осталось от спичек, не составило труда — меня направило тусклое свечение, которое еще испускали один-два кусочка фосфора. Испытания научили меня все делать осторожно, и на этот раз я решил сперва хорошенько обдумать предстоящие действия. Существует вероятность, рассуждал я, что на неисследованной стороне бумаги были написаны какие-то слова — но как узнать, на какой? Соединение обрывков бумаги этот вопрос не решило, хоть и указало на то, что все слова (если таковые имелись) теперь оказались на одной стороне и соединились в правильном порядке. Важнее всего было установить правильную сторону, потому что оставшегося фосфора на третью попытку не хватило бы. Как и в прошлый раз, я положил бумагу на книгу и несколько минут просидел перед ней в задумчивости, размышляя о том, что мне предстоит сделать. В конце концов я пришел к выводу, что сторону с текстом вряд ли удастся определить по неровностям на поверхности, если легонько провести по ней пальцами, но решился на этот эксперимент и очень осторожно провел пальцем по стороне, которая была сверху. Ничего не почувствовав, я перевернул бумагу, сложил вместе обрывки. Снова аккуратно проведя по ним указательным пальцем, я обратил внимание, что он ощущает едва различимый, но все же заметный след. Это, догадался я, было вызвано мельчайшими частичками фосфора, которые остались на бумаге с прошлой попытки. Из этого можно было сделать вывод, что надпись располагалась с другой стороны, той, которая сейчас находилась внизу, если, конечно, там вообще было что-то написано. Я опять перевернул обрывки и проделал с ними ту же операцию, что и в прошлый раз. Растертые крошки фосфора матово

засветились, и на этот раз на бумаге отчетливо проступили несколько строчек, написанных крупным почерком, очевидно, красными чернилами. Свечение, хоть и было достаточно ярким, продержалось не больше нескольких секунд, которых, не будь я так возбужден, мне вполне хватило бы, чтобы прочитать все три проявившихся предложения (а я увидел, что их было три). Однако от волнения я кинулся читать все одновременно и в итоге сумел ухватить лишь семь слов в конце: «...кровью... Хочешь жить, сиди внизу, не высовывайся».

Сумей я прочитать всю записку, сумей понять, что стоит за предостережением, которое таким образом попытался внушить мне мой товарищ, пусть даже мне открылась бы история какого-то неслыханного несчастья, я твердо убежден, что это не наполнило бы меня и десятой частью того мучительного, но непонятного ужаса, который вызвали обрывки полученного таким образом предупреждения. А слово «кровь» — о, это слово, извечно полное тайн, страданий, ужаса, — какой утроенной важностью оно наполнилось сейчас, хоть и было оторвано от предыдущих слов, отчего сделалось неопределенным, как холодно и тяжело каждый слагавший его звук падал посреди мрака моей темницы в самые отдаленные уголки моей души!

У Августа, несомненно, имелись достаточно веские основания советовать мне не покидать тайник, и я строил тысячи догадок, пытаюсь понять их природу, но удовлетворительного решения этой загадки так и не нашел. Сразу после возвращения из последнего путешествия к люку и до того, как мое внимание отвлекло необычное поведение Тигра, я принял решение во что бы то ни стало сделать так, чтобы меня услышали те, кто находился на борту или, если это не удастся, прорезать ход через нижнюю палубу. Некое подобие уверенности в том, что хотя бы одно из этих начинаний окажется успешным, придало мне мужества (которого иначе я бы лишился окончательно) вынести все тяготы моего положения. Но те несколько слов, которые я успел прочитать, отрезали эти пути к спасению, и теперь я впервые в полной мере ощутил всю безысходность своего положения. В припадке отчаяния я бросился на матрац, да так и пролежал на нем примерно сутки в оцепенении, обретая сознание и память лишь на короткие промежутки времени.

В очередной раз поднявшись, я задумался над навалившимися на меня трудностями. Без воды я вряд ли выдержал бы следующие двадцать четыре часа, а больше и подавно. В начале своего заточения я не экономил напитки, которыми снабдил меня Август, но они только усиливали возбуждение и ни в коей мере не утоляли жажду. Все, что я теперь имел, это четверть пинты крепкого персикового ликера, от которого у меня сводило желудок. Колбасы я доел, от окорока остался только небольшой кусочек кожи, а все галеты сожрал Тигр, оставив только крошки. Вдобавок к моим несчастьям, у меня все сильнее болела голова и с каждой минутой усиливался жар, который начал меня беспокоить после того, как я в первый раз заснул. Последние несколько часов мне было трудно дышать, и каждый вдох сопровождался крайне неприятными спазмами в груди. Однако существовал иной, не имеющий к моему самочувствию отношения источник сильнейшего беспокойства, который вывел меня из оцепенения и заставил подняться с матраса. Им стало поведение пса.

Впервые я обратил внимание на изменения в его поведении, когда в последний раз растирал фосфор на бумаге. Когда я этим занимался, он с негромким ворчанием провел носом по моей руке, но я тогда был слишком возбужден, чтобы обратить внимание на это обстоятельство, а потом, напомним, упал на матрас и погрузился в некое подобие летаргии. Сейчас я услышал необычный свистящий звук у себя над ухом и обнаружил, что его издает Тигр, который дышал с присвистом и пребывал в состоянии сильнейшего возбуждения, глаза его неистово сверкали в темноте. Я заговорил с ним, он ответил низким рычанием, а потом замолчал. Вскоре я снова впал в оцепенение, из которого был вырван подобным же образом. Так повторялось три-четыре раза, пока его поведение наконец не вызвало у меня такого страха, что я очнулся окончательно. Теперь он лежал рядом с дверью ящика, негромко, но страшно рыча, и скрежетал зубами, как будто испытывал сильную боль. Я не сомневался, что нехватка воды и свежего воздуха свела его с ума, но не знал, что предпринять. Мысль о том, чтобы убить его, была для меня невыносима, но для собственной безопасности сделать это было необходимо. Я отчетливо видел устремленные на меня глаза, полные враждебной угрозы, и в любую секунду ожидал нападения. Наконец, не в силах более выносить это ужасное положение, я решил любой ценой выйти из укрытия и избавиться от пса, если его

враждебность делает это необходимым. Для этого я должен был перебраться через него, и он, похоже, догадался, что я задумал, потому что поднялся на передние лапы (о чем мне сказала изменившееся положение его глаз) и оскалил все свои белые зубы, легко различимые в темноте. Я взял остатки кожи окорока, бутылку с ликером и засунул их в карманы вместе с большим разделочным ножом, который оставил мне Август. Потом, закутавшись поплотнее в плащ, двинулся в сторону выхода. И как только я это сделал, пес с громким рычанием бросился к моему горлу. Всем весом своего тела он ударил меня в правое плечо, я отлетел влево, и разъяренное животное оказалось на мне. Я упал на колени, головой в одеяла, и это спасло меня от второй бешеной атаки, во время которой я почувствовал, как острые зубы сжались на шерстяной ткани, оказавшейся вокруг моей шеи, но, к счастью, не смогли пробить складки. Теперь я находился под собакой и через несколько мгновений оказался бы полностью в ее власти. Отчаяние придало мне сил, я храбро поднялся, стряхнув Тигра с себя, и схватил покрывала. Их я набросил на пса и, пока тот не выпутался, выбрался из ящика и закрыл за собой дверь. Однако в борьбе я потерял последний кусочек шкуры окорока, и теперь из провизии у меня осталась только четверть пинты ликера в бутылке. Когда эта мысль промелькнула у меня в голове, я почувствовал, что меня охватывает приступ упрямого безрассудства, безрассудства испорченного ребенка, и, поднеся бутылку к губам, осушил ее, выпив все до последней капли, после чего разбил о пол.

Не успело стихнуть эхо звона осколков, как я услышал свое имя, произнесенное вполголоса, донесшееся откуда-то со стороны руля. Это было настолько неожиданно, и таким сильным было мое волнение, вызванное этим звуком, что я даже не смог ответить. Способность говорить покинула меня, и я, в страхе, что мой товарищ, решив, что я умер, не станет меня искать и уйдет, стоял, дрожа, между ящиками и беззвучно открывал рот, силясь хоть что-то произнести. Если бы единственный звук мог передать смысл тысяч слов, я и его не сумел бы вымолвить. Откуда-то из-за клади в некотором отдалении от того места, где находился я, послышался звук движения. Потом звук сделался тише, потом еще тише и затих. Забуду ли я когда-нибудь чувства, которые испытывал в ту минуту? Он уходил, мой товарищ, мой друг, от которого я имел право ждать столь многого, — он уходил

— он покидал меня — он ушел! Оставил меня умирать жалкой смертью, угасать в самой ужасной, самой мерзкой из темниц. И одно слово, один короткий звук мог спасти меня... но произнести этот звук я был не в силах! Боль десяти тысяч смертей не сравнится с той болью, что я испытал тогда. Перед глазами у меня все закружилось, и я упал замертво на стенку ящика.

Падая, я выпустил нож из-за пояса, и тот упал со звоном на пол. Никогда ноты самой прекрасной мелодии не звучали столь сладостно для моего слуха! В неимоверном волнении я прислушивался: как этот звук скажется на поведении Августа (а я знал, что звать меня по имени мог только он). Наконец я снова услышал свое имя: «Артур!», произнесенное тихим голосом, тоном, полным сомнения. Возродившаяся надежда вернула мне дар речи, и я закричал изо всех сил:

— Август! О, Август!

— Тише! Ради всего святого, молчи! — ответил дрожащий от волнения голос. — Я сейчас к тебе подойду... Как только проберусь через трюм.

Я слушал, как он перемещается среди клади, и каждый миг ожидания казался мне вечностью. Наконец я почувствовал, как его рука легла мне на плечо, и одновременно с этим он приложил к моим губам бутылку с водой. Лишь те, кто был неожиданно вырван из могилы, и те, кто познал нестерпимые муки жажды в обстоятельствах столь же ужасных, как те, что постигли меня в моем безотрадном остроге, смогут понять чувства, которые породил один-единственный глоток драгоценнейшего из сокровищ, дарованных человеку.

Когда я более-менее утолил жажду, Август достал из кармана три-четыре вареных картофелины, которые я тут же с жадностью проглотил. Он принес с собой фонарь с темным стеклом, и благодатные лучи света были для меня не менее долгожданны и приятны, чем еда и питье. Однако мне не терпелось узнать причину его затянувшегося отсутствия, и он не медля приступил к рассказу о том, что произошло на борту «Косатки» за время моего заточения.

4

Бриг, как я и предполагал, вышел в море примерно через час после того, как Август принес мне часы. Было это двадцатого июня.

Напомню, что я провел в трюме уже три дня. И все это время на борту царила суматоха, матросы бегали по всему кораблю, особенно в салоне и в каютах, поэтому, если бы он спустился ко мне, наша тайна могла быть раскрыта. Когда он наконец пришел, я заверил его, что у меня все хорошо, и следующие два дня он особенно обо мне не беспокоился, хотя и искал возможности снова спуститься. И лишь на четвертый день такая возможность представилась. За это время он несколько раз решал рассказать обо всем отцу и выпустить меня на палубу, но мы все еще находились в относительной близости к Нантакету, и по некоторым замечаниям, оброненным капитаном Барнардом, ему стало понятно, что тот вполне может повернуть обратно, если обнаружит меня на борту. К тому же, обдумав положение вещей, Август, как он сказал, не мог предположить, что мне может чего-то не хватать, и решил, что в случае чего я бы непременно постучал в люк. Поэтому он решил не рисковать и ждать, когда появится возможность спуститься вниз, что случилось, как я уже говорил, на четвертый день после того, как он принес мне часы, и на седьмой день моего пребывания в трюме. Он не взял с собой ни воды, ни провизии, намереваясь просто позвать меня к люку, чтобы передать запасы из каюты. Спустившись для этой цели, он застал меня спящим — оказывается, я громко храпел. Насколько я могу судить, то был сон, в который я провалился, вернувшись от люка с часами, и который, очевидно, длился самое меньшее трое суток кряду. Позже я на своем опыте и по рассказам других узнал, какое сильное усыпляющее воздействие на человека производит запах застарелого рыбьего жира в закрытом помещении, и теперь, думая об ужасных условиях, в которых проходило мое заточение в трюме, и о том, как долго бриг использовался в китобойном промысле, я больше удивляюсь тому, что вообще проснулся, однажды заснув, чем тому, что проспал указанный выше срок беспробудно.

Август сперва вполголоса позвал меня, не закрывая люк, но я не ответил. Тогда он закрыл люк и позвал меня громче, а потом совсем громко, но я продолжал храпеть. Он растерялся. Пробраться сквозь завалы в трюме к моему ящику было не так-то просто, это отняло бы много времени, а между тем его отсутствие могло быть замечено капитаном Барнардом, который имел привычку ежеминутно требовать его к себе для разбора и переписывания документов, связанных с

рейсом. Поэтому, поразмыслив, он решил подняться и дожидаться другого случая свидеться со мной. В этом решении его укрепило то, что со стороны казалось, будто я сплю самым безмятежным сном, и у него даже не возникло подозрения, что заточение могло приносить мне какие-то неудобства. Едва он об этом подумал, как его внимание привлек какой-то непонятный шум, доносившийся, по-видимому, из салона. Он поспешно выбрался через люк, закрыл его и распахнул дверь своей каюты. И едва Август переступил порог, в лицо ему уперся пистолет, а в следующий миг он полетел на пол от мощного удара вымбовкой по голове.

Сильная рука прижала его к полу, стиснув горло, но он мог видеть, что происходило вокруг. Отец его лежал, связанный по рукам и ногам, на ступеньках трапа головой вниз с глубокой раной на лбу, из которой текла кровь. Он молчал и, судя по всему, умирал. Над ним склонился первый помощник, с дьявольской улыбкой неторопливо шаривший по его карманам, где уже нашел пухлый бумажник и хронометр. Семь человек из команды (среди них был и кок-негр) обыскивали каюты на левом борту корабля и вскоре вооружились ружьями и патронами. Кроме Августа и капитана Барнарда в салоне находились девять человек, и все самые отчаянные и злобные из команды брига.

Негодяи, связав моему товарищу руки за спиной, поволокли его на палубу. Там они направились напрямиком на бак, уже захваченный бунтовщиками: двое головорезов сторожили вход с топорами в руках, еще двое дежурили у главного люка. Первый помощник крикнул:

— Эй, там, внизу, слышите меня? Поднимайтесь наверх по одному. И учтите: без шуток!

Прошло несколько минут, прежде чем кто-то появился. Первым вышел англичанин, который записался на корабль необученным матросом, он плакал горячими слезами и подобострастно умолял первого помощника сохранить ему жизнь. Единственным ответом ему был удар топором в лоб. Бедолага, не издав ни звука, рухнул на спину, чернокожий кок поднял его, как ребенка, на руки и выбросил тело в море. Находившиеся внизу услышали удар и всплеск, после чего ни угрозы, ни обещания уже не могли заставить их подняться, пока кто-то не предложил выкурить их оттуда. После этого наверх стали выбегать люди, началась свалка, и какое-то время даже казалось, что бриг может быть отбит, но бунтовщикам удалось закрыть дверь кубрика, когда из

него выскочило всего шестеро противников. Эти шестеро безоружных, оказавшись в меньшинстве, после недолгого боя сдались. Первый помощник обещал их помиловать, наверняка в расчете на то, что это заставит сдаться тех, кто остался внизу, потому что тем было слышно все, что говорили на палубе. Результат подтвердил его коварство, равно как и его дьявольскую жестокость. Все, кто находился внизу, согласились сдаться и начали подниматься. Их по одному связывали и бросали на палубу к первым шести. Всего в мятеже не участвовало двадцать семь человек.

Последовала жуткая бойня. Связанных подтаскивали к трапу, там кок бил каждого топором по голове, и несчастную жертву бросали за борт. Двадцать два человека погибли таким образом, и Август уже попрощался с жизнью, ожидая своей очереди, но душегубы либо устали, либо почувствовали отвращение к своему кровавому делу, — во всяком случае, четверых оставшихся пленников вместе с моим другом, которого бросили на палубу к остальным, пока пощадили. Первый помощник послал кого-то за ромом, и началась пьяная вакханалия, которая продолжалась до заката. Потом кровожадная компания взялась решать, как поступить с оставшимися в живых, которые лежали в каких-то четырех шагах от них и слышали каждое слово. Выпитое спиртное, похоже, смягчило некоторых бунтовщиков. Кто-то заговорил о том, чтобы освободить пленников, если те согласятся присоединиться к ним и разделить добычу. Но чернокожий кок (истинный дьявол, имевший такое же, если не большее, влияние на своих поделльников, чем первый помощник) и слушать не хотел о подобном. Он то и дело порывался продолжить свое кровавое дело на трапе, но, к счастью, был до того пьян, что его без труда удалось удержать менее кровожадным товарищам, среди которых был лотовой, откликавшийся на имя Дирк Питерс. Он был сыном индианки из племени упшароков, которые живут посреди неприступных Скалистых гор, недалеко от истоков Миссури. Его отец, кажется, был торговцем пушниной или, во всяком случае, был как-то связан с индейскими факториями на реке Льюис. Сам Питерс обладал совершенно свирепой внешностью. Росту он был невысокого, не больше четырех футов восьми дюймов, но сложен был как Геркулес. Особенно поражали кисти его рук, просто нечеловеческой ширины и толщины. Руки и ноги Питерса, изогнутые на причудливый манер, казалось, могли сгибаться

в разные стороны. Голова, деформированная в не меньшей степени, имела выемку на макушке (какую можно видеть на голове у большинства негров) и была совершенно лысой. Чтобы скрыть последний недостаток, появившийся не от старости, он обычно надевал парик, сделанный из любых материалов, напоминающих волосы, иногда это бывала шкура спаниеля или медведя гризли. В то время, о котором идет речь, его голова была покрыта куском медвежьей шкуры, что придавало его облику еще более свирепый вид, столь характерный для упшароков. Рот у него как будто растянулся от уха до уха, тонкие губы, как и некоторые части лица, казалось, были лишены природной гибкости, из-за чего его выражение оставалось неизменным в любом настроении. И что это было за выражение, станет понятно, если упомянуть, что его необычайно длинные, выступающие зубы никогда, ни при каких обстоятельствах даже частично не прикрывались губами. При случайном взгляде на него могло показаться, что этот человек заходится смехом, но второй взгляд давал истинное, бросающее в дрожь впечатление: если на этом лице написано веселье, то это веселье демона. В Нантакете среди моряков ходило множество самых разных историй о нем. Из них можно было заключить, что он обладал невероятной силой, проявлявшейся в минуту крайнего возбуждения, но некоторые рассказы заставляли усомниться в здравости его ума. Однако на борту «Косатки» во время восстания к нему относились скорее с насмешкой, чем с каким-то другим чувством. Я так подробно рассказываю о Дирке Питерсе, потому что, какой бы свирепой ни была его наружность, именно ему Август был обязан своим спасением и потому, что я буду еще часто поминать его в своем рассказе, рассказе, который, позволю себе заметить, под конец будет повествовать о событиях, столь непривычных для человеческого опыта и потому столь выходящих за рамки человеческого понимания, что я не питаю надежды на то, что мне поверят, хотя искренне думаю, что время и развивающаяся наука подтвердят истинность некоторых из наиболее важных и невероятных из моих утверждений.

После долгих колебаний, несколько раз перераставших в ожесточенные споры, было решено посадить всех пленников (за исключением Августа, которого Питерс как бы в шутку пожелал оставить при себе секретарем) на самый маленький из имевшихся

вельботов и оставить в море. Первый помощник спустился вниз проверить, жив ли еще капитан Барнард — напомним, он остался в салоне, когда бунтовщики поднялись на палубу. Через какое-то время они поднялись вдвоем. Капитан, бледный как сама смерть, выглядел, однако, несколько оправившимся от раны. Едва слышным голосом он обратился к ним, пообещал высадить, где они сами пожелают, и не преследовать по закону, если они вернутся к своим обязанностям. С таким же успехом он мог разговаривать с пустым местом. Два негодяя схватили его за руки и швырнули за борт в лодку, которую спустили на воду, пока первый помощник ходил вниз. Четверых лежавших на палубе развязали и приказали следовать за ним, что они и сделали без сопротивления, а Август все так же оставался связанным, хотя пытался высвободиться и молил только об одном: чтобы ему позволили попрощаться с отцом. В лодку передали пригоршню галет и кувшин с водой, не снабдив несчастных ни мачтой, ни парусом, ни веслом, ни компасом. Несколько минут, пока мятежники совещались, лодка болталась за кормой, потом веревку обрубили. К этому времени уже стемнело, ни луны, ни звезд видно не было, и по морю шли короткие сильные волны, хотя дул лишь слабый ветер. Лодка мгновенно потерялась из виду, и надежды на спасение несчастных страдальцев не осталось. Впрочем, произошло это на 35°30′ северной широты 61°20′ западной долготы, а значит, недалеко от Бермудских островов, поэтому Август утешал себя мыслью о том, что лодка может достичь суши или подойти к островам достаточно близко, чтобы встретить какое-нибудь каботажное судно.

На бриге тем временем подняли все паруса, и он продолжил путь на юго-запад — бунтовщики задумали пиратскую экспедицию и, судя по их разговорам, решили перехватить какое-то судно, идущее с островов Зеленого Мыса в Порто-Рико. Августу развязали руки и перестали обращать на него внимание, запретив, однако, приближаться к салону. Дирк Питерс обращался с ним относительно дружелюбно и однажды спас от жестокости кока. Тем не менее жизнь его все так же висела на волоске, потому что бунтовщики беспробудно пили и полагаться на их хорошее настроение и расположение к себе было нельзя. Впрочем, даже в таком незавидном положении больше всего его беспокоило мое благополучие, и мне никогда не приходилось сомневаться в искренности его дружбы. Несколько раз он порывался

сообщить мятежникам о моем пребывании на корабле, но его останавливали воспоминания о тех зверствах, которым он стал свидетелем, и надежда на то, что в скором времени ему удастся облегчить мое положение. Чтобы добиться этого, он всегда был начеку, но, несмотря на это, такая возможность появилась лишь на третий день после того, как вельбот был брошен в море. В ночь на четвертый день с востока налетел сильный ветер, и все, кто был на судне, бросились к парусам. Во время последовавшей неразберихи он незаметно спустился вниз и проник в свою каюту. Каковы были его печаль и ужас, когда он увидел, что каюту превратили в склад припасов и корабельной утвари. Несколько саженой старой якорной цепи, которая хранилась под лестницей в кают-компании, перенесли сюда, чтобы освободить место для какого-то сундука, и положили прямо на люк! Убрать его, не привлекая к себе внимания, было невозможно, поэтому он поспешил вернуться на палубу. Когда он поднялся, первый помощник схватил его за горло и, спросив, чем он занимался внизу, уже хотел бросить за борт, но моего товарища снова спасло вмешательство Дирка Питерса. На руки Августу надели наручники (на судне имелось несколько штук), а ноги крепко связали. Затем его отнесли на нижнюю палубу и заперли в каюте, примыкающей к стенке бака, пообещав, что ноги его не будут на палубе, «пока бриг остается бригом». То были слова кока, который бросил его на нижнюю койку, и трудно понять, что он хотел этим сказать. Однако, как сейчас станет понятно, именно благодаря этому происшествию я оказался на свободе.

5

Несколько минут после того, как кок покинул бак, Август предавался отчаянию, не думая выйти живым из каюты. Он принял решение рассказать обо мне первому помощнику, рассудив, что лучше дать мне хоть какой-то шанс на спасение, чем позволить умереть в трюме от жажды, ибо к тому времени прошло уже десять дней моего заточения, а оставленного мне кувшина с водой не хватило бы и на четыре. Пока он размышлял подобным образом, ему неожиданно подумалось, что можно попробовать связаться со мной через главный трюм. В других обстоятельствах трудность и опасность подобной затеи заставили бы его отказаться от ее осуществления, но сейчас,

когда надежды на спасение не оставалось, а значит, и терять было нечего, он занялся составлением плана.

Первым делом нужно было позаботиться о наручниках. Поначалу он не видел способа избавиться от них и испугался, что потерпит неудачу в самом начале, но, присмотревшись к ним повнимательнее, обнаружил, что их можно попросту стянуть с рук без особых усилий и не причинив себе вреда — подобные оковы малопригодны для удерживания молодых людей, у которых мелкие кости легко поддаются сдавливанию. Освободив руки, он развязал веревку на ногах, но оставил в таком положении, чтобы ее можно было быстро снова завязать, если кто-то спустится к нему, после чего принялся осматривать переборку в том месте, где она примыкала к койке. Стена представляла собой лист мягкой сосновой древесины толщиной в дюйм, и прорезать в ней отверстие не составляло труда. В это время с ведущего в кубрик трапа раздался голос, и он едва успел продеть правую руку в наручник (левую он не освобождал) и затянуть узел на лодыжках, как в каюту вошел Дирк Питерс с Тигром, который тут же запрыгнул на койку и улегся. Собаку взяли на борт по настоянию самого Августа, который знал мою привязанность и решил, что мне будет приятно путешествовать вместе с ней. Он сходил домой за животным сразу после того, как закрыл меня в трюме, но забыл об этом упомянуть, когда принес мне часы. С начала мятежа и до нынешнего его появления с Дирком Питерсом Август Тигра не видел и решил, что его бросил за борт кто-то из банды первого помощника. Позже выяснилось, что он заполз в щель под одним из вельботов, да так и застрял в ней, потому что там ему не хватило пространства, чтобы развернуться. Питерс освободил его и с доброжелательством, которое мой товарищ по достоинству оценил, привел пса к нему, заодно оставив ему солонины, несколько картофелин и кружку с водой, пообещав вернуться на следующий день и принести еще еды.

Когда он ушел, Август, освободив обе руки и развязав ноги, откинул изголовье матраца, на котором лежал, и перочинным ножом (благо негодяи не додумались его обыскать) принялся решительно резать одну из досок переборки как можно ближе к полу. Место это он выбрал специально, чтобы можно было быстро закрыть матрацем свою работу, если кто-нибудь опять явится. Но в течение дня его никто не беспокоил, и к вечеру он прорезал планку насквозь. Тут надо

упомянуть, что никто из бунтовщиков после захвата судна не спал в кубрике, потому что все они теперь жили в кают-компании, бражничали за счет запасов капитана Барнарда и занимались управлением брига, только когда это было совершенно необходимо. Мне и Августу это было только на руку, ибо в противном случае он бы попросту не смог добраться до меня. Но, к счастью, все обстояло именно так, и он уверенно взялся за выполнение своего плана. Однако лишь перед самым рассветом он закончил вторую прорезь в доске, примерно в футе над первой, проделав таким образом отверстие достаточно большое, чтобы можно было через него без труда пролезть на нижнюю палубу. Оттуда было легко добраться до главного нижнего люка, хотя для этого ему пришлось перебираться по бочкам для ворвани, ярусы которых чуть не упирались в верхнюю палубу, так что там едва оставалось место для того, чтобы протиснуться. Добравшись до трюма, он обнаружил, что Тигр все это время следовал за ним, только полз между двумя рядами бочек ниже. Однако отыскать меня до зари он не успел бы, потому что ему предстояла главная трудность — пройти по тесно забитому нижнему трюму, поэтому решил вернуться и дожидаться следующей ночи. С этой мыслью он приоткрыл люк, чтобы в следующий раз как можно меньше задерживаться. И как только он это сделал, Тигр прыгнул к образовавшейся щели, принялся, протяжно заскулил и начал царапать пол лапами так, словно хотел поскорее открыть люк. Все его поведение, несомненно, указывало на то, что он учуял хозяина, и Август решил, что пес сможет меня найти, если спустить его вниз. Заодно можно было послать мне с ним записку, потому что было крайне важно, чтобы я не пытался выбраться самостоятельно, во всяком случае, в сложившихся обстоятельствах, поскольку он не был уверен, что сможет добраться до меня на следующий день, как намеревался. Последующие события показали, что это была счастливая идея, поскольку, если бы не эта записка, я бы наверняка решился на какой-нибудь отчаянный шаг, чтобы привлечь к себе внимание, что наверняка стоило бы нам обоим жизни.

Решение написать послание было принято, но теперь встала новая задача: где взять бумагу и чем писать? Вскоре старая зубочистка была превращена в перо, причем вслепую, потому что между палубами стояла крошечная тьма. На бумагу было пущено письмо, вернее, дубликат поддельного письма мистера Росса. Это был первоначальный

набросок, который не пошел в дело из-за того, что почерк получился не слишком похожим на образец, и Август тогда изготовил второй вариант, по счастливой случайности сунув первый себе в карман куртки, где он весьма кстати обнаружился теперь. Не хватало только чернил, и им тут же была найдена замена, для чего перочинным ножом был произведен небольшой надрез на внешней стороне пальца над ногтем. При ранах такого характера всегда вытекает довольно много крови. Итак, послание было написано, насколько позволяли обстоятельства и темнота. В записке кратко сообщалось, что на корабле случился бунт, что капитана Барнарда пересадили в лодку и что скоро мои запасы будут пополнены, но я не должен обнаруживать свое присутствие. Заканчивалось послание словами: «Я пишу это своей кровью. Хочешь жить — сиди внизу, не высовывайся».

Привязав листок бумаги к собаке, Август спустил ее в люк и поспешил обратно в кубрик, пока туда не пришел никто из команды. Чтобы скрыть отверстие в перегородке, он вонзил чуть повыше нее свой нож и повесил на него матросскую куртку, которую нашел в каюте. После этого он надел на себя наручники и обвязал лодыжки веревкой.

Едва он покончил с этим, как в каюту вошел Дирк Питерс, сильно пьяный, но в приподнятом настроении. Он принес щедрую порцию провизии — дюжину печеных картофелин и кувшин воды. Он немного посидел на сундуке рядом с койкой, рассказывая Августу о первом помощнике и о делах на бриге. Настроение у него часто менялось, и вообще он держался как-то неестественно, так что Август даже начал сильно волноваться, но наконец Питерс ушел на палубу, буркнув пленнику, что завтра принесет обед получше. Днем в каюту спустились еще двое из команды (гарпунщики) вместе с коком, и все трое были настолько пьяны, что едва держались на ногах. Подобно Питерсу, они не таясь обсуждали свои планы. Похоже, в их рядах наметился раскол, вызванный конечной целью их путешествия, и сходились они только на том, что нужно напасть на судно, идущее с островов Зеленого Мыса, которое они ожидали встретить в ближайшие часы. Насколько можно было понять из их разговоров, бунт на «Косатке» был поднят не только ради наживы. Основной причиной была давняя неприязнь первого помощника к капитану Барнардту. Теперь же команда разделилась на две группировки, одну из которых

возглавлял первый помощник, а вторая сплотилась вокруг кока. Первая группа была за то, чтобы захватить первое же встреченное пригодное судно и снарядить его на каком-нибудь из Вест-Индских островов для пиратского промысла, вторая же группа, более сильная, к которой примыкал и Дирк Питерс, склонялась к тому, чтобы вести бриг, как и планировалось изначально, в южную часть Тихого океана и там либо добыть кита, либо действовать по обстоятельствам. Доводы Питерса, который много раз бывал в этих местах, очевидно, показались убедительными бунтовщикам, колебавшимся между жадной наживы и развлечений. Он рассказывал о том, какую райскую жизнь можно найти на бесчисленных островах Тихого океана, о том, как они будут наслаждаться полнейшей безопасностью и свободой от каких бы то ни было ограничений, но пуще всего живописал благодатный климат, изобилие живой природы и красоту местных женщин. И все же пока никакого решения принято не было, хотя картины, нарисованные полукровкой лотовым, распалили воображение моряков, и вероятность того, что его сторона в конце концов возьмет верх, была очень велика.

Все трое ушли примерно через час, и больше в тот день в кубрик никто не наведывался. Август выжидал почти до ночи, потом освободил себя от веревки и наручников и стал готовиться к спуску в трюм. На одной из коек нашлась бутылка, ее он наполнил водой из оставленного Питерсом кувшина и рассовал по карманам холодные картофелины. К его огромной радости, в каюте обнаружился фонарь с сальным огарком. Зажечь его он мог в любое время, потому что у него был коробок фосфорных спичек. Когда совсем стемнело, он пролез через отверстие в перегородке, предварительно сложив одеяло на койке так, чтобы казалось, будто под ним лежит человек. Очутившись на другой стороне, он, как и прежде, скрыл отверстие, повесив куртку на нож, что сделать было несложно, поскольку он не стал вставлять на место вырезанный кусок доски. Теперь он находился на нижней палубе и снова начал пробираться к главному люку между верхней палубой и бочками для ворвани. Оказавшись на месте, он зажег фонарь, спустился вниз и с огромным трудом, едва ли не на ощупь начал пробираться между завалами в трюме. Почти сразу он почувствовал непереносимую вонь и духоту и у него зародилось страшное подозрение, что я попросту мог не выдержать столь долгого заточения, дыша таким спертым воздухом. Он постоянно звал меня по имени, но я не откликался, и это подтверждало его опасения. Бриг бросало из стороны в сторону, и это сопровождалось таким шумом, что нечего было и думать услышать какой-нибудь тихий звук наподобие дыхания или храпа. Открыв заслонку фонаря, он поднимал его как можно выше при каждой возможности, чтобы я, если еще был жив, увидел свет и понял, что помощь близко. Но я не давал о себе знать, и предположение о моей смерти начало постепенно превращаться в уверенность. И все же он решил, если получится, добраться до ящика и убедиться, что не ошибся. Какое-то время он с тяжелым сердцем продвигался вперед, пока наконец не оказался на месте, где путь был загроможден так, что дальше идти не было никакой возможности. Чувства переполнили его, он бросился на бревна и зарыдал как ребенок. Тогда-то он и услышал звон разбитой мною бутылки. Поистине это было счастливое совпадение, ибо случайность эта, при всей незначительности, определила мою судьбу. Но я узнал об этом лишь через много лет. Природный стыд и сожаление о своей слабости и нерешительности не позволили Августу

сразу открыть мне то, в чем возникшие со временем более близкие и открытые отношения побудили признаться впоследствии. Обнаружив на пути непреодолимое препятствие, он решил оставить попытки добраться до меня и тотчас вернулся в кубрик. Но, прежде чем насылать на него проклятия за это, нужно вспомнить о тех обстоятельствах, которые осложняли его положение. Ночь близилась к концу, и его отсутствие в любую минуту могли обнаружить, и это произошло бы непременно, если бы он не успел вернуться в каюту до рассвета. Свеча в его фонаре догорала, и в темноте найти дорогу обратно к люку было бы крайне затруднительно. Нужно принять во внимание и то, что у него имелись причины полагать, что я умер, и потому так рисковать, чтобы добраться до моего ящика, просто не имело смысла. Я не отвечал на его призывы. К тому времени я провел в трюме одиннадцать дней и ночей лишь с тем запасом воды, который он оставил мне в кувшине и который я вряд ли стал бы экономить, поскольку у меня имелись все причины ожидать скорой развязки. Да и воздух в трюме после сравнительно открытой каюты ему должен был показаться совершенно ядовитым и гораздо более невыносимым, чем он показался мне, когда я только поселился в ящике — к тому времени люк оставался открытым на протяжении нескольких месяцев. Но я уверен, что, если добавить к этим соображениям еще те сцены кровопролития и зверств, совсем недавно случившихся на глазах у моего товарища, выпавшие на его долю лишения, тот факт, что он сам едва избежал смерти, его слабость и сохранявшееся двусмысленное положение — обстоятельства, как будто специально сложившиеся так, чтобы истощить душевные силы, — читатель отнесется к его несостоятельности в дружбе и в вере скорее с сочувствием, нежели с порицанием.

Звук разбившейся бутылки был слышен отчетливо, хотя Август не был уверен, что он донесся из трюма, однако тени сомнения оказалось достаточно, чтобы продолжить поиски. Он взобрался по грузу почти до нижней палубы и, дождавшись, когда качка немного стихла, выкрикнул мое имя изо всех сил, хоть и знал, что его могли услышать наверху. Нужно напомнить, что именно этот его крик я услышал, когда от волнения не смог ничего ответить. Уверившись в том, что его худшие опасения оправдались, он спустился, намереваясь не теряя времени вернуться в каюту, но в спешке опрокинул несколько

небольших ящиков, что вызвало шум, который я тоже услышал. Он уже проделал значительный путь обратно, когда падение ножа заставило его остановиться. Он тут же вернулся, снова вскарабкался на груз и опять, дождавшись затишья, так же громко, как прежде, позвал меня по имени. На этот раз я нашел в себе силы ответить. Обрадовавшись тому, что я все еще жив, он решил во что бы то ни стало добраться до меня, невзирая на сложности и опасность. Выбравшись из образованного грузом лабиринта, он наткнулся на шаткое бревно в завале и после долгой борьбы в состоянии полного изнеможения наконец оказался у моего ящика.

6

Все это я услышал от Августа, пока мы стояли у ящика. Подробности он поведал позже. Август очень боялся, что его хватят, а я, сгорая от нетерпения, рвался как можно скорее покинуть ненавистное место своего заключения. Мы решили сразу идти к дыре в перегородке, у которой я должен был остаться, пока он будет производить разведку. Ни ему, ни мне не хотелось оставлять Тигра в ящике, но как поступить с ним, мы не знали. Он сидел очень тихо — мы, приложив уши к ящику, не слышали даже дыхания, поэтому, решив, что он умер, я открыл дверь. Мы нашли его на полу, он лежал, растянувшись во весь рост, в глубоком оцепенении, но жизнь еще теплилась в нем. Времени терять было нельзя, но я не мог бросить животное, которое, можно сказать, дважды спасло мне жизнь, не попытавшись помочь ему. Мы взяли его на руки и понесли, хоть это было очень тяжело и мы падали от усталости, причем Август несколько раз был вынужден с огромной собакой на руках преодолевать препятствия — подвиг, на который я из-за крайней слабости был совершенно не способен. Наконец нам удалось дойти до дыры, через которую проник Август, и мы протиснули в нее Тигра. Все было спокойно, и мы искренне возблагодарили Господа за то, что Он уберег нас от неминуемой опасности. Предварительно было решено, что я останусь рядом с дырой, через которую Август сможет без труда передавать мне часть своего ежедневного пайка и где я смогу дышать более-менее чистым воздухом.

В объяснение тех частей моего рассказа, в которых я описываю корабельный груз и которые могут показаться сомнительными тем

моим читателям, кто видел, как по правилам должно загружаться судно, я должен заявить, что ответственность за столь небрежное исполнение этой крайне важной обязанности целиком и полностью лежит на капитане Барнарде, оказавшемся совсем не таким внимательным и опытным моряком, как того, очевидно, требовало исполнение столь важного служебного долга. Беспечность при погрузке судна недопустима, и я лично знаю множество примеров того, как халатность или нерадивость в этом деле становились причиной катастроф с самыми печальными последствиями. Каботажные суда, которые постоянно загружаются и разгружаются в спешке, чаще всего страдают от неправильного размещения грузов. Главная задача погрузчика — добиться того, чтобы груз или балласт оставался неподвижным даже при самой сильной качке. Чрезвычайно важно уделять особое внимание не только объему принимаемого груза, но и его характеру, а также тому, полностью будут заняты трюмы или частично. В большинстве случаев устойчивость груза достигается уплотнением. Так, скажем, табаком или мукой трюм заполняют настолько плотно, что тюки или мешки при разгрузке оказываются совершенно сплюснутыми и принимают изначальную форму только спустя время. Однако в подобных случаях к уплотнению прибегают в основном для того, чтобы максимально увеличить вместимость трюма, поскольку при полной загрузке такими продуктами, как мука или табак, смещения груза не происходит, по крайней мере, в той степени, чтобы представлять какую-то угрозу. Впрочем, известны инциденты, когда подобный вид погрузки приводил к самым печальным последствиям, вызванным, однако, причинами, никоим образом не связанными со сдвигом груза. К примеру, известен случай, когда уложенная при определенных условиях партия хлопка через какое-то время увеличилась в объеме и попросту разорвала корпус судна в открытом море. Не вызывает сомнения, что подобное могло бы происходить и при перевозке табака по причине свойственной ему ферментации, если бы не зазоры, появляющиеся между мешками из-за их округлости.

Опасность сдвига в основном возникает, когда трюм заполняется не полностью, и в таких случаях жизненно важно принимать необходимые меры предосторожности. Лишь те, кто встречался с диким яростным штормом, вернее, те, кто испытывал качку в

неожиданно наступающем после бури штиле, могут представить себе невероятную силу, с которой ныряет судно, и то, какую чудовищную движущую силу это придает находящимся на борту незакрепленным предметам. Именно такие случаи наглядно показывают необходимость тщательной укладки груза в незаполненном трюме. Когда судно с неправильно сконструированным баком (особенно с небольшим числом парусов) лежит в дрейфе, его часто кренит набок, что в среднем происходит каждые пятнадцать — двадцать минут, но без каких-либо серьезных последствий, если груз уложен правильно. Но если погрузке не было уделено должное внимание, при первом же сильном наклоне весь груз съезжает на ту сторону, которая лежит на воде, из-за чего судно теряет возможность вновь обрести равновесие, как непременно произошло бы в противном случае, в считанные секунды набирает воду и идет на дно. Не будет преувеличением сказать, что не меньше половины примеров, когда суда тонут во время шторма, происходят по причине смещения груза или балласта.

При перевозке штучного товара груз после его как можно более плотного размещения необходимо накрыть толстым слоем прочных досок по всей ширине судна. На эти доски следует установить временные стойки до бимсов — так все будет надежно закреплено. При перевозке зерна или подобных продуктов требуются дополнительные меры предосторожности. Трюм, полностью загруженный зерном на выходе из порта, в пункте назначения окажется заполненным на три четверти, хотя, если грузополучатель измерит зерно бушель за бушелем, его объем за счет разбухания в значительной степени увеличится по сравнению с отправленным. Это происходит за время пути в результате утряски, и утряска тем значительнее, чем хуже погода. Если же зерно просто засыпать в трюм, как ни крепи его досками и стойками, все равно за время долгого плавания оно сдвинется настолько, что может стать причиной губительных последствий. Дабы этого избежать, необходимо еще в порту перед отплытием принять все меры для того, чтобы утрясти груз наилучшим образом, и для этого существует множество приемов, среди которых можно упомянуть вбивание клиньев в зерно. Но даже после того, как все доски перекрытия надежно закреплены, ни один опытный моряк не будет чувствовать себя в полной безопасности с грузом зерна на борту даже в самый незначительный шторм, и менее

всего, если трюм заполнен не полностью. Однако сотни наших каботажных судов и, несомненно, во много раз больше судов из европейских портов ежедневно выходят в море с неполными трюмами даже самых опасных для перевозки товаров, не соблюдая никаких мер предосторожности. Поистине удивительно, что крушения не происходят еще чаще. Один прискорбный случай подобного безрассудства произошел, насколько мне известно, с Джоэлом Райсом, капитаном шхуны «Светлячок», которая в 1825 году вышла из Ричмонда, штат Виргиния, на Мадейру с грузом кукурузы. За плечами капитана было немало плаваний, и с ним ни разу не случилось скольконибудь серьезного происшествия, хотя он имел привычку не следить за погрузкой, разве что проверял, чтобы груз был закреплен как следует. Сыпучих грузов ему до сих пор возить не приходилось, и на этот раз он просто ссыпал кукурузу в трюм, не заполнив его и наполовину. Бóльшая часть путешествия проходила под легким бризом, но в дне пути от Мадейры его настиг штормовой норд-норд-ост, заставив лечь в дрейф. Капитан Райс развернул шхуну в бейдевинд[3], оставив лишь фок[4], взятый на второй риф, и она пошла, как полагается, не зачерпнув ни капли воды. К ночи ветер немного стих, и она начала раскачиваться сильнее, но по-прежнему держалась уверенно, пока сильный крен не положил ее на правый борт. После этого моряки слышали, как пересыпается кукуруза. Под ее напором был вырван главный люк, и судно камнем пошло ко дну. Произошло это на расстоянии слышимости от небольшого шлюпа с Мадейры, который подобрал одного из моряков (единственного, которому удалось спастись) и в полной сохранности преодолел шторм, что произошло бы и с любой лодкой при должном управлении.

«Косатка» была загружена крайне небрежно, если практически беспорядочное сваливание в кучу бочек для ворвани[5] вместе с предметами корабельного хозяйства вообще можно назвать загрузкой. Между составленными на нижней палубе горой бочками и верхней палубой, как я уже говорил, оставался просвет, достаточный для того, чтобы я мог в него протиснуться, кроме этого в трюме имелись и другие большие пустоты. Пустое место было оставлено вокруг главного люка. Рядом с отверстием, прорезанным в стене Августом, поместилась бы целая бочка, там я и расположился с удобством.

К тому времени как мой товарищ вернулся в каюту и надел на себя наручники и веревку, уже совсем рассвело. И надо сказать, что нам очень повезло, ибо, едва он с этим покончил, вниз спустился помощник капитана вместе с Дирком Питерсом и коком. Они какое-то время говорили о судне с островов Зеленого Мыса и, кажется, были весьма взволнованы его скорым появлением. Потом в каюту Августа вошел кок и сел рядом в изголовье койки. Мне в моем укрытии было все видно и слышно каждое слово, потому что вырезанный из стены кусок мы так и не вставили на место, и я ждал, что в любую секунду негр провалится через завешенное курткой отверстие и все откроется, после чего нас, конечно же, недолго думая пустят в расход. Однако удача не отвернулась от нас. Из-за качки он несколько раз прикасался к куртке, но не настолько сильно, чтобы почувствовать за ней пустоту. Нижняя часть куртки была предусмотрительно прикреплена к койке, чтобы она, случайно качнувшись, не открыла отверстие. Все это время Тигр лежал под койкой, и к нему, кажется, начали возвращаться силы, потому что я видел, как он время от времени открывал глаза и делал глубокие вдохи.

Через несколько минут первый помощник и кок поднялись наверх, оставив с Августом Дирка Питерса, который, как только они ушли, вошел в каюту и сел на то самое место, где только что сидел первый помощник. Он завел весьма оживленный разговор с Августом, и мы поняли, что его показное опьянение по большей части было притворством для отвода глаз помощника капитана и кока. Он совершенно спокойно и открыто отвечал на все вопросы, заверил Августа, что его отца наверняка подобрали, потому что в тот день, когда его посадили в лодку, перед самым закатом на горизонте он видел никак не меньше пяти парусников, и вообще всячески старался его утешить, что удивило меня не меньше, чем обрадовало. Более того, у меня зародилась надежда, что при посредничестве Питерса мы сможем захватить власть на бриге, и я упомянул об этом Августу при первой же возможности. Он счел это возможным, но тут же заметил, что в этом деле нужна крайняя осторожность, поскольку такое дружелюбное поведение метиса было, судя по всему, не более чем случайной блажью, мало того, невозможно было даже сказать, в своем ли он уме. Питерс ушел на палубу примерно после часа разговора с Августом и вернулся лишь в полдень с изрядным запасом солонины и

пудинга. Когда мы снова остались одни, я выбрался из своего убежища и наелся досыта. Больше в тот день в кубрик никто не спускался, и ночью я улегся на койку Августа и проспал блаженным сном почти до рассвета, когда он разбудил меня, услышав какое-то движение на палубе, после чего я поспешил вернуться в свой тайник. Когда стало совсем светло, мы заметили, что Тигр почти полностью восстановил силы и не обнаруживает никаких признаков водобоязни. Мы дали ему немного воды, и он с жадностью вылакал ее. В течение дня к нему вернулись прежние энергия и аппетит. Его необычное поведение, несомненно, было вызвано вредоносным воздухом в трюме и не было связано с собачьим бешенством. Я не нарадовался тому, что убедил Августа забрать его из ящика. То было тридцатое июня, тринадцатый день плавания.

Второго июля первый помощник спустился вниз, как всегда навеселе и в необычно приподнятом настроении. Он подошел к койке Августа и, хлопнув по спине, осведомился, не станет ли тот баловать, если он его отпустит, и обещает ли он не ходить больше в салон. На это мой друг, разумеется, ответил утвердительно, после чего негодяй снял с него наручники и веревку, предварительно заставив отпить из фляги с ромом, которую достал из кармана куртки. Они вместе ушли на палубу, и следующие три часа я Августа не видел. Затем он спустился с хорошей новостью: ему разрешили свободно перемещаться по носовой части брига вплоть до грот-мачты[6], а спать велели, как обычно, в кубрике. Он принес мне сытный обед и хороший запас воды. Бриг все еще курсировал в ожидании судна с островов Зеленого Мыса, и недавно на горизонте показался парус, как предполагалось, тот самый. Поскольку последующие восемь дней не ознаменовались сколько-нибудь важными событиями и не имеют непосредственного отношения к моему повествованию, я передам их в форме дневника, потому как не хочу их совсем пропускать.

3 июля. Август снабдил меня тремя одеялами, из которых в своем тайнике я обустроил уютное ложе. В течение дня в кубрик, кроме моего друга, никто не спускался. Тигр устроился под койкой у самой дыры в перегородке и долго крепко спал, как будто еще не совсем оправился. Вечером на бриг неожиданно налетел порыв сильного ветра, паруса убрать не успели, и судно едва не перевернулось. Сразу после этого шквал утих, не причинив вреда, лишь сорвал парус на фок-

мачте. Весь этот день Дирк Питерс держался с Августом приветливо, подолгу рассказывал ему о Тихом океане и о находящихся в этих водах островах, на которых бывал. Он спросил Августа, не хочет ли тот отправиться с бунтовщиками в своего рода исследовательскую экспедицию по тем широтам, и сообщил, что команда все больше склоняется на сторону помощника капитана. На это Август благоразумно ответил, что будет рад принять участие в таком приключении, раз ничего другого все равно не остается, и что это в любом случае предпочтительнее, чем пиратский промысел.

4 июля. Корабль на горизонте оказался небольшим бригом из Ливерпуля — его не тронули. Август почти все время проводил на палубе, где по мере сил собирал сведения о намерениях мятежников. Те часто ссорились, дело доходило до жестоких драк, в одной из которых гарпунер Джим Боннер был выброшен за борт. Джим Боннер входил в банду кока, к которой принадлежал и Питерс.

5 июля. На рассвете налетел мощный бриз с дождем, к полудню превратившийся в штормовой ветер, поэтому пришлось убрать все паруса, кроме триселя[7] и фока. Когда убрали фор-топсель[8], Симмс, один из матросов, также примыкавший к банде кока, упал с мачты в воду и утонул. Он был очень пьян, и попыток его спасти не предпринималось. Теперь на борту осталось тринадцать человек: Дирк Питерс; Сеймур, чернокожий кок; Джонс, Грили, Харман Роджерс и Уильям Аллен — все из группировки кока; первый помощник капитана, имени которого я так и не запомнил; Авессалом Хикс, Уилсон, Джон Хант и Ричард Паркер из группировки первого помощника; Август и я.

6 июля. Весь день продолжался шторм и лил дождь. В бриг сквозь щели натекло немало воды, поэтому один из насосов работал не переставая. Августа тоже подключили к работе. Как только стемнело, рядом с нами прошел большой корабль, причем никто не замечал его, пока он не оказался совсем рядом. Это было то самое судно, за которым охотились бунтовщики. Первый помощник окликнул его, но ответ потонул в реве шторма. В одиннадцать большая волна захлестнула середину корабля, вырвала большую часть левого фальшборта[9] и причинила другие незначительные повреждения. Ближе к утру погода успокоилась, и на рассвете ветер почти стих.

7 июля. Весь день море было беспокойным, и бриг, корабль легкий, немилосердно швыряло из стороны в сторону. В трюме многие вещи сорвались со своих мест, и я из своего убежища отчетливо слышал грохот внизу. Меня одолела морская болезнь. В этот день Питерс долго разговаривал с Августом и рассказал, что двое с его стороны, Грили и Аллен, перешли на сторону первого помощника и решили стать пиратами. Он задал Августу несколько вопросов, которых тот не понял. Вечером корабль дал течь, и с этим ничего нельзя было поделать, поскольку вода заливалась через швы, расширившиеся из-за сильного напряжения, которое испытывал корпус. Пришлось отрезать кусок паруса и завести его под нос, что помогло до определенной степени уменьшить течь.

8 июля. На восходе с востока подул легкий бриз, и первый помощник направил бриг на юго-запад к Вест-Индским островам, намереваясь заняться пиратством. Ни Питерс, ни кок возражать не стали, во всяком случае, Август ни о чем таком не слышал. От идеи захвата корабля с островов Зеленого Мыса отказались. С течью теперь без труда справлялись, достаточно было каждые три четверти часа откачивать воду одним из насосов. Парус из-под носа убрали. За день обменялись приветствиями с двумя небольшими шхунами.

9 июля. Хорошая погода. Все заняты починкой фальшборта. Питерс опять долго беседовал с Августом и был как никогда откровенен. Он сказал, что ничто не заставит его принять сторону первого помощника, и даже намекал, что подумывает, не отобрать ли у него бриг. Потом он спросил моего друга, может ли он рассчитывать на его помощь, если это произойдет, на что Август без колебаний ответил: «Да». Тогда Питерс сказал, что проверит остальных на этот счет, и ушел. Больше в тот день у Августа не было возможности поговорить с ним наедине.

7

10 июля. Встретили бриг из Рио-де-Жанейро, идущий в Норфолк. Погода туманная, с востока дует легкий встречный ветер. Сегодня умер Хартман Роджерс, у которого восьмого числа после выпитой кружки грога начались судороги. Это был человек из группировки кока, и именно на него Питерс рассчитывал больше всего. Питерс рассказал Августу о своих подозрениях, что первый помощник отравил Роджерса, и сказал, что, если он не будет постоянно начеку,

скоро придет его очередь. Теперь вся группировка Питерса состояла из него самого, Джонса и кока. С другой стороны было пять человек. Он попытался заговорить с Джонсом о захвате власти на корабле, но, поскольку затея эта была воспринята прохладно, решил не продолжать разговор и не ставить в известность кока. Подобная предусмотрительность оказалась весьма кстати, поскольку уже на следующее утро кок заговорил о том, что собирается примкнуть к первому помощнику, что вскорости и сделал, уже в открытую, а Джонс воспользовался случаем, чтобы поссориться с Питерсом, и пригрозил рассказать первому помощнику о его планах. Времени терять было нельзя, и Питерс заявил о намерении захватить судно любой ценой, если, конечно, Август готов помочь. Мой друг тут же заверил его, что ради этого готов поддержать любой план, и, посчитав, что настало подходящее время, сообщил ему о моем пребывании на борту. Это известие полукровку удивило не меньше, чем обрадовало, потому что на Джонса он перестал надеяться, полагая, что тот уже переметнулся к первому помощнику. Они тут же вместе спустились в кубрик, Август позвал меня, и вскоре я познакомился с Питерсом. Было решено не тянуть и попытаться захватить судно при первой же возможности, не посвящая в наши планы Джонса. В случае успеха мы должны были отвести бриг в ближайший порт и сдать его властям. Предательство сторонников Питерса сорвало его планы относительно путешествия в Тихий океан, что невозможно было сделать без команды, и он рассчитывал либо на оправдание во время суда по причине умопомешательства (которое, как он клятвенно уверял, и побудило его ввязаться в бунт), либо, если его признают виновным, на поблажку после нашего с Августом заступничества. Наше совещание было прервано криком: «Все наверх, убрать парус!», и Питерс с Августом побежали на палубу.

Как обычно, почти вся команда была пьяна, и, прежде чем парус был убран, порыв шквалистого ветра положил бриг набок. Однако потом судно снова встало ровно, хоть и набрало много воды. Едва на палубе все привели в порядок, налетел новый шквал, а сразу за ним еще один, правда, не причинив вреда. Все указывало на скорый шторм, и тот не замедлил обрушиться на нас с бешеной силой с северо-запада. Когда все было по мере сил закреплено, мы как обычно легли в дрейф под глухо зарифленным фоком. К ночи ветер стал еще яростнее, море

вздыбилось огромными волнами. Питерс вновь спустился в кубрик, и мы продолжили разговор.

Все мы согласились, что настало самое удобное время для того, чтобы привести наш план в действие, поскольку сейчас ничего подобного никто не ожидал. Пока бриг шел дрейфом, не было необходимости им управлять до наступления хорошей погоды, когда мы в случае удачи смогли бы освободить одного-двух человек, чтобы помочь нам дойти до порта. Главная сложность заключалась в неравенстве сил. Нас было всего трое, а в кают-компании — девятеро. Все имеющееся на борту оружие также находилось в их распоряжении, кроме двух спрятанных Питерсом маленьких пистолетов и большого ножа, который он все время носил за поясом. Кроме того, определенные признаки — как, к примеру, отсутствие на обычном месте топора или гандшпуга[10] — указывали на то, что первый помощник что-то подозревает, во всяком случае, относительно Питерса, и не упустит возможности избавиться от него. Сомнений не оставалось: то, что мы задумали, нужно делать как можно скорее. И все же шансы на успех были слишком малы, чтобы предпринимать какие-то необдуманные шаги.

Питерс предложил такой план: он поднимается на палубу, заводит разговор с вахтенным (Алленом) и без труда сталкивает его за борт, как только появляется возможность сделать это, не поднимая шума. После этого мы с Августом поднимаемся наверх, вооружаемся чем-нибудь из предметов, находящихся на палубе, а потом мы втроем перекрываем выход из кают-компании, прежде чем кто-то успеет оказать сопротивление. Против этого я стал возражать, так как не верил, что первый помощник капитана, хитрая бестия (правда, при этом крайне суеверный человек), позволит себя так просто поймать. Да и само наличие на палубе вахтенного указывало на то, что он настороже, потому что выставлять вахтенного, когда судно дрейфует во время шторма, принято лишь на тех судах, где поддерживается строжайшая дисциплина. Поскольку большинство моих читателей, если не все, никогда не бывали в море, здесь нужно объяснить, что именно происходит с судном при таких условиях. Судно ложится в дрейф, или, как говорят моряки, дрейфует, в разных случаях, и делать это можно различными способами. При умеренных погодных условиях это часто делается для того, например, чтобы заставить судно стоять на месте в

ожидании другого судна. Если на судне, которое ложится в дрейф, подняты паруса, для совершения этого маневра некоторые паруса разворачивают другой стороной к ветру, и судно останавливается. Но мы сейчас говорим о дрейфе при штормовой погоде. В таких условиях это делается при встречном ветре, который настолько силен, что при поднятых парусах может перевернуть судно, а иногда и при умеренном ветре, когда волнение моря слишком велико, чтобы идти полным курсом. Если убравшему паруса судну приходится идти под штормовым ветром в очень беспокойном море, как правило, оно получает значительные повреждения от захлестывающих корму волн, а иногда и от того, что ему приходится, падая с большой высоты, погружаться носом в воду. Таким образом, к данному маневру в подобных условиях без крайней необходимости прибегают очень редко. Когда судно дает течь, его часто пускают по ветру, даже при самом сильном шторме, потому что при дрейфе от сильного давления швы расходятся, чего не происходит при скольжении по ветру. Часто бывает необходимо пустить судно полным курсом, когда ветер настолько силен, что может разорвать в клочья парус, поставленный для поворота против ветра, а также когда из-за ошибок конструкции корпуса или по иным причинам совершить этот маневр невозможно.

При штормовом ветре суда ложатся в дрейф по-разному, в зависимости от особенностей их конструкции. Некоторые лучше всего это делают под фоком, и, насколько мне известно, этот способ самый распространенный. Большие суда с прямым парусным вооружением имеют для этого специальные паруса, называемые штормовыми стакселями. Иногда используется один кливер, изредка — кливер вместе с фоком или фок, взятый на два рифа, а нередко бывает, что и кормовые паруса. Очень часто оказывается, что фор-марсели[11] для этих целей подходят лучше других видов парусов. «Косатка» обычно ложилась в дрейф под глухо зарифленным фоком.

Когда судно готовится лечь в дрейф, его разворачивают к ветру ровно настолько, чтобы поднятый парус забрал ветер, после чего его обстенивают, то есть разворачивают диагонально по отношению к корпусу. Когда это сделано, нос смещают на несколько градусов от направления, откуда дует ветер, и передняя наветренная сторона судна, разумеется, принимает на себя удар волн. В таком положении хороший корабль выдержит и самый сильный шторм, не набрав ни капли воды и

не требуя дополнительных усилий со стороны команды, причем руль обычно закрепляют, но это не обязательно, если не мешает шум, который он издает в свободном состоянии, потому что при дрейфе положение руля не имеет значения. Более того, штурвал даже предпочтительнее не закреплять, потому что, если у руля не будет пространства, чтобы «играть», его может сорвать сильными волнами. Пока парус выдерживает ветер, хорошо смоделированное судно будет сохранять устойчивость и выдержит любую волну, как живое существо, наделенное разумом и жаждой жизни. В то же время, если ветер разрывает парус на куски (что в обычных условиях под силу только настоящему урагану), это чревато самыми непредсказуемыми и опасными последствиями. Судно теряет ветер, становится боком к волнам и оказывается полностью во власти моря. В таком случае единственный выход — медленно развернуть судно носом к ветру и поставить какой-нибудь другой парус. Некоторые суда ложатся в дрейф вовсе без парусов, но этот способ ненадежен и в море рассчитывать на него нельзя.

Однако отступление затянулось. Первый помощник капитана не имел привычки выставлять вахтенного во время штормового дрейфа, и то, что он так поступил сейчас, вместе с исчезновением топоров и гандшпугов убедило нас в том, что команду заставить врасплах предложенным Питерсом способом не удастся. Тем не менее что-то нужно было делать, причем как можно скорее, поскольку мы знали, что, если первый помощник в чем-то заподозрил Питерса, он избавится от него при первой же возможности, и найти решение или что-то предпринять было необходимо, пока не закончился шторм.

Август предложил под каким-нибудь предлогом убрать с люка в кают-компанию цепь, что дало бы нам возможность неожиданно напасть на них, пройдя через трюм, но, поразмыслив, мы пришли к выводу, что при такой качке сделать это невозможно.

По счастью, мне в голову пришла идея сыграть на суеверных страхах и нечистой совести первого помощника. Напомню: один из команды, Хартман Роджерс, умер тем утром после того, как два дня назад выпил грогу с водой и у него начались судороги. Питерс предполагал, что его отравил первый помощник, и на то у него имелись, как утверждал полукровка, неоспоримые причины. Уговорить его открыть их нам не удалось, но это упрямство вполне

соответствовало его характеру. Впрочем, действительно он имел основания подозревать первого помощника или нет, мы с готовностью с ним согласились и решили действовать соответственно.

Роджерс скончался примерно в одиннадцать часов утра в страшных конвульсиях, и спустя несколько минут после смерти его труп являл собою одно из самых отвратительных и ужасающих зрелищ, которые мне когда-либо доводилось видеть. Живот его неимоверно раздулся, как у утопленника, пролежавшего под водой несколько недель. Руки были в таком же состоянии, но лицо ссохлось и побледнело как мел, и лишь на впавших щеках краснели несколько пятен, подобных тем, какие возникают при рожистом воспалении: одно из этих пятен шло по всему лицу через глаз, как будто голова его была опоясана красной бархатной лентой. Когда тело в этом жутком состоянии в полдень вынесли из кают-компания, чтобы выбросить в море, его заметил первый помощник (до этого он его не видел) и, то ли почувствовав угрызения совести от содеянного злодеяния, то ли придя в ужас от увиденного, приказал зашить тело в гамак и провести похороны по морским правилам. После этого он спустился вниз, как будто не хотел больше видеть свою жертву. Пока матросы готовили тело, налетел шторм, и похороны пришлось отложить. Брошенное тело водой прибило к шпигатам[12] на левом борту и било о него при каждом движении брига.

Определившись с планом, мы немедленно приступили к его исполнению. Питерс поднялся на палубу и, как ожидалось, был тотчас окликнут Алленом, который, судя по всему, был поставлен там в первую очередь для наблюдения за кубриком, нежели для каких-либо иных целей. Но участь этого негодяя была решена быстро: Питерс подошел к нему с беззаботным видом, будто чтобы поговорить, резко схватил за горло и швырнул за борт так, что тот и вскрикнуть не успел. Потом он позвал нас, и мы поднялись на палубу. Первым делом нам нужно было найти какое-нибудь оружие, и делать это необходимо было с величайшей осторожностью, ибо из-за гигантских волн, захлестывавших бриг, когда он зарывался носом в воду, на палубе нужно было все время держаться за что-то. Кроме того, это было крайне необходимо еще и потому, что с минуты на минуту помощник капитана мог подняться на палубу, чтобы поставить людей к насосам, так как было очевидно, что судно стремительно набирает воду. После

недолгих поисков мы не нашли ничего более подходящего для наших целей, чем две ручки от насоса, одну взял Август, вторую — я. Затем мы сняли с трупа Роджерса рубашку и бросили тело за борт, после чего мы с Питерсом спустились вниз, оставив Августа сторожить палубу, где он встал в том же месте, где находился Аллен, повернувшись спиной к трапу в кают-компанию, чтобы его приняли за вахтенного, если кому-нибудь из банды помощника капитана вздумается подняться на палубу.

Едва мы спустились, я начал преобразование в труп Роджерса. Рубашка, которую мы сняли с тела, сильно помогла нам, потому что она была очень необычного, легкоузнаваемого кроя, нечто вроде блузы, которую покойный надевал поверх другой одежды, напоминающей синий мешок в широкую белую поперечную полоску. Облачившись в нее, я стал думать, как приделать себе фальшивый живот, чтобы изобразить жуткое уродство распухшего трупа, и вскоре приспособил для этого простыню. Затем я придал такой же вид рукам с помощью белых шерстяных рукавиц, в которые набил найденные тут же тряпки. Потом Питерс взялся за мое лицо: сначала натер его мелом, а потом наставил пятен кровью, для чего порезал себе палец. Не забыта была и полоса через глаз, которую он изобразил ужасающе правдоподобно.

8

Когда я увидел себя в висевшем в каюте осколке зеркала при тусклом свете переносного фонаря, от собственного вида и от воспоминания о страшной действительности, которую я копировал, меня охватило ощущение безотчетного ужаса и бросило в дрожь. Едва ли я смог бы найти в себе силы исполнить эту роль, но действовать нужно было решительно, и мы с Питерсом поднялись на палубу.

Там было спокойно, и мы втроем, прижимаясь к борту, подкрались к трапу в кают-компанию. Люк был приоткрыт, и специально для того, чтобы никто снаружи не смог его неожиданно закрыть, крышку подпирали деревянные чурбаки, установленные на верхней ступеньке. Через щель у петель мы могли прекрасно рассмотреть все, что происходило внутри. Нам очень повезло, что мы отказались от плана захватить их врасплох, потому что наши противники явно были настороже. Лишь один из них спал, лежа прямо под трапом с

мушкетом под боком. Остальные сидели на матрацах, которые вытащили из кают и бросили на пол, оживленно разговаривали и пили, на что указывали два пустых кувшина и несколько оловянных кружек на полу, но были не так пьяны, как обычно. У всех имелись ножи, кое у кого пистолеты, под рукой лежало несколько мушкетов.

Мы какое-то время слушали их разговор, думая, как поступить, поскольку до сих пор толком ничего не решили — только что нападать будем после того, как парализуем их силу воли явлением Роджерса. Они обсуждали свои пиратские планы: судя по тому, что нам удалось расслышать, собирались объединиться с командой какой-то шхуны «Шершень» и, если получится, прибрать шхуну к рукам, чтобы потом использовать ее для какой-то более масштабной операции, подробностей которой никто из нас не разобрал. Один из них заговорил о Питерсе, и первый помощник что-то ответил ему тихо, так, что не разобрать, а потом добавил громче, что не понимает, «почему он все обхаживает этого капитанского ублюдка в баке», и думает, что «чем скорее их обоих отправить за борт, тем лучше». На это ему ничего не ответили, но было видно, что вся компания с готовностью поняла намек, в особенности Джонс. К тому времени мое волнение усилилось из-за того, что ни Август, ни Питерс не понимали, как действовать. Впрочем, я уже решил, что свою жизнь продам как можно дороже и не позволю себе поддаться страху.

Оглушительный свист ветра в снастях и грохот обрушивающихся на палубу волн мешали нам слушать, и понять, о чем говорили внизу, можно было лишь в короткие мгновения затишья. Вдруг мы отчетливо услышали, как первый помощник сказал кому-то: «Пойди присмотри за ними. Я не хочу, чтобы они что-то затеяли». Хорошо, что сильнейшая качка помешала немедленному выполнению приказа. Когда кок поднялся с матраца, чтобы идти к нам, сильнейший крен, от которого чуть не сломались мачты, швырнул его на одну из дверей в каюты, отчего та распахнулась и поднялась общая суматоха. К счастью, никого из нас не сорвало с места и нам хватило времени поспешно отступить к баку и быстро составить план действий, прежде чем появился посланник первого помощника, точнее, прежде чем из люка показалась его голова, потому что на палубу он так и не вышел. С этого места он не мог заметить отсутствие Аллена и потому прокричал

ему указания первого помощника. Питерс крикнул ему в ответ измененным голосом: «Есть», и тот скрылся, ничего не заподозрив.

После этого мои товарищи смело вышли на нос брига и спустились в кают-компанию; Питерс закрыл за собой люк. Первый помощник встретил их с притворным радушием и сказал Августу, что, раз он вел себя паинькой, теперь ему позволено занять место в кают-компании и в будущем стать одним из них. Потом он налил ему полкружки рому и заставил выпить. Все это я видел и слышал, потому что бросился следом за друзьями, как только за ними закрылась дверь, и занял прежнее место наблюдения. С собой я принес две рукоятки от насоса и одну положил рядом, чтобы в случае чего незамедлительно пустить ее в дело.

Я устроился у люка так, чтобы было удобнее наблюдать за всем, что происходит внизу, и попытался успокоить себя перед предстоящим: мы договорились, что я по условному сигналу Питерса явлюсь мятежникам в образе Роджерса. Вскоре ему удалось перевести разговор на кровавые последствия мятежа, а потом мало-помалу подвести его к теме суеверий, которые очень распространены среди моряков. Я не мог разобрать, что говорилось, зато по физиономиям присутствовавших прекрасно понимал, какое воздействие производит на них этот разговор. Первому помощнику явно стало не по себе, и, когда кто-то упомянул о том, как выглядел труп Роджерса, мне показалось, он чуть не сомлел. Тут Питерс спросил, не выбросить ли тело за борт, потому что жутко смотреть, как оно перекатывается по палубе у шпигатов. Негодяй чуть не задохнулся и медленно повернул голову, осматривая своих товарищей, как будто умоляя, чтобы кто-нибудь встал и сделал это. Но никто не пошевелился, и было видно, что вся компания страшно напугана. Тогда Питерс подал мне условный знак. Я тут же распахнул дверь, не произнося ни звука, спустился в кают-компанию и остановился прямо посреди сборища.

Сильнейший эффект, который произвело это явление, не так уж удивителен, если принять во внимание сопутствовавшие ему обстоятельства. Обычно в подобных случаях разум свидетеля сохраняет проблеск сомнения относительно того, что предстало перед его глазами, некоторую надежду, пусть даже самую слабую, на то, что он стал жертвой розыгрыша, и на то, что призрак в действительности не является гостем из древнего мира теней. Было бы преувеличением заявлять, что подобные сомнения сопровождают почти каждое явление такого рода и что парализующий ужас, который порой при этом ощущают, следует считать, даже в самых очевидных случаях, когда сила воздействия наиболее велика, скорее страхом ожидания, нежели страхом, вызванным твердой уверенностью в реальности потустороннего явления. Однако в данном случае сразу становится понятно, что в головах бунтовщиков не было даже тени сомнения в том, что им действительно явился отвратительный труп Роджерса или, по меньшей мере, его дух. Обособленное положение брига, его абсолютная недоступность, обусловленная штормом, ограничились средства обмана до такой степени, что они, вероятно, полагали, будто распознают подвох с первого взгляда. К этому времени они провели в море уже двадцать четыре дня, ни с кем не общаясь, и лишь перекликались со встречными судами. К тому же вся команда — во всяком случае, те ее члены, о присутствии которых на борту они имели основания подозревать, — находилась в кают-компании, за исключением Аллена, вахтенного, но его фигура огромного роста (шесть футов шесть дюймов) была им слишком хорошо знакома, чтобы у них хотя бы на мгновение появилось подозрение, что это он изображает призрака. Прибавьте к этим соображениям ужасающий шторм и разговоры, затеянные Питерсом; сильнейшее впечатление, которое произвел на них этим утром мерзостный вид настоящего трупа; мой превосходный грим и неверный, беспокойный от раскачивающегося взад-вперед фонаря свет, в котором они увидели меня, и не придется удивляться, что наше представление оказалось даже успешнее, чем мы ожидали. Первый помощник вскочил с матраса и, не издав ни звука, замертво рухнул на пол, сильнейшей качкой его, как бревно, откатило к подветренному борту. Что до оставшихся семерых, то лишь трое вначале сохранили подобие присутствия духа. Четверо приросли к полу, не в силах шевельнуться,

— никогда мне не доводилось видеть более жалких жертв ужаса и совершеннейшего отчаяния. Противостоять нам попытались лишь кок, Джон Хант и Ричард Паркер, но их сопротивление оказалось слабым и недостаточно решительным. Первых двоих сразу застрелил Питерс, а Паркера я свалил ударом рукоятки насоса, которую принес с собой. Август тем временем схватил один из лежавших на полу мушкетов и выстрелил в грудь еще одному бунтовщику, Уилсону. Осталось трое. К этому времени они уже начали пробуждаться от оцепенения и, вероятно, сообразили, что их обманули, потому что отчаянно бросились на нас, и, если бы не огромная физическая сила Питерса, вполне возможно, одолели бы нас. Эти трое были Джонс, Грили и Авессалом Хикс. Джонс бросил Августа на пол, несколько раз ударил его ножом по правой руке и наверняка вскоре прикончил бы (мы с Питерсом не могли ему помочь, потому что боролись со своими противниками), если бы не своевременная помощь друга, на поддержку которого мы никак не могли рассчитывать. Другом этим был не кто иной, как Тигр. С глухим рычанием он ворвался в кают-компанию в решающую для Августа минуту и, бросившись на Джонса, вмиг прижал его к полу. Однако Август был слишком серьезно ранен, чтобы оказать нам хоть какую-то помощь, а я так запутался в своем одеянии, что тоже проку было немного. Но пес не отпускал горло Джонса, а Питерс был гораздо сильнее двух оставшихся противников и наверняка давно прикончил бы обоих, если бы не теснота помещения и сильнейшая качка. Наконец он смог схватить один из валявшихся вокруг табуретов и вышиб мозги Грили, пока тот целился в меня из мушкета. Очередной крен судна бросил Питерса прямо на Хикса, которого он взял за горло и задушил голыми руками. Итак, мы завладели бригом, на что у нас ушло меньше времени, чем понадобилось мне, чтобы рассказать об этом. Единственным выжившим из наших противников оказался Ричард Паркер. Напомню, что это его я сбил с ног ударом рукоятки насоса в самом начале драки. Теперь он лежал недвижимый у двери разгромленной кают-компании, но, когда Питерс тронул его ногой, ожил и стал молить о пощаде. Кроме слегка рассеченной кожи на голове, других ран у него не было, удар его просто оглушил. Он поднялся, и мы на всякий случай связали ему руки за спиной. Пес продолжал рычать над Джонсом, но, осмотрев несчастного, мы обнаружили, что тот мертв, кровь текла ручьем из

глубокой раны у него на шее, наверняка причиненной острыми клыками животного.

Был час ночи, и ветер продолжал дуть с невероятной силой. Бриг отяжелел, и было совершенно необходимо откачать хоть немного воды. Всякий раз, когда судно кренилось в подветренную сторону, волны захлестывали палубу и проникали даже в кают-компанию: во время драки, спускаясь, я оставил дверь открытой. На левой стороне водой сорвало целый сегмент фальшборта, равно как и камбуз, и шлюпку с кормового подзора[13]. Скрип и раскачивание грот-мачты тоже указывали на то, что она повреждена. Чтобы выгадать место в трюме для груза, основание мачты было закреплено между палубами (к этой недостойной практике иногда прибегают нерадивые корабли), и теперь она угрожала в любую секунду выйти из степса[14]. Но венцом наших трудностей стало то, что мы набрали воды в трюм, причем не меньше семи футов.

Оставив тела в кают-компании, мы немедленно взялись за насосы, Паркера, естественно, развязали, чтобы он мог помогать. Руку Августу мы кое-как перевязали, и он по мере сил старался помогать, но проку от него было немного. Однако мы выяснили, что предотвратить дальнейшее заполнение трюма можно только в том случае, если один из насосов будет работать не переставая. Поскольку нас было всего четверо, труд предстоял нелегкий, но мы не унывали и с нетерпением ждали рассвета, когда надеялись срубить грот-мачту, чтобы облегчить судно.

Так в трудах и тревоге прошла ночь, но с наступлением дня шторм не стих и никакой надежды на это не было. Мы вынесли тела на палубу и бросили за борт. Теперь нам предстояло избавиться от грот-мачты. После необходимых приготовлений Питерс принялся ее рубить (топоры мы нашли в кают-компании), а мы отошли к штагам и вантам. Когда бриг накренился в подветренную сторону, Питерс велел нам рубить наветренные ванты. После того как это было сделано, деревянная мачта вместе с такелажем всей массой обрушилась с брига в море, не причинив никаких разрушений. Судно стало заметно легче, но наше положение продолжало оставаться весьма ненадежным и, несмотря на все усилия, мы не могли бороться с течью, не используя обоих насосов. Август существенной помощи оказать не мог. Вдобавок к нашим трудностям сильная волна, ударившая бриг в наветренную

сторону, развернула его на несколько румбов, и, прежде чем судно успело вернуться в прежнее положение, другой вал повалил его набок. Балласт мгновенно переместился на подветренную сторону (из трюма уже какое-то время раздавался беспорядочный грохот сорванного груза), и мы уже решили, что вот-вот перевернемся, но через какое-то время бриг частично выпрямился, однако, поскольку балласт так и оставался на подветренной стороне, о том, чтобы откачивать воду, нечего было и думать, да и в любом случае мы не могли этого делать, потому что растерли руки в кровь так, что на них страшно было смотреть.

Паркер отговаривал, но мы начали рубить фок-мачту, что было не так-то просто из-за положения, в котором находилось судно. Наконец она обрушилась, сбив бушприт[15], после чего от «Косатки» остался один корпус.

До сих пор мы тешили себя надеждой, что у нас есть баркас, который не повредила ни одна из огромных волн, захлестывавших палубу. Теперь же радоваться было нечему, поскольку фок-мачта забрала с собой фок, который удерживал бриг в равновесии, и мы оказались полностью во власти стихии. Через пять минут по палубе уже гуляли волны от кормы до носа, сорвав баркас и правый фальшборт и даже разбив на куски брашпиль[16]. Более жалкое положение невозможно было представить.

В полдень море как будто начало понемногу успокаиваться, но нас ждало глубокое разочарование, потому что, притихнув на несколько минут, шторм разразился с удвоенной силой. Примерно к четырем часам дня удары волн достигли такой силы, что устоять на ногах уже было невозможно, а когда наступила ночь, у меня не осталось никакой надежды, что судно выдержит до утра.

К полуночи мы погрузились в воду по нижнюю палубу, потом лишились руля. Волна, вырвавшая его, подняла высоко в воздух заднюю часть брига и обрушила на воду с силой удара об землю. Мы думали, что руль будет держаться до последнего, потому что он был необычайно крепок, ни до, ни после мне не приходилось видеть такой прочной конструкции. Вдоль основного деревянного бруса шел ряд крепких металлических скоб, такие же скобы охватывали форштевень. Сквозь эти скобы был пропущен очень толстый кованый стержень, на котором вращался присоединенный таким образом к форштевню руль.

О чудовищной силе сорвавшей его волны можно судить по тому факту, что скобы на форштевне, которые прошивали его насквозь и были загнуты изнутри, оказались все до единой вырваны из древесины.

Едва мы отдышались после мощнейшего сотрясения, гигантская волна, больше которой мне к тому времени видеть не доводилось, поднялась над нами и ринулась прямо на палубу, сметая входной трап, срывая крышки люков и наполняя судно водой.

9

Ближе к полуночи мы крепко привязали себя к обломкам брашпиля и легли на палубу плашмя — и лишь благодаря этому не погибли. Мы были оглушены невероятным весом воды, которая низверглась на нас, так что мы чуть не захлебнулись. Едва отдышавшись, я окликнул товарищей. Отозвался только Август: «Пропали мы. Да смилуется Господь над нашими душами!» Мало-помалу и остальные пришли в себя. Они убеждали нас не отчаиваться, потому что надежда еще оставалась: груз наш был такого рода, что бриг не мог утонуть, а к утру шторм обещал успокоиться. Эти слова вдохнули в меня новую жизнь, ибо, как ни странно, несмотря на то что судно, груженное пустыми бочками для ворвани, действительно не могло утонуть, у меня в мыслях царило такое смятение, что это соображение даже не пришло мне в голову, и опасность оказалась не такой уж неотвратимой, как мне представлялось. Надежда окрылила меня. Я использовал любую возможность, чтобы привязать себя покрепче к куску брашпиля, и вскоре обнаружил, что мои товарищи тоже занялись делом. Кромешная тьма, ужасающий грохот и хаос, окружавшие нас, не поддаются описанию. Палуба находилась вровень с поверхностью воды, точнее, нас окружали вздымающиеся пенные гребни, то и дело захлестывавшие нас. Не будет преувеличением сказать, что наши головы выныривали из-под воды не чаще, чем раз в три секунды. Хотя мы лежали совсем рядом, ни один не видел остальных и даже самого брига, по палубе которого нас так немилосердно бросало. Время от времени мы перекликались, чтобы внушить надежду, утешить и ободрить тех из нас, кто в этом больше всего нуждался. Вконец ослабевший Август стал предметом всеобщей заботы, в основном из-за состояния его правой руки. Сам он не смог привязать себя надежно, и мы даже какое-то время думали, что его смыло, хотя о том, чтобы

оказать ему помощь, нечего было и думать. К счастью, из всех нас он находился в самом безопасном положении: верхняя часть тела его была скрыта под обломками брашпиля, и волны, разбиваясь о них, значительно теряли в силе. Окажись Август не под прикрытием брашпиля, куда его отнесло после того, как он привязался на открытом месте, а в любой другой точке, мой товарищ не протянул бы до утра. Да и у всех нас из-за слишком сильного крена судна шансов оказаться смытыми волнами было меньше, чем в любом другом его положении. Крен, как я уже говорил, приходился на левый борт, и половина палубы все время находилась под водой. Волны разбивались о правый борт и достигали нас, лежащих ничком, лишь частично, а те, что докатывались до левого борта, не могли причинить нам особого вреда.

В таком страшном положении мы оставались до рассвета, который явил нашему взору весь окружающий нас ужас. Бриг, как бревно, раскачивался на волнах, пребывая в полной власти моря, шторм усиливался и уже превратился в настоящий ураган, помощи ждать было неоткуда. Несколько часов мы хранили молчание, думая, что вот-вот лопнут наши веревки, что обломки брашпиля смоем с борта или что один из огромных валов, ревавших вокруг нас и над нами, отправит корпус брига так глубоко под воду, что мы захлебнемся, прежде чем он снова поднимется на поверхность. Однако милость Господня избавила нас от этих неминуемых бед, и примерно в полдень мы возрадовались проблеску благословенного солнца. Вскоре после этого ветер заметно стих, и впервые со вчерашнего вечера Август заговорил, спросив Питерса, который лежал к нему ближе всех, возможно ли спасение. Поскольку сразу ответа не последовало, мы решили, что метис захлебнулся, но потом, к нашему величайшему облегчению, он заговорил, хоть и очень слабым голосом, сказав, что испытывает адскую боль из-за перетягивавших живот веревок и что умрет, если их как-то не ослабить, поскольку больше выносить эту муку не может. Слова его нас огорчили и встревожили, потому что, пока море не успокоится, никто из нас не смог бы ему помочь никоим образом. Мы призывали его крепиться и пообещали освободить при первом удобном случае. На это он ответил, что скоро будет поздно, что не дотянет до того времени, когда мы сможем помочь ему, а потом, несколько минут постолав, затих, и мы решили, что он умер.

К вечеру море успокоилось настолько, что, может быть, одна волна разбивалась о наветренную сторону корпуса «Косатки» за пять минут, а ветер значительно утих, хоть и продолжал дуть с огромной скоростью. Несколько часов я не слышал от своих товарищей ни слова и в конце концов решил позвать Августа. Он ответил, но так тихо, что я не сумел разобрать сказанного. Потом я окликнул Питерса и Паркера, но те не отозвались.

Вскоре после этого я впал в состояние какого-то полубытья, и воображение мое породило самые приятные образы: качающиеся зеленые деревья, колосющиеся на ветру поля спелой ржи, танцующие девы, кавалерийские отряды и прочие фантазии. Сейчас я вспоминаю, что все, представившееся мне тогда, объединяла общая идея — движение. Мне не привиделся ни один неподвижный объект, как дом, например, или гора, или что-то в этом роде — сплошные мельницы, корабли, огромные птицы, воздушные шары, люди на лошадях, несущиеся экипажи и прочие подобные предметы. Очнувшись, я, насколько можно было судить по положению солнца, около часу дня. С огромным трудом мне удалось вспомнить различные обстоятельства, связанные с моим положением, и какое-то время я даже был твердо убежден, что по-прежнему нахожусь в трюме брига, рядом со своим ящиком, и что тело Паркера — это тело Тигра.

Наконец, придя в себя окончательно, я обнаружил, что ветер превратился в легкий бриз, а море относительно спокойно и лишь редкие волны перекатываются через палубу. Моя левая рука выскользнула из-под перевязи, и над локтем показался сильный порез, правая совершенно занемела, а перетянутые веревкой кисть и запястье непомерно распухли. Сильнейшую боль причиняла и другая веревка, та, которая перехватывала талию и была затянута невероятно туго. Посмотрев на своих товарищей, я увидел, что Питерс еще жив, хотя широкая веревка с такой силой пережимала его поясицу, что он казался перерезанным пополам, и, когда я пошевелился, он слабо двинул рукой, указывая на веревку. Август, лежавший на обломке брашпиля, был согнут почти пополам и не подавал признаков жизни. Увидев, что я начал двигаться, Паркер спросил, хватит ли у меня сил освободить его, сказал, что, если я соберусь с духом и сумею его развязать, мы еще сможем спасти свои жизни, в противном случае мы все умрем. Я посоветовал ему не бояться и сказал, что попытаюсь его

освободить. В кармане штанов я нашел перочинный нож и после нескольких неудачных попыток все же сумел раскрыть его. Потом я левой рукой освободил правую, после чего перерезал остальные удерживавшие меня веревки. Однако, попробовав переместиться, я обнаружил, что ноги мои занемели и я не могу встать, также я не мог пошевелить правой рукой. Когда я сказал об этом Паркеру, он посоветовал мне полежать несколько минут, держась за брашпиль левой рукой, чтобы кровь снова потекла по всему телу. Я так и сделал и вскоре почувствовал, что онемение проходит. Сперва я смог пошевелить одной ногой, потом второй, а через время начал ощущать правую руку. Очень осторожно, не поднимаясь на ноги, я подполз к Паркеру, перерезал его веревки, и после короткого отдыха к нему тоже начала возвращаться способность двигаться. После этого мы, не теряя времени, освободили Питерса. Веревка прорезала пояс его шерстяных штанов и две рубахи и так впилась в поясницу, что из раны, когда мы сняли веревку, обильно потекла кровь. Однако, как только мы это сделали, он заговорил, кажется, испытывая большое облегчение, и двигаться ему явно было легче, чем Питерсу или мне, несомненно, из-за этого вынужденного кровопускания.

На то, что Август очнется, мы и не надеялись, потому что он не подавал признаков жизни, но, подойдя к нему, увидели, что он просто потерял сознание от потери крови; повязки, которые мы наложили ему на раненую руку, смыло водой, и ни одна из веревок, удерживавших его на брашпиле, не была затянута настолько сильно, чтобы причинить смерть. Отвязав Августа и отбросив осколки брашпиля, мы оттащили его в сухое место в наветренной стороне, где положили так, чтобы голова его оказалась немного ниже тела, и принялись растирать его руки и ноги. Примерно через полчаса он пришел в себя, хотя лишь к утру начал узнавать нас и окреп настолько, что смог говорить. К тому времени как мы все освободились от пут, стемнело, небо заволокли тучи, и мы снова с ужасом ожидали безумства стихии, которая уже наверняка погубила бы нас, израненных и обессиленных. К счастью, всю ночь погода оставалась умеренной и море с каждой минутой успокаивалось, что дало нам повод надеяться на спасение. С северо-запада продолжал дуть легкий бриз, но холодно не было. Августа мы осторожно привязали к наветренному борту, чтобы он не соскользнул в воду, влекомый волнами: он был еще слишком слаб, чтобы удержаться

самостоятельно. Что касается нас, мы могли обойтись и без этого. Сев поближе друг к другу и держась за обрывки веревки на брашпиле, мы принялись искать выход из этого страшного положения. Сняв и выжав одежду, мы почувствовали себя несравненно лучше. Высохшая одежда показалась нам теплой, приятной и, казалось, даже вселила в нас новые силы. Мы помогли и Августу с его одеждой, что его тоже взбодрило.

Теперь мы больше всего страдали от голода и жажды, и мысль о том, чем нам это грозит, заставила нас пожалеть, что мы избежали менее страшной смерти в море. Мы тешили себя надеждой на то, что скоро нас подберет какое-нибудь проходящее судно, и призывали друг друга мужественно переносить тяготы, с которыми нам, возможно, придется столкнуться.

Наконец настало утро четырнадцатого числа, погода все так же стояла спокойная и приятная, с устойчивым, но очень легким ветром с северо-запада. Море сделалось совсем спокойным, и по какой-то непонятной нам причине бриг немного выровнялся, отчего мы могли свободно перемещаться по сравнительно сухой палубе. Мы провели без пищи и воды уже больше трех суток, и теперь было совершенно необходимо попытаться достать что-нибудь снизу. Поскольку бриг был весь заполнен водой, за работу мы взялись без особой радости и надежды на успех. Мы соорудили нечто наподобие зацепа: вбили несколько выломанных из обломков люка гвоздей в две деревяшки, связали их крест-накрест и прикрепили к концу веревки. Забросив эту конструкцию в кают-компанию, мы стали водить ею из стороны в сторону в слабой надежде зацепить что-нибудь съедобное или хотя бы какой-нибудь предмет, который поможет в поисках. Большую часть утра мы провели в бесплодных трудах, выудить нам удалось только несколько покрывал, которые легко цеплялись за гвозди. Да что там говорить, наше приспособление было слишком несуразным, чтобы надеяться на успех.

После кают-компании мы переместили поиски на бак, но и там ничего не нашли. Нас уже начало охватывать отчаяние, когда Питерс предложил обвязать его веревкой, с тем чтобы он нырнул в кают-компанию и попытался достать что-нибудь. Предложение это мы приняли со всей радостью, которую может вызвать ожившая надежда. Он тут же снял с себя всю одежду, кроме штанов, мы осторожно

обвязали его за пояс веревкой и закрепили ее на плечах, чтобы не соскользнула. Это была очень сложная и опасная затея, потому что, поскольку мы не думали, что в кают-компании найдется достаточно еды (если там вообще что-нибудь осталось), ныряльщику предстояло, опустившись под воду, повернуть направо и проплыть под водой по ведущему в кладовую узкому коридору десять — двенадцать футов и вернуться обратно, не сделав ни глотка воздуха.

Когда с приготовлениями было покончено, Питерс спустился по трапу в кают-компанию и остановился, когда вода оказалась у него на уровне подбородка. Набрав побольше воздуха, он нырнул головой вниз, повернул направо и попытался проплыть в кладовую. Первая попытка закончилась полным провалом. Менее чем через полминуты после его погружения мы почувствовали, что яростно задергалась веревка (мы заранее договорились, что таким образом он подаст нам сигнал вытаскивать его), и мгновенно вытащили его, но так неаккуратно, что он сильно ударился о лестницу. Он ничего не принес с собой и сумел проникнуть только в самое начало коридора, потому что вынужден был все время бороться с силой, которая поднимала его к потолку. Вынырнул он вконец обессиленный и отдыхал целых пятнадцать минут, прежде чем смог снова нырнуть.

Вторая попытка закончилась еще хуже. Он так долго пробыл под водой, что мы заволновались и вытащили его, не дожидаясь условного сигнала. Оказалось, что он все время дергал веревку, только мы этого не чувствовали. Вероятно, это произошло из-за того, что та какой-то частью запуталась в перилах у основания лестницы. Вообще, эти перила нам очень мешали, поэтому мы решили, если получится, их убрать, перед тем как продолжать попытки. Поскольку никаких орудий у нас не было, мы все вместе спустились как можно дальше по лестнице в воду и, потянув лестницу, совместными усилиями выломали ее.

Третья попытка оказалась такой же неудачной, как и первые две, и стало понятно, что мы ничего не добьемся без помощи какого-нибудь груза, которым ныряльщик смог бы удерживать себя возле пола во время поисков под водой. Мы долго не могли найти что-то подходящее для этой цели, но потом, к счастью, наткнулись на цепь, которую смогли вырвать из крепления. Когда мы надежно закрепили ее у Питерса на лодыжке, он в четвертый раз пошел в воду и на этот раз

сумел добраться до двери в помещение стюарда. К невыразимому сожалению, она оказалась заперта, и ему пришлось возвращаться ни с чем, потому что под водой он мог находиться не более минуты. Дела наши теперь действительно были плохи, и мы с Августом не смогли сдержать слез, когда представили предстоящие трудности и малую вероятность спасения. Но то была лишь минутная слабость. Пав на колени, мы стали молить Господа не оставить нас в испытаниях, а потом с удвоенной надеждой и энергией начали думать, что можно предпринять для своего избавления.

10

Вскоре после этого имело место происшествие, более насыщенное острыми переживаниями — сначала неопишуемой радостью, а затем леденящим ужасом, — чем любой из тысяч поразительных случаев самого непонятного и даже непостижимого характера, приключившихся со мной на протяжении последующих долгих девяти лет. Лежа на палубе, мы обсуждали возможность проникновения в кладовую, когда, взглянув на Августа, лежавшего напротив меня, я увидел, что лицо его мертвенно побледнело, а губы дрожат самым неестественным образом. Встревожившись не на шутку, я обратился к нему, но он не ответил, и я начал думать, что ему вдруг стало хуже, но потом заметил его глаза, ярко блестящие и устремленные куда-то мне за спину. Я повернул голову. Никогда мне не забыть ощущение всеохватывающего счастья, пронзившее каждую корpusкулу моего тела, когда я увидел большой бриг, медленно приближающийся к нам и находящийся не более чем в двух милях от «Косатки». Я вскочил на ноги так, словно мушкетная пуля ударила мне в сердце, вытянул руки в сторону судна, да так и замер, не в силах ни пошевелиться, ни вымолвить хоть слово. Питерс и Паркер были тоже поражены, хоть и вели себя по-разному. Если первый принялся плясать по палубе как безумец, издавая немыслимые восклицания, перемежаемые воем и проклятиями, то второй зарыдал и долго плакал как дитя.

Это судно было голландской бригаантиной, выкрашенной в черный цвет, с аляповатой позолоченной фигурой на носу. Ее явно потрепала непогода, и мы предположили, что она тоже сильно пострадала во время шторма, который имел для нас такие катастрофические последствия, потому что фор-стенгга[17] у нее была сорвана, а с

правой стороны зияла большая брешь в фальшборте. Когда мы ее только заметили, она, как я уже сказал, находилась в двух милях от нас с наветренной стороны и приближалась. Ветер дул совсем слабый, и больше всего нас поразило то, что из парусов у нее стояли только фок и грот с летучим кливером, из-за чего она двигалась очень медленно, и наше нетерпение почти переросло в безумие. Однако все мы, несмотря на возбуждение, обратили внимание на то, что бригантина идет как-то странно. Она поворачивалась то в одну, то в другую сторону, и нам даже пару раз начинало казаться, что команда не увидела нас, или, увидев и не заметив на борту людей, решила изменить курс. Каждый раз, когда это случалось, мы начинали кричать изо всех сил, и бригантина, казалось, меняла свои планы и снова поворачивала к нам. Этот необычный маневр повторился два или три раза, и в конце концов нам оставалось только предположить, что их рулевой пьян.

На палубе никого не было видно до тех пор, пока она не оказалась примерно в полумиле от нас. Мы увидели трех матросов, судя по одежде, голландцев. Двое лежали на каких-то старых парусах возле бака, а третий, который, как нам показалось, с большим любопытством смотрел на нас, стоял, опершись на правый борт, у самого бушприта. Этот последний был крепким высоким мужчиной с очень смуглой кожей. Похоже, всем своим поведением он призывал нас иметь терпение, радостно, хоть и довольно необычно кивая нам и показывая сверкающие белоснежные зубы в широкой улыбке. Когда судно приблизилось, мы увидели, что с головы у него слетела в воду красная фланелевая шапочка, но он этого то ли не заметил, то ли не обратил внимания и все продолжал улыбаться и кивать. Я специально столь подробно описываю все эти обстоятельства, и нужно понимать, что описываю их так, как они *представлялись* нам.

Бригантина приближалась медленно, уже не сворачивая, как прежде, и у нас — я не могу спокойно об этом говорить! — сердца готовы были вырваться из груди от восторга, мы изливали душу радостными криками, вознося хвалу Господу за столь внезапное, столь полное и чудесное избавление. И вдруг совершенно неожиданно со стороны странного судна (которое уже находилось рядом с нами) через разделявшую нас воду донесся запах, смрад, для которого во всем мире не существует названия — для которого нет даже понятия — адский — удушающий — совершенно невыносимый, невообразимый.

Задыхаясь, я развернулся к своим товарищам и увидел, что они побледнели как полотно. Но у нас не оставалось времени задаваться вопросами или строить догадки — бригантина уже была в пятидесяти футах от нас и, похоже, собиралась пройти мимо, не спуская шлюпки, чтобы мы сами поднялись на борт. Мы бросились к корме, но вдруг корабль отвернуло от курса на пять-шесть градусов и, когда он прошел мимо нас в двадцати футах от кормы, нам открылся вид на ее палубу. Забуду ли я когда-либо это кошмарное зрелище? Двадцать пять или тридцать человеческих тел, среди них и несколько женских, в последней, самой омерзительной степени разложения, лежали вповалку между кормой и камбузом. Мы увидели, что на этом проклятом корабле нет ни единой живой души! Но мы закричали мертвым, прося о помощи, потому что не могли иначе. Да, в ту мучительную минуту долго и громко умоляли мы эти молчаливые и отвратительные образы остаться с нами, не бросать нас, чтобы мы не стали такими же, как они, просили их принять нас в свое славное общество. Охваченные отчаянием и страхом, метались мы по палубе, совершенно обезумев от разочарования.

Когда первый крик ужаса исторгся из наших глоток, ему со стороны бушприта незнакомого судна ответило нечто до того подобное человеческому воплю, что даже самый острый слух был бы обманут и повергнут в изумление. И в ту же секунду внезапно, на миг, к нам повернулась носовая часть бригантины, и мы узрели источник этого звука. Мы увидели высокую плотную фигуру, которая все так же опиралась на борт и продолжала кивать головой, только лицо ее теперь было отвернуто на нас. Руки моряка свесились за борт ладонями наружу, колени упирались в туго натянутый между бушпритом и катбалкой канат. На шее у него, там, где был вырван кусок рубахи, сидела огромная чайка, поедавшая жуткую плоть, глубоко зарывшись в нее клювом и когтями, и на белых перьях ее багровели пятна крови. Когда бриг повернулся дальше, приближая к нам страшную картину, птица с видимым усилием подняла окровавленную голову, секунду смотрела на нас как бы удивленно, а потом лениво взлетела с тела, на котором пиршествовала, и зависла в воздухе прямо над нашей палубой, держа в клюве бесформенный кусок красновато-коричневого мяса. Вскоре жуткий комок плоти упал с глухим шлепком прямо под ноги Паркеру. Да простит меня Бог, но именно тогда в голове у меня впервые

промелькнула мысль, мысль, которую я не стану приводить, и я почувствовал, что шагнул к запятнанному кровью месту. Я поднял глаза и встретил устремленный на меня напряженный, многозначительный взгляд Августа, который, однако, сразу привел меня в чувство. Я прыгнул вперед и с содроганием выбросил отвратительный предмет в море.

Державшееся на веревке тело, из которого он был вырван, легко раскачивалось от усилий терзавшей его плотоядной птицы, и именно это движение заставило нас подумать, что человек жив. Когда чайка оставила труп в покое, он чуть повернулся и сполз вниз, отчего его лицо открылось нам полностью. Вряд ли во всем мире когда-либо существовало что-нибудь более жуткое! Под пустыми глазницами зиял рядом обнаженных зубов начисто лишенный плоти рот. Вот, значит, какая улыбка вселила в нас столь радостные надежды! Вот, значит... Но я воздержусь от дальнейших описаний. Бригантина, как я уже сказал, прошла перед нашим носом и медленно, но уверенно продолжила движение в подветренную сторону. Вместе с ней и ее жутким экипажем исчезла наша надежда на спасение. Пока бригантина неторопливо проходила мимо, мы, наверное, нашли бы способ подняться на нее, но внезапное разочарование и сопутствовавшее ему ужасающее открытие лишили нас умственных и физических сил. Мы видели и чувствовали, но не могли ни думать, ни действовать, пока, увы, не стало слишком поздно. О том, насколько наш разум был ослаблен этим происшествием, можно судить по такому факту: когда судно отдалилось настолько, что была видна лишь половина корпуса, кто-то всерьез предложил догнать его вплавь!

Я долго и безуспешно пытался приоткрыть зловещую завесу неопределенности, окружавшую это судно. Его конструкция и общий внешний вид, как я уже говорил, указывали на то, что это было голландское торговое судно. Одежда экипажа подтверждала это. Мы вполне могли видеть название у него на корме и заметить множество прочих мелочей, которые могли бы помочь нам понять, что это за судно, но сильнейшее возбуждение сделало нас невосприимчивыми к такого рода вещам. По желто-оранжевому оттенку кожи тех трупов, которые еще не разложились окончательно, мы заключили, что весь экипаж погубила желтая лихорадка или другая такая же страшная болезнь. Если это действительно так (а ничего иного я не могу

предположить), то, судя по расположению тел, смерть выкосила их стремительно и беспощадно, что совершенно не похоже на течение даже самых опасных известных человечеству смертельных болезней. Причиной несчастья мог оказаться и яд, случайно попавший в провиант, или какая-нибудь съеденная неизвестная ядовитая рыба, или морское животное, или океаническая птица. Как бы то ни было, бесполезно строить догадки там, где царит вечная ужасающая и непостижимая тайна.

11

Остаток дня мы провели в состоянии отупения и оцепенения, глядя вслед удаляющемуся судну, пока тьма, скрывшая его, не привела нас до определенной степени в чувство. После этого вернулись голод и жажда, затмившие все наши заботы и помыслы. Однако до утра все равно ничего сделать было нельзя, поэтому мы, привязавшись крепче, собрались немного поспать. В этом я преуспел больше, чем можно было ожидать, и проснулся только на рассвете, когда мои менее удачливые товарищи разбудили меня, чтобы вновь заняться поисками съестного.

Стоял мертвый штиль, море словно застыло, было тепло и приятно. Бригантина исчезла из виду. Мы возобновили поиски, вырвав, не без труда, еще одну цепь. Когда обе цепи были привязаны к ногам Питерса, он предпринял очередную попытку добраться до кладовой, рассчитывая на то, что на сей раз у него на это хватит времени, так как бриг лежал на воде гораздо спокойнее, чем раньше.

До кладовой он добрался очень быстро. Сняв одну из цепей, он попытался с ее помощью выломать дверь, но не преуспел, рама оказалась намного прочнее, чем предполагалось. Долгое пребывание под водой отняло у него все силы, и стало понятно, что кому-то из нас придется занять его место. Немедленно вызвался Паркер, но после трех попыток осознал, что не сможет даже приблизиться к двери. Августу нырять было бесполезно, потому что, даже доберись он до кладовой, раны на руке все равно не позволили бы ему открыть дверь, поэтому настала моя очередь рискнуть ради общего спасения.

Питерс одну из цепей обронил внизу. Нырнув, я понял, что не могу постоянно находиться под водой из-за недостаточного веса, и потому решил первое погружение посвятить поискам цепи. Ощупывая пол, я

наткнулся пальцами на какой-то твердый предмет, схватил его, не проверяя, что это, развернулся и поплыл обратно. Добычей моей оказалась бутылка, и можно представить, какая нас охватила радость, когда выяснилось, что она полна портвейна. Возблагодарив Бога за своевременное и столь приятное вмешательство, мы не раздумывая вытащили моим перочинным ножом пробку, сделали по небольшому глотку и сразу почувствовали необыкновенные тепло, силу и душевный подъем, которыми наполнил нас этот напиток. Потом мы осторожно закупорили бутылку и обмотали носовым платком так, чтобы она не могла разбиться.

Отдохнув немного после этой удачной находки, я снова опустился под воду и на этот раз нашел цепь, с которой поспешил подняться. Привязав ее к себе, я спустился в третий раз, но лишь убедился, что никакие усилия не помогут открыть дверь в кладовую. В отчаянии я вернулся.

Теперь надежды не осталось, и по лицам товарищей я понял, что они готовы умереть. Портвейн явно вызвал у них опьянение, которого я не испытывал из-за того, что несколько раз погружался под воду после того, как выпил. Разговаривали они довольно бессвязно и о материях, никак не касающихся нашего нынешнего положения. Питерс постоянно что-то спрашивал меня о Нантакете, а Август, помню, подошел ко мне с очень серьезным видом и попросил дать ему расческу, потому что в волосах у него было полно рыбьей чешуи и он хотел вычистить ее перед тем, как сойти на берег. Паркер выглядел трезвее остальных. Он предложил мне наобум нырнуть в кают-компанию и принести оттуда все, что попадется под руку. Я согласился и с первой же попытки, пробыв под водой почти целую минуту, поднял небольшой кожаный саквояж, принадлежавший капитану Барнарду. Он был сразу же открыт в слабой надежде на то, что там может оказаться что-нибудь съестное или выпивка. Внутри не оказалось ничего, кроме коробки с бритвами и двух льняных рубашек. Я еще раз нырнул и вернулся ни с чем. Когда моя голова снова показалась над водой, я услышал удар по палубе и увидел, что мои друзья неблагодарно воспользовались моим отсутствием, чтобы допить остатки портвейна и уронили бутылку, спеша положить ее на место, пока я не поймал их на горячем. Когда я упрекнул их в бессердечности, Август зарыдал. Остальные двое попытались рассмеяться, переводя все в шутку, но я

искренне надеюсь, что никогда больше не стану свидетелем такого смеха: их лица исказились самым ужасающим образом. Было очевидно, что горячительный напиток, попав в их пустые желудки, возымел мгновенное и сильнейшее действие: все они были пьяны. С большим трудом мне удалось убедить их лечь, и очень скоро они провалились в тяжелый сон, сопровождаемый громким храпом.

В одиночестве меня одолел страх. Я не видел для нас иного будущего, кроме медленной мучительной смерти от голода, в лучшем случае нас бы погубил следующий шторм, потому что в нынешнем ослабленном состоянии мы бы не выдержали еще одного буйства стихии.

Голод, который я все время ощущал, был почти невыносим, и я почувствовал, что готов на все, лишь бы хоть как-то удовлетворить его. Перочинным ножом я отрезал полоску кожи от саквояжа, разделил ее на части и попытался ее съесть, но не смог проглотить, хоть и ощутил некоторое облегчение, когда пожевал и выплюнул несколько кусочков. Под вечер мои друзья начали просыпаться, один за одним, каждый в состоянии неопишуемой слабости и ужаса, вызванных воздействием вина, пары которого уже улетучились. Они тряслись, как в малярии, и жалобно просили воды. Их состояние необычайно опечалило меня, но одновременно заставило обрадоваться тому стечению обстоятельств, которое помешало мне выпить вместе с ними вина, из-за чего теперь я не мучился подобно им. Однако их поведение вызвало у меня сильную тревогу и беспокойство, ибо стало понятно, что, если не произойдет какого-нибудь благоприятного изменения, они не смогут помочь мне сделать что-либо для нашей общей пользы. Я еще не оставил надежды поднять снизу что-нибудь полезное, но сделать это было невозможно до тех пор, пока хотя бы один из них не придет в себя настолько, что сможет держать мою веревку, пока я буду под водой. Паркер показался мне несколько более собранным, чем остальные, и я решил любыми доступными мне способами привести его в чувство. Подумав, что купание в морской воде может оказаться полезным, я обвязал его веревкой, подвел ко входу в кают-компанию (он при этом оставался совершенно безучастным), толкнул в воду и тут же вытащил. Мне оставалось только поздравить себя с тем, что я додумался до этого, потому что после купания Паркер значительно посвежел и обрел новые силы. Выбравшись из воды, он вполне здраво поинтересовался,

зачем я это с ним сделал. Когда я объяснился, он сказал, что теперь в долгу передо мной и что после погружения ему и впрямь стало лучше. После этого мы поговорили о нашем положении и, решив провести такой же эксперимент с Августом и Питерсом, занялись этим безотлагательно; оба они почувствовали значительное облегчение от неожиданного купания. Идею подсказал мне один читанный мною медицинский труд о благотворном воздействии душа на пациентов, страдающих *mania a potu*[18].

Убедившись, что теперь моим спутникам можно доверить держать веревку, я еще раза три или четыре нырнул в кают-компанию, хотя уже совсем стемнело и легкая, но устойчивая волна с севера немного качала судно. За три попытки мне удалось достать два ножа в ножнах, пустой кувшин в три галлона и одеяло; ничего такого, что можно было бы употребить в пищу, я не нашел. Я не прекращал попыток, пока вконец не обессилел, но больше не нашел ничего. Ночью Паркер и Питерс по очереди занимались тем же, но, ничего не найдя, мы в отчаянии заключили, что понапрасну тратим силы.

Остаток ночи мы провели в сильнейших душевных и телесных муках, какие только можно представить. Утро шестнадцатого числа мы встретили, жадно всматриваясь в горизонт в надежде на избавление, но тщетно. Спокойная гладь моря, как и вчера, нарушалась лишь идущей с севера рябью. Шестой день мы жили без еды и питья, если не считать бутылки портвейна, и не приходилось сомневаться, что долго мы так не протянем, если не раздобудем чего-нибудь. Никогда прежде я не видел и не хочу снова увидеть людей, дошедших до такой степени крайнего истощения, в какой пребывали Питерс и Август. Встреть я их в таком состоянии на берегу, я бы их ни за что не узнал. Внешность их совершенно изменилась, и мне было трудно поверить, что это те самые люди, с которыми я имел дело всего несколько дней назад. Паркер тоже отощал и был так слаб, что не мог поднять пониже голову, но все же выглядел лучше других. Тяготы он переносил стойко, не жаловался и даже как мог подбадривал нас. Что до меня, то я, хоть и отправлялся в это плавание не совсем здоровым и всегда отличался хрупкостью телосложения, страдал меньше всех, потому что потерял в весе не так сильно, как остальные, и сохранил на удивление ясный ум, тогда как другие находились в полной прострации, и они как будто впали в детство — глупо улыбались и

лепетали какую-то бессмыслицу. Впрочем, разум нет-нет да и возвращался к ним, что происходило совершенно неожиданно, когда они, как будто вдруг осознав свое положение, энергично вскакивали на ноги и начинали говорить о своем будущем вполне разумно и осмысленно, хоть и с отчаянием в голосе. Хотя вполне возможно, что мои спутники воспринимали все происходящее так же, как воспринимал я, и что я сам впадал в подобное состояние, только не догадывался об этом — сказать невозможно.

Около полудня Паркер вдруг заявил, что видит землю слева по борту, и мне стоило больших усилий удержать его, когда он собрался добраться до нее вплавь. Питерс и Август, погруженные в мрачные раздумья, не обратили внимания на его слова. Я пристально всматривался туда, куда указывал Паркер, но ничего не увидел, да и потом, я слишком хорошо понимал, насколько далеко от ближайшей земли мы находимся, чтобы питать надежды подобного рода. Но прошло немало времени, пока я сумел убедить его в том, что он ошибся. Он заплакал как ребенок и рыдал два-три часа, после чего, обессиленный, заснул.

Питерс и Август несколько раз безуспешно попытались проглотить немного кожи. Я посоветовал им разжевывать ее и выплевывать, но у них не было сил внять моему совету. Сам же я продолжал жевать кусочки кожи, что действительно приносило мне некоторое облегчение. Больше всего меня угнетало отсутствие воды, и от того, чтобы напиться морской воды, меня удерживали лишь воспоминания о страшных последствиях, которые испытывают те, кто это сделал, оказавшись в подобном нашем положении.

День клонился к вечеру, когда вдруг я увидел на востоке парус. Какое-то крупное судно шло почти перпендикулярно нам примерно в двенадцати — пятнадцати милях. Никто из моих товарищей до сих пор его не заметил, и я пока не стал им говорить о своем открытии, боясь, как бы нам снова не испытать разочарование. Наконец, когда судно приблизилось, я отчетливо увидел, что оно на всех парусах идет к нам. Больше сдерживаться я не мог и указал на него моим товарищам по несчастью. Они вскочили на ноги и принялись выражать свою радость самыми неожиданными способами: плакали, хохотали как полоумные, прыгали, топали ногами, рвали на себе волосы, то молились, то сыпали проклятиями. Поведение их вместе с тем, что показалось мне

верным спасением, настолько возбудили меня, что я не выдержал и присоединился к всеобщему безумству, в счастливом экстазе бросился на палубу, стал кататься, хлопать в ладоши, кричать и предаваться прочим несуразностям, пока вдруг резко не был возвращен в чувство и низвергнут на самое дно пучины человеческих страданий и отчаяния. Я увидел, что корабль повернулся к нам кормой и удаляется в направлении, почти противоположном тому, в котором двигался сначала.

Я долго не мог заставить моих несчастных спутников поверить в то, что это печальное изменение в нашей судьбе действительно произошло. На все мои уверения они отвечали непонимающими взглядами и лишь отмахивались, давая понять, что не собираются слушать мои лживые заверения. Особенно беспокоил меня Август. Что бы я ни делал, как бы ни возражал, он упрямо повторял, что судно спешит к нам, и готовился подняться на борт. Рядом с бригом плавали какие-то водоросли, он сказал, что это шлюпка, и хотел запрыгнуть на них, а потом, когда я силой удержал его от прыжка в море, начал душераздирающе вопить и завывать.

Более-менее успокоившись, мы продолжали смотреть на корабль, пока тот, наконец, не скрылся из виду. Над морем поднимался туман, подул легкий ветер. Паркер резко повернулся ко мне с таким выражением лица, что я содрогнулся. Во взгляде его читалась решимость, какой я не замечал никогда прежде, и еще до того, как он разомкнул уста, сердце подсказало мне, что он хотел сказать. Он предлагал, чтобы один из нас умер ради спасения остальных.

Незадолго до этого я размышлял о том, что мы можем дойти до этой страшной крайности, и решил для себя, что лучше приму смерть в любом виде и в любых обстоятельствах, чем опущусь до такого. Многократно усилившееся чувство голода, которое я сейчас испытывал, ни в коей мере не поколебало меня в этом решении. Предложение Паркера не было услышано ни Питерсом, ни Августом, поэтому я отвел его в сторону и, мысленно моля Господа дать мне сил заставить его отказаться от жутких намерений, долго увещевал его, заклинал ради всего святого, убеждал всеми доводами, которых требовали обстоятельства, отказаться от этой мысли и не делиться ею ни с кем.

Он выслушал все, что я сказал, не пытаясь оспаривать ни один из моих доводов, и у меня зародилась надежда, что он все же согласится со мной. Но, когда я замолчал, он заявил, что прекрасно понимает, что все сказанное мною правда и что необходимость принятия такого решения — самое страшное, что может выпасть на долю человека, но что он держался столько, сколько может вынести разумное существо, что незачем умирать всем, если смертью одного можно сохранить жизни остальных; и добавил, что бесполезно его отговаривать, поскольку он принял твердое решение еще до появления корабля, которое одно и помешало упомянуть об этом раньше.

Тогда я стал просить его, чтобы он если не отказался от своих планов, то хотя бы отложил их на день, когда, возможно, какое-нибудь судно спасет нас, и снова привел все доводы, какие только смог придумать и которые, как мне казалось, могли бы пронять его грубую натуру. На это он ответил, что не говорил, пока было можно, что больше не в силах существовать без еды и что, если ждать еще день, то будет уже слишком поздно, во всяком случае, для него.

Сообразив, что спокойными речами его решимость не поколебать, я повел себя по-другому и напомнил ему, что я пострадал меньше всех, из-за чего теперь я был значительно сильнее и здоровее его, Питерса и Августа; короче говоря, заявил, что при необходимости настою на своем силой и что не раздумывая брошу его в море, если он решит познакомить со своими кровожадными людоедскими планами остальных. Тогда он схватил меня за горло, выхватил нож и несколько раз попытался пырнуть меня в живот, и лишь из-за слабости это ему не удалось. Я же, рассвирепев, подтащил его к борту, и от верной смерти

его спасло вмешательство Питерса, который подбежал, разнял нас и спросил, из-за чего ссора. Паркер ответил прежде, чем я смог помешать ему.

Последствия его слов оказались еще более страшными, чем я ожидал. И Август, и Питерс, похоже, давно втайне вынашивали эту ужасающую мысль, и Паркер просто оказался первым, кто об этом заговорил вслух. Они тотчас согласились с его планом и потребовали немедленно привести его в исполнение. Я рассчитывал, что по крайней мере один из них сохранил трезвость ума, чтобы встать на мою сторону и помешать кровопролитию. С помощником я бы без труда усмирил остальных двоих. Когда выяснилось, что мои надежды не оправдались, возникла крайняя необходимость позаботиться о собственной безопасности, ибо дальнейшее противление с моей стороны люди, находящиеся в этом ужасающем положении, могли счесть достаточным поводом отказать мне в праве участвовать на равных в трагедии, которая, я знал, вот-вот произойдет.

Я выразил готовность подчиниться и попросил подождать хотя бы час, чтобы, когда развеется туман, посмотреть, не вернулось ли судно, которое мы видели. С большим трудом мне удалось уговорить их подождать. Как я и ожидал, набирающий силу ветер разогнал туман менее чем за час и, когда никакого судна не появилось, мы приготовились тянуть жребий.

Крайне неохотно приступаю я к рассказу о последовавшей безобразной сцене, о сцене, мельчайшие подробности которой не смогли стереть из моей памяти события, происходившие со мной впоследствии, и суровые воспоминания о которой будут омрачать каждый миг моего дальнейшего существования. Попытаюсь покончить с этой частью моего повествования так скоро, насколько позволяет характер инцидента. Чтобы провести эту жуткую лотерею, было решено тянуть соломинки — иного способа мы не придумали. Роль соломинок исполнили тонкие деревянные щепки, и мне было поручено стать ведущим. Я отошел в конец палубы, а мои несчастные спутники молча повернулись ко мне спиной. Величайшие муки за всю эту ужасающую драму я испытал, когда раскладывал щепки. Существует лишь немного состояний, в которые может впасть человек, чтобы полностью утратить страстное желание сохранить свою жизнь, и желание это тем острее, чем тоньше нить, связывающая его с жизнью.

Но сейчас безмолвное, определенное и мрачное дело, которым я оказался занят (столь не сходное с опасностями шторма или с неотвратимо надвигающимися ужасами голода), заставило меня задуматься о том, сколь невелики мои шансы на спасение от страшнейшей из смертей — от смерти ради страшнейшей из целей, — и решимость, которая так долго не давала мне сдаться, покинула меня в один миг, легко, как пушинка, гонимая ветром, оставив меня беззащитным перед малодушным и презренным страхом. Поначалу мне даже не хватало силы сломать одну из щепок, пальцы отказывались слушаться, а колени дрожали. В голове проносились тысячи самых нелепых способов избежать участия в чудовищном злодеянии. Я подумывал пасть перед моими спутниками на колени и уговорить их освободить меня от этой обязанности или наброситься на них и убить одного, чтобы не нужно было тянуть жребий, — иными словами, я думал о чем угодно, только не о предстоящем мне деле. Наконец из этого помрачения ума меня вырвал голос Паркера, который призвал немедленно прекратить их томительное ожидание. И даже тогда я не мог заставить себя разложить щепки, а все думал, какой бы хитростью заставить кого-то из моих товарищей по несчастью вытащить короткую щепку, ибо мы условились, что вытащивший самую короткую щепку умрет для спасения остальных. Тот, кто хочет обвинить меня в бессердечии, пусть представит себя в таком же положении.

Тянуть время больше было нельзя, и я, чувствуя, как сердце выскакивает из груди, подошел к ожидавшим меня товарищам. Я вытянул руку со щепками, и Питерс сразу же выхватил одну. Ему повезло, по крайней мере, его щепка не была самой короткой, и шансов на спасение у меня стало меньше на один. Собрав все свои силы, я повернул руку к Августу. Он тоже вытащил жребий, не раздумывая, и ему тоже повезло. Теперь жизнь и смерть имели на меня равные права. И в этот миг меня охватила нечеловеческая ненависть к себе подобному существу, Паркеру, сильнейшая, дьявольская ярость. Но чувство это не задержалось, и я, судорожно передернув плечами и закрыв глаза, протянул ему две оставшиеся щепки. Прошло целых пять минут, прежде чем он решился сделать выбор, и за все это время напряженного ожидания я ни разу не открыл глаза. Наконец одну из двух щепок быстро выдернули из моих пальцев. Итак, выбор сделан,

только я не знал, в мою ли пользу. Все молчали, а я все так же не решался посмотреть на оставшуюся у меня в руке щепку, чтобы узнать свою участь. Потом Питерс взял меня за руку, я в конце концов заставил себя открыть глаза и по выражению лица Паркера мгновенно понял, что спасен и что это он обречен стать жертвой. Задыхаясь, я без чувств рухнул на палубу.

Очнулся я как раз вовремя, чтобы увидеть, как трагедия эта завершилась смертью того, кто ее вызвал. Он не пытался сопротивляться и, когда Питерс ударил его в спину ножом, упал замертво. Не должно мне описывать омерзительную трапезу, которая последовала вслед за этим. Такие вещи можно представить, но слова не в силах передать весь ужас действительности. Скажу только, что, удовлетворив до определенной степени снедавшую нас жажду кровью жертвы и с общего согласия выбросив отрезанные кисти рук, ступни и голову вместе с внутренностями в море, мы поглощали остальное тело кусочек за кусочком в течение четырех дней, семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого числа.

Девятнадцатого хлынул ливень, продолжавшийся пятнадцать — двадцать минут, и нам удалось собрать немного воды с помощью покрывала, которое мы выудили зацепом из кают-компания сразу после урагана. Добыли мы не больше половины галлона, но даже этого мизерного количества хватило, чтобы придать нам силы и возродить надежду.

Двадцать первого числа мы снова были вынуждены прибегнуть к последнему средству. Погода была теплой и приятной, время от времени поднимался туман и дул ветер, чаще всего с севера и запада.

Двадцать второго числа, когда мы сидели, прижавшись друг к другу, и обсуждали наше плачевное положение, неожиданно в голове у меня промелькнула мысль, от которой надежда вспыхнула и заиграла ярким светом. Я вспомнил, что, когда была срублена фок-мачта, Питерс, находившийся у якорной цепи с наветренной стороны, передал мне один из топоров с просьбой спрятать его в какое-нибудь надежное место, и что за несколько минут до того, как последняя гигантская волна ударила в бриг и наполнила его водой, я отнес топор на бак и положил на койку в одной из кают по левому борту. Мне подумалось, что, найдя этот топор, мы могли бы прорубиться через палубу в кладовую и добыть провизию.

Когда я сообщил об этом товарищам, те вскрикнули от радости, и мы тотчас направились на бак. Здесь спускаться вниз оказалось гораздо труднее, чем в кают-компанию, из-за того что люк был намного меньше, кроме того, нельзя забывать, что всю надстройку над входом в кают-компанию снесло водой, тогда как вход в кубрик, представлявший собой обычный люк три на три фута, остался невредим. Однако я не колеблясь решил спускаться и, когда меня, как прежде, обвязали веревкой, прыгнул в люк, быстро проплыл к каютам и с первой же попытки нашел топор. Мое возвращение было встречено оглушительными радостными криками, а легкость, с которой был найден топор, была воспринята как знамение спасения.

После этого со всей энергией возродившейся надежды мы с Питерсом, работая топором по очереди, начали рубить палубу; раненая рука Августа не позволила ему помогать нам. Поскольку мы все еще были слабы настолько, что с трудом держались на ногах без поддержки и работать, не отдыхая, могли не больше одной-двух минут, вскоре стало понятно, что многие часы уйдут на то, чтобы прорубить в палубе достаточно большое отверстие для свободного доступа к кладовой. Но это ничуть не уменьшило нашей решимости довести дело до конца и, работая всю ночь напролет при свете луны, мы закончили работу к утру двадцать третьего числа.

На этот раз Питерс вызвался спуститься и, после обычных приготовлений нырнув, вскоре поднялся с баночкой, в которой, к нашему неописуемому восторгу, оказались маслины. После того как мы разделили их между собой и с жадностью съели, Питерс снова нырнул. Эта попытка превзошла наши самые смелые ожидания, ибо он вернулся почти сразу с большим куском окорока и бутылкой мадеры. Вина мы выпили по чуть-чуть, по опыту зная, чем в нашем положении грозит невоздержанность. Окорок, кроме около двух фунтов у кости, оказался весь испорчен морской водой и непригоден для еды. Съедобную часть мы разделили. Питерс и Август, не в силах бороться с аппетитом, в два счета проглотили свои куски, но я был более осторожен и съел только небольшую часть мяса, потому что знал, какую жажду оно вызовет. После этого мы немного отдохнули от тяжелых трудов.

В полдень, чувствуя себя до определенной степени окрепшими и посвежевшими, мы продолжили поиски провизии. До самого заката

мы с Питерсом попеременно ныряли в кладовую и каждый раз возвращались с добычей. Всего нам посчастливилось достать четыре баночки с маслинами, еще один окорок, оплетенную бутыл с почти тремя галлонами превосходной мадеры, и, что обрадовало нас больше всего, маленькую галапагосскую черепаху. Несколько таких черепах капитан Барнард перед самым отплытием взял на борт со шхуны «Мэри Питтс», которая ходила в Тихий океан за тюленями и только что вернулась.

В последующей части моего повествования я буду часто упоминать этот вид черепах. Как наверняка известно большинству моих читателей, этот вид обитает в основном на архипелаге, называемом Галапагосские острова, причем название это происходит от слова, обозначающего вид животного: испанское слово «galápagos» означает пресноводную черепаху. Из-за особенностей внешнего вида и поведения ее иногда называют слоновой черепахой. Нередко находят экземпляры огромных размеров. Я своими глазами видел нескольких черепах весом от двенадцати до пятнадцати сотен фунтов, хоть и не припомню, чтобы кто-нибудь из мореплавателей упоминал о том, что встречал экземпляр тяжелее восьми сотен. Их внешний вид очень необычен, можно даже сказать, уродлив. Шаги их очень медлительны и размеренны, тело они несут примерно в футе над землей. Шея у них длинная и необычайно тонкая, в большинстве случаев длиной от восемнадцати дюймов до двух футов, но я как-то убил одну, у которой расстояние от плеч до крайней точки головы составляло никак не меньше трех футов десяти дюймов. Голова этих черепах имеет поразительное сходство с головой змеи. Они могут существовать без пищи невероятно долгое время. Известны случаи, когда галапагосских черепах бросали в трюм судна, и те, проведя там два года без какой-либо еды, оставались такими же здоровыми, как в первый день заточения. В одном отношении эти удивительные животные напоминают дромадера, верблюда, обитающего в пустынях. В мешке у основания шеи они носят с собой постоянный запас воды. В некоторых случаях в мешках убитых черепах, которых не кормили год, находили целых три галлона абсолютно чистой пресной воды. Питаются они в основном дикорастущими петрушкой и сельдереем, а также портулаком, морскими водорослями и опунциями; особенно они любят последнее растение, которое в изобилии растет на склонах холмов

вдоль берегов, где можно найти самих черепах. Мясо черепах — превосходный высокопитательный продукт, наверняка спасший жизни тысячам моряков, занятых китобойным промыслом и рыбной ловлей в Тихом океане.

Та, которую нам повезло поднять из кладовой, весила немного, всего фунтов шестьдесят пять или семьдесят. Это была самка в прекрасном состоянии, очень жирная, и в подшейном мешке у нее находилось больше кварты чистой сладкой воды. Для нас это стало настоящим сокровищем, и, как один пав на колени, мы горячо возблагодарили Господа за столь своевременную помощь.

Вытащить черепаху через отверстие в палубе оказалось необычайно трудно, потому что она обладала просто поразительной силой и отчаянно сопротивлялась. Она уже была близка к тому, чтобы вырваться из рук Питерса и скользнуть обратно в воду, когда Август накинул ей на шею веревку с петлей и удерживал ее таким образом, пока я прыгал к Питерсу и помогал ему поднимать животное.

Воду мы бережно перелили в кувшин, который, напомним, подняли раньше из кают-компания. После этого мы отбили горлышко у одной из бутылок и заткнули его пробкой, чтобы получилось некое подобие бокала, в который помещалась примерно восьмая часть пинты. Потом каждый из нас выпил по этой мере, и мы уговорились, что это будет нашей дневной нормой воды.

В течение последних двух-трех дней стояла сухая приятная погода. Покрывала, которые мы вытащили из кают-компания, и наша одежда полностью высохли, поэтому ночь (на двадцать четвертое) мы провели в относительном удобстве, наслаждаясь безмятежным отдыхом после обильного ужина, состоявшего из маслин с окороком и глотком вина. Чтобы наши припасы ночью ненароком не сдуло ветром в воду, мы крепче привязали их веревкой к обломкам брашпиля. Черепаху, которую мы хотели сохранить живой как можно дольше, была перевернута на спину и тоже аккуратно привязана.

13

24 июля. Это утро мы встретили отдохнувшими и в хорошем настроении. Несмотря на угрожающую нам опасность; не зная своего местоположения (хотя было понятно, что мы находились далеко от суши); не имея достаточного количества пищи, чтобы при самой

строгой экономии протянуть больше двух недель, и почти совсем без воды; перемещаясь по воле волн и ветра на самой ненадежной посудине в мире, мы считали нынешние наши тяготы обычными неприятностями по сравнению с теми ужасными горестями и опасностями, которых мы так недавно и так благополучно избежали — вот как относительны понятия добра и зла.

На восходе солнца, когда мы готовились возобновить попытки достать что-либо из кладовой, хлынул сильный дождь с молнией, и мы переключили внимание на сбор воды покрывалом, которое уже использовали для этих целей ранее. Мы растягивали покрывало, положив на его середину цепь. Вода, собираясь в центре, просачивалась сквозь ткань в кувшин. Таким образом мы наполнили его почти полностью, когда налетевший с севера мощный шквал заставил нас прекратить попытки, потому что бриг начало так раскачивать, что устоять на ногах было невозможно. Мы пошли на нос, как раньше, крепко привязали себя к остаткам брашпиля и стали ждать развития событий гораздо спокойнее, чем можно было бы ожидать в данных обстоятельствах. К полудню ветер усилился, а вечером разыгралась настоящая буря с сильнейшим ливнем. Однако, наученные опытом, мы пережили эту страшную ночь в относительной безопасности, несмотря на опасения быть смытыми в море захлестывавшими нас волнами. К счастью, было так тепло, что морская вода казалась нам скорее даже приятной, чем наоборот.

25 июля. Утром ветер стих до бриза в десять узлов, а море успокоилось настолько, что мы смогли лечь на палубу, чтобы обсохнуть. Но нас ждало жестокое разочарование: оказалось, что две банки маслин и окорок смыло за борт, несмотря на то что они были тщательно привязаны. Мы решили пока не убивать черепаху и довольствоваться завтраком из нескольких маслин и меры воды, наполовину смешанной с вином, — это придало нам бодрости и сил, а не вызвало тяжелое опьянение, как портвейн. Море еще было слишком беспокойным, чтобы возобновлять поиски в кладовой. За день в прорубленной на палубе дыре всплыли несколько предметов, бесполезных для нас в нашем положении, и были тотчас смыты за борт. Также мы заметили, что корпус судна накренился сильнее обычного, так что на палубе невозможно было устоять, не привязавшись к чему-либо. Ввиду этого время тянулось в

напряженном ожидании. В полдень солнце встало почти в зените, и у нас не осталось сомнений, что затяжными северными и северо-западными ветрами нас приблизило к экватору. Вечером мы заметили акул и были несколько встревожены тем, как одна из них, особенно большая, безо всякого страха подплывала прямо к нам. Когда судно сильно накренилось и часть палубы ушла под воду, это чудовище оказалось совсем рядом, покружило немного над входом в кают-компанию и сильно ударило хвостом Питерса. Потом мощная волна наконец выбросила ее за борт, и мы облегченно вздохнули. При хорошей погоде мы бы без труда ее поймали.

26 июля. Утром, когда ветер стих и море более-менее успокоилось, мы решили продолжить исследование кладовой. После целого дня бесплодных поисков мы поняли, что рассчитывать больше не на что, так как ночью вода разбила перегородку и все, что было в кладовой, смыло в трюм. Нужно ли говорить, что это открытие повергло нас в уныние.

27 июля. Море спокойное, легкий ветер по-прежнему дует с севера и северо-запада. В полдень стало очень жарко, и мы занялись сушкой одежды. Купание в море прекрасно помогало справиться с жаждой и вообще оказывало благотворное воздействие, но делать это нам приходилось с большой осторожностью: днем мы видели несколько акул, плававших вокруг брига.

28 июля. По-прежнему стоит хорошая погода. Бриг начал так крениться, что мы испугались, как бы он не перевернулся вверх дном, и приготовились к этому бедствию: привязали черепаху, кувшин с водой и две оставшиеся банки с маслинами как можно выше на наветренной стороне корпуса, ниже вант-путенсов. Весь день море оставалось очень спокойным, ветер почти не ощущался.

29 июля. Такая же погода. На раненой руке Августа появились первые признаки гангрены. Он жаловался на сонливость и постоянную жажду, но острой боли не чувствовал. Мы ничем не могли ему помочь. Единственное, что мы могли делать, — это смазывать раны уксусом из маслин, но от этого лучше ему, по-видимому, не становилось. Стараясь хоть как-то облегчить ему жизнь, мы устроили его порцию воды.

30 июля. Необычайно жаркий день. Все утро вокруг брига кружила гигантская акула. Мы несколько раз попытались поймать ее веревкой с петлей, но безуспешно. Августу стало намного хуже, от отсутствия

должного лечения он страдал не меньше, чем от самих ран. Он умолял избавить его от мучений, желая одного — смерти. Вечером доели последние маслины; вода в кувшине настолько испортилась, что пить ее без добавления вина было невозможно. Решили утром убить черепаху.

31 июля. После беспокойной, утомительной из-за положения брига ночи убили и вскрыли черепаху. Она оказалась намного меньше, чем мы ожидали, хоть и в хорошем состоянии. Всего мяса набралось не больше десяти фунтов. Чтобы сохранить его как можно дольше, мы мелко нарезали и наполнили им три оставшиеся банки из-под маслин и винную бутылку. Таким образом удалось отложить три фунта черепашого мяса, и мы условились не прикасаться к нему, пока не доедим остальное. Решили ограничить себя четырьмя унциями мяса в день — так наших запасов хватило бы на тринадцать дней. На закате прошел короткий дождь с сильной грозой, но он продолжался недолго, так что нам удалось собрать всего около половины пинты воды. Воду эту, по общему согласию, мы отдали Августу, который уже, казалось, был на последнем издыхании. Пил он прямо из покрывала (во время дождя мы положили его под ним, чтобы вода текла ему прямо в рот), потому что у нас теперь не осталось посуды для хранения воды. Разве что можно было вылить вино из оплетенной бутылки или застоявшуюся воду из кувшина, и мы бы это непременно сделали, продлись дождь еще.

Вода, кажется, почти не помогла Августу. Рука его совершенно почернела от запястья до плеча, а ступни на ощупь были холодными как лед. В любую секунду он мог испустить дух. Мой друг страшно отощал. Если ко времени отплытия из Нантакета в нем было добрых сто двадцать семь фунтов, то теперь он весил сорок, самое большее пятьдесят фунтов. Глаза его запали, так что их почти не было видно, обвисшая кожа на щеках мешала жевать, и даже глотать жидкость ему удавалось с большим трудом.

1 августа. Все та же спокойная погода и нестерпимо жаркое солнце. Мы очень страдали от жажды, вода в кувшине совершенно протухла и кишела паразитами. Тем не менее мы заставили себя сделать по глотку, перемешав ее с вином, но это лишь немного утолило жажду. Купание в море приносило большее облегчение, но предаваться этому занятию часто мы не могли из-за постоянного присутствия акул.

Стало понятно, что Августа не спасти, он умирал в мучениях, и мы ничем не могли ему помочь. Примерно в полдень он скончался в страшных судорогах, не проронив ни слова за последние несколько часов. Его смерть наполнила нас самыми мрачными предчувствиями и повергла в такое угнетенное состояние, что мы весь день просидели неподвижно возле трупа, обращаясь друг к другу шепотом. Лишь после того, как стемнело, мы нашли в себе силы подняться и выбросить тело за борт. К тому времени оно обезобразилось и разложилось настолько, что, когда Питерс попытался поднять его, от него оторвалась нога. Когда тело скользнуло по борту в воду, его фосфорическое свечение озарило семь или восемь акул, которые накинулись на добычу и стали с таким шумом терзать плоть, что клцанье их ужасных зубов, должно быть, разносилось на милю. Этот жуткий звук заставил нас съежиться и в страхе отступить от борта.

2 августа. Все та же изнуряющая безветренная и жаркая погода. Утро мы встретили в полном упадке сил и истощении. Вода в кувшине испортилась окончательно, она превратилась в густую студенистую массу с извивающимися отвратительного вида червями. Мы выплеснули ее, а кувшин хорошо вымыли в море, после чего налили в нее немного уксуса из бутылок с маринованным черепашным мясом. Жажда сделалась невыносимой. Напрасно мы пытались утолить ее вином — оно только подлило масла в огонь и сильно опьянило нас. Потом мы попытались облегчить страдания, смешав вино с морской водой, что вызвало сильнейшую рвоту, и больше мы этого не делали. Напрасно весь день мы ждали возможности окунуться в море — бриг теперь был со всех сторон окружен акулами, несомненно, такими же кровожадными, как те, что вчера вечером сожрали тело нашего друга и теперь ждали продолжения пиршества. Это обстоятельство очень расстроило нас и исполнило самых тягостных и печальных мыслей. Купание давало нам необычайное облегчение, и лишиться этой отрады, да еще из-за столь чудовищных обстоятельств, было невыносимо. К тому же мы постоянно испытывали страх, потому что стоило поскользнуться, сделать одно неосторожное движение, и можно было угодить в пасть этим ненасытным рыбам, которые, подплывая с подветренной стороны, то и дело бросались на нас из воды. Ни крики, ни другие попытки их отпугнуть не действовали. Даже когда Питерсу однажды удалось самую крупную из них ударить топором и нанести

серьезную рану, та и не подумала оставить нас в покое. На закате по небу прошла туча, но, к нашему величайшему разочарованию, дождь так и не пошел. Из-за этого и из-за страха перед акулами той ночью мы так и не смогли заснуть. Вряд ли можно вообразить страдания, которые мы тогда испытывали.

3 августа. Ни малейшей надежды на спасение; бриг уже накренился так сильно, что на палубе невозможно стоять. Занимались тем, что закрепляли вино и банки с черепашим мясом, чтобы не потерять их, даже если судно перевернется окончательно. С вант-путенсов сняли две свайки и топором вбили их в борт на наветренной стороне в паре футов над водой, совсем недалеко от киля, так как бриг почти лежал на боку. К ним привязали нашу провизию — здесь она находилась в большей безопасности, чем под вант-путенсами, где хранилась раньше. Весь день изнывали от жажды, купаться было невозможно из-за акул, которые не покидали нас ни на мгновение. Заснуть не смогли.

4 августа. Незадолго до рассвета заметили, что судно переворачивается, и вскочили на ноги. Поначалу движение было медленным и плавным, и нам без труда удалось вскарабкаться на борт с наветренной стороны — пригодились веревки, которые мы на всякий случай привязали к вбитым для хранения провизии свайкам. Но мы неправильно рассчитали ускорение при переворачивании судна; движение корпуса стало настолько быстрым, что мы уже не успевали перемещаться с такой же скоростью; в считанные секунды нас с силой швырнуло в море, и мы погрузились на несколько саженей под воду, оказавшись под огромным корпусом брига.

В воде мне пришлось отпустить веревку; обнаружив, что нахожусь под судном, почти лишенный сил, я даже не пытался бороться за жизнь и приготовился к смерти. Однако и тут силы природы обманули меня, потому что я не учел естественный возвратный поворот опрокидывающегося судна. Направленный вверх водоворот, вызванный частичным поворотом судна в другую сторону, выбросил меня на поверхность воды с еще большей скоростью, чем я в нее погрузился. Вынырнул я ярдах в двадцати от «Косатки», которая лежала килем вверх и бешено раскачивалась из стороны в сторону, а бурлящая вода образовывала огромные водовороты. Питерса я не

увидел, рядом со мной плавала лишь пустая бочка для ворвани и разные мелкие предметы с судна.

Больше всего меня испугала возможность нападения акул, которые, я знал, находились неподалеку. Чтобы отпугнуть их, я, поплыв к кораблю, стал изо всех сил молотить по воде руками и ногами, поднимая пену. Не сомневаюсь, что своим спасением я обязан именно этому простому приему, поскольку перед самым переворотом брига в море вокруг него собралось столько этих тварей, что я за время своего перемещения по воде даже натолкнулся на нескольких. Каким-то чудом мне удалось доплыть до борта судна в безопасности, правда, мне это стоило стольких сил, что я бы ни за что не смог подняться на него, если бы не помощь Питерса, который, к моей великой радости, показался (он забрался по килю с противоположной стороны) и бросил мне конец веревки, одной из тех, что мы привязали к свайкам.

Едва мы спаслись от одной опасности, наше внимание привлекла ужасная неотвратимость другой — полного отсутствия еды. Все наши запасы, несмотря на приготовления, смыло за борт, и, не видя даже малейшего шанса раздобыть еще, мы оба дали волю отчаянию, зарыдали как дети, даже не пытаясь утешить друг друга. Такую слабость трудно представить, и тем, кто никогда не попадал в подобное положение, она покажется неестественной, но нельзя забывать, что череда лишений и страхов подточила наш разум настолько, что в то время нас вряд ли можно было считать разумными существами. Впоследствии, подвергаясь опасностям не меньшим, если не большим, я с достоинством переносил все удары судьбы, а Питерс, как будет видно, явил стоическое и философское отношение к жизни, почти столь же невероятное, как его нынешние детские бездеятельность и слабоумие — вот что значит состояние духа.

Все это, даже с потерей вина и мяса, на самом деле не ухудшило наше положение, кроме, разве что, исчезновения покрывал, которыми мы собирали дождевую воду, и кувшина, в который ее сливали; потому что все дно на расстоянии двух-трех футов от скул до самого киля было сплошь покрыто большими моллюсками, которые оказались превосходной высокопитательной пищей. Таким образом, происшествие, которого мы боялись больше всего, как оказалось, принесло нам больше выгоды, чем вреда: мы получили запас еды, которого при умеренном потреблении хватило бы и на месяц, и обрели

положение гораздо более удобное и бесконечно более безопасное, чем прежде. Однако трудность, связанная с добычей питьевой воды, затмила все преимущества. Мы сняли рубашки, чтобы, если вдруг пойдет дождь, использовать их так же, как мы использовали покрывала, не надеясь, разумеется, на то, что с их помощью, даже при самых благоприятных условиях, удастся собрать за раз больше одной восьмой пинты. За весь день на небе не было ни облачка, и муки жажды стали почти невыносимыми. Ночью Питерсу удалось на час забыться беспокойным сном, тогда как мои терзания не позволили мне сомкнуть глаза ни на секунду.

5 августа. Сегодня поднялся слабый ветер и прибил нас к огромному скоплению морских водорослей, в которых нам повезло найти одиннадцать небольших крабов, послуживших превосходным угощением. Панцири их оказались очень мягкими, и мы съели их целиком, выяснив, что они возбуждают жажду не так сильно, как моллюски. Не увидев среди водорослей акул, мы рискнули искупаться и оставались в воде четыре-пять часов, что значительно уменьшило жажду. Освежившись, мы провели эту ночь несколько спокойнее, чем предыдущие, и смогли немного поспать.

6 августа. Этот день осчастливил нас обильным продолжительным дождем, начавшимся в полдень и не прекращавшимся до ночи. Как горько мы сожалели об утрате кувшина и оплетенной бутылки — при таком дожде мы бы наверняка смогли наполнить один, а то и оба сосуда. Нам пришлось собирать воду рубашками, а потом выжимать, ловя ртом капли благословенной жидкости. Так прошел день.

7 августа. Как только рассвело, на горизонте с северной стороны мы разглядели парус, который явно *приближался к нам!* Мы приветствовали это восхитительное зрелище долгими, хоть и слабыми восторженными криками и сразу же принялись подавать сигналы: махать над головами рубашками, прыгать настолько высоко, насколько это было в наших силах, даже кричать во все горло, хотя неизвестное судно находилось от нас никак не меньше чем в пятнадцати милях. Тем не менее оно продолжало идти в нашу сторону, и мы поняли, что, если судно не изменит курс, оно подойдет к нам настолько близко, что нас невозможно будет не заметить. Примерно через час мы уже могли рассмотреть людей на палубе. Это была длинная, судя по очертаниям, быстроходная топсельная шхуна[19] с низкими бортами, черным

шаром на фор-брамселе[20] и, очевидно, полным экипажем. Трудно было допустить, что на шхуне нас могли не заметить, и мы заволновались: не собирается ли она пройти мимо, оставив нас на погибель, — бесчеловечный поступок, который, как это ни невероятно, неоднократно повторяется в море при почти таких же обстоятельствах существами, которых принято относить к человеческому роду[21]. Однако в этом случае, милостью Божьей, нам было суждено ошибиться в своих опасениях, ибо через какое-то время мы заметили, что на борту началось движение, судно подняло британский флаг и, поймав ветер, направилось к нам. Еще полчаса, и мы оказались в кают-компании. Как выяснилось, это была «Джейн Гай» из Ливерпуля под командованием капитана Гая, направлявшаяся в южные моря и Тихий океан промыслять охотой на тюленей и торговать.

14

«Джейн Гай» была изящной топсельной шхуной грузоподъемностью сто восемьдесят тонн. У нее был необычайно острый нос, и с ветром при умеренной погоде она могла развить скорость, какой я не наблюдал у других судов. Однако хорошими мореходными качествами при плохой погоде она похвастать не могла, и осадка ее была слишком велика для дела, на которое она была рассчитана. Для этих целей лучше подойдет судно покрупнее, с большей грузоподъемностью, скажем, от трехсот до трехсот пятидесяти тонн, оснащенное как барк и вообще имеющее конструкцию, не похожую на обычные суда южных морей. Такому судну совершенно необходимо хорошее вооружение. Ему следует иметь дюжину двенадцатифутовых каронад[22], три-четыре длинноствольные пушки с запасом картечи и водонепроницаемыми пороховыми ящиками. Якоря и цепи у него должны быть намного крепче, чем те, что используются любыми другими торговыми судами, но, главное, ему требуется многочисленная и хорошо подготовленная команда, для описанного мною судна — не менее пятидесяти — шестидесяти крепких мужчин. У «Джейн Гай», если не считать капитана и помощника, команда состояла из тридцати пяти человек, но шхуна не была вооружена и оснащена так, как ее оснастил бы мореплаватель, знакомый с трудностями и опасностями торгового дела.

Капитан Гай был джентльменом, он обладал прекрасными манерами и имел солидный опыт плавания в южных широтах, которому посвятил бóльшую часть своей жизни. Однако ему не хватало решимости, и, следовательно, того духа предпринимательства, который здесь совершенно необходим. Он являлся совладельцем судна и имел право по своему усмотрению курсировать по южным морям и перевозить любые подвернувшиеся грузы. Как часто бывает во время подобных плаваний, на борту у него имелся запас бус, зеркал, огнив, топоров, тесаков, пил, стругов, отвесов, зубил, стамесок, сверл, напильников, скобелей, рашпилей, молотков, гвоздей, ножей, ножниц, бритв, иголок, нитей, посуды, тканей, брелоков и других предметов подобного рода.

Шхуна вышла из Ливерпуля десятого июля, пересекла тропик Рака двадцать пятого под двадцатым градусом западной долготы и двадцать девятого достигла Сала, одного из островов Зеленого Мыса, где взяла на борт запас соли и прочие необходимые в плавании вещи. Третьего августа она покинула острова Зеленого Мыса и взяла курс на юго-запад, направляясь к побережью Бразилии, чтобы пересечь экватор между двадцать восьмым и тридцатым градусом западной долготы. Это обычный маршрут для судов, идущих из Европы к мысу Доброй Надежды или дальше — в Ост-Индию. Следуя этим курсом, можно избежать штилей и сильных противоположных течений, которые господствуют у берегов Гвинеи, и после достичь островов Зеленого Мыса с помощью постоянных западных ветров, которые делают этот путь кратчайшим. Капитан Гай по какой-то неизвестной мне причине собирался сделать первую остановку на островах Кергелен. В тот день, когда были подобраны мы, шхуна миновала мыс Сен-Рок на тридцать первом градусе западной долготы, таким образом получается, что мы продрейфовали с севера на юг на расстояние *не менее чем в двадцать пять градусов!*

На борту «Джейн Гай» нас окружили заботой, насколько требовало наше бедственное положение. Примерно через две недели, во время которых мы продолжали плыть на юг, Питерс и я полностью оправились от последствий пережитых лишений и страшных страданий и прошлое нам начало казаться скорее жутким сном, нежели событиями, произошедшими в действительности. Позже я открыл для себя, что частичное забвение подобного рода обычно является

следствием внезапного перехода от одного сильного переживания к другому, либо от счастья к горю, либо от горя к счастью, и степень забывчивости, как правило, пропорциональна степени противоположности чувств. Сейчас я не в состоянии осознать весь масштаб страданий, через которые прошел за дни, проведенные на борту наполовину затопленного судна. Сами события отложились в памяти, но ощущений, которые эти события вызывали, я вспомнить не могу. Знаю лишь, что, когда все это происходило, я думал, что человек выдержать таких испытаний не в силах.

Несколько недель плавания с нами не происходило ничего более существенного, чем встречи с китобойными судами или, что случалось чаще, с черными, или настоящими, китами, как они называются, в отличие от кашалотов. Правда, они встречаются главным образом южнее двадцать пятой параллели. Шестнадцатого сентября, находясь поблизости мыса Доброй Надежды, шхуна впервые после выхода из Ливерпуля попала в более-менее сильный шторм. В этом месте, но обычно к югу и востоку от выступа (а мы находились с западной стороны), мореплавателям часто противостоят особенно яростные штормы, налетающие с севера. Они всегда несут с собой сильнейшее волнение моря, и одной из главных опасностей является мгновенная перемена направления ветра, что почти всегда происходит, когда буря в разгаре. В одну секунду настоящий ураган может дуть с севера или северо-востока, а в следующую — с юга с невообразимой силой. Прояснение в южной части неба является верным признаком перемены и дает возможность судам совершить необходимые приготовления.

Было около шести часов утра, когда на нас налетел внезапный шквал, как обычно, с севера. К восьми часам он значительно усилился, подняв одни из самых больших волн, которые мне когда-либо доводилось видеть. Были проведены возможные приготовления, но тут проявились все недостатки шхуны, которая постоянно зарывалась носом в воду и не успевала с огромным трудом выбраться из-под одной волны, как ее накрывало другой. Перед самым закатом мы заметили прояснение на юго-западе, через час маленький передний парус безжизненно повис на мачте, а еще через две минуты, несмотря на все приготовления, нас словно по волшебству положило на бок и шхуну накрыло настоящей стеной пены. К счастью, удар с юго-запада ограничился шквалистым ветром и нам повезло выровнять судно,

сохранив рангоут[23] в целости. Еще несколько часов после этого мы боролись с сильными перекрестными волнами, но к утру пребывали почти в таком же состоянии, как до начала шторма. Капитан Гай счел наше спасение чудом.

Тринадцатого октября мы подошли к острову Принс-Эдуард на $46^{\circ}53'$ южной широты и $37^{\circ}46'$ восточной долготы. Спустя два дня мы оказались у острова Владения, после чего миновали острова Крозе на $42^{\circ}59'$ южной широты и 48° восточной долготы, а восемнадцатого достигли острова Кергелен, иначе называемого островом Запустения, в южной части Индийского океана и встали на якорь в гавани Рождества, имея под килем четыре сажени воды.

Этот остров, или, вернее, группа островов, отстоит от мыса Доброй Надежды примерно в восьмистах лигах[24] к юго-востоку. Открыты они были в 1772 году бароном де Кергуленом, или Кергеленом, французом, который полагал, что эта земля является частью обширного южного континента, о чем и заявил по возвращении домой, чем наделал много шума. Правительство, приняв это к сведению, в следующем году послало барона обратно для всестороннего изучения его открытия, тогда-то и выяснилось, что произошла ошибка. В 1777 году капитан Кук натолкнулся на ту же группу островов и самому большому из них дал название остров Запустения, которого тот, надо сказать, вполне заслуживает. Однако приближающийся к острову мореплаватель может предположить совершенно противоположное, потому что склоны его прибрежных холмов с сентября по март покрыты зеленью. Это обманчивое впечатление производит небольшое растение, похожее на камнеломку, которое огромными колониями растет посреди мха. Кроме этого растения, остров почти начисто лишен флоры, если не учитывать зарослей травы рядом с гаванью, некоторых видов лишайников и низкорослого кустарника, который внешне похож на семенную капусту и имеет резкий горький вкус.

Местность на острове холмистая, хотя ни один из холмов нельзя назвать высоким. Вершины холмов постоянно покрыты снегом. Есть здесь несколько бухт, из которых гавань Рождества самая удобная. Это первая бухта, если подходить к острову с северо-востока, со стороны мыса Франсуа, который образует северное побережье и является хорошим ориентиром из-за своей необычной формы. Его выступ резко обрывается высокой скалой с большим проломом, образующим

естественную арку. Бухта расположена на 48°40′ южной широты и 69°6′ восточной долготы. Если подходить к острову здесь, удобное место для якорной стоянки можно найти под прикрытием нескольких маленьких островков, которые защитят судно от восточных ветров. Если отсюда проследовать на восток, попадаешь в Осиную бухту в самой глубине гавани. Это небольшой водоем глубиной от трех до десяти морских саженей с плотным глинистым дном, со всех сторон окруженный землей, в который можно войти через проход глубиной четыре морских сажени. Корабль может простоять здесь на первом становом якорю хоть круглый год безо всякого риска. К западу, в глубине Осиной бухты, есть легкодоступный небольшой родник с чистой водой.

На островах Кергелен еще можно встретить тюленей и морских слонов. Пернатых здесь водится великое множество. Особенно многочисленны пингвины, представленные четырьмя видами, из которых самым крупным является королевский пингвин, получивший такое название из-за своих размеров и красивого оперения. Верхняя часть тела у них обычно серая, иногда с сиреневым оттенком, а нижняя окрашена в чистейший белый цвет. Голова блестящая, черная, как и лапы. Однако главным его украшением являются две широкие полосы золотистого цвета, которые опускаются от головы к груди. Длинный клюв бывает розовым или ярко-алым. Эти птицы ходят прямо, с величественной осанкой, голова высоко поднята, крылья опущены, как две руки, а хвост они несут на одной линии с лапами. Сходство с человеческой фигурой настолько поразительное, что при беглом взгляде или в вечернем сумраке наблюдатель может легко обмануться. Королевские пингвины, которых мы встретили на островах Кергелен, были значительно крупнее гуся. Кроме королевских здесь обитают хохлатые пингвины, пингвины-глупыши и обыкновенные пингвины. Они намного меньше, не так красиво окрашены и имеют некоторые другие отличия.

Помимо пингвинов здесь обитает много других видов птиц, среди которых можно упомянуть морских курочек, голубых буревестников, чирков, уток, хохлатых бакланов, капских голубков, исполинских буревестников, разные виды крачек, чаек, качурок, больших буревестников и, наконец, альбатросов.

Большой буревестник размером не уступает альбатросу, плотояден. Его часто называют костоломом или скопьяным буревестником. Эта птица не боится людей, и ее мясо, должным образом приготовленное, вполне можно употреблять в пищу. В полете она иногда опускается к самой поверхности воды, раскинув крылья и как будто не шевеля ими и даже не прикладывая никаких усилий.

Альбатрос — одна из самых крупных и хищных птиц Южного океана. Он относится к роду чаек, охотится в полете и на землю опускается исключительно для выведения потомства. Между альбатросами и пингвинами существует какая-то удивительная дружба. Гнезда они строят исключительно однообразно, причем с таким расчетом, чтобы это было выгодно обоим видам: гнездо альбатроса размещается в середине небольшого квадрата, образованного гнездами четырех пингвинов. Мореплаватели называют такие гнездовья колониями. Есть много описаний этих колоний, но так как не все мои читатели могли видеть их собственными глазами и поскольку мне еще не раз придется упоминать пингвинов и альбатросов, будет не лишним подробно описать их образ жизни и гнездование.

Когда наступает сезон размножения, птицы собираются в огромных количествах и несколько дней как будто решают, как вести себя, после чего приступают к действиям. Они выбирают плоский участок земли подходящего размера (как правило, в три-четыре акра) как можно ближе к морю, но вне досягаемости волн. Место выбирается поровнее, и предпочтение отдается тому, где меньше камней. Решив этот вопрос, птицы в едином порыве, как будто движимые единым мозгом, начинают с математической точностью вычерчивать квадрат или другой четырехугольник, наиболее подходящий к выбранному участку земли и ровно такого размера, чтобы без труда вместить всех собравшихся птиц, но не более того, — очевидно, для того, чтобы предотвратить вторжение чужаков, которые не принимали участия в обустройстве лагеря. Одна из сторон обозначенного места идет параллельно линии воды и остается открытой для входа и выхода.

Определив границы колонии, птицы начинают очищать ее от мусора, собирают камешек за камешком, выносят их за пределы прямоугольника и выкладывают там из них некое подобие стены, которая окружает три обращенных на сушу стороны. Внутри этих стен

протаптывается идеально ровная и гладкая дорожка шириной от шести до восьми футов, выходящая за пределы колонии, которая служит для общих прогулок.

Следующий этап — разделение общей территории на небольшие квадраты совершенно одинакового размера. Для этого прокладываются узкие тропинки, очень ровные и пересекающиеся под прямым углом на всей площади поселения. На каждом пересечении тропинок сооружается гнездо альбатроса — таким образом каждый пингвин оказывается в окружении четырех альбатросов, а каждый альбатрос — такого же количества пингвинов. Гнездо пингвина состоит из ямки в земле, очень неглубокой и необходимой лишь для того, чтобы единственное яйцо не укатилось. Гнездо альбатроса не настолько примитивно — это бугорок около фута высотой и двух футов в диаметре, сооруженный из земли, водорослей и ракушек, на вершине которого строится гнездо.

Птицы ни на секунду не покидают гнезд за все время высиживания яиц и даже до тех пор, пока молодое потомство не окрепнет и не научится само о себе заботиться. Пока самец охотится, самка несет караул и отлучается только по возвращении партнера. Яйца никогда не остаются открытыми — одна птица слетает, другая садится на ее место. Такая предосторожность вызвана возможностью воровства среди обитателей колонии, которые при первой же возможности с удовольствием похищают друг у друга яйца.

Несмотря на то что в некоторых колониях живут исключительно пингвины и альбатросы, в большинстве из них селятся самые разные морские птицы, которые пользуются всеми выгодами общественной жизни, обустривая гнезда там, где находят свободное место, но при этом никогда не вторгаясь на занятое более крупными видами. Со стороны подобные поселения являют совершенно необыкновенное зрелище. Над колонией вьется настоящая туча из альбатросов и более мелких пернатых, беспрестанно то улетающих в океан, то возвращающихся домой. Под ними толпой стоят пингвины, некоторые прогуливаются туда-сюда по узким тропинкам, а некоторые с поистине военной выправкой обходят поселение по окаймляющей его дорожке. Словом, при пристальном наблюдении начинаешь понимать, что самое поразительное в этом — видимость разума, которую производят эти пернатые создания, и поистине ничто не дает человеческому уму бóльшей пищи для размышлений, нежели это зрелище.

На следующее утро после нашего прибытия в гавань Рождества помощник капитана, мистер Паттерсон, спустил лодки и (несмотря на

то что сезон охоты еще не начался) отправился на поиски тюленей, высадив капитана и его юного родственника на голой отмели к западу от шхуны: им по какому-то делу, природу которого мне не удалось выяснить, нужно было попасть в глубь острова. Капитан Гай взял с собой бутылку с запечатанным письмом внутри и направился с того места, где его высадили на берегу, к самому высокому холму. Возможно, он собирался оставить там послание для какого-то судна, которое должно было прийти сюда после него. Едва он скрылся из виду, мы (Питерс и я тоже находились в лодке помощника капитана) приступили к поискам тюленей. Этому занятию мы посвятили три следующие недели, внимательно обследуя берега не только архипелага Кергелен, но и нескольких крошечных окрестных островков. Впрочем, усилия наши не увенчались успехом. Мы видели множество морских котиков, но они оказались очень пугливыми, и ценой огромных усилий нам удалось добыть каких-то триста пятьдесят шкур. Острова изобиловали морскими слонами, особенно много их было на западном берегу главного острова, но их мы убили всего двадцать, и то с огромным трудом. На мелких островах мы нашли немало обыкновенных тюленей, но их мы не трогали. Одиннадцатого мы вернулись на шхуну, где застали капитана Гая и его племянника, которые поделились с нами своим весьма нелестным впечатлением о внутренней части острова: по их словам, это было одно из самых унылых и пустынных мест в мире. Из-за оплошности второго помощника, который забыл вовремя послать за ними со шхуны лодку, им пришлось провести на острове две ночи.

15

Двенадцатого числа мы подняли паруса, вышли из гавани Рождества и, взяв курс на запад, миновали по левому борту остров Марион из группы островов Крозе. Затем мы прошли остров Принс-Эдуард, тоже оставляя его по левому борту, после чего взяли немного севернее и в пятнадцать дней достигли островов Тристан-да-Кунья под 37°8′ южной широты и 12°8′ западной долготы.

Эта группа, ныне хорошо изученная и состоящая из трех округлых островов, была открыта португальцами, впоследствии здесь побывали голландцы в 1643 и французы в 1767 годах. Острова складываются в треугольник и отстоят друг от друга примерно на десять миль, так что

между ними имеются широкие открытые проливы. На всех трех островах местность довольно возвышенная, особенно на самом Тристан-да-Кунья. Это остров, имея в окружности пятнадцать миль, является самым крупным из группы, и он так высок, что в ясную погоду его можно видеть с расстояния в восемьдесят — девяносто миль. Северная часть острова отвесно вздымается над морем на тысячу футов. Отходящее от него высокогорное плато достигает почти середины острова, и на этом плато возвышается огромная коническая гора наподобие Тенерифского пика. Нижняя часть этого конуса покрыта большими деревьями, но верхушка состоит из голых камней, как правило, окутана облаками и большую часть года покрыта снегом. У острова нет ни мелей, ни других особенностей, которые могут угрожать кораблям, берега его круты, а воды глубоки. На северо-западном берегу есть бухта с черным песком, где при южном ветре без труда можно пристать на лодках. Остров богат источниками превосходной воды, также здесь хорошо ловится на удочку треска и другая рыба.

Второй по величине остров и самый западный из группы называется Недоступным. Расположен он точно на $37^{\circ}17'$ южной широты и $12^{\circ}24'$ западной долготы. В окружности он имеет семь-восемь миль и со всех сторон окружен неприступными обрывистыми берегами. У него совершенно плоская вершина, и весь остров почти полностью лишен растительной жизни, здесь не растет ничего, кроме нескольких низкорослых кустов.

Соловьиный остров, самый маленький и южный в группе, расположен на $37^{\circ}26'$ южной широты и $12^{\circ}12'$ западной долготы. Рядом с его южной оконечностью из воды выступает цепочка скалистых островков, несколько подобных образований есть и на северо-восточной стороне. Глубокая долина разделяет неровную и безжизненную поверхность острова на две части.

В сезон на берегах этих островов собирается множество морских львов, морских слонов, котиков и тюленей, а также разнообразных морских птиц. Вокруг нередко можно встретить китов. Из-за того что охота на этих животных здесь не составляет труда, острова часто посещаемы. С самого открытия сюда часто наведывались голландцы и французы. Так, в 1790 году капитан Пэттен на корабле «Индустрия» из Филадельфии достиг острова Тристан-да-Кунья и провел там семь

месяцев (с августа 1790 по апрель 1791), охотясь на тюленей. За это время он собрал не меньше пяти тысяч шестисот шкур и утверждал, что без труда наполнил бы большое судно тюленьим жиром за три недели. Четвероногих животных капитан Пэттен на островах не обнаружил, если не считать нескольких диких коз; теперь же они изобилуют ценными домашними животными, которых завезли сюда последующие экспедиции.

Насколько мне известно, вскоре после посещения капитана Пэттена к крупнейшему из островов на американском бриге «Бетси» пристал капитан Колкхун. Его целью был отдых и пополнение запасов. Он посадил здесь лук, картофель, капусту и много других овощей, которые теперь произрастают здесь в изобилии.

В 1811 году на судне «Нерей» остров Тристан-да-Кунья посетил некий капитан Хэйвуд. Он нашел там трех американцев, которые жили на острове, занимаясь заготовкой тюленьих шкур и жира. Одного из этих людей звали Джонатан Ламберт, и он называл себя правителем этих земель. Ламберт расчистил и возделал примерно шестьдесят акров земель и занялся выращиванием кофе и сахарного тростника, которыми его снабдил американский консул в Рио-де-Жанейро. Однако со временем это поселение было заброшено, и в 1817 году британское правительство аннексировало острова, выслав туда военный отряд с мыса Доброй Надежды. Они задержались там недолго, хотя после эвакуации британского населения две-три английские семьи решили остаться там независимо от решения правительства. Двадцать пятого марта 1824 года судно «Бервик» под командованием капитана Джеффри, следовавшее из Лондона на Землю Ван-Димена[25], достигло островов, где обнаружили некоего англичанина по фамилии Гласс, бывшего капрала британской артиллерии. Он называл себя губернатором островов и имел в подчинении двадцать одного мужчину и трех женщин. Он весьма лестно отзывался о благотворности местного климата и плодородии земли. Население островов в основном занималось заготовкой жира морских слонов и тюленьих шкур, которые продавали на мысе Доброй Надежды — у Гласса имелась небольшая шхуна. Когда на остров прибыли мы, он все еще являлся губернатором, но его небольшая коммуна значительно увеличилась: на острове Тристан-да-Кунья жили пятьдесят шесть человек, если не считать семерых обитателей небольшого поселения

на Соловьином острове. Нам без труда удалось запастись почти всем необходимым: овцы, свиньи, бычки, кролики, домашняя птица, козы, разнообразная рыба и овощи — всего здесь было в достатке. Из-за того что мы смогли бросить якорь очень близко к самому большому из островов, в восемнадцать морских саженях, погрузка прошла без труда. Капитан Гай также купил у Гласса пятьсот тюленьих шкур и немного слоновой кости. Пробыли мы здесь неделю, все это время дул то северный, то западный ветер и стоял легкий туман. Пятого ноября мы подняли паруса и взяли курс на юго-запад, намереваясь обследовать группу островов Аврора, относительно существования которых имеются самые противоречивые мнения.

Говорят, что эти острова были открыты еще в 1762 году командиром корабля «Аврора». В 1790 году Мануэль де Оярвидо, капитан корабля «Принцесса», принадлежавшего Королевской Филиппинской компании, по его словам, проплыл между островами. В 1794 году испанский корвет «Атревида» отправился в эти широты для установления точного местоположения островов Аврора, и в сообщении Мадридского королевского гидрографического общества от 1809 года содержится следующее упоминание об этой экспедиции: «Корвет “Атревида” находился в непосредственной близости к островам с двадцать первого по двадцать седьмое января, производя все необходимые наблюдения и с помощью хронометров замерив разницу в долготе между ними и портом Соледад на Мальвинских островах. Островов три, расположены они почти на одном меридиане. Центральный остров низменный, остальные два можно наблюдать с расстояния в девять лиг». Наблюдения, проведенные на борту «Атревиды», дают точные координаты каждого острова. Самый северный из них расположен на $52^{\circ}37'24''$ южной широты и $47^{\circ}43'15''$ западной долготы, средний — $53^{\circ}2'40''$ южной широты и $47^{\circ}55'15''$ западной долготы, а самый южный — $53^{\circ}15'22''$ южной широты и $47^{\circ}57'15''$ западной долготы.

Двадцать седьмого января 1820 года капитан британского морского флота Джеймс Уэддел отплыл от Земли Статен на поиски Авроры. Он сообщает, что провел самые старательные поиски и прошел не только непосредственно над точками, указанными капитаном «Атревиды», но и близлежащие районы во всех направлениях, однако не обнаружил и следа суши. Эти противоречивые сведения побудили других

мореплавателей отправиться на поиски островов, и, странное дело, в то время как одни, прочесав каждый дюйм моря в том месте, где они должны находиться, так ничего и не нашли, другие уверенно заявляли, что видели их своими глазами и даже подходили к их берегам. Капитан Гай намеревался сделать все, что в его силах, чтобы поставить точку в этом споре[26].

При переменной погоде мы продолжали путь на юго-запад до двадцатого числа, когда достигли места, вызвавшего такие споры, на $53^{\circ}15'$ южной широты и $47^{\circ}58'$ западной долготы, то есть в непосредственной близости от точки, в которой должен был находиться самый южный из островов группы. Не обнаружив никаких признаков суши, мы двинулись на запад по пятьдесят третьей западной параллели и дошли до пятидесятого меридиана. Потом мы повернули на север и, дойдя до пятьдесят второй параллели, взяли курс на восток, сверяя параллель по углу подъема солнца утром и вечером и меридиан по положению планет и луны. Продвинувшись таким образом на восток до меридиана, проходящего через западное побережье Южной Георгии, мы снова повернули на юг и возвратились к исходной точке. Затем мы прошли по диагоналям образованного таким образом прямоугольного участка моря, постоянно держа вахтенного на марсе. Наши поиски продолжались три недели, и все это время стояла на удивление ясная погода без намека на туман. Конечно же, мы пришли к заключению, что, если в этих водах когда-то и существовали острова, до наших дней от них не сохранилось и следа. Вернувшись домой, я узнал, что те же места с не меньшим тщанием исследовали в 1822 году Джонсон, капитан американской шхуны «Генри», и Морелл, капитан американской шхуны «Оса» — в обоих случаях с теми же результатами.

16

Капитан Гай планировал после поисков Авроры пройти через Магелланов пролив и подняться вверх вдоль западного побережья Патагонии, но сведения, полученные на острове Тристан-да-Кунья, побудили его повернуть на юг в надежде пристать к какому-нибудь из мелких островов, которые, как считается, расположены на 60° южной широты и $41^{\circ}21'$ западной долготы. Если бы найти их не удалось, он при благоприятной погоде продвинулся бы к полюсу. Итак,

двенадцатого декабря мы отправились в этом направлении. Восемнадцатого мы оказались недалеко от места, координаты которого были указаны Глассом, и три дня курсировали в этих водах, не обнаружив и следа островов, о которых он упоминал. Двадцать первого числа при отличной погоде мы продолжили путь на юг, приняв решение продвинуться в этом направлении как можно дальше. Прежде чем приступить к этой части моего рассказа, думаю, будет не лишним тем моим читателям, которые не следят за историей исследований этих районов, вкратце рассказать о тех немногочисленных попытках достичь южного полюса, которые были предприняты на сегодняшний день.

Капитан Кук — первый из тех, о ком у нас сохранились какие-то определенные сведения. В 1772 году на корабле «Резолюшн» в сопровождении лейтенанта Фюрно на корабле «Адвенчер» он отплыл в южном направлении. В декабре он достиг пятьдесят восьмой параллели под $26^{\circ}57'$ восточной долготы. Здесь ему встретились узкие ледяные поля толщиной от восьми до десяти дюймов, простиравшиеся на северо-запад и юго-восток. Льдины стояли так тесно, что судну с большим трудом удавалось продвигаться вперед. Здесь по наличию большого количества птиц и по другим признакам капитан Кук определил, что неподалеку находится земля. В сильнейший холод он продолжил путь на юг, пока не достиг шестьдесят четвертой параллели под $38^{\circ}14'$ восточной долготы. Здесь потеплело, подули легкие ветры, пять дней термометр показывал тридцать шесть градусов[27]. В январе 1773 года корабли пересекли Южный полярный круг, но дальше пройти не удалось, поскольку на широте $67^{\circ}15'$ дорогу им преградили сплошные льды, простиравшиеся далеко на юг. Лед был самый разнообразный, некоторые льдины шириной несколько миль собирались в сплошные массивы, выступающие из воды на восемнадцать — двадцать футов. Ввиду позднего времени года надежды одолеть это препятствие не было, и капитан Кук вынужден был повернуть на север.

В ноябре он продолжил поиск Антарктики. На $59^{\circ}40'$ южной широты он попал в сильное, направленное на юг течение. В декабре, когда суда находились на $67^{\circ}31'$ южной широты и $142^{\circ}54'$ западной долготы, наступили жестокие морозы, сопровождавшиеся сильными ветрами и туманом. Здесь тоже было много птиц, особенно

альбатросов, пингвинов и буревестников. На $70^{\circ}23'$ были обнаружены большие айсберги, и вскоре на юге были замечены снежно-белые облака, указывающие на близость ледяного поля. На $71^{\circ}10'$ южной широты и $106^{\circ}54'$ западной долготы мореплавателей, как и в прошлый раз, остановил гигантский ледяной массив, занимавший все пространство до южного горизонта. Северная оконечность массива, полоса шириной примерно в милю, была сплошь загромождена изломанными торосами, сросшимися так крепко, что пройти через них было решительно невозможно. Позади нее ледяная поверхность была сравнительно гладкой и вдалеке упиралась в цепь гигантских, громоздящихся друг на друга ледяных гор. Капитан Кук пришел к выводу, что это обширное пространство достигало Южного полюса либо соединялось с каким-нибудь материком. Мистер Дж. Н. Рейнольдс, благодаря чьим огромным усилиям и упорству наконец была организована национальная экспедиция, целью которой было среди прочего исследование и этой области, так пишет о попытках, предпринятых «Резолюшн»: «Нас не удивляет, что капитан Кук не смог продвинуться за $71^{\circ}10'$, но поразительно то, что он смог достичь этой точки на $106^{\circ}54'$ западной долготы. Земля Палмера лежит к югу от Шетландских островов, на широте 64° , и тянется на юг и запад дальше, чем до сих пор проникал кто-либо из мореплавателей. Кук полагал, что достиг земли, когда был остановлен льдом, который, надо полагать, присутствует там всегда в такое раннее время года, как шестое января, и для нас не станет неожиданностью, если выяснится, что описанные капитаном Куком ледяные горы какой-то частью примыкают к Земле Палмера или какой-нибудь другой суше, находящейся дальше на юг и запад».

В 1803 году российский император Александр отправил капитанов Крузенштерна и Лисянского в кругосветное плавание. Пытаясь проникнуть на запад, они не прошли дальше $59^{\circ}58'$ на $70^{\circ}15'$ западной долготы. Здесь они встретили сильное, направленное на восток течение. В этих водах было много китов, но льда они не увидели. В отношении этого плавания мистер Рейнольдс отмечает, что, если бы Крузенштерн прибыл на это место в более раннее время года, он застал бы там лед (указанной широты он достиг в марте). Преобладающие здесь южные и западные ветра и течения отнесли льдины в область сплошных льдов, ограниченную на севере островом

Южная Георгия, на востоке Сандвичевыми и Южными Оркнейскими островами, а на западе Южными Шетландскими островами.

В 1822 году капитан британского морского флота Джеймс Уэддел на двух небольших судах проник на юг дальше остальных мореплавателей без особых сложностей. Он утверждает, что часто оказывался в окружении льдов, пока не достиг семьдесят второй параллели, но за ней не обнаружил ни льдинки и до $74^{\circ}15'$ увидел лишь три айсберга. Примечательно, что, несмотря на присутствие больших птичьих стай и прочие признаки близости суши, несмотря на то что к югу от Шетландских островов его марсовые видели какие-то неизвестные берега, тянущиеся на юг, Уэддел отрицает идею существования земли в южной полярной области.

Одиннадцатого января 1823 года капитан Бенджамин Моррелл на американской шхуне «Оса» отплыл от островов Кергелен, намереваясь проникнуть как можно дальше на юг. Первого февраля он оказался на $64^{\circ}52'$ южной широты и $118^{\circ}27'$ восточной долготы. Далее следует отрывок из записи в его путевом журнале, помеченной этим числом: «Вскоре ветер усилился до скорости в одиннадцать узлов, и мы, воспользовавшись этим, взяли курс на запад, но, будучи уверены, что чем дальше мы продвинемся от шестьдесят четвертой параллели к югу, тем меньше вероятность встретить льды, стали забирать южнее, пересекли Южный полярный круг и дошли до $69^{\circ}15'$ южной широты. Здесь никаких сплошных льдов не было, лишь несколько айсбергов».

Также я обнаружил запись, датированную 14 марта: «Море было свободно от сплошного льда, и виднелся лишь десяток айсбергов. В то же время температура воздуха и воды оказалась здесь самое меньшее на тринадцать градусов выше обычной для параллелей от шестидесятой до шестьдесят второй. Далее мы достигли $70^{\circ}14'$ южной широты, где температура воздуха составляла сорок семь, а воды — сорок четыре градуса. В этих условиях отклонение магнитной стрелки составило $14^{\circ}27'$ на восток по азимуту... Я неоднократно пересекал Южный полярный круг на разных меридианах и каждый раз обнаруживал, что температура как воздуха, так и воды становится все выше по мере продвижения на юг от шестьдесят пятой параллели и что, соответственно, отклонение магнитной стрелки уменьшается в той же пропорции. Находясь к северу от этой широты, скажем, между шестидесятым и шестьдесят пятым градусом широты, мы часто с

трудом находили проход между крупными и крайне многочисленными айсбергами, некоторые из них в окружности достигали мили, а то и двух, и уходили под воду более чем на пять сотен футов».

Израсходовав почти все запасы топлива и еды, не имея необходимых инструментов, а также ввиду приближающейся полярной зимы капитан Моррелл был вынужден отказаться от дальнейшего продвижения на запад и вернуться, хотя перед ним лежало совершенно свободное ото льда море. Он высказывает мнение, что, если бы эти обстоятельства не заставили его отступить, ему бы удалось достичь если не самого полюса, то, по крайней мере, восемьдесят пятой параллели. Я столь пространно пересказываю его соображения лишь для того, чтобы мой читатель в дальнейшем имел возможность увидеть, насколько они подтверждаются моим собственным опытом.

В 1831 году капитан Бриско, состоявший на службе у господ Эндерби, лондонских владельцев китобойных суден, отправился на бриге «Шустрый» и катере «Фуле» в Южный океан. Двадцать восьмого февраля, находясь на $66^{\circ}30'$ южной широты и $47^{\circ}31'$ восточной долготы, он увидел вдалеке землю и «четко рассмотрел сквозь снег черные вершины горной гряды, уходящей на ост-зюйд-ост». Весь следующий месяц он оставался в этих водах, но не смог приблизиться к берегу ближе чем на десять лиг из-за непогоды. Поняв, что в этом сезоне дальнейшие исследования невозможны, он отправился зимовать на расположенную севернее Землю Ван-Димена.

В начале 1832 года он снова начал продвижение на юг и четвертого февраля, находясь на $67^{\circ}15'$ южной широты и $69^{\circ}29'$ западной долготы, увидел на юго-востоке землю. Вскоре выяснилось, что это остров, расположенный рядом с открытым им ранее мысом на материке. Двадцать первого числа ему удалось высадиться на этом острове и именем короля Вильгельма IV провозгласить его британским владением, которому он в честь английской королевы дал название Аделейд. Когда эти подробности были сообщены Королевскому географическому обществу в Лондоне, ученые пришли к выводу, что «существует сплошной отрезок суши, растянувшийся вдоль шестьдесят шестой — шестьдесят седьмой параллели от $47^{\circ}30'$ восточной широты до $69^{\circ}29'$ западной долготы». В ответ на это заключение мистер Рейнольдс замечает: «С правильностью подобных выводов мы не можем согласиться, и открытия Бриско не дают к тому

ни малейших оснований. Именно внутри этих координат Уэддел продвинулся на юг по меридиану к востоку от Георгии, Сандвичевых, Южных Оркнейских и Шетландских островов». Мой собственный опыт самым непосредственным образом указывает на ошибочность выводов, сделанных этим ученым сообществом.

Таковы главные попытки проникнуть в высокие широты юга, из чего становится понятным, что до плавания «Джейн Гай» огромный отрезок Южного полярного круга, равный тремстам градусам, не пересекал ни один корабль. Конечно, перед нами лежало широкое поле для открытий и предложение капитана Гая продвинуться на юг вызвало у меня огромный интерес.

17

Отказавшись от дальнейших поисков островов Гласс, мы четыре дня шли на юг, не встретив никакого льда. Двадцать шестого числа в полдень, оказавшись на $63^{\circ}23'$ южной широты и $41^{\circ}25'$ западной долготы, мы увидели несколько крупных айсбергов и ледяное поле, но не очень широкое. Ветер дул юго-восточный и северо-восточный, но очень слабый. Всякий раз, когда ветер дул с запада, что случалось редко, начинался дождь. Каждый день шел снег, то сильнее, то слабее.

1 января 1828 года. В этот день мы оказались полностью зажаты льдами, и перспективы были самыми безрадостными. Все утро с северо-востока дул ураганный ветер, ударяя большими дрейфующими льдинами о подзор кормы и руль с такой силой, что нас одолевали мрачные предчувствия. Ближе к вечеру, когда ураган все еще продолжал бушевать, большое ледяное поле перед нами расступилось и мы получили возможность, поставив все паруса, пробиться через небольшие обломки льда на открытую воду. Приближаясь к этой большой полынье, мы постепенно убирали паруса, пока не остались под одним зарифленным фоком.

2 января. Погода сделалась в меру сносной. В полдень мы оказались на $69^{\circ}10'$ южной широты и $42^{\circ}20'$ западной долготы, за Южным полярным кругом. К югу от нас льда было очень немного, хотя позади остались огромные ледяные поля. В этот день мы соорудили некое подобие лота из большого железного горшка на двадцать галлонов и двух сотен сажень троса и обнаружили течение, идущее на север со скоростью примерно четверть мили в час.

Температура воздуха была примерно тридцать три градуса, отклонение магнитной стрелки составило $14^{\circ}28'$ на восток по азимуту.

5 января. Продолжали идти на юг, не встречая каких-либо значительных преград, однако этим утром, находясь на $73^{\circ}15'$ южной широты и $42^{\circ}10'$ западной долготы, снова были остановлены огромным полем толстого льда. На юге мы увидели большое открытое пространство и решили, что наверняка сможем его достичь. Направляясь на восток вдоль края льдов, в конце концов мы нашли проход шириной примерно в милю, через который и прошли к заходу солнца. Море, в котором мы оказались, было густо усеяно айсбергами, но свободно от ледяных полей, и мы продолжили идти вперед, не снижая скорости. Температура не понижалась, несмотря на постоянный снегопад и частый сильнейший град. В этот день над шхуной с юга на север пролетела большая стая альбатросов.

7 января. Море оставалось открытым, поэтому следовать своим курсом нам не составляло труда. На западе заметили невероятного размера айсберги и днем прошли совсем близко от одного из них, высотой не менее четырех сотен саженей от поверхности океана. У основания он, вероятно, имел в поперечнике три четверти лиги, и по бокам его из расщелин текли ручьи. Этот ледяной остров оставался в поле зрения еще два дня и лишь потом скрылся в тумане.

10 января. Рано утром имели несчастье потерять человека за бортом. Это был американец по имени Питер Вреденбург из Нью-Йорка, который считался одним из самых ценных членов экипажа «Джейн Гай». Выйдя на нос, он поскользнулся, упал между двумя огромными льдинами и больше не показывался. В полдень этого дня мы находились на $78^{\circ}30'$ южной широты и $40^{\circ}15'$ западной долготы. Холод значительно усилился, с севера и востока постоянно налетал шквалистый ветер с градом. Также в этом направлении мы опять увидели несколько внушительного размера айсбергов, и весь горизонт на востоке показался нам сплошь закрытым громоздящимися друг на друга ледяными торосами. Вечером мимо нас проплыли какие-то деревянные обломки, а над нами летало большое количество птиц, среди которых я увидел несколько видов буревестников, альбатросов и какую-то крупную птицу с ярким голубым оперением. Здесь отклонение магнитной стрелки по азимуту было меньше, чем во время

прошлого замера, который мы произвели до пересечения Южного полярного круга.

12 января. Дальнейшее продвижение на юг снова оказалось под вопросом, поскольку по направлению к полюсу не было видно ничего, кроме безграничного сплошного ледяного поля и нагромождения ледяных глыб, угрожающе нависающих друг над другом. До четырнадцатого числа будем идти на запад — может быть, там нам удастся найти проход.

14 января. Утром достигли западной оконечности мешающего нам ледяного поля и, обогнув его, вышли в открытое море, полностью лишенное льда. Опустив лот на двести саженой, обнаружили направленное на юг течение со скоростью полмили в час. Температура воздуха была сорок семь градусов, воды — тридцать четыре. Продвигались на юг, не останавливаясь ни на минуту, до шестнадцатого, когда в полдень оказались на $81^{\circ}21'$ южной широты и 42° западной долготы. Здесь снова забросили лот и нашли то же самое южное течение, которое уже имело скорость три четверти мили в час. Отклонение по азимуту уменьшилось, воздух сделался мягким и приятным, термометр поднялся до пятидесяти одного градуса. Льда мы не видели. Все, кто был на борту, уже не сомневались, что мы достигнем полюса.

17 января. Этот день был полон происшествий. Неисчислимы полчища птиц пролетали над нами с юга на север, нескольких удалось подстрелить с палубы, и мясо одной, похожей на пеликана, оказалось превосходным на вкус. Примерно в полдень с марса была замечена одинокая льдина по левому борту, и на ней находилось какое-то крупное животное. Поскольку погода была хорошей и почти безветренной, капитан Гай распорядился спустить две шлюпки, чтобы выяснить, что это за зверь. Мы с Дирком Питерсом присоединились к первому помощнику на бóльшей из шлюпок. Приблизившись к льдине, мы обнаружили, что на ней обосновалось гигантское создание из породы белых медведей, только гораздо крупнее любого из них. Мы были хорошо вооружены и потому не раздумывая напали на него. Было произведено несколько быстрых выстрелов, большинство из которых явно попали в голову и тело. Однако чудовище они, похоже, только разозлили. Оно бросилось со льдины в воду и с разинутой пастью поплыло к шлюпке, на которой находились мы с Питерсом. Из-

за смятения, вызванного столь неожиданным поворотом событий, никто не выстрелил во второй раз, отчего медведю удалось, наполовину высунувшись из воды, налечь своим огромным телом на наш планшир и схватить одного из матросов пониже спины, прежде чем мы успели что-нибудь сделать. В этом отчаянном положении нас спасли от верной гибели лишь сноровка и проворство Питерса. Запрыгнув на спину громадному зверю, он вонзил нож в основание его шеи, одним ударом перерезав спинной мозг. Бездыханное животное безвольно скатилось в воду, увлекая за собой Питерса. Тот вскоре пришел в себя и, обвязав брошенной веревкой тушу медведя, залез обратно в лодку. После этого мы с триумфом вернулись на шхуну, таща на буксире добычу. Измерив медведя, мы выяснили, что в длину он имел полных пятнадцать футов. Белоснежная и очень грубая шерсть закручивалась в короткие плотные завитки. Кроваво-красные глаза по размеру значительно превосходили глаза белого медведя, морда тоже более округлая, напоминающая скорее бульдога. Мясо его оказалось нежным, хоть и сильно отдавало рыбой, впрочем, матросы, с аппетитом отведавшие его, нашли мясо превосходным.

Едва мы успели поднять нашу добычу на палубу, как с марса раздался радостный крик вахтенного: «Земля по правому борту!» Всех охватило нетерпение, и благодаря как нельзя кстати налетевшему с северо-востока ветру мы вскоре приблизились к берегу. Оказалось, что это плоский каменный островок окружностью примерно в лигу, совершенно лишенный растительности, если не считать каких-то растений, напоминающих опунцию. Если подходить к нему с севера, видно необычный, выдающийся в море утес, по форме очень напоминающий перевязанную кипу хлопка. За выступом, с западной стороны, имеется небольшая бухточка, в глубине которой наши шлюпки смогли без труда пристать.

На то, чтобы исследовать весь остров, много времени не ушло, и, за одним исключением, мы не обнаружили на нем ничего достойного внимания. На крайней южной его оконечности, у самой воды, в грудке битых камней мы нашли кусок деревянной конструкции, который, судя по виду, некогда был частью носа каноэ. На обломке были видны следы резьбы, и капитан Гай даже как будто различил изображение черепахи, но мне сходство не показалось убедительным. Кроме обломка носа каноэ (если это действительно был он), мы не

обнаружили других следов пребывания на острове живых существ. Вокруг острова виднелись несколько небольших льдин, но их было очень немного. Точные координаты острова (которому капитан Гай дал имя остров Беннета в честь совладельца его шхуны): $82^{\circ}50'$ южной широты и $42^{\circ}20'$ западной долготы.

К этому времени мы продвинулись на юг более чем на восемь градусов дальше, чем кто-либо из мореплавателей до нас, и перед нами по-прежнему простиралось открытое, без льдинки море. Кроме того, мы обнаружили, что с продвижением на юг отклонение магнитной стрелки равномерно уменьшалось, но самое удивительное было то, что температура воздуха, а с недавнего времени и воды неуклонно повышалась. Погоду можно было даже назвать приятной, с севера дул устойчивый, но несильный бриз. Небо почти все время оставалось чистым, лишь изредка над южным горизонтом очень ненадолго поднималась дымка. Мы столкнулись лишь с двумя препятствиями: у нас заканчивалось топливо и у некоторых членов экипажа появились признаки цинги. Это заставило капитана Гая задуматься о возвращении, и он все чаще об этом говорил. Что касается меня, то, не сомневаясь в том, что мы скоро достигнем искомой земли, если будем продолжать двигаться избранным курсом, и имея все основания полагать, что она окажется не такой голой и пустынной, какими обычно бывают земли в высоких полярных широтах, я настойчиво внушал капитану мысль о целесообразности дальнейшего продвижения на юг, хотя бы еще в течение нескольких дней. Еще никогда человеку не давалась столь заманчивая возможность раскрыть великую тайну Антарктического материка, и, признаюсь, меня распирало от негодования, когда я слышал неуверенные и несвоевременные возражения нашего командира. Кажется, однажды я не сдержался и высказался на этот счет откровенно, что в конечном счете и побудило его продолжить путь. Несмотря на то что я не могу не скорбеть о жутких, кровавых событиях, непосредственной причиной которых стал мой совет, полагаю, я все же имею право испытывать некоторую степень удовлетворения, потому что помог, хоть и косвенно, открыть глаза ученым на одну из самых волнующих загадок, когда-либо привлекавших к себе их внимание.

18 января. Утром[28] продолжили движение на юг при такой же приятной погоде. Море оставалось совершенно спокойным, с северо-востока дул теплый ветер, температура воды была пятьдесят три градуса. Мы снова приготовили лот и, опустив его на сто пятьдесят саженей, выявили направленное к полюсу течение со скоростью одной мили в час. Эта неизменная направленность на юг как ветра, так и течений стала причиной оживленных обсуждений и даже тревоги в разных частях шхуны, и я заметил, что это произвело немалое впечатление на капитана Гая. Однако он был чрезвычайно чувствителен к любым насмешкам, и мне в конце концов удалось развеять его страхи. Отклонение магнитной стрелки стало совсем незначительным. За день мы несколько раз видели черных китов и над шхуной неисчислимо раз пролетели альбатросы. Еще мы нашли куст растения неизвестного вида, обильно поросший красными ягодами, похожими на ягоды боярышника, и останки удивительного животного. В длину оно имело три фута, в высоту всего примерно шесть дюймов, четыре очень короткие лапы были снабжены длинными когтями ярко-красного цвета, по виду напоминавшими коралл. Тело было покрыто прямой шелковистой шерстью, совершенно белой. Хвост около полутора футов в длину на конце сужался, как у крысы. Голова напоминала кошачью, только уши висели, как у собаки. Зубы были одного цвета с когтями — ярко-красные.

19 января. Сегодня море приобрело какой-то необычный темный оттенок. На $83^{\circ}20'$ южной широты и $43^{\circ}5'$ западной долготы вахтенный на марсе снова увидел землю. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это один из группы очень больших островов. За обрывистым берегом мы рассмотрели довольно плотные заросли деревьев, чему несказанно обрадовались. Примерно через четыре часа после того, как земля была замечена, мы бросили якорь на глубине десять саженей на песчаном дне в лиге от берега, так как высокий прибой и беспокойные волны делали дальнейшее приближение нецелесообразным. Капитан приказал спустить две самые большие шлюпки, и хорошо вооруженный небольшой отряд (в том числе мы с Питерсом) отправился на поиски прохода в рифе, который, казалось, окружал остров. После непродолжительных поисков нам удалось обнаружить бухту, и мы как раз в нее заходили, когда заметили, что от берега отходят четыре больших каноэ, полные

вооруженных до зубов людей. Мы стали ждать их приближения, и, поскольку каноэ двигались с большой скоростью, очень скоро они оказались в пределах слышимости. Когда капитан Гай поднял белый платок, привязанный к лопасти весла, незнакомцы резко остановились и принялись галдеть все разом, время от времени издавая крики, в которых можно было различить слова «Анаму-му!» и «Лама-лама!». Так продолжалось по меньшей мере полчаса, и за это время мы смогли хорошенько их рассмотреть.

Всего в четырех каноэ длиной около пятидесяти футов и шириной примерно пять находилось сто десять дикарей. Ростом они не отличались от европейцев, только имели более крепкое сложение. Кожа у них была совсем черная, волосы — длинные и курчавые. Одежда их состояла из шкур какого-то черного животного с косматой мягкой шерстью, причем скроена она была не без умения — мехом внутрь, кроме отворотов у шеи, на запястьях и лодыжках. Вооружены они были главным образом дубинками из какого-то темного и, надо полагать, очень твердого дерева. Впрочем, мы заметили и несколько копий с кремниевыми наконечниками и пращи. На дне каноэ лежали груды черных камней размером с крупное яйцо.

Когда с приветствием было покончено (а болтовней своей они, очевидно, преследовали именно эти цели), один из них, очевидно вождь, поднялся на носу каноэ и знаками пригласил нас подплыть к нему. Мы сделали вид, что не понимаем, решив, что будет благоразумнее по возможности сохранять дистанцию между нами — количеством они вчетверо превосходили нас. Разобравшись что к чему, вождь приказал остальным трем каноэ отплыть немного назад и приблизился к нам на своем. Едва поравнявшись с нами, он запрыгнул на бóльшую из шлюпок и уселся рядом с капитаном Гаем, одновременно указывая на шхуну и повторяя слова «Анаму-му!» и «Лама-лама!». Мы поплыли обратно к кораблю, все четыре каноэ последовали за нами, держась на небольшом расстоянии.

Оказавшись рядом со шхуной, вождь начал всячески проявлять высшую степень удивления и удовольствия: хлопал в ладоши, бил себя по бедрам и груди, громко хохотал. Его соплеменники присоединились к веселью, и несколько минут стоял поистине оглушительный шум. Когда тишина была наконец восстановлена, капитан Гай приказал поднимать шлюпки, и в качестве необходимой предосторожности дал

понять вождю (которого, как мы вскоре выяснили, звали Туу-Уит), что на борт мы можем брать не больше двадцати его людей за раз. Это последнего, кажется, полностью удовлетворило, он что-то крикнул своим в каноэ, после чего одно из них отделилось от державшейся ярдах в пятидесяти группы и подошло к нам. Поднявшиеся на борт «Джейн Гай» двадцать дикарей принялись разгуливать по всей палубе, рыться в снастях, чувствуя себя как дома, и осматривать все с великим любопытством.

Было вполне очевидно, что никогда прежде они не видели белых людей, чья белая кожа, похоже, у них вызывала отвращение. «Джейн Гай» они посчитали живым существом и очень боялись уколоть ее копьями, из-за чего осторожно подняли их наконечниками вверх. Один случай премного позабавил команду шхуны. Наш кок рубил дрова рядом с камбузом и случайно ударил топором в палубу, пробив глубокую дыру. Туу-Уит мгновенно подскочил к нему, довольно грубо отпихнул кока в сторону и, издав то ли визг, то ли вой, стал всячески выражать сочувствие раненой шхуне, гладил дыру руками и даже промыл ее морской водой из стоявшего рядом ведра. Такой степени невежества мы не могли ожидать, и мне показалось, что по крайней мере часть ее была притворной.

Когда гости кое-как удовлетворили любопытство наверху, они спустились вниз, и тут их удивлению не было предела. Они были слишком потрясены, чтобы что-то говорить, и осматривали внутренности корабля в молчании, нарушаемом лишь приглушенными восклицаниями. Когда мы разрешили им осмотреть и потрогать наше оружие, оно немало озадачило их. Не думаю, что они догадывались о его предназначении, скорее всего, дикари приняли ружья за идолов, когда увидели, как бережно мы к ним относимся и как внимательно следим за их движениями, когда они берут их в руки. При виде пушек их изумление удвоилось. Они приблизились к ним с видом величайшего почтения и благоговейного страха, но от внимательного осмотра воздержались. В кают-компании на стенах висели два больших зеркала, и здесь удивление их достигло кульминации. Туу-Уит первым вышел на середину кают-компании, оказавшись лицом к одному зеркалу и спиной к другому. Заметил он их не сразу, но, когда дикарь поднял глаза и увидел свое отражение, я подумал, он сойдет с

ума. Когда же он развернулся, чтобы убежать, и снова увидел себя в зеркале напротив, я испугался, что он умрет прямо на месте. Никакие уговоры не заставили его снова посмотреть в зеркало. Он бросился на пол, закрыв лицо руками, и оставался в таком положении, пока мы не вытащили его на палубу.

Так группами по двадцать человек все дикари поочередно побывали на борту нашей шхуны. Туу-Уиту пришлось оставаться на шхуне все это время. Склонности к воровству мы у них не заметили, и после их отбытия никаких пропаж не обнаружилось. Все время пребывания на борту они вели себя очень дружелюбно. Однако некоторых особенностей их поведения мы были не в силах понять. Так, они наотрез отказывались приближаться к некоторым совершенно безобидным предметам, например к парусам шхуны, яйцу, открытой книге или миске с мукой. Мы попытались разузнать, есть ли у них что-нибудь на обмен, но так и не смогли им втолковать, чего мы от них хотим. Однако мы выяснили, и это необычайно поразило нас, что на острове в изобилии водятся галапагосские черепахи, одну из которых мы заметили в каное Туу-Уита. Кроме того, в руках одного из дикарей мы увидели несколько трепангов, которых тот поглощал сырыми. Все эти странности (а иначе их назвать нельзя, если вспомнить, на какой широте мы находились) разбудили в капитане Гае желание всесторонне изучить эти земли, с тем чтобы извлечь выгоду из своих открытий. Что до меня, то как мне ни хотелось узнать побольше об островах, еще большим было мое желание безотлагательно продолжить путь на юг. Погода установилась благоприятная, но невозможно было предугадать, как долго она продлится; и теперь, когда мы уже достигли восьмьдесят четвертой параллели, а перед нами расстилалось открытое море с сильным южным течением и дул попутный ветер, я терял всяческое терпение, когда слышал любые предложения задержаться на острове дольше, чем было совершенно необходимо для улучшения здоровья команды и погрузки на борт достаточных запасов горючего и провизии. Я убеждал капитана, что мы без труда можем вернуться на эти острова на обратном пути и даже зазимовать здесь, если окажемся зажатыми льдами. В конце концов он согласился со мной (сам не знаю почему, но я приобрел значительное влияние на него), и было решено, что даже в том случае, если удастся найти трепангов, мы пробудем здесь неделю, чтобы набраться сил,

после чего продолжим движение на юг, пока будут позволять условия. Соответственно, были проведены все необходимые приготовления, и под руководством Туу-Уита мы провели «Джейн Гай» через рифы, встав на якорь примерно в миле от берега в удобной, окруженной со всех сторон землей бухте глубиной десять саженей и с черным песчаным дном на юго-восточной оконечности самого большого из островов. В глубине бухты, как нам рассказали, текли три ручья с прекрасной водой, берега ее были покрыты лесами. Вместе с нами в бухту вошли четыре каноэ, но они держались от нас на почтительном расстоянии. Туу-Уит оставался на борту и, когда мы бросили якорь, пригласил нас сойти на берег и посетить его деревню в глубине острова. Капитан Гай принял приглашение, десять дикарей в качестве заложников остались на борту, и наш отряд, всего двенадцать человек, начал готовиться к высадке. Мы хорошо вооружились, но так, чтобы не внушить недоверие своим видом. На шхуне выкатили пушки, подняли абордажные сети и приняли все остальные меры предосторожности во избежание любых неожиданностей. Первому помощнику было дано указание в наше отсутствие никого не пускать на борт, и, если мы не вернемся через двенадцать часов, послать на поиски катер с вертлюжной пушкой вокруг острова.

С каждым шагом в глубь острова мы убеждались, что попали в страну, существенно отличающуюся от тех мест, где до сих пор ступала нога цивилизованного человека. Мы не увидели здесь ничего хотя бы отдаленно знакомого. Деревья не напоминали ни одно растение, произрастающее в жарких, умеренных или холодных северных областях, так же как не имели они ничего общего с теми растениями, которые встретились нам в низких южных широтах. Сами камни казались необычными по составу, цвету и форме, и даже ручьи, хоть это и покажется совершенно невероятным, до того не походили на ручьи, которые можно встретить в ином климате, что мы попробовали их воду с опаской и нам трудно было поверить, что ее свойства природного происхождения. У одного небольшого ручья (первого, через который проходил наш путь) Туу-Уит и его спутники остановились, чтобы напиться. Из-за необычности воды мы отказались ее пробовать, решив, что ручей загрязнен, и лишь через какое-то время поняли, что так вода выглядит во всех источниках на острове. Я не знаю, как описать характер этой жидкости, и вряд ли смогу это сделать в немногих словах. Несмотря на то что по всем наклонным поверхностям она текла со скоростью обычной воды, свойственную воде прозрачность можно было заметить лишь в тех случаях, когда она падала каскадом с определенной высоты. В то же время она была не менее прозрачна, чем любая самая чистая вода на свете, и разница была исключительно внешней. На первый взгляд, особенно в местах, где отсутствовали наклонные поверхности или перепады, по консистенции она напоминала густой раствор гуммиарабика в обычной воде. Но это наименее удивительное из ее необычных качеств. Вода эта не была бесцветной и не имела какого-то определенного цвета, но в движении являла взору все мыслимые оттенки пурпура, подобно переливчатому шелку. Такие изменения в цвете поразили наш отряд не меньше, чем зеркала поразили Туу-Уита. Набрав воду в посуду и дав ей отстояться, мы увидели, что жидкость состоит из множества отдельных прожилок, каждая из которых имеет собственный оттенок, что прожилки эти не смешиваются и что сила сцепления частиц каждой отдельной прожилки превосходит силу, удерживающую прожилки вместе. Когда мы провели ножом поперек струй, вода тут же сомкнулась на лезвии, как любая другая вода, а когда вынули нож, следа от нее не осталось. Однако если мы аккуратно

проводили лезвием между двумя прожилками, они разъединялись, и лишь через некоторое время сила сцепления снова соединяла их. Удивительные свойства этой воды стали первым звеном в длинной цепочке настоящих чудес, в окружении которых мне было суждено оказаться.

19

До деревни добирались почти три часа, ибо располагалась она более чем в девяти милях от берега и наш путь лежал через пересеченную местность. По мере продвижения сопровождение Туу-Уита (первоначально состоявшее из ста десяти дикарей с каноэ) постоянно пополнялось все новыми отрядами из шести-семи человек, которые как бы случайно присоединялись к нам на каждом повороте тропинки. Во всем этом чувствовался некий замысел, и у меня невольно начали возникать разного рода подозрения, которыми я поделился с капитаном Гаем. Однако отступать было поздно, и мы решили, что безопаснее всего будет делать вид, что мы свято верим в честность Туу-Уита. С тем мы и продолжили путь, пристально наблюдая за маневрами дикарей и не позволяя им разделять нас. Пройдя таким строем через ущелье с отвесными стенами, мы наконец достигли того, что, как нас уверяли, являлось единственным жилым поселением на острове. Когда мы оказались в пределах видимости, вождь издал крик и несколько раз повторил слово «Клок-клок», которое, как мы поняли, было названием деревни или же означало само понятие «деревня».

Жилища являли собой самое жалкое зрелище и, в отличие от жилищ даже самых примитивных из известных человечеству народов, не имели единого плана. Некоторые (как мы позже выяснили, они принадлежали «вампу» или «ямпу», старейшинам острова) были сложены из дерева, срубленного примерно в четырех футах от корня, и большой черной шкуры, наброшенной на него и свисающей свободными складками до земли. Под такими шкурами и жили дикари. Другие были сделаны из грубых веток с засохшими листьями, уложенными под углом в сорок пять градусов на бесформенную грудку глины высотой футов пять-шесть. Были и простые ямы, вырытые в земле и накрытые такими же ветками, которые отодвигались, когда обитатель ямы собирался спуститься, и возвращались на место, когда

оказывался внутри. Некоторые были сооружены на деревьях между ветвей, причем верхние ветви подрезались, чтобы они наклонялись и образовывали лучшую защиту от непогоды. Однако большинство дикарей ютились в маленьких узких пещерках, очевидно, выдолбленных в крутой темной скале, которая окружала деревню с трех сторон. У входа в каждую такую пещерку стоял небольшой камень, который ее обитатель аккуратно придвигал ко входу, когда собирался уходить. Для чего это делалось, мне не известно, поскольку камни эти не перекрывали и трети входа.

Деревня, если это место достойно такого названия, располагалась в неглубокой долине, и попасть в нее можно было только с юга, так как крутая гряда, о которой я уже упоминал, отрезала подход с других сторон. Посреди долины протекала бурная речушка с той самой таинственной водой, которая тоже уже была описана. Вокруг поселения мы увидели несколько причудливых животных, очевидно одомашненных. Самое крупное из них формой тела и носом напоминало нашу свинью, но обладало при этом пушистым хвостом и стройными, как у антилопы, ногами. Передвигалось оно очень неуклюже и как-то нерешительно, и мы ни разу не видели, чтобы оно попыталось бежать. Также мы заметили несколько других похожих животных, но с более длинным, покрытым черной шерстью телом. Вокруг них копошилось множество домашних птиц самых разных видов, которые, вероятно, служили основной пищей для туземцев. Мы необычайно удивились, когда среди пернатых заметили черных альбатросов, которые время от времени свободно улетали в море на поиски пищи, но всегда возвращались в деревню. Для гнездования они использовали южный берег. Там к ним присоединялись дикие пеликаны, но последние никогда не допускались к жилью дикарей. Среди других ручных птиц можно назвать уток, почти не отличавшихся от обычных нырков, которые обитают в нашей стране, черных олушей и каких-то больших птиц, имеющих определенное сходство с сарычем, но не плотоядных. В рыбе недостатка не было. За время пребывания в деревне мы видели много сушеной семги, трески, голубых дельфинов, скумбрии, черной рыбы, скатов, морских угрей, лобанов, кефали, морских языков, морских петухов, мерлуз, хеков, камбал, барракуд и неисчислимое множество других видов. Также мы обратили внимание на то, что почти все они были сходны с рыбами,

которые водятся у островов лорда Окленда, на 51° южной широты. Галапагосских черепах тоже было много. Мы увидели лишь нескольких диких животных, ни одного крупного или похожего на известные нам виды. Под ноги нам попала пара змей устрашающего вида, но туземцы не обратили на них внимания, и мы решили, что они не ядовиты.

Когда мы с Туу-Уитом и его отрядом приблизились к деревне, нам навстречу вышла большая толпа с громкими криками, среди которых удалось только различить неизменные «Анаму-му!» и «Лама-лама!». Мы были немало удивлены, увидев, что, за немногим исключением, эти люди были совершенно голыми и в шкуры были одеты только дикари, встретившие нас на каноэ. Также, похоже, все имеющееся в деревне оружие тоже находилось в распоряжении воинов с каноэ, поскольку все обитатели деревни были безоружны. Мы увидели много женщин и детей, и надо сказать, что женщины не были лишены определенной привлекательности. Высокие и стройные, они держались со свободной грацией, которой не увидишь в цивилизованном обществе. Только губы у них, как и у мужчин, были такими мясистыми и малоподвижными, что даже во время смеха зубы никогда не обнажались. Волосы их были мягче, чем у мужчин. Среди всех обитателей деревни, возможно, человек десять — двенадцать были одеты так же, как отряд Туу-Уита, в черные шкуры, и вооружены копьями и тяжелыми дубинками. Эти, похоже, имели большое влияние на остальных, и в обращении к ним всегда произносилось слово «вампу». Именно эти «вампу» занимали жилища из черных шкур. Жилище Туу-Уита стояло в середине деревни, было гораздо крупнее остальных подобных и отличалось более искусной конструкцией. Дерево, которое служило ему основанием, было срублено на высоте футов двенадцати или около того от корня, а чуть ниже было оставлено несколько веток для растягивания навеса, сшитого из четырех очень больших шкур, скрепленных деревянными иглами. Внизу навес был прибит к земле кольшками. Пол под ним, точно ковер, устилали сухие листья.

В эту хижину нас торжественно ввели, после чего туда же набилась целая толпа туземцев. Туу-Уит уселся на листья и жестом предложил нам последовать его примеру. Мы сели и оказались в положении крайне неудобном, если не сказать критическом. Мы сидели на земле,

двенадцать человек, в окружении никак не меньше сорока дикарей, сомкнувшихся так тесно, что в случае какой-нибудь заварухи мы бы не смогли воспользоваться оружием и даже подняться на ноги. Теснота была не только в хижине, но и снаружи, где, вероятно, собралось все население острова, и лишь постоянные окрики Туу-Уита не давали толпе растоптать нас. Однако главным залогом нашей безопасности было присутствие рядом с нами самого вождя, и мы решили держаться как можно ближе к нему, чтобы при первом же проявлении враждебных намерений принести его в жертву.

После определенных усилий было восстановлено некое подобие тишины, и вождь обратился к нам с пространной речью, сильно напоминающей ту, что он произнес в каноэ при первой встрече, с той лишь разницей, что теперь «Анаму-му!» выделялись интонацией сильнее, чем «Лама-лама!». Мы выслушали его разглагольствования в полном молчании, после чего капитан Гай в ответной речи заверил его в вечной дружбе и доброжелательности, в ознаменование чего преподнес ему в дар несколько нитей синих бус и нож. Если при виде бус правитель острова, к нашему изумлению, презрительно поморщился, то нож вызвал у него безграничный восторг, и он тут же приказал подать обед. Угощения передали через головы собравшихся, и оказалось, что состоят они из еще дымящихся внутренностей какого-то крупного животного, возможно, одной из тонконогих свиней, которых мы видели на подходе к деревне. Видя нашу растерянность, он решил подать нам пример и начал ярд за ярдом поглощать кишки. Мы, не в силах смотреть на это, обнаружили явные признаки возмущения желудка, вызвавшие у его величества изумление, сравнимое разве что с тем, какое воздействие произвели на него зеркала. Мы отказались угощаться разложенными перед нами деликатесами и попытались заставить его понять, что мы не голодны, поскольку совсем недавно плотно пообедали.

Когда правитель покончил с трапезой, мы начали расспросы, пытаясь самыми хитроумными способами разведать, что производит его страна и можем ли получить из этого какую-то выгоду. Наконец он, кажется, понял, чего мы от него добивались, и предложил провести на ту часть берега, где, по его заверениям, можно было найти много трепангов (он для наглядности указал на них). Мы были рады возможности столь скоро выбраться из толпы, поэтому тут же дали

ему понять, что нам не терпится отправиться в путь. После этого мы покинули хижину и в сопровождении всей деревни прошли с вождем на юго-западную оконечность острова, недалеко от бухты, где стояла на якоре наша шхуна. Здесь мы прождали около часу, пока к нам на каноэ не приплыли несколько дикарей. После этого весь наш отряд погрузился в одну из них и нас повезли вдоль упомянутого рифа, а потом вдоль другого, расположенного чуть дальше, на котором мы увидели гораздо большее количество трепангов, чем самые опытные моряки из нашего отряда когда-либо наблюдали в одном месте на нижних широтах, особенно славящихся этим товаром. Рядом с рифами мы оставались, пока не убедились, что при необходимости могли бы наполнить этими животными хоть дюжину судов, после чего нас подвезли к шхуне и мы расстались с Туу-Уитом, взяв с него слово в течение суток привезти нам столько уток и галапагосских черепах, сколько поместится в его каноэ. За все это время ничто в поведении туземцев не вызвало у нас подозрения, кроме того, как планомерно пополнялся их отряд по дороге от шхуны к деревне.

20

Вождь сдержал слово, и вскоре нас снабдили свежей провизией. Черепахи оказались выше всяческих похвал, а утки по своим качествам превосходили самую лучшую нашу дичь, мясо у них было исключительно нежное, сочное и вкусное. Кроме них туземцы, уразумев наше желание, привезли много коричневого сельдерея и лука и еще целое каноэ рыбы, свежей и сушеной. Сельдерей показался нам настоящим лакомством, а лук буквально поставил на ноги наших больных с признаками цинги. Очень скоро в списке больных не осталось ни одного имени. Помимо этого нам доставили в избытке и других продуктов, среди которых можно упомянуть неизвестную нам разновидность моллюска, внешне напоминавшего мидию, но со вкусом устрицы. Еще нам привезли целую гору разных креветок и яйца альбатросов и других птиц, все с темной скорлупой. Также мы взяли на борт большой запас мяса свиней, которых я описывал ранее. Большинству наших людей оно пришлось по вкусу, но я почувствовал в нем рыбный привкус, и вообще оно мне не понравилось. В обмен на это добро мы дали дикарям синие бусы, медные безделушки, гвозди, ножи, куски красной материи, и те остались вполне довольны сделкой.

На берегу, прямо под пушками шхуны, мы устроили настоящий рынок, где производился честный обмен, к обоюдному удовольствию и даже с неким подобием порядка, чего мы никак не могли ожидать от обитателей деревни Клок-Клок.

В такой дружелюбной обстановке прошло несколько дней, дикари часто навевались группками на корабль, а наш отряд сходил на берег и совершал длинные прогулки вглубь острова, не встречая ни малейшего сопротивления со стороны туземцев. Видя, как легко можно загрузить судно трепангами с помощью дружелюбно расположенных островитян и с какой готовностью они предлагают помощь в их сборе, капитан Гай решил вступить в переговоры с Туу-Уитом относительно сооружения на острове помещений для обработки товара, а также услуг самого вождя и его соплеменников в сборе как можно большего количества трепангов, пока сам капитан, воспользовавшись благоприятной погодой, продолжит путешествие на юг. Услышав это предложение, вождь с готовностью согласился. Была заключена обоюдовыгодная сделка, по которой после необходимых приготовлений (как-то: выбор и расчистка подходящего места, возведение части построек и некоторые другие работы, для выполнения которых потребуется вся наша команда) шхуна продолжит продвижение по первоначальному маршруту, оставив на острове троих человек, которые будут наблюдать за осуществлением прожекта и обучать туземцев сушке трепангов. Что касается выгоды, то она целиком зависела от усердия, которое проявят дикари в наше отсутствие. Мы условились, что они получают заранее оговоренное количество синих бус, ножей и прочих полезных предметов за каждый пикуль сушеных трепангов, который будет готов к нашему возвращению.

Описание этого важного продукта и способа его приготовления может показаться интересным моим читателям, и я не вижу более подходящего места, чтобы привести его. Следующее ниже всестороннее изложение предмета позаимствовано из недавнего отчета о плавании в Южный океан.

«Этот тихоокеанский моллюск в торговле известен под французским названием *bouche de mer* (морское лакомство). Если не ошибаюсь, прославленный Кювье называет его *gasteropoda pulmonifera*. Его в больших количествах собирают на берегах островов

в Тихом океане в основном для китайского рынка, где за них дают хорошую цену, возможно, такую же, как за пресловутые съедобные птичьи гнезда из желатиноподобного вещества, которое ласточки собирают с тел этих моллюсков. У них нет ни раковин, ни ног, ни каких-либо иных выступающих частей тела, кроме ротового и противоположного ему заднепроходного отверстия, но с помощью гибких колец наподобие гусениц или червей они ползают по мелководью, где во время отлива их находят ласточки. Вонзая острый клюв в мягкое тело, они достают из него клейкое волокнистое вещество, которое, засыхая, образует прочные стенки гнезд. Отсюда и название *gasteropoda pulmonifera*.

Этот моллюск имеет продолговатую форму и бывает разных размеров, от трех до восемнадцати дюймов в длину, и я сам видел несколько экземпляров длиной никак не меньше двух футов. В поперечнике они почти круглые, с небольшим уплощением с одной стороны, на котором они и лежат на морском дне, и в ширину достигают от одного до восьми дюймов. Трепанги выползают на мелководье в определенное время года, вероятно, для размножения, поскольку их часто находят парами. Именно в это время, когда солнце нагревает воду, они приближаются к берегу и часто добираются до таких неглубоких мест, что с отливом оказываются на суше под лучами солнца. Но молодняк они никогда не выводят на мель — никто не видел их потомства, и из глубины всегда выходят только взрослые особи. Питаются они главным образом зоофитами, из которых образуются кораллы.

Собирают *bouche de mer* чаще всего на глубине трех-четырех футов, после чего выносят на берег и ножом делают на одном конце надрез длиной в дюйм или более, в зависимости от размера моллюска. Сквозь этот надрез выдавливают внутренности, которые ничем не отличаются от внутренностей других мелких обитателей глубин. Затем товар моют и варят при определенной температуре, которая не должна быть слишком высокой или слишком низкой. После этого их закапывают на четыре часа в землю, а потом опять варят короткое время, после чего высушивают либо на огне, либо на солнце. Высушенные на солнце экземпляры ценятся больше, но пока на солнце сушится один пикуль (133 1/3 фунта), на огне можно успеть высушить тридцать пикулей. При правильной обработке их можно хранить в

сухом месте два-три года, но нужно проверять раз в несколько месяцев — скажем, четыре раза в год, — чтобы они не испортились от сырости.

Китайцы, как было сказано выше, считают *bouche de mer* большой роскошью и верят, что этот продукт прекрасно укрепляет и насыщает организм и восстанавливает силы при половом истощении. Товар первого сорта идет в Кантоне по очень высокой цене — девяносто долларов за пикуль, за второй сорт дают семьдесят пять долларов, за третий — пятьдесят долларов, за четвертый — тридцать долларов, за пятый — двадцать долларов, за шестой — двенадцать долларов, за седьмой — восемь долларов и за восьмой — четыре доллара, однако в Маниле, Сингапуре и Батавии небольшие партии уходят по более высокой цене».

Заклучив договор, мы немедленно начали выносить с корабля все необходимое для подготовки площадки и постройки помещений. Было выбрано широкое ровное место на восточном берегу бухты, где имелось достаточно леса и воды, недалеко от рифов, на которых планировалось добывать трепангов. Все мы усердно принялись за работу и вскоре, к изумлению дикарей, срубили нужное для наших целей количество деревьев, быстро придали им вид, необходимый для сооружения каркасов зданий, и через пару дней они уже были готовы настолько, что окончание работ можно было смело доверить троим добровольцам, которые вызвались остаться на острове. Это были Джон Карсон, Альфред Харрис и Петерсон (все уроженцы Лондона, если не ошибаюсь).

К концу месяца все было готово к отплытию. Однако мы согласились нанести официальный прощальный визит в деревню, и Туу-Уит так упорно настаивал на том, чтобы мы исполнили обещание, что нам показалось неблагоразумным обижать его напоследок отказом. Думаю, никто из нас в то время не питал ни малейшего сомнения в добропорядочности дикарей. Они все как один держались с нами обходительно и с готовностью помогали нам в работе, приносили нам разную мелочь и часто ее отдавали бесплатно, и никогда, ни разу, ничего не стянули, хотя явно очень ценили имевшиеся у нас товары, о чем говорил бурный восторг, охватывавший их всякий раз, когда они получали от нас подарки. Женщины были особенно услужливы, и мы были бы самыми подозрительными существами в мире, если бы у нас возникла даже мысль о вероломстве людей, которые так хорошо к нам

относились. Однако уже очень скорое будущее показало, что это притворное расположение являлось всего лишь частью хорошо продуманного плана нашего уничтожения и что островитяне, о которых у нас сложилось столь высокое мнение, были одними из самых свирепых, скрытных и кровожадных негодяев, когда-либо осквернявших этот мир своим существованием.

Первого февраля мы спустились на берег, чтобы пойти в деревню. Хотя, как уже было сказано, никто из нас не питал ни малейших подозрений в отношении дикарей, необходимыми мерами предосторожности мы пренебрегать не стали. На шхуне остались шесть матросов, которым было дано указание никому не позволять приближаться к ней в наше отсутствие ни под каким предлогом и все время оставаться на палубе. Абордажные сети были подняты, бортовые пушки набиты двойным зарядом картечи, вертлюжные — мушкетными пулями. Шхуна стояла на якоре примерно в миле от берега, так что, если бы к ней поплыло каноэ, с любой стороны оно было бы непременно замечено и оказалось под прицелом вертлюжных пушек.

Без шести матросов, оставленных на шхуне, отряд, спустившийся на берег, состоял из тридцати двух человек. Все мы были вооружены до зубов, имели при себе мушкеты, пистолеты и абордажные сабли; кроме того, у каждого имелся длинный морской нож, внешне несколько напоминавший охотничьи ножи, которыми теперь так часто пользуются на западе и юге нашей страны. Сотня чернокожих воинов встретила нас на берегу, чтобы сопроводить к деревне. Мы не без удивления заметили, что на этот раз они не имели при себе оружия, а когда об этом обстоятельстве спросили Туу-Уита, тот просто ответил, что «маттее нон уэ па па си», что означало: когда все — братья, оружие ни к чему. Мы в ответ рассмеялись и отправились в путь.

Миновав источники и ручей, о которых я говорил ранее, мы вошли в узкое ущелье, ведущее сквозь цепь стеатитовых скал. Ущелье было очень неровное и каменистое, и во время первого посещения в Клок-Клок пробраться через него нам стоило большого труда. Общая длина ущелья — полторы, возможно, две мили, но сквозь скалы оно вело такими немыслимыми извивами и изломами (очевидно, в давние времена это было русло реки), что по нему нельзя было пройти и двадцати ярдов, не сделав резкого поворота. Отвесные стены на всем

пути возвышались, я уверен, футов на семьдесят-восемьдесят и на некоторых участках достигали поистине немыслимой высоты, нависая над тропой, так что на нее почти не попадал солнечный свет. В ширину ущелье в среднем имело футов сорок, но местами сужалось настолько, что не больше пяти-шести человек могли пройти там в ряд. Короче говоря, трудно себе представить место, более подходящее для устройства засады, поэтому вполне естественно, что мы тщательно осмотрели оружие перед тем, как войти в ущелье. Когда я думаю о непростительной глупости, которую мы совершили, меня больше всего поражает то, что в таких условиях мы вообще рискнули отдаться во власть дикарей и позволили им идти по этому ущелью впереди и позади нас. Тем не менее именно такой порядок мы слепо приняли, бездумно полагаясь на нашу многочисленность, на силу нашего огнестрельного оружия (действие которого все еще оставалось тайной для туземцев) и на то, что Туу-Уит и его люди были безоружны, но главное — поверив в дружбу, которую так долго изображали эти подлые твари. Пять-шесть туземцев шли впереди, как будто чтобы указывать путь и очищать дорогу от больших камней и веток. Далее тесной группой следовали мы. Нашей единственной заботой было не позволить себя разделить. Замыкал шествие основной отряд дикарей, которые соблюдали необычный для них порядок и торжественность.

Дирк Питерс, человек по имени Уилсон Аллен и я находились с правой стороны от наших товарищей и по дороге рассматривали необычное залегание пород в нависавших над нами отвесных стенах ущелья. Наше внимание привлекла одна трещина в мягкой скальной породе. Она была достаточно широка, чтобы в нее свободно мог пройти человек, уходила прямо в глубину скалы футов на восемнадцать — двадцать, а потом под наклоном сворачивала влево. Высота прохода, насколько нам было видно, составляла от шестидесяти до семидесяти футов. В пещере росли какие-то низкорослые кусты, и, заинтересовавшись их плодами, похожими на фундук, я быстро вошел внутрь и сорвал сразу пять-шесть орехов. Повернувшись, я увидел, что Питерс и Аллен последовали за мной. Я сказал им, чтобы они возвращались, потому что двоим в этой трещине не разойтись и что моих орехов хватит на всех. Они развернулись и начали пробираться обратно (Аллен находился ближе к выходу), когда я вдруг почувствовал мощнейшее, ни с чем не сравнимое сотрясение,

от которого у меня возникла мысль, если я вообще в то мгновение мог о чем-то думать, что земля вдруг раскололась пополам и миру пришел конец.

21

Придя в чувство, я понял, что лежу, задыхаясь, в полной темноте посреди груд камней и земли, которые продолжали валиться со всех сторон, угрожая засыпать меня полностью. Придя в ужас от этой мысли, я с большим трудом поднялся на ноги и замер на несколько секунд, пытаюсь постичь, что произошло и где я нахожусь. Вдруг совсем рядом я услышал громкий стон, а потом голос Питерса, который звал меня на помощь. Я сделал пару неверных шагов вперед и наткнулся прямо на голову и плечи своего товарища, который, как стало понятно, оказался наполовину засыпан землей и теперь отчаянно пытался выбраться. Собрав все силы, я принялся разгребать руками землю и помог ему освободиться.

Как только мы оправились от страха и удивления настолько, что к нам вернулась способность соображать, мы оба пришли к выводу, что стены пещеры, в которую мы вошли, из-за какого-то подземного толчка или, быть может, под собственным весом обрушились, похоронив нас заживо, и что мы оказались в ловушке, из которой нет выхода. Долгое время мы предавались отчаянию, которое не может представить тот, кто никогда не оказывался в подобном положении. Я был твердо убежден, что ни одно происшествие из тех, что когда-либо случаются с человеком на протяжении всей его жизни, не способно вызвать такого полнейшего физического и умственного упадка, как то, что выпало на нашу долю, — погребение заживо. Кромешная тьма, окутывающая жертву, ужасное давление на легкие, удушающие запахи сырой земли соединяются со страшными мыслями о том, что у тебя нет даже призрачной надежды на спасение и отныне тебя ждет удел мертвых, и вселяют в человеческое сердце ужас, который невозможно вынести, невозможно постичь.

Наконец Питерс предложил оценить размеры катастрофы и обойти на ощупь нашу темницу; сделать это было едва ли возможно, но он сказал, что в завалах мог остаться какой-нибудь просвет, через который мы сможем выйти. Я жадно ухватился за эту мысль и, напрягая все силы, попытался пробиться сквозь толщу обрушившейся земли. Едва я

продвинулся на шаг вперед, как мы увидели еле различимый мерцающий лучик света, и этого оказалось достаточно, чтобы убедить меня, что мы, во всяком случае, не умрем от удушья. Приободрившись, мы стали надеяться на лучшее. Когда груда комьев земли и камней, затруднявшая дальнейшее продвижение в направлении света, была пройдена, пробираться дальше стало проще, тем более что мы почувствовали большое облегчение в легких. Вскоре мы смогли осмотреться и обнаружили, что находимся в дальней части первого прямого отрезка пещеры, рядом с поворотом налево. Еще немного усилий, и, к неописуемой радости, мы увидели трещину, уходящую высоко вверх под углом в сорок пять градусов, а местами и круче. Заглянуть в нее и увидеть, что делается внутри, мы не могли, но свет, который шел из нее, не оставлял сомнений, что наверху (если каким-то образом нам удастся взобраться наверх) мы найдем проход наружу.

Тут я вспомнил, что в расселину нас вошло трое и что наш товарищ Аллен до сих пор не дал о себе знать. Мы тут же приняли решение вернуться и найти его. После долгих поисков в страхе нового обвала Питерс наконец крикнул, что нащупал ногу нашего спутника и что тело завалено так, что вытащить его невозможно. Вскоре я убедился, что он не ошибся и что Аллен давно испустил дух. С тяжелым сердцем мы оставили труп и вернулись к повороту.

В довольно узкий проход протиснуться можно было с большим трудом, а подниматься по нему и вовсе казалось невозможным, и после пары безуспешных попыток мы снова упали духом. Я уже упоминал, что гряда гор, сквозь которую проходило ущелье, состояла из мягкого камня, похожего на стеатит. Стены трещины, по которой мы хотели подняться, состояли из той же горной породы; они от влаги были такими скользкими, что мы едва могли упереться ногой, даже в самых пологих частях, а в некоторых местах, где они были практически вертикальными, подъем был необыкновенно трудным, почти невозможным. Но отчаяние иногда придает решимости, и мы принялись ножами прорубать в мягком камне ступеньки, цепляться с риском для жизни за края твердого сланца, выступающие в разных местах из общей массы, и наконец сумели добраться до небольшого природного уступа, с которого можно было рассмотреть клочок голубого неба и дальний конец густо поросшего лесом ущелья. Оглянувшись, теперь уже без содрогания, на разлом, через который

только что пробрались, мы по его стенам четко увидели, что появился он недавно, и заключили, что столь ошеломившее нас содрогание, какой бы ни была его причина, расширило трещину, открыв этот путь к спасению. Напряжение вымотало нас, и от усталости мы едва могли стоять на ногах или говорить, поэтому Питерс предложил попытаться привлечь к себе внимание наших товарищей выстрелами из пистолетов. Мушкеты и сабли потерялись где-то в завалах земли на дне расселины. Последующие события показали, что если бы мы тогда выстрелили, нам пришлось бы сильно пожалеть об этом, но, к счастью, у меня в мыслях уже начало зарождаться смутное подозрение, и мы не стали выдавать дикарям свое местонахождение.

Отдохнув с час, мы продолжили медленный подъем и не успели преодолеть большое расстояние, как услышали несколько пронзительных воплей, следовавших один за другим. Наконец мы выбрались на поверхность — после каменного уступа наш путь пролегал под нависшим высоким откосом, через ветки каких-то растений. Очень осторожно мы подкрались к узкой брешу, через которую нам открылся вид на окружающую нас местность и страшная причина удара.

Площадка, с которой мы смотрели вниз, располагалась недалеко от самого высокого пика стеатитовых скал. Ущелье, в которое вошел наш отряд из тридцати двух человек, находилось слева от нас футах в пятидесяти. Но по меньшей мере сто ярдов этого ущелья были завалены миллионом тонн земли вперемешку с камнями, искусственно обрушенными вниз. Способ, которым это удалось сделать, был столь же прост, сколь и очевиден, ибо следы этого чудовищного злодеяния никуда не исчезли. На вершине восточного края теснины (мы находились на западной) в нескольких местах в землю были вогнаны колья. В этих точках земля осталась на месте, но на всем протяжении обвала в почве были заметны углубления, как после бурения, указывавшие на то, что туда тоже вбивали колья — причем довольно плотным рядом, не более чем в ярде друг от друга — на протяжении примерно трех сотен футов и футах в десяти от края обрыва. На оставшиеся стоять колья были наброшены веревки из виноградной лозы, и, очевидно, то же проделали с остальными кольями. Я уже упоминал о необычной структуре стеатитовых скал, и описанная выше узкая глубокая расселина, благодаря которой мы избежали погребения

заживо, лучше поможет представить их внешний вид. Природа скал была такова, что любое естественное потрясение расщепляло составлявшую их породу на параллельные вертикальные слои, и вызвать этот процесс можно было сравнительно небольшим усилием. Этим дикари и воспользовались для осуществления своего вероломного замысла. Не вызывает сомнения, что неразрывная линия вбитых кольев произвела частичный разлом грунта глубиной, вероятно, два-три фута, после чего дикари, потянув одновременно за веревки (которые были привязаны к верхушкам кольев и уходили в противоположную от края обрыва сторону), добились большой рычажной силы, благодаря чему смогли по сигналу отколоть всю верхнюю часть обрыва и обрушить ее на дно пропасти. Судьба наших несчастных товарищей больше не вызвала сомнений. Мы одни избежали удара сокрушительной силы и были теперь на острове единственными оставшимися в живых белыми людьми.

22

В ту минуту мы едва не пожалели, что не остались погребены навечно внизу. Мы не видели для себя иного удела, нежели смерть от рук дикарей или жалкое существование в неволе. Да, мы могли какое-то время скрываться от них в горах или, в крайнем случае, в расселине, из которой только что выбрались, но во время долгой полярной зимы мы бы либо умерли от холода и голода, либо были обнаружены дикарями.

Дикари, полчища которых, как мы теперь видели, приплывали на плотках с южных островов, наверняка для того, чтобы сообща захватить и разграбить «Джейн Гай». Шхуна по-прежнему безмятежно стояла на якоре в бухте, и те, кто находился на борту, судя по всему, не догадывались о нависшей над ними опасности. Как же нам захотелось оказаться рядом с ними, чтобы либо помочь спастись, либо погибнуть вместе с ними, защищаясь. Мы не видели способа предупредить их, не подвергнув себя немедленной гибели, да и в этом случае надежда на то, что наша смерть принесет им хоть какую-то пользу, была весьма призрачной. Пистолетный выстрел мог известить их о том, что произошло нечто непредвиденное, но это не могло сообщить им, что их единственный шанс на спасение — тотчас сняться с якоря и уплыть прочь от этого острова, невозможно было передать им, что их уже не

связывают никакие обязательства перед товарищами, потому что товарищей нет в живых. Услышав пистолетный выстрел, они не смогли бы сделать для встречи с врагом, который уже готовился к нападению, ничего больше, чем уже было сделано. Таким образом, выстрелы принесли бы не пользу, а только вред, и по зрелом размышлении мы отказались от этого.

Потом у нас появилась мысль выбежать на берег, захватить одно из каноэ, стоявших в бухте, и попытаться прорваться к судну. Но скоро стало понятно, что этот замысел обречен на неудачу. Все вокруг, как я уже говорил, буквально кишело дикарями, которые прятались в кустах и горных расселинах, чтобы их не заметили со шхуны. Прямо под нами, на единственной тропе, по которой мы могли надеяться добраться до берега в нужном месте, расположился целый отряд чернокожих воинов с Туу-Уитом во главе. Они до сих пор не напали на «Джейн Гай» лишь потому, что ждали подкрепления. Вокруг каноэ тоже копошились туземцы, безоружные, но наверняка оружие было где-то припрятано. Поэтому мы вынуждены были оставаться в своем укрытии и невольно стали молчаливыми свидетелями разыгравшейся в скором времени трагедии.

Примерно через полчаса мы увидели на южной стороне залива шестьдесят или семьдесят набитых дикарями то ли плотов, то ли плоскодонных лодок без такелажа. Оружия при себе они не имели, кроме дубинок и камней, лежавших на дне плотов. Сразу после этого еще больший отряд с таким же оружием показался с противоположной стороны. Тут же четыре каноэ наполнились стремительно выбежавшими из-за кустов туземцами и полетели к шхуне. Таким образом, быстрее, чем я написал эти строки, «Джейн Гай» оказалась окружена настоящей армией головорезов, готовых на все, чтобы захватить ее.

В том, что им это удастся, мы не сомневались ни секунды. С какой решимостью ни защищали бы судно шесть оставшихся на нем матросов, их было слишком мало, чтобы должным образом управиться с пушками и выстоять в таком неравном бою. Я даже не верил, что они вообще смогут оказать сопротивление, но в этом ошибся; они быстро развернули судно правым бортом к каноэ, которые к этому времени уже подошли на расстояние пистолетного выстрела, в то время как плоты еще находились в четверти мили от левого борта. По какой-то

неизвестной мне причине, но, скорее всего, из-за волнения, охватившего наших несчастных товарищей, когда они увидели всю безнадежность своего положения, выстрел оказался неудачным. Не было сбито ни одно каноэ, не был ранен ни один туземец, картечь легла с недолетом и рикошетом перелетела через их головы. Дикари лишь были поражены неожиданным грохотом и дымом, да так, что мне на мгновение показалось, что они откажутся от своего замысла и вернутся на берег. И они, скорее всего, так бы и поступили, если бы наши товарищи продолжили пушечные выстрелы ружейной и пистолетной пальбой по каноэ, которые уже приблизились настолько, что промахнуться было невозможно, чем они хотя бы могли остановить их и успеть дать бортовой залп по плотам. Но вместо этого люди на шхуне бросились к левому борту готовиться к встрече с плотами, что позволило отряду на каноэ оправиться от паники, осмотреться и проверить, есть ли раненые.

Залп с левого борта оказался куда более удачным. Пушечные выстрелы разнесли семь или восемь плотов в щепки, убив разом человек тридцать-сорок дикарей и сбросив в воду не меньше сотни, многие из которых получили страшные ранения. Остальные, ополоумев от страха, бросились в отступление, даже не пытаясь подобрать искалеченных соплеменников, которые барахтались в воде и просили о помощи. Однако этот успех пришел слишком поздно для спасения мужественных защитников судна. Отряд, плывший на каноэ, уже был на шхуне, все полторы с лишним сотни человек. Большинство из них вскарабкались по цепям и абордажным сетям еще до того, как матросы успели поднести к орудиям запалы. Теперь ничто не могло противостоять их беспощадной ярости. В считанные секунды наших людей повалили, растоптали и буквально разорвали на части.

Увидев это, дикари на плотках справились со страхом и налетели стаей на шхуну, чтобы принять участие в разграблении. Неистовая вакханалия в пять минут превратила «Джейн Гай» в жалкое зрелище. Палубы были разбиты и взломаны, канаты, паруса и все незакрепленные предметы были уничтожены. Затем, подталкивая шхуну в корму и в бока, негодяи наконец вытолкнули ее на берег (якорная цепь соскользнула в воду еще раньше) и подтянули к Туу-Уиту, который все это время, как опытный военачальник, обозревал происходящее с наблюдательного пункта в горах, но теперь, одержав

победу, спустился, чтобы разделить добычу со своими чернокожими воинами.

Когда Туу-Уит спустился на берег, мы получили возможность покинуть свое убежище и совершить вылазку на гору. Примерно в пятидесяти ярдах от выхода из нашей расселины мы обнаружили небольшой ручей, водой которого утолили терзавшую нас жажду, а рядом с ним увидели кусты с похожими на фундук плодами, какие я упоминал выше. Попробовав орехи, мы нашли их довольно вкусными и очень похожими на обычный лесной орех. Мы тут же набрали полные шапки этих плодов, отнесли их в расселину и вернулись, чтобы набрать еще. Торопливо обрывая их, мы вдруг услышали шуршание в кустах и уже хотели незаметно вернуться обратно в наше убежище, когда над зарослями медленно, точно с трудом, поднялась в воздух большая черная птица из породы выпей. Я от неожиданности замер на месте, но Питерс сохранил достаточно самообладания, чтобы броситься к ней и поймать за шею, прежде чем она успела подняться высоко. Птица отчаянно вырывалась и оглашала воздух такими громкими воплями, что мы уже подумывали отпустить ее, чтобы она не привлекла внимание дикарей, которые могли прятаться неподалеку, но удар ножом наконец заставил ее замолчать, и мы понесли добычу в расселину, поздравляя себя с тем, что теперь имеем запас пищи на неделю.

Потом мы снова вышли осмотреться и спустились довольно далеко по южному склону горы, но не встретили ничего, что могло бы послужить пищей. Поэтому, набрав сухого хворосту, пошли обратно и по дороге заметили пару отрядов туземцев, которые возвращались в деревню, отягощенные награбленным на судне, и которые, как нам показалось, могли заметить нас, проходя под горой.

Следующей нашей заботой было замаскировать как можно лучше наше убежище, для чего мы накрыли ветками проем, тот самый, через который увидели клочок голубого неба, когда добрались до выступа в расселине. Мы оставили открытым лишь небольшой участок, чтобы иметь возможность наблюдать за бухтой, не боясь быть замеченными снизу. Работой своей мы были вполне удовлетворены, ибо теперь нас никто не мог заметить до тех пор, пока мы оставались внутри расселины и не выходили на склон горы. Никаких указаний на то, что дикари бывали раньше в этой части ущелья, мы не обнаружили.

Однако вспомнив о том, что щель, через которую мы проникли сюда, образовалась только что, после обрушения части скалы напротив, мы подумали о том, что иной дороги сюда не существует, но радость наша, вызванная уверенностью в недоступности этого места, была омрачена сомнением в том, сможем ли мы вообще спуститься вниз. Мы приняли решение тщательно осмотреть склоны горы, когда представится такая возможность, пока же занялись наблюдением за дикарями через амбразуру.

К этому времени они полностью разрушили корабль и готовились его поджечь. В скором времени из главного люка густыми клубами повалил дым, потом над баком взметнулись языки пламени. Снасти, мачты и остатки парусов занялись мгновенно, огонь стремительно распространился по палубе, но, несмотря на это, множество дикарей по-прежнему оставались рядом с яхтой, пытаясь камнями, топорами и пушечными ядрами сбить железные и медные детали корпуса судна. Вокруг шхуны, на берегу, в каноэ и на плотках находилось не менее десяти тысяч туземцев, не считая уносящих награбленное вглубь острова и переправлявшихся на другие острова. Мы ждали, когда наступит развязка, и она нас не разочаровала. Сначала произошел сильнейший толчок, словно через нас пропустили заряд электричества, не сопровождаемый, однако, никакими иными признаками взрыва. Дикари были явно поражены, на миг они прервали свои труды и взвыли. Они уже были готовы снова взяться за дело, когда над палубами взметнулось облако дыма, похожее на тяжелую черную грозовую тучу, — потом, как будто из самого нутра шхуны, вырвался огромный столб пламени, достигнув в высоту четверти мили — затем пламя внезапно распространилось по кругу, в следующий миг весь берег бухты превратился в крошечный ад, воздух наполнился месивом из обломков дерева и металла, оторванными человеческими конечностями, и наконец во всей своей ярости и мощи грянул взрыв, которым нас сбilo с ног, по горам прокатилось многократное эхо, и посыпался дождь из мелких обломков.

Взрыв оказался даже более разрушительным, чем мы ожидали, и теперь дикари пожинали справедливые плоды своего вероломства. Около тысячи погибло при взрыве, примерно столько же получило страшные раны. Буквально вся поверхность бухты была усеяна барахтающимися и тонущими людьми, а на берегу дело обстояло еще

хуже. Внезапность и масштаб разрушений потряс их настолько, что они даже не пытались помогать друг другу. Потом их поведение резко изменилось. Охватившее их оцепенение в один миг сменилось высшей степенью возбуждения, они начали носиться по кругу со странным выражением ужаса, ярости и любопытства на лицах, крича во все горло: «Текели-ли! Текели-ли!»

Затем большой отряд ринулся в горы и вскорости вернулся с деревянными кольями в руках. Они принесли их к тому месту, где толпа была гуще всего, их соплеменники расступились, и мы смогли увидеть предмет, вызвавший такое волнение. На песке лежало что-то белое, но мы не сразу поняли, что это. Наконец мы смогли различить очертания тела странного животного с ярко-красными зубами и когтями, того самого, которое мы подобрали в море восемнадцатого января. Капитан Гай сохранил его, для того чтобы сделать чучело и отвезти в Англию. Помню, перед тем как мы в последний раз высадились на остров, он приказал отнести его в кают-компанию и запереть в рундук. Теперь его взрывом выбросило на берег, но почему оно вызвало такой переполох среди дикарей, мы не понимали. Они сгрудились вокруг тела тесной толпой, но никто, кажется, не хотел к нему приближаться. Потом туземцы обнесли его частоколом, и, как только это было сделано, вся толпа бросилась прочь от берега, вопя: «Текели-ли! Текели-ли!»

23

Следующие шесть-семь дней мы провели в своем убежище на горе, покидая его лишь изредка и с величайшей осторожностью, чтобы пополнить запасы воды и фундука. На выступе мы сделали нечто вроде жилого помещения: соорудили кровать из сухих листьев и поставили рядом три больших плоских камня, которые заменяли нам очаг и стол. Огонь мы без особого труда добывали трением двух сухих деревяшек, одной мягкой, другой твердой. Мясо птицы, пойманной так кстати, оказалось превосходным, хоть и немного жестковатым. Это была не морская птица, а какой-то вид выпи с блестящим черным с проседью оперением и слишком маленькими для такого большого тела крыльями. Потом мы видели еще трех таких же недалеко от расселины, которые явно искали пойманную нами, но, поскольку они не садились на землю, поймать их было невозможно.

Пока у нас было мясо, мы не испытывали неудобств, но, когда запас исчерпался, возникла необходимость срочно позаботиться о пропитании. Орехи голод не утоляли, а напротив, вызывали рези в желудке, а при употреблении в больших количествах и сильную головную боль. Мы видели несколько больших черепаш на берегу, к северу от горы, и посчитали, что их можно без труда поймать, если удастся подобраться к ним незаметно для туземцев. Поэтому было решено попробовать спуститься.

Начали мы с южного откоса, на котором, как нам показалось, было меньше всего преград, но не продвинулись мы и на сто ярдов, как случилось то, что мы смутно предчувствовали, глядя вниз с вершины: дальнейший путь преградило ответвление ущелья, в котором нашли смерть наши товарищи. Мы пошли вдоль него и примерно через четверть мили снова были остановлены, на этот раз невероятной глубины обрывом. Идти по его краю было слишком опасно, поэтому нам пришлось вернуться.

Затем мы попробовали спуститься по восточной стороне, но снова потерпели неудачу. После часа пути, ежеминутно рискуя свернуть шею, мы спустились в глубокую яму с черными гранитными стенами и засыпанным мелкой пылью дном, из которой выбраться можно было только той же крутой каменистой тропой, какой мы сюда спустились. С трудом взобравшись по ней обратно наверх, мы попытались счастья на северной стороне. Здесь во время движения нам пришлось соблюдать крайнюю осторожность, поскольку малейшая оплошность грозила привлечь к нам внимание всей деревни. Продвигались мы на четвереньках, а иногда и ползком, прячась за кустами. Преодолев таким манером совсем небольшое расстояние, мы наткнулись на пропасть гораздо более глубокую, чем встречали до сих пор, и ведущую прямоком в главное ущелье. Итак, наши страхи подтвердились: мы были полностью отрезаны от мира внизу. Совершенно обессилив, мы кратчайшим путем вернулись на наш выступ, упали на ложе из листьев и проспали несколько часов беспробудным сном.

Несколько дней после этого мы обследовали каждый дюйм вершины нашей горы в поисках чего-нибудь съестного. Выяснилось, что рассчитывать здесь не на что, кроме вредных для здоровья орехов и нескольких видов ложечной травы, росшей на маленьком пятачке

размером не более четырех квадратных перчей[29]. Надолго ее бы не хватило. К пятнадцатому февраля, если мне не изменяет память, от нее не осталось и стебелька, да и орехи стали попадаться реже — мы оказались в самом плачевном положении.

Шестнадцатого числа[30] мы снова обошли стены нашей темницы в надежде найти путь к спасению, но впустую. Мы даже спустились в пещеру, где попали под обвал, в расчете на то, что там может оказаться выход в главное ущелье. Там нас тоже ждало разочарование, хотя мы нашли мушкет.

Семнадцатого мы покинули расселину с намерением обследовать провал с черными гранитными стенами, в который уже спускались во время первоначальных поисков. Мы помнили, что там было несколько разломов в стенах и один из них был осмотрен лишь частично, поэтому нам хотелось его осмотреть, хотя мы и не рассчитывали на то, что там может оказаться выход.

Как и раньше, в провал мы спустились без труда, только теперь обладали достаточным спокойствием, чтобы провести осмотр со всем тщанием. Это было поистине необыкновенное место, даже не верилось, что это творение природы. Длина этой ямы от восточной оконечности до западной с учетом всех изгибов и поворотов составляла порядка пяти сотен ярдов, а если по прямой, то ее протяженность с востока на запад (это лишь предположение, поскольку у меня не было возможности провести точный расчет) не превышала сорока — пятидесяти ярдов. В первый раз попав в эту пропасть, то есть проделав спуск примерно в сто футов с вершины горы, мы увидели, что стены провала не похожи друг на друга и явно никогда не были соединены: одна состояла из стеатита, а вторая — из мергеля с мелкими металлическими вкраплениями. Склоны здесь отстояли друг от друга в среднем футов на шестьдесят, но это расстояние не везде было одинаковым. Ниже оно резко сужалось и склоны превращались в две параллельные стены, хоть и отличались составом и формой поверхности. На высоте пятидесяти футов от дна начиналось полное соответствие. Обе стороны состояли из совершенно черного блестящего гранита, имели один и тот же угол наклона и отстояли друг от друга по всей длине ровно на двадцать ярдов. Точную форму провала лучше всего понять по чертежу (см. рис. 1), который я набросал на месте, ибо, по счастью, у меня с собой были

записная книжка и карандаш, которые я бережно хранил во время своих последующих приключений и благодаря которым сохранилось множество подробностей, каковые в противном случае не удержались бы в моей памяти.



Этот чертеж воспроизводит общую форму провала, но без нескольких небольших углублений на стенах, каждому из которых соответствовал выступ на противоположной стене. Дно провала покрывал толстый, дюйма в три-четыре, слой мельчайшей пыли, под которой мы обнаружили все тот же черный гранит. С правой стороны, внизу, в самом конце, можно было заметить небольшой ход — тот самый разлом, на который я ссылался выше и ради исследования которого мы второй раз спустились в провал. В него-то мы и углубились, энергично вырубая мешавшие проходу кусты ежевики и разгребая груды острых камней, напоминавших формой наконечники для стрел. Сил нам придало еще и то, что в дальнем конце мы увидели свет. Углубившись футов на тридцать, мы оказались под низкой ровной аркой, пол которой был покрыт точно такой же пылью, как и в самом провале. Свет усилился, и, зайдя за поворот, мы оказались в другой высокой камере, сходной с первой во всем, кроме длины. Вот ее общие очертания (см. рис. 2):

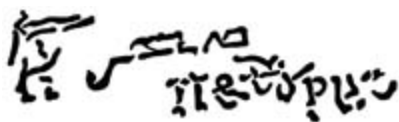


Общая длина этого хода, если начинать считать от точки *a*, идти по дуге *b* до оконечности *d*, составляет пятьсот пятьдесят ярдов. У точки *c* мы обнаружили небольшое отверстие в стене, подобное тому, через которое попали сюда из первой камеры, и оно тоже все заросло ежевикой и было засыпано грудami белых, похожих на наконечники для стрел камней. Протиснувшись по этому узкому коридору, который, как оказалось, имел в длину примерно сорок футов, мы вышли в третью камеру. Она тоже ничем не отличалась от первой, кроме продолговатой формы (см. рис. 3).



Мы высчитали общую длину третьей камеры — она составила триста двадцать ярдов. В точке *a* находилось отверстие шириной футов шесть, которое уходило в глубь скалы на пятнадцать футов и там упиралось в глухую стену из мергеля, вопреки нашим ожиданиям, лишенную каких бы то ни было отверстий. Мы уже собирались покинуть этот ход, в который проникало очень мало света, когда Питерс обратил мое внимание на ряд странного вида знаков на поверхности стены, которой заканчивался этот тупик. При некотором усилии воображения левый или самый северный символ можно было принять за изображение, хоть и грубое, выпрямленной человеческой фигуры с вытянутой рукой. Остальные знаки имели некоторое сходство с буквами алфавита, и Питерс был склонен считать их таковыми, но я в конце концов убедил его в том, что он ошибается, указав ему на пол, где среди пыли мы нашли и подобрали несколько осколков мергеля, явно отколотых от стены выше во время какого-то

сотрясения, по форме соответствовавших зазубринам, естественное происхождение которых таким образом доказывалось. Рисунок 4 — точная копия «знаков»:



Удостоверившись, что из этих удивительных пещер нет выхода наружу, мы, подавленные и удрученные, вернулись в свою темницу на вершине горы. Следующие сутки не происходило ничего примечательного, за исключением разве что того, что к востоку от третьей камеры мы обнаружили две очень глубокие треугольные дыры, также имевшие гранитные стены. Спускаться в них мы посчитали занятием бесполезным, поскольку у них был вид простых природных колодцев, не имевших ответвлений. Каждый из них имел в поперечнике ярдов двадцать, их форма и расположение относительно третьей камеры показаны на рисунке 5:



24

Двадцатого числа, когда стало окончательно ясно, что на орехах мы долго не продержимся, тем более что поедание их доставляло нам невыносимые мучения, было принято отчаянное решение попытаться спуститься по южному склону горы. Здесь стены пропасти были из мягкого стеатита, хоть и уходили вниз почти вертикально самое меньшее на полторы сотни футов, а в некоторых местах даже нависали, как арки. После долгих поисков нам на глаза попался узкий выступ ступенькой примерно в двадцати футах под краем обрыва, и Питерсу удалось на него спрыгнуть, ухватившись за связанные носовые платки, которые я в это время удерживал. Я последовал за

ним, правда, с несколько большими трудностями, и мы решили спускаться вниз таким же манером, каким выбрались из пещеры после обвала, — выбивая в мягком стеатите ножами ступеньки. Вряд ли кто-то может представить в полной мере опасность, с которой это предприятие было сопряжено, но иного выхода у нас не было, и мы решились.

На нашем выступе рос орешник, и к одному из кустов мы привязали самодельную веревку из носовых платков. Вторым ее концом мы обвязали Питерса за талию, и я стал медленно его спускать, пока хватало платков. Он выбил в стене дыру глубиной дюймов шесть или десять, стесав предварительно камень, выступавший сверху на фут или около того, после чего рукояткой пистолета вогнал в освобожденное место прочный клинышек. Потом я подтянул его наверх фута на четыре, там он пробил отверстие такое же, как внизу, и вогнал еще один клинышек, благодаря чему у его рук и ног появилось место для отдыха. Далее я отвязал платки от куста и бросил ему второй конец, который он привязал к клинышку в верхнем отверстии и теперь смог осторожно спуститься на три фута, то есть на всю длину платков, ниже того уровня, где только что побывал. Здесь он пробил еще одну дыру и вколотил еще один клинышек. После этого он снова поднялся на один уровень вверх, чтобы отдохнуть, поставив ноги в выбитые ямки, а руками взявшись за клинышки. Теперь появилась необходимость отвязать платки от верхнего клинышка, чтобы привязать к нижнему, и тут он понял, что совершил ошибку, когда выбивал отверстия на таком большом расстоянии друг от друга. Однако после пары неудачных и крайне опасных попыток дотянуться до узла (ему приходилось левой рукой держаться, а правой развязывать) он перерезал веревку, оставив на клинышке шесть дюймов. Затем он спустился под третье отверстие, но не слишком низко. Благодаря этому приему (приему, до которого я сам никогда бы не додумался и за который нам нужно было благодарить находчивость и решительность Питерса) мой товарищ наконец сумел, не без помощи выступов, которые встречались в стене, добраться до дна без происшествий.

Не сразу я решился последовать его примеру, но потом набрался храбрости и сделал это. Питерс, прежде чем начать спуск, снял с себя рубашку, и та вместе с моей послужила материалом для изготовления

веревки, необходимой для этой затеи. Сбросив вниз мушкет, найденный в расселине, я привязал эту веревку к кусту и начал быстрый спуск, пытаясь энергичными движениями унять дрожь, которую не мог побороть никакими другими способами. Однако это помогало всего лишь первые четыре-пять шагов, потом воображение мое необычайно разыгралось от мыслей о том, какая подо мной глубина и как ненадежны клинышки и отверстия в стеатите — моя единственная опора. Напрасно пытался я прогнать эти мысли и не отрывать взгляда от гладкой каменной стены передо мной. Чем больше я старался *не думать*, тем более живыми и ужасными становились мои видения. Наконец наступил момент, столь опасный в подобных случаях, когда мы начинаем представлять ощущения, какие будем испытывать во время падения, рисовать себе головокружение и тошноту, и последнюю борьбу, и полузабытье, и, наконец, горькое сожаление, когда ты уже стремительно летишь вниз. Эти фантазии начали создавать новую собственную действительность, и все вообразимые страхи одолели меня. Колени мои неистово задрожали, пальцы медленно, но уверенно начали разжиматься. В ушах зазвенело, и я промолвил: «Это мой похоронный звон!» Меня охватило неодолимое желание посмотреть вниз. Я не мог, не хотел смотреть только на скалу перед собой и с диким, неопишным чувством ужаса, смешанного с облегчением, устремил взгляд в самую глубину бездны. На какой-то миг пальцы снова судорожно впились в камень, с этим движением в сознании подобно тени промелькнула мысль о спасении... а в следующее мгновение всю мою душу переполнило страстное желание упасть — жажда, порыв, стремление, совершенно неподвластные разуму. Я разжал пальцы, немного повернулся и, раскачиваясь, замер на секунду. Потом в голове помутилось; в ушах раздался пронзительный, призрачный вопль; темная, демоническая, размытая фигура появилась прямо подо мною; и я, вздохнув, упал в ее распростертые объятия.

Я потерял сознание, и Питерс поймал меня, когда я упал. Он наблюдал за моим продвижением со дна утеса и, увидев, что мне грозит, попытался всячески воодушевить меня советами, но разум мой помрачился настолько, что я не слышал его слов и даже не осознавал, что он обращался ко мне. Наконец, заметив, как я покачнулся, он бросился меня спасать и успел как раз вовремя, чтобы подхватить

меня. Если бы я обрушился всем своим весом, веревка из платков наверняка порвалась бы и я полетел в бездну; а так он сумел меня схватить и осторожно опустить на полную ее длину, так что я повис над пропастью. Примерно пятнадцать минут провисел я без чувств. Когда я очнулся, дрожь утихла, я как будто заново родился и с помощью товарища благополучно спустился на дно.

Теперь мы находились недалеко от ущелья, ставшего могилой для наших товарищей, и к югу от того места, где обрушился склон горы. Вокруг царило полное запустение, которое напомнило мне описания путешественников в тех безотрадных местах, где некогда стоял Древний Вавилон. Не говоря об обломках разрушенного утеса, которые беспорядочной грудой преграждали нам путь с севера, поверхность земли во всех остальных направлениях была завалена огромными глыбами, как будто мы находились посреди развалин каких-то гигантских сооружений, хотя, если присмотреться, здесь отсутствовали какие бы то ни было следы человеческой деятельности. Тут было много шлака, огромных бесформенных гранитных глыб вперемешку с мергелем[31], и те и другие имели металлические вкрапления. Повсюду, куда хватало глаз, не было и следов растительности. Мы увидели несколько крупных скорпионов и пресмыкающихся разных видов, которых никто до сих пор не встречал на таких широтах. Поскольку больше всего нас заботили поиски пищи, мы решили идти к берегу, до которого было не более полумили пути, чтобы поймать черепах, которых мы наблюдали из своего убежища на горе. Мы прошли каких-то сто ярдов, осторожно выбирая дорогу, когда за очередным поворотом из какой-то пещерки на нас набросились пять дикарей и ударом дубинки Питерс был свален на землю. Все они бросились к нему, чтобы скрутить свою жертву, но это дало мне время прийти в себя от неожиданности. При мне все еще был найденный мушкет, но ствол его при падении с обрыва повредился так сильно, что выстрелить из него все равно не получилось бы, и я отбросил его в сторону, предпочитая довериться пистолетам, которые неизменно держал наготове. Я стал надвигаться на нападавших, произведя несколько выстрелов подряд. Двое дикарей упали, еще один, который как раз занес над Питерсом копьё, вскочил на ноги, не закончив свое дело. После того как мой товарищ был освобожден, дальнейшее не представляло особого труда. У него тоже были пистолеты, но из

осторожности он не воспользовался ими, рассчитывая на свою колоссальную физическую силу, равной которой я не встречал ни у кого. Выхватив дубинку из руки одного из павших дикарей, он вышиб мозги трем оставшимся одним могучим ударом. Наша победа была полной.

Все это произошло так стремительно, что нам с трудом верилось, что случившееся было явью, и мы какое-то время стояли в оцепенении над бездыханными телами, пока нас не привели в себя крики, послышавшиеся в отдалении. Дикарей встревожил звук выстрелов — наше пребывание на острове перестало быть тайной. Чтобы вернуться к утесу, нужно было идти в направлении, откуда доносились крики. Но даже если бы нам удалось до него добраться, мы не смогли бы подняться по нему незамеченными. Положение было отчаянное, мы на миг задумались, решая, в какую сторону бежать, когда один из подстреленных мной дикарей вдруг вскочил и попытался спастись. Но мы поймали его и уже хотели прикончить, когда Питерсу пришло в голову, что он может пригодиться нам для спасения. Поэтому мы потащили его за собой, дав понять, что пристрелим, если он будет сопротивляться. Через несколько минут он уже был совершенно послушен и бежал рядом с нами между валунами по направлению к берегу.

До сих пор неровности земли, которую мы пересекали, скрывали от нас море, лишь изредка оно проглядывало между камнями и холмами, и, когда оно полностью открылось нашему взору, до него оставалось еще ярдов двести. Выскочив на берег, мы, к величайшему ужасу, увидели, что огромные толпы туземцев несутся в нашу сторону из деревни и из всех видимых других частей острова, яростно размахивая руками и завывая, как дикие звери. Мы уже собрались было развернуться, чтобы попытаться скрыться среди холмов, но я заметил носы двух каноэ, торчавшие из-за большого камня, выступавшего из моря. К ним мы и бросились со всех ног. Они были брошены без охраны, а из груза в них были только три большие черепахи и набор весел для шестидесяти гребцов. Мы тут же завладели одним из каноэ, усадили в него нашего пленника и изо всей силы толкнули в воду.

Однако, не проплыв и пятидесяти ярдов, мы достаточно успокоились и собрались с мыслями, чтобы понять, какую оплошность

совершили, оставив второе каноэ дикарям, которые к этому времени были уже на вдвое большем расстоянии от него, чем мы от берега, и стремительно приближались. Времени терять было нельзя. Надежда на спасение была призрачной. Вызывало величайшие сомнения, что мы, даже гребя изо всех сил, опередим их и окажемся у каноэ первыми, но шанс, хоть и мизерный, был. В случае успеха мы могли спастись, но, не попытавшись, обрекали себя на неизбежную гибель.

Каноэ туземцев были сконструированы так, что у них имелись и нос, и корма, но мы, вместо того чтобы развернуться, просто пересели лицом в другую сторону. Как только дикари это увидели, их крики сделались вдвое громче и побежали они еще быстрее. Мы же гребли со всей энергией, которую рождает отчаяние, и раньше на месте оказался лишь один туземец. Этот человек дорого заплатил за свою резвость: Питерс прострелил ему голову из пистолета. Остальные самые быстрые его соплеменники были от нас шагах в двадцати-тридцати, когда мы завладели вторым каноэ. Сперва мы попытались стащить его в воду, подальше от берега, где дикари не смогли бы его достать, но днище челна застряло в песке, и у нас не было времени его освободить, поэтому Питерс двумя мощными ударами мушкетного приклада выбил большие куски из борта на носу и на боку. После этого мы снова отплыли, но двое дикарей успели подбежать к нам. Они вцепились в наше каноэ и не отпускали его, пока мы не прикончили их ножами. Теперь мы оказались свободны и что было сил гребли в открытое море. Толпа дикарей, подбежав к поврежденному каноэ, взывала в бессильной ярости. По правде говоря, судя по тому, что я узнал об этих чудовищах, это был самый жестокий, самый лицемерный, самый мстительный, кровожадный и злодейский народ на свете. Не приходилось сомневаться, что, окажись мы в их руках, нас не пощадили бы. Они, охваченные безумием, пытались преследовать нас на поврежденном каноэ, но, осознав, что это пустое занятие, снова излили свою ярость воплями и помчались в горы.

Мы избежали непосредственной опасности, но положение наше не оставляло поводов для радости. Нам было известно, что у дикарей имелись четыре каноэ, но мы не знали, что два таких челна были разнесены в щепки при взрыве «Джейн Гай» (позже об этом нам стало известно от нашего пленника). Поэтому мы посчитали, что дикари возобновят преследование, как только доберутся до бухты, где обычно

стояли их лодки — до нее было примерно три мили, — и прилагали все усилия, чтобы как можно скорее и дальше отойти от острова, для чего заставили грести и пленника. Примерно через полчаса, когда мы преодолели, вероятно, миль пять-шесть в южном направлении, от бухты отделилась большая флотилия плоскодонных лодок или плотов и устремилась вслед за нами. Однако после короткой погони они, отчаявшись догнать нас, повернули.

25

Итак, мы оказались посреди бескрайнего и пустынного Антарктического океана за восемьдесят четвертым градусом широты в хрупком каноэ без провизии, если не считать трех черепашек. К тому же в скором времени можно было ожидать начала долгой полярной зимы. Нужно было определиться, в какую сторону плыть. Мы видели шесть-семь островов, принадлежавших той же группе и отстоявших друг от друга в пяти-шести лигах, но ни на один из них мы высаживаться не собирались. Когда мы шли с севера на «Джейн Гай», самые суровые области сплошного льда оставались позади нас, — как бы этот факт ни расходился с общепринятыми представлениями о природе Антарктики, мы убедились в этом на собственном опыте. Поэтому возвращаться на север было бы безрассудно, особенно в это время года. Лишь одно направление оставляло надежду. Мы приняли решение плыть на юг, где, по крайней мере, существовала вероятность открыть другие земли и еще большая вероятность попасть в более теплый климат.

До сих пор в Антарктике, как и в Арктическом океане, мы не сталкивались ни с действительно сильными штормами, ни с большими волнами, но каноэ наше являлось, в лучшем случае, хрупким суденышком, хоть и довольно крупным, поэтому мы взяли оборудование его теми скудными средствами, которые имелись в нашем распоряжении, чтобы придать ему как можно большую прочность. Корпус каноэ был изготовлен из коры какого-то неизвестного нам дерева, шпангоуты — из крепкой ивовой лозы, которая прекрасно подходит для использования в таких целях. У нас имелось пятьдесят футов пространства от носа до кормы и от четырех до шести футов ширины при глубине по всей длине четыре с половиной фута — таким образом лодки местных островитян отличались от лодок других известных цивилизованному человеку народов Южного океана. Мы не

верили, что их могли построить владевшие ими примитивные дикари, и через несколько дней узнали от своего пленника, что каноэ нашим варварам достались случайно и изготовлены были обитателями другой группы островов, расположенной на юго-западе от того места, где мы их нашли. Для укрепления нашей лодки сделать можно было очень немного. У носа и кормы мы обнаружили несколько широких щелей, мы их законопатили, разорвав суконную куртку. Из ненужных весел, которых здесь было в избытке, мы соорудили некое подобие каркаса на носу, чтобы гасить силу встречных волн. Два весла заменили нам мачту — соединив крест-накрест, мы укрепили их на бортах, обойдясь таким образом без рей. Паруса мы изготовили из своих рубашек, что сделать было не так-то просто, потому что наш пленник наотрез отказался нам помогать, хотя в остальных работах участвовал с готовностью. Вид белой материи почему-то внушил ему неопиcуемый ужас. Он не хотел ни прикасаться, ни даже приближаться к ней, а когда мы попытались его заставить, туземец весь затрясся и крикнул: «Текели-ли!»

Покончив с обустройством каноэ, мы взяли курс на юго-юго-запад, намереваясь обогнуть самый южный из островов вокруг. Когда остров остался позади, мы повернули на юг. Погода стояла поистине прекрасная: с севера дул легкий ветерок, море было совершенно спокойно, круглые сутки светило солнце. Льда не было видно, *мне ни разу не попался на глаза лед южнее параллели острова Беннета*. Да и вода здесь была слишком теплой для льда. Убив бóльшую из наших черепах и получив не только мясо, но и богатый запас воды, мы продолжали спокойно плыть своим курсом примерно семь или восемь дней и за это время, должно быть, преодолели большое расстояние в южную сторону, поскольку ветер сопутствовал нам, а очень сильное течение подгоняло каноэ в нужном направлении.

1 марта [32]. Множество необычных явлений указывали на то, что мы входили в неизведанную область, полную чудес и загадок. Над южным горизонтом постоянно возникала светло-серая дымка, она то поднималась массивными столбами, то металась с востока на запад, с запада на восток и обратно, то растягивалась длинной однообразной полосой, — словом, постоянно менялась, подобно Aurora Borealis. Средняя высота дымки, как она представлялась с нашего

местоположения, составляла двадцать пять градусов. Температура воды постоянно повышалась, при этом вода заметно менялась в цвете.

2 марта. Сегодня после долгих расспросов нашего пленника мы узнали много подробностей относительно острова, где пролилось столько крови, его обитателей и обычаев, но могу ли я теперь задерживать внимание читателей? Скажу лишь вкратце, что группа состояла из восьми островов, правил которыми единый король по имени то ли Тсалемон, то ли Псалемоун, живший на самом маленьком из них; что черное одеяние воинов было сделано из шкур какого-то животного огромного размера, которое обитало исключительно в долине рядом с королевским двором; что островитяне умели изготавливать только плоскодонные плоты и каноэ на всех островах имелось всего четыре штуки, да и те попали к ним случайно с какого-то большого острова на юго-западе; что его самого звали Ну-Ну; что ему не было известно о существовании острова Беннета и что остров, который он покинул, именовался Тсалал. Слова «Тсалемон» и «Тсалал» произносил он с долгим свистящим звуком, который мы так и не смогли повторить даже после многочисленных попыток и который в точности напоминал крик черной птицы, съеденной нами на вершине горы.

3 марта. Вода сделалась почти горячей и поменяла цвет, она перестала быть прозрачной и приобрела оттенок и густоту молока. В непосредственной близости от каноэ море было совершенно спокойным, и нам ничего не угрожало, но мы с удивлением заметили, что справа и слева от нас на разных расстояниях на поверхности воды то и дело неожиданно возникает волнение. Потом мы обратили внимание на то, что этому явлению неизменно предшествовали какие-то вспышки в дымке над южным горизонтом.

4 марта. Сегодня, почувствовав, что ветер с севера заметно ослабел, я, собираясь усилить парус, достал из кармана белый носовой платок. Ну-Ну сидел рядом со мной, и, когда белая материя случайно коснулась его лица, дикаря схватили судороги, после чего он впал в какое-то беспамятство и оцепенение, лишь изредка бормоча: «Текели-ли! Текели-ли!»

5 марта. Ветер совершенно стих, но быстрое течение по-прежнему несло нас на юг. И нам... Теперь нам бы следовало встревожиться оттого, какой оборот принимают события, но мы ничего такого не

чувствовали. Лицо Питерса оставалось невозмутимым, хотя время от времени на нем появлялось какое-то странное, непонятное мне выражение. Приближалась полярная зима, но приближалась она без обычно сопутствующих ей ужасов. Меня охватила какая-то бесчувственность, душевная и физическая заторможенность, но это и все.

6 марта. Серый пар поднялся над горизонтом гораздо выше и начал мало-помалу утрачивать серый цвет. Вода приобрела молочную окраску и стала горячей настолько, что к ней даже неприятно было прикасаться. Сегодня у самого каноэ вода начала бурлить. Перед этим, как обычно, на вершине стены пара сверкнула яркая вспышка, и основание ее на миг словно оторвалось от горизонта. Легкая белая пыль, похожая на пепел, но, конечно, не пепел, осела на каноэ и на большой участок воды вокруг, когда сверкание прекратилось и волнение моря улеглось. Ну-Ну бросился ничком на дно каноэ, и никакие доводы не смогли заставить его подняться.

7 марта. Сегодня спросили Ну-Ну, зачем его соплеменники уничтожили наших товарищей, но он, похоже, был слишком напуган, чтобы дать какой-то вразумительный ответ. Дикарь продолжал упрямо лежать на дне лодки и в ответ на просьбы объяснить, что с ним, начинал производить какие-то бессмысленные движения — например, поднимал пальцем верхнюю губу и показывал зубы за ней. Они были черными. До сих пор мы не видели зубов обитателей Тсалала.

8 марта. Сегодня мимо нас проплыло такое же белое животное, как то, чье появление на берегу Тсалала произвело такой переполох среди дикарей. Я бы подобрал его, но меня охватила апатия и я не стал этого делать. Температура воды продолжала повышаться, вода стала такой горячей, что теперь в нее уже нельзя было опустить руку. Питерс говорил мало, я не знал, что и думать. Ну-Ну неподвижно лежал на дне каноэ и хранил полное молчание.

9 марта. Легкая белая пыль теперь падала с неба безостановочно и обильно. Стена пара на юге чудесным образом поднялась над горизонтом и начала принимать четкую форму. Сравнить я ее могу разве что с громадным водопадом, бесшумно низвергающимся с какого-то безмерного и далекого уступа в небесах. Гигантский занавес скрыл весь южный горизонт. Оттуда не доносится ни звука.

21 марта. Гнетущая тьма нависла над нами, но из молочных глубин океана поднялось яркое сияние и распространилось вокруг бортов лодки. Нас почти засыпало белой пылью, которая собиралась на каноэ, но при соприкосновении с водой таяла. Вершина небесного водопада была неразличима в туманной вышине. Но мы неслись к нему с ужасающей скоростью. Временами в нем ненадолго возникали широкие зияющие разрывы, и из этих разрывов, за которыми беспорядочно мельтешили мимолетные и нечеткие образы, исторгались стремительные и могучие, но беззвучные потоки воздуха, вспарывая горящий океан.

22 марта. Темнота сгустилась и нарушалась лишь отраженным водой свечением белого занавеса перед нами. Из-за пелены теперь постоянно вылетали и проносились над нами гигантские белые птицы, исчезая из виду с криком «Текели-ли!». С их появлением Ну-Ну, лежавший на дне челна, пошевелился, но, прикоснувшись к нему, мы увидели, что его душа покинула тело. И вот мы вторглись в объятия безграничной белизны, узрев разверзающуюся навстречу нам зияющую бездну. Но в этот миг на нашем пути поднялась укутанная в саван человеческая фигура, размерами превосходящая любого из людей. И кожа ее была снежной белизны.

Примечание

Обстоятельства последовавшей недавно скоропостижной и трагической смерти мистера Пима наверняка уже хорошо известны читателю из ежедневных газет. Высказываются опасения, что последние главы, которыми должно было завершиться повествование и которые он хранил у себя для переработки, пока вышеприведенные были в наборе, оказались безвозвратно утрачены во время несчастного случая, который стал причиной его гибели. Впрочем, может выясниться, что это не так, и, если бумаги все же обнаружатся, они будут представлены на суд публики.

Было сделано все возможное, дабы восполнить этот пробел. Предполагается, что джентльмен, чье имя было упомянуто в предисловии, мог бы, как явствует из того же предисловия, исправить положение, но он отказался от этого предложения, сославшись на слишком большое количество неточностей и несоответствий в предоставленных ему материалах и заявив, что сомневается в

правдивости последних глав рассказа. Питерс, от которого можно надеяться получить какие-либо сведения, ныне здоровствует и проживает где-то в Иллинойсе, но разыскать его пока не удалось. Возможно, он все же будет найден, и тогда мы, без сомнения, узнаем, чем закончилось путешествие мистера Пима.

Утрата двух-трех заключительных глав (а их было не больше) тем более достойна сожаления, что в них, вне всякого сомнения, содержались сведения относительно самого Южного полюса или, по крайней мере, очень близких к нему областей и что они в скором времени могут быть подтверждены или опровергнуты экспедицией в Южный океан, которую сейчас снаряжает наше правительство.

Пока же можно сделать несколько примечаний к рассказу мистера Пима, и автору этого дополнения будет чрезвычайно приятно, если то, что он имеет сказать, поможет хотя бы в малейшей степени завоевать доверие читателей к опубликованному на этих страницах удивительному рассказу. Мы говорим о пещерах, обнаруженных на острове Тсала и приведенных на иллюстрациях.

Мистер Пим предоставил нам схемы пещер без каких-либо пояснительных записей, он с уверенностью называет зазубрины, обнаруженные в самом дальнем конце самой восточной из пещер, последствием природных катаклизмов и говорит об их случайном сходстве с буквами, заявляя, что на самом деле они таковыми *не являются*. Это утверждение кажется таким последовательным и подтверждается доказательствами столь убедительными (например, соответствие фрагментов найденных в пыли выступов зазубринам на стене), что мы склонны поверить в то, что автор прав, и ни один здравомыслящий читатель не предположит обратного. Однако, поскольку все факты, имеющие касательство ко всем чертежам, совершенно исключительны (особенно если их связывать с некоторыми заявлениями, сделанными на страницах повествования), будет не лишним сказать о них пару слов, тем более потому, что факты эти, вне всякого сомнения, ускользнули от внимания мистера По.

Если соединить рисунки 1, 2, 3 и 5 в том же порядке, в каком расположены сами пещеры, и убрать небольшие ответвления или арки (которые, напомним, использовались исключительно для сообщения между главными камерами), мы увидим эфиопский глагольный корень



«быть темным», от которого происходят все слова, означающие тень и темноту.

Что касается «левого или самого северного символа» на рисунке 4, то более чем вероятно, что Питерс был прав в своем предположении и что иероглиф этот, действительно рукотворного происхождения, изображал человеческую фигуру. Чертеж перед читателем, и он сам может найти или не найти указанное сходство, но остальные зазубрины только подтверждают идею Питерса. В верхнем ряду символов нельзя не увидеть арабский глагольный корень



«быть белым», присутствующий во всех словах, которые передают идею светлости и белизны. Нижний ряд символов не столь очевиден. Здесь символы повреждены и в некоторых местах стерлись, тем не менее не возникает сомнений в том, что в своем первоначальном виде они составляли египетское слово



— «Южная область». Нужно заметить, что переводы этих слов также подтверждают мнение Питерса насчет «самого северного» из символов. Рука человеческой фигуры вытянута на юг.

Подобные заключения открывают широкое поле для размышлений и захватывающих догадок, которые, вероятно, стоит связывать с наименее обстоятельно описанными событиями повествования, хотя связующую их нить ни в коей мере нельзя назвать полной. «Текелили!» — кричали испуганные туземцы, обнаружив на берегу труп *белого* животного, подобранный в море. Такой же возглас издал плененный тсалалец, увидев принадлежавшие мистеру Пиму вещи из *белой* ткани. Так же кричали быстрокрылые *белые* гигантские птицы, которые возникли из *белой* завесы над южным горизонтом. На Тсалале не было ничего *белого*, и ничего *черного* не было замечено в последовавшем плавании на юг. Представляется вполне возможным, что углубленное лингвистическое исследование выявит связь слова

«Тсалал», названия острова, либо с самими пещерами, либо с эфиопскими письменами, загадочным образом начертанными на их стенах.

«Я вырезал это на холмах, и месть моя во прахе камня».

Необыкновенное приключение Ганса Пфааля

Мечтам безумным сердца Я властелин отныне, С горящим копьем и воздушным конем Скитаюсь я в пустыне.

У. Шекспир. Король Лир. Песня Тома из Бедлама

По последним известиям из Роттердама, все представители научно-философской мысли в этом городе ныне охвачены глубоким смятением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое и непривычное, что в скором времени — я в этом даже не сомневаюсь — будет взбудоражена вся Европа, все ученые мужи всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется невиданное брожение умов.

Вот что случилось в Роттердаме. В один из дней (я не могу сообщить точной даты) большая толпа горожан собралась на Биржевой площади. День был теплый и безветренный, благодушное настроение толпы ничуть не омрачал короткий дождик, который время от времени начинал сеяться из больших облаков, там и сям разбросанных по небосводу. Однако около полудня в толпе возникло странное беспокойство: десять тысяч языков заработали одновременно, и так же одновременно, словно по команде, десять тысяч трубок были вынуты из зубов. Затем продолжительный вопль, сравнимый разве что с ревом Ниагарского водопада, раскатился по улицам и окрестностям Роттердама.

Причина всеобщего потрясения вскоре выяснилась. Из-за огромного, резко очерченного облака медленно вынырнул и обрисовался на ясной лазури какой-то странный пестрый предмет такой причудливой формы, что толпа крепколобых бюргеров, застывших внизу с разинутыми ртами, могла только изумляться, ничего не понимая. Что это такое, никто не знал, не догадывался и даже вообразить не мог. Даже сам господин бургомистр Супербус ван Ундердук не имел ключа к этой тайне! А поскольку ничего более разумного нельзя было предпринять, в конце концов каждый бюргер

вернул трубку обратно в угол рта и, не спуская глаз с загадочного феномена, затянулся, выпустил клуб дыма, переступил с ноги на ногу и многозначительно хмыкнул.

Тем временем объект всеобщего внимания спускался все ниже, и уже через несколько минут его можно было рассмотреть в деталях.

Кажется, это был... нет, это и в самом деле был воздушный шар; но, право, такого шара еще не видывали в Роттердаме. Кто же, скажите на милость, когда-нибудь мог вообразить воздушный шар, склеенный из старых газет? В Голландии — никто, будьте уверены; и тем не менее в эту минуту над головами собравшихся на площади колыхалась на солидной высоте именно такая штуковина, изготовленная из упомянутого материала. Здравый смысл роттердамских бюргеров был оскорблен: кто же употребляет старые газеты для подобных целей! Но форма этого летательного аппарата оказалась еще обиднее — он имел вид огромного конического дурацкого колпака, опрокинутого вершиной вниз. Сходство усиливалось еще и тем, что к этой вершине была прицеплена внушительных размеров кисть, а вдоль верхнего края конуса располагались какие-то устройства, с виду напоминающие бубенчики, которые весело позванивали. Вместо гондолы к этой чудовищной машине была подвешена гигантская темная касторовая шляпа с широкими полями и черной лентой с серебряной пряжкой вокруг тульи.

Странное дело: многие из роттердамских граждан готовы были поклясться, что им уже не раз случалось видеть точно такую же шляпу, а фрау Греттель Пфааль, издав радостное восклицание, тут же объявила, что это собственная шляпа ее дорогого муженька. Тут следует заметить, что лет пять назад этот самый Пфааль с тремя другими горожанами исчез из Роттердама и с тех пор о нем не было ни слуху ни духу. Несколько позже в глухом закоулке на восточной окраине города была обнаружена груда костей, по-видимому человеческих, вперемешку с какими-то тряпками и обломками, и некоторые горожане даже решили, что здесь произошло кровавое злодеяние, жертвами которого пали Ганс Пфааль и его спутники.

Но вернемся к происшествию. Воздушный шар (а это все-таки был воздушный шар) уже находился на высоте какой-нибудь сотни футов, и публика могла уже видеть его пассажира. Честно говоря, это было чрезвычайно странное создание. Рост его не превышал двух футов; но

и при таком росте он легко мог бы потерять равновесие и кувырнуться за борт своей удивительной шляпы-гондолы, если бы не обруч, расположенный на высоте его груди и прикрепленный к шару несколькими веревками. Объем талии этого существа не соответствовал его росту и придавал всей его фигуре нелепый шарообразный вид. Ног, разумеется, видно не было, а руки отличались громадными размерами. Седые волосы коротышки были собраны на затылке и заплетены в косу. У него был багровый крючковатый нос непомерной длины, блестящие пронзительные глаза, пухлые щеки, покрытые морщинами, а по обе стороны головы не наблюдалось ни малейших признаков ушей. Одет был этот странный старик в голубой просторный атласный камзол и такого же цвета короткие штаны в обтяжку, схваченные серебряными пряжками у колена. Кроме того, на нем был жилет из ярко-желтой ткани, лихо заломленная белая шляпа и ярко-алый шелковый шейный платок, завязанный пышным бантом.

Как только до земли осталось меньше ста футов, старик внезапно засуетился, очевидно, не желая больше снижаться. С усилием подняв холщовый мешок, он высыпал из него часть песка, и воздушный шар на мгновение остановился в воздухе. Затем аэронавт поспешно вытащил из бокового кармана записную книжку в сафьяновом переплете и подбросил ее на ладони — видимо, прикидывая вес. После он открыл ее и, вынув пакет, запечатанный сургучом и перевязанный красной тесемкой, швырнул его прямо к ногам бургомистра Супербуса ван Ундердука.

Его превосходительство наклонился, чтобы поднять пакет. Но аэронавт, по-видимому решив, что его миссия в Роттердаме завершена, сразу начал готовиться к отлету. Чтобы шар набрал высоту, потребовалось облегчить гондолу, и в следующее мгновение с полдюжины мешков с песком один за другим шлепнулись на спину бургомистра и заставили этого сановника распластаться на мостовой на виду у всего города.

Тем временем воздушный шар взвился вверх, словно жаворонок, набрал огромную высоту и вскоре исчез за облаком, в точности похожим на то, из-за которого он неожиданно появился, оставив в изумлении и растерянности добрых роттердамцев.

Тотчас все глаза устремились к пакету, чье падение и последовавшая за этим бомбардировка мешками с песком нанесли

столь чувствительный урон достоинству его превосходительства ван Ундердука. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что пакет попал в надлежащие руки: он был адресован самому бургомистру и профессору Рубадубу, президенту Роттердамского астрономического общества. Обе эти особы, не сходя с места, вместе распечатали пакет и обнаружили в нем следующее необычное и весьма важное послание:

«Их превосходительствам бургомистру ван Ундердуку и президенту Роттердамского астрономического общества господину Рубадубу.

Возможно, вы, господа, сообразовали вспомнить некоего Ганса Пфааля, скромного ремесленника, занимавшегося починкой старых мехов для раздувания огня в каминах и кузнечных горнах, — того, кто вместе с тремя другими горожанами исчез из Роттердама около пяти лет тому назад при крайне необычных обстоятельствах. С вашего позволения, господа, автор этого послания и есть тот самый Ганс Пфааль.

Большинству наших сограждан известно, что в течение четырех десятков лет и вплоть до дня моего исчезновения я обитал с семьей в небольшом кирпичном доме в дальнем конце переулочка Квашеной Капусты. Предки мои с незапамятных времен жили там же, занимаясь тем же почтенным и весьма прибыльным ремеслом. Я пользовался широким кредитом, у меня никогда не было недостатка в заказах, а следовательно, и денег мне хватало. Но с тех пор как наши горожане помешались на политике, многое изменилось, и вскоре мы почувствовали, к чему ведет эта пресловутая свобода собраний, бесконечные речи, радикализм и прочие штуки в том же роде. Людям, которые прежде были нашими постоянными клиентами, теперь стало некогда даже вспомнить о нас, грешных. Они только и делали, что читали о социальных революциях, следили за успехами научной мысли и гнались за веяниями времени. Если возникала необходимость растопить очаг, огонь раздували вчерашней газетой, и в самое короткое время во всем Роттердаме не осталось даже пары мехов, которые требовали бы вмешательства иглы, клещей или молотка. А вместе с этим и мое положение сделалось невыносимым. Вскоре я обеднел, как церковная мышь, а мне надо было кормить жену и детей. Когда же положение ухудшилось до последней крайности, я стал проводить целые часы, обдумывая, каким бы способом быстро и безболезненно

лишить себя жизни; но, честно говоря, кредиторы оставляли мне не так уж много времени для размышлений. Они осаждали мой дом буквально с утра до вечера, а трое заимодавцев особенно допекали меня, постоянно стоя на страже у дверей и угрожая мне судом. Я дал клятву жестоко отомстить им, если они когда-нибудь окажутся у меня в руках, и думаю, что только предвкушение этой мести помешало мне немедленно разнести вдребезги свой собственный череп выстрелом из мушкетона. Я затаил мстительные чувства и принялся умасливать эту троицу ласковыми словами и обещаниями, ожидая, когда подвернется подходящий случай.

Однажды, едва ускользнув от них и чувствуя себя в еще более подавленном состоянии, чем обычно, я бесцельно бродил по самым глухим переулкам, пока не увидел лавочку букиниста. Войдя туда, я опустился на стул для посетителей и машинально раскрыл первую же подвернувшуюся под руку книгу. Это оказался небольшой трактат по теоретической астрономии, сочинение одного не то немецкого, не то французского профессора астрономии по фамилии Энке. Я кое-что понимаю в астрономии и вскоре с головой погрузился в чтение; я прочел эту книгу дважды, прежде чем вспомнил, кто я и где нахожусь. Тем временем стемнело, пора было возвращаться домой.

Трактат этот произвел на меня неизгладимое впечатление — тем более что один мой родственник из Нанта недавно по секрету сообщил мне об одном новом открытии в области пневматики. Блуждая по темным улицам, я размышлял о странных и не всегда понятных выводах автора, поразивших мое воображение. И чем больше я раздумывал, тем сильнее они меня занимали. Ограниченность моего образования и, в частности, отсутствие естественнонаучных знаний, не помешали мне понять прочитанное, а некоторые смутные соображения, возникшие у меня по этому поводу, все сильнее разжигали мое воображение. Я спрашивал себя: так ли уж нелепы фантастические идеи, возникающие в невежественных умах, и не обладают ли они порой той силой, которую придает только вдохновение?

Я вернулся домой поздно и тотчас улегся в постель. Но голова моя была чересчур взбудоражена, и я провел всю ночь в размышлениях. Поднявшись спозаранку, я поспешил в книжную лавку и купил там несколько трактатов по механике и практической астрономии, истратив всю остававшуюся у меня скудную наличность. Затем, возвратившись домой с купленными книгами, я стал посвящать чтению каждую свободную минуту и вскоре имел достаточно знаний, чтобы осуществить план, внушенный мне или самим дьяволом, или моим добрым гением. В то же время я продолжал умасливать троицу кредиторов, по-прежнему жестоко притеснявших меня. В конце концов мне это удалось: я уплатил половину долга из средств, вырученных от продажи домашних вещей, и пообещал вернуть остальное, когда воплотится один мой проект, в осуществлении которого они, люди крайне невежественные, согласились мне помочь.

Уладив таким образом дела, я, при помощи жены и в строжайшей тайне, постарался сбыть оставшееся имущество и собрал солидную сумму, занимая по мелочам, где придется, под разными предлогами и, к моему стыду, не рассчитывая вернуть эти долги в будущем. На добытые деньги я накупил муслина[33] в кусках по двенадцать ярдов, веревок, каучукового лака, а также заказал широкую и глубокую плетеную корзину. Понадобилось также немало других материалов, необходимых для сооружения и оснастки огромного воздушного шара. Шитье его оболочки я поручил жене, дав ей надлежащие указания и попросив окончить работу как можно скорее; сам же занялся

плетением сетки, снабдив ее обручами и прочными веревками. Помимо того, я приобрел ряд инструментов, необходимых для опытов в верхних слоях атмосферы.

Когда оболочка была готова, я доставил в глухой закоулок на восточной окраине Роттердама пять бочек, обитых железными обручами, каждая вместимостью пятьдесят галлонов, и шестую — побольше, полдюжины стальных труб в десять футов длиной и в три дюйма диаметром, а также запас особого вещества — полуметалла, название которого я не могу открыть, и двенадцать бутылей обычной серной кислоты. Газ, получаемый с помощью этих материалов, еще никто, кроме меня, не добывал — или, по крайней мере, его никогда не использовали для подобных целей. Я могу только сообщить, что он является составной частью азота, ранее считавшегося неразложимым, а его плотность в тридцать семь с лишним раз меньше плотности водорода. Он не имеет вкуса, но обладает едким запахом, горит зеленоватым пламенем и безусловно смертелен для любого живого существа. Я мог бы описать процесс его получения во всех подробностях, но, как я уже отмечал выше, право на это открытие принадлежит одному нантскому гражданину, который поделился со мной этой тайной, взяв с меня клятву хранить молчание. Он же сообщил мне о способе изготовления воздушных шаров из кожи одного животного, через которую этот газ почти не просачивается. Я, однако, счел этот способ слишком дорогостоящим и решил, что муслин, покрытый несколькими слоями каучукового лака, окажется ничуть не хуже.

Я упоминаю об этом, так как считаю весьма вероятным, что мой нантский родственник попытается построить воздушный шар, наполненный этим новым газом, и вовсе не желаю отнимать у него честь столь замечательного открытия.

В том месте, где я собирался начать наполнять свой шар, я выкопал небольшие ямы так, что они образовали окружность диаметром в двадцать пять футов. В центре этой окружности располагалась яма поглубже, над которой я намеревался установить большую бочку. Затем я опустил на дно каждой из пяти меньших ям ящик с ружейным порохом, а в большую — бочонок со ста пятьюдесятью фунтами артиллерийского пороха. Соединив бочонок и ящики огнепроводным шнуром и приспособив к одному из ящиков фитиль в четыре фута

длиной, я прикрыл его бочкой так, чтобы конец фитиля выглядывал из-под нее всего на дюйм. Потом я засыпал остальные ямы и установил над ними бочки в надлежащем положении.

Кроме перечисленных выше приспособлений, я припрятал в своей мастерской аппарат Гримма, предназначенный для сжатия и сгущения атмосферного воздуха. Однако эта машина потребовала значительных изменений, иначе мне не удалось бы достичь необходимого результата.

Упорный труд и неутомимое стремление к цели позволили мне преодолеть все эти трудности. Вскоре мой шар был готов. Он вмещал около сорока тысяч кубических футов газа и легко мог поднять меня, необходимые припасы, приборы и инструменты, а также сто семьдесят пять фунтов балласта. Шар был покрыт тройным слоем лака, и я убедился, что обработанный таким образом муслин несколько не уступает шелку, так же прочен, но обходится гораздо дешевле.

Когда все было готово, я заставил жену поклясться, что она сохранит в тайне все, что я делал с тех пор, как посетил лавку букиниста. Затем, пообещав вернуться, как только позволят обстоятельства, я отдал ей все оставшиеся у меня деньги и простился с нею.

На этот счет мне нечего было беспокоиться. Моя жена, что называется, ушлая дама и сумеет прожить без моей помощи. Говоря откровенно, мне думается, что она всегда считала меня лентяем и дармоедом, способным лишь строить воздушные замки, и только рада была отделаться от меня. Итак, расставшись с ней в одну темную ночь, я пригласил с собой троицу своих кредиторов, доставивших мне столько неприятностей, и мы окольным путем повезли оболочку шара, корзину и необходимые принадлежности к месту, где уже были заготовлены остальные материалы.

Прибыв туда, я немедленно взялся за дело.

Было первое апреля. Ночь стояла темная, на небе ни звездочки; моросил мелкий дождь, и мы чувствовали себя весьма неудобно. Но больше всего меня беспокоил шар, который, хоть и был покрыт лаком, сильно отяжелел от сырости; да и порох мог подмокнуть. Я попросил моих кредиторов помочь мне, поручив им толочь лед для охлаждения большой бочки и помешивать кислоту в остальных. Между тем они смертельно надоедали мне вопросами — к чему все эти приготовления, и отлынивали от работы, которую я заставил их делать.

Какой прок, говорили они, из того, что они промокнули до костей, принимая участие в таком жутком колдовстве? Эти олухи, судя по всему, действительно вообразили, что я заключил договор с дьяволом. Я ужасно боялся, что они сбегут, и старался уговорить их, обещая расплатиться с долгами, как только мы доведем мое дело до конца. Они по-своему истолковали эти слова, решив, что я вот-вот получу от Сатаны изрядную сумму наличными; а до моей души им, конечно же, не было никакого дела — лишь бы я вернул долг да прибавил малую толику за просрочку.

Через четыре с половиной часа шар был наполнен. Я закрепил корзину и уложил в нее мой багаж: подзорную трубу, усовершенствованный высотомер, термометр, электрометр, компас, циркуль, секундомер, колокольчик, рупор и прочее. Туда же отправился закупоренный пробкой стеклянный шар, из которого был выкачан воздух, аппарат для сжатия воздуха, запас негашеной извести, кусок воска, запасы питьевой воды и провизии, главным образом пеммикана[34]. Я захватил с собой также пару голубей и кошку.

Рассвет был уже близок, и я решил, что пора. Уронив, как бы нечаянно, сигару, я под этим предлогом наклонился и поджег кончик фитиля, высывавшийся из-под одной из бочек меньшего размера. Этот маневр остался не замеченным моими кредиторами. Затем я вскочил в корзину, одним взмахом ножа перерезал веревку, удерживавшую шар на земле, и тут же с удовольствием обнаружил, что поднимаюсь с головокружительной скоростью, унося с собой вверх сто семьдесят пять фунтов балласта. В минуту взлета высотомер показывал тридцать дюймов, а термометр — 19° С.

Но едва я поднялся на высоту в полсотни ярдов, как вдогонку с ужаснейшим ревом и свистом взметнулся такой страшный вихрь огня, песка, обломков раскаленного металла и клочьев растерзанных тел, что сердце мое замерло и я рухнул на дно корзины, трепеща от страха. Мне стало ясно, что я переусердствовал и главные последствия толчка, полученного моим летательным аппаратом, еще впереди. И точно: не прошло и секунды, как грянул взрыв, которого я никогда не забуду! Казалось, обрушился весь небосвод.

Впоследствии, размышляя над этими событиями, я понял, что причиной столь могущественного воздействия взрыва оказалось положение моего шара как раз на линии, вдоль которой он был

направлен. Но в ту минуту я думал только об одном — о спасении собственной жизни. Мой шар сморщился, потом завертелся с ужасающей быстротой и, наконец, раскачиваясь из стороны в сторону, словно пьяный, вышвырнул меня из корзины. Я повис на страшной высоте вниз головой на тонкой веревке фута в три длиной, каким-то чудом захлестнувшейся вокруг моей левой ноги.

Совершенно невозможно изобразить ужас моего положения. Я задыхался, лихорадочная дрожь сотрясала каждый нерв, каждый мускул моего тела, я чувствовал, что мои глаза вылезают из орбит, отвратительная тошнота подступала к горлу, — и в конце концов я потерял сознание.

Долго ли я провисел в таком положении, не могу сказать. Прошло, должно быть, немало времени, ибо, когда я начал приходить в сознание, солнце уже взошло. Шар неся на чудовищной высоте над безбрежным океаном, и по всему широкому кругу горизонта не было видно никаких признаков земли. Я, однако, уже не испытывал отчаяния, наоборот — был почти совершенно спокоен. Было что-то безумное в том хладнокровии, с каким я принялся обдумывать свое положение. Я поднес к глазам одну руку, потом другую и слегка удивился, отчего это вены на них так набухли, а ногти так страшно посинели. Затем я тщательно исследовал свою голову, несколько раз потряхнул ею и с удовлетворением убедился, что она не больше воздушного шара, как мне почудилось сначала. Потом я ощупал карманы брюк и, не обнаружив в них записной книжки и футлярчика с зубочистками, долго пытался понять, куда они подевались.

Вдруг я почувствовал боль в левой лодыжке, и ко мне вернулось смутное понимание ситуации. Но, странное дело, даже это меня не ужаснуло. Напротив, я чувствовал какое-то острое удовольствие при мысли о том, как ловко выпутаюсь из, казалось бы, безнадёжного положения, и ни на секунду не сомневался в том, что не погибну. В течение нескольких минут я предавался сосредоточенному раздумью. Совершенно отчетливо помню, что я пожевывал губами, приставлял палец к носу и теребил подбородок, как это обычно делают люди, когда они, сидя в кресле у камина, размышляют над запутанными или крайне важными вопросами. Наконец, собравшись с мыслями, я медленно и осторожно завел руки за спину и снял с ремня, поддерживавшего мои брюки, большую железную пряжку. На ней

было три язычка, слегка заржавевших и потому с трудом поворачивавшихся вокруг своей оси.

Тем не менее мне удалось установить их под прямым углом к пряжке, и я убедился, что они прочно держатся в этом положении.

Затем, взяв в зубы пряжку, я попытался развязать свой галстук, что получилось не с первого раза, но в конце концов удалось мне. К одному концу галстука я прикрепил пряжку, а другой крепко обвязал вокруг запястья. После этого, приложив страшное усилие, я качнулся вперед и забросил галстук в корзину, где, как я и рассчитывал, пряжка застряла между прутьями.

Теперь мое тело по отношению к краю корзины образовало угол градусов в сорок пять. Но это вовсе не означало, что оно всего на 45° отклонялось от вертикали. Нет, я лежал почти горизонтально, так как, изменив собственное положение, вынудил корзину сильно наклониться, и мне по-прежнему угрожала опасность сорваться в бездну. Но если бы, выпав из корзины, я повис лицом в другую сторону и веревка, захлестнувшая мою ногу, проходила через край корзины, а не в отверстие на дне, мне не удалось бы добиться даже того, что я сделал теперь, и мои открытия были бы утрачены для потомства. Иными словами — я имел все основания благодарить судьбу.

Впрочем, в те минуты я все еще был слишком ошеломлен, чтобы испытывать какие-либо чувства. Почти четверть часа я провисел совершенно спокойно, ощущая какой-то радостный подъем духа. Но вскоре это настроение сменилось ужасом и отчаянием. Я осознал всю меру своей беспомощности и близости к гибели. Дело в том, что кровь, застоявшаяся в сосудах головы и доведшая мой мозг до грани бреда, мало-помалу отхлынула, рассудок мой прояснился, и я смог трезво оценить положение, в котором находился. К счастью, этот приступ слабости не был продолжительным. На помощь пришло отчаяние: с яростным криком, судорожно извиваясь и раскачиваясь, я заметался, как безумный, пока, наконец, уцепившись, точно клещами, за край корзины, не перевалился через него и, весь дрожа от напряжения, не рухнул на дно.

Лишь спустя долгое время я опомнился настолько, чтобы приняться за осмотр воздушного шара. К моей неопишуемой радости, он остался неповрежденным.

Все мои припасы уцелели: я не потерял ни запасов провизии, ни балласта. Правда, я уложил и закрепил их так тщательно, что это и не должно было произойти. Часы показывали шесть. Шар все еще продолжал подниматься; высотомер показывал три с половиной мили. Прямо подо мной на глади океана виднелся маленький темный предмет величиной с костяшку домино. Направив на него подзорную трубу, я убедился, что это стопушечный английский линейный корабль, он неторопливо шел курсом на восток-юго-восток. Кроме него, я видел только море, небо и солнце, которое уже заметно поднялось над горизонтом.

Теперь самое время объяснить вам, господа, какова же была цель моего путешествия.

Не откажите в любезности припомнить, что расстроенные житейские обстоятельства в конце концов заставили меня обратиться к мысли о самоубийстве. Это не значит, что жизнь как таковая мне опротивела, — нет, просто у меня больше не было сил мириться со своим бедственным положением. Вот в таком состоянии, желая жить и в то же время измученный жизнью, я случайно наткнулся на книгу, которая, наряду с открытием моего нантского родственника, дала толчок моему воображению. И я наконец-то нашел выход! Я решил исчезнуть с лица земли, оставшись тем не менее в живых; покинуть земной мир — но продолжать существовать. Иными словами, я решил во что бы то ни стало добраться до Луны.

А теперь, чтобы не показаться совершенно сумасшедшим, я попытаюсь изложить те соображения, в силу которых я пришел к выводу, что это предприятие — бесспорно, трудное и опасное — вовсе не безнадежно для человека отважного.

Прежде всего, конечно, возник вопрос о расстоянии от Земли до Луны.

Известно, что среднее расстояние между центрами этих двух небесных тел равно 59,9643 экваториальных радиусов земного шара, что составляет 237 тысяч миль. Я говорю о среднем расстоянии; но поскольку орбита Луны представляет собой эллипс, а Земля расположена в одном из его фокусов, то указанное расстояние — разумеется, если бы мне удалось встретить Луну в перигелии[35] — сократилось бы весьма значительно. Но даже отбросив эту возможность, следует вычесть из этого расстояния радиус Земли, то

есть 4 тысячи миль, и радиус Луны, то есть 1080 миль, и окажется, что средняя длина пути при самых обычных условиях составит 231 тысячу 920 миль.

Расстояние это не является непостижимо огромным. Путешествия по суше ныне сплошь и рядом совершаются со средней скоростью 60 миль в час, и, несомненно, есть возможность еще увеличить эту скорость. Но даже если ограничиться ею, на то, чтобы достичь Луны, потребуется всего 161 день.

Впрочем, некоторые соображения заставляли меня верить в то, что средняя скорость моего путешествия намного превзойдет 60 миль в час, и сейчас я изложу их подробнее.

В первую очередь, останавлиюсь на одном весьма важном моменте. Показания приборов при полетах на аэростатах свидетельствуют, что на высоте тысячи футов над поверхностью Земли мы оставляем внизу примерно тридцатую часть всей массы атмосферного воздуха, на высоте десяти тысяч футов — около трети, а на высоте восемнадцати тысяч футов, то есть на уровне вершины Котопахы[36], под нами останется половина массы атмосферы нашей планеты.

Вычислено также, что на высоте 80 миль (а это одна сотая земного диаметра) атмосфера разрежена до такой степени, что самые чувствительные приборы не способны обнаружить ее присутствия, и жизнь живых организмов становится невозможной. Но помимо того, мне было известно, что все эти расчеты основаны на экспериментальном изучении свойств воздуха в непосредственной близости к Земле, причем принято за аксиому и то, что свойства живого организма не могут меняться по мере удаления от земной поверхности. Между тем, выводы, основанные на таких постулатах, весьма сомнительны. Наибольшая высота, достигнутая аэронавтами Гей-Люссаком и Био, составляет 25 тысяч футов. Выше человек еще никогда не поднимался, но и эта цифра просто ничтожна в сравнении с восьмьюдесятью милями. Стало быть, рассуждал я, тут остается немало места для сомнений и полный простор для догадок.

Кроме того, масса атмосферного воздуха, которую шар оставляет под собой при подъеме, вовсе не находится в прямой пропорции по отношению к высоте, а постоянно убывает. Отсюда следует, что, на какую бы высоту мы ни поднялись, мы никогда не достигнем границы,

выше которой атмосферы вовсе не существует. Она просто обязана существовать, размышлял я, пусть даже и бесконечно разреженная!

С другой стороны, мне было известно, что есть достаточно оснований предполагать, что существует определенная граница, выше которой воздуха абсолютно нет. Но одно обстоятельство, которое сторонники этой точки зрения упустили из виду, заставило меня усомниться в ее справедливости и, во всяком случае, признать, что она нуждается в серьезной проверке.

Если сравнить интервалы между регулярными появлениями на небосводе кометы Энке, приняв в расчет возмущающее действие притяжения планет, то окажется, что эти интервалы постепенно уменьшаются. Это означает, что главная ось ее эллиптической орбиты становится все короче и короче. Так и должно быть, если предположить существование чрезвычайно разреженной среды, через которую проходит орбита кометы. Сопротивление подобной среды, замедляя движение кометы, несомненно, должно увеличивать ее центростремительную силу, уменьшая центробежную. Иными словами, действие солнечного притяжения постоянно усиливается и комета с каждым периодом обращения приближается к Солнцу. Другого объяснения этому изменению орбиты дать невозможно. Кроме того, астрономами было замечено, что поперечник кометы быстро уменьшается по мере приближения к Солнцу и столь же быстро обретает прежнюю величину при возвращении кометы в афелий[37]. Разве это кажущееся уменьшение объема кометы нельзя объяснить существованием эфирной среды, плотность которой увеличивается по мере приближения к Солнцу? Явление, известное под именем зодиакального света[38], также заслуживает внимания. Чаще всего оно наблюдается в тропиках — это светлые полосы, тянущиеся от горизонта наискось и вверх, по направлению к солнечному экватору. Полосы эти, несомненно, имеют связь не только с разреженной атмосферой, простирающейся от Солнца до орбиты Венеры, а, по моему мнению, и гораздо дальше. В любом случае, я не допускаю, чтобы эта среда ограничивалась орбитой кометы или пространством, непосредственно примыкающим к Солнцу. Гораздо легче предположить, что она заполняет всю Солнечную систему, сгущаясь вблизи планет и образуя то, что мы называем атмосферой, которая

впоследствии изменяется, смешиваясь с вулканическими газами и испарениями океанов.

Придя к такому выводу, я больше не стал колебаться.

Если повсюду на своем пути я найду атмосферу, в основном сходную с земной, я смогу с помощью остроумного аппарата Гримма сгустить ее в такой степени, чтобы иметь возможность дышать. Таким образом, самое серьезное препятствие для полета на Луну отпало. Я затратил немало труда и изрядное количество денег на приобретение и усовершенствование аппарата и уже не сомневался, что он успешно выполнит свое назначение, лишь бы мое путешествие не слишком затянулось.

И тут я возвращаюсь к вопросу о вероятной скорости такого путешествия.

Известно, что воздушные шары в первые минуты после взлета набирают высоту довольно медленно. Скорость их подъема зависит от разницы между плотностью атмосферного воздуха и газа, которым наполнен шар. Но если принять в расчет это обстоятельство, покажется совершенно невероятным, чтобы скорость подъема возрастала в верхних слоях атмосферы, плотность которых быстро уменьшается. С другой стороны, я не знаю ни одного отчета аэронавтов, в котором сообщалось бы об уменьшении скорости по мере возрастания высоты; а между тем, она должна бы уменьшаться — хотя бы вследствие просачивания газа через оболочку шара, не говоря о других причинах. Одна лишь потеря газа могла бы затормозить ускорение, возникающее по мере удаления шара от центра Земли.

Учитывая все это, я полагал, что если действительно обнаружу на своем пути среду, о которой я упоминал выше, и если эта среда будет представлять собой то, что мы называем атмосферным воздухом, то степень ее разреженности не отразится на скорости моего полета. По мере разрежения среды станет соответственно разрежаться и газ внутри шара (для предотвращения разрыва оболочки я могу даже выпускать его по мере надобности с помощью клапана). В то же время, оставаясь самим собой, газ в шаре всегда будет относительно легче, чем воздух или любая смесь азота с кислородом. Таким образом, я мог надеяться — больше того, я был почти уверен! — что ни в какой момент моего полета не окажусь в таком месте, где вес моего шара, заключенного в нем газа, корзины и ее содержимого превысят вес

вытесняемого ими воздуха. А ведь только это обстоятельство могло бы остановить подъем. Но даже достигнув такой точки, я могу выбросить около трехсот фунтов балласта и имущества, тем временем сила тяготения Земли будет непрерывно уменьшаться пропорционально квадрату расстояния, а скорость полета будет расти в огромной прогрессии, и в конце концов я попаду в область, где земное притяжение станет слабее притяжения Луны.

Только одно обстоятельство несколько смущало меня. Неоднократно отмечалось, что при подъеме воздушного шара на значительную высоту воздухоплаватель испытывает, помимо затруднений с дыханием, ряд болезненных ощущений, сопровождающихся кровотечениями из носа и другими тревожными симптомами, которые усиливаются по мере набора высоты.

Это обстоятельство наводило на неприятные размышления. Что, если эти болезненные явления будут все усиливаться и в конце концов приведут меня к смерти? Однако, поразмыслив, я решил, что этого вряд ли следует опасаться. Ведь причина таких явлений заключается в постепенном снижении атмосферного давления на поверхность тела, что приводит к расширению поверхностных кровеносных сосудов, а не в расстройстве организма, вызванном тем, что разреженного воздуха не хватает для нормального дыхания и обновления крови в легких и сердце. Словом, я рассудил, что, когда тело привыкнет к пониженному атмосферному давлению, болезненные ощущения постепенно сойдут на нет, а я уж как-нибудь их перетерплю, здоровье у меня отменное.

Таковы, господа, некоторые — но далеко не все — соображения, которые легли в основу моего плана путешествия на Луну. А теперь я вернусь к описанию результатов моей попытки — с виду совершенно безрассудной и, уж во всяком случае, единственной в истории человечества.

Достигнув высоты почти в четыре мили, я выбросил из корзины горсть перьев и убедился, что шар мой продолжает подниматься с достаточной скоростью и, следовательно, пока нет никакой необходимости выбрасывать балласт. Это меня обрадовало, так как я хотел сохранить как можно больше тяжестей, не зная наверняка, какова сила притяжения Луны и плотность лунной атмосферы. Пока я

не испытывал никаких болезненных ощущений, дышал вполне свободно и не чувствовал ни малейшей головной боли.

Кошка расположилась на пальто, которое я снял, и с деланным равнодушием поглядывала на голубей. Голуби, которых я привязал, чтобы они не улетели, деловито клевали рис, рассыпанный по дну корзины. В двадцать минут седьмого высотомер показал высоту в 26 тысяч 400 футов, то есть в пять с лишним миль. Простор, открывавшийся мне, казался безграничным. На самом деле с помощью сферической тригонометрии нетрудно вычислить, какую часть земной поверхности мог охватить мой глаз. Я проделал это и убедился, что передо мной — одна тысячестисотая часть Земли. Море внизу казалось гладким, как зеркало, хотя в подзорную трубу я видел, что волнение весьма сильное. Линейный корабль давно исчез за восточным горизонтом. Теперь я действительно временами испытывал жестокую головную боль, особенно ломило за ушами, хотя дышал я вполне свободно. Кошка и голуби чувствовали себя, по-видимому, превосходно.

Без двадцати семь мой шар попал в слой густой облачности, хлынул ливень, который причинил мне массу неприятностей, повредив сжимающий воздух аппарат и промолив меня самого до костей. Я был удивлен, так как не ожидал, что подобные облака могут встретиться на такой огромной высоте. Все же я решил выбросить пару пятифунтовых мешков с балластом, оставив в запасе сто шестьдесят пять фунтов. После этого я быстро выбрался из облаков и убедился, что скорость подъема значительно выросла. Спустя несколько секунд после того, как я оставил под собой слой облаков, молния прорезала его с одного конца до другого, и все они вспыхнули, точно груды тлеющего угля.

Напомню, что все это происходило при дневном свете. Никакая фантазия не в силах представить себе величие этого явления; случись ночью, оно было бы точным подобием ада. У меня волосы шевелились на голове, когда я всматривался в глубину этих пламенеющих бездн, и мое воображение блуждало среди огненных залов с причудливыми сводами, руин и пропастей, озаренных багровым потусторонним светом. Я счастливо избежал страшной опасности. Если бы мой шар помедлил еще немного в облаках и сырость не заставила бы меня выбросить два мешка с балластом, следствием этого могла стать — и наверняка стала бы — моя гибель.

Такие случайности для аэронавта опаснее всего, хотя их обычно даже не принимают в расчет.

Тем временем я оказался уже на такой высоте, чтобы считать себя застрахованным от дальнейших подобных приключений. Я продолжал быстро подниматься, и к семи часам высотомер показал высоту в девять с половиной миль. Становилось трудно дышать, голова просто разрывалась, я провел рукой по щеке — и убедился, что из ушей у меня течет кровь. Глаза тоже болели, словно собираясь выскочить из орбит; все предметы в корзине и даже шар приняли уродливые, искаженные очертания. Эти болезненные явления оказались сильнее, чем я ожидал, и не на шутку меня встревожили.

Расстроенный, не вполне отдавая себе отчет в том, что делаю, я совершил в высшей степени неблагоразумный поступок: выбросил из корзины еще три пятифунтовых мешка с балластом. Шар буквально прыгнул вверх и мгновенно унес меня в столь разреженный слой атмосферы, что результат этого прыжка едва не оказался роковым для меня и всего моего предприятия. На меня обрушился приступ удушья, продолжавшийся не менее пяти минут; но даже когда он прекратился, я все еще не мог вздохнуть как следует.

Кровь струилась у меня из носа, из ушей и даже из уголков глаз. Голуби отчаянно бились, стараясь вырваться; кошка жалобно мяукала и, высунув язык, металась взад-вперед, словно отравленная. Поняв свою ошибку, я пришел в отчаяние. Оставалось ждать неминуемой и скорой смерти.

Физические страдания почти лишили меня способности действовать. Я был не в силах предпринять что-либо для спасения, мозг отказывался работать, а головная боль усиливалась с каждой минутой. Чувствуя близость беспамятства, я хотел было потянуть за веревку, соединенную с клапаном шара, чтобы спуститься на землю, — но вдруг вспомнил о том, что я проделал со своими кредиторами, и последствиях, ожидающих меня в случае возвращения. Это воспоминание удержало меня. Я лег на дно корзины и попытался собраться с мыслями, а когда это мне удалось, я решил пустить себе кровь. За неимением ланцета я произвел эту операцию, открыв вену на левой руке с помощью лезвия перочинного ножа. Как только показалась кровь, я почувствовал облегчение, а когда вытекло с полчашки, самые скверные из болезненных симптомов окончательно

исчезли. Однако я не решился сразу встать и, кое-как наложив повязку на руку, пролежал еще с четверть часа.

Когда же я наконец поднялся, оказалось, что все болезненные ощущения, терзавшие меня в течение целого часа, исчезли. Только дыхание было по-прежнему затрудненным, и я понял, что вскоре придется прибегнуть к аппарату Гримма. Случайно взглянув на кошку, которая снова улеглась на пальто, я с удивлением обнаружил, что во время моего припадка она разрешилась тремя котятками! Такого прибавления пассажиров я вовсе не ожидал, но был им очень доволен: у меня появилась возможность проверить одну гипотезу. Я объяснял болезненные явления, испытываемые аэронавтами на большой высоте, привычкой к постоянному давлению атмосферы у земной поверхности. Если котята будут страдать в такой же степени, как их мать, то моя теория ошибочна, если же нет — это будет важным аргументом в ее пользу.

К восьми часам я достиг высоты в семнадцать миль над поверхностью Земли.

Скорость подъема возрастала, и если бы я даже не выбросил балласт, то заметил бы это ускорение. Жестокая головная боль временами возвращалась, иногда из носа шла кровь, но в целом страдания мои оказались гораздо более терпимыми, чем я ожидал. Только дышать становилось все труднее, и каждый вздох сопровождался мучительными спазмами в груди. Я распаковал аппарат для сжатия воздуха и принялся его налаживать.

С этой высоты открывался великолепный вид на Землю. На западе, севере и юге, насколько мог охватить глаз, расстилалась бесконечная гладь океана, приобретающая с каждой минутой все более глубокий оттенок голубизны. Вдали, на востоке, вырисовывались очертания Британских островов, все атлантическое побережье Франции и Испании, а также северная окраина Африканского материка. Подробности, разумеется, тонули в синей дымке, и самые многолюдные города словно исчезли с лица земли.

Больше всего меня удивило то, что с такой высоты поверхность планеты казалась вогнутой. Я-то ожидал, что она, наоборот, по мере подъема будет выглядеть все более выпуклой; но, подумав немного, сообразил, что это не так. Ведь горизонт для аэронавта всегда остается на одном уровне с корзиной, а точка, находящаяся на земной

поверхности, кажется отстоящей и действительно отстоит на огромное расстояние, при этом выглядит лежащей ниже горизонта. Отсюда и возникает впечатление огромной чаши, над которой парит аэронавт.

Так как привязанные голуби все это время жестоко страдали, я решил выпустить их.

Сначала я отвязал одного — серого крапчатого красавца — и посадил на обруч сетки. Он очень встревожился, растерянно озираясь, хлопал крыльями, ворковал, но не решался покинуть корзину. Тогда я взял его и отбросил ярдов на пять-шесть от шара. Однако он не устремился вниз, как я ожидал, а бросился обратно к шару, издавая резкие, пронзительные звуки.

Наконец ему удалось вернуться на старое место, но, едва усевшись на обруч, он уронил головку на грудь и бездыханным упал на дно корзины.

Другой оказался удачливее. Чтобы избежать его возвращения, я изо всех сил швырнул его вниз и с радостью увидел, что он продолжает спускаться, быстро, легко и свободно взмахивая крыльями. Вскоре голубь исчез из вида и, не сомневаюсь, благополучно добрался домой. Кошка, по-видимому, совершенно оправившаяся, с аппетитом съела мертвого голубя и улеглась спать. Котята были живы и не обнаруживали никаких признаков недомоганий.

В четверть девятого, испытывая невыносимые страдания при каждом вздохе, я стал устанавливать на краю корзины устройство, являвшееся частью аппарата Гримма. Однако и сам этот аппарат требует более подробного описания. Моей целью в те минуты было оградить себя и всю корзину своего рода «барьером» от разреженного воздуха, который теперь окружал меня, и получить необходимый для дыхания сгущенный и сжатый воздух. С этой целью я загодя изготовил плотную, воздухонепроницаемую, но достаточно эластичную камеру из тонкого каучука, имевшую вид огромного мешка. Этот мешок охватывал дно и края корзины вплоть до верхнего обруча, к которому была прикреплена сетка. Оставалось только стянуть края над обручем, но для этого надо было каким-то образом просунуть их между обручем и сеткой. Но если отвязать сетку от обруча, на чем же тогда будет держаться корзина? Я разрешил эту проблему следующим образом: сетка не была наглухо соединена с обручем, а крепилась с помощью петель. Я снял несколько петель, предоставив корзине держаться на

оставшихся, просунул край мешка над обручем и снова пристегнул петли, но теперь уже не к обручу, а к пуговицам на горловине мешка, пришитым фута на три ниже края. Затем я отстегнул еще несколько петель, просунул следующую часть мешка и снова пристегнул петли к пуговицам.

Так мне постепенно удалось пропустить весь верхний край мешка между обручем и сеткой. В результате обруч опустился в корзину, а та со всем своим содержимым теперь держалась только на пуговицах. На первый взгляд это выглядело опасным — но лишь на первый взгляд: пуговицы были не только прочны сами по себе, но и сидели так тесно, что на каждую приходилась лишь малая доля общей тяжести. Даже если бы корзина с ее содержимым была втрое тяжелее, меня это ничуть бы не беспокоило. Затем я снова приподнял обруч и прикрепил его почти что на прежней высоте с помощью трех заранее приготовленных стоек. Это было необходимо, чтобы мешок оставался растянутым, а нижняя часть сетки не изменяла своего положения. Теперь оставалось только закупорить мешок, что я и сделал без всякого труда, собрав складками его верхний край и туго стянув горловину.

В боковых стенках мешка имелись три иллюминатора с толстыми стеклами, через которые я мог обозревать окрестности по горизонтали. Еще один иллюминатор находился внизу — в точности напротив небольшого отверстия в дне корзины: он позволял мне бросить взгляд вниз. Под одним из боковых иллюминаторов, на расстоянии около фута, имелось отверстие диаметром в три дюйма, в которое было вставлено медное кольцо с клапаном и резьбой на внутренней поверхности. В это кольцо ввинчивалась трубка от аппарата Гримма, размещенного внутри каучуковой камеры. Через трубку втягивался разреженный воздух, сжимался и подавался в камеру. Повторив эту операцию несколько раз, можно было заполнить мешок воздухом обычной плотности. Но в таком маленьком объеме воздух, разумеется, быстро становился непригодным для дыхания, и тогда от него можно было избавиться с помощью небольшого клапана в днище мешка: будучи более тяжелым, насыщенный углекислотой воздух быстро опускался вниз и рассеивался в окружающей атмосфере.

Из опасения слишком снизить давление воздуха при выпускании, замену его следовало производить постепенно. Клапан открывался на

две-три секунды, потом закрывался, и так несколько раз подряд, пока аппарат не заменял вытесненный воздух чистым и свежим.

Еще до того, как затянуть горловину мешка, я поставил эксперимент — посадил кошку и ее выводок в корзинку, которую подвесил снаружи к петле, располагавшейся вблизи клапана; открывая клапан, я заодно мог кормить животных. Между прочим, как только камера наполнилась воздухом под нормальным давлением, стойки и обруч оказались ненужными — внутренняя атмосфера сама держала каучуковый мешок в растянутом состоянии.

Пока я отладил все эти приборы и наполнил камеру воздухом, было уже без десяти девять. Все это время я жестоко страдал от недостатка воздуха и упрекал себя за безрассудство, из-за которого до последней минуты откладывал столь важное дело. Но когда все было готово, я моментально почувствовал себя совсем иначе. Я снова дышал легко и свободно, а жестокие страдания, терзавшие меня до сих пор, почти совершенно исчезли. Осталось только ощущение ломоты в запястьях и лодыжках и некая вздутость в гортани. Очевидно, ощущения, вызванные недостаточным атмосферным давлением, давно прекратились, а болезненное состояние, которое я испытывал в течение последних двух часов, возникало только вследствие затрудненного дыхания.

Без двадцати девять, то есть незадолго до того, как я затянул горловину мешка, ртуть в высотомере опустилась до самого нижнего уровня. Я находился на высоте 132 тысяч футов, то есть двадцати пяти миль, и, следовательно, мог обозревать не менее одной триста двадцатой всей земной поверхности. В девять часов я потерял из виду сушу на востоке, заметив при этом, что мой шар быстро движется курсом на норд-норд-вест.

Расстилавшийся подо мной океан все еще казался вогнутым; впрочем, его все чаще скрывали поля облаков.

В половине десятого я снова выбросил из корзины пригоршню перьев. Они не полетели вниз плавно, как я ожидал, а исчезли, словно пуля, с невероятной быстротой. Буквально через секунду я потерял их из виду. Сначала я не мог объяснить это явление — мне казалось маловероятным, чтобы скорость подъема так стремительно возросла. Но затем я сообразил, что разреженная атмосфера уже не могла поддерживать перья, — они падали, как тяжелое твердое тело; и

поразившее меня явление было связано с суммой скоростей падения перьев и подъема шара.

Часам к десяти я позволил себе передохнуть. Все шло своим чередом: скорость подъема, как мне казалось, постоянно возрастала, хотя я затруднялся определить степень этого возрастания. Я больше не испытывал никаких неприятных ощущений, а состояние моего духа было бодрее, чем когда-либо после моего отлета с окраины Роттердама. Я коротал время, наводя порядок в корзине и обновляя воздух в камере. Я решил повторять эту процедуру через каждые сорок минут — хотя настоящей необходимости в этом не было.

В то же время я невольно уносился мыслями в будущее. Мое воображение блуждало в каких-то сказочных областях Луны, фантазия рисовала мне обманчивые картины невиданных чудес этого призрачного мира. Мне мерещились то дремучие леса, то крутые утесы и шумные водопады, низвергавшиеся в бездонные пропасти. Затем я переносился в степные просторы, залитые полуденным солнцем, где воздух точно остекленел, и повсюду, насколько хватает глаз, расстилаются луга, поросшие маками и полевыми лилиями. То вдруг передо мной возникало озеро — темное, неясное, сливающееся у горизонта с грядками облаков.

Но не только эти мирные картины рисовал я себе в воображении. Мне виделись чудовища, одно ужаснее и причудливее другого, и сама мысль о возможности их существования пугала меня до глубины души. Впрочем, я старался не думать о таких вещах, справедливо полагая, что подлинные опасности моей небывалой экспедиции сейчас гораздо важнее.

В пять часов пополудни, обновляя воздух в камере, я заглянул в корзину с кошками. Мать, по-видимому, чувствовала себя скверно из-за затрудненного дыхания; но котята меня поразили. Я ожидал, что и им придется туго, хоть и в меньшей степени, чем кошке, что подтвердило бы мою теорию. Оказалось, однако, что они совершенно здоровы, дышат легко и свободно и не обнаруживают ни малейших признаков недомоганий. Я могу объяснить это явление, только расширив мою теорию и предположив, что крайне разреженная атмосфера не представляет никаких препятствий для жизни и существо, родившееся в такой среде, будет дышать в ней без всякого

труда. Только попав в более плотные слои по соседству с Землей, оно испытает те же мучения, которым я подвергался недавно.

Однако вследствие несчастной случайности я не смог продолжать свои эксперименты. Просунув плоску с водой для взрослой кошки в отверстие клапана, я зацепился рукавом за петлю шнура, на котором висела корзинка, и сдернул ее с пуговицы. Если бы корзинка с животными по какой-то причине мгновенно испарилась, она не могла бы исчезнуть быстрее, чем это произошло в ту минуту. За десятую долю секунды она уже пропала из моего поля зрения. Я со вздохом пожелал кошачьему семейству счастливого пути, но, разумеется, безо всякой надежды на то, что они останутся в живых.

К шести часам восточный край видимой поверхности Земли покрылся густой тенью, которая продолжала быстро надвигаться. А без пяти семь вся Земля подо мной погрузилась в ночную тьму. Но еще долго после этого лучи заходящего солнца освещали мой шар; и это обстоятельство, которое, конечно, я предвидел, доставляло мне особую радость. Значит, утром я увижу восходящее светило гораздо раньше, чем добрые граждане Роттердама, и, по мере набора высоты, буду пользоваться все более и более продолжительным днем. Тогда же я решил вести журнал моего путешествия, делая записи через каждые двадцать четыре часа.

В десять меня стало клонить ко сну, и я решил было улечься, но меня остановило одно обстоятельство, которое я совершенно упустил из виду, хотя обязан был предвидеть заранее. Если я усну, кто будет обновлять воздух в каучуковом мешке? Имеющегося в нем запаса хватает самое большее на час; и если пропустить этот срок, уже через четверть часа начнется отравление организма.

Эта проблема заставила меня тяжело задуматься, но, хотите верьте, хотите нет, преодолев столько опасностей, я готов был впасть в отчаяние и уже начал подумывать о спуске.

Впрочем, то была лишь минутная слабость. Я рассудил следующим образом: человек — верный раб привычек, и многие мелочи повседневной жизни только кажутся ему важными и существенными, а на самом деле они стали такими только в результате привычки. Конечно, я не мог обойтись без сна, но что мне мешает приучить себя просыпаться через каждый час в течение всей ночи? Для полного

обновления воздуха достаточно пяти минут. Надо только найти способ будить себя в надлежащее время.

Честно говоря, я долго ломал голову над разрешением этого вопроса. Я слышал, что студенты пользуются таким приемом: взяв в руку свинцовую пулю, держат ее над медным тазиком для бритья; и если случится задремать над книгой, пуля падает, а звон таза будит несчастного школяра. Подобный способ для меня совершенно не годился, так как я не был намерен бодрствовать все время, а хотел просыпаться через определенные промежутки времени. В конце концов я изобрел приспособление, которое, при всей своей простоте, показалось мне в первую минуту не менее блестящим открытием, чем изобретение телескопа, паровой машины или даже книгопечатания.

Должен заметить, что на той высоте, которой я достиг к этому моменту, шар продолжал подниматься совершенно равномерно, так что корзина не испытывала ни толчков, ни тряски. Это обстоятельство было как нельзя кстати для работы моего приспособления. Мой запас воды находился в небольших бочонках емкостью в пять галлонов каждый, все они были выстроены вдоль бортов корзины и крепко привязаны. Я отвязал один бочонок и, отрезав два куска веревки, натянул их поперек корзины на расстоянии фута — так, что они образовали нечто вроде полки. На эту «полку» я взгромоздил бочонок, уложив его горизонтально. Под бочонком, на расстоянии восьми дюймов от веревок и четырех футов от дна корзины, я прикрепил другую полку, используя для этого единственную имевшуюся у меня тонкую дощечку. На дощечку я поставил небольшой глиняный кувшинчик, а затем просверлил буравом отверстие в стенке бочонка над кувшином и заткнул его втулкой из мягкого дерева. Задвигая и выдвигая втулку, я наконец отрегулировал ее так, чтобы вода, просачиваясь через неплотно закрытое отверстие, наполняла кувшинчик до краев за шестьдесят минут. Рассчитать это оказалось нетрудно — достаточно было проследить, какая часть кувшина наполняется за определенный промежуток времени. Остальное — очевидно. Я устроил постель на дне корзины так, чтобы моя голова приходилась точно под носиком кувшина. По истечении часа вода, наполнив кувшин, начинала выливаться из носика, находившегося несколько ниже краев сосуда. Струйка холодной воды, падающая с

высоты в четыре фута, неизбежно разбудила бы меня, даже если б я спал мертвым сном.

Было уже около одиннадцати часов, когда я закончил возню с этим «будильником». После этого я немедленно улегся спать, положившись на свое изобретение, — и оно меня не разочаровало. Теперь через каждые шестьдесят минут я поднимался, разбуженный этим хронометром, выливал воду из кувшина обратно в бочонок и, обновив воздух внутри мешка, снова укладывался спать. Регулярные пробуждения беспокоили меня даже меньше, чем я ожидал. Когда я проснулся утром, было уже семь часов и солнце поднялось на несколько градусов над линией горизонта.

3 апреля. Я убедился, что мой шар находится на огромной высоте — уже стала заметна выпуклость земного шара. В океане прямо подо мной виднелось скопление каких-то темных пятен — это были, без сомнения, острова. Небо над головой казалось агатово-черным, звезды ярко сверкали; они стали видны днем уже в первый день моего полета. Далеко на севере я заметил тонкую белую линию, сильно отражающую свет, и без колебаний признал в ней южную границу полярных льдов. Мое любопытство разгорелось — что будет, если я и дальше буду смещаться к северу? Может быть, я окажусь над самым полюсом и первым из людей увижу его? Я пожалел, что огромная высота, на которой я находился, не позволит мне осмотреть его детально, но в любом случае мое первенство оспорить никто не сможет.

В течение дня не случилось ничего примечательного. Все мои приборы действовали исправно, шар поднимался без толчков и задержек. Сильный холод вынудил меня постоянно кутаться в пальто. Когда Земля снова погрузилась в ночной мрак, я улегся спать, хотя даже несколько часов спустя в иллюминаторы моего шара заглядывало солнце. «Будильник» работал исправно, и я спокойно спал до утра, пробуждаясь лишь для того, чтобы обновить воздух.

4 апреля. Встал, чувствуя себя здоровым и бодрым, и тут же был поражен тем, как странно изменился облик океана. Он утратил темно-голубую окраску и теперь казался серовато-белым и при этом ослепительно блестел. Выпуклость океана была видна так отчетливо, что исполинская масса воды, находящаяся подо мною, казалось, низвергается в бездну по краям горизонта. Я даже невольно прислушался, пытаюсь различить гром этих могучих водопадов. Островов больше не было видно — то ли они исчезли за горизонтом где-то на юго-востоке, то ли высота уже лишила меня возможности разглядеть эти клочки суши. Последнее предположение представлялось мне более вероятным. Полоса льдов на севере проступала все отчетливее, но холод не усиливался. Ничего чрезвычайного не случилось, и я провел день за книгами, которые захватил с собой.

5 апреля. Отмечаю любопытный феномен. Солнце уже взошло, однако вся видимая поверхность Земли все еще была погружена в темноту. Но мало-помалу она осветилась, и на севере снова показалась

полоса льдов. Теперь она проступала очень ясно и казалась гораздо темнее, чем воды океана. Я, очевидно, приближаюсь к ней, и довольно быстро. Мне кажется, что я различаю землю на востоке и на западе, но я в этом не уверен. Температура умеренная. В течение дня ничего из ряда вон выходящего. Рано улегся спать.

6 апреля. Был весьма удивлен, обнаружив границу полярных льдов совсем близко, а также огромное ледяное поле, простирающееся далеко на север. Если шар сохранит тот же курс, то вскоре я окажусь над Северным Ледовитым океаном и, несомненно, смогу увидеть полюс. В течение дня я продолжал приближаться ко льдам. К ночи пределы видимости неожиданно и значительно расширились, очевидно, потому, что Земля имеет форму сплюснутого сфероида, и теперь я находился над плоскими областями вблизи Полярного круга. Когда наступила ночь, я лег спать, охваченный тревогой, ибо побаивался, что объект моего жгучего любопытства, скрытый ночной темнотой, ускользнет и я не смогу его наблюдать.

7 апреля. Встал очень рано и, к величайшей радости, действительно увидел Северный полюс! У меня не было никаких сомнений, что это именно он, но, увы! — я уже поднялся на такую высоту, что ничего не мог рассмотреть в деталях. И в самом деле: если составить пропорцию на основании показаний высотомера в различные моменты между шестью и восемью часами сорока минутами утра 2 апреля, когда этот прибор перестал действовать, то сейчас, в четыре часа утра 7 апреля, мой шар должен находиться на высоте не менее 7254 миль над поверхностью океана. И хотя эта цифра может показаться невероятно большой, она, по всей вероятности, гораздо меньше действительной.

Во всяком случае, в эти минуты все Северное полушарие Земли лежало подо мной, подобно карте, и линия экватора образовывала линию моего горизонта. Вы, господа, без труда поймете, что лежавшие подо мною неизведанные полярные области располагались на таком громадном расстоянии, что рассмотреть их подробно не было никакой возможности, но все же мне удалось увидеть кое-что примечательное.

К северу от Полярного круга, который можно считать крайней границей географических открытий в этих областях, расстиралось сплошное, или почти сплошное, ледовое поле. Поверхность его, вначале плоская, мало-помалу понижалась, приобретая заметно

вогнутую форму, а у самого полюса виднелась круглая, резко очерченная и очень глубокая впадина. Она казалась гораздо темнее всего остального полушария и в глубине имела непроницаемо-черный цвет. Больше ничего мне не удалось рассмотреть. К двенадцати часам эта впадина значительно уменьшилась, а в семь пополудни я окончательно потерял ее из виду: шар миновал западную границу льдов и теперь несясь по направлению к экватору, одновременно набирая высоту.

8 апреля. Видимый диаметр Земли заметно уменьшился, а ее окраска совершенно изменилась. Вся ее поверхность, доступная наблюдению, приобрела бледно-желтый цвет различных оттенков, местами она блестела так, что глазам было больно. Вдобавок, моим наблюдениям сильно мешала насыщенная испарениями плотная земная атмосфера; я лишь изредка видел земную поверхность в просветах между облаками. В последние двое суток эта помеха давала себя знать все сильнее, а при той высоте, которой теперь достиг мой шар, слои облаков сблизилась, заполнив почти все поле зрения, и наблюдать становилось все труднее. Тем не менее, я определил, что шар сейчас находится над областью Великих озер в Северной Америке и продолжает смещаться к югу. Следовательно, я скоро достигну тропиков.

Это обстоятельство весьма обрадовало меня, так как обещало успех экспедиции. В самом деле: направление, в котором я мчался до сих пор, очень беспокоило меня, так как, продолжая двигаться тем же курсом, я бы никак не смог попасть на Луну, орбита которой наклонена к плоскости эклиптики[39] под углом в $5,1^\circ$. Странно, что я так поздно осознал свою ошибку: мне следовало бы начать свое путешествие из какого-нибудь пункта, лежащего в плоскости лунной орбиты.

9 апреля. Сегодня диаметр Земли значительно уменьшился, а ее окраска приобрела более яркий желтый оттенок. Мой шар держит курс на юг; в девять утра он достиг северных берегов Мексиканского залива.

10 апреля. Около пяти часов утра меня разбудил оглушительный треск, который я, как ни пытался, так и не смог объяснить. Он продолжался всего несколько мгновений и не походил ни на один из слышанных мною ранее звуков. Нечего и говорить, что я отчаянно перепугался: в первую минуту мне почудилось, что мой шар лопнул. Я

осмотрел приборы, однако все они оказались в порядке. Большую часть дня я провел в размышлениях о причине этого странного треска, но не пришел ни к каким выводам. Лег спать крайне обеспокоенный.

11 апреля. Диаметр Земли поразительно уменьшился, и я впервые заметил значительное увеличение видимого диска Луны. Теперь мне приходится затрачивать гораздо больше усилий и времени, чтобы получить достаточно воздуха для дыхания.

12 апреля. Внезапно и странно изменилось направление движения шара; хоть я и предвидел это заранее, но все-таки неописуемо обрадовался. Достигнув двадцатой параллели Южного полушария, шар внезапно повернул под острым углом на восток и весь день летел в этом направлении, оставаясь в плоскости лунной орбиты.

Должен отметить, что следствием этой перемены стало довольно ощутимое колебание корзины, продолжавшееся в течение нескольких часов.

13 апреля. Снова тот же громкий треск, который так напугал меня 10 апреля. Долго размышлял об этом явлении, но по-прежнему не понимал, в чем тут дело. Значительно уменьшился диаметр Земли: теперь его угловая величина составляла лишь немногим больше двадцати пяти градусов. Луна находилась почти у меня над головой, так что я не мог ее видеть. Шар по-прежнему оставался в плоскости ее орбиты, несколько смещаясь на восток.

14 апреля. Стремительное уменьшение диаметра Земли. Шар, по-видимому, поднялся над линией апсид[40] по направлению к перигею[41] — то есть, иными словами, стремился прямо к Луне. Сама Луна находилась у меня над головой и была недоступна для наблюдения. Обновление воздуха в камере потребовало необычайно больших усилий.

15 апреля. На Земле невозможно рассмотреть даже самые общие очертания материков и океанов. Около полудня снова послышался загадочный треск, столь напугавший меня раньше. На этот раз он продолжался несколько секунд, постепенно усиливаясь. Оцепенев от ужаса, я ждал какой-то страшной катастрофы, но корзину только сильно встряхнуло, и мимо моего шара с ревом, свистом и грохотом пронеслась громадная огненная масса. Оправившись от ужаса и изумления, я сообразил, что это, должно быть, вулканический обломок, выброшенный с небесного тела, к которому я так

стремительно приближался. По всей вероятности, это один из тех странных камней, которые иногда выпадают на Землю и называются метеорами.

16 апреля. Заглянув в боковые иллюминаторы, я с удовлетворением обнаружил, что лунный диск превысил в размерах мой шар. Я был очень взволнован: скоро конец моему опасному путешествию! Я жду этого с нетерпением, так как сжатие воздуха для дыхания теперь занимает все мое время и поспать мне почти не удастся.

Я страшно устал и совсем обессилел. Человеческий организм не способен долго выдерживать такие нагрузки. Во время короткой ночи мимо опять пронесся метеор. Они появляются все чаще, и это не на шутку пугает меня.

17 апреля. Сегодня — особенный день моего путешествия. Если вы помните, 13 апреля угловая величина Земли достигала 25° , 14 апреля она существенно уменьшилась, а 16 апреля, ложась спать, я отметил угол в $7^\circ 15'$.

Каково же было мое удивление, когда утром 17 апреля, очнувшись после короткого и тревожного сна, я увидел, что поверхность, находящаяся подо мной, вопреки всяким ожиданиям увеличилась и достигла 39° в угловом измерении! Меня словно обухом по голове хватили. Ужас и изумление, которые не передашь словами, ошеломили и буквально раздавили меня. Колени мои задрожали, зубы начали выбивать дробь, волосы зашевелились. «Значит, шар лопнул! — мелькнуло у меня в голове. — Да, он, несомненно, лопнул! Я падаю, и падаю с невероятной, невиданной скоростью! Судя по тому громадному расстоянию, которое я уже преодолел, не пройдет и десяти минут, как я врежусь в поверхность Земли и разобьюсь в лепешку».

Тут ко мне вернулась способность мыслить; я опомнился, поразмыслил и начал сомневаться. Нет, это совершенно невероятно. Я не мог так быстро преодолеть столь громадное расстояние. Я действительно приближался к расстилавшейся внизу поверхности, но далеко не так быстро, как почудилось мне сначала.

Эти размышления несколько успокоили меня, и я наконец-то понял, в чем дело. Если бы страх и растерянность не лишили меня способности соображать, я бы уже с первого взгляда заметил, что поверхность, находившаяся подо мной, ни в чем не похожа на поверхность Земли. Именно Земля теперь находилась вверху, скрытая

шаром, а внизу, под дном корзины, расстилалась Луна во всем ее великолепии!

Сейчас я уже не понимаю, почему случившееся вызвало у меня такую панику. Ведь этот переворот, это «сальто-мортале» было не только совершенно естественным и необходимым, но я заранее знал, что оно неизбежно произойдет, когда шар достигнет той точки, где земное притяжение уступит притяжению Луны, — или, вернее, притяжение шара к Земле окажется слабее его притяжения к Луне. Оправдать меня может только то, что я едва проснулся и еще не успел прийти в себя, когда неожиданно обнаружил нечто поразительное. Очевидно, этот поворот шара на 180° произошел так спокойно и плавно, что если бы я даже в это время проснулся, то вряд ли сумел бы его заметить.

Стоит ли говорить, что, опомнившись и ясно сообразив, в чем дело, я с жадностью припал к иллюминаторам и принялся рассматривать поверхность Луны. Она расстилалась подо мной, точно карта, и, хотя находилась еще очень далеко, все ее очертания проступали совершенно ясно. Первое же, что бросилось мне в глаза: полное отсутствие океанов, морей, а равно озер и рек — словом, каких бы то ни было водоемов.

При этом, как ни странно, я различал обширные равнины явно наносного характера, хотя бóльшая часть их поверхности была усеяна бесчисленными вулканическими конусами, которые имели такую правильную форму, что казались скорее рукотворными, чем естественными возвышениями. Самый большой из этих конусов возвышался более чем на три мили над равниной. Впрочем, карта лунной области, носящей название «Флегрейские поля», даст вам, господа, более полное представление об этом ландшафте, чем какое-либо описание. Бóльшая часть вулканов оказалась действующей, и я мог судить о бешеной силе их извержений по обилию принятых мной за метеоры камней, все чаще с грохотом пролетающих мимо шара.

18 апреля. Размеры Луны стремительно увеличивались, и слишком большая скорость спуска начинала меня тревожить. Я уже говорил, что предположение о наличии у Луны атмосферы, плотность которой соответствует массе нашего спутника, сыграло важную роль в планах моей экспедиции. И это несмотря на массу противоположных теорий и широко распространенное убеждение, что у Луны вообще нет никакой

атмосферы. Но, независимо от приведенных выше соображений относительно кометы Энке и зодиакального света, мое мнение в значительной мере опиралось на наблюдения известного астронома — господина Шретера из Лилиенталя. Он наблюдал Луну на третий день после новолуния, вскоре после заката, когда темная часть диска была еще невидима, и продолжал следить за ней до тех пор, пока она не стала видимой. Оба рога молодой Луны казались удлинёнными, и их тонкие бледные кончики были слабо освещены лучами заходящего Солнца. Вскоре после наступления ночи темный диск осветился. Я объясняю это удлинение рогов преломлением солнечных лучей в лунной атмосфере. Высоту этой атмосферы я принимал в 1356 футов; следовательно, максимальную высоту преломления солнечного луча — в 5376 футов. Подтверждение моих взглядов я нашел в восемьдесят втором томе «Философских трудов», где речь идет об оккультации[42] спутников Юпитера, причем третий спутник становился неясным за одну или две секунды до исчезновения, а четвертый исчезал на некотором расстоянии от диска планеты.

От степени сопротивления или, вернее сказать, поддержки, которую эта предполагаемая атмосфера могла оказать шару, всецело зависел и благополучный исход моего путешествия. Если же я ошибся, то мог ожидать только конца моих приключений: мне предстояло разлететься в пыль, ударившись о скалистую поверхность Луны. Судя по всему, я имел все основания опасаться такого конца. Расстояние до Луны было уже совсем небольшим, а обновление воздуха в камере требовало поистине адского труда, и я не замечал ни малейших признаков увеличения плотности атмосферы.

19 апреля. Сегодня утром, около девяти часов, когда поверхность Луны угрожающе приблизилась, а мои опасения достигли крайних пределов, насос прибора Гримма, к моему огромному облегчению, продемонстрировал явное изменение плотности воздуха.

К десяти часам она уже значительно возросла. В одиннадцать аппарат требовал лишь едва заметных усилий, а в двенадцать я решился — правда, несколько поколебавшись — развязать горловину каучукового мешка, в котором находилась корзина и я вместе с ней. Убедившись, что особой опасности нет, я проделал необходимые манипуляции и отогнул края мешка. Как и следовало ожидать, первыми результатами этого слишком поспешного и рискованного

опыта оказались жесточайшая головная боль и удушье. Но, поскольку это не представляло угрозы для моей жизни, я решил терпеть в надежде на быстрое облегчение при погружении в более плотные слои атмосферы. Спуск, однако, происходил невероятно быстро, и хотя мои предположения о существовании лунной атмосферы с плотностью, соответствующей массе спутника, по-видимому, оправдывались, я ошибся, полагая, что она способна поддерживать мой шар и корзину со всем грузом. Но почему, ведь масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, а следовательно, и вес всех предметов здесь в шесть раз меньше?

Единственное объяснение я вижу в тех геологических катаклизмах, о которых речь шла выше. Во всяком случае, я находился теперь совсем рядом с Луной и устремлялся к ней со страшной скоростью. Поэтому, не теряя ни минуты, я выбросил за борт балласт, бочонки с водой, прибор Гримма, каучуковую камеру и, наконец, все, что только нашлось в корзине. Но это не помогло — шар по-прежнему падал и теперь находился где-то в полумиле от поверхности. Оставалось последнее средство: выбросив за борт пальто, сюртук и сапоги, я отрезал корзину и повис на сетке шара. Случайно бросив взгляд вниз, я успел заметить, что все пространство подо мной, насколько видит глаз, усеяно крошечными домиками. А в следующее мгновение я очутился в центре фантастического города в окружении толпы каких-то уродцев, которые, не говоря ни слова, не издавая ни звука, словно какое-то сборище умалишенных, потешно скалили зубы и, подбоченившись, разглядывали меня и мой шар.

Я с презрением отвернулся от них, поднял глаза и посмотрел на Землю, так недавно — но, может быть, навсегда — покинутую мною: она имела вид большого круглого медного щита, тускло блестевшего высоко над моей головой, причем один его край горел ослепительным золотым блеском. Никаких признаков воды или суши на нашей планете с Луны не было видно, я заметил только тусклые блуждающие пятна да тропический и экваториальный пояса...

Итак, после жестоких страданий, неслыханных опасностей и невероятных приключений, на девятнадцатый день после моего отбытия из Роттердама я благополучно завершил свое путешествие — несомненно, самое необычайное и замечательное из всех путешествий, когда-либо совершенных или задуманных жителями Земли.

Но рассказ о моих приключениях далеко не окончен.

Вы, господа, сами понимаете, что, проведя около пяти лет на спутнике Земли, представляющем глубокий интерес не только в силу своего своеобразия, но и вследствие его тесной связи с миром, населенным людьми, я мог бы сообщить Астрономическому обществу немало сведений, гораздо более важных и ценных, чем описание моего удивительного путешествия. И я действительно открою многое и сделаю это с величайшим удовольствием, но при некоторых условиях. Я могу рассказать о климате Луны и о странных колебаниях температуры — невыносимом тропическом зное, который сменяется почти полярным холодом; о постоянном перемещении влаги из мест, находящихся ближе к Солнцу, в места, наиболее удаленные от него; об изменчивом поясе текучих подпочвенных вод; о здешнем населении — его обычаях, нравах, политических установлениях; об особенностях физического строения здешних обитателей, об их безобразии и отсутствии ушей, совершенно излишних в лунной атмосфере; об их способах общения, заменяющих человеческую речь, которой они лишены; о таинственной связи между обитателями Луны и обитателями Земли (подобная связь существует между орбитами планеты и спутника), благодаря чему жизнь и судьбы населения одного мира тесно переплетаются с жизнью и судьбами населения другого; а главное — об ужасных и отвратительных тайнах той стороны Луны, которая, вследствие совпадения периодов вращения нашего спутника вокруг своей оси и обращения его вокруг Земли, недоступна и, к счастью, никогда не будет доступной для земных телескопов.

Все это, а также многое другое я охотно изложу в более подробном сообщении. Но скажу прямо: я не готов сделать это бескорыстно. Я стремлюсь вернуться к родному очагу, к своей семье. И в награду за дальнейшие сообщения — с учетом того, какое значение они будут иметь для многих отраслей физического и метафизического знания, — я хочу выхлопотать при посредстве вашего почтенного общества помилование в деле об убийстве трех кредиторов, случившемся при моем отбытии из Роттердама. В этом и заключается главная цель моего письма. Тот, кто доставит его вам, господа, — один из лунных жителей, которому я объяснил, как ему надлежит действовать. Он к вашим услугам и с удовольствием сообщит мне о помиловании, если оно будет получено.

Примите уверения в моем совершенном почтении, ваш покорнейший слуга Ганс Пфааль».

Окончив чтение этого необычайного послания, профессор Рубадуб, говорят, даже трубку выронил — до того он был изумлен и потрясен, а его превосходительство Супербус ван Ундердук снял очки, протер их, сунул в карман и от удивления настолько забыл о собственном достоинстве, что, стоя на одной ноге, завертелся вокруг собственной оси.

Разумеется, помилование будет получено — тут и толковать не о чем. В этом, по крайней мере, в самых энергичных выражениях поклялся профессор Рубадуб.

То же самое подумал и Супербус ван Ундердук, когда, опомнившись, подхватил под руку своего ученого собрата и направился домой, чтобы спокойно обсудить, как лучше приняться за это дело. Однако уже у дверей дома бургомистра профессор вдруг сообразил, что нужда в ходатайстве о помиловании как будто отпала, ведь посланец с Луны бесследно исчез, очевидно, испугавшись сурового облика коренных роттердамцев, а кто, кроме лунного жителя, отважится на такое путешествие?

Бургомистр был вынужден признать справедливость этого замечания; тем дело и кончилось. Но не прекратились толки и сплетни. Письмо Ганса Пфааля было опубликовано и вызвало немало пересудов и споров. Нашлись умники, не побоявшиеся выставить себя в смехотворном виде, которые утверждали, что все это — сплошная выдумка. Но эти господа всегда называют выдумкой то, что превосходит их понимание.

Я, со своей стороны, решительно не принимаю доводов, на которых они основывают свое мнение.

Вот эти смехотворные доказательства.

Во-первых: в городе Роттердаме есть некие шутники (здесь они называют имена, которые у всех на устах), и они имеют зуб против всех без исключения бургомистров и астрономов.

Во-вторых: некий уродливый карлик-фокусник с начисто отрезанными за какую-то гнусную проделку ушами недавно исчез в соседнем городе Брюгге и пропадал в течение нескольких дней.

В-третьих: газеты, которые были наклеены на шар в виде дурацкого колпака, — это голландские газеты, и, стало быть,

печатались они вовсе не на Луне. Типограф Глюк готов поклясться, что не кто иной, как он сам, отпечатал их в Роттердаме.

В-четвертых: пьяницу Ганса Пфааля с тремя бездельниками, якобы его кредиторами, видели два-три дня назад в грязном кабаке в предместье Роттердама: все они были при деньгах, так как только что вернулись из заморских краев.

И наконец: согласно общему (по крайней мере, ему бы следовало быть общим) мнению, Астрономическое общество в городе Роттердаме, подобно всем другим ученым обществам во всех остальных частях света, ничуть не лучше, не выше и не умнее, чем ему следует быть.

Примечание

Строго говоря, этот наш беглый очерк имеет очень мало общего со знаменитым «Рассказом о Луне» мистера Локка. Но поскольку оба этих рассказа являются выдумкой (хотя один написан в шутливом, а другой в сугубо серьезном тоне), оба посвящены одному и тому же предмету, более того, в обоих правдоподобие достигается с помощью многочисленных научных подробностей, то автор «Ганса Пфааля» считает необходимым подчеркнуть, что его *jeu d'esprit*[43] была напечатана в «Сазерн литерери мессенджер» за три недели до появления рассказа мистера Локка в «Нью-Йорк Сан». Тем не менее некоторые нью-йоркские газеты, усмотрев между двумя рассказами сходство, которого на деле не существует, решили, что они принадлежат перу одного и того же автора.

Так как читателей, обманутых «Рассказом о Луне», гораздо больше, чем сознавшихся в своем легковерии, придется более подробно остановиться на этом рассказе, то есть отметить те его особенности, которые должны были бы исключить всякую возможность подобных заблуждений, ибо выдают истинный характер этого произведения. В самом деле, несмотря на богатую фантазию и бесспорное остроумие автора, произведение его хромает на обе ноги по части убедительности, ибо он уделяет недостаточно внимания фактам. Если публика могла хоть на миг поверить ему, то это доказывает лишь ее полную неосведомленность в астрономии.

Расстояние от Земли до Луны составляет приблизительно 240 тысяч миль.

Чтобы узнать, насколько сократится это расстояние благодаря телескопу, надо разделить его на цифру, выражающую степень оптической силы последнего.

Телескоп, фигурирующий в рассказе мистера Локка, увеличивает в 42 тысячи раз.

Разделив на это число 240 тысяч (расстояние до Луны), получим пять и пять седьмых мили. На таком расстоянии невозможно увидеть каких-либо животных, а тем более такие мелочи, которые упоминаются в рассказе. У мистера Локка сэр Джон Гершель видит на Луне цветы и даже различает форму и цвет глаз певчих птиц. А ведь несколько ранее сам автор сообщает, что в его телескоп нельзя разглядеть предметы, имеющие величину менее восемнадцати дюймов. Но и это преувеличение: для таких предметов требуется гораздо более сильный объектив. Заметим, кстати, что гигантский телескоп мистера Локка изготовлен в мастерской «Хартли и Грант», что в Домбартоне; но хорошо известно, что «Хартли и Грант» прекратила свою деятельность за много лет до появления этой басни.

Упоминая о некой «волосной вуали» на глазах лунного буйвола, автор говорит: «Проницательный ум доктора Гершеля усмотрел в этой вуали созданную самим Провидением защиту глаз животного от резких перемен света и тьмы, которым периодически подвергаются все обитатели Луны, живущие на стороне, обращенной к нам». Между тем подобное замечание вовсе не свидетельствует о «проницательности» астронома. На Луне никогда не бывает полной темноты, следовательно, ее обитатели не подвергаются и резким переменам освещенности. В отсутствие солнечного света они получают свет от Земли, равный по яркости свету четырнадцати лун.

Топография Луны у мистера Локка даже там, где он старается согласовать ее с картой Блента, расходится не только с нею и со всеми прочими картами, но и с самим автором. Даже по отношению к странам света у него царит жестокая путаница: автору, по-видимому, невдомек, что на лунной карте они расположены иначе, чем на земной: восток находится слева, а запад — справа.

Мистер Локк, быть может, сбивый с толку названиями «Море Облаков», «Море Спокойствия», «Море Изобилия», которыми астрономы прошлого окрестили низменности с ровным дном, выглядящие в телескоп как обширные темные пятна, очень

обстоятельно описывает океаны и прочие водные бассейны на Луне; между тем отсутствие воды на поверхности нашего спутника доказано.

Граница между светом и тенью на убывающем или растущем серпе Луны, пересекая эти темные пятна, образует ломаную зубчатую линию; будь эти пятна морями, она, очевидно, была бы идеально ровной.

На одной из страниц читаем: «Какое чудовищное влияние должен был оказывать наш земной шар, в тринадцать раз превосходящий размеры своего спутника, на природу последнего в те времена, когда, зарождаясь в бездне времен, оба были игралищем химических сил!» Отлично сказано, конечно, но ни один астроном не сделал бы подобного замечания, особенно в научном журнале, поскольку Земля не в тринадцать, а в восемьдесят один раз больше Луны. То же можно сказать и о заключительных страницах, где ученый корреспондент распространяется насчет недавних открытий, сделанных в связи с Сатурном, и дает подробное ученическое описание этой планеты, — и это для «Эдинбургского научного журнала»!

Есть одно обстоятельство, которое особенно выдает автора. Допустим, что изобретен телескоп, с помощью которого можно увидеть животных на Луне, — что прежде всего бросится в глаза наблюдателю, находящемуся на Земле? Наверняка не форма, не рост и не другие особенности, а странное положение лунных жителей. Ему покажется, что они ходят вверх ногами, как мухи на потолке. Невымысленный наблюдатель едва ли удержался бы от удивленного восклицания при виде столь странного положения живых существ, но наблюдатель вымысленный не только не заметил этого обстоятельства, но и толкует о форме их тел, хотя мог видеть всего лишь форму их головы!

Заметим в заключение, что описываемый автором человек-летучая мышь, его размеры и особенно сила, а также способность летать в разреженной атмосфере (если, конечно, на Луне и в самом деле есть атмосфера) — все это противоречит всякой вероятности. Вряд ли стоит говорить, что все соображения, приписываемые астрономам Брюстеру и Гершелю в начале статьи, относятся к разряду высказываний, в просторечии именуемых чепухой.

Существует предел для оптического изучения звезд — предел, о котором достаточно упомянуть, чтобы понять его значение. Если бы

все зависело от силы оптических линз, человеческая изобретательность справилась бы в конце концов с этой задачей и у нас появились бы линзы и зеркала для телескопов любых размеров. К сожалению, по мере возрастания оптической силы стекол возрастает и рассеяние света, испускаемого объектом наблюдения.

Этой беде мы не в состоянии помочь, так как видим объект только благодаря исходящему от него свету — его собственному или отраженному. Если же свет, исходящий от небесного тела, достигнет такой степени рассеяния, при которой окажется не сильнее естественного света всей массы звезд в ясную безлунную ночь, то это тело окажется недоступным для наблюдения.

Телескоп лорда Росса, недавно построенный в Англии, имеет зеркало с отражающей поверхностью в 4071 квадратный дюйм; телескоп Гершеля — всего лишь 1811 дюймов. Труба телескопа лорда Росса имеет 6 футов в диаметре, а его фокусное расстояние — 50 футов. Весит этот инструмент 3 тонны.

Недавно мне случилось прочесть любопытную и довольно остроумную книжку, на титульном листе которой значилось: «Человек на Луне, или же Химерическое путешествие в Лунный мир, незадолго перед тем открытый Домиником Гонзалесом, испанским авантюристом, иначе именуемым Летучим Вестником».

Автор утверждает, что перевел этот труд с английского оригинала, авторство которого приписано некоему мистеру Д'Ависсону (вероятно, Дэвидсону), хотя выражается крайне туманно.

«Оригинал этого манускрипта, — говорит он, — я получил от господина Д'Ависсона, врача, одного из наиболее сведущих в области изящной словесности, особливо же в натурфилософии. Среди прочего я обязан ему тем, что он не только дал мне сию аглицкую книгу, но также и рукопись господина Томаса Д'Анана, шотландского дворянина, из коей я, должен признаться, заимствовал и план собственного моего повествования».

После разнообразных приключений в духе Жиль Блаза, рассказ о которых занимает первые тридцать страниц, автор попадает на остров Святой Елены, на берег которого взбунтовавшийся экипаж высаживает его вместе со слугой-негром. Чтобы успешнее добывать пропитание, эти двое расстались и поселились в разных концах острова. Потом им вздумалось общаться друг с другом с помощью птиц,

выдрессированных как почтовые голуби. Мало-помалу эти птицы обучились переносить тяжести, вес которых постепенно увеличивался. Наконец автору приходит в голову идея воспользоваться целой стаей птиц, чтобы подняться в воздух самому. Для этого он строит машину, которая подробно описана и изображена в его книге. На рисунке сеньора Гонзалеса, в кружевных брыжах[44] и огромном парике, верхом на каком-то подобии метлы, уносит ввысь стая диких лебедей.

Но главное приключение сеньора связано с очень важным фактом, о котором читатель узнает только в конце. Дело в том, что пернатые, которых он приручил, оказались уроженцами не острова Святой Елены, а Луны. С незапамятных времен они ежегодно прилетают на Землю, но в положенное природой время, разумеется, возвращаются обратно. Таким образом, автор, рассчитывавший на коротенькое путешествие, поднимается прямиком в небеса и в самое короткое время достигает поверхности Луны. Тут среди прочих курьезов он обнаруживает народонаселение, которое вполне счастливо и благоденствует. Обитатели Луны не имеют законов, живут по пять тысяч лет и умирают без страданий. Ростом они от десяти до тридцати футов, могут подпрыгивать на высоту шестидесяти футов и, выйдя таким образом из сферы притяжения Луны, летать с помощью особых крыльев. Правит ими император по имени Ирдонозур.

Не могу удержаться, чтобы не привести образчик философствований автора.

«Теперь я расскажу вам, — говорит сеньор Гонзалес, — о природе тех мест, где я находился. Облака скопились под моими ногами, то есть между мною и Землей. Что касается звезд, то они все время казались одинаковыми, так как здесь вовсе не было ночи; они не блестели, а слабо мерцали, точно на рассвете. Немногие из них были видимы и казались вдесятеро больше, чем когда смотришь на них с Земли. Луна, которой недоставало двух дней до полнолуния, казалась неописуемо громадной.

Не следует забывать, что я видел звезды только с той стороны Земли, которая обращена к Луне, и чем ближе они были к ней, тем казались больше. Замечу также, что и в тихую погоду, и в бурю я всегда находился между Землей и Луной. Это подтверждалось двумя обстоятельствами: во-первых, лебеди поднимались все время по прямой; во-вторых, всякий раз, когда они останавливались отдохнуть,

мы все равно двигались вокруг земного шара. Я разделяю мнение Коперника, согласно которому Земля вращается с востока на запад не вокруг полюсов, именуемых в просторечии полюсами мира, а вокруг полюсов Зодиака. Об этом вопросе я намерен поговорить более подробно впоследствии, когда освежу в памяти сведения из астрологии, которую изучал в молодые годы, будучи в Саламанке, но с тех пор успел позабыть».

Несмотря на грубые фактические ошибки, книжка эта заслуживает внимания как образчик наивных астрономических представлений прошлого. Между прочим, автор полагает, что «притягательная сила» Земли действует лишь на незначительном расстоянии от ее поверхности.

Существуют и другие «путешествия на Луну», но их уровень примерно таков же.

В третьем томе «Американ куотерли ревью» помещен обстоятельный критический разбор одного из таких «путешествий» — разбор, свидетельствующий как о нелепости книжки, так и о дремучем невежестве критика. Я не помню заглавия, но способ путешествия, придуманный автором, еще глупее, чем полет нашего упомянутого сеньора Гонзалеса. Некий путешественник случайно находит неведомый металл, притяжение которого к Луне сильнее, чем к Земле, изготавливает из него ящик и отправляется таким образом на Луну.

«Бегство Томаса О'Рука» — не лишенная остроумия игра ума; книга эта переведена на немецкий язык. Ее герой по имени Томас — лесничий одного ирландского пэра, чьи эксцентричные выходки и послужили поводом для рассказа. Томас улетает на Луну на спине орла с Хангри Хилл, высокой горы, расположенной у залива Бантри.

Все упомянутые издания — сатирические. Они преследуют единственную цель — сравнение наших обычаев с обычаями обитателей Луны. Ни один из авторов даже не делает попыток придать с помощью реальных фактов правдоподобный характер самому путешествию, хотя некоторые из них делают вид, что они люди вполне сведущие в астрономии. Своеобразие «Ганса Пфааля» как раз и заключается в попытке достигнуть такого правдоподобия, пользуясь данными науки в той мере, в какой это позволяет фантастический характер повествования.

Говорящий мертвец

В течение трех последних лет я пристально интересовался таким явлением, как магнетизм[45]. А примерно девять месяцев назад мне пришло на ум, что среди проведенных ранее экспериментов по магнетизации имеется досадный и необъяснимый пробел: никто еще не был магнетизирован *in articulo mortis* — то есть в свой смертный час.

Но прежде всего следовало, как считает один высокоученый доктор, удостовериться: способен ли пациент в таком состоянии подвергнуться какому-либо магнетическому влиянию. Если же это так, надлежало выяснить, уменьшается оно или увеличивается в такие минуты, а также способен ли магнетизм замедлить приближение смерти. Существовали и другие вопросы, которые следовало разрешить, но эти три невероятно разжигали мое любопытство, ибо ответы на них могли иметь поистине необъятные последствия.

Я принялся искать объект, на котором мог бы поставить все эти опыты, и вдруг вспомнил о моем друге, литераторе Эрнесте Вальдемаре, публиковавшемся под псевдонимом Иссахар Маркс, известном переводчике на английский творений Гете и Рабле. Вальдемар с 1839 года жил в Гарлеме и обладал примечательной внешностью: страшно худой, буквально изможденный, с совершенно белыми бакенбардами, которые резко контрастировали с его волосами цвета воронова крыла, которые все принимали за парик. Он был необыкновенно нервным — а именно такие люди наиболее подходят для экспериментов по магнетизму. Несколько раз мне удавалось погрузить его в сон без малейших усилий, но я так и не добился от него тех результатов, которых может ожидать магнетизер от своего пациента. Эту неудачу я приписывал скверному состоянию его здоровья: воля Вальдемара никогда в полной мере не подчинялась моей, и я не мог ввести его в настоящий транс.

За несколько месяцев до моего знакомства с этим человеком врачи нашли у него чахотку, и теперь он настолько свyksя со своей болезнью, что совершенно равнодушно говорил о близкой кончине, как о факте, избежать которого невозможно и о котором нет смысла сожалеть.

Естественно, как только мне в голову пришла мысль об опытах на грани жизни и смерти, я первым делом подумал об Эрнесте

Вальдемаре. Я знал его философский склад ума и твердость духа и полагал, что он даст согласие на эксперимент. Родственников в Америке у него не было, стало быть, больше никто не мог помешать мне в моих планах. Я откровенно рассказал ему все, и, к моему удивлению, Вальдемар мгновенно согласился.

Я действительно был удивлен — прежде он соглашался служить объектом моих опытов, но никогда не обнаруживал ни малейшего интереса к их результатам. Между тем болезнь его носила такой характер, что можно было довольно определенно предсказать дату кончины, и мы с Вальдемаром условились, что примерно за сутки до этого он даст мне знать или пришлет за мной.

В один из дней — это была суббота — около семи часов вечера я получил от Эрнеста Вальдемара записку следующего содержания, написанную его собственной рукой:

«Любезный П., Вы можете пожаловать ко мне прямо сейчас. Д. и Ф. сходятся в том, что я не дотяну до полуночи, и мне кажется, что они совершенно правы. С наилучшими пожеланиями, Эрнест».

Записку доставили мне через полчаса после того, как Вальдемар ее написал, и уже через пятнадцать минут я был в комнате умирающего.

Я не видел его около двух недель и был поражен ужасной переменой, произошедшей за столь короткое время. Лицо больного приобрело свинцовый оттенок, глаза погасли, он так исхудал, что скулы, казалось, вот-вот прорвут натянувшуюся кожу. Он непрерывно кашлял, пульс едва прощупывался. При этом Вальдемар пребывал в сознании, его умственные способности словно обострились, он мог двигаться и даже предпринимать кое-какие усилия. Больной внятно говорил, принимал без посторонней помощи лекарства и, когда я вошел, заносил карандашом в блокнот какие-то заметки, сидя в постели и опираясь на грудку подушек. Здесь же находились доктора Д. и Ф.

Обменявшись приветствиями с больным, я отвел докторов в сторону и попросил их самым подробным образом описать общее состояние пациента.

Оказалось, что его левое легкое уже около полутора лет находится в разрушенном состоянии и бездействует, верхушка правого также повреждена, а его нижние доли представляют собой сплошную гноящуюся массу туберкулезных бугорков и распавшихся легочных

тканей. Обширные каверны[46] пронизывали ее насквозь, а в одном месте легочная ткань приросла к ребрам. Эти явления возникли совсем недавно, и процесс шел с поразительной быстротой: еще месяц назад каверны отсутствовали, а не далее как три дня назад врачи обнаружили сращивание остатков легкого со стенкой грудной полости. Помимо чахотки, врачи подозревали аневризму аорты, но не вполне были уверены в этой части своего диагноза.

Так или иначе, но медики сходились в одном: Эрнест Вальдемар должен умереть не позднее полуночи следующего дня, то есть воскресенья.

Покидая больного для беседы со мной, доктора простились с ним — они сочли себя бессильными в чем-либо помочь ему и решили прекратить свои визиты. Однако по моему настоянию согласились приехать еще раз — около десяти вечера.

Когда они удалились, я без всяких обиняков заговорил с Эрнестом о его близкой кончине и предполагаемом эксперименте. Он снова повторил мне, что согласен, и предложил немедленно приступать.

В доме находилось двое слуг — мужчина и женщина, но мне требовались свидетели моих опытов, заслуживающие большего доверия. Поэтому я решил отложить свое дело до восьми часов, когда мне в помощь должен был прибыть студент медицинского факультета Теодор Л., которого я хорошо знал. Поначалу я думал дожидаться появления врачей, но состояние больного так быстро ухудшалось, что откладывать было слишком рискованно. К тому же, и сам Вальдемар чувствовал приближение смерти.

Когда студент прибыл, я поручил ему внимательно наблюдать за всем происходящим и вести подробные записи. Вот по этим-то записям я теперь и восстанавливаю весь ход событий.

Было без пяти восемь, когда я, взяв больного за руку, попросил его заявить — так, чтобы это слышал мистер Теодор Л., — что он, Эрнест Вальдемар, согласен на то, чтобы я магнетизировал его в том состоянии, в котором он в данную минуту находится. Больной кивнул и произнес слабым, но совершенно внятным голосом: «Да, я хочу подвергнуться магнетизации». После чего сразу же добавил: «Боюсь, однако, что вы потеряли слишком много времени!»

Пока он произносил это, я уже начал совершать те магнетические пассы, которые, по моим наблюдениям, оказывали на него особенно

сильное действие. Он, очевидно, ощутил их действие, особенно когда моя ладонь находилась перед его мокрым от холодного пота лбом. Тем не менее я так и не смог добиться ощутимого результата почти до десяти часов, когда приехали доктора Д. и Ф., исполнив свое обещание.

В нескольких словах я объяснил им, что собираюсь проделать, и они, со своей стороны, не усмотрели никаких препятствий для моих экспериментов, так как, по их мнению, больной находился уже в агонии. Я продолжал, сменив горизонтальные пассы на вертикальные и сосредоточив свой взгляд на правом зрачке пациента.

К этому времени его пульс едва прощупывался, а дыхание с остановками до полуминуты сопровождалось хрипением. Это состояние сохранялось без изменений в течение четверти часа, и наконец из груди умирающего вырвался очень глубокий и почти свободный вздох. В то же время руки и ноги Вальдемара стали холодными как лед.

Без пяти одиннадцать я заметил несомненные признаки магнетического воздействия. Хаотическое блуждание глаз сменилось выражением напряженного внутреннего созерцания, характерного для состояний ясновидения. Тут нельзя было ошибиться — этот признак никогда еще меня не подводил.

Несколькими быстрыми пассажами я заставил его веки затрепетать, как в начале погружения в сон, и еще несколькими заставил больного окончательно закрыть глаза. Одновременно я, напрягая всю свою волю, продолжал манипуляции до тех пор, пока все члены больного не приняли удобное для меня положение и не оцепенели в нем.

Тем временем часы пробили полночь. Я попросил обоих медиков и студента осмотреть мистера Вальдемара, что они и сделали весьма тщательно. Это заняло около получаса, и в конце концов они признали, что умирающий находится в состоянии полной каталепсии[47]. Это до того возбудило профессиональное любопытство обоих врачей, что один из них — мистер Д. — решился остаться с пациентом на всю ночь, а доктор Ф. простился с нами, объявив, что приедет на рассвете. Слуги и Теодор Л. присутствовали в комнате постоянно.

Мы оставили Вальдемара в покое до трех часов утра, а затем снова осмотрели его и обнаружили в том же положении, что и в полночь. Пульс едва бился, признаки дыхания можно было обнаружить только

при помощи зеркала, поднесенного к губам, глаза были плотно закрыты, а все оцепеневшие члены вытянуты и холодны, как мрамор. И в то же время о смерти еще не могло быть и речи.

Приблизившись к объекту моего эксперимента, я сделал небольшое усилие, целью которого было заставить его правую руку повторять движения моей руки, которой я медленно проводил над ним. Подобные вещи с Вальдемаром ранее мне никогда не удавались, поэтому и сейчас я не особенно рассчитывал на успех. Но, к моему удивлению, рука его, хотя и слабо, но покорно последовала за моей. Тогда я решился попытаться задать несколько вопросов.

— Эрнест, — спросил я, — вы спите?

Он молчал, но я заметил, как мышцы его губ слабо дрогнули, и решил повторить попытку. С третьего раза дрожь пробежала уже по всему его телу; веки приоткрылись настолько, что можно было видеть полоски белков; губы с огромным трудом зашевелились, и я услышал едва различимые слова:

— Да... сейчас я сплю... Только не будите меня... дайте мне спокойно умереть...

Я ощупал его тело: оно по-прежнему было холодным и одеревенелым, но правая рука, так же, как и раньше, подчинялась движениям моей руки.

Я снова спросил:

— Вы все еще чувствуете боль в груди, Эрнест?

На этот раз ответ последовал немедленно, но еще менее внятно:

— Нет никакой боли... просто я умираю.

Я больше не решился тревожить его и до приезда доктора Ф. ничего не предпринимал. Доктор, как и обещал, явился на рассвете и невероятно удивился, обнаружив, что больной еще жив. Осмотрев его, он попросил меня еще раз попробовать поговорить с пациентом.

Я спросил:

— Эрнест, спите ли вы еще?

Как и в прошлый раз, ждать ответа пришлось несколько минут, в течение которых умирающий, как нам казалось, собирался с силами, чтобы заговорить. Наконец он чрезвычайно тихо и неразборчиво пробормотал:

— Да... сплю... и умираю...

Доктора посоветовали оставить больного в этом состоянии мнимого спокойствия и больше не тревожить до самой смерти, которая, по нашему общему мнению, должна была наступить через несколько минут. Мне хотелось задать ему еще один вопрос, но перед этим я повторил тот, который уже задавал.

Едва я начал произносить те же слова, которые умирающий уже слышал, как его лицо поразительно изменилось. Глазные яблоки начали вращаться под веками, затем глаза медленно открылись, причем зрачки закатились под лоб. Кожа приняла мертвенный цвет писчей бумаги, а круглые гектические пятна[48], которые до этой минуты ясно виднелись на середине каждой щеки, внезапно исчезли, причем с такой скоростью, как если бы кто-то задул горящую свечу. Верхняя губа вздернулась, обнажив десны и зубы, а нижняя челюсть отвалилась, оставив рот так широко распахнутым, что была видна глотка и распухший, почти черный язык.

Те, кто присутствовал при этом, не раз видели смерть во всем ее безобразии, но облик Эрнеста Вальдемара в ту минуту был до того ужасающе безобразен и омерзителен, что мы невольно отпрянули от его кровати.

Здесь мое повествование достигло той точки, после которой всякий читатель может усомниться в правдивости автора; несмотря на это, я вынужден продолжать.

В теле, которое было распростерто перед нами, не оставалось ни малейшего признака жизни. Решив, что Вальдемар умер, мы уже собирались передать его труп слугам, чтобы те о нем позаботились, но внезапно его язык затрепетал, и это вынудило нас остановиться. Эти судорожные движения продолжались с минуту, после чего из разверстого и неподвижного рта послышался такой голос, что с моей стороны было бы полным безумием даже пытаться его описывать. Но все же я попробую дать о нем представление с помощью нескольких определений: это были дряблые, жесткие, глухие, пустые и в то же время глубокие звуки, производившие невыразимое впечатление. Я

полагаю, что никогда еще подобный голос не терзал человеческое ухо. Кроме того, в нем были еще две странности, которые, с моей точки зрения, свидетельствовали о его сверхчеловеческой сущности. Во-первых, голос этот исходил как будто из чрезвычайно отдаленного места или глубокого подземелья. А во-вторых, он оставлял по себе такое ощущение, какое производят на ощупь студенистые и слизистые вещества. При этом он с поразительной ясностью воспроизводил последовательность слогов, из которых складывались вполне связные слова.

Как вы помните, незадолго до того я спросил мистера Вальдемара, спит ли он. И теперь я получил ответ:

— Да... или нет... я спал... но теперь... теперь я мертв...

Всех, кто при этом присутствовал, охватил невыразимый ужас. Студент упал без чувств, а слуги опрометью выскочили из комнаты, покинули дом и больше не возвращались. Что касается моих впечатлений, то они были таковы, что я не смею даже пытаться их передать. В течение целого часа мы втроем, не произнося ни единого звука, старались всячески привести в чувство несчастного Теодора Л. Как только нам это удалось, мы снова вернулись к умершему.

Положение его тела нисколько не изменилось; разница состояла лишь в том, что его сердце больше не билось, а на поднесенном ко рту зеркале не появлялось ни малейших следов дыхания. Мы безуспешно пытались пустить ему кровь из руки, которая, между тем, уже не повиновалась моей воле. Единственным признаком того, что магнетическое воздействие все еще продолжается, была дрожь языка — она возникала всякий раз, когда я пытался задать Вальдемару вопрос. Казалось, он пытается ответить, но для этого ему уже не хватает воли. К вопросам, задаваемым кем-либо, кроме меня, он был совершенно нечувствителен, несмотря на то что я старался наладить его магнетическую связь с каждым из присутствующих.

Теперь вы имеете представление о том, в каком положении все мы находились в это время. Нам пришлось похлопотать, чтобы найти людей, готовых заменить сбежавших слуг, а в десять утра мы вместе с двумя докторами и Теодором Л. вышли из дома и вернулись только в полдень.

Положение мистера Вальдемара оставалось совершенно тем же. Мы обсудили возможность каким-либо образом привести его в

чувство, а также стоит ли вообще пытаться это делать, и пришли к выводу, что ничего хорошего ожидать от этого не приходится.

Нам было совершенно очевидно, что смерть, или то, что по привычке мы называем смертью, была приостановлена действием магнетизма. Следовательно, разбудить или привести в чувство нашего пациента хотя бы на самое короткое время, означало мгновенно убить его.

Начиная с этой минуты и в течение последующих семи месяцев, мы продолжали ежедневно посещать мистера Вальдемара в сопровождении его знакомых, медиков и просто любопытных. На протяжении всего этого времени он оставался в точности таким же, каким мы видели его в тот день. Слуги, сменяясь, ухаживали за ним и не отлучались ни на минуту.

Но в минувшую пятницу мы в конце концов решились попытаться разбудить его или, по крайней мере, попробовать это сделать. Нас постигла неудача, а результат наших усилий породил огромное количество толков, сплетен и пересудов, которые вполне можно понять ввиду крайней необычности событий.

Чтобы вывести мистера Вальдемара из его «летаргии», я использовал обычные магнетические пассы, которые в течение довольно продолжительного времени оставались безуспешными. Первым признаком пробуждения послужило небольшое движение его закатившихся зрачков. Оно сопровождалось обильным истечением из-под верхних век желтоватой дурно пахнущей влаги, похожей на гной.

Тогда мне было предложено испытать, как и раньше, силу влияния на правую руку пациента. Я попробовал, но без успеха. Доктор Ф. предложил, чтобы я снова спросил пациента о чем-либо, и я обратился к нему:

— Мистер Вальдемар! Можете ли вы сказать нам, что вы чувствуете и чего хотите в эту минуту?

На щеках пациента вспыхнули гектические пятна, язык забился в конвульсиях и с невероятным усилием повернулся во рту, хотя челюсти и губы оставались в прежнем положении. Наконец все тот же ужасающий голос медленно произнес:

— Из любви к Господу... скорее... скорее... усыпите меня... или... или... разбудите меня... но скорее... говорю вам — я мертв...

Я был совершенно растерян и несколько минут колебался: что же теперь делать? Сперва я попытался усыпить пациента, но, ничего не добившись из-за крайнего утомления, употребил остатки сил на то, чтобы разбудить его. Мне казалось, что есть надежда на успех; думаю, что и все, кто находился рядом со мной, рассчитывали увидеть пациента очнувшимся.

Не думаю, что кто-либо из смертных мог предвидеть или ожидать то, что произошло после этого.

В то время, как я поспешно совершал магнетические пассы под рокот бесконечно повторяемых слов «умер... умер... умер...», вылетавших из гортани мистера Вальдемара, в течение минуты или даже в более короткое время тело его съежилось и начало разваливаться на части. Затем оно раскрошилось, распалось и превратилось в зловонный прах прямо под моей рукой. И вскоре глазам присутствующих предстала отвратительная и невообразимо ужасная, наполовину разложившаяся полужидкая масса, громоздящаяся на постели...

Убийства на улице Морг

Что за песню пели сирены или какое имя носил Ахиллес, скрываясь среди женщин, — вопросы сложные, все же ответ на них попытаться найти можно.

Сэр Томас Браун

Умственные способности, которые принято называть аналитическими, сами по себе с трудом поддаются анализу. Мы осознаем их только по результату, которого с их помощью удалось добиться. Помимо прочего известно, что для того, кто наделен ими в большой степени, они являются источником истинной радости. Как физически сильный человек находит удовольствие в своей силе, радуясь тем занятиям, которые требуют мышечного напряжения, так и аналитик наслаждается умственной работой, которая, что называется, «развязывает руки». Даже самые обычные занятия, позволяющие проявить свои способности, приводят его в восторг. Этот человек любит всяческие загадки, головоломки, шифры и проявляет в их решении такую проницательность, которая обычным людям кажется

сверхъестественной. Полученные результаты, достигаемые путем использования четких и вполне определенных методов, кажутся основанными на интуиции.

Умение принимать решения, возможно, во многом подкрепляется математическим даром, в особенности тем наивысшим его проявлением, которое несправедливо и исключительно на основании обратного характера его действий именуется анализом *par excellence*[49]. И все же, для того чтобы анализировать, недостаточно просто уметь считать. К примеру, шахматист продельывает одно, даже не пытаясь заняться другим. Из этого следует, что представление об игре в шахматы как очень полезной для ума не всегда соответствует действительности. Но я пишу не научный трактат, а всего лишь предисловие к довольно необычному рассказу и основываю свои мысли на достаточно разрозненных наблюдениях, поэтому воспользуюсь случаем, чтобы заявить: незамысловатость шашек является гораздо более сильным и полезным стимулом для проявления высшей силы мыслящего разума, чем продуманная изощренность шахмат. В последних, где все фигуры ходят по-разному и имеют свой, к тому же изменяющийся, вес, сложность принимается за глубину (обычная ошибка). Внимание играющего здесь целиком устремлено на игру. Стоит ему хоть на секунду отвлечься, и он может допустить оплошность, которая приведет к значительному ухудшению положения, а то и к проигрышу. Многообразие и сложность ходов лишь увеличивают шансы совершить подобную оплошность, и в девяти случаях из десяти побеждает тот игрок, который внимательнее, а не тот, который способнее. В шашках же, где ходы единообразны и почти не имеют вариаций, возможность ошибиться в результате недосмотра значительно меньше, и во время игры внимание практически роли не играет — превосходства добивается тот, кто сообразительнее. Чтобы было понятнее, давайте представим себе игру в шашки, где на доске осталось четыре дамки; возможность случайной ошибки, разумеется, исключим. Вполне очевидно, что победа здесь (при условии, что силы игроков равны) будет достигнута только благодаря какому-нибудь *recherché*[50] ходу, в результате сильного напряжения разума. Лишенный привычных ресурсов аналитик представляет себя на месте своего противника, отождествляет себя с ним и таким образом зачастую получает возможность с первого

взгляда увидеть те комбинации (порой на удивление простые), которые дадут ему возможность заставить противника допустить просчет.

Давно замечено, что вист оказывает влияние на то, что называют математическими способностями. Многие люди, наделенные интеллектом наивысшего порядка, находят в этой игре необъяснимое удовольствие, считая шахматы слишком легкомысленным занятием. Вне всякого сомнения, ни одна другая игра не требует от играющих таких аналитических способностей, как вист. Лучший в мире шахматист может не обладать никакими другими выдающимися способностями, но мастерство в висте дает возможность добиться успеха в любой иной более важной области, где происходит столкновение интеллектов. Говоря «мастерство», я подразумеваю то совершенство в игре, которое включает в себя понимание всех источников, из которых может сложиться допустимое преимущество. Они не только многочисленны, но и разнообразны и нередко заключены в таких укромных уголках мысли, которые для обычного игрока совершенно недоступны. Тот, кто внимательно следит, точно запоминает, поэтому можно сказать, что шахматист, умеющий полностью сосредоточиться на игре, скорее всего, будет прекрасным игроком в вист, тем более что правила Хойла (сами по себе основанные на механике игры) достаточно понятны и однозначны.

Таким образом, основным залогом хорошей игры в вист считаются крепкая память и четкое следование правилам. Однако второе условие еще не определяет талант истинного аналитика. Во время игры он молча наблюдает и делает выводы. Однако, возможно, так же поступают и остальные участники игры, поэтому разница в объеме полученной информации, по большому счету, зависит не столько от глубины умозаключений, сколько от внимательности наблюдателя. Очень важно знать, за чем следует наблюдать. Наш игрок ничем себя не ограничивает, так же как (поскольку главное все-таки — игра) не отбрасывает он и выводы, сделанные на основании факторов, не имеющих прямого отношения к игре. Он замечает выражение лица партнера, тщательно сравнивая его с выражениями лиц каждого из противников. Обращая внимание на то, кто как держит в руке карты, иногда по одним лишь взглядам, которые играющие бросают на свои карты, узнает, сколько у кого козырей и какого достоинства. Во время игры он подмечает малейшее изменение лиц; выражение уверенности,

удивления, ликования или огорчения для него — повод для размышления. По тому, как рука берет взятку, аналитик узнает, может ли игрок, взявший ее, получить еще одну той же масти. Он узнает о хитрости противника по тому, как тот бросает на стол карту. Нечаянное или неосторожное слово, случайно выпавшая или перевернутая карта, то, с каким чувством (волнением или беспечностью) игрок пытается эту карту скрыть, подсчет взяток с учетом их порядка, смущение, неуверенность, рвение или волнение — все это указывает ему на истинное положение вещей, хотя сам он этого может даже не осознавать. После первых двух-трех ходов он уже знает, какие на руках карты, и далее играет так уверенно, как если бы остальные участники играли в открытую.

Аналитические способности не следует путать с обычной находчивостью, поскольку, если аналитик в обязательном порядке находчив, то далеко не каждый находчивый человек способен анализировать. Умение придумывать или комбинировать, в котором чаще всего и выражается находчивость и за которое, по мнению френологов (как я полагаю, ошибочно), считающих эту способность первичной, отвечает отдельный внутренний орган, до того часто встречается у тех, чей интеллект в остальном граничит с дебилизмом, что это даже привлекло к себе внимание писателей, затрагивающих темы морали и нравственных устоев. Разница между находчивостью и аналитическими способностями имеет тот же характер, что и разница между фантазией и воображением, только отличие это намного глубже. В самом деле, нетрудно заметить, что люди находчивые — всегда фантазеры, но действительно развитым воображением наделены исключительно аналитики.

Следующий рассказ для читателя станет чем-то вроде пояснения к изложенному суждению.

Весну и часть лета 18... я провел в Париже, где и познакомился с неким меье Ш. Огюстом Дюпенем. Этот юный господин был потомком знатного, даже знаменитого рода, однако после череды неблагоприятных обстоятельств он оказался в такой нужде, что заложенная в нем от природы энергия покинула его и он совершенно перестал интересоваться обществом или думать о том, как вернуть былое богатство. Благодаря любезности кредиторов ему была оставлена небольшая часть отцовского состояния, и тот скромный

доход, который она приносила, позволял ему при условии строжайшей экономии сводить концы с концами, не задумываясь над тем, как поступать с избытком средств. Строго говоря, единственным, что все еще доставляло ему удовольствие, были книги, а в Париже доставать книги нетрудно.

Наша первая встреча состоялась в небольшой библиотеке на улице Монмартр, куда нас с ним привели поиски одной и той же замечательной и очень редкой книги. Мы начали видеться чаще, и меня очень заинтересовала его семейная история, которую он весьма подробно изложил мне с той откровенностью, в которую впадают французы, когда разговор заходит о них самих. Кроме того, меня поразила его необыкновенная начитанность, но самое главное — его неудержимый пыл и свежесть воображения заставили меня почувствовать необычайный душевный подъем. Мне, занятому в Париже своими собственными интересами, показалось, что общество этого человека будет для меня поистине бесценной находкой, и я откровенно признался ему в этом. В конце концов мы решили, что, пока я нахожусь в городе, мы будем жить вместе, и, поскольку мои обстоятельства были не такими стесненными, как у него, мне было позволено взять на себя расходы на аренду и обстановку в стиле, соответствующем нашей общей с ним задумчивой хандре, причудливого, источенного временем дома, который из-за каких-то суеверий, в суть которых вникать мы не стали, давно был оставлен предыдущими жильцами и доживал свой век в уединенном безлюдном районе Сен-Жерменского предместья.

Если бы люди узнали, как мы с ним жили в этом месте, нас бы посчитали сумасшедшими... Впрочем, возможно, сумасшедшими безобидными. Наше затворничество было полным. Гостей мы не принимали, более того, я тщательно скрывал от своих прежних знакомых местоположение нашего убежища, а о Дюпене в городе давно позабыли, да и сам он уже много лет не вспоминал о парижском обществе. Мы с ним существовали в своем собственном мире.

У моего друга была одна странная причуда (как еще я могу это назвать?): его притягивала к себе Ночь; постепенно этой *bizarrie*[51], как и всем остальным его странностям, поддался и я, позволив его диким чудачествам захватить себя с головой. Черная богиня не желала находиться с нами постоянно, но мы могли подделать ее присутствие.

С первым лучом зари мы закрывали все грязные ставни старого здания, зажигали пару тонких свечей, которые источали сильный аромат, но отбрасывали лишь слабый, призрачный свет, и погружались в полусон, читали, писали или беседовали, пока бой часов не предупреждал нас о приближении истинной Тьмы. После этого мы рука об руку отправлялись на улицу, продолжая дневные разговоры, или бродили до самой поздней ночи, уходя далеко в поисках того бесконечного возбуждения, которое может дать разуму созерцание диких огней и теней многолюдного города.

В такие минуты я не мог не восхищаться удивительным аналитическим даром Дюпена, хотя, хорошо зная умозрительную природу его мышления, был к этому готов. Ему и самому, похоже, доставляло искреннее удовольствие если не выставлять напоказ, то, по крайней мере, демонстрировать свои способности, и он никогда не скрывал, какую при этом испытывал радость. С негромким отрывистым смешком он говорил мне, что видит большинство людей насквозь, как если бы у них на груди было окно, через которое ему не составляло труда заглянуть им в душу, и, как правило, подтверждал это заявление каким-нибудь прямым и в высшей степени удивительным доказательством того, что моя собственная душа для него — открытая книга. Когда разговор доходил до этой точки, он обычно становился холодно-отстраненным, взгляд его устремлялся вдаль, в то время как голос, обычно тенор, срывался на фальцет, который можно было бы посчитать недовольным, если бы не четкость и ясность произношения. Глядя на него в таком настроении, я часто вспоминал старинное философское учение о двойственности души и развлекался тем, что представлял себе Дюпена, распавшегося на две части: созидательную и разрушительную.

Не подумайте, будто за тем, что я рассказал, кроется какая-нибудь загадка, я вовсе не собираюсь превращать своего знакомого в некий романтический образ. Все описанные мною качества француза были всего лишь следствием работы его возбужденного, а возможно, и нездорового разума. Впрочем, лучше всего понять, что представляли собой его реплики во время таких разговоров, поможет пример.

Однажды ночью мы прогуливались по длинной грязной улице неподалеку от Пале-Рояль. Мы оба были погружены в свои мысли, и

по меньшей мере минут за пятнадцать никто из нас не проронил ни звука. Затем совершенно неожиданно Дюпен нарушил молчание:

— Действительно, при его-то росте он бы лучше шел в театр «Варьете».

— Да уж, это точно! — Я был настолько погружен в размышления, что ответил не задумываясь, поначалу даже не заметив, до чего точно его слова совпали с моими мыслями. В следующую секунду я уже пришел в себя, и моему удивлению не было предела. — Дюпен, — серьезно сказал я, — это выше моего понимания. Признаюсь откровенно, вы меня совершеннейшим образом озадачили. Я просто поражен! Как вам удалось узнать, что я думал о... — Тут я замолчал, чтобы убедиться, что он действительно знает, о ком я думал.

— ...о Шантильи, — подхватил он. — Почему вы замолчали? Вы про себя отметили, что его небольшой рост не подходит для трагических ролей.

Именно об этом я и думал. Шантильи — quondam[52] сапожник с улицы Сен-Дени, увлекшись сценой, попробовал себя в роли Ксеркса в одноименной трагедии Кребийона, но, несмотря на старание, получил разгромные отзывы критиков.

— Ради всего святого, — воскликнул я, — скажите, какой метод вы использовали (если вы использовали какой-нибудь метод), чтобы вот так влезть мне в душу.

На самом деле удивлен я был даже больше, чем хотел показать.

— На мысль о том, — ответил мой друг, — что этот чинильщик подошв не обладает достаточным ростом, чтобы играть Ксеркса et id genusomne[53], вас навел торговец фруктами.

— Торговец фруктами? Вы меня поражаете... Но я не знаю ни одного торговца фруктами.

— Человек, который столкнулся с вами, когда мы вышли на эту улицу... Минут пятнадцать назад.

Тут я вспомнил, что действительно какой-то торговец фруктами, несший на голове большую корзину с яблоками, случайно чуть не сбил меня с ног, когда мы сворачивали с С. на улицу, по которой сейчас шли. Тем не менее, какое отношение это имело к Шантильи, для меня оставалось загадкой.

Дюпен не имел склонности к charlatanerie[54].

— Я объясню, — сказал он. — И, чтобы вам было понятнее, для начала мы восстановим ход ваших размышлений с той секунды, когда я заговорил, до самой *rencontre*[55] с упомянутым торговцем. Основные звенья этой цепочки таковы: Шантильи, Орион, доктор Николь, Эпикур, стереотомия, булыжники, торговец фруктами.

Немного найдется людей, которые хотя бы раз в жизни не восстанавливали шаг за шагом ход своих мыслей, приведший их к тому или иному заключению. Это довольно увлекательное занятие, и тот, кто сделает это впервые, будет поражен тем, казалось бы, безграничным расстоянием и полным отсутствием связи между отправной точкой и последней мыслью. Можно представить, какое меня охватило удивление, когда я услышал эти слова француза и вынужден был признать, что они в точности соответствуют действительности. Он продолжил:

— Если я правильно помню, сворачивая с С., мы разговаривали о лошадях. Это последняя тема, которую мы с вами обсуждали. Когда мы выходили на улицу, мимо нас стремительно прошел торговец фруктами с большой корзиной на голове, он толкнул вас на кучу булыжников рядом с тем местом, где ремонтируют мостовую. Вы наступили на один из камней, поскользнулись, слегка растянули лодыжку, то ли рассердились, то ли расстроились, пробормотали несколько слов, повернулись, посмотрели на грудку булыжников и молча пошли дальше. Я не следил за вами специально, но в последнее время у меня появилась привычка внимательно наблюдать за всем, что происходит рядом со мной. Вы шли, не поднимая глаз с дороги, с раздражением поглядывая на дыры и выбоины в мостовой (я понял, что вы все еще думаете о камнях), пока мы не дошли до Ламартин, узкого переулочка, который в качестве эксперимента замостили находящими друг на друга и сколоченными блоками. Тут ваше лицо просветлело, и, заметив движение ваших губ, я не мог не понять, что вы пробормотали слово «стереотомия», термин, которым для пущей важности нарекли такой род мостовой. Я знал, что вы не могли, произнеся слово «стереотомия», не вспомнить об атомах, а значит, и об учении Эпикура. Поскольку, когда недавно мы обсуждали эту тему, я, кажется, говорил, каким удивительным образом смутные догадки этого достойнейшего грека нашли подтверждение в позднейшей небулярной космогонической теории (хотя почти никто не придавал этому значения),

я подумал, что вы непременно должны посмотреть на огромную туманность в Орионе, и, разумеется, стал ждать, когда вы это сделаете. И вы действительно взглянули вверх, чем и дали мне понять, что я верно следую за ходом ваших мыслей. Но в той язвительной статейке о Шантильи во вчерашнем номере «Мюзик» автор позволил себе некоторые отвратительные замечания по поводу того, что сапожник, встав на котурны, попытался изменить само свое имя и вспомнил латинское высказывание, о котором мы с вами часто говорили. Я имею в виду «Perdidit antiquum litera prima sonum»[56]. Я объяснял вам, что эти слова относятся к Ориону, который раньше писался как Урион, и, поскольку мы пошутили по этому поводу, я посчитал, что вам это должно было запомниться и вы непременно соедините два понятия: Орион и Шантильи. Усмешка, скользнувшая по вашим губам, подсказала мне, что я не ошибся. Вы подумали о том, что несчастный сапожник стал жертвой бессердечного зоила. До сих пор вы все время шли сутулясь, но тут распрямили спину, вытянули шею, и я понял, что вам представилась миниатюрная фигурка Шантильи. В этот миг я и прервал ваши раздумья замечанием о том, что он, этот Шантильи, в самом деле очень невысок и ему лучше было бы попробовать себя в театре «Варьете».

Вскоре после этого мы как-то просматривали вечерний выпуск «Газетт де Трибюн», где наше внимание привлекла следующая заметка:

Загадочные убийства

Сегодня утром, около трех часов, жители квартала Сен-Рок были разбужены душераздирающими криками, доносившимися из окна пятого этажа одного из домов на улице Морг, в котором, как известно, проживали некая мадам Л'Эспанэ с дочерью мадемуазель Камиллой Л'Эспанэ. После некоторой задержки, вызванной безуспешными попытками попасть в здание обычным путем, в ход был пущен лом, дверь удалось взломать, и восемь — десять соседей в сопровождении двух жандармов проникли в дом. К этому времени крики прекратились, но бросившиеся наверх люди, пробегая первый лестничный пролет, слышали еще по меньшей мере два грубых голоса, которые как будто доносились из верхней части здания и, похоже, о чем-то яростно спорили. Когда достигли второго

лестничного пролета, эти звуки стихли и больше ничего не было слышно. Группа рассредоточилась, люди стали заглядывать во все комнаты. Когда дошли до большой комнаты в глубине дома (дверь ее оказалась заперта, ключ вставлен в замочную скважину изнутри, поэтому ее пришлось взламывать), открывшаяся картина не только ужаснула всех присутствующих, но и удивила.

В помещении царил полнейший беспорядок, сломанная мебель разбросана по всей комнате. Здесь была только одна кровать, снятая со стойки и брошенная на пол. На стуле лежала окровавленная бритва, к каминной полке, которая тоже была вся в крови, прилипли две или три длинных седых пряди человеческих волос, и, похоже, они были вырваны с корнем. На полу валялись четыре наполеондора, серьга с топазом, три большие серебряные ложки, три ложки поменьше из *métal d'Alger*[57] и два мешка, в которых находилось почти четыре тысячи золотых франков. Ящики стоявшего в углу комода были выдвинуты, в них явно рылся грабитель, хотя многие вещи остались нетронутыми. Небольшой железный сейф обнаружили под постелью (не под кроватной стойкой). Он был открыт, в двери все еще торчал ключ. Внутри сейфа ничего, кроме нескольких писем и других маловажных бумаг, не оказалось.

Никаких следов мадам Л'Эспанэ видно не было, однако, после того как в камине заметили необычное количество сажи, решили исследовать дымоход, и в нем (это даже жутко представить!) нашли труп дочери, головой вниз. Его с силой втолкнули на довольно большое расстояние по узкому проходу вверх, где он и застрял. Тело было еще теплым. Когда его осматривали, во многих местах обнаружили содранную кожу, что, несомненно, указывало на то, с какой силой его заталкивали в дымоход и извлекали оттуда. Лицо было жестоко исцарапано, на горле виднелись темные кровоподтеки и глубокие следы ногтей, как будто жертву задушили насмерть.

Проведя тщательный осмотр всего дома и более ничего не обнаружив, группа направилась на небольшой мощный задний дворик, где оказался труп старшей из женщин. Ее горло было перерезано так, что, когда тело попытались поднять, голова оторвалась. И тело, и голова были страшно изувечены, причем первое до такой степени, что почти не напоминало человеческое.

Насколько нам известно, пока что нет ни малейшего ключа к решению этой страшной загадки.

На следующий день в той же газете появились дополнительные подробности.

Трагедия на улице Морг

В связи с этим загадочным и жутким делом было опрошено множество человек, однако пока не обнаружилось ничего, что могло бы пролить на него свет. Ниже мы приводим все факты, которые удалось установить на основании свидетельских показаний.

Полина Дюбур, прачка, показывает, что была знакома с обеими погибшими три года, в указанный период стирала их вещи. Престарелая дама и ее дочь были в хороших отношениях, очень любили друг друга. Платили всегда исправно и щедро. О том, как и на какие средства они жили, ей неизвестно. Полагает, что мадам Л. зарабатывала предсказанием будущего. Поговаривают, что она откладывала деньги. В доме посторонних она не встречала, ни когда заходила забирать одежду в стирку, ни когда возвращала ее. Уверена, что слуг они не держали. Ни одна из комнат в доме, кроме той, что на пятом этаже, не меблирована.

Пьер Моро, владелец табачной лавки, показывает, что почти четыре года продавал небольшими порциями мадам Л'Эспанэ курительный и нюхательный табак. Сам он родился в этом же районе и всю жизнь прожил неподалеку. Погибшая и ее дочь занимали дом, где были найдены их тела, больше шести лет. До них там проживал ювелир, который сдавал верхние комнаты внаем. Само здание принадлежало мадам Л. Ей не понравилось, в каком порядке жилец содержал ее собственность, поэтому она сама вселилась в дом, вовсе отказавшись от сдачи комнат. Старуха, похоже, впала в детство. За последние шесть лет свидетель видел ее дочь раз пять или шесть. Женщины вели очень уединенный образ жизни. Ходили слухи, что у них водились деньги. В разговорах соседей слышал, что мадам Л. была гадалкой, однако не верил. Ни разу не видел, чтобы в дом входил кто-нибудь, кроме старухи, ее дочери, посыльного (раз, может быть, два) и врача (раз восемь — десять).

Многочисленные другие свидетели и соседи дают примерно такие же показания. Никто не бывал в этом доме часто; есть ли у мадам Л. и

ее дочери ныне здравствующие родственники, неизвестно. Ставни на окнах, выходящих на улицу, открывались редко; окна, выходящие на задний двор, были закрыты всегда. Единственное исключение — окно большой комнаты в глубине здания на пятом этаже. Сам дом не старый и в хорошем состоянии.

Изидор Мюзе, жандарм, показывает, что был вызван к дому около трех часов утра, увидел у двери два или три десятка человек, которые пытались проникнуть внутрь. Через какое-то время дверь удалось открыть с помощью штыка (не лома). Сделать это оказалось несложно, поскольку это двойная, или складная, дверь, и ни сверху, ни снизу на засовы закрыта не была. Крики продолжались все время, пока дверь взламывалась, а прекратились неожиданно. Похоже, что кричавший или кричавшие испытывали страшную боль: крики были громкими и затихающими постепенно, а не короткими и быстрыми. Свидетель первым устремился наверх. Дойдя до первой лестничной площадки, услышал два голоса, громко и раздраженно спорящих: один — хриплый и сердитый, второй — визгливый, очень странный. Разобрал несколько слов, произнесенных первым голосом, который явно принадлежал французу. Совершенно уверен, что первый голос не был женским. Разобрал слова «sacré» и «diable»[58]. Визгливый голос принадлежал иностранцу. Сказать с уверенностью, мужской или женский голос, не может. Что произносил второй голос, не разобрал, но думает, что говорили по-испански. Состояние комнаты и тел свидетель описывает так же, как и мы во вчерашнем номере.

Анри Дюваль, сосед, по профессии серебряник, показывает, что был одним из первых, кто вошел в дом. В целом подтверждает показания Мюзе. После того как первой группе удалось проникнуть в подъезд, дверь снова заперли изнутри, чтобы не впустить толпу, которая быстро вырастала у входа, несмотря на столь ранний час. Визгливый голос, по мнению свидетеля, принадлежал итальянцу. Совершенно уверен, что не французу, однако утверждать, что голос был мужским, не может. Допускает, что голос мог быть женским. С итальянским языком не знаком. Слов не разобрал, но по звучанию совершенно точно определил, что говоривший — итальянец. С мадам Л. и ее дочерью был знаком лично, часто беседовал с обеими. Уверен, что визгливый голос не принадлежал ни одной из них.

Оденгеймер, ресторатор. Этот свидетель сам вызвался дать показания. По-французски не говорит, поэтому допрашивался через переводчика. Постоянно проживает в Амстердаме. Проходил мимо дома в то время, когда из него слышались крики. Продолжались они несколько минут, возможно, десять. Крики были продолжительными и громкими. Очень страшными, леденящими душу. Один из тех, кто первым вошел в дом. Подтверждает показания предыдущего свидетеля во всем, кроме одного. Уверен, что визгливый голос принадлежал мужчине, французу. Что было сказано, не разобрал. Голос был громким и быстрым, отрывистым. Говоривший явно был одновременно напуган и разозлен. Голос резкий, не столько визгливый, сколько резкий. Визгливым назвать такой голос не может. Хриплый голос несколько раз повторил «sacré» и «diable», один раз произнес «mon Dieu»[59].

Жюль Миньо, банкир, заведение «Миньо и сын» на улице Делорен. Старший из Миньо. У мадам Л'Эспанэ были сбережения. Весной ... года (восемь лет назад) открыла счет в его банке. Часто вносила небольшие суммы, но ничего не снимала. Впервые взяла деньги за три дня до смерти, лично сняв со счета четыре тысячи франков. Эта сумма была выплачена золотом и доставлена на дом служащим банка.

Адольф Ле Бон, служащий банка «Миньо и сын», показывает, что в тот день, около полудня, сопровождал мадам Л'Эспанэ до ее дома с четырьмя тысячами франков, уложенными в два мешка. Когда дверь открыли, вышла мадемуазель Л. и приняла из его рук один из мешков, в то время как старшая из женщин взяла второй. После этого он попрощался и ушел. На улице в это время не заметил никого. Улочка маленькая, очень пустынная.

Вильям Берд, портной, показывает, что был в составе группы, первой проникшей в дом. Англичанин. В Париже проживает два года. По лестнице поднялся одним из первых. Слышал спорящие голоса. Хриплый голос принадлежал французу. Несколько слов разобрал, но сейчас все вспомнить не может. Отчетливо услышал «sacré» и «mon Dieu». В какой-то момент слышал звук, как будто боролись несколько человек, звук драки, возни. Визгливый голос был очень громким, громче, чем хриплый голос. Уверен, что это был голос не англичанина. Больше похож на голос немца. Мог быть женским. Немецкого языка свидетель не знает.

Четверо из вышеуказанных свидетелей при повторном допросе показали, что дверь комнаты, в которой было найдено тело мадемуазель Л., когда группа до нее добралась, была заперта изнутри. Стояла полная тишина, не слышалось ни стонов, ни шума, ни каких-либо иных звуков. Когда дверь взломали, в комнате не оказалось никого. Окна и передней, и дальней комнаты были опущены и надежно заперты изнутри. Межкомнатная дверь закрыта, но не заперта. Дверь, ведущая из коридора в переднюю комнату, была заперта изнутри на ключ, вставленный в замочную скважину со стороны комнаты. На том же пятом этаже в передней части здания в начале коридора имеется еще одна небольшая комната, дверь в нее была приоткрыта. Эта комната завалена старыми кроватями, коробками и так далее. Все эти вещи аккуратно извлекли и внимательно осмотрели. Ни в одном из помещений здания не осталось и квадратного дюйма, который не осмотрели бы самым тщательным образом. Дымоходы проверили щетками. Здание пятиэтажное, с чердаками (мансардами). Люк, выходящий на крышу, крепко заколочен гвоздями, судя по его состоянию, не открывался уже несколько лет. Показания свидетелей относительно того, сколько прошло времени с момента, когда затихли спорящие голоса, до того, когда была взломана дверь в комнату, разнятся. Самое меньшее названное время — три минуты, самое большее — пять минут. Дверь удалось открыть с трудом.

Альфонсо Гарсио, гробовщик, показывает, что проживает на улице Морг. Испанец. Был в составе группы, вошедшей в дом. Наверх не поднимался: у него слабые нервы и ему нельзя волноваться. Спорящие голоса слышал. Хриплый голос принадлежал французу. Что было сказано, не разобрал. Визгливый голос принадлежал англичанину. В этом уверен. Английского языка не знает, но судит по звучанию.

Альберто Монтани, кондитер, показывает, что одним из первых поднялся по лестнице. Спорящие голоса слышал. Хриплый голос принадлежал французу. Несколько слов разобрал. Говоривший как будто в чем-то упрекал другого. Слов, произнесенных визгливым голосом, не разобрал. Речь была быстрой и отрывистой. Думает, что это мог быть русский. Общие показания подтверждает. Итальянец. С русскими никогда не разговаривал.

Некоторые из опрошенных свидетелей припомнили, что дымоходы во всех комнатах на пятом этаже были слишком узкими, чтобы через

них мог протиснуться человек. Под «щетками» подразумевались цилиндрические щетки, которыми пользуются трубочисты для прочистки труб. Эти щетки были пропущены через все трубы в здании. Черного хода, по которому кто-нибудь мог бы спуститься, пока группа поднималась вверх, нет. Тело мадемуазель Л. было так крепко втиснуто в дымоход, что извлечь его оттуда удалось только совместными усилиями четырех-пяти человек.

Поль Дюма, врач, показывает, что его вызвали освидетельствовать тела примерно на рассвете. Когда он прибыл, оба тела лежали на матрасе, снятом с кровати в той комнате, в которой нашли труп мадемуазель Л. Тело младшей из женщин было сильно ободрано и имело множественные ссадины и кровоподтеки. Тот факт, что ее затолкали в дымоход, вполне объясняет появление подобных следов. На горле имелись особенно сильные ссадины. Прямо под подбородком заметил несколько глубоких царапин рядом с несколькими синевато-багровыми пятнами, наверняка следами пальцев. Лицо было совершенно белым, глазные яблоки вылезли из орбит. Язык частично прокушен. На подложечной ямке обнаружил большой синяк, очевидно, оставленный коленом. По мнению месье Дюма, мадемуазель Л'Эспанэ была задушена насмерть неизвестным лицом или лицами. Труп матери был страшно изувечен. В той или иной степени пострадали все кости правой ноги и руки. Левая tibia[60] во многих местах раздроблена, так же как и большинство ребер с левой стороны. Все тело покрыто большими синяками и ссадинами. Определить, что могло нанести такие травмы, невозможно. Тяжелая деревянная дубинка или широкий железный прут, стул, любой большой, тяжелый и тупой предмет мог оставить такие следы, если бы находился в руках очень сильного мужчины. Женщина нанести удары такой силы не смогла бы никаким орудием. Голова жертвы, когда ее осматривал свидетель, была полностью отделена от тела и тоже сильно пострадала. Горло перерезано очень острым предметом, возможно, бритвой.

Александр Этьенн, хирург, был вызван для осмотра тел вместе с месье Дюма. Показания и выводы месье Дюма подтверждает.

Было опрошено еще несколько человек, но более никаких существенных дополнений не получено. В Париже еще не совершалось убийства более загадочного и необъяснимого... если убийство это было совершено человеческими руками. Полиция в

полной растерянности, что очень необычно для такого рода дел. Нет ни единой зацепки, которая могла бы подсказать хоть какое-нибудь решение.

В вечернем выпуске газеты сообщалось, что жители квартала Сен-Рок по-прежнему обеспокоены, что проведен повторный осмотр места преступления, и свидетелей допросили еще раз, но это не дало никаких результатов. Лишь в дополнении к статье указывалось, что был задержан и взят под стражу Адольф Ле Бон, хотя, кроме фактов, уже изложенных, ничто не указывает на его причастность к этому делу.

Дюпена, похоже, необычайно заинтересовал ход расследования. По крайней мере, так мне показалось по его поведению, поскольку сам он не говорил ничего. Только после того, как стало известно об аресте Ле Бона, он спросил у меня, что я думаю об этих убийствах.

Я мог только согласиться с остальными парижанами в том, что они представляются неразрешимой загадкой. Я не видел ровным счетом ничего, что могло бы вывести на след убийцы.

— Мы не должны судить о том, что произошло, — сказал Дюпен, — по результатам осмотра места происшествия. Парижская полиция, которую так превозносят за ее «догадливость», на самом деле всего лишь пронырлива и не более того. Действия ее совершенно лишены методичности, они видят не дальше собственного носа и думают только о том, что происходит сейчас, в данную минуту. Они трубят на весь свет о том, что принимаются все необходимые «меры» и «шаги», но в действительности меры эти часто настолько не соответствуют решаемым вопросам, что поневоле вспоминаешь месье Журдена, который *pour mieux entendre la musique*[61] требовал подать свой *robe de chambre*[62]. Не так уж редко результаты их работы вправду удивляют, но чаще всего за этим стоят всего лишь усердие и настойчивость. Когда эти качества не приносят плодов, все их расчеты идут насмарку. Видок, к примеру, был догадлив и деятелен. Но, не обладая тренированным мозгом, он постоянно ошибался, и причиной этому был именно напор, с каким он подходил к расследованию. Он слишком пристально всматривался в одну точку и этим ограничивал свое же поле зрения. Что-нибудь одно он видел необычайно ясно, но при этом обязательно терял из виду общую картину. Я хочу сказать, что, когда копаешь слишком глубоко, это тоже не всегда правильно. Правда не всегда обитает на дне колодца. Я даже могу сказать, что,

когда речь идет о более серьезных областях знаний, искать ее всегда надо на поверхности. Глубина находится в долинах, в которых мы ищем ее, а не на вершинах гор, с которых мы ее видим. Есть прекрасный пример того, какие бывают виды и источники ошибок такого рода. Это созерцание небесных тел. Если бросать на звезду быстрые взгляды, направленные чуть-чуть в сторону (то есть обратить на нее наружный край сетчатки, более восприимчивый к слабым световым образам, чем внутренний, что дает возможность увидеть ее отчетливее, чем если смотреть прямо на нее), то блеск звезды воспринимается полностью, и чем «прямее» наш взгляд, тем более тусклым становится блеск. При этом во втором случае на глаз падает большее количество лучей, но в первом восприятие их чище. Излишней вдумчивостью мы усложняем работу мысли и ослабляем ее. Даже Венера может исчезнуть с небесного свода, если всматриваться в нее слишком внимательно, слишком долго или слишком прямо.

Что касается этих убийств, давайте-ка мы сами осмотрим место происшествия, прежде чем делать какие-либо выводы. Думаю, это будет забавно (мне показалось, в данном случае слово это не очень к месту, но я промолчал), и кроме того, Ле Бон однажды оказал мне услугу, за которую я ему благодарен. Поедем, увидим все собственными глазами. Я знаком с Г., префектом полиции, так что получить необходимое разрешение будет несложно.

Разрешение было получено, и мы, не откладывая дело в долгий ящик, сразу же отправились на улицу Морг. Это одна из самых захудалых улочек между улицами Ришелье и Сен-Рок. Район этот расположен достаточно далеко от того квартала, где жили мы, поэтому до места мы добрались уже довольно поздно. Сам дом разыскать было нетрудно, поскольку напротив него до сих пор еще стояла группа зевак, с любопытством глазевших на его закрытые ставнями окна. Это был самый обыкновенный парижский дом с маленьким подъездом, рядом с которым стояла застекленная будка с поднимающейся панелью в окне, *loge du concierge*[63]. Прежде чем войти, мы прошли дальше по улице, свернули в переулок, потом снова свернули и оказались с задней стороны дома. При этом Дюпен осматривал окрестности и само здание с пристальным вниманием, которому я не находил объяснения.

Снова выйдя на улицу, мы подошли к двери, позвонили, и, после того как предъявили дежурным соответствующее разрешение, нас

впустили. Мы поднялись на пятый этаж, в ту комнату, где было найдено тело мадемуазель Л'Эспанэ и где до сих пор еще лежали оба трупа. Как обычно, в комнате был сохранен беспорядок. Все, что я увидел, в точности совпадало с описанием в «Газетт де Трибюн». Дюпен тщательно все исследовал, в том числе и тела жертв, после чего мы прошли в другую комнату, потом спустились во двор. Все это время рядом с нами находился жандарм. Осмотр продолжался дотемна, потом мы ушли. По пути домой мой компаньон ненадолго заглянул в редакцию одной из дневных газет.

Я уже упоминал о многочисленных причудах моего друга и о том, что *je les ménageais*[64] (в английском языке нет точного соответствия этой фразе). Теперь ему почему-то пришло в голову обрывать все мои попытки начать разговор об убийстве; заговорил он о нем только на следующий день, в полдень, неожиданно спросив, не заметил ли я чего-нибудь «особенного» на месте преступления.

Не знаю почему, но то, как он произнес слово «особенного», заставило меня вздрогнуть.

— Нет, ничего «особенного» я не заметил, — ответил я. — По крайней мере, ничего такого, чего бы мы уже не знали из газеты.

— Боюсь, что «Трибюн», — сказал он, — не постигла всей необычности этого ужасного происшествия. Но давайте забудем досужие домыслы сего издания. У меня создается впечатление, что эту загадку считают неразрешимой по той самой причине, которая в действительности указывает на то, что дело это очень простое. Я имею в виду самую чудовищность преступления. Полицию поставило в тупик отсутствие мотива, но объясняющего не само убийство, а его жестокость. Кроме того, они никак не могут сопоставить спорившие голоса с теми фактами, что наверху не оказалось никого, кроме убитой мадемуазель Л'Эспанэ, и что не было способа покинуть комнату, оставшись не замеченным поднимающейся по лестнице группой. Полный разгром комнаты, труп, засунутый вниз головой в дымоход, жуткие раны старшей из женщин — этих соображений вместе с уже упомянутыми и другими, которые мне нет нужды перечислять, хватило, чтобы парализовать силы полиции и лишить хваленой проницательности лучших правительственных агентов. Они допустили грубую, но распространенную ошибку — сочли необычное трудным для понимания. Но ведь именно благодаря таким отклонениям от обычного разум и находит путь к истине, если это вообще происходит. В расследованиях, подобных тому, которым мы сейчас занимаемся, стоит задаться вопросом не «Что случилось?», а «Что случилось такого, чего не случалось никогда раньше?». В сущности, легкость, с которой я приду, вернее, уже пришел к разгадке этой тайны, прямо пропорциональна ее кажущейся неразрешимости в глазах полиции.

Я ошеломленно уставился на своего друга, от удивления не в силах вымолвить ни слова.

— Сейчас я ожидаю, — продолжил он, взглянув на дверь комнаты, — ожидаю человека, который, возможно, и не совершал этой бойни, но некоторым образом причастен к ней. Вероятно, в худшей части преступлений он не повинен. Надеюсь, что я прав в этом предположении, поскольку именно на нем основывается мое прочтение этой загадки. С минуты на минуту я ожидаю увидеть его здесь, в этой комнате. Правда, он может и не прийти, но, по всей вероятности, придет, и, если он явится, его нужно будет задержать. Вот пистолеты, и мы с вами оба знаем, как пустить их в дело, если того потребуют обстоятельства.

Я взял пистолет, с трудом понимая, что делаю, и не веря своим ушам, а Дюпен продолжил рассуждения, больше напоминающие сценический монолог. Я уже отмечал, что в такие минуты он словно бы уходил в себя. Слова его были адресованы мне, но голос, хоть и совсем не громкий, звучал так, будто он говорил для кого-то, находившегося на значительном расстоянии. Взгляд его, не выражающий никаких чувств, был обращен на стену.

— То, что спорящие голоса, — сказал он, — которые слышала поднимавшаяся по лестнице группа людей, не принадлежали женщинам, полностью подтверждено показаниями. То есть вопрос, могла ли старуха сначала лишить жизни дочь, а потом совершить самоубийство, отпадает. Об этом я говорю исключительно ради того, чтобы быть методичным, поскольку мадам Л'Эспанэ не могла обладать силой, достаточной для того, чтобы затолкать труп дочери в дымоход таким образом, и характер ран, обнаруженных на ее собственном теле, полностью исключает возможность самоубийства. Следовательно, убийство было совершено третьей стороной, и именно ссору участников этой третьей стороны слышали свидетели. Давайте теперь обратимся... не к общим показаниям относительно услышанных голосов, а к тому «особенному», что в них имеется. Вы заметили в них что-нибудь особенное?

Я ответил, что все свидетели единодушно утверждали, что хриплый голос принадлежал французу, но мнения о том, кому принадлежал визгливый, или, как назвал его один человек, «резкий» голос, значительно разошлись.

— Вы говорите о самих показаниях, — сказал Дюпен, — но не об их особенности. То есть ничего необычного вы не заметили. Тем не менее в них было кое-что необычное. Свидетели, как вы отметили, соглашались насчет хриплого голоса, тут вопросов нет. Но, что касается визгливого голоса, особенность заключается не в том, что показания разнятся, а в том, что итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз, пытаясь его описать, приписывали его иностранцу. Каждый из свидетелей уверен, что этот голос не мог принадлежать его соотечественнику. Каждый из них сравнивает его со звучанием не какого-то знакомого ему иностранного языка, а, наоборот, незнакомого. Француз полагает, что это голос испанца, и «разобрал бы несколько слов», если бы понимал испанский. Голландец

приписывает его французу, но мы знаем, что этот свидетель «французского языка не понимает, поэтому допрашивался через переводчика». Англичанин думает, что это голос немца, хотя «немецкого языка не знает». Испанец не сомневается, что голос принадлежал англичанину, но судит исключительно по его звучанию. Итальянец считает, что это был голос русского, хотя «с русскими никогда не разговаривал». Второй француз расходится во мнении с первым и склоняется к тому, что это был голос итальянца, но, «не владея этим языком», как и испанец, судит «по его звучанию». Представьте, как необычно должен был звучать этот голос, чтобы вызвать такой сумбур в показаниях! Чтобы представители пяти стран Европы не услышали в нем ничего знакомого! Возможно, вы возразите, что это мог быть голос азиата или африканца. В Париже не так уж много азиатов и африканцев, но, не отрицая напрашивающегося вывода, я просто хочу привлечь ваше внимание к трем пунктам. Один из свидетелей называет голос «скорее резким, чем визгливым». Двое других указывают на то, что голос был «быстрым и отрывистым». Никто из свидетелей не услышал ни слов, ни звуков, похожих на слова.

— Мне не известно, — продолжил Дюпен, — какое впечатление производят на вас мои рассуждения, но я нисколько не сомневаюсь, что даже этой части показаний (части, в которой говорится о хриплом и визгливом голосах) достаточно для того, чтобы сделать обоснованные выводы, которые сами по себе могут навести на подозрение, способное направить расследование этой загадки в нужное русло. Я сказал «обоснованные выводы», но это выражение не в полной степени передает смысл того, что я имел в виду. Я хотел сказать, что эти выводы — единственно верные и что подозрение возникает неизбежно, как единственный результат. Впрочем, я пока умолчу о том, что это за подозрение. Я только хочу, чтобы вы помнили, что оно придало определенную форму, некую направленность моим розыскам в той комнате, где были совершены убийства.

Теперь давайте мысленно перенесемся в эту комнату. Что нас здесь интересует в первую очередь? То, каким образом убийцы ее покинули. Не будет преувеличением сказать, что ни вы, ни я не верим в сверхъестественное. Мадам и мадемуазель Л'Эспанэ были убиты не духами. Те, кто это сделал, были существами материальными и должны были уйти с места преступления согласно законам

материального мира. Но как? К счастью, ответ на этот вопрос можно искать только в одном направлении. Давайте последовательно рассмотрим все способы, которыми можно было покинуть комнату. Ясно, что убийцы находились в комнате, где было обнаружено тело мадемуазель Л'Эспанэ (или, по крайней мере, в соседней комнате), когда группа поднималась по лестнице. Следовательно, нас интересуют только эти две комнаты. Полиция сняла всю обивку с полов, потолков и стен, и если бы там был какой-нибудь тайный ход, он бы не укрылся от их внимания. Однако, не доверяя им, я сам там все осмотрел. Тайных ходов в этих комнатах действительно нет. Обе двери, ведущие из комнат в коридор, были заперты на ключ изнутри. Обратимся к дымоходам. Они имеют обычную ширину, но футах в восьми — десяти над каминами сужаются настолько, что через них не пройдет и большая кошка. Следовательно, поскольку выход через них совершенно невозможен, остаются только окна. Через окна передней комнаты никто не мог выбраться незамеченным, поскольку на улице к тому времени уже собралась толпа и беглецов наверняка увидели бы. Значит, убийцы должны были выйти через заднюю комнату, с окнами во двор. Итак, придя к этому однозначному заключению, мы, как люди мыслящие, не должны отвергать его на том основании, что это кажется невозможным. Нам остается лишь доказать, что эта «невозможность» на самом деле мнимая.

В этой комнате два окна. Одно из них не загорожено мебелью и полностью доступно. Нижняя часть второго закрыта спинкой кровати, которая стоит к нему впритык. Первое из них было прочно закрыто изнутри. Никто из тех, кто пытался его открыть, не смог этого сделать. Как оказалось, на его раме, с левой стороны, просверлено большое отверстие, в которое вставлен толстый гвоздь почти по самую шляпку. При осмотре второго окна было обнаружено такое же отверстие, куда был вставлен точно такой же гвоздь. Все попытки поднять раму этого окна также не увенчались успехом. Это полностью убедило полицию, что искать следы побега нужно в другом месте. Поэтому они и решили, что извлекать гвозди и открывать окна не имеет смысла.

Мой осмотр был более тщательным, и причину этого я только что указал: я знал, что то, что кажется невозможным, на самом деле таким не является.

Я стал рассуждать *a posteriori*[65]. Убийцы наверняка скрылись через одно из этих окон. И в этом случае они не могли закрепить раму изнутри (а ведь обе рамы были закреплены). Очевидность этого соображения пресекла дальнейшие поиски полиции в этом направлении. И все-таки обе рамы были закреплены. Значит, каким-то образом они должны закрываться автоматически. Этот вывод неизбежен. Я встал на свободный подоконник, с некоторым усилием извлек гвоздь и попытался поднять раму. Как я и ожидал, моим усилиям она не поддавалась. Я понял, что должна существовать потайная пружина. Эта догадка, по крайней мере, не опровергла моих изначальных предположений, несмотря на то что еще не было ясности с гвоздями. После внимательного осмотра я нашел пружину. Когда я нажал на нее и увидел, что она сработала, раму уже можно было не поднимать.

После этого я вернул на место гвоздь, предварительно внимательно его осмотрев. Тот, кто пролез через это окно, мог опустить за собой раму, и пружина закрыла бы ее, но гвоздь не мог сам встать на прежнее место. Вывод был очевиден, и он еще больше сужал круг моих изысканий. Убийцы бежали через второе окно. Если предположить, что потайные пружины на обоих окнах имели одинаковое устройство (что вполне вероятно), значит, разницу нужно было искать в гвоздях, или, по крайней мере, в том, как они крепились. Взобравшись на матрац, я внимательнейшим образом изучил ту часть рамы, которая находилась за спинкой кровати. Запустив туда руку, я нащупал потайную пружину и нажал. Как я и думал, она сработала точно так, как и ее соседка на другом окне. После этого я перешел к осмотру гвоздя. Он был таким же толстым, как и первый, и в отверстие вставлен точно так же, почти по самую шляпку.

Наверняка вы решите, что меня это озадачило, но, если подобная мысль пришла вам в голову, значит, вы не понимаете самой сути индуктивного мышления. Если говорить языком охотников, я ни разу «не потерял след». Во всей цепочке умозаключений не было ни единого слабого звена. Я проследил загадку до ее источника, и источником этим оказался гвоздь. Выглядел он в точности так же, как гвоздь в соседнем окне, но этот факт, каким бы убедительным он ни казался, не значил ровным счетом ничего по сравнению с моей уверенностью в том, что именно в этом предмете заключался ключ к

разгадке всей тайны. «Что-то с этим гвоздем не так», — сказал я сам себе, прикоснулся к нему и легко вытащил из отверстия. Под шляпкой был примерно дюйм стержня, остальная его часть, отломанная, оставалась внутри рамы. Сломан гвоздь был давно, на это указывала ржавчина на краях слома, и сломали его ударом молотка, который к тому же частично утопил шляпку в отверстие на верхней части нижней рамы. Я вернул этот обломок на место, и в таком положении он не отличался от целого гвоздя. Трещины видно не было. Нажав на пружину, я осторожно приподнял раму на несколько дюймов, шляпка гвоздя поднялась вместе с ней, оставаясь при этом на своем месте. Я закрыл окно, и снова гвоздь выглядел как целый.

Таким образом, загадка была решена. Убийца сбежал через окно над кроватью. Рама захлопнулась под собственным весом (или же была опущена намеренно), и потайная пружина защелкнулась. Ее противодействие полиция приняла за противодействие гвоздя, поэтому и посчитала дальнейшее обследование окна необязательным.

Следующий вопрос: каким образом убийцам удалось спуститься? Наша с вами прогулка вокруг здания дала мне удовлетворительный ответ. Примерно в пяти с половиной футах над интересующим нас подоконником проходит громоотвод. С него перебраться на окно, не говоря уже о том, чтобы проникнуть через него в дом, совершенно невозможно. Однако я обратил внимание на то, что на четвертом этаже на окнах установлены ставни того типа, который парижские плотники называют «ferrades»[66]. Сейчас такие ставни мало кто ставит, но на старых домах в Лионе и Бордо их можно видеть достаточно часто. Они имеют форму обычной двери (одинарной, не двустворчатой), только нижняя часть у них зарешечена или имеет сквозные отверстия наподобие шпалеры, идеально подходящие для того, чтобы за нее можно было ухватиться руками. В нашем случае эти ставни довольно широкие, три с половиной фута. Когда мы видели их, обходя дом с задней стороны, на обоих окнах они были наполовину открыты, то есть выступали из стены под прямым углом. Возможно, полицейские тоже осматривали дом с тыльной стороны, но если и так, то, глядя на эти «ferrades» в поперечном разрезе (скорее всего, так и было), они не обратили внимания на их необычную ширину, во всяком случае, не придали этому значения. Я не ошибусь, если скажу, что, придя к выводу о невозможности бегства через эти окна, ставни, естественно,

внимательно осматривать они не стали. Мне же стало совершенно ясно, что ставень над кроватью, если его открыть полностью, так, чтобы он прислонился к стене, оказывался всего лишь в двух футах от громоотвода. К тому же было видно, что при наличии определенной сноровки и смелости при таком расположении ставня с громоотвода можно проникнуть в комнату через окно. С расстояния два с половиной фута (допустим, ставень был открыт полностью) грабитель мог ухватиться за прорези в его нижней части, потом отпустить громоотвод и упереться ногами в стену, после чего оттолкнуться от нее и перелететь на ставне к окну. Если предположить, что рама окна в это время была поднята, он мог даже качнуться и влететь прямо в комнату.

Я хочу, чтобы вы обратили особенное внимание на то, что проделать такой сложный и опасный трюк можно, лишь обладая очень большой ловкостью. Пока что моя цель — доказать вам, что, во-первых в принципе это возможно. А во-вторых (и это главное), я хочу, чтобы вы представили себе, какое поразительное, прямо-таки сверхъестественное проворство для этого требуется.

Несомненно, вы скажете, что, выражаясь языком адвокатов, «в моих интересах» недооценить трудность подобной затеи, а не настаивать на ее сверхсложности. Для суда это, может быть, обычное дело, но для здравого разума такой подход неприемлем. Моя единственная цель — истина. Сейчас мне нужно подвести вас к тому, чтобы вы сопоставили «очень большую ловкость», о которой я только что говорил, с «очень необычным» визгливым (или резким) и «неровным» голосом, который вызывал такие разногласия в показаниях свидетелей и в звучании которого не прослеживается разбиение на слоги.

После этих слов Дюпена в голове у меня забрезжила какая-то смутная, оформившаяся лишь наполовину догадка. Я словно находился на краю понимания, но был не в силах понять все полностью. Так иногда кажется, что ты вот-вот что-то вспомнишь, но ничего не выходит. Мой друг тем временем продолжил рассказ:

— Как видите, от вопроса о выходе из здания я перешел к вопросу о входе в него. Я хотел показать, что они оба осуществлены одним и тем же способом, в одном и том же месте. Давайте вернемся к комнате. Вспомним, как она выглядела. Как говорилось в отчете, ящики комода были выдвинуты, в них явно рылись, хотя многие вещи остались

нетронутыми. Но это не более чем догадка, причем довольно бестолковая. Откуда известно, что, кроме обнаруженного, в ящиках было что-то еще? Мадам Л'Эспанэ и ее дочь жили очень замкнуто, гостей не принимали, редко выходили из дома, богатый гардероб им был ни к чему. Вещи, найденные в комодке, были довольно приличного качества, и вряд ли бы у этих дам было что-то более дорогое. Если грабитель вообще что-то забрал, почему он не взял лучшее? Почему не взял все? Короче говоря, почему вместо того, чтобы забрать четыре тысячи золотых франков, он стал возиться с грудой тряпок? Золото ведь осталось. Почти вся сумма, названная банкиром месье Миньо, найдена в мешках на полу. Исходя из этого, я хочу, чтобы вы выбросили из головы ошибочное представление о мотиве, которое сформировалось в мозгах полицейских на основании той части свидетельских показаний, где речь идет о деньгах, доставленных к двери дома. Совпадения в десятки раз более необычные, чем это (доставленные деньги и случившееся спустя три дня убийство получателя), происходят с каждым из нас постоянно, но мы на них даже не обращаем внимания. Вообще, совпадения — это настоящий камень преткновения для того разряда мыслителей, которым неведомо понятие теории вероятностей, а ведь именно этой теории обязаны основные отрасли человеческих изысканий своими самыми яркими примерами. В нашем случае, если бы золото исчезло, факт его доставки за три дня до убийства превратился бы в нечто большее, чем совпадение. Он стал бы подтверждением такого представления о мотиве. Однако при данных обстоятельствах дела, если мы предположим, что мотивом преступления было золото, нам придется признать, что злоумышленник оказался нерешительным идиотом, который попросту забыл забрать свою добычу.

Теперь, помня все те пункты, на которые я обращал ваше особое внимание (странный голос, необычайная ловкость и необъяснимое отсутствие мотива для столь зверского преступления), давайте рассмотрим, как происходили сами убийства. Женщина была задушена голыми руками, ее труп затолкали в дымоход вниз головой. Обычные убийцы так не поступают. И уж тем более не избавляются от тел своих жертв подобным образом. Вы только представьте, в каком положении труп находился в дымоходе. Я думаю, вы согласитесь, что в этом есть что-то... *outré*[67]... что-то совершенно выходящее за рамки нашего

представления о поступках, на которые способен человек, пусть даже самый опустившийся. Подумайте также о том, какой силой нужно обладать, чтобы так затолкать тело в дымоход, что извлечь его оттуда удалось лишь совместными усилиями нескольких человек, и то с большим трудом.

Теперь давайте обратимся к еще одному примеру использования этой поразительной силы. На каминной полке лежали несколько густых прядей человеческих волос. Их вырвали с головы. Наверняка вы знаете, какая сила требуется для того, чтобы вырвать одновременно хотя бы двадцать — тридцать волосков. Вы не хуже меня видели эти пряди. На их корнях (действительно, жуткое зрелище!) остались куски кожи — верный признак того, какую невообразимую силу нужно было приложить для того, чтобы разом вырвать, возможно, полмиллиона волосков. Горло старухи было не просто перерезано, правильнее будет сказать, что ее голова была отсечена от тела, и сделано это было обычной бритвой. Воистину бесчеловечная жестокость, вы не находите? О кровоподтеках на теле мадам Л'Эспанэ я вообще не говорю. Месье Дюма и его многоуважаемый помощник месье Этьенн решили, что их оставило какое-то тупое орудие, и эти господа совершенно правы. Этим тупым орудием была каменная кладка во дворе, на которую упало тело из окна, расположенного над кроватью. Эта идея, какой бы простой она ни казалась, не пришла в голову полицейским по той же причине, по которой они не обратили внимания на ширину ставней: когда они увидели следы ногтей, мысль о том, что окна вообще могли открываться, уже не приходила им в голову.

Если ко всему этому добавить странный беспорядок в комнате, мы сможем соединить воедино необыкновенную ловкость, нечеловеческую силу, неистовую жестокость, полное отсутствие мотива, нелепость этого жуткого происшествия, своим зверством чуждого природе человека, и нечленораздельный голос, звучание которого не знакомо людям разных национальностей. Что из этого следует? Какое впечатление произвели на вас мои рассуждения?

Когда Дюпен задал мне этот вопрос, я содрогнулся от ужаса.

— Это сотворил сумасшедший, — сказал я. — Какой-нибудь обезумевший маньяк, сбежавший из ближайшего *maison de santé*[68].

— В некоторой степени ваше предположение не лишено смысла. Однако голоса сумасшедших, даже во время самых сильных припадков, не звучат так, как свидетели описывают визжащий голос. Безумцы ведь тоже имеют национальность, и речь их, какими бы бессмысленными ни были их слова, всегда поддается членению на слоги. К тому же волосы у сумасшедших не бывают похожими на те, которые я сейчас держу в руках. Я вытащил этот небольшой клочок из окоченевших пальцев мадам Л'Эспанэ. Что вы о них думаете?

— Дюпен! — ошеломленно воскликнул я. — Какие странные волосы... Но это не человеческие волосы!

— Я и не говорил, что они принадлежат человеку, — сказал он. — Однако, прежде чем мы разберемся с этим вопросом, я хочу, чтобы вы взглянули вот на этот небольшой набросок, который я начертил на бумаге. Он в точности воспроизводит то, что в одной части показаний было названо «темными кровоподтеками и глубокими следами от ногтей» на шее мадемуазель Л'Эспанэ, а в другой (в показаниях месье Дюма и Этьенна) — «синевато-багровыми пятнами, явно следами пальцев». Как видите, — продолжил мой друг, раскладывая на столе лист бумаги, — по данному рисунку можно определить, насколько крепкой была эта ужасная хватка. Не видно, чтобы пальцы хоть где-нибудь сместились. Они — возможно, до самой смерти жертвы — оставались на тех местах, куда попали изначально. А теперь попробуйте одновременно приложить пальцы к рисунку так, чтобы они попали на изображения.

Я попытался это сделать, но у меня ничего не вышло.

— Возможно, мы действуем не совсем правильно, — сказал он. — Бумага разложена на столе, но человеческая шея имеет цилиндрическую форму. Вот полено примерно такого же обхвата. Оберните бумагу вокруг него и попробуйте еще раз.

Я сделал это, однако попасть пальцами в указанные места оказалось еще труднее.

— Этот след, — заметил я, — был оставлен не человеческой рукой.

— А теперь, — ответил Дюпен, — прочитайте вот этот отрывок из Кювье.

Это было подробное анатомическое и общее описание большого бурого орангутанга, обитающего на Ост-Индских островах. Огромное тело, невероятная сила и поразительная ловкость, злой нрав и

склонность к подражательству этого млекопитающего достаточно известны всем. В голове у меня тут же сложилась жуткая картина убийства.

— Описание его пальцев, — сказал я, прочитав указанный отрывок, — полностью совпадает с вашим рисунком. Насколько я вижу, такие следы пальцев не могло оставить ни одно другое животное, кроме орангутанга данного вида. Этот клочок шерсти тоже похож на шерсть зверя, которого описывает Кювье. Но мне по-прежнему ясны не все подробности этой страшной загадки. К тому же слышали-то два голоса, и один из них бесспорно принадлежал французу.

— Верно, очевидно, вы вспомните и те слова, которые этот голос произнес. Их услышали почти все, кто был тогда в доме. Это слова «mon Dieu!». Один из свидетелей (кондитер Монтани) в тех обстоятельствах совершенно справедливо описал их как выражение протеста или упрека. Вот эти-то два слова и дали мне надежду разгадать загадку. Француз знал, что произошло убийство. Возможно — даже очень вероятно, — что он никоим образом не причастен к той кровавой вакханалии, которая разыгралась в доме на улице Морг. Орангутанг мог просто сбежать от него. Может быть, француз гнался за ним до самой квартиры мадам Л'Эспанэ, но в сложившихся обстоятельствах не смог его поймать. Впрочем, все это лишь предположения. Я не стану развивать эту версию (назвать ее чем-то другим я не могу), поскольку те призрачные соображения, на которых она основывается, недостаточно глубоки для того, чтобы мой собственный разум принял их, и я не имею права считать, что кому-то другому они покажутся более убедительными. Итак, назовем это версией и будем относиться к ней соответственно. Если наш француз, как я полагаю, в самом деле не повинен в этом зверстве, объявление, которое вчера вечером, когда мы возвращались домой, я дал в «Ле Монд» (газете, посвященной вопросам судоходства, весьма популярной среди моряков), приведет его к нам.

Он протянул мне небольшую бумажку, и я прочитал следующее:

«ПОЙМАН в Булонском лесу ранним утром ...-го числа (в день убийства) очень крупный рыжий орангутанг борнейского вида. Владелец (как установлено, моряк с мальтийского судна) может получить свою собственность обратно при условии удостоверения им

своих прав и возмещения определенных убытков, связанных с поимкой и содержанием животного. Обращаться по адресу: предместье Сен-Жермен, улица ... дом №...au troisième»[69].

— А откуда вы знаете, — спросил я, — что этот человек — моряк, да еще с мальтийского судна?

— Я этого не знаю, — сказал Дюпон. — И совсем в этом не уверен. Но вот небольшой обрывок ленточки. Судя по форме и по тому, как она засалена, ею, скорее всего, перевязывали волосы, сплетенные в косицу, как это любят делать матросы. Кроме того, она завязана морским узлом, характерным для мальтийцев. Я подобрал эту ленточку под громоотводом. Принадлежать одной из убитых она не могла. Если даже мои выводы относительно этой ленты окажутся ошибочными и наш француз в действительности не является моряком с мальтийского судна, вреда это не принесет. Если я ошибся, он просто подумает, что меня сбили с толку те или иные обстоятельства, в которые ему не нужно вникать. Но если я прав, это дает нам в руки хороший козырь. Знающий о преступлении француз, хоть он и не виновен, наверняка задумается, прежде чем откликнуться на объявление и явиться сюда за орангутангом. Он будет размышлять следующим образом: я невиновен; я — человек небогатый; мой орангутанг стоит немало, а в моем положении это вообще целое состояние; почему я должен терять его из-за каких-то глупых опасений? Вот же он, совсем рядом, только руку протяни. Поймали его в Булонском лесу, от места преступления это довольно далеко, и кому придет в голову подозревать в убийстве это существо? Полиция в тупике, у них нет ни одной зацепки. Даже если они выйдут на животное, им не удастся доказать, что я знал об убийстве. И самое главное: обо мне знают. Тот, кто дал это объявление, считает меня владельцем животного. Что ему еще известно, я не знаю. Если он знает, что хозяин орангутанга я, и если я не потребую вернуть столь ценную собственность, это может вызвать подозрение, по крайней мере, относительно животного. Мне незачем привлекать лишнее внимание к себе или к зверю. Я откликнусь на объявление, заберу орангутанга и буду держать его в надежном месте, пока шум не уляжется.

И в это мгновение с лестницы донеслись шаги.

— Держите пистолет наготове, — шепнул мне Дюпен. — Но не показывайте его и не пускайте в дело, пока я не подам знак.

Входную дверь в здание мы оставили открытой, поэтому посетитель вошел без звонка и поднялся по лестнице на несколько ступенек, но потом, похоже, засомневался — шаги пошли вниз. Дюпен метнулся к двери, но тут шаги снова стали приближаться. Больше он не колебался и шел твердо, уверенно. Потом раздался стук в дверь.

— Входите, — непринужденным жизнерадостным голосом откликнулся Дюпен.

Человек вошел. Это был моряк, высокий, крепкий, мускулистый мужчина, судя по взгляду, отчаянный малый, но не сказать, чтобы отталкивающей наружности. Сильно загорелое лицо его было наполовину скрыто бакенбардами и пышными усами. В руке он держал толстую массивную дубовую трость, но другого оружия заметно не было. Он неуклюже поклонился и пожелал нам доброго вечера по-французски. Выговор его, хоть чем-то и смахивал на невшательский, в целом выдавал в нем парижанина.

— Садитесь, друг мой, — сказал Дюпен. — Я полагаю, вы пришли за орангутангом. Верите ли, я почти завидую вам! Иметь такое прекрасное животное, да к тому же еще и дорогое, наверное. Как вы думаете, сколько ему лет?

Моряк глубоко вздохнул, как человек, сбросивший с себя тяжкий груз, и ответил уверенным голосом:

— Я не знаю, как это определить, но ему не больше четырех-пяти лет. Вы здесь его держите?

— Нет-нет, здесь у нас негде его держать, так что мы его оставили в платной конюшне на улице Дюбур, это недалеко. Вы получите его утром. Вам, конечно же, не трудно будет удостоверить свои права?

— Ясное дело, месье.

— Мне будет жаль с ним расстаться, — вздохнул Дюпен.

— О, не подумайте, что ваши труды пропадут даром, месье, — воскликнул человек. — За то, что вы нашли животное, я готов отблагодарить вас... В разумных пределах.

— Что ж, — ответил мой друг, — это справедливо. Надо подумать... Что бы попросить? О, знаю! В качестве благодарности вы мне расскажете все, что вам известно об убийствах на улице Морг.

Последние слова Дюпен произнес очень тихо и спокойно. Точно так же спокойно он подошел к двери, запер ее и опустил ключ в карман. После этого достал из внутреннего кармана пистолет и с совершенно невозмутимым видом положил его перед собой на стол.

Лицо моряка вспыхнуло, словно в приступе лихорадки. Он вскочил, схватился за трость, но тут же снова опустился на стул, задрожал всем телом и стал бледен как сама смерть. Он молчал, и мне даже стало искренне жаль его.

— Друг мой, — проникновенно произнес Дюпен, — вы тревожитесь совершенно напрасно, поверьте! Мы вовсе не хотим причинить вам зла. Я даю вам слово человека чести и француза, что вам ничего не грозит. Мне прекрасно известно, что вы не виновны в том, что произошло на улице Морг, хотя отрицать, что вы имеете к этому определенное отношение, нет смысла. Я думаю, вы уже поняли, что у меня есть некоторые источники информации касательно этого дела... Такие источники, которых вы даже представить себе не можете. Итак, дело обстоит следующим образом. Вы не сделали ничего такого, в чем могли бы себя упрекнуть... По крайней мере, ничего преступного. Вы даже ничего не взяли из той квартиры, хотя могли это сделать безнаказанно. Вам нечего скрывать. С другой стороны, законы чести обязывают вас рассказать все, что вам известно, поскольку сейчас в тюрьме сидит невинный человек, которого обвиняют в преступлении, коего он не совершал, и именно вы можете указать истинного преступника.

Пока Дюпен говорил, моряк успел в значительной степени прийти в себя, но от его прежней самоуверенности не осталось и следа.

— Что ж, так и быть, — немного помолчав, промолвил он. — Я выложу вам все начистоту, и да поможет мне Бог... Да только вряд ли вы поверите хотя бы половине из того, что я расскажу... Не такой я дурак, чтобы на это надеяться. И все-таки я не виновен, поэтому расскажу все, что знаю, чем бы это мне ни грозило.

Рассказ его сводился к следующему. Не так давно он побывал на Индонезийском архипелаге. С компанией моряков высадился на Борнео и отправился на прогулку вглубь острова. Там он с одним товарищем и поймал орангутанга. Товарищ вскоре умер, поэтому он стал единственным хозяином животного. С огромными трудностями, вызванными крайне беспокойным характером и свирепостью своего

пленника, ему все же удалось привезти обезьяну в Париж и поселить у себя дома, где, не желая привлекать к себе внимание любопытных соседей, он держал ее в тайне, дожидаясь, когда у нее заживет нога, в которую на корабле попала заноза. Животное он собирался продать.

Вернувшись ночью, а вернее утром, в день убийства домой после какой-то матросской пирушки, он увидел орангутанга у себя в спальне, куда тот вломился, выбравшись из соседнего чулана, где до сих пор был (как предполагалось) надежно заперт. С бритвой в руке и намыленной мордой, он сидел перед зеркалом и пытался бриться. Наверняка обезьяна повторяла движения хозяина, за которым подсмотрела через замочную скважину. Придя в ужас от вида такого опасного орудия в руках столь свирепого существа, которое к тому же достаточно разумно, чтобы пустить его в ход, моряк на какое-то время замер в нерешительности. Раньше ему всегда удавалось умирять животное, даже когда у того случались неукротимые приступы бешенства, с помощью хлыста. За него он взялся и на этот раз. Увидев это, орангутанг в ту же секунду выскочил за дверь комнаты, скатился по лестнице вниз и оттуда через окно, которое, к несчастью, оказалось открытым, выпрыгнул на улицу.

Француз в отчаянии бросился за ним. Обезьяна, по-прежнему держа в руке бритву, отбегала на какое-то расстояние, останавливалась, размахивая руками и гримасничая, дожидалась, пока преследователь оказывался совсем рядом, после чего отбегала дальше и снова останавливалась. Погоня эта продолжалась довольно долго. В три часа утра улицы, естественно, были безлюдны. На одном из переулков рядом с улицей Морг внимание беглеца привлек свет в открытом окне комнаты мадам Л'Эспанэ на пятом этаже ее дома. Бросившись к зданию, он схватился за громоотвод, необычайно проворно вскарабкался по нему наверх, взялся за ставень, полностью открытый и прислоненный к стене, и, повиснув на нем, влетел в окно прямо к спинке кровати. Весь трюк занял не больше минуты. Устремившись в комнату, орангутанг оттолкнул ставень, и тот встал на место.

Моряка это обрадовало и одновременно смутило. Теперь у него появилась надежда наконец поймать зверя, поскольку единственным выходом из этой ловушки для него оставался все тот же громоотвод, на котором его можно было перехватить внизу. Но, с другой стороны, никто не знал, чем он решит заняться в доме, и это не могло не

беспокоить. Эти соображения заставили человека пуститься следом за беглецом. Вскрабкаться по громоотводу не так уж сложно, тем более для моряка, однако, когда он поднялся на уровень окна, которое было слева от него, ему пришлось остановиться. Теперь наибольшее, что он мог сделать, это немного податься вперед и рассмотреть часть комнаты. Сделав это, от ужаса увиденного он чуть не разжал руки и не упал на землю. Именно в этот миг и начались истошные вопли, которые разбудили обитателей улицы Морг. Мадам Л'Эспанэ с дочерью, обе в ночных сорочках, очевидно, были заняты тем, что складывали какие-то бумаги в упоминавшийся выше железный сейф, который выкатили на середину комнаты. Он был открыт, и содержимое его лежало рядом на полу. Жертвы, должно быть, сидели спиной к окну, и, судя по тому, что крики начались не сразу после того, как зверь проник в комнату, вторжение это было сначала не замечено. Звук ударившегося о стену ставня, естественно, приписали порыву ветра.

Когда моряк заглянул в окно, огромное животное держало мадам Л'Эспанэ за волосы (распущенные, потому что она в это время причесывалась) и движениями бровей водило у нее перед лицом бритвой. Дочь лежала на полу не шевелясь — она была без чувств. Крики старухи и ее попытки вырваться (во время которых и были сорваны с головы волосы), очевидно, изменили первоначально миролюбивое настроение орангутанга и разозлили его. Одним резким взмахом мускулистой руки он чуть не отсек голову женщины от тела. Вид крови превратил недовольство в безумную ярость. Скрежеща зубами и дико сверкая глазами, он набросился на тело девушки и, впившись страшными когтями ей в горло, сжимал его до тех пор, пока несчастная не умерла. Мечущийся взгляд животного в этот миг упал на изголовье кровати, за которым в окне застыло окаменевшее от ужаса лицо его хозяина. Неистовство животного, которое, несомненно, вспомнило хлыст, тут же сменилось страхом. Понимая, что заслуживает наказания, орангутанг, похоже, решил скрыть свидетельства своего кровавого проступка. Он стал взволнованно метаться по комнате, опрокидывая и ломая мебель, стащил с кровати матрац и, в довершение, схватил сначала труп дочери и запихнул его в дымоход, где тот впоследствии был обнаружен, а потом сгреб тело старухи и выбросил в окно головой вперед.

Когда обезьяна приблизилась к окну с изувеченным телом, ошеломленный моряк отпрянул и не спустился, а скорее съехал вниз по громоотводу, после чего со всех ног бросился домой, с ужасом думая лишь о последствиях этой бойни и позабыв всякое волнение о судьбе своего питомца. «Разговор», услышанный на лестнице поднимающейся группой, был испуганным восклицанием француза и визгом разъяренного животного.

Мне почти нечего добавить. Орангутанг, скорее всего, выбрался из комнаты и спустился вниз по громоотводу за считанные секунды до того, как была взломана дверь. Оконная рама захлопнулась случайно, когда он пролезал через окно. Спустя некоторое время хозяин сам поймал его и продал Зоологическому саду, выручив большую сумму. Ле Бона освободили, как только мы изложили истинную суть дела (с некоторыми замечаниями Дюпена) в конторе префекта полиции. Однако этот чиновник, хоть и настроенный вполне благожелательно к Дюпену, не смог скрыть некоторого недовольства тем, как все обернулось, и не удержался от пары язвительных замечаний, смысл которых сводился к тому, что каждый должен заниматься своим делом.

— Пусть говорит что хочет, — сказал мне позже Дюпен, оставивший слова полицейского без ответа. — Он может ворчать сколько его душе угодно, ну а мне достаточно того, что я побил противника на его же территории. Впрочем, то, что он не смог разгадать эту загадку, вовсе не так удивительно, как ему кажется, поскольку наш друг префект, честно говоря, слишком хитер, чтобы мыслить глубоко. Мудрость его лишена «стержня». Это как бы одна голова без тела, как изображают богиню Лаверну... В лучшем случае голова и плечи, как у трески. И все же он — славный малый. Особенно я уважаю его за то, с каким мастерством он выставляет себя умником. Я имею в виду то, как он «*de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas*»[70].

Падение дома Ашеров

Son coeur est un luth suspendu: Sitôt qu'on le touche, il resonance.
Его сердце — воздушная лютня, Прикоснись — и она зазвучит.

Пьер де Беранже

На протяжении всего осеннего дня, тусклого и беззвучного, под небом, обремененным низкими облаками, я ехал в одиночестве по угрюмой равнине, и наконец, когда на землю уже пали вечерние тени, передо мной предстал мрачный дом Ашеров. Не знаю почему, но едва я взглянул на это строение, чувство безысходной тоски охватило меня. Я назвал ее «безысходной», потому что она не была смягчена тем поэтическим, почти сладостным чувством, которое обыкновенно испытываешь даже перед самыми суровыми и грозными явлениями природы. Я смотрел на дом, высившийся на фоне самого обычного ландшафта, на его отсыревшие стены, на окна, подобные мертвым глазницам, на редкие кусты жухлой осоки, на седые от лишайников стволы обветшавших деревьев — и душа моя испытывала такое уныние, которое можно сравнить разве что с пробуждением от яркого сна, наваянного опиумом, с этим горестным и внезапным возвращением к повседневности.

Сердце мое наполнил леденящий холод, меня томила тоска, мысль цепенела, и напрасно воображение пыталось ее подхлестнуть — она была неспособна настроиться на более возвышенный лад. Отчего же это, подумал я, отчего меня так угнетает один только вид дома Ашеров? Я не находил разгадки и не мог справиться со смутными, непостижимыми образами, которые осаждали меня, пока я смотрел и размышлял. Оставалось утешаться мыслью, что, хотя иные сочетания самых простых предметов имеют над нами особенную власть, постичь природу этой власти мы еще не можем. Возможно, подумал я, стоит лишь под иным углом взглянуть на детали одной и той же картины — и гнетущее впечатление исчезнет. Поэтому я направил коня к обрывистому берегу угрюмого озера, чья недвижная черная гладь тускло мерцала у самого дома, и взглянул вниз — но опрокинутые, отраженные в воде серые тростники, ужасные остовы деревьев и безучастно глядящие окна заставили меня снова содрогнуться от чувства еще более тягостного, чем прежде.

Тем не менее, в этой обители печали мне предстояло провести несколько недель. Владелец дома, Родерик Ашер, в ранней юности был одним из моих близких друзей, но прошло уже много лет с тех пор, как мы виделись в последний раз. Несмотря на это, недавно я получил от него письмо — настолько бессвязное, полубезумное и настойчивое, что оно подразумевало только одну форму ответа — личный приезд.

Каждая его строка дышала мучительной тревогой. Ашер писал об острых физических страданиях, о душевном расстройстве, которое угнетало его, и о том, как он жаждет повидаться со мной — своим лучшим и, больше того, единственным другом, как надеется, что радость побыть вместе со мной несколько облегчит его муки. В том же тоне было высказано еще многое другое — и я, ни секунды не колеблясь, откликнулся на призыв, который все же показался мне весьма необычным.

Подростками мы действительно были закадычными друзьями, но, несмотря на это, я почти ничего не знал о моем друге. Он всегда был крайне сдержан. Знал я только, что его род, весьма древний, с незапамятных времен отличался особенной утонченностью чувств, которая проявлялась в творениях высокого искусства, а в недавнее время нашла выход в добрых делах, в непоказной щедрости, а также в увлечении музыкой: в этом семействе музыке предавались со страстью, предпочитая не общепризнанные произведения и доступные красоты, а сложность и изысканность. Также мне было известно одно примечательное обстоятельство: как ни стар был род Ашеров, это древо ни разу не дало жизнеспособной ветви; иными словами, род продолжался только по прямой линии, и, если не считать пустячных отклонений, так было всегда... Мысленно сопоставляя облик этого дома со славой, которая шла о его обитателях, и размышляя о том, как за века одно наложило свой отпечаток на другое, я думал: быть может, оттого, что не было боковых ветвей рода и родовое имя всегда передавалось вместе с именем только по прямой, от отца к сыну, прежнее название поместья в конце концов забылось, а его сменило новое, странное и двусмысленное. «Дом Ашеров» — так прозвали здешние поселяне и сам родовой замок, и его владельцев.

Как я уже сказал, единственным результатом моей попытки приободриться, заглянув в озеро, было лишь усиление первоначального тягостного впечатления. Очевидно, потому, что я и сам сознавал, как быстро овладевает мною суеверное предчувствие (почему бы и не назвать его точным словом?), оно еще больше укреплялось во мне. Такова, я уже давно это знал, двойственная природа всех чувств, чей корень — страх. Может быть, только по этой причине, когда я вновь перевел взгляд с отражения в озере на дом, странная мысль пришла мне на ум — странная до смешного, и я лишь

потому о ней упоминаю, чтобы показать, как сильны и ярки были мои скверные впечатления. Воображение мое до того разыгралось, что я уже всерьез уверовал, будто даже воздух над этим домом и усадьбой какой-то особенный, что он не сродни небесам и окрестным просторам, но пропитан духом тления, исходящим от искореженных полумертвых деревьев, от серых стен и безмолвного озера. Все здесь окутывали тлетворные таинственные испарения — тусклые, вязкие, едва различимые, свинцово-серые.

Страхнув с себя это наваждение, я обратил внимание на внешний облик здания. Его главной особенностью была, по-видимому, исключительная древность. Под воздействием времени даже камни казались выцветшими. Мхи и лишайники покрывали фасад, свешиваясь с карнизов, словно смятые кружева. В то же время не было видно признаков окончательного упадка. Каменная кладка нигде не обрушилась; прекрасная соразмерность всех частей здания странным образом не соответствовала видимой ветхости каждого отдельного камня. Почему-то мне представилась некая старинная деревянная утварь, которая давно уже стоит в каком-нибудь забытом подzemье, но все еще кажется обманчиво целой, ибо долгие годы ее не тревожило ни малейшее воздействие извне. Однако, если не считать слоя лишайников и плесени, извне невозможно было заподозрить, что дом Ашеро́в непрочен. Только очень пристальный взгляд мог бы различить едва заметную трещину, которая начиналась под самой кровлей, зигзагом змеилась по фасаду и терялась в водах озера.

Отметив все это, я подъехал по мощеной дорожке к крыльцу. Слуга принял моего коня, и я вступил под готические своды холла. Оттуда неслышно ступающий лакей безмолвно повел меня бесконечными темными и запутанными переходами в «студию» хозяина. Все, что я видел по дороге, только усилило во мне те смутные ощущения, о которых я уже упомянул. Резные потолки, потемневшие гобелены, черный, едва поблескивающий паркет, оружие и латы на стенах, которые звоном отзывались на мои шаги, — все вокруг было знакомо, нечто подобное с колыбели окружало и меня, однако, Бог знает почему, за этими привычными предметами мне чудилось что-то странное и необычное. На одной из лестниц нам повстречался семейный врач Ашеро́в. В выражении его лица, как мне показалось, смешались низкое коварство и растерянность. Он испуганно поклонился мне и

проскользнул мимо. Мой провожатый распахнул дверь и ввел меня к своему господину.

Комната, в которой я теперь очутился, была очень просторной и высокой. Длинные и узкие окна располагались на таком расстоянии от дубового пола, что изнутри через них невозможно было взглянуть. Слабые красноватые отблески дня проникали сквозь витражи, позволяя видеть кое-какие ближние предметы обстановки, но напрасно глаз силился различить что-либо в дальних темных углах или разглядеть сводчатый резной потолок. Со стен свисали темные драпировки. Все здесь было старинное — пышное, неудобное и ветхое. Повсюду были разбросаны книги и музыкальные инструменты, но и они не могли оживить эту мрачную картину. Мне почудилось, что самый воздух здесь полон скорби. Все было окутано и пропитано холодным, тягостным и безысходным унынием.

Едва я вошел, как Ашер поднялся с кушетки, на которой лежал, и приветствовал меня так тепло и оживленно, что его сердечность даже показалась мне преувеличенной любезностью светского человека. Но, взглянув ему в лицо, я мгновенно убедился в его полной искренности. Мы сели; несколько мгновений он молчал, а я смотрел на него с жалостью и в то же время с испугом. И на то были причины: никогда еще никто не менялся так страшно и глубоко за такое короткое время, как переменялся Родерик Ашер! С трудом я заставил себя поверить, что эта бледная тень — былой товарищ моего детства. А ведь черты его всегда были привлекательны. Восковая бледность, огромные и необыкновенно яркие глаза, тонкий и бледный, но поразительно красивых очертаний рот, изящный нос с горбинкой и широко вырезанными ноздрями, хорошо вылепленный, но несколько смазанных очертаний подбородок, что обычно свидетельствует о недостатке решимости, и, сверх того, на диво мягкие и тонкие волосы. Все эти черты дополнял необычайно высокий и широкий лоб. Право же, такое лицо нелегко забыть, но теперь все странности этого лица как бы выступили на передний план, проявилось его своеобразное выражение — и уже от одного этого весь облик Ашера так разительно переменялся, что я даже на миг усомнился, с тем ли человеком повстречался. Больше всего меня поразила и, можно сказать, ужаснула его мертвенная бледность и какой-то поистине сверхъестественный блеск глаз. Шелковистые волосы отросли и теперь не падали вдоль щек, а окутывали это лицо облаком летучей паутины; и, как я ни

старался, мне так и не удалось прочитать на этом загадочном лице хоть что-то свойственное всем обыкновенным смертным.

Я сразу был поражен бессвязностью и лихорадочной сбивчивостью речи моего друга. Как я вскоре заметил, это происходило от постоянных и бесплодных усилий побороть не покидавший его трепет — результат крайнего нервного возбуждения, которое, по-видимому, стало для него обычным состоянием. Я ожидал чего-то подобного и был подготовлен к этому, с одной стороны, письмом, с другой — воспоминаниями детства и некоторыми заключениями об особенностях его физического сложения и темперамента. Все движения Ашера казались то живыми и бодрыми, то апатичными и ленивыми. Его голос также то и дело менялся: из нерешительного и вялого (когда силы словно покидали его) он вдруг становился властным, внушительным и нарочито неторопливым, а затем начинал звучать со своеобразной гортанной певучестью — так говорит в минуты крайнего возбуждения запойный пьяница или неизлечимый курильщик опиума.

Именно таким голосом говорил Ашер о своем настойчивом желании видеть меня, об облегчении, которого он от меня ждал. Кроме того, он подробно и чересчур длинно распространялся насчет того, что считал истинной причиной своей болезни. Это, утверждал он, проклятие их семьи, наследственный недуг всех Ашеров, он, дескать, уже отчаялся найти какое-нибудь лекарство — и тут же прибавлял, что это всего лишь расстройство нервов, которое, конечно же, скоро пройдет.

Болезнь эта, как выяснилось, проявлялась во множестве неестественных ощущений. Некоторые из них озадачили меня и буквально поставили в тупик; хотя, быть может, на меня повлияла сама его манера говорить и описывать. Больше всего Ашер страдал от болезненной обостренности всех чувств. Так, он мог выносить только самую пресную и безвкусную пищу, мог носить платье только из некоторых тканей; запахи цветов угнетали его, а глаза страдали от самого слабого света. Только некоторые звуки, в частности звуки струнных инструментов, не внушали ему отвращения.

Я обнаружил, что Ашер стал жалким рабом собственных страхов. «Я погибну, — говорил он, — я непременно погибну от этого жалкого безумия. Именно так, а не иначе, суждено мне погибнуть. Я боюсь

будущего, даже не тех событий, которые оно принесет, а их последствий. Я дрожу при мысли о каком-нибудь самом обыкновенном случае, который может оказать роковое воздействие на мое невыносимое душевное возбуждение. Да, меня страшит не сама опасность, а то, что она за собою влечет: чувство ужаса. Вот что заранее отнимает у меня силы и достоинство, я знаю — рано или поздно пробьет час, когда я разом лишусь и рассудка, и жизни в схватке с этим мрачным призраком».

Далеко не сразу, а лишь из бессвязных и двусмысленных намеков я понял еще одну удивительную особенность его душевного состояния. Им владело странное суеверие, связанное с домом, в котором он жил и откуда уже многие годы не отлучался, — ему чудилось, что в этом жилище обитает некая сила. Он описывал ее в выражениях столь туманных, что бесполезно их здесь повторять, но весь облик его родового замка и даже дерево и камень, из которых он был построен, за долгие годы приобрели таинственную власть над хозяином: вполне материальные предметы — серые стены, башни, сумрачное озеро, в которое они смотрелись, — в конце концов обусловили весь строй его души.

Родерик допускал, хоть и не без колебаний, что необыкновенная тоска, душившая его, могла иметь причину естественную и гораздо более ощутимую — он имел в виду тяжелую болезнь и уже несомненно близкую смерть его нежно любимой сестры. Леди Мэдилейн была его верным другом все эти долгие годы и последним человеком на земле, с которым его связывали кровные узы. Когда она покинет этот мир, заметил Ашер с горечью, которой мне никогда не забыть, он — отчаявшийся и угасающий — останется последним из древнего рода Ашеров. Пока он говорил, леди Мэдилейн тенью прошла в дальнем конце комнаты и скрылась, не заметив меня.

Я смотрел на нее с несказанным изумлением и даже со страхом, хотя и сам не понимал, откуда взялись эти чувства. В странном оцепенении я проводил ее взглядом. Когда за сестрой наконец затворилась дверь, я невольно вопросительно взглянул на ее брата; но Родерик закрыл лицо руками, и я заметил только, как между его бескровными худыми пальцами заструились слезы.

Недуг леди Мэдилейн давно уже приводил в недоумение самых искусных врачей. Они не могли понять, отчего больная неизменно ко

всему равнодушна, день ото дня тает, а время от времени все ее члены коченеют и дыхание замирает. До сих пор она упорно противилась болезни и ни за что не хотела слечь окончательно; но в вечер моего приезда, о чем с едва сдерживаемым волнением сообщил мне несколькими часами позже Ашер, она окончательно изнемогла под натиском изнурительного недуга. Когда она на миг явилась мне издали — должно быть, это было в последний раз: вряд ли мне суждено снова ее увидеть, по крайней мере живой.

В последующие несколько дней ни Ашер, ни я не упоминали имени леди Мэдилейн; я же, со своей стороны, пытался хоть как-то рассеять печаль друга. Мы вместе занимались живописью, читали вслух, или же я, словно во сне, вслушивался во внезапную бурную исповедь его гитары. Близость наша становилась все теснее, все чаще допускал он меня в сокровенные тайники своей души, и с все более глубокой горечью я понимал, как бессмысленны и тщетны всякие попытки развеселить это сердце, наделенное врожденным даром изливать поток беспросветной скорби.

Навсегда останутся в моей памяти многие сумрачные часы, которые я провел наедине с хозяином дома Ашеров. Не стоит описывать подробно занятия и раздумья, в которые я погружался, следуя за ним. Все они были озарены каким-то потусторонним отблеском страстной, безудержной отрешенности от всего земного. Вечно будут отдаваться у меня в ушах долгие погребальные гимны, которые импровизировал Родерик Ашер. Среди прочего особенно мучительно врезалось мне в память, как странно он искажил и подчеркнул бурный мотив последнего вальса Вебера[71]. Полотна, рожденные его изысканной и сумрачной фантазией, с каждым прикосновением кисти становились все таинственнее, от их загадочности меня пробирала дрожь волнения, причин которого я и сам не понимал.

Эти холсты и сейчас стоят у меня перед глазами как живые, но не стоит пытаться хоть в какой-то мере их описать — слова здесь бессильны. Приковывала взор и потрясала душу именно глубокая простота, обнаженность замысла. Если и удавалось человеку когда-либо выразить красками чистую идею, то это был Родерик Ашер. По крайней мере во мне при тогдашних обстоятельствах странные отвлеченности, которые мой мрачный друг умудрялся изобразить на

своих картинах, пробуждали благоговейный ужас — ничего подобного я не испытывал даже перед бесспорно поразительными, но все же слишком осязаемыми видениями Фюзели[72].

Один из фантастических замыслов Родерика — из числа не слишком отвлеченных — может быть очерчен в слове, хоть и очень смутно. Небольшое полотно изображало внутренность бесконечно длинного склепа или туннеля с низким потолком и гладкими белыми стенами без каких-либо выступов или украшений. Некоторые детали давали возможность предположить, что этот туннель находится на огромной глубине под земной поверхностью. Ни одного отверстия не было заметно на всем его обширном пространстве, не было также видно ни факела, ни какого-нибудь другого источника света, но поток ярких лучей пронизывал весь туннель, заливая его фантастическим блеском.

Я уже упоминал, что слух моего друга находился в болезненном состоянии, при котором всякая музыка причиняла ему боль, за исключением звуков некоторых струнных инструментов. Возможно, именно то обстоятельство, что он ограничил свой талант узкой областью импровизаций на гитаре, во многом обусловило фантастический характер его музыкальных мелодий. Но одним лишь этим нельзя объяснить ту лихорадочную легкость, с какой он импровизировал. И мелодии, и слова его буйных фантазий (ибо он нередко сопровождал свои музыкальные экспромты стихами) рождала, без сомнения, именно та напряженная душевная сосредоточенность, которая обнаруживала себя лишь в минуты крайнего возбуждения, до которого он подчас сам себя доводил. Одна его внезапно вылившаяся песня почему-то мне запомнилась. Возможно, слова ее оттого так явственно запечатлелись в моей памяти, что, пока Родерик пел, мне впервые приоткрылось, как ясно он понимает, что высокий трон его разума шаток и непрочен. Песнь эта называлась «Обитель привидений», и слова ее, может быть, не в точности, но приблизительно, звучали так:

В самой зеленой из наших долин,
Где обиталище духов добра,
Некогда замок стоял властелин,
Кажется, высился только вчера.
Там он вздымался, где Ум молодой

Был самодержцем своим.
Нет, никогда над такой красотой
Не раскрывал своих крыл серафим!
Путники, странствуя в области той,
Видели в два огневые окна
Духов, идущих певучей четой,
Духов, которым звучала струна,
Вкруг того трона, где высился он,
Багрянородный герой,
Славой, достойной его, окружен,
Царь над волшебною этой страной.
Вся в жемчугах и рубинах была
Пышная дверь золотого дворца,
В дверь все плыла, и плыла, и плыла,
Искрясь, горя без конца,
Армия Откликов, долг чей святой
Был только — славить его,
Петь, с поражающей слух красотой,
Мудрость и силу царя своего.
Но злые созданья в одеждах печали
Напали на дивную область царя.
(О, плачьте, о, плачьте! Над тем, кто в опале,
Ни завтра, ни после не вспыхнет заря!)
И вкруг его дома та слава, что прежде
Жила и цвела в обаянье лучей,
Живет лишь как стон панихиды надежде,
Как память едва вспоминаемых дней.
И путники видят, в том крае туманном,
Сквозь окна, залитые красною мглой,
Огромные формы в движении странном,
Диктуемом дико звучащей струной.
Меж тем как, ужасные, быстрой рекою,
Сквозь бледную дверь, за которой Беда,
Выносятся тени — и шумной толпою,
Забывши улыбку, хохочут всегда[73].

Помню, потом мы беседовали об этой балладе и друг мой высказал мнение, о котором я здесь упоминаю не столько из-за его новизны,

сколько из-за упорства, с каким он это мнение отстаивал. В общих чертах оно сводилось к тому, что растения способны чувствовать. Однако безудержная фантазия Родерика Ашера довела эту мысль до крайней степени, переходящей подчас границы разумного. Не нахожу слов, чтобы в точности передать тот пыл искреннего самозабвения, с каким доказывал он свою правоту. Эта вера его была связана (как я уже пытался намекнуть) с серым камнем, из которого был сложен дом его предков. Способность чувствовать, казалось ему, порождается самим расположением этих камней, их сочетанием, а равно и сочетанием мхов и лишайников, которыми они поросли, полумертвых деревьев, обступивших дом, — и, главное, тем, чтобы все это, никем не потревоженное, как можно дольше оставалось неизменным и повторялось в недвижных водах озера.

— Да, все это способно чувствовать, в чем можно убедиться воочию! — воскликнул Ашер так, что я даже вздрогнул при этих словах. — Можно своими глазами видеть, как медленно, но неотвратимо сгущается над озером и вокруг стен дома эта особенная атмосфера. А причина этого — некая безмолвная и, однако же, неодолимая и грозная сила, которая веками лепит на свой лад судьбы всех Ашеров. Она и дом наш сделала таким, какой он есть, таким, каким мы видим его теперь.

О подобных воззрениях сказать нечего, и я не стану их комментировать.

Нетрудно догадаться, что книги, которыми долгие годы питался ум моего больного друга, вполне соответствовали его причудливым взглядам. Его увлекали «Вер-Вер» и «Монастырь» Грессе, «Бельфегор» Макиавелли, «Рай и ад» Сведенборга, «Подземные странствия Николаса Клима» Хольберга, «Хиромантия» Роберта Фладда, труды Жана д'Эндажинэ и Делашамбра, «Путешествие в голубую даль» Тика и «Город солнца» Кампанеллы. Едва ли не самой любимой книгой Родерика был томик *in octavo*[74] «Руководство по инквизиции» доминиканца Эймерика Жеронского. Часами в задумчивости просиживал он и над иными страницами Помпония Мелы о древних африканских сатирах и эгиптанах[75]. Но наибольшее наслаждение получал он, перечитывая редкостное готическое издание *in quarto*[76] — требник некоей забытой церкви, озаглавленный «Бдения по усопшим согласно хору магунтинского храма».

Я не мог не вспомнить о странном ритуале, описанном в этой книге, и о ее влиянии на моего болезненно впечатлительного друга, когда однажды вечером Ашер сухо сообщил мне, что леди Мэдилейн уже нет в живых и он намерен в течение двух недель до окончательного погребения сохранять ее тело в одном из многочисленных склепов, расположенных в подвалах дома. По словам Родерика, на такое решение его натолкнули особенности недуга, которым страдала сестра, настойчивые и неотвязные расспросы ее доктора и еще мысль о том, что родовое кладбище Ашеров расположено слишком далеко от дома и открыто всем стихиям. Мне сразу же вспомнился зловещий вид медика, с которым в день приезда я столкнулся на лестнице, — и, честно сказать, не захотел противиться тому, что в конце концов можно было посчитать безобидной и естественной предосторожностью.

По просьбе Ашера я помог ему осуществить это временное погребение. Тело уже было положено в гроб, и мы вдвоем спустили его вниз. Подвал, где мы его установили, располагался глубоко под землей, как раз под той частью дома, где находилась моя спальня. Это был тесный, сырой каземат без единой отдушины, через которую туда могли бы проникнуть свет и воздух. Его так давно не открывали, что наши факелы едва не погасли в спертom воздухе, и мне почти ничего не удалось разглядеть. В средние века подвал этот, судя по всему, служил темницей, а в пору более позднюю здесь хранили порох или иные легко воспламеняющиеся вещества, потому что часть пола и длинный коридор, который привел нас сюда, были покрыты тщательно пригнанными листами меди. В каземат вела массивная железная дверь. Непомерно тяжелая, она поворачивалась на давно не смазываемых петлях с пронзительным скрежетом, от которого стыла в жилах кровь.

Установив на подставку нашу скорбную ношу, мы немного сдвинули в сторону еще не завинченную крышку гроба, чтобы взглянуть на лицо усопшей. Поразительное сходство между братом и сестрой только теперь бросилось мне в глаза, и Ашер, словно угадав ход моих мыслей, пробормотал несколько слов, из которых я понял, что он и леди Мэдилейн были близнецами и всю жизнь души их оставались непостижимо созвучными.

Однако наши взоры лишь ненадолго задержались на лице умершей — мы не могли смотреть на него без внутреннего трепета. Недуг,

сразивший ее в расцвете молодости, оставил, как это обычно бывает при болезнях каталептического характера, подобие слабого румянца на щеках и едва заметную улыбку, которую так жутко было видеть на мертвых устах. Мы вновь плотно закрыли гроб, привинтили крышку, надежно заперли железную дверь и, вконец обессиленные, вернулись в жилую, а впрочем, почти столь же мрачную часть дома.

Прошло несколько дней, полных невыразимой скорби, и я обнаружил в болезненном душевном состоянии друга некие перемены. Все его поведение изменилось. Он забросил все свои обычные занятия. Торопливыми спотыкающимися шагами он бесцельно бродил по дому. Бледность его сделалась еще более мертвенной и пугающей, а глаза погасли. В голосе больше не было тех редких, но звучных и сильных нот — теперь в нем постоянно прорывалась дрожь нестерпимого ужаса. Порой мне даже казалось, что его смятенный ум тяготит какая-то страшная тайна и он мучительно пытается собрать все свое мужество, чтобы высказать ее. В иные минуты, видя, как он часами сидит неподвижно, устремив взгляд в пустоту, и напряженно вслушивается в какие-то воображаемые звуки, я поневоле приходил к выводу, что все это не что иное, как беспричинные странности самого настоящего безумца. Надо ли удивляться, что его состояние меня пугало, больше того — оно было заразительно! Я и сам чувствовал, как медленно, но неотвратимо проникают в мою душу его сумасбродные, фантастические и, однако же, непреодолимо навязчивые страхи.

С особенной силой и остротой я испытал все это однажды поздней ночью, когда уже лег в постель. Это случилось на седьмой или восьмой день после того, как мы спустили гроб с телом леди Мэдилейн в подземелье. Томительно тянулся час за часом, а сон упорно не желал приходить. Я пытался справиться с овладевшим мной беспокойством разумными рассуждениями, уверяя себя, что многие мои ощущения вызваны на редкость мрачной обстановкой и шуршанием пыльных драпировок, шевелившихся на сквозняке. Но я напрасно старался. Чем дальше, тем сильнее меня охватывала непреодолимая дрожь. И наконец, сердце мое мучительно сжалось от беспричинной тревоги. Огромным усилием я стряхнул с себя это наваждение, поднялся на подушках и, всматриваясь в темноту, стал прислушиваться, побуждаемый каким-то внутренним чутьем, к

смутным глухим звукам, которые доносились неведомо откуда в те редкие мгновенья, когда за окнами затихал вой ветра. Мало-помалу мною овладел нестерпимый ужас. Поняв, что мне в эту ночь не уснуть, я поспешно оделся и принялся расхаживать из угла в угол. Движение помогло мне хотя бы отчасти преодолеть парализовавшую мою волю слабость.

Я уже несколько раз смерил шагами свою комнату, и вдруг на лестнице за стеной послышались легкие шаги. Я узнал походку Родерика Ашера. В следующее мгновение раздался негромкий стук в дверь, и он вошел, держа в руке фонарь. Как обычно, он был мертвенно бледен, но глаза его сверкали каким-то безумным весельем, а во всей его фигуре явственно проступало едва сдерживаемое лихорадочное нетерпение. Выглядел он ужасно, но я предпочел бы все, что угодно, лишь бы и впредь не оставаться в одиночестве, и даже обрадовался его приходу.

Несколько мгновений Ашер молча осматривался, после чего отрывисто спросил:

— Ты не видел? Значит, ты еще не видел? Ну, погоди — сейчас увидишь!

С этими словами, предусмотрительно прикрыв ладонью фонарь, он бросился к одному из окон и распахнул его.

В комнату ворвался такой бешеный порыв ветра, что мы едва устояли на ногах. Ночь выдалась бурная, но невыразимо прекрасная, ее суровая и грозная красота ошеломила меня. Должно быть, где-то невдалеке рождался и набирал мощь ураган, ибо направление ветра то и дело менялось, а небывало плотные и тяжелые тучи неслись совсем низко, задевая верхушки башен замка. И странное дело: тучи эти со страшной быстротой мчались к дому Ашеров со всех сторон, сталкивались над ним, рвались в клочья — но не уносились прочь! Мы хорошо различали это невиданное движение, несмотря на то что не было видно ни луны, ни звезд и ни разу не блеснула молния. Эти огромные массы пришедших в возмущение водяных паров и все, что окружало нас на земле, было окутано призрачным сиянием, исходявшим от некой дымки, стелившейся над землей и постепенно заволакивавшей замок.

— Нет, не смотри... не следует тебе на это смотреть, — с невольной дрожью сказал я Ашеру, а затем мягко, но настойчиво увлек

его от окна и усадил в кресло. — Это поразительное и жутковатое зрелище — довольно обычное явление природы, оно связано с атмосферным электричеством... или его причина — тяжелые испарения озера. Давай закроем окно. Холодный ветер для тебя опасен. Тут у меня одна из твоих любимых книг. Я немного почитаю тебе вслух — и так мы скоротаем эту ужасную ночь!

С этими словами я раскрыл старый роман сэра Ланселота Каннинга, носящий название «Безумная печаль». Назвав его любимой книгой Родерика Ашера, я, разумеется, пошутил, но не слишком удачно. По чести сказать, в этом неуклюжем и вязком многословии, чуждом всякого вдохновения, мало что могло привлечь поэтический дух моего друга. Но другой книги под рукой у меня не случилось, и я втайне надеялся, что описания крайних проявлений помрачения рассудка, о которых я намеревался читать, помогут справиться с болезненным волнением моего друга. И в самом деле: насколько я мог судить по напряженному вниманию, с которым он вслушивался в каждое слово повествования, я мог поздравить себя с удачной выдумкой. По крайней мере, мне так казалось в ту минуту.

Я дошел до того места, где рассказывается о том, как Этельред, герой романа, после тщетных попыток войти в пещеру пустытника с согласия хозяина, врывается туда силой. Как вы наверняка помните, описано это следующим образом:

«И вот Этельред, чью доблесть утроило выпитое вино, не стал более тратить время на препирательства с пустынником, чей нрав поистине был упрям и злобен, но, уже чувствуя, как по его плечам хлещет дождь, и опасаясь, что вот-вот разразится грозная буря, вскинул палицу и несколькими могучими ударами пробил в дощатой двери отверстие, в которое могла пройти его рука в латной перчатке. И с такою силой он бил, тянул, рвал и крушил, что треск и грохот ломающихся досок разносился по всему лесу...»

Дочитав эти строки, я вздрогнул и на мгновение замер, ибо мне почудилось (хотя я тотчас решил, что меня обманывает разыгравшееся воображение), будто из дальней части дома смутно и приглушенно донеслось нечто очень похожее на тот самый шум и треск, который так усердно изобразил сэр Ланселот. Только это совпадение и задело меня; ведь сам по себе этот звук, смешанный с хлопаньем ставней и

многоголосым шумом все усиливающейся бури, не мог меня заинтересовать или встревожить. Я продолжал читать:

«Когда же победоносный Этельред переступил порог, он был изумлен и жестоко разгневан, ибо злобный пустынный отсутствовал, а взамен него пред рыцарем предстал огромный и свирепый дракон, изрыгавший пламя. Сие чешуйчатое чудище сторожило золотой дворец, где пол был из серебра, а на стене висел щит из сверкающей меди, на щите же виднелась надпись:

Кто дверь разбил, победителем был;

Кто дракона одолеет, тот щитом завладеет.

И взмахнул Этельред своей палицей, и поразил дракона в голову, и тот пал перед ним и испустил свой смрадный дух с таким страшным и пронзительным воплем, что Этельред поневоле закрыл свои уши руками, дабы предохранить себя от звука, подобного которому он никогда прежде не слышал».

Здесь я опять остановился — и на этот раз с чувством глубокого изумления. Ибо теперь у меня не было никаких сомнений, что я действительно слышал некий звук, хотя и не мог определить, откуда он донесся. Звук этот был приглушенным, очень далеким, но невероятно скрипучим и пронзительным. Именно так и должен был звучать неистовый вопль, который испустил при кончине мифический дракон.

Это — уже второе по счету — поразительное совпадение вызвало в моей душе целый шквал противоречивых чувств, среди которых преобладали изумление и ужас. Но как бы ни был я испуган и подавлен, у меня хватило мужества не подать виду, чтобы еще сильнее не возбудить Ашера неосторожным замечанием. Я не был уверен, что и его слух уловил странные звуки, однако за последние минуты поведение моего друга заметно изменилось. Прежде он сидел прямо напротив меня, но мало-помалу развернул свое кресло так, чтобы оказаться лицом к двери. Теперь я видел его только в профиль, но все же заметил, что губы его шевелятся, словно что-то беззвучно шепчут. Голова его внезапно упала на грудь, однако он не спал — мне был виден его широко раскрытый и как бы остановившийся глаз. О, нет, Родерик Ашер не спал, об этом свидетельствовали и его движения: он слабо, но равномерно покачивался из стороны в сторону. Все это я уловил с одного взгляда и продолжил чтение:

«Едва храбрец избежал ярости грозного чудища, как мысли его обратилась к медному щиту, с коего теперь были сняты чары. Отбросив с дороги убитого дракона, твердо ступая по серебряным плитам, он приблизился к стене, а расколдованный щит тем временем, не дожидаясь, пока герой подойдет ближе, с грозным и оглушительным звоном сам пал на серебряный пол к его ногам».

Не успел я произнести последние слова, как откуда-то — будто и взаправду на серебряный пол рухнул тяжелый медный щит — долетел глухой, прерывистый, но совершенно явственный звон металла.

Я вскочил, потеряв самообладание. Ашер же по-прежнему мерно покачивался в кресле. Я бросился к нему. Взор его был устремлен в одну точку, черты неподвижны, словно высеченные из камня. Но едва я опустил руку ему на плечо, как по всему его телу прошла волна дрожи и страдальческая улыбка искривила губы. И тогда я услышал, что он тихо, торопливо и невнятно что-то бормочет, словно не замечая моего присутствия. Я наклонился совсем близко и только тогда уловил чудовищный смысл его слов.

— Теперь ты слышишь?.. А я давно... давно уже слышу... Сколько минут, сколько часов, сколько дней я это слышал... и все равно не смел даже подумать... О несчастный трус, жалкое ничтожество!.. Я не смел... не смел сказать! Мы похоронили ее заживо! Разве я не говорил, что все мои чувства обострены? И теперь я скажу тебе: я слышал даже то, как она впервые пошевелилась в своем гробу. Я услышал это... много, много дней назад... и все же не смел... не смел сказать! А теперь... сегодня... ха-ха!.. Этельред взломал дверь в жилище пустытника, и дракон испустил предсмертный вопль, и со звоном упал щит... Сказать, что это было? Ломались доски ее гроба, и скрежетала на петлях железная дверь ее темницы, и она, она билась о медные стены подземелья! Куда мне теперь бежать? Везде она меня настигнет! Вот она — спешит ко мне с упреком: зачем я поторопился? Вот ее шаги на лестнице! Вот я уже слышу, как тяжело, страшно бьется ее сердце!

Тут он вскочил на ноги и закричал так отчаянно, будто с этим воплем сама жизнь покидала его:

— Безумец! Говорю тебе — она здесь, за дверью!

И словно сверхчеловеческая сила, вложенная в эти слова, приобрела силу заклинания, огромная старинная черная дверь, на

которую указывал Ашер, внезапно раскололась от могучего порыва ветра. А за ней в полумраке медленно проступила высокая, окутанная саваном, фигура леди Мэдилейн. На белой ткани виднелись пятна крови, на страшно исхудавшем теле — следы жестокой борьбы. Несколько мгновений, вся дрожа и пошатываясь, она простояла в проломе, а затем с негромким протяжным стоном покачнулась, рухнула брату на грудь и в последних предсмертных судорогах увлекла за собой на пол и его, уже бездыханного, — жертву всех ужасов, которые он предчувствовал и предугадывал.

Объятый леденящим страхом, я бросился прочь из этой комнаты, из этого дома. Буря неистовствовала, когда я промчался по старой мощеной дорожке, ведущей к воротам. Внезапно все вокруг озарилось яркой вспышкой света. Я обернулся, не понимая, откуда исходит этот странный багрово-красный блеск, ибо позади меня находился лишь огромный дом, утопавший во мраке.

То сияла заходящая полная луна, и ее свет лился сквозь трещину, о которой я упомянул раньше, — она зигзагом пересекала фасад от самой крыши до фундамента. Но когда я впервые подъезжал к дому Ашеров, трещина была почти неразличимой, а сейчас, прямо у меня на глазах, она стремительно расширялась, пропуская лунный свет.

Когда же налетел следующий свирепый порыв урагана, слепящий лик луны полностью открылся предо мной и я увидел, как рушатся могучие древние стены.

В голове у меня все помутилось, раздался оглушительный грохот, словно взревела тысяча водопадов, и глубокие воды зловещего черного озера, лежавшего у моих ног, безмолвно и угрюмо сомкнулись над обломками дома Ашеров.

Система доктора Смолла и профессора Перрье

Осенью 18.. года я путешествовал по южным провинциям Франции. Дорога привела меня к одной частной клинике для душевнобольных, о которой я немало слышал в Париже от друзей-медиков. В подобных местах я раньше не бывал, и такую возможность, казалось мне, не следовало упускать. Поэтому я и предложил своему спутнику — господину, с которым случайно познакомился несколько дней назад, — остановиться на пару часов и осмотреть лечебницу. Он, однако, отказался. Во-первых, он торопился, а во-вторых — попросту

боялся сумасшедших, какими бы они ни были. Впрочем, он был совсем не против того, чтобы я удовлетворил свое любопытство, и добавил, что поедет дальше не спеша, чтобы я мог догнать его в тот же день или, на худой конец, на следующий.

Вместе с тем этот мой новый знакомый сообщил, что с разрешением на посещение лечебницы могут возникнуть трудности — и они непременно возникнут, если я не представлен ее директору, ме-сье Майяру, и не имею при себе ни рекомендательного письма, ни чье-го-либо поручительства. Оказывается, правила этих частных «домов скорби» куда строже правил государственных больниц. Однако несколько лет назад мой попутчик познакомился с ме-сье Майяром — потому-то он и вызвался сопровождать меня до ворот лечебницы, чтобы там, в свою очередь, представить меня директору. Но переступить ее порог он не собирался по причине все того же страха перед невменяемыми.

Я сердечно поблагодарил его. Свернув с главной дороги, мы выехали на узкий проселок, по обочинам густо поросший травой. Затем с полчаса мы проплутали в густом лесу у подножья горы, пробираясь сквозь сырые и мрачные заросли. Только через две мили мы наконец-то увидели здание частной клиники. В свое время это был великолепный замок, но сейчас он находился в самом плачевном состоянии. Все строения были до того запущены, что казались необитаемыми. Выглядело все это так пугающе, что я, натянув поводья, уже почти готов был повернуть обратно. Но через секунду устыдился своего малодушия и продолжал путь.

Мы приблизились к воротам, которые беззвучно отворились перед нами. В окне рядом с парадным входом мелькнуло чье-то лицо, а в следующее мгновение из дверей появился какой-то человек и, обратившись к моему компаньону по имени, сердечно пожал ему руку и предложил войти. Это и был сам господин Майяр — пожилой тучный мужчина с довольно привлекательным лицом и властными манерами. Держался он серьезно и с достоинством.

Я был представлен, и мой приятель сообщил директору о том, что я желал бы осмотреть лечебницу. Майяр заверил его, что мне будет оказано самое любезное внимание. На этом мой спутник удалился, и больше я его не видел.

Директор провел меня в небольшую и чрезвычайно аккуратную гостиную, обставленную изысканной мебелью. Здесь было множество книг и картин, а также вазы для цветов и музыкальные инструменты. В камине жарко горел огонь, за пианино сидела молодая красивая женщина в трауре, напевая арию из оперы Беллини. Как только я вошел, она оборвала пение и приветствовала меня с изысканной вежливостью. Голос у дамы был глухой и низкий, а на ее бледном лице были видны следы недавнего горя. При этом ее облик невольно вызывал уважение и восхищение. Все это разожгло мое любопытство.

В Париже мне приходилось слышать, что заведение господина Майяра основано на так называемой «свободной системе». Здесь стремились избегать любых наказаний и ограничений, пациентам предоставлялась полная свобода, но при этом за ними постоянно скрытно наблюдали. Большинству больных разрешалось находиться среди здоровых.

Помня об этом, я соблюдал осторожность в разговоре с незнакомкой, поскольку не был уверен, принадлежит ли она к числу пациентов или персонала лечебницы. Таинственный блеск в ее глазах наводил на мысль, что дама эта не из числа здоровых. Я ограничился общими темами, которые не могли бы вывести из равновесия даже буйного сумасшедшего. Ответы женщины были исчерпывающими, я отметил оригинальность ее суждений и наблюдений, полных здравого смысла. Но я был хорошо знаком с природой различных маний и не считал разумные слова доказательством здравомыслия, поэтому продолжал общаться с новой знакомой крайне осторожно.

Лакей, облаченный в ливрею, внес поднос с фруктами, вином и прохладительными напитками. Я занялся угощением, а загадочная дама вскоре покинула комнату. Когда она удалилась, я вопросительно взглянул на директора.

— Нет, — улыбнулся он, — о нет! Эта особа — член моей семьи, племянница, и, пожалуй, самая вменяемая женщина из числа моих знакомых.

— Прошу простить меня за нелепые подозрения, — смутился я. — Кажется, я знаю, как загладить вину. В Париже много говорят о ваших методах, и я подумал, что, возможно, так сказать...

— Вам не в чем извиняться, — улыбнулся меесье Майяр. — Скорее я должен вас поблагодарить за предусмотрительность, которую вы

проявили. Редко можно видеть такую осторожность в молодых людях. Несколько раз у нас возникали прискорбные осложнения из-за легкомыслия посетителей. В ту пору мы практиковали мою систему, то есть позволяли пациентам свободное передвижение, и это порой приводило в ярость неосведомленных гостей, осматривавших клинику. Мне пришлось более строго отбирать пациентов и совершенно исключить доступ к тем, на чье благоразумие я не мог положиться.

— В ту пору вы применяли вашу систему... — эхом повторил я слова директора. — Я правильно вас понял? Значит, ваша знаменитая система больше не используется?

— Нет, не используется, — ответил он. — Несколько недель назад мы решили окончательно отказаться от нее.

— Я удивлен!

— Видите ли, месье, — вздохнул господин Майяр, — мы поняли, что возвращения к старым методам не избежать. «Свободная система» оказалась слишком опасной, мы переоценили ее преимущества — я убедился в этом на собственном опыте. Мы стремились действовать в рамках разумной гуманности — но потерпели поражение. Жаль, что вы не навестили нас раньше. Думаю, вы уже знакомы с деталями «свободной системы», не так ли?

— Не совсем. Все, что я знаю, мне известно только в пересказах.

— Тогда попытаюсь дополнить. Пока система действовала, пациентам дозволялись любые фантазии и причуды. Больше того, мы не только смотрели на это сквозь пальцы, но и поощряли. В этом и состояло лечение. Ничто так не затрагивает слабый рассудок сумасшедшего, как *argumentum ad absurdum* — то есть доведение его желаний и стремлений до последнего предела. Например, у нас были пациенты, считавшие себя курами и петухами. Что ж, мы приняли это как факт и, если пациент вел себя «не по-куриному», бранили его, при этом этак с неделю кормили куриным кормом. Уверяю вас — зерна кукурузы, рубленая трава и мелкий гравий творят настоящие чудеса!

— И такой подход применялся ко всем больным?

— Ни в коем случае. Мы возлагали большие надежды на простые развлечения, вроде музыки, танцев, гимнастических упражнений, настольных игр и книг определенного содержания. К пациентам мы относились как к пострадавшим от физических расстройств и никогда не употребляли слов «безумие» или «душевная болезнь». Мы

добились того, чтобы каждый душевнобольной следил за поступками и намерениями других. Чтобы понять сумасшедших, необходимо подчинить своей воле их тела и души, и только благодаря этому мы могли обходиться без дорогостоящих охранников и санитаров.

— Значит, у вас не использовались никакие наказания?

— Никогда.

— И вы не изолировали пациентов под стражей?

— Исключительно редко. Иногда болезнь переходила в критическую фазу и принимала буйный характер. Тогда мы помещали пациента в специальную камеру, чтобы его состояние не передалось остальным, и держали его там до тех пор, пока он не перестанет быть опасным для окружающих. Но буйных маньяков мы здесь не держим, их, как правило, переводят в государственные больницы.

— И вы полагаете, что сейчас все изменилось к лучшему?

— Я в этом убежден. У «свободной системы» были свои недостатки и риски. К счастью, ее прекратили использовать во всех французских клиниках для душевнобольных.

— Поразительно! — воскликнул я. — Я был уверен, что ныне просто не существует никакого другого метода лечения помешательств!

— Вы еще молоды, мой друг, — ответил месье Майяр, — но придет время, когда вы научитесь судить о вещах и делах, не прислушиваясь к досужей болтовне. Не верьте ничему, что слышите, и верьте лишь половине того, что видите. Вас просто ввел в заблуждение какой-то невежда. После ужина, когда вы немного отдохнете от поездки, я с удовольствием покажу вам весь наш дом и поясню самый эффективный из всех когда-либо созданных методов лечения психических заболеваний.

— Это ваш метод? — спросил я. — Одно из ваших достижений?

— Отчасти это так, — ответил он. — Но и этим я весьма горжусь.

Я беседовал с господином Майяром около двух часов, а тем временем он показывал мне местные сады и оранжереи.

— Я не стану сейчас знакомить вас с нашими пациентами, — заметил он как бы между прочим. — Для человека непривычного это слишком шокирующее зрелище, а я не хочу испортить вам аппетит. Сперва как следует отужинаем. Могу предложить вам телятину а-ля

Сен-Мену с цветной капустой под белым соусом и пару стаканчиков «Кло де Вужо», чтобы как следует стабилизировать ваши нервы.

В шесть часов был накрыт стол. Мы с директором прошли в просторную столовую, где уже собралось человек двадцать пять — тридцать. Очевидно, эти люди занимали здесь высокое положение, хотя кое-что в их нарядах показалось мне слишком вычурным.

Я обратил внимание, что примерно две трети присутствующих составляли дамы. Большинство из них были в возрасте лет семидесяти — сплошь обвешанные драгоценностями и в открытых платьях, безобразно обнажавших увядшие груди и руки. Лишь немногие из этих платьев были хорошо сшиты или хотя бы были к лицу их владелицам. Оглядевшись, я заметил ту самую молодую женщину, которую месье Майяр представил мне в своем кабинете — и буквально остолбенел, увидев на ней юбку с фижмами, туфли на высоком каблуке и неряшливую шляпку с брюссельскими кружевами, которая была ей до того велика, что выглядела смехотворно и нелепо. А ведь при нашей первой встрече она была привлекательна, одета со вкусом и в глубоком трауре.

Коротко говоря, наряды людей за столом меня удивили, но, вспомнив о «свободной системе», я решил, что господин Майяр решил скрыть от меня правду о том, кем были эти люди. Очевидно, он опасался, что ужин с сумасшедшими вызовет у меня неприятные чувства. Но тут я вспомнил рассказы моих парижских друзей о южанах, что те — люди странные, эксцентричные, упорно держащиеся старых традиций, и все мои опасения рассеялись.

Сама столовая была просторная и уютная, но изящества ей явно не хватало. На полу не было ковра, хотя во Франции в старых замках нередко обходятся без ковров, на окнах отсутствовали шторы, и все они были заперты железными ставнями с тяжелыми засовами. Окна выходили на три стороны, так как столовая располагалась в крыле здания, а с четвертой стороны находилась дверь во внутренние помещения. Всего я насчитал не меньше десяти окон.

Стол был великолепно сервирован и уставлен всевозможными деликатесами. Обилие блюд оказалось прямо-таки варварским — одного мяса хватило бы на целый пир. Никогда в жизни я не видел такого щедрого и расточительного ужина. Но всему этому явно не доставало вкуса, к тому же я, привыкший к ровному и мягкому

освещению, жестоко страдал от ослепительного сияния сотен свечей в серебряных канделябрах, расставленных на столе и по всей комнате. Прислуживали нам несколько расторопных лакеев, а за большим столом в дальнем конце столовой сидел оркестр — семь или восемь человек со скрипками, дудками, тромбонами и барабаном. Эти парни меня чрезвычайно раздражали, время от времени издавая всевозможные звуки, выдаваемые ими за музыку, которая, как оказалось, была по вкусу всем, кроме меня.

Я не мог отделаться от ощущения странности всего, что происходило вокруг. Но ведь, в конце концов, в мире столько разных людей со своими мыслями, причудами, привычками и традициями! К тому же мне довелось попутешествовать и многое повидать, так что я придерживался принципа «*nil admirari*», что в переводе с латыни означает «ничему не удивляйся». Поэтому, сохраняя невозмутимый вид, я уселся по правую руку от хозяина и, будучи весьма голодным, по достоинству оценил местную кухню.

Беседа за столом была простой и оживленной. Как водится, дамы болтали без умолку. Постепенно я обнаружил, что почти все присутствующие были хорошо образованны. Хозяин развлекал всех анекдотами. Как выяснилось, он любил поговорить о своих обязанностях в лечебнице, и, к моему удивлению, присутствующие также охотно поддерживали разговоры о различных душевных болезнях и их проявлениях. Я услышал немало забавного о причудах пациентов.

— Я помню одного типа, — заметил толстый джентльмен-коротышка, сидевший справа от меня, — который вообразил себя чайником. Кстати, это не исключительный случай, по каким-то причинам эта идея нередко посещает сумасшедших. Не думаю, что во Франции есть хоть одна лечебница без такого вот человека-чайника. Наш господин был английским серебряным чайником, каждое утро он надраивал себя и полировал оленьей замшей.

— А еще, — вмешался рослый мужчина напротив, — не так давно у нас был пациент, вбивший себе в голову, что он осел. Хотя в этом он был почти прав. Тяжелый был случай, мы едва-едва смогли приучить его к порядку. Он долго не желал ничего есть, кроме чертополоха. Но мы избавили его от этого пристрастия, категорически потребовав,

чтобы он не ел ничего другого. Между прочим, он постоянно лягался — примерно таким вот образом...

— Месье де Кок, буду очень признательна, если вы будете вести себя немного сдержаннее! — резко перебила его пожилая дама, сидевшая рядом. — Пожалуйста, не сучите ногами, вы испортите мое парчовое платье. Неужели так необходимо иллюстрировать свой рассказ таким наглядным образом? Думаю, наш новый друг понял бы все и без этого. Честное слово, вы не меньший осел, чем тот, каким вообразил себя ваш бедняга!

— О, тысяча извинений, мадемуазель, — ответил господин де Кок, — тысяча извинений! Я вовсе не хотел вас обидеть, госпожа Лаплас, и сейчас сочту за честь выпить за ваше здоровье!

Господин де Кок низко поклонился, церемонно поцеловал даме руку и поднял свой бокал.

— Позвольте мне, дорогой друг, — обратился ко мне месье Майяр, — угостить вас этой чудесной телятиной а-ля Сен-Мену. Уверяю, она просто превосходна!

В ту же минуту три крепких лакея водрузили на стол огромное блюдо с возлежавшим на нем чудовищем. Только приглядевшись, я понял, что это теленок, запеченный целиком. Он стоял на коленях с яблоком во рту — примерно таким образом в Англии подают зайца.

— Благодарю вас, месье, но я, пожалуй, откажусь. Я, знаете ли, не большой поклонник телятины а-ля Сен... или как там она называется. Лучше я отведаю немного крольчатины.

На столе было еще несколько блюд с обыкновенной, как мне показалось, тушеной крольчатинной — отменная еда, на мой взгляд.

— Пьер, — крикнул хозяин, — поменяй тарелку господину и положи ему ножку кролика *au chát*[77]!

— Чью ножку? — спросил я.

— Ножку кролика *au-chát*.

— М-да... Благодарю вас, не стоит. Пожалуй, я лучше возьму ветчины.

«У этих провинциалов никогда толком не поймешь, чем тебя кормят, — подумал я про себя. — Спасибо, конечно, но не надо мне ни кроликов по-кошачьи, ни кошек по-кроличьи».

— А еще, — проговорил мертвенно-бледный человек, сидевший на дальнем краю стола, подхватывая нить разговора, — среди наших

«кадров» был однажды пациент, считавший себя кордовским сыром. Он вечно прогуливался с ножом и настойчиво предлагал друзьям отведать ломтик его ноги.

— Да, вот это псих так псих! — перебил его кто-то. — Но и он не сравнится с парнем, которого все мы, за исключением нашего гостя, помним. Я имею в виду человека, решившего, что он бутылка шампанского. Он все время хлопал и шипел примерно вот так...

В то же мгновение рассказчик сунул большой палец за щеку и извлек его оттуда, издав звук, похожий на хлопок пробки, а затем, пользуясь языком и зубами, резко зашипел, подражая пене шампанского. Все это выглядело весьма неприлично и продолжалось добрых пять минут.

— Еще, помнится, был чудак, — сказал кто-то, — считавший себя лягушкой, и, кстати, он был чем-то похож на это земноводное. Хотелось бы мне, чтобы вы его увидели, чтобы оценить, насколько натурально у него получался этот образ. Да, господа, если он не родился лягушкой, то, мне кажется, это было серьезной ошибкой природы. А его кваканье! Клянусь, его «ква-а-а, ква-а-а!» было самым забавным звуком на свете и звучало оно в чистом си-бемоль. Бывало, положит локти на стол, выпив вина, растянёт рот до ушей, закатит глаза и начнет часто-часто мигать... Да уж, месье, я уверен, что вы были бы просто в восторге от этого человека!

— Не сомневаюсь, — ответил я.

— Кстати, — сказал кто-то еще, — а вы помните маленького Гайяра? Того самого, который думал, что он щепотка нюхательного табаку. Как же он нервничал, когда не мог ухватить себя самого тремя пальцами!

— Был у нас еще Жюль Десулье, гений в своем роде, который повредился на том, что он тыква. Он постоянно преследовал повара, требуя сделать из него пирог, а тот почему-то с негодованием отказывался. Я, например, уверен, что тыквенный пирог из Десулье вышел бы на славу!

— Вы меня по-прежнему удивляете, — заметил я, пристально глядя на месье Майяра.

— Ха-ха-ха! — тут же закатился хохотом один господин. — Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! Хо-хо-хо! Ух-ху-ху-ху! Господи, до чего же смешно! Вы совершенно не должны удивляться — наш товарищ шутит, не стоит понимать его так буквально.

— О, у нас тут был еще один шут гороховый, — заметил один из гостей, — чрезвычайно занимательный персонаж. Он окончательно спятил и решил, что у него две головы: одна принадлежит Цицерону, а другая от макушки до рта — Демосфен, а ото рта до подбородка — Генри Брум[78]. Возможно, он ошибался, но он был до того красноречив, что убедил бы любого в своей правоте. А какая у него была страсть к риторике — никакого удержу. Бывало, заберется на обеденный стол — вот так, и...

В этот момент сосед положил ему руку на плечо и что-то шепнул на ухо, после чего рассказчик неожиданно умолк и опустил на место.

— Был еще у нас Бюлар-волчок, — сказал его товарищ. — Я говорю «волчок» потому, что ему пришла в голову забавная и не такая уж нелепая идея, что он волчок. Вы бы умерли со смеху, увидев, что он вытворял. Он мог часами вертеться на одном каблуке — вот так...

Тут приятель, которого он только что осадил, проделал то же самое, чтобы остановить поток его речи.

— И все же, — крикливо возмутилась некая пожилая дама, — ваш господин Бюлар был очень глупым сумасшедшим. Подумать только, человек-волчок! Полный абсурд. Мадам Жуайез была куда разумнее. У нее была особая причуда, но она не была лишена здравого смысла и доставляла радость тем, кто имел удовольствие быть с ней знакомым. После длительных размышлений она пришла к выводу, что она петух, и вела себя соответственно. Она так естественно хлопала крыльями — вот так — и кричала... Кукареку! Кукареку! Ку-ка-ре-куу!..

— Мадам Жуайез, прошу вас вести себя прилично, — сердито прервал ее директор лечебницы. — Или ведите себя нормально, или немедленно покиньте нас!

Дама, носившая имя умалишенной госпожи, о которой она сама только что поведала, густо покраснела и смутилась. Она опустила голову и ничего не ответила. Но тут вмешалась другая дама, помоложе.

— О да, госпожа Жуайез была сущей дурехой, — заявила она. — Зато я помню Эжени Сальсафетт — вот кто отличался ясным умом. Очень красивая и чрезвычайно скромная девушка, она считала обычную одежду неприличной и всегда старалась одеться так, чтобы быть не внутри своего платья, а вне его. Это, между прочим, совсем не сложно. Надо сделать так, а потом вот так и так, а затем...

— О боже, мадемуазель Сальсафетт! — закричали в один голос сидевшие за столом. — Что вы делаете? Довольно! Мы и без вас знаем, как это делается.

Несколько человек вскочили, чтобы помешать этой даме предстать в костюме Венеры Медицейской. Но в финале этой сцены из центральной части замка внезапно донесся пронзительный вопль, от которого у меня похолодела вся кровь.

Да, я был испуган, но видели бы вы, что сделалось со всеми остальными! Я никогда не видел, чтобы нормальные люди были в таком ужасе. Они побледнели, как трупы, и, съездившись на стульях, затряслись, стуча зубами. Вопль, переходящий в чудовищный рев,

повторился — уже громче и ближе, затем прозвучал в третий раз — нестерпимо громко, но в четвертый раз как будто начал отдаляться. Застолье сразу оживилось, снова посыпались шутки. Я решился спросить о причине такого переполоха.

— Сушая чепуха, — отозвался месье Майяр. — У нас такое бывает, мы все уже привыкли и не особенно беспокоимся. Умалишенные всегда так воют, пробуждаясь от сна. Один начнет, другой подхватит, а иногда во время такого концерта кто-нибудь из них пытается вырваться на волю, поэтому некоторая опасность все же существует.

— А сколько пациентов сейчас у вас на излечении?

— Около десяти.

— И в основном женщины, я полагаю?

— Да нет, исключительно мужчины, и очень крепкого сложения, надо сказать.

— Вот как? А я почему-то всегда считал, что большинство душевнобольных — женщины.

— Это так, но не всегда. Когда-то у нас было двадцать семь пациентов, и среди них восемнадцать женщин, но потом положение изменилось, как видите.

— Да-да, положение очень, очень изменилось! — возбужденно перебил его господин, испортивший платье госпожи Лаплас.

— Придержите языки, — сурово произнес директор, сверкнув глазами. Мгновенно воцарилась мертвая тишина, сохранявшаяся около минуты. Одна дама поняла его окрик слишком буквально и, высунув язык, крепко стиснула его пальцами левой руки да так и держала его до конца ужина.

— А эта милая барышня, — шепотом спросил я у месье Майяра, наклонившись к нему поближе, — которая только что кукарекала, она, надеюсь, вполне безобидна?

— Безобидна? — воскликнул он. — О чем вы говорите? Что вы имеете в виду?

— Ну, ведь она же явно не в себе! — пояснил я, слегка коснувшись собственного виска. — Но она, по-моему, не опасна, или я ошибаюсь?

— Бог мой, что вы такое выдумали? Эта дама — мой старый друг. Уверяю вас, госпожа Жуайез так же здорова, как и мы с вами. Может, она немного эксцентрична, но ведь многие пожилые люди имеют чудачества.

— Ну да, — сказал я. — Верно. А остальные дамы и господа, это...

— Мои приятели и помощники, — подхватил месье Майяр с высокомерным видом. — Верные друзья и коллеги.

— Как? Все? — изумился я. — И женщины тоже?

— Разумеется, — ответил он. — Без женщин мы бы не справились, у нас в лечебнице лучшие в мире медсестры. Они пользуются особым методом — очаровывают и успокаивают сиянием глаз. Что-то вроде гипноза.

— Разумеется, — сказал я. — Это замечательно. Но они довольно странно себя ведут. Вам не кажется?

— Странно?! Почему вы так решили? Здесь, на юге, мы не слишком чванимся и не всегда следуем этикету, зато мы наслаждаемся жизнью и делаем, что хотим.

— М-м-да-а... — протянул я. — Кажется, я понимаю.

— Ну еще и вино, конечно. Сдается мне, что это «Кло де Вужо» чересчур крепкое и терпкое. Вам не кажется?

— Пожалуй, — ответил я. — Кстати, вы, кажется, говорили, что система, которую вы ввели вместо «свободной системы», отличается крайней строгостью и жесткой дисциплиной, верно?

— Я бы так не сказал. Разумеется, режим у нас строгий, но лечение, то есть медицинский уход, гораздо эффективнее прежнего. Некоторые принципы мы позаимствовали у доктора Смолла, а затем под моим руководством внедрили многие достижения знаменитого профессора Перрье, с которым вы, должно быть, хорошо знакомы.

— Стыдно сказать, но я никогда не слышал об этих почтенных господах.

— Святые мученики! — воскликнул директор, всплеснув руками, и резко отодвинул стул от стола. — Неужели я ослышался? Они вам неизвестны? Ни великий Смолл, ни гениальный Перрье?

— Вынужден сознаться в своем невежестве, — ответил я. — Но не буду лгать. До чего же стыдно не знать о трудах столь выдающихся людей! Клятвенно обещаю найти их сочинения и обстоятельно изучить. Смею сказать, господин Майяр, вы вогнали меня в краску!

И это действительно было так.

— Ни слова больше, мой юный друг, — сказал он, ласково пожимая мою руку. — Лучше выпейте со мной стаканчик сотерна.

Так мы и поступили. Гости последовали нашему примеру и продолжали веселиться. Они болтали, шутили, смеялись и вытворяли всякие глупости. Скрипки завывали, барабан грохотал, тромбоны ревели, как быки Фаларида[79], и с каждой минутой шум становился все более оглушительным. Между тем мы с месье Майяром, сидя за бутылкой сотерна и отчаянно напрягая голос, пытались продолжать беседу. Слово, произнесенное здесь обычным тоном, имело не больше шансов быть услышанным, чем речь рыбы на дне Ниагарского водопада.

— Месье! — кричал я в ухо директора лечебницы. — Перед ужином вы упомянули, что существует опасность, связанная со старой «свободной системой». Что вы хотели этим сказать?

— Да-да, — во весь голос отвечал он, — иногда у нас действительно бывали опасные положения. Слишком уж поощрялись капризы пациентов. Но, в соответствии с системой доктора Смолла и профессора Перрье, больных больше не оставляют без присмотра. Сумасшедший может некоторое время сохранять рассудок и спокойствие, но рано или поздно становится буйным. А их хитрость просто неопишима. Если пациент что-то задумал, то он способен скрывать свои намерения с непостижимой изобретательностью. А ловкость, с которой они симулируют душевное здоровье! Именно она стала главной загадкой для специалистов, изучающих человеческий разум и его недуги. Поверьте, когда душевнобольной кажется совершенно здоровым — самое время надеть на него смирительную рубашку.

— Но, дорогой месье Майяр, опасность, о которой вы упомянули... Что говорит ваш опыт: стоит ли считать рискованным предоставление свободы душевнобольным?

— Мой опыт? Знаете, пожалуй, да. Например, совсем недавно у нас был примечательный случай. «Свободная система» тогда еще действовала, и пациенты вполне располагали собой. Их поведение было превосходным, даже слишком хорошим. Любой нормальный человек уже догадался бы, что они что-то задумали. И вот однажды утром надзиратели были связаны и брошены в изолятор как душевнобольные, а пациенты, поменявшись с ними местами, стали охранять их как надзиратели.

— Быть того не может! Никогда не слышал ничего абсурднее.

— Но это факт! Все случилось по вине одного безумного болвана. Он ни с того ни с сего решил ввести новую систему управления лечебницей, которая якобы лучше прежней. И вот, решив опробовать свой метод, он убедил всех больных присоединиться к нему, вступить в заговор и свергнуть действующее руководство.

— И у него получилось?

— Вне всякого сомнения. Надзиратели и пациенты вскоре поменялись местами. Более того, при прежней системе умалишенные могли свободно гулять, а заключенным в изоляторы сотрудникам лечебницы не позволяли выходить оттуда, да и обращались с ними, к сожалению, весьма скверно.

— Но, полагаю, этот бунт был вскоре подавлен? Такое положение вещей просто не может долго существовать. Жители соседних деревень и посетители заметили бы весь этот ужас и подняли тревогу.

— В этом вы, бесспорно, ошибаетесь. Глава заговорщиков оказался слишком хитер. Он запретил всякие визиты, сделав исключение только для одного молодого человека, чей вид был так глуп, что его не приходилось опасаться. Его приняли и провели по всей лечебнице исключительно ради забавы. А потом, поглумившись над ним вдоволь, выставили за ворота.

— И как долго продолжалось это правление безумцев?

— Довольно долго, наверное, с месяц. Это было славное времечко для наших сумасшедших, могу поклясться. Они сбросили свои лохмотья и надели на себя все лучшее, что только смогли найти. В замке имелся солидный запас хорошего вина, а ведь эти неумняемые знают в нем толк. Замечательно они позабавились, эти дьяволы...

— А что насчет лечения? Какой метод был предложен главарем бунтовщиков?

— Ну, он был не таким уж и безумным. Я считаю, что его лечение оказалось гораздо действеннее прежнего. Замечательная система — простая, ясная, никакого насилия над личностью, просто чудо. Это была...

Тут рассказ хозяина был прерван теми же воплями, какие уже однажды повергли в шок всю компанию. Но теперь эти вопли стремительно приближались.

— О боже! — воскликнул я. — Должно быть, сумасшедшие вырвались на волю!

— Боюсь, что так оно и есть, — ответил, стремительно бледнея, месье Майяр.

Не успел он договорить, как крики и проклятия послышались под окнами. Стало понятно, что те, кто находился снаружи, пытаются ворваться в столовую. Затем послышались могучие удары в дверь: в нее явно колотили кувалдой. Кто-то бешено тряс ставни, пытаясь их сорвать.

Поднялась страшная суматоха. Месье Майяр, к моему полному изумлению, нырнул за буфет. Я ожидал от него большего мужества. Музыканты из «оркестра», успевшие хватить лишку, бросились к инструментам и, забравшись на стол, разом грянули «Янки Дудл» — фальшиво, но с редкостным воодушевлением.

Тем временем, расшвыривая бутылки и стаканы, на стол забрался господин, которого недавно едва уговорили не делать этого. Утвердившись в центре, он принялся разглагольствовать. Речь его могла бы быть эффектной, если бы кто-то мог ее расслышать. И тут же человек, говоривший о человеке-волчке, принялся с поразительной скоростью вращаться, вытянув руки и сшибая с ног всех вокруг. Послышалось хлопанье пробки и шипение шампанского — это в дело вступил человек-бутылка, а человек-лягушка расквакался так громко, словно от силы этого кваканья зависела его жизнь. К общей какофонии добавился истошный рев осла, а насмерть перепуганная мадам Жуайез стояла в углу у камина и во все горло вопила: «Кукареку!»

События достигли, так сказать, кульминации. А поскольку никто из присутствовавших в столовой даже не пытался сопротивляться, все ее десять окон были выбиты почти одновременно вместе со ставнями. Мне никогда не забыть того ужаса и удивления, с которыми я смотрел на целую армию существ, похожих на шимпанзе, орангутангов и огромных черных бабуинов с мыса Доброй Надежды, которые прыгали в окна, сбиваясь в кучу, колотя направо и налево, лягаясь, царапаясь и жутко завывая.

Получив солидный удар, я нырнул под один из диванов и затаился там. Пролежав в пыли с четверть часа, я дождался окончания этой драмы, а вместе с тем все, что я видел и слышал в лечебнице до того, как бы перевернулось с ног на голову.

Оказалось, что месье Майяр, рассказывая мне историю о сумасшедшем, подбившем других пациентов на бунт, говорил о своих

собственных деяниях. Этот джентльмен и в самом деле еще два или три года назад был главным врачом этой клиники, но благополучно спятил и сам стал пациентом. Попутчик, познакомивший меня с ним, разумеется, этого не знал. Дюжина надзирателей была захвачена врасплох, сумасшедшие вымазали их смолой и изваляли в перьях. После чего всех охранников заточили в изоляторе. Больше месяца месье Майяр щедро поставлял им смолу и перья (в честь которых и получила свое имя «система Смолла и Перрье»), а также воду и хлеб. В конце концов одному из охранников удалось сбежать из изолятора через сточную трубу и освободить остальных.

В «свободную систему» внесли ряд поправок и продолжали ее использовать. Добавлю только, что я искал сочинения доктора Смолла и профессора Перрье во всех библиотеках Европы, но эти поиски оказались совершенно безуспешными.

Низвержение в Мальстрем

Пути Господни в Природе и в Промысле его не наши пути, и уподобления, к которым мы прибегаем, никоим образом несоизмеримы с необъятностью, неисчерпаемостью и непостижимостью его деяний, глубина коих превосходит глубину Демокритова колодца[80].

Джозеф Гленвилл

Мы достигли вершины самого высокого утеса. В течение нескольких минут старик не мог говорить от усталости.

— Еще недавно, — наконец промолвил он, — я мог бы провести вас по этой дороге с такой же легкостью, как самый младший из моих сыновей. Но года три назад со мной случилось нечто такое, что не случалось прежде ни с одним из смертных — или, вернее, ни один из смертных не пережил подобного, чтобы поведать о нем. Шесть часов, которые я провел тогда в состоянии невыразимого ужаса, надломили и душу мою, и мое тело. Вы думаете, я очень стар? Ошибаетесь! Не понадобилось и дня, чтобы мои волосы, черные как смоль, поседели, а все мои члены ослабли и нервы расшатались до такой степени, что я по сей день пугаюсь тени и дрожу от малейшего напряжения. Вы не поверите, но я не могу даже смотреть без головокружения вниз с этого небольшого утеса!

«Небольшой утес», на самом краю которого он непринужденно разлегся так, что бóльшая часть его тела оказалась на весу и удерживалась только тем, что он опирался локтем на крутой и скользкий выступ, — поднимался над пропастью отвесной глянцеви́то-черной гранитной глыбой, возвышавшейся футов на полтора́ста над грядой скал, теснившихся под нами. Ни за что на свете не осмелился бы я подойти хотя бы на пять-шесть шагов к его краю. Скажу прямо — рискованная поза моего спутника повергла меня в такое смятение, что я бросился на землю и, уцепившись за торчавший вблизи кустарник, не решался даже поднять взгляд. Я не мог отделаться от мысли, что вся эта скалистая глыба вот-вот рухнет под бешеными ударами ветра.

Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось справиться с собой и найти мужество приподняться, сесть и оглядеться вокруг.

— Да бросьте вы это ребячество, — сказал мой проводник, — я привел вас сюда специально, чтобы вы могли воочию видеть сцену, на которой развернулись те события, о которых я упомянул, и хочу рассказать вам всю эту историю, имея перед глазами место действия.

— Мы сейчас находимся, — продолжал он с той же спокойной обстоятельностью, которой отличался во всем, — над самым северным побережьем Норвегии, на шестьдесят восьмом градусе широты, в обширной области Нордланд, в суровом краю Лофотена. Гора, на вершине которой мы с вами сидим, называется Хмурый Хельсегген. Теперь поднимитесь-ка чуть повыше — цепляйтесь за траву, если у вас кружится голова, вот так — и посмотрите вниз, вон туда, за полосу туманов, что в море.

Я взглянул, и голова у меня снова закружилась. Я увидел могучий простор океана, чьи воды были так черны, что сразу вызвали в моем воспоминании рассказ нубийского географа о Море Мрака. Более скорбный и безутешный пейзаж не в силах представить человеческое воображение. Направо и налево, насколько хватало взгляда, тянулись гряды отвесных чудовищно черных скал, нависавших над морем, словно исполинские редуты. Их зловещая чернота казалась еще темнее из-за бурунов, которые, высоко вздымая свои белые гребни, обрушивались на них с неумолчным ревом. Прямо напротив мыса, на вершине которого мы находились, в пяти или шести милях от берега виднелся маленький плоский островок; вернее было бы сказать, не

виднелся, а угадывался по яростному клочкотанию волн, вздымавшихся вокруг него. Мили на две ближе к берегу торчал другой островок — поменьше, страшно изрезанный, голый и окруженный со всех сторон темными зубцами скал.

Поверхность океана на всем пространстве между дальним островком и берегом имела весьма необычный вид. Несмотря на то что ветер дул с моря с такой силой, что небольшое судно, шедшее вдалеке, то и дело пропадало из виду, зарываясь всем корпусом в волны, то была не настоящая морская зыбь, а какие-то короткие, быстрые, гневные всплески, разбегавшиеся во все стороны — и по ветру, и против ветра. Пены почти не было, она бурлила только у подножий скал.

— Вон тот дальний островок, — продолжал старик, — у норвежцев зовется Вург. Этот, поближе, — Моске. На милю севернее — Амбаарен. А вон Ифлезен, Гойхольм, Килдхольм, Суарвен и Букхольм, Оттерхольм, Флимен, Сандфлезен и Скархольм. Таковы точные названия этих клочков суши, да только ни вам, ни мне не дано уразуметь, кому и зачем понадобилось их как-то называть. Вы слышите что-нибудь сейчас? Не замечаете никакой перемены на море?

Мы уже минут десять находились на вершине Хельсеггена, куда поднялись из внутренней части Лофотена, и увидели море только тогда, когда оно внезапно открылось перед нами с вершины. Старик не успел договорить, как я услышал громкий, все нарастающий гул, похожий на рев и топот огромного стада бизонов в американской прерии; в ту же минуту я заметил, что всплески на море, или, как их называют моряки, «сечка», стремительно превратились в бурное течение, которое устремилось на восток. У меня на глазах это течение набирало чудовищную скорость. С каждым мгновением его мощь и его напор возрастали. В какие-нибудь пять минут все море до самого Вурга бешено заклокотало, но всего сильнее оно бушевало между Моске и береговой линией. Здесь водная ширь, иссеченная тысячью противоположно направленных потоков, вдруг вздыбилась в неистовых судорогах, зашипела, забурлила, засвистела и начала закручиваться спиралью в многочисленные гигантские воронки, несущиеся на восток с такой невообразимой быстротой, с какой низвергается водопад с горной кручи.

Уже через несколько мгновений в этой картине произошла еще одна резкая перемена. Вся поверхность стала более гладкой, и водовороты мало-помалу исчезли, зато огромные полосы пены забелели там, где до сих пор их не было вовсе. Эти полосы, расплываясь на громадное расстояние и переплетаясь между собой, приняли в себя вращательное движение исчезнувших водоворотов и образовали как бы зародыш нового водоворота, куда более обширного. Мгновение — и он совершенно внезапно превратился в круг с резкими очертаниями, достигавший свыше мили в диаметре. Край водоворота-исполина обрамлял пояс блестящей пены; при этом ни одна из ее частиц не устремлялась в пасть чудовищной воронки, внутренность которой, насколько можно было разглядеть, представляла собой гладкую и блестящую агатово-черную водяную стену, наклоненную к горизонту под углом в сорок пять градусов. Эта водная стена с ошеломляющей быстротой вращалась, издавая такие вопли, каких даже гигантский водопад Ниагары никогда не посылает к небесам.

Гора дрогнула в своем основании, и утес заколебался. Я снова бросился на землю и уцепился за чахлую траву, охваченный невыносимым нервным возбуждением.

— Это, конечно, и есть, — пробормотал я, обращаясь к старику, — тот великий водоворот Мальстрем?

— Так его некоторые называют, — отозвался старик. — Мы, норвежцы, зовем его Москестрем — по имени острова Моске, что виднеется вон там, посередине.

Различные описания этого водоворота нисколько не подготовили меня к тому, что я увидел. Описание Ионаса Рамуса, самое подробное из всех, не дает ни малейшего представления ни о величии, ни о грозной красоте этого зрелища, ни об ощущении необычности, уникальности этого явления природы, которое потрясает зрителя до глубины души. Уж и не знаю, откуда наблюдал автор Мальстрем и в какое время, но, во всяком случае, не с вершины Хельсеггена и не во время шторма. Некоторые места из его описания стоит привести, но язык автора так беден, что совершенно не передает впечатления от этого адского котла.

«Между Лофотеном и Моске, — пишет он, — глубина океана доходит до тридцати шести и даже до сорока морских саженей; но по другую сторону, ближе к Вургу, она настолько мала, что нет хоть

сколько-нибудь безопасного прохода для судов, и они рискуют налететь на рифы даже при самой тихой погоде. Во время прилива течение между Лофотеном и Моске бурно устремляется к берегу, но оглушительный гул, с которым во время отлива оно мчится обратно в море, едва ли способен сравниться даже с ревом самых мощных водопадов. Рев и гул слышны за много миль, а глубина и масштабы образующихся здесь водяных воронок таковы, что судно, оказавшееся в сфере их притяжения, неминуемо захватывается, идет ко дну и там разбивается в щепки; когда море успокаивается, эти обломки всплывают на поверхность. Но краткое затишье наступает только в паузе между приливом и отливом, в совершенно безветренную погоду, и продолжается каких-нибудь четверть часа, после чего волнение снова начинает нарастать. Когда ярость течения усиливается штормом, к этому месту опасно приближаться на расстояние морской мили. Парусные суда, вовремя не заметившие опасности, гибнут в бездне. Нередко случается, что киты, оказавшиеся слишком близко, становятся жертвами бешеного водоворота, и нет таких усилий, которые позволили бы морским исполинам спастись. Однажды в воронку затянуло медведя, который пытался переплыть пролив от Лофотена к Моске, несчастный так ревел, что этот рев был слышен на берегу. Столетние стволы сосен и елей, захваченные течением, море выносит обратно в таком растерзанном виде, что щепки на них торчат, как свиная щетина. Это, безусловно, свидетельствует о том, что здешнее дно сплошь покрыто острыми камнями и скалами, о которые разбивается все, что попадает во вращающийся с бешеной скоростью поток. Водоворот этот возникает в тесной связи с приливами и отливами, которые чередуются здесь каждые шесть часов. В 1645 году, утром в вербное воскресенье, Мальстрем бушевал с такой силой, что от домов, стоящих близко к берегу, не осталось камня на камне».

Что касается глубины пролива, я просто не представляю, каким образом удалось определить ее в непосредственной близости к воронке. Цифра в сорок сажений, по-видимому, указывает глубину пролива у берегов Моске или Лофотена. Что касается глубины в том месте, где обычно возникает воронка Мальстрема, то она, конечно же, неизмеримо больше. Это утверждение не нуждается в доказательствах: достаточно просто бросить беглый взгляд в пучину водоворота с вершины Хельсеггена.

Глядя с утеса на ревущий внизу Флегетон[81], я не мог не улыбнуться простодушию, с каким достопочтенный Рамус повествует, как о чем-то маловероятном, о случаях с китами и медведями. Мне, признаться, казалось совершенно очевидным, что даже самый крупный линейный корабль, очутившись в пределах смертоносного притяжения водоворота, мог бы сопротивляться ему не дольше, чем птичье перо урагану, и был бы моментально поглощен водоворотом.

Попытки объяснить данное явление — некоторые из них, помнится, казались мне при чтении более или менее убедительными — теперь выглядели совершенно беспомощными. Общепринятое объяснение состоит в том, что Мальстрем, так же, как и три небольших водоворота, образующихся между островами Фере, обязан своим происхождением столкновению волн, стиснутых между грядками скал и рифов во время прилива и отлива. Эти волны яростно взмываются вверх и обрушиваются вниз с неопишуемой силой; чем выше водяной столб, тем больше глубина его падения, и естественным результатом этого феномена является воронка, или водоворот, свойства которого неплохо изучены в лабораторных условиях. Вот что сказано по этому поводу в Британской энциклопедии: «Кирхер и многие другие считают, что в центре Мальстрема существует бездонная пропасть, через которую вода устремляется по подземным тоннелям чуть ли не на противоположную сторону земного шара и выходит на поверхность в каком-то очень отдаленном месте».

Это утверждение, само по себе нелепое, в ту минуту, когда вся картина находилась у меня перед глазами, показалось мне вполне правдоподобным. Но когда я сказал об этом моему проводнику, то с удивлением услышал, что, хотя почти все норвежцы придерживаются того же мнения, сам он так не считает. Что касается приведенного выше объяснения, старик просто сознался, что не в состоянии его понять; и я согласился с ним, потому что, как ни убедительно оно выглядит на бумаге, здесь, перед гремещей бездной, оно кажется невнятным лепетом.

— Ну, пожалуй, вы уже нагляделись на водоворот, — наконец сказал старик, — а теперь, если вы осторожно обогнете утес и усядетесь здесь, с подветренной стороны, где не так слышен этот рев, я расскажу вам одну историю, которая окончательно убедит вас, что

если кто и знает кое-что о Мальстреме, или Москестреме (это уж как вам будет угодно), то это я!

Я исполнил все, что мне было велено, устроился под скалой, и он приступил к рассказу.

— Мы с двумя братьями раньше владели на паях хорошо оснащённым парусным судном водоизмещением тонн этак в семьдесят, и на этом паруснике обычно отправлялись ловить рыбу к островам за Моске, ближе к Вургу. Во время высоких приливов в открытом море часто бывает хороший улов, надо только выбрать подходящее время и иметь достаточно мужества, чтобы не упустить момент. Однако из всех лофотенских рыбаков только мы трое ходили на промысел к островам. Обычно рыбачат значительно южнее, где нет никакого риска. Но там, среди скал, имелись кое-какие места, где не только водилась всякая редкая рыба, но и улов был куда богаче — так что порой нам удавалось за день наловить столько, сколько другие не добывали и за неделю. Словом, это было отчаянное предприятие: вместо того, чтобы трудиться изо дня в день, мы попросту рисковали головой.

Мы держали наш парусник в небольшой бухте в пяти милях отсюда и в хорошую погоду, пользуясь затишьем, которое длится четверть часа, обычно пересекали главное течение Мальстрема гораздо выше водоворота. Затем мы бросали якорь где-нибудь около Оттерхольма или Сандфлезена, где не так свирепствует прибой. Мы оставались там, пока снова не наступало затишье, и тогда, снявшись с якоря, отправлялись домой. Мы никогда не пускались в это путешествие, если не было надежного бейдевинда[82], и редко ошибались в наших расчетах. За шесть лет мы только дважды были вынуждены простоять ночь на якоре из-за мертвого штиля — явления поистине небывалого в здешних краях; а однажды нам пришлось на целую неделю задержаться на промысле, и мы чуть не отдали Богу душу от голода, потому что едва только мы встали на якорь и даже не начали лов, как разыгрался шторм, и нечего было даже думать о том, чтобы пересечь бушующий пролив. Шхуну так швыряло и вертело, что якорь волочился по дну; но, к счастью, мы попали в одно из боковых течений — их здесь много, нынче оно здесь, а завтра его уже нет — и оно отнесло нас к острову Флимен, где нам удалось снова надежно бросить якорь.

Я не смогу описать и двадцатой доли трудностей, с которыми мы сталкивались там, где рыбачили, — это скверные места даже в хорошую погоду. Но мы знали разнообразные хитрости и всегда благополучно избегали ярости Мальстрема. Правда, иной раз у меня душа уходила в пятки, когда нам случалось на какую-нибудь минуту опередить затишье или опоздать к нему. Ветер иногда был не таким крепким, каким казался, когда мы отчаливали, и мы шли медленнее, чем нам хотелось, а поток, между тем, делал управление судном совершенно немыслимым. У моего старшего брата был восемнадцатилетний сын, и у меня тоже были двое славных молодцов. Они очень были бы нам полезны в подобных ситуациях, в особенности во время рыбной ловли, но, хоть сами мы рисковали, у нас не хватало духу подвергать опасности еще и детей, потому что, с какой стороны ни посмотри, опасность действительно существовала, и очень серьезная.

Через несколько дней исполнится ровно три года, как произошло то, о чем я собираюсь вам рассказать. Дело было десятого июля 18... года. Этот день здешние жители никогда не забудут — такого страшного урагана небеса еще не посылали в эти края. И тем не менее с утра и даже после полудня дул легкий и ровный юго-западный ветерок и солнце светило так ярко, что даже самый опытный старожил не смог бы предвидеть то, что случилось.

Около двух пополудни мы втроем — оба моих брата и я — пристали к островам и очень скоро нагрузили трюм нашей шхуны превосходной рыбой, которая в тот день, как все мы заметили, ловилась в таком изобилии, как никогда. Было ровно семь по судовым часам, когда мы снялись с якоря и двинулись в обратный путь, чтобы пересечь опасное течение в самое затишье, а оно, как мы хорошо знали, должно наступить в восемь часов.

Мы вышли под свежим ветром, дувшим со штирборта[83], который нас подгонял, и некоторое время быстро продвигались вперед, не помышляя ни о какой опасности, потому что и в самом деле причин для опасений не было никаких. И вдруг, вопреки всему, навстречу нам задул ветер с Хельсеггена. Это было что-то совершенно необычное, никогда прежде такого не бывало, и мне сразу стало не по себе. Мы переставили паруса под ветер, но все равно не двигались с места из-за встречного течения. Я уже собирался предложить братьям повернуть

обратно и стать на якорь, но как раз в эту минуту, оглянувшись, мы увидели, что над горизонтом стоит стеной какая-то необычная туча — цвета начищенной меди, и при этом растет с невероятной быстротой.

Тем временем налетевший на нас с берега ветер утих, наступил мертвый штиль, а течение принялось носить нас из стороны в сторону. Но это продолжалось так недолго, что мы даже не успели подумать, что бы это могло значить. Не прошло и минуты, как налетел шторм, еще минута — и небо заволокло мглой, море закипело и вспенилось, а затем воцарился такой мрак, что мы не могли видеть друг друга.

Нечего и пытаться описать этот ураган. Никто из норвежских моряков не видал ничего подобного. Мы успели убрать паруса, прежде чем на нас обрушился шквал, но при первом же порыве ветра обе мачты шхуны рухнули за борт, а грот-мачта уволокла за собой моего младшего брата, который привязался к ней на всякий случай.

Наше судно обладало превосходными мореходными качествами, оно скользило по волнам, как перышко. Палуба имела сплошной настил с одним небольшим люком в носовой части; этот люк мы обычно задраивали перед тем, как переправляться через пролив, чтобы нас не захлестнула «сечка». И если бы не эта предосторожность, мы тут же пошли бы ко дну, потому что сразу зарылись в воду по самый верх надстроек.

Каким образом мой старший брат в ту минуту избежал гибели, я не могу сказать, мне не довелось его об этом спросить. А я, как только у меня вырвало из рук фок[84], бросился ничком на палубу и, упершись ногами в планшир, уцепился что было сил за рым[85] у основания фок-мачты. Конечно, я действовал инстинктивно, и это было лучшее, что я мог сделать, потому что соображать в ту минуту я не был способен.

На несколько секунд, как я уже сказал, нас совершенно затопило, и я лежал, не дыша, отчаянно вцепившись обеими руками в рым. Почувствовав, что легкие мои вот-вот разорвутся, я приподнялся на коленях, не выпуская кольца из рук, и голова моя оказалась над водой. В это время наше суденышко встряхнулось, точно пес, выскочивший из воды, и взлетело на гребень волны. Я был словно в столбняке, но изо всех сил старался собраться и понять, что же теперь делать, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Это был мой старший брат, и я страшно обрадовался, потому что считал, что и его смыло за борт. Но

радость моя мгновенно сменилась ужасом, когда он, приблизив губы к моему уху, прокричал одно-единственное слово: «Москестрем!»

Не берусь передать, что я почувствовал в ту минуту! Я задрожал с головы до ног, словно в жестоком приступе лихорадки. Я хорошо знал, что имел в виду мой брат, произнося это слово. Ветер гнал нас вперед, прямо к водовороту, и теперь ничто не могло нас спасти!

Видите ли, обычно, пересекая течение в проливе, мы даже в самую тихую погоду всегда старались держаться как можно дальше от водоворота и при этом пристально следили за началом затишья. А теперь нас несло в самый котел, да еще при таком урагане! «Но ведь мы, наверное, окажемся там во время самого затишья, — подумал я. — Есть еще крохотная надежда». И тут же обругал себя: только сумасшедший мог на что-то надеяться в таких обстоятельствах.

К этому времени первый бешеный натиск ветра стих, а может, мы не так ощущали его, потому что он дул нам в корму. Зато волны, которые поначалу катились низко, как бы придавленные бешеным ветром, теперь вздыбились и превратились в целые горы... В небе также произошла странная перемена. Только что оно было повсюду черным, как деготь, и вдруг прямо над нашими головами образовалось круглое оконце, просвет чистой, ясной, глубокой синевы, и в нем засияла полная луна таким ярким светом, какого я никогда еще не видывал. Она озарила все вокруг с необыкновенной отчетливостью — но, Боже правый, что за зрелище нам открылось!

Я несколько раз пытался заговорить с братом, но шум моря до такой степени усилился, что, несмотря на все мои старания, он не мог расслышать ни слова. А ведь я кричал ему прямо в ухо! Вдруг он сокрушенно покачал головой, смертельно побледнел и поднял палец, словно желая сказать этим жестом: «Слушай!»

Я не сразу понял, на что он хочет обратить мое внимание, но затем у меня мелькнула страшная мысль. Я вытащил из кармана часы, поднял их к свету и взглянул на циферблат. Они остановились в семь! Время затишья было упущено, и теперь водоворот Мальстрема бушевал в полную мощь.

Если судно прочно построено, правильно оснащено и не слишком нагружено, при сильном шторме в открытом море волны как бы выскальзывают из-под него. Людям, не знающим моря, это кажется странным, а у нас, старых моряков, это называется «оседлать волну».

Так вот, до сих пор мы благополучно «держались в седле», но вдруг исполинская волна ударила нас прямо под корму и, взметнувшись, понесла вверх, все выше и выше, словно норовя зашвырнуть в самое небо. Я бы ни за что не поверил, что волна может подняться так высоко, если бы это происходило не со мной. А потом мы стрелой полетели вниз, причем с такой скоростью, что у меня перехватило дыхание и потемнело в глазах, будто я падал во сне в бездонную пропасть. Однако пока мы еще находились на гребне, я успел бегло осмотреться, и одного этого взгляда мне хватило. Я тотчас понял, где мы находимся. Водоворот Москестрем лежал прямо перед нами на расстоянии не больше четверти мили, но он был похож на тот Москестрем, который вы сейчас видите, не больше, чем Ниагарский водопад на мельничный ручей. Если бы я уже не догадался, где мы находимся и к чему нам следует быть готовыми, я бы не узнал это место. От ужаса глаза мои судорожно закрылись сами собой.

Прошло не больше двух-трех минут, и вдруг мы почувствовали, что волны отхлынули и нас обдаёт клочьями пены. Судно само круто повернуло на левый борт и стремительно рванулось вперед. В тот же миг оглушительный шум волн совершенно потонул в каком-то пронзительном вое — представьте себе, что тысячи пароходов одновременно включили сирены, чтобы сбросить пар. Теперь мы находились в полосе пены, всегда окружающей водоворот, и я подумал, что нас, конечно, сейчас швырнет в бездну. Мы уже смутно видели ее зев, потому что кружили над ним с сумасшедшей быстротой. Шхуна наша как будто вовсе потеряла осадку: она не погружалась в воду, а скользила, как воздушный пузырь, по поверхности зыби. Правый борт был обращен к водовороту, а слева простирался необъятный океан. Простирался — не то слово, океан стоял, подобно огромной крепостной стене, которая вздыбилась между нами и горизонтом.

Это может показаться странным, но теперь, когда мы оказались в самой пасти водоворота, я чувствовал себя гораздо более спокойным, чем тогда, когда мы только приближались к нему. Убедившись, что никакой надежды больше нет, я окончательно избавился от страха, который поначалу буквально парализовал меня. Я думаю, что отчаяние до предела взвинтило и напрягло мои нервы.

Не подумайте, что я хвастаюсь — я говорю вам чистую правду: в тот миг я начал размышлять о том, как странно умереть таким необычным образом и каким безумием было тревожиться о такой ничтожной вещи, как моя собственная жизнь, перед лицом столь величественного проявления Божьего могущества. Мне и сейчас кажется, что я даже вспыхнул от стыда, когда эта мысль промелькнула у меня в голове. Затем мысли мои обратились к водовороту, и мной овладело жгучее любопытство. Меня тянуло проникнуть в его глубину, и мне казалось, что ради этого стоит пожертвовать жизнью. При этом я жалел только об одном — что никогда уже не смогу рассказать людям, оставшимся на суше, о тех чудесах, которые откроются передо мной. Странно, что у человека перед лицом смерти возникают такие нелепые фантазии; потом я не раз размышлял об этом и пришел к выводу, что, возможно, это бесконечное и стремительное кружение над бездной слегка помутило мой разум.

Было, между прочим, еще одно обстоятельство, которое помогло мне овладеть собой. Ветер совершенно исчез, поскольку теперь он просто не мог достигать до нас, так как наше судно, продолжая движение, находилось уже значительно ниже уровня океана. Если вам никогда не случалось бывать на море во время сильного и продолжительного шторма, вы не в состоянии даже представить, до какого исступления могут довести моряка ветер и удары волн. Они слепят, оглушают, не дают свободно вздохнуть, лишают всякой способности действовать и соображать. Но теперь мы были избавлены от этих неприятностей — так приговоренный к казни преступник пользуется в тюрьме некоторыми льготами, которых он был лишен, когда его участь еще не определилась.

Сколько раз мы пронеслись по кромке водоворота, я не могу сказать. Мы мчались, описывая огромные круги, должно быть, в течение часа, и при этом не плыли, а, скорее, летели, постепенно смещаясь к середине пенистого кольца, а затем все ближе и ближе к его зловещему внутреннему краю. Все это время я не выпускал из рук медное кольцо у основания снесенной мачты. Мой старший брат лежал на корме, держась за большой пустой бочонок, прочно прикрепленный тросом к палубе; это была единственная вещь, которую не снес за борт ураганный удар первого шквала. Но когда мы уже совсем приблизились к краю воронки, брат, вне себя от ужаса, вдруг оставил

свой бочонок и, бросившись ко мне, стал отрывать мои руки от кольца — держаться вдвоем за него было нельзя.

Ничто в жизни так глубоко не огорчало меня, как этот его поступок, хотя я и понимал, что он, должно быть, совсем помешался от страха. Но у меня и в мыслях не было противиться или вступать с ним в борьбу. Я знал, что, будем мы за что-нибудь держаться или нет, никому из нас это не поможет. Уступив брату рым, я перебрался на корму к бочонку. Сделать это было вовсе не трудно, потому что шхуна, продолжая двигаться по кругу, держалась довольно устойчиво, не кренилась и только иногда покачивалась от носа к корме от завихрений водоворота. Но едва я успел устроиться на новом месте, как судно вдруг легло на правый борт — и мы стремглав понеслись в бездну.

Я поспешно пробормотал молитву, решив, что все кончено.

Меня замутило от быстроты спуска, я инстинктивно уцепился за бочонок и закрыл глаза. Несколько секунд я не решался открыть их, в каждое мгновение ожидая конца и удивляясь, что я еще не в воде. Но время шло, а я все еще был жив. Ощущение падения прекратилось, и движение судна, по-видимому, осталось почти таким же, как раньше, когда оно находилось в полосе пены, с той только разницей, что теперь оно сильно кренилось на борт.

Овладев собой, я решился окинуть взглядом то, что творилось вокруг.

Никогда мне не забыть благоговейного ужаса и восторга, охвативших меня в ту минуту. Шхуна, казалось, висит, удерживаемая какой-то волшебной силой, на полпути к бездне. Она находилась на внутренней поверхности огромной круглой воронки, уходящей в невероятную глубину. Ее совершенно гладкие стены могли бы показаться черным стеклом, если бы они не вращались с головокружительной скоростью и не отражали при этом призрачное сияние лунных лучей, которые золотым потоком струились вдоль черных склонов, проникая далеко вглубь.

Сначала я был так потрясен, что ничего не мог понять. Внезапно открывшийся образ грозного величия — вот и все, что я видел. Когда же я отчасти пришел в себя, взгляд мой волей-неволей устремился вниз — в этом направлении для него не было никаких преград, так как шхуна «висела» на внутренней поверхности конуса воронки. Она оставалась «на ровном киле», как говорят моряки, — то есть ее палуба

была параллельна поверхности воды. Но сама эта поверхность была круто наклонена, образуя к горизонтали угол около сорока пяти градусов, так что мы как бы лежали на боку. Однако я заметил, что и при таком положении судна мне почти без труда удавалось сохранять равновесие; это, по-видимому, объяснялось скоростью вращения водоворота.

Лунные лучи проникали почти до самого дна бездны, но я все еще не мог рассмотреть его отчетливо. Там клубился густой туман, а над туманом висела великолепная лунная радуга, подобная тому узкому и непрочному мосту, который, как считают мусульмане, служит единственным переходом из Времени в Вечность. Этот туман, или водяная пыль, возникали, вероятно, от столкновения гигантских стен воронки, когда они сходились вместе на дне; но вопль, который исходил из этого тумана и возносился к небесам, я не берусь описать.

Как только мы оторвались от верхнего пояса пены и соскользнули в воронку, нас сразу увлекло на значительную глубину, но после этого спуск продолжался крайне неравномерно. Мы носились кругами, но не ровным и плавным ходом, а стремительными рывками и толчками. Нас то швыряло вниз на несколько десятков футов, то шхуна снова летела так, что описывала полный круг, не спустившись ни на дюйм. Тем не менее с каждым оборотом мы оказывались все ниже, этого нельзя было не заметить.

Озираясь вокруг и вглядываясь в огромное черное жерло, вокруг которого мы вращались, я заметил, что наше судно — не единственная добыча, захваченная пастью водоворота.

Над нами и ниже нас носились обломки судов, громадные бревна, стволы деревьев и масса мелких предметов: домашняя утварь, разбитые ящики, доски и бочонки. Я уже упоминал о том странном любопытстве, которое овладело мной, вытеснив первоначальное чувство доводящего до безумия страха. Оно разгоралось во мне все сильнее по мере того, как жуткий конец становился все ближе и ближе. Я с острым интересом разглядывал все эти предметы, двигавшиеся вместе с нами. Возможно, я был в шоке, потому что мне доставляло необъяснимое удовольствие угадывать, какой из этих предметов первым унесется в kloкочущую пучину. Вот эта сосна, говорил я себе, сейчас совершит роковой прыжок, взмахнет ветвями, нырнет и исчезнет — и был по-детски разочарован, когда остов голландского торгового судна опередил дерево и исчез первым. И вдруг, после нескольких таких попыток угадать и неизменных ошибок, у меня в голове мелькнула мысль, от которой я задрожал с головы до ног, а сердце мое неистово заколотилось.

То, что так подействовало на меня, было не ужасом, а смутным проблеском надежды. И надежда эта возникла не только из наблюдений за поведением обломков и нашего собственного судна, но также из воспоминаний. Я припомнил хлам, которым был обычно усеян берег Лофотена, — все то, что когда-то поглотил Москестрем и потом «выплюнул» обратно. В большинстве это были жалкие обломки, изуродованные и искромсанные до такой степени, что щепы на них стояла дыбом, но среди этого добра иногда попадались предметы, которые выглядели совершенно целыми. Я не мог найти этому никакого объяснения, кроме одного: из всех этих предметов в обломки превращались только те, которые достигали дна. Другие же — по той ли причине, что они попадали в водоворот несколько позже, или по какой-то иной — погружались слишком медленно и не успевали достичь дна, так как начинался прилив или отлив. Я предположил, что в таком случае они могли вернуться на поверхность океана в целости и сохранности, избежав участи тех предметов, которые затонули скорее.

При этом я сделал еще три важных наблюдения. Первое: чем больше и массивнее были предметы, тем скорее их затягивал водоворот. Второе: если из двух предметов одинакового объема один имел форму шара, а другой — любую иную форму, сферический предмет исчезал в бездне быстрее. И, наконец, третье: если из двух

предметов одинаковой величины один был в виде цилиндра, а другой — любой иной формы, цилиндрический погружался медленнее. После того как мне удалось спастись, я несколько раз беседовал об этом с нашим старым школьным учителем. Он объяснил мне, хоть я и позабыл это объяснение, что все эти явления, в сущности, были естественным следствием той формы, какую имели плавающие предметы, и подтвердил, что цилиндр, попавший в водоворот, оказывает наибольшее сопротивление всасывающей его силе.

Еще одно удивительное обстоятельство подкрепляло мои наблюдения — именно оно и подтолкнуло меня использовать их для спасения собственной жизни. Всякий раз, описывая окружность, мы обгоняли то бочонок, то рею, то обломок мачты. Многие из этих предметов находились на одном уровне с нами в ту минуту, когда я только что открыл глаза и увидел то, что нас окружало, но теперь они носились высоко над нами и, похоже, почти не сместились со своего первоначального уровня.

Теперь я уже не колебался. Я решил как можно крепче привязать себя к бочонку для пресной воды, за который все еще держался, перерезать трос, которым он был прикреплен к кормовой палубе, и броситься в воду. Я попытался знаками привлечь внимание брата, указывая ему на проплывавшие мимо нас бочки и пытаясь объяснить, что именно я хочу сделать. Мне кажется, брат в конце концов понял меня, хотя до сих пор не знаю, так это или нет, — однако он только безнадежно покачал головой и не пожелал сдвинуться с места. Добраться до него я уже не мог, к тому же каждая секунда промедления грозила гибелью. Скрепя сердце я предоставил брата избранной им участи, привязал себя к бочонку той же веревкой, которой он был закреплен на палубе, и бросился в пучину.

Расчет мой оказался безошибочным. А поскольку я сам рассказываю вам эту историю, вы видите, что я спасся, и знаете из моих слов, каким образом мне удалось это сделать. Поэтому в остальном я буду краток.

Прошел, должно быть, час после того, как я бросился в воду с борта шхуны, когда наше судно, уже значительно удалившееся вглубь чудовищной воронки, внезапно совершило два или три резких поворота и с бешеной скоростью ринулось вниз, мгновенно скрывшись в хаосе клокотавшей внизу пены, и унесло с собой моего

брата. Что касается меня и моего бочонка, то мы к этому времени преодолели не более половины расстояния от того места, где я выбросился за борт, до жерла водоворота. А между тем в самой исполинской воронке начали происходить очевидные перемены. Наклон ее стен с каждой минутой становился все менее и менее крутым, а скорость движения по кругу мало-помалу снижалась. Пена, водяная пыль и лунная радуга внизу исчезли, и дно бездны начало постепенно приподниматься.

Небо расчистилось, ветер утих, полная луна катилась к закату, когда я оказался на поверхности моря в виду берегов Лофотена, причем как раз над тем самым местом, где только что зияла зловещая пасть Москестрема. Несмотря на затишье, море все еще катило огромные, подобные горам, волны, поднятые унесшейся бурей. Течение с огромной скоростью несло меня по проливу, и через несколько минут меня прибило к берегу, недалеко от которого вели лов местные рыбаки. Одна из их лодок подобрала меня — я был чуть жив и даже теперь, когда опасность миновала, не мог вымолвить ни слова от пережитого кошмара.

Рыбаки, подобравшие меня, были моими старыми приятелями, знавшими меня с детства. Однако даже они в первые мгновения не узнали меня — как невозможно узнать выходца с того света. Волосы мои, еще накануне черные как смоль, стали, как вы сами видите, совершенно седыми. Говорят, будто и лицо мое резко изменилось, хотя самому мне судить об этом трудно. Позже я рассказал им обо всем, что случилось со мной и моими братьями, но они не поверили мне. А теперь я рассказываю эту историю вам, но по-прежнему сомневаюсь, что вы поверите мне больше, чем лофотенские рыбаки.

Поместье Арнгейм

Как нежная красавица во сне Чуть смотрит в небо, очи закрывая,
Волшебный сад светился в тишине. Лазурь небес блистаньем согревая,
Кругом вставала сеть цветов живая. На ирисах, сомкнувшихся толпой,
Роса дышала светом и мольбой, Как дышат звезды в вечер голубой.

Джайлс Флетчер[86]

От колыбели до могилы в парусá моего друга Эллисона дул попутный ветер процветания. Слово «процветание» я употребляю здесь не в сугубо мирском его значении, а в качестве синонима понятия «счастье». Человек, о котором я говорю, казалось, был рожден для того, чтобы наглядным образом предвосхитить идеи Тюрго, Прайса, Пристли и Кондорсэ и стать примером того, к чему стремились всевозможные перфекционисты[87]. По моему мнению, недолгая жизнь Эллисона опровергала догму о существовании в самой человеческой природе некоего скрытого начала, враждебного блаженству. Внимательное исследование его жизни также дало мне понять, что нарушение простых законов гуманности — это и есть главное несчастье человечества, что мы обладаем крайне неразвитыми началами, способными принести нам довольство, и что даже теперь, при нынешнем невежестве и безумии всех размышлений о социальном устройстве, существует вероятность, что отдельный человек, при наличии необычных и крайне благоприятных условий, может быть счастлив.

Мнений, подобных этому, придерживался и мой молодой друг. Поэтому следует принять во внимание, что ничем не омраченная радость, которой отмечена его жизнь, была в значительной мере заранее обусловлена. И в самом деле: если бы мистер Эллисон располагал меньшими способностями к бессознательной философии, которая порой с большим успехом заменяет жизненный опыт, он обнаружил бы себя самого, вместе со своей невероятной жизненной удачей, посреди того водоворота горя и бедствий, который неизбежно разворачивается перед людьми хоть сколько-нибудь незаурядными.

Но я вовсе не ставлю своей целью сочинение трактата о счастье. Идеи моего друга можно изложить в нескольких словах. Он допускал лишь четыре простых основания, или, вернее, четыре условия блаженства. Главным условием он считал (странно, не правда ли?) всего лишь физические упражнения на свежем воздухе. «Здоровье, достигаемое иными средствами или способами, — утверждал он, — недостойно называться здоровьем». Он приводил в качестве примера чистого блаженства охоту на лис и указывал на землекопов как на единственных людей, которые в целом могут справедливо считаться счастливее прочих. Вторым условием была женская любовь. Третьим, и наиболее трудно осуществимым, — презрение к честолюбивым

помыслам. Четвертым — цель, которая требует постоянного к себе стремления. Эллисон держался того мнения, что степень достигнутого счастья пропорциональна духовности и возвышенности этой цели.

Замечателен был непрерывный поток даров, которые фортуна в изобилии обрушивала на мистера Эллисона. Красотой, стройностью и грацией он превосходил всех известных мне джентльменов. Разум его был устроен таким образом, что приобретение познаний являлось для него не трудом, а, скорее, необходимостью. Он принадлежал к одному из знатнейших и влиятельнейших родов Британской империи. Его невеста была самой прелестной и самой верной и любящей из женщин. Его земельные владения были обширны. Но, когда он достиг совершеннолетия, обнаружилось, что судьба сделала его объектом одного из тех странных капризов, которые потрясают общество и почти всегда в корне меняют моральный облик того, на кого они направлены.

Оказалось, что примерно за сто лет до того, как наш мистер Эллисон достиг совершеннолетия, в одной из отдаленных провинций скончался некий мистер Сибрайт Эллисон. Этот джентльмен скопил огромное состояние и, не имея прямых потомков, разработал причудливый план: позволить этому богатству расти в течение ста лет после своей смерти. До мельчайших деталей распорядившись различными вложениями, он завещал всю сумму капитала ближайшему из своих родственников, носящих фамилию Эллисон, который будет жить через сто лет. Заинтересованными лицами было предпринято множество попыток отменить это необычайное завещание; но поскольку они носили характер *ex post facto*[88], это обрекло их на провал. Вдобавок, к казусу было привлечено внимание правительства и через Парламент удалось провести законодательный акт, запрещающий подобные накопления. Акт этот, однако, не помешал юному Эллисону в свой двадцать первый день рождения вступить во владение наследством своего предка сэра Сибрайта, которое на тот момент составляло четыреста пятьдесят миллионов долларов.

Когда публике стали известны чудовищные размеры наследства, стали возникать различные предположения о том, как им распорядятся. Величина и безусловная доступность всей этой суммы приводили в растерянность и недоумение всех, кто пытался строить какие-либо домыслы. Дело в том, что про обладателя более или менее

умопостигаемого количества денег можно вообразить что угодно. Владей Эллисон богатством, всего лишь в несколько раз превосходящим богатство любого состоятельного человека, легко можно было бы представить, что он пустится в безудержный разгул, или займется политическими интригами, или подастся в министры, или купит себе высокий титул, или примется коллекционировать целые музеи virtu[89], или станет щедрым покровителем литературы, наук и искусств, или свяжет свое имя с известными благотворительными организациями и учреждениями. Но при таком несметном богатстве, безраздельным владельцем которого стал счастливый наследник, все эти цели, да и все обычные цели выглядели довольно ничтожными.

Когда же любопытные обратились к цифрам, те лишь усугубили их растерянность. Стало ясно, что даже при трех процентах годовых такой капитал принесет не менее тринадцати миллионов пятисот тысяч годового дохода, что составляет миллион сто двадцать пять тысяч в месяц, или тридцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят шесть долларов в день, или тысячу пятьсот сорок один доллар в час, или двадцать шесть долларов в каждую быстротекущую минуту. Тут уж обычные предположения были напрочь отброшены. Не зная, что еще вообразить, досужие умы решили, что мистеру Эллисону следовало бы избавиться хотя бы от половины своего состояния, ибо такую массу денег уже совершенно некуда девать, а заодно обогатить целую армию родственников, разделив между ними избытки. Впрочем, ближайшим из них он и в самом деле уступил то, чем владел еще до получения наследства.

Однако я не был удивлен, узнав, что он давно уже принял решение по вопросу, послужившему для его друзей поводом для жарких дискуссий. И я не слишком изумился, узнав, что именно он решил. В отношении частной благотворительности его совесть была спокойна. В возможности отдельного человека хоть как-то улучшить общее состояние человечества он (как это ни прискорбно) почти не верил. В целом, к счастью или нет, он в значительной степени был предоставлен самому себе.

Эллисон был поэтом в самом широком и благородном смысле этого слова. Кроме того, он глубоко постиг истинную природу, высокие цели и величие поэтического чувства. Он интуитивно понял, что самое

полное и, видимо, единственно возможное удовлетворение этого чувства заключается в создании новых форм прекрасного. Некоторые странности, связанные то ли с ранним развитием, то ли с самой природой его ума, придали его этическим представлениям облик так называемого «материализма»; и это, скорее всего, и внушило ему убеждение, что наиболее плодотворная, если только не единственная область поэтического деяния заключается в создании новых видов сугубо материальной красоты. Он не стал ни музыкантом, ни поэтом — если употреблять понятие «поэт» в его обыденном значении. А может, он пренебрег такой возможностью из-за своего убеждения, что одно из основных условий счастья на земле состоит в презрении к честолюбивым помыслам. И действительно: если высокий гений по необходимости честолюбив, то наивысший — абсолютно чужд тому, что зовется честолюбием. И не случилось ли так, что некто иной, более великий, чем Мильтон, был вполне удовлетворен, оставаясь «немым и бесславным»? Я убежден, что мир никогда не видел и никогда не увидит высшей меры блистательного свершения в самых богатых возможностях областях искусства, на какую вполне способна природа человеческая.

Эллисон, повторяю, не стал ни музыкантом, ни поэтом, хотя не было человека, который глубже, чем он, понимал бы музыку и поэзию. Весьма возможно, что при других обстоятельствах он стал бы живописцем. Скульптура, хотя она и поэтична по своей природе, слишком ограничена в размахе и результатах и поэтому не могла обратить на себя его пристальное внимание.

Я упомянул здесь все ветви искусства, на которые, по общепринятому мнению, распространяется поэтическое чувство. Но Эллисон утверждал, что самая богатая возможностями, самая истинная, самая естественная и, быть может, самая обширная ветвь его пребывает в необъяснимом запустении. Никто и никогда еще не считал декоративное садоводство одним из видов поэзии, но мой друг полагал, что оно предоставляет всем музам поистине великолепные возможности. И в самом деле, здесь открывается обширнейшее поле для полета фантазии, находящей выражение в бесконечном сочетании форм невиданной прежде красоты; а элементы, ее составляющие, неизмеримо превосходят все, что может дать земля сама по себе. В многообразных формах и красках цветов и деревьев Эллисон

усматривал самые непосредственные и энергичные усилия самой Природы, нацеленные на сотворение материальной красоты. И в концентрации этих усилий — точнее, в приспособлении этих усилий к глазам, которые должны увидеть их в этом мире, в использовании наилучших средств, в трудах ради достижения совершенства — и заключалось, по его разумению, воплощение не только его дарований, но и той высокой цели, ради которой божество наделило человека поэтическим чувством.

«В приспособлении этих усилий к глазам, которые должны увидеть их в этом мире...» Объясняя эту фразу, мистер Эллисон значительно приблизил меня к разрешению того, что всегда казалось мне загадкой. Я имею в виду тот факт (никем, кроме полных невежд, не оспариваемый), что в природе не существует видимых обычным глазом сочетаний форм и красок, какие способен создать гениальный художник. Нет в действительности таких райских садов, какие сияют на полотнах Клода. В самых чарующих природных ландшафтах всегда найдется или какой-нибудь недостаток, или что-нибудь излишнее. В то время как составные части, каждая в отдельности, могут посмеиваться над искусством художника, расположение, композиция этих частей всегда дает возможность вносить улучшения. Иными словами, нет такой точки на обширной поверхности земли, находящейся в естественном состоянии, взглянув с которой, проницательный глаз художника не обнаружил бы погрешностей в том, что называется «композицией» пейзажа. И все же, до чего это непостижимо! В иных областях мы справедливо привыкли считать природу самым совершенством. Мы избегаем состязаться с нею в сотворении деталей. Кто дерзнет в точности воспроизвести окраску тюльпана или улучшить пропорции ландыша? Критики, убежденные в том, что скульптура или портретная живопись должны возвышать, одухотворять натуру, а не подражать ей, пребывают в заблуждении. Наилучшие образцы человеческой красоты в живописи или скульптуре лишь приближаются к тому прекрасному, которое живет и дышит. Упомянутый эстетический принцип верен лишь по отношению к пейзажу; и, почувствовав здесь его верность, а заодно поддавшись опрометчивому стремлению к обобщениям, критики решили, что он якобы распространяется на все без исключений области искусства.

Я говорю: «почувствовав», ибо это чувство — не экзальтация и не самообман. Законы математики не точнее тех, что открываются художнику, почувствовавшему природу своего искусства. Он не только предполагает, но твердо знает, что такие-то и такие-то, на первый взгляд случайные, сочетания материи образуют истинно прекрасное. Но мотивы творцов, однако, еще не находят своего выражения в слове. Необходим более глубокий анализ, чем тот, что известен ныне, чтобы глубже их исследовать и выразить. Тем не менее, художника в его инстинктивных находках и прозрениях поддерживают голоса всех его собратьев. Пусть в «композиции» есть недостатки, пусть в это простое расположение форм внесут некую поправку, пусть эту поправку покажут всем художникам на свете и необходимость этой поправки признает каждый. И больше того: для устранения композиционного изъяна каждый из содружества творцов предложил бы именно эту же поправку.

Итак: материальная природа подлежит улучшению лишь в упорядочении элементов пейзажа, и, следовательно, лишь в этой области существует возможность ее усовершенствования. Но именно это и представлялось мне неразрешимой загадкой. Мои мысли ограничивались предположением, что природа первоначально пыталась создать поверхность Земли в полном согласии с человеческими представлениями о высшей степени прекрасного, высокого и живописного, но эта цель не была достигнута ввиду всевозможных геологических сдвигов, нарушивших формы и сочетания красок. Подлинный же смысл искусства заключается в исправлении и сглаживании подобных нарушений. Однако убедительность такого предположения значительно ослаблялась связанной с ним необходимостью оценивать эти геологические сдвиги как противоприродные и не имеющие особой цели. Эллисон высказал догадку, что они предвосхищают смерть. Объяснил он это так: допустим, что в начале времен человеку предназначалось бессмертие. В таком случае первоначальный вид земной поверхности, соответствующий блаженному состоянию человека, не просто существовал, а был сотворен с определенным расчетом. Геологические же катаклизмы предвещали смертность рода человеческого, что и произошло в дальнейшем.

«Так вот, — говорил мой друг, — то, что мы называем идеализацией пейзажа в искусстве, может, конечно, иметь место, но лишь с точки зрения смертного человека. И каждая перемена в естественном облике земли может, по всей вероятности, оказаться изъяном в картине, если представить, что кто-то видит эту картину целиком, во всем ее объеме, с точки, удаленной от поверхности планеты, но в пределах земной атмосферы. Легко понять, что поправка в детали, видимой на близком расстоянии, может в то же время повредить более общему впечатлению или даже разрушить целостность шедевра. Ведь могут быть существа, невидимые людям и обитающие в высях, которым наш беспорядок издалека может казаться живописным порядком. Иначе говоря, это земные ангелы, и необозримые сады природы обоих полушарий Господь, быть может, насадил ради них, а не для нашего созерцания, для их восприятия красоты, обостренного и утонченного смертью».

Во время этой беседы мой друг процитировал некоторые отрывки из сочинения о декоративном садоводстве, автор которого, по общему мнению, был в своей области главным авторитетом:

«Собственно говоря, существует всего два стиля ландшафтных садов: природный и искусственный. Один стремится воссоздать первоначальную красоту местности, приспособив ее элементы к окружающей природе: культивируя деревья в гармоничном сочетании с холмами или соседней равниной, угадывая и воплощая в жизнь эти тонкие отношения соразмерности и цвета, которые, будучи скрыты от равнодушного созерцателя, доступны опытному наблюдателю природы. Конечный результат, к которому стремится природный стиль, заключается в отсутствии всяческих недостатков и несуразностей, в господстве разумной гармонии и порядка, а не в созидании каких-то особых див и чудес. У искусственного стиля столько же разновидностей, сколько существует индивидуальных вкусов, которые не так легко удовлетворить. В известном смысле он соотносится с различными архитектурными стилями. Возьмите, к примеру, величественные аллеи и уединенные уголки Версаля, итальянские террасы, многочисленные разновидности смешанного староанглийского стиля, родственного готике или зодчеству эпохи Елизаветы. Что бы ни говорили противники искусственного стиля в садовой архитектуре, элементы искусства придают садам особую

красоту. Глаз радует не только наличие порядка и плана, но и иные причины, более чувственные. Так, терраса с обветшалой, покрытой мхом балюстрадой напоминает прекрасные образы тех, кто бывал здесь в далекие дни. И даже самые скромные признаки искусства свидетельствуют о заботе и человеческом участии».

«Из того, что я ранее говорил, — продолжал Эллисон, — вы наверняка поняли, что я отвергаю всякую идею о возврате к первозданной красоте той или иной местности. Естественная красота никогда не сравнится с той, что создана художником. Впрочем, все зависит от выбора места. Сказанное здесь о выявлении гармонических сочетаний, пропорций и колорита — всего лишь невнятные слова, за которыми скрываются неточные мысли. Эта фраза может означать все, что угодно, или вообще ничего. Утверждение, что конечная цель природного стиля в садоводстве заключается в отсутствии недостатков и несуразностей, а не в создании каких-то чудес или красот, — тезис, пригодный для читателей утренних газет, а не для пылких стремлений гения. Это что-то наподобие утверждения, что добродетель заключается в том, чтобы всячески избегать порока. Да, это, в известной мере, так, но добродетель более возвышенного рода, существующая в мироздании, постижима только по своим следствиям. Правила применимы лишь там, где требуются воздержание и отказ. А вне этих правил критики способны лишь строить предположения и городить домыслы. Можно научить строить фразу, как Катон[90], но бесполезны попытки рассказать, как замыслить Парфенон или «Божественную комедию». Однако они существуют; чудо совершилось, и способность воспринимать их становится всеобщей. И вот те, кто по своей неспособности творить насмехались над творчеством, теперь громче всех расточают хвалы творению. То, что в зачаточном состоянии возмущало их ограниченный рассудок, став фактом, вызывает у них восхищение, порожденное инстинктивным чувством прекрасного».

«Замечания автора относительно искусственного стиля, — продолжал далее Эллисон, — не вызывают таких возражений. Примесь элементов искусства в той или иной части сада придает ему особую красоту. Это справедливо, верно также и указание на человеческие чувства. Выраженный принцип неоспорим — но и вне его может заключаться нечто. В следовании этому принципу может

закключаться цель — цель, недостижимая средствами, доступными отдельным лицам, но которая, будучи достигнута, придала бы ландшафтному саду очарование, далеко превосходящее то очарование, которое возникает от простого сознания человеческого участия в делах природы. Поэт, обладающий неограниченными денежными ресурсами, возможно, был бы способен, сохранив необходимую идею искусства или культуры, придать своим эскизам такую степень красоты и новизны, что у зрителя возникло бы ощущение вмешательства высших сил. Добиваясь подобного результата, он сохранит все достоинства плана, в то же время освободит свое творение от жесткости и техницизма земного искусства. В самой дикой глуши, в самых нетронутых уголках девственной природы, таятся шедевры Творца; но это искусство очевидно лишь для рассудка и не наполнено силой чувства. Предположим теперь, что план, задуманный Всемогушим, образует некую гармонию или соответствие с сознанием художника, станет чем-то средним между тем и другим: вообразим, например, ландшафт, где сочетаются простор и определенность и который одновременно прекрасен, великолепен и странен. Это неожиданное сочетание укажет на то, что о нем заботятся, его возделывают, за ним наблюдают некие высшие существа, родственные человеку. Тогда элемент искусства приобретет характер промежуточной, так сказать, вторичной природы; природы, которая не Бог и не его ипостась, но именно природа — творение ангелов, парящих между человеком и Богом».

Осуществлению этой грезы мой друг посвятил все свое несметное богатство. В простых физических упражнениях на свежем воздухе, связанных с неусыпным личным надзором над выполнением его замыслов, в грандиозной цели, порожденной этими замыслами, в высокой духовности этой цели, в презрении к честолюбивым помыслам, которое эта цель позволила ему глубоко ощутить, в неиссякаемом источнике, утолявшем главную страсть его души — жажду прекрасного, и, сверх всего, в сочувствии женщины, чья любовь окружила его существование благоуханием рая, Эллисон надеялся обрести и обрел избавление от обыденных забот рода человеческого. А заодно обрел такое количество самого обыкновенного счастья, какое не представлялось мадам де Сталь[91] в самых восторженных ее мечтах.

Я не в силах дать читателю хоть сколько-нибудь ясное представление о чудесах, которые мой друг совершил. Я хочу описать их, но меня обескураживает трудность описания, я останавливаюсь в растерянности на полпути между подробностями и целым. Быть может, лучшим способом явится сочетание и того и другого в их крайнем выражении.

Первым шагом мистера Эллисона был, конечно, выбор места; и буквально сразу же его внимание привлекла пышная природа островов Тихого океана. Он уже начал было готовиться к путешествию в южные моря, но размышления одной ночи вынудили его оставить эту мысль. «Будь я мизантропом, — говорил он, — подобная местность вполне подошла бы мне. Ее полная уединенность и замкнутость, отсутствие связей с остальным миром составили бы в этом случае ее главную прелесть, но я пока еще не Тимон Афинский[92]. В одиночестве я ищу покоя, а не уныния. Кроме того, когда-то наступит время, когда мне потребуется сочувствие сделанному мною от других поэтических натур. А раз так, мне следует искать место невдалеке от большого и многолюдного города; близость к нему, помимо всего, послужит мне подспорьем в выполнении моих замыслов».

В поисках подходящего места Эллисон в течение нескольких лет путешествовал, и мне довелось его сопровождать. Сотни ландшафтов, которые приводили меня в восхищение, он отверг без колебаний, и его доводы в конце концов убеждали меня, что он прав. Наконец мы достигли высокого плоскогорья, отличающегося удивительно плодородной почвой и поразительно красивого. Оттуда открывалась панорама, пожалуй, даже более обширная и живописная, чем та, что открывается с вершины Этны.

«Я знаю, — наконец произнес искатель со вздохом глубокого удовлетворения, после того как около часа зачарованно осматривал эту местность, — я знаю, что на моем месте девять из десяти самых придиричивых не пожелали бы ничего иного. Панорама действительно великолепна, и я восхитился бы ею, если бы ее великолепие не было чрезмерным. У всех известных мне архитекторов есть один пункт — ради «вида» они располагают возводимые ими здания на вершинах холмов. Это несомненная ошибка. Величие в чем бы то ни было, в особенности, в размерах и протяженности, удивляет и волнует, но затем начинает утомлять и гнетет. Для сильных впечатлений нет

ничего лучшего, но для постоянного созерцания — ничего худшего. А для постоянного созерцания самый пагубный вид величия — это грандиозная протяженность и ее самая скверная разновидность — расстояние. Оно враждебно чувствам и ощущениям, которые мы пытаемся удовлетворить, когда удаляемся «в деревню на покой». Глядя с горной вершины, мы не можем не чувствовать себя затерянными в пространстве. Те, чей дух устал, бегут от подобных пейзажей, как от чумы».

Лишь к концу четвертого года наших поисков мы нашли местность, которой Эллисон остался вполне доволен. Разумеется, излишне напоминать, где она расположена. Недавняя кончина моего друга привела к тому, что некоторому числу избранных посетителей был открыт доступ в его поместье Арнгейм. Ныне оно пользуется своеобразной потаенной славой, отчасти схожей со славой широко известного Фонтхилла[93], но гораздо большей.

Обычно к Арнгейму приближались по реке. Посетитель покидал город ранним утром и до самого полудня плыл между берегов, исполненных безмятежной красоты, на которых паслись стада овец — белые пятна среди свежей зелени холмистых лугов. Мало-помалу возникало впечатление, будто из края землепашцев попадаешь в более дикий пастушеский край, но впечатление это понемногу растворялось в ощущении замкнутости и глубокого уединения. По мере того как приближался вечер, русло реки сужалось, берега становились все более крутыми и обрывистыми, их покрывала густая, пышная и в то же время суровая с виду растительность. Вода становилась все прозрачнее. Поток образовывал десятки излучин, так что видеть его можно было всего лишь на фурлонг[94], и судно, целиком отражавшееся в спокойной воде, казалось заключенным в таинственный заколдованный круг, обнесенный плотными стенами из листвы, стоявшими под кровлей из ультрамаринового атласа.

Далее русло проходило по ущелью — я употребляю это слово только потому, что в нашем языке нет понятия, которое точнее обозначило бы самую примечательную, хоть и не самую характерную черту местности. На ущелье этот участок течения походил лишь высотой и параллельностью берегов, и больше ничем. Берега, между которыми по-прежнему спокойно струилась прозрачная вода, поднимались до ста, а кое-где и до ста пятидесяти футов и так

наклонялись друг к другу, что почти заслоняли дневной свет. Длинные перистые пряди мхов и лишайников, свисавшие с ветвей кустарников, переплетававшихся над головами путешественников, придавали этому месту погребальное уныние. Поток извивался все чаще и прихотливее, в конце концов путешественник терял всякое представление о направлении движения и его охватывало восхитительное чувство странности всего происходящего. Ощущение близости к природе оставалось, но о естественной гармонии не могло быть и речи: во всем сквозила какая-то жуткая симметрия, тревожное единообразие, во всех ее творениях наблюдалась какая-то колдовская упорядоченность. Ни единой сухой ветви, ни засохшего листка, ни случайно скатившегося камешка, ни полосы голой земли нигде не было видно. Хрустальная влага плескалась о чистый гранит или незапятнанный мох, и резкость этих линий и границ поражала взор и вызывала растерянность.

Плавание в этом лабиринте продолжалось несколько часов. Сумрак сгущался с каждой минутой, но вдруг судно совершало резкий поворот — и внезапно, словно упав с неба, оказывалось в круглом водоеме, довольно обширном по сравнению с тесным ущельем. Этот водоем имел около двухсот ярдов в диаметре и везде, за исключением единственного места, расположенного прямо напротив входящего в него судна, был окружен холмами. Эти холмы были той же высоты, что и стены ущелья, но выглядели совершенно иначе. Их склоны плавно спускались к воде под углом примерно в сорок пять градусов и от подошвы до вершины были покрыты фантастически роскошными цветами — целым морем переливающихся и благоухающих красок. Водоем был очень глубок, но из-за необычайно прозрачной воды дно его, покрытое белой алебастровой галькой, можно было ясно различить сквозь слегка колеблющееся отражение цветущих холмов.

Все это производило на путешественника впечатление пышности, теплоты, покоя, гармонии, мягкости, нежности, изящества и сладострастия. Вид дивных цветников рождал мысли о новой породе трудолюбивых и наделенных отменным вкусом фей, благодаря чьему уходу и заботам только и могло существовать это великолепие. Когда же взгляд скользил снизу вверх по многоцветному склону — от резкой черты, отделявшей воду от суши, до плавных очертаний вершин, словно растворяющихся среди складок низко нависающих облаков, —

возникало ощущение струящегося потока рубинов, сапфиров, опалов и золотистых ониксов, беззвучно низвергающегося прямо с небес.

Внезапно оказавшись в этой бухте после мрачного ущелья, гость приходит в восторг при виде огненного шара закатного солнца, которое, как ему казалось, давно уже опустилось за горизонт. Но вот оно встает перед ним, образуя единственный предел бесконечной перспективы, видимой в расселине между холмами.

Но тут путник покидает судно, которое несло его на протяжении всего дня, и спускается в легкий челнок из слоновой кости, расписанный изнутри и снаружи ярко-алыми арабесками. Острые нос и корма челнока высоко вздымаются над водой, и в целом его форма напоминает неправильный полумесяц. Он покоится на глади водоема, полный поистине лебединой грации. На палубе, усталой горностаевым пологом, лежит единственное весло из золотистого атласного дерева, легкое, как перышко; но нигде не видно ни гребца, ни слуги. Гостю дают заверение, что сама судьба о нем позаботится. Большое судно исчезает, и он остается один в челне, неподвижно стоящем посреди озера. Однако, уже размышляя о том, что предпринять дальше, он внезапно ощущает легкое движение волшебной ладьи. Она медленно поворачивается, пока ее нос не направляется прямо к солнцу. Челнок движется мягко, равномерно ускоряя ход, а легкая рябь, поднятая им на воде, ударяясь о борта, рождает божественную мелодию. По крайней мере так кажется, иначе нельзя объяснить происхождение той спокойной, но грустной музыки, источник которой, как бы путник ни озирался, остается скрытым.

Ладья приближается к окруженному утесами входу в канал, и теперь его уже видно гораздо яснее. Справа поднимается цепь высоких холмов, покрытых густыми лесами. Внимание гостя снова привлекает восхитительная чистота на границе суши и воды. Здесь нет и следа обычного речного мусора. Пейзаж слева не так суров, и его искусственное происхождение более заметно. Берег здесь пологий и образует обширный газон, трава на котором похожа на бархат, а ее цвет можно сравнить разве что с изумрудом чистой воды. Ширина газона колеблется от десяти до трехсот ярдов; кое-где он достигает до подножия стены высотой в пятьдесят футов, которая тянется, бесконечно извиваясь, но в целом следует направлению канала, пока не начинает удаляться на запад и исчезает из вида. Стена эта

вырублена из скального монолита, прежде занимавшего весь южный берег реки, однако никаких следов этой титанической работы невозможно заметить даже вблизи. Обработанный камень выглядит так, словно столетиями подвергался воздействию солнца и ветров, и густо порос плющом, коралловой жимолостью, шиповником и ломоносом. Высоту стены подчеркивают разбросанные там и сям гигантские деревья, растущие поодиночке или маленькими группами в непосредственной близости к ней. А кое-где они подступают вплотную к берегу и погружают в реку свои свисающие ветви. Что находится дальше — мешает видеть непроницаемая завеса листвы.

Все это открывается гостю по мере медленного продвижения челна к тому, что я назвал бы «вратами перспективы». Вблизи, однако, он замечает, что слева располагается еще один выход из бухты; туда же поворачивает и гранитная стена, по-прежнему «сопровождающая» поток. Увидеть, что находится в этом новом русле непросто — поток вместе со стеной образует плавный изгиб влево и исчезает среди листвы.

Тем не менее челнок все тем же волшебным образом проскальзывает в извилистый канал. Берег, противоположный стене, покрыт высокими холмами с буйной и дикой растительностью, но поле зрения гостя по-прежнему ограничено, и того, что находится в отдалении, гостю различить не удастся.

Все так же ровно, хоть и с несколько большей скоростью продвигаясь вперед, путник после многих поворотов видит, что дорогу ему преграждают гигантские врата из полированного золота, покрытые сложной резьбой и чеканкой. Их створки отражают почти горизонтальные лучи быстро заходящего солнца, отчего кажется, что все окрестные заросли охвачены языками пламени. Врата эти врезаны в высокую стену, которая с первого взгляда кажется перегораживающей реку. Однако уже через несколько мгновений становится ясно, что главное русло, описав широкую и плавную дугу, уходит влево, а от него ответвляется глубокий рукав, который с легким плеском ныряет под золотые врата и скрывается из глаз.

Челнок входит в рукав и неторопливо приближается к вратам. Тяжелые створки медленно распахиваются, издавая мелодичный звук. Суденышко проскальзывает между ними и начинает стремительный

спуск к просторной долине, своего рода амфитеатру, опоясанному лиловыми горами, подножье которых омывает серебристая река.

И тогда перед пораженным взором путника возникает Арнгеймский Эдем. Там звучат чарующие мелодии; там повсюду струятся странные, дурманные, сладкие ароматы; там, словно в сновидении, сплетаются экзотические растения. В пышных кустарниках щебечут стаи золотых и пунцовых птиц, небольшие озерца окаймлены цветущими лилиями и лотосами, а луга покрыты фиалками, тюльпанами, маками, гиацинтами и туберозами. А вдали, за прихотливыми извивами серебристых ручейков, возвышается некое наполовину готическое, наполовину мавританское нагромождение зданий, волшебно парит в воздухе, мерцает и блестит в багровых закатных лучах сотней террас, минаретов и шпилей и кажется призрачным творением сильфид, фей, джиннов и гномов...

Коттедж Лэндора

Во время одного из моих пеших странствий по приречным графствам штата Нью-Йорк я однажды сбился с дороги, а солнце уже склонялось к закату. Местность была на редкость изрезанная и холмистая. Стараясь держаться долин, я столько кружил и петлял за последний час, что уже не знал, в какой стороне находится прелестная деревушка Б., где я собирался заночевать. Несмотря на то что солнце в течение дня едва проглядывало сквозь редкую облачность, в воздухе висела тягостная духота. Какая-то дымка, похожая на туманы индейского лета[95], окутывала все вокруг, еще больше усиливая мою неуверенность.

Не то чтобы меня это тревожило. Если бы я до заката или даже до наступления ночи не отыскал деревню, я мог набрести на какую-нибудь голландскую ферму или что-нибудь в этом роде, хотя, честно говоря, эта местность, в силу того что она была не столь плодородной, сколько живописной, была весьма редко населена. Во всяком случае ночь на открытом воздухе, с ранцем вместо подушки и моим псом в качестве часового, ничуть меня не смущала.

Итак, я шел, не спеша и не волнуясь, и попутно размышлял, не ведут ли к жилью попадавшие мне по обе стороны тропы прогалины. В конце концов одна из них показалась мне очень похожей на проезжую дорогу. Ошибиться было невозможно. Отчетливо

виднелись следы колес; и хотя высокие кусты и разросшийся подлесок смыкались у меня над головой, они не помешали бы проезду даже виргинского горного фургона — самого высокого экипажа из всех, какие я знаю. Дорога эта, не считая того, что она шла по лесу, если можно назвать лесом обширную площадь, заросшую частым и тонким молодняком, и следов колес, ни в чем не походила ни на одну из тех дорог, которые мне доводилось видеть прежде. Следы, о которых я говорю, едва заметно отпечатывались на упругой и слегка влажной поверхности удивительной травы, больше всего напоминавшей изумрудно-зеленый генуэзский бархат. Такую траву — короткую, густую, ровную и сочную — редко можно увидеть за пределами Англии. Ничто не препятствовало ходу колес, нигде ни единой щепки или сухой ветки. Камни, некогда лежавшие на дороге, были тщательно убраны, а не отброшены, и теперь лежали на обочине, образуя живописные группы. Между камнями пышно разрослись дикие цветы.

Что все это означает, я, конечно, не знал. Несомненно, здесь присутствовало искусство. Это меня не удивило: все дороги, в прямом смысле слова, суть произведения искусства. Не могу сказать, что здесь чувствовался избыток искусства; все, что было сделано, могло быть сделано именно здесь с использованием наличных «природных возможностей», как выражаются в книгах о декоративном садоводстве, и с очень малыми затратами труда и средств. Нет, не обилие, а качество этого искусства заставило меня усесть на окруженный цветами камень и в течение целого получаса растерянно и восторженно любоваться волшебной тропой. И чем дольше я смотрел, тем яснее становилось одно: этой работой руководил мастер, наделенный тонким и острым чувством формы. Здесь была в высшей степени соблюдена золотая середина между аккуратностью и грациозностью, с одной стороны, и *pittoresco*[96] в истинном значении этого итальянского термина — с другой. Прямых линий было немного, а длинные и непрерывные вовсе отсутствовали. Одни и те же пространственные и цветовые эффекты, с какой бы точки ни смотреть, повторялись не более чем дважды. Гармонично сочетались единство и разнообразие. Это был образец «композиции», в которую даже самый придирчивый и искушенный критический вкус не смог бы внести ни малейших улучшений.

Ступив на эту дорогу, я свернул с прежней тропы направо и продолжал идти дальше в том же направлении. Дорога так извивалась, что ни на миг я не видел впереди себя больше чем на два или три шага, хотя сам характер пути ни в чем существенном не менялся.

Затем мой слух уловил негромкий рокот воды, и спустя несколько мгновений, сделав еще более крутой поворот, я увидел, что впереди, прямо передо мной, у подножия пологого спуска высится какое-то здание. Я не мог разглядеть его отчетливо из-за тумана, окутывавшего уютную долину внизу. Однако перед самым закатом солнца подул легкий ветерок, и, пока я стоял на верху склона, туман мало-помалу разорвался клочьями и пополз по низине.

Когда долина целиком открылась мне — постепенно, по частям: тут покажется дерево, там блеснет водная гладь, а там вдруг станет видна труба на крыше дома, мне померещилось, будто передо мной одна из тех хитроумных иллюзий, которые иногда демонстрируют под названием «туманных картин».

Одновременно с тем, как туман окончательно рассеялся, солнце завершило свой путь, спрятавшись за небольшие холмы на противоположной стороне долины, а потом, как бы слегка передвинувшись к югу, снова показалось в расселине между холмами на западе в виде дымного шара, блистающего темным багрянцем. И в этот миг, внезапно, как по мановению руки волшебника, вся долина со всем, что в ней находилось, стала отчетливо видна.

Первый же взгляд, который я бросил на возникшую передо мной картину, произвел на меня невероятно сильное впечатление. Волнение, которое я испытал при этом, походило на то чувство, которое я испытывал еще ребенком, оказавшись свидетелем финала какого-нибудь хорошо поставленного театрального зрелища или мелодрамы. Даже фантастические световые эффекты были налицо: свет солнца вливался в долину, переливаясь оттенками оранжевого и лилового; а изумрудная трава отбрасывала блики на все предметы, отражаясь от туманной завесы, все еще висевшей над головой и как бы с неохотой покидавшей столь чарующе прекрасное место.

Небольшая долина, в которую я заглянул из-под туманного полога, в длину не превышала четырехсот ярдов, а в ширину насчитывала от пятидесяти до двухсот ярдов. Уже всего она была в северной своей части и постепенно расширялась к югу. Самая широкая ее часть

лежала ярдах в восьмидесяти от южной оконечности. Пологие скаты, окружающие долину, можно было назвать холмами только условно. Только на северной стороне примерно на девяносто футов поднималась отвесная гранитная скала. Как я уже говорил, долина в этом месте была не шире пятидесяти футов; но по мере продвижения к югу склоны справа и слева становились все менее высокими, менее крутыми и скалистыми, как бы сглаживаясь.

И тем не менее всю долину, за исключением двух мест, окружали возвышенности. Об одном из этих мест я уже говорил. Оно было расположено на северо-западе; именно там, как я и описывал, заходящее солнце врывалось в естественный амфитеатр через глубокую расселину в граните; эта трещина, насколько можно было судить на глаз, в самом широком месте достигала примерно десяти ярдов. Видимо, она образовывала естественный коридор, ведущий к другим холмам и чащам. Другой выход находился прямо на юге долины, где склоны были едва заметны и простирались с востока на запад примерно на сто пятьдесят ярдов. В центре находилось углубление, достигавшее того же уровня, на котором лежало дно долины. Что касается растительности, то и она, как все здесь, к югу смягчалась и сглаживалась. На севере, прямо под утесистым обрывом, в нескольких шагах от его края, вздымались могучие стволы каштанов, ореховых деревьев и дубов; их крепкие горизонтальные ветви тянулись далеко за край обрыва. Продвигаясь к югу, путник вначале видел такие же деревья, но менее высокие и не столь похожие на деревья с полотен Сальватора Розы[97]; потом он замечал и менее суровый вяз, а за ним — белую акацию и сассафрас; их сменяли еще более мягкие по очертаниям липа, красноцвет, катальпа и клен, а тех — еще более скромные породы.

Южный склон был сплошь покрыт кустарниками, и только кое-где среди их гущи виднелись серебристая ива или белый тополь. В глубине самой долины (подчеркну, что все упомянутые выше деревья росли только на утесах и склонах холмов) виднелись три отдельно стоящих дерева. Одним из них был величественный вяз чрезвычайно изысканной формы, он стоял, словно страж, у южного входа в долину. Другим — орех, гораздо более высокий и раскидистый, чем вяз, но оба этих дерева были красоты необыкновенной. Орех охранял северо-западный вход, вздымаясь из груды камней в самом зеве ущелья почти под углом в сорок пять градусов и далеко простирая свой шелковистый ствол в освещенный солнцем амфитеатр. А примерно в тридцати ярдах к востоку от ореха виднелось главное украшение долины — несомненно, самое великолепное дерево из всех, что мне доводилось видеть, если, конечно, не считать мексиканских кипарисов. Это было тюльпанное дерево из семейства магнолиевых. Три его ствола начинали едва заметно расходиться на высоте около трех футов от

земли и отстояли друг от друга не более чем на четыре фута в том месте, где самый большой из стволов начинал покрываться листвой, то есть на высоте футов в восемьдесят. Трудно было бы найти нечто, превосходящее красотой форму этого дерева или гляцевитую зелень его листьев, достигавших восьми дюймов в ширину. Но и их затмевало пышное величие обильных цветов. Попробуйте вообразить букет из десятка тысяч роскошных желто-оранжевых тюльпанов — только так вы сможете составить представление о картине, которую я пытаюсь описать! Добавьте к этому горделивую стройность гладких колонн стволов, достигавших четырех футов в диаметре. Бесчисленные цветы, смешиваясь с цветами других деревьев, не менее красивых, но далеко не столь величественных, наполняли долину ароматом, превосходящим любые арабские благовония.

Долина была сплошь покрыта травой — такой же, как и на дороге, но еще более мягкой, густой, бархатистой и неопишимо зеленой. Трудно было даже представить, как удалось добиться такой красоты.

Я говорил о двух входах в долину. Через один из них, на северо-западе, протекал ручей; мягко журча и пенясь, он бежал по лощине, пока не ударялся о груды камней, над которой высилось одинокое ореховое дерево. Обогнув ее, ручей поворачивал на северо-восток, оставляя тюльпанное дерево футах в двадцати южнее, и не менял направления, пока не достигал средней точки между восточным и западным пределами долины. Здесь он начинал петлять, затем поворачивал под прямым углом и тек на юг, пока не впадал в небольшое озерцо в форме неправильного овала, которое поблескивало у нижнего края долины. Озерцо это в самой широкой части достигало не более ста ярдов в диаметре. Никакой хрусталь не сравнится бы с ним чистотой наполнявшей его влаги. Дно, видимое совершенно ясно, полностью покрывала светлая кварцевая галька. Берега, поросшие изумрудной травой, не спускались, а скорее, стекали в чистый водоем, и гладь его была столь ясной, что безупречно отражала все окружающее. Немало труда стоило определить, где заканчивается настоящий берег и начинается призрачный. Форели, хариусы и гольцы, которыми озеро было наполнено чуть ли не до тесноты, казались летучими рыбами, и невозможно было отделаться от ощущения, что они парят в прозрачном воздухе — до того чиста была озерная вода. Берестяной челн, покоившийся на водной глади,

отражался в ней до мельчайших деталей с точностью, которой позавидовало бы даже тщательно отполированное зеркало.

Невдалеке от северного берега из воды поднимался небольшой островок, утопавший в пышных цветах до такой степени, что, казалось, там едва нашлось место для небольшого живописного домика, судя по всему, птичника. С берегом островок соединял мостик, с виду необычайно легкий и крайне простой. Он состоял из одной-единственной доски из тюльпанного дерева, широкой и толстой. В длину она достигала сорока футов и соединяла берега, изгибаясь пологой аркой, что не позволяло ей подпрыгивать и раскачиваться. Из южной оконечности озера снова вытекал ручей, который примерно через тридцать ярдов нырял в расселину на южном краю долины, а затем, совершив прыжок с отвесного стофутового обрыва, продолжал свой бег к Гудзону.

Озеро было довольно глубокое — в некоторых местах не меньше тридцати футов, однако ручей нигде не достигал более чем трехфутовой глубины, а в самых широких местах его русло достигало футов восьми, не более. Дно ручья и его берега были такими же, как и берега озера, и если уж можно было там к чему-нибудь придраться, то разве что к чрезмерной опрятности и чистоте.

Пространство зеленого газона там и сям разнообразили отдельно стоящие куртины гортензий, обычной калины или душистого жасмина-чубучника, а в горшках, тщательно скрытых в дерне, росли пышно цветущие герани самых разнообразных расцветок и форм. По бархату луга разгуливало множество овец, а с ними три ручных лани и огромное количество уток с пестрым оперением. За всеми этими существами присматривал большой дворовый пес, среди предков которого явно были английские мастифы.

Холмы на западе и на востоке — там, где в верхней части амфитеатра долины их склоны становились более или менее обрывистыми, были сплошь покрыты густым плющом, и лишь кое-где можно было заметить голый камень. Таким же образом северный скат покрывали пышные лозы дикого винограда; одни из них пустили свои корни у подножья, другие — на его выступах и карнизах.

Небольшую возвышенность, служившую южной границей этого маленького поместья, венчала аккуратная каменная изгородь, достаточно высокая, чтобы не позволить ланям покинуть его пределы.

Других оград больше нигде не было видно, потому что они и не требовались — даже если бы какая-нибудь заблудшая овца, отбившаяся от стада, попыталась покинуть долину через расселину, то уже через несколько ярдов она обнаружила бы, что дорогу ей преграждает отвесная скала, с которой падает вниз небольшой водопад, который привлек мое внимание еще тогда, когда я только начал приближаться к поместью. Иначе говоря, единственным входом и выходом в долину служили ворота в проходе между скалами, расположенные на несколько шагов ниже той точки, с которой я обзирал местности.

Я описал путь протекавшего через долину ручья на всем его протяжении. Сначала он тек с запада на восток, а затем поворачивал и устремлялся с севера на юг. На повороте ручей образовывал крутую излучину, отсекая от суши своеобразный полуостров площадью в одну шестнадцатую акра. На этом полуострове высился жилой дом, и я бы сказал, что этот дом, подобно адской террасе, которая открылась перед Ватеком[98], *était d'une architecture inconnue dans les annales de la terre*[99]. Я имею в виду только то, что весь этот ансамбль поразил меня острым чувством новизны, общей соразмерности и скромности, я бы назвал это поэтичностью, лишенной каких бы то ни было преувеличений.

На самом деле трудно было бы найти что-либо более простое и непритязательное, чем этот коттедж. Чудесное впечатление, производимое им, причиной своей имело совершенство композиции. Глядя на него, я не мог отделаться от мысли, что вся эта картина создана кистью какого-нибудь выдающегося пейзажиста.

Место, с которого я впервые увидел дом, было весьма неплохим для обозрения, но далеко не самым лучшим. Поэтому я попытаюсь описать его таким, каким увидел его впоследствии — с каменной изгороди на южной стороне долины.

Главная часть коттеджа имела около двадцати четырех футов в длину и шестнадцати в ширину, не больше. Общая его высота от фундамента до конька крыши не превышала восемнадцати футов. К западной стороне здания примыкала пристройка, во всех отношениях меньшая на треть, причем линия ее фасада отстояла от линии фасада главной части ярда на два, а крыша, разумеется, располагалась значительно ниже той, к которой примыкала. Под прямым углом к

тыльной стороне главного здания — но не строго по центру — виднелась другая пристройка, величиной не превышавшая одной трети западного крыла. Крыши главных помещений были очень круты: спускаясь вниз от коньковой балки, они образовывали обширные, слегка вогнутые плоскости и, выступая фута на четыре за пределы стен, служили навесами для двух открытых галерей. Навесы эти, конечно же, не нуждались в опорах, но ради общего впечатления их поддерживали по углам простые и гладкие четырехгранные столбы. Крыша северной пристройки была не чем иным, как продолжением крыши главной части здания.

Между основной частью и западным крылом высилась стройная дымовая труба, сложенная из прочного черно-красного голландского кирпича, с небольшим карнизом на верхушке. Парадная дверь располагалась не посередине главного здания, а была немного смещена к востоку, а два фасадных окна — к западу. Эти окна не достигали до земли, но были значительно длиннее и уже обычных, с ромбовидными переплетами и рамами, открывавшимися, как двери. Верхняя часть парадной двери также была застекленной, с теми же ромбовидными переплетами, которые на ночь закрывались ставнем. Дверь в западном крыле, очень простая, располагалась в торце, а его единственное окно смотрело на юг. В северном крыле двери не было, и его окно, также единственное, выходило на восток.

Гладкую поверхность глухой стены восточного торца коттеджа оживляла лестница со скромной балюстрадой. Она была прикрыта навесом крыши и вела на мансарду или, скорее, чердак, служивший кладовой. Там находилось единственное окно с северной стороны.

На галереях, окружавших главную часть коттеджа и его западное крыло, полов как таковых не было. Однако у дверей и под каждым окном посреди изумрудного дерна лежали большие, плоские, неправильной формы гранитные плиты, служившие надежной опорой при любой погоде. Тропинки повсюду были выложены такими же плитами, но не вплотную, без особой подгонки, причем промежутки между ними заполнял все тот же бархатистый дерн. Вели они в разных направлениях: к хрустальному ручью, до которого было всего несколько шагов, к дороге, к флигелям, стоявшим на другом берегу ручья и скрытым в зарослях акаций и катальп.

Буквально в полудюжине шагов от парадной двери высился причудливый ствол засохшего грушевого дерева, обвитого от подножья до макушки пышными колючими побегами вьющейся бигнонии, осыпанной гроздьями оранжево-лиловых цветов. Не так-то просто было с первого взгляда определить, что же это такое. Сухие ветви груши были увешаны птичьими клетками разнообразных форм. Из цилиндрической плетенки доносились веселые трели пересмешника, из другой слышался переливчатый зов иволги, из третьей лилось мелодичное пение желтоголового трупяла. Из нескольких более легких и хрупких с виду клеток звучали трели канареек.

Опорные столбы галерей обвивали благоуханная жимолость и жасмин, а в уголке, образованном главной частью здания и его западным крылом, прижилась невиданно густая и пышная виноградная лоза. Не встречая преград, она вскарабкалась на ту крышу, что пониже, а затем и на более высокую, потом двинулась по коньку, выбрасывая усики и цепляясь за черепицу, и, наконец, сползла вниз с восточного края крыши, образовав кудрявый каскад зелени.

Коттедж со всеми его пристройками был возведен из старомодного голландского гонта[100] — широкого, с незакругленными углами. Особенность этого материала заключается в том, что дома, выстроенные из него, кажутся шире в нижней части, чем в верхней, на манер древнеегипетской архитектуры. А здесь этот живописный эффект усиливали многочисленные вазоны с пышными цветами, почти скрывавшие основание коттеджа.

Выкрашен он был матово-серой краской; и любой художник легко поймет, какое удачное сочетание образовывал этот нейтральный оттенок с ярко-зеленой листвой тюльпанного дерева, чья крона одной стороной осеняла дом.

Если, как я уже говорил, взглянуть на все эти здания со стороны каменной изгороди, то они представляли в еще более выгодном свете — тогда вперед как бы выступал юго-восточный угол. При этом глаз мог охватить оба фасада вместе с живописной восточной стороной и частью северного крыла, яркую кровлю беседки и половину легкого мостика, пересекавшего ручей вблизи главных зданий поместья.

Я оставался на вершине ската не очень долго, но вполне достаточно для того, чтобы во всех подробностях рассмотреть

открывшуюся передо мной панораму. Было совершенно очевидно, что я сбился с пути, ведущего к деревне, и поэтому по праву заблудившегося прохожего могу войти в ворота и расспросить о дороге. Посему, уже без всяких колебаний, я направился вниз.

Тропинка за воротами вилась по естественному выступу склона вдоль невысоких скал. Вскоре она привела меня к подножию обрыва на северной стороне долины, а оттуда — к мостику через ручей. Обогнув коттедж с восточной стороны, я оказался у главного входа, заметив при этом, что хозяйственные постройки совершенно исчезли из виду.

Едва я свернул за угол, как дворовый пес бросился ко мне, сохраняя суровое молчание, которое должно было свидетельствовать о серьезности его намерений. Я протянул ему навстречу обе руки в знак мира — мне еще не случалось видеть собаку, которая устояла бы перед таким призывом к дружбе. Пес тут же захлопнул пасть, замолотил хвостом, присел и, к моему удивлению, тоже протянул мне переднюю лапу. Его учтивость распространилась и на мою охотничью собаку — пойнтера по кличке Понто.

Поскольку никакого звонка я не обнаружил, то попросту постучал палкой в приоткрытую дверь. И сейчас же за стеклом возникла фигура молодой женщины лет двадцати восьми — стройной, или, скорее, хрупкой, несколько выше среднего роста. Пока она приближалась ко мне с какой-то не поддающейся описанию скромной решимостью, я сказал себе: «Вот это, без сомнения, естественное изящество, полная противоположность напускной грации». Второе впечатление, которое она произвела на меня, и куда более живое, чем первое, было впечатление, что эта женщина полна горячего радушия. И еще — столь ярко выраженной возвышенности или чуждости низменным интересам, как та, что сияла в ее глазах, мне еще никогда не приходилось встречать. Не знаю почему, но именно это выражение глаз и губ — самая сильная, если не единственная черта, способная вызвать у меня интерес к женщине. Возвышенность (если мои читатели вполне понимают, что я хочу выразить этим словом) наряду с женственностью кажутся мне родственными понятиями; и в конце концов то, что мужчины по-настоящему ценят в женщинах, — это просто-напросто женственность. Глаза Энни (я услышал, как кто-то в

доме окликнул ее: «Кто там, Энни, милая?») были глубокого серого цвета, а волосы — светло-каштановые; вот и все, что я успел заметить.

Она учтиво пригласила меня в дом, и, едва переступив порог, я оказался в просторной прихожей. Справа находилось окно — такое же, как на фасаде; слева — дверь, ведущая в гостиную; еще одна дверь, остававшаяся открытой, позволяла мне видеть небольшую комнату, обставленную как кабинет. Большое эркерное окно в ней выходило на север.

Войдя в гостиную, я обнаружил там мистера Лэндора — ибо, как я узнал впоследствии, так звали этого господина. Он оказался приветливым и сердечным, но мое внимание больше привлекала обстановка жилья, заинтересовавшего меня более, чем облик его хозяина. Теперь я видел, что северное крыло коттеджа служило спальней, дверь ее выходила в гостиную. Слева от этой двери находилось окно с видом на ручей. У западной стены гостиной был камин, и там же — дверь, ведущая в западную пристройку, вероятно, в кухню.

Ничто не могло сравниться со строгой простотой обстановки этой гостиной. На полу лежал толстый двойной ковер превосходного качества — белый фон с круглыми зелеными узорами. На окнах — занавеси из белоснежного жаконета[101], довольно пышные; они ниспадали строгими складками, а их нижний край был точно вровень с полом. Стены были обиты французскими обоями, очень изящными — по серебряному фону пробегала зигзагом бледно-зеленая полоса. На стенах висели замечательные цветные литографии с работ Пьера Жюльена[102]. Одна из них изображала сцены восточной неги, весьма чувственные, на другой — сцены карнавала, зажигательные и живые, третья — портрет гречанки, божественно прекрасное лицо, дразнящее какой-то вызывающей неопределенностью выражения.

Остальная обстановка состояла из круглого стола, нескольких стульев (включая удобное кресло-качалку) и софы, вернее, небольшого дивана. Он был сделан из простого и белого, как сливки, клена с зеленоватыми прожилками и плетеным сиденьем. Стулья и стол того же стиля, но их формы были, очевидно, порождением того же ума, который замыслил и воплотил весь окружающий ландшафтный сад; ничего изящнее и представить было невозможно.

На столе виднелось несколько книг, стоял большой прямоугольный хрустальный флакон с какими-то новыми духами, простая лампа из матового стекла с итальянским абажуром и большая ваза, полная великолепных цветов. В сущности, цветы с их яркой окраской и нежным ароматом были единственным, что находилось в комнате исключительно ради украшения. Каминную полку почти целиком занимал вазон с пышной геранью. На треугольных угловых полках стояли такие же вазоны с другими цветущими растениями, и еще пара букетов оживляла подоконники открытых окон...

А теперь я считаю своим долгом сообщить, что цель этого рассказа заключается исключительно в том, чтобы дать подробное описание коттеджа мистера Лэндора, каким я его застал, и чудесных окрестностей.

Колодец и маятник

Я окончательно изнемог. Бесконечная пытка вконец измучила меня; и когда меня развязали и усадили, я почувствовал, что теряю сознание. Последним, что донеслось до моего слуха, был приговор: страшный приговор, обрекавший меня на смерть. После этого голоса инквизиторов слились для меня в неясное жужжание. Этот звук вызвал в моем мозгу образ какого-то вихря, нескончаемого круговорота — может оттого, что он напомнил мне звук вращающегося мельничного колеса.

Впрочем, это продолжалось недолго, и вскоре я вообще перестал что-либо слышать. Но еще некоторое время я продолжал видеть — и каким беспощадно отчетливым и резким было то, что я видел! Я видел шевелящиеся губы судей над черными мантиями. Они казались мне мертвенно-белыми — белее бумаги, на которой я пишу эти строки, — и неестественно тонкими. Так сжали их неумолимая жестокость, непреклонная решимость и презрение к человеческому горю. Я следил за тем, как движения этих губ решают мою судьбу, как они кривятся, как из них выползают слова о моей смерти. Я видел, как они с усилием складывают слоги моего имени, и содрогался, ибо не слышал ни единого звука.

В эти мгновения томительного ужаса я все-таки заметил и легкое, едва различимое колыхание черного штофа[103], которым была обита зала. Потом взгляд мой упал на семь длинных свечей на столе. Сначала

они показались мне символами милосердия и спасения, стройными белыми ангелами; но тут же нахлынула смертная тоска, а все мое тело пронизала дрожь, словно я дотронулся до проводов гальванической батареи. Ангелы превратились в привидения с огненными головами, и я понял, что надеяться на них мне не следует. Вот тогда-то в мое сознание, словно тихая музыкальная фраза, проникла мысль о том, как должен быть сладок и покоен могильный сон. Она подбиралась мягко, словно на кошачьих лапках, и укрепилась в моем сознании не сразу. Но как только эта мысль овладела мной, лица судей исчезли, словно по волшебству; свечи мигом сторели дотла, их свет угас, и вокруг осталась только черная тьма. Все чувства во мне напряглись и замерли, как при безумном падении с высоты, будто сама душа провалилась вниз, в адские чертоги.

А дальше — молчание, тишина и ночь вытеснили все остальное.

Это был обморок, но я не стану утверждать, что окончательно лишился сознания. Что именно продолжал я сознавать, не берусь ни определить, ни даже описать; однако утрачено было не все. Что это было? Глубочайший сон? Нет! Бред? Тоже нет! Обморок или сама смерть? Нет и нет! Ведь даже в могиле не все покидает человека: иначе для него не существовало бы бессмертия. Пробуждаясь от глубокого сна, мы разрываем тонкую паутину какого-нибудь сновидения, хотя секундой позже чаще всего уже и не помним этого сновидения. При возвращении от обморока к жизни мы проходим две ступени: сначала мы возвращаемся в мир духовный и только потом заново обретаем ощущение жизни физической. И если бы, достигнув второй ступени, мы помнили ощущения первой, в них нам открылись бы убедительные свидетельства об оставшейся позади бездне. Но бездна эта — что она собой представляет? И как отличить ее тени и видения от могильных теней? И все же, если впечатления о том, что я называл первой ступенью, нельзя преднамеренно вызвать в памяти, разве не являются они нам нежданно, неведомо откуда, даже спустя долгий срок? Тот, кто не впадал в обморочное забытие, никогда не различит смутно знакомых очертаний диковинных дворцов и таинственных лиц в догорающих в камине углях, не увидит парящих в вышине видений, которых не замечает больше никто, не задумается, услышав запах прежде неизвестного цветка, не удивится

музыкальному ритму, никогда прежде не привлекавшему его внимания.

Среди мучительных усилий припомнить и упорных стараний собрать воедино разрозненные приметы того состояния кажущегося небытия, в которое впала моя душа, бывали минуты, когда мне казалось, что я близок к успеху. Не раз — но очень ненадолго — мне удавалось заново вызвать те чувства, которые, как я понимал впоследствии, я мог испытать не иначе как во время беспамятства. Призрачные воспоминания невянятно нашептывали мне о том, что высокие темные фигуры безмолвно подняли мое тело и понесли куда-то вниз, все ниже и ниже, пока у меня не перехватило дух от самой бесконечности этого спуска. Смутный страх охватил меня, оттого что мое сердце странно затихло. Потом все вдруг застыло в неподвижности, словно зловеющий кортеж, который нес меня, остановился передохнуть от тяжелой работы. Потом мою душу окутал непроницаемый туман уныния. А дальше... дальше все тонет в безумии — безумии памяти, нарушившей запретные пределы.

Внезапно звук и движение вернулись — сердце беспокойно забилося, да так, что в моих ушах отдавались его тяжелые, редкие и неровные удары. Потом снова был безмолвный провал пустоты. Но вот трепет охватил все мое тело, а следом — чистое ощущение бытия, без единой мысли и образа, и длилось это весьма долго. Потом внезапно проснулась мысль, нахлынул невыразимый ужас, и я уже изо всех сил попытался осознать, что же на самом деле со мной произошло. Это, впрочем, не удалось, и мне снова захотелось погрузиться в беспамятство. Однако душа моя вострепелась, напряглась, наполнилась волей к жизни — и ожила. И тотчас мне вспомнились бесконечные пытки, судьи, траурный штоф на стенах, приговор, мгновенная дурнота, обморок. И опять совершенно забылось все то, что уже много времени спустя мне удалось кое-как воскресить мучительным усилием памяти.

До этой минуты я не открывал глаз; я чувствовал только, что лежу на спине. Пут на руках и ногах больше не было. Я попробовал протянуть руку, и она тяжело упала на что-то сырое и жесткое; там я и оставил ее на несколько мгновений и принялся ломать голову, пытаясь угадать, где я нахожусь и что со мной случилось. Мне отчаянно хотелось осмотреться, но я не решался: не потому, что боялся увидеть

что-нибудь невообразимо страшное; гораздо больше меня пугала мысль, что я ничего не увижу.

Наконец с безумно колотящимся сердцем я открыл глаза. Мои худшие предчувствия подтвердились. Вокруг — чернота вечной ночи. У меня перехватило дыхание. Вязкая, совершенно непроницаемая тьма и нестерпимая духота. Я неподвижно лежал, пытаюсь собраться с мыслями. Наконец я с огромным усилием вдохнул воздух — до того тяжела была атмосфера. Продолжая лежать на спине, я попытался припомнить обычаи инквизиции и, исходя из них, понять мое нынешнее положение. Мне был вынесен смертный приговор, и с тех пор, похоже, прошло довольно много времени. Но мне ни на минуту не приходило в голову, что я уже мертв. Подобная мысль, вопреки всем домыслам сочинителей, совершенно несовместима с жизнью действительной, но где же я нахожусь, что со мной? Я знал, что приговоренных к смерти обычно казнят на аутодафе[104], и одна из таких казней как раз была назначена на день моего суда. Значит, меня снова бросили в темницу, и теперь мне придется несколько месяцев ждать следующего костра? Нет, это невозможно! Никаких отсрочек своим жертвам инквизиторы не дают.

Вдруг мне пришла в голову настолько ужасная мысль, что сердце мое вздрогнуло, перевернулось, замерло — и я на несколько минут снова впал в беспамятство. Придя в себя, я тотчас вскочил на ноги, дрожа всем телом. Я отчаянно распростер руки — но они ощущали только пустоту вокруг. А я не решался даже шагу ступить от страха, что наткнусь на стену склепа, в котором меня замуровали. Я весь покрылся потом, он крупными каплями стекал с моего лба. Наконец, измученный неизвестностью, я осторожно шагнул вперед, вытянув руки и до боли напрягая глаза в надежде различить хотя бы слабый проблеск света. К своему удивлению, я сделал немало шагов, но вокруг по-прежнему было черно и пусто. Однако я вздохнул свободнее. Значит, мне уготована, по крайней мере, не самая жуткая участь.

Я продолжал осторожно продвигаться вперед, припоминая бесчисленные и порой нелепые слухи об ужасах темниц Толедо. Станные вещи рассказывали об этих каменных мешках. Я всегда считал их досужими баснями, но вместе с тем они были так страшны и таинственны, что их передавали из уст в уста не иначе как шепотом.

Предстояло ли мне умереть с голоду в этом мире мрака, или меня ждала еще более ужасная и изощренная казнь? В том, что ее результатом должна была стать смерть, жестокая и мучительная, я не сомневался: слишком хорошо я знал повадки моих судей. Лишь мысль о способе и часе этой смерти донимала и сводила меня с ума.

Но вот мои напряженно вытянутые вперед руки встретили препятствие: это была стена, сложенная из гладких, сырых и холодных камней. Я двинулся вдоль нее, ступая с большой осторожностью, так как помнил некоторые старые истории о жутких провалах, поджидающих узника во тьме. Однако таким способом невозможно было определить размеры моей темницы — я мог обойти ее по кругу и вернуться на прежнее место, даже не заметив этого. Поэтому я стал шарить по карманам в поисках перочинного ножа, который находился там, когда меня вели на судебное заседание. Но его не оказалось на месте, да и вся моя одежда была другой — меня переодели в какой-то балахон из грубой мешковины. Первоначально я хотел вогнать лезвие в какую-нибудь щель между камнями, чтобы таким образом обозначить начало пути. Затруднение, правда, оказалось пустячным, и лишь в горячке оно поначалу показалось мне непреодолимым. Я оторвал толстый край от подола моего балахона и положил его на пол. Пробираясь вдоль стены, я непременно наткнулся на эту тряпку, завершив обход камеры. Так я предполагал, не зная ни истинных размеров моего узилища, ни меры своих сил. Пол был сырым и скользким. Проковыляв немного вдоль стены, я споткнулся и упал, а изнеможение помешало мне подняться. Вскоре я уснул.

Проснувшись и пошарив вокруг себя, я обнаружил краюху сухого хлеба и кувшин с водой. Я так был измучен, что не стал раздумывать, откуда они взялись, но с жадностью осушил кувшин и сгрыз хлеб. После чего снова поплелся вдоль стены и с невероятным трудом наконец добрался до места, где лежала мешковина. Перед тем как споткнуться и упасть, я насчитал пятьдесят два шага, а после того их оказалось еще сорок восемь. Итого — сто шагов. Положив по два шага на ярд, я заключил, что моя тюрьма имеет окружность в пятьдесят ярдов. Однако по мере продвижения вперед я обнаружил немало углов и теперь никак не мог представить форму этого подземелья.

Все эти исследования были почти бесцельны, толку от них не могло быть никакого, но странное любопытство толкало меня их

продолжать. Немного передохнув, я решился оторваться от стены и пересечь пространство темницы. То и дело скользя и спотыкаясь на неровном каменном полу, я поначалу ступал с невероятной осторожностью. Но потом, набравшись духу, пошел тверже, стараясь не сбиваться с прямой линии. Так я прошел шагов десять-двенадцать, но зацепился за оборванный край моего одеяния, сделал еще один неловкий шаг и рухнул плашмя.

Ошеломленный падением, я не сразу обнаружил одну весьма странную вещь. Вот что это было: мой подбородок касался пола темницы, а в то же время нос, лоб и верхняя часть головы, располагавшиеся ниже подбородка, ни к чему не прикасались. В то же время ноздри мне щекотал какой-то сырой пар, смешанный с густым духом плесени, поднимавшийся откуда-то снизу.

Я судорожно зашарил руками вокруг себя и вскоре обнаружил, что лежу на самом краю круглого колодца, диаметр которого в ту минуту я не мог определить. Ощупывая его шершавые края, я ухитрился отломить кусок извести, скреплявшей камни кладки, и бросил его вниз. Несколько мгновений я слышал, как он, падая, ударяется о стенки колодца. Потом раздался глухой всплеск, и эхо подхватило его отголосок. В то же мгновение раздался странный звук — словно где-то высоко вверху распахнули и тотчас захлопнули тяжелую дверь, тьму прорезал слабый луч света и моментально угас.

Тут я окончательно понял, какая мне была уготована судьба, и поздравил себя с тем, что так своевременно споткнулся. Сделай я еще шаг, и не видать бы мне больше белого света! Именно такие казни упоминались в тех рассказах о коварстве толедских темниц, которые я считал вздорными выдумками. У жертв инквизиции был не такой уж богатый выбор: либо смерть в чудовищных физических муках, либо смерть в кошмарных нравственных мучениях. Мне досталось последнее. От нескончаемых страданий мои нервы окончательно взвинтились, я вздрагивал от звуков собственного голоса и как нельзя лучше подходил для тех пыток, которые меня ожидали.

Дрожа всем телом, я отполз к стене, решив лучше погибнуть там, но избежать кошмарных колодцев, которые теперь мерещились мне на каждом шагу. Будь мой рассудок в ином состоянии, у меня хватило бы мужества самому броситься в пропасть и положить конец всем моим бедствиям, но я превратился в жалкого труса. Кроме того, из головы у

меня не выходило то, что я слышал о подобных колодцах: быстро расстаться с жизнью в них еще никому не удавалось.

От возбуждения я долгие часы не мог уснуть, но наконец смог забыться. Проснувшись, я, как и прежде, обнаружил рядом ломоть хлеба и кувшин с водой. После тяжелого сна меня терзала жажда, и я залпом осушил кувшин. Но к воде, очевидно, было примешано какое-то снадобье, и не успел я допить, как на меня снова навалилась дремота. А затем я погрузился в сон — глубокий, как сама смерть.

Не знаю, долго ли я спал, но когда я снова открыл глаза, то вдруг обнаружил, что вижу все, что меня окружает. В слабом и мертвенном зеленоватом свете, источник которого я заметил не сразу, мне открылся вид и размеры моей тюрьмы.

Я сильно ошибся в оценке ее размеров — темница не могла иметь больше двадцати пяти ярдов в окружности, и на несколько минут это открытие заняло все мои мысли и чрезвычайно смутило. Хотя, правду сказать, удивляться было нечему, потому что в этих обстоятельствах бóльшая или меньшая величина моей тюрьмы не могла иметь никакого значения. Но ум мой цеплялся за мелочи, и я принялся искать причину ошибки, совершенной мною в темноте. В конце концов меня осенило. Сначала, до того как я упал в первый раз, я насчитал пятьдесят два шага. Очень возможно, что упал я всего в двух шагах от куска мешковины, успев обойти почти всю камеру. Потом я уснул и спросонок, скорее всего, пошел не в ту сторону — вот почему стена показалась мне вдвое длиннее. При этом я даже не заметил, что в начале пути она находилась слева от меня, а в конце оказалась справа.

Относительно формы темницы я тоже обманулся. Я счел ее неправильной, нащупав на стене множество углов. Но оказалось, что эти углы — всего-навсего выступы или впадины в стене, расположенные на неравном расстоянии одна от другой. В целом, моя темница имела прямоугольную форму, а то, что я на ощупь принял за каменную кладку, оказалось листами железа или какого-то другого металла, стыки или швы между которыми как раз и образовывали неровности. Вся внутренняя поверхность моего стального мешка была грубо размалевана гнусными фресками — порождением мрачных монашеских суеверий. Свирепые демоны в виде скелетов или в иных, еще более страшных обликах сплошь покрывали стены. Контуры этих чудищ были довольно четки, но краски выглядели грязными и

размытыми от сырости. Потом я увидел, что пол моей тюрьмы сложен из каменных плит. Посередине зияла пасть колодца, которой я счастливо избежал, и этот колодец был в темнице один-единственный.

Все это я мог различить лишь очень смутно и с трудом, ибо мое собственное положение за время сна существенно изменилось. Меня уложили навзничь на какую-то низкую деревянную платформу, накрепко привязав к ней тонким и длинным ремнем вроде конской подпруги. Ремень многократно обвивал все мое тело с ног до шеи, оставляя свободными только голову и левую руку — так, чтобы я мог с большими усилиями дотянуться до глиняной миски с едой, стоявшей на полу рядом со мной. К своему ужасу, я обнаружил, что кувшин с водой исчез. Слово «ужас» тут не лишнее: меня снова терзала нестерпимая жажда, а мои мучители стремились распалить ее еще больше — в глиняной миске лежало мясо с какими-то острыми приправами.

Я поднял глаза вверх и принялся разглядывать потолок. Он находился на высоте тридцати или сорока футов и ничем не отличался от стен. Странная фигура на одном из металлических листов привлекла мое внимание. Это была Смерть — такая, как ее обычно изображают, но только вместо косы в руке она держала то, что при первом взгляде показалось мне маятником, как на старинных часах. Однако что-то в этом изображении заставило меня вглядеться в него пристальней. Пока я смотрел прямо вверх — маятник находился точно надо мною — мне вдруг почудилось, что он двигается. Еще через минуту это впечатление подтвердилось. Ход у маятника был короткий и медленный. Несколько мгновений я подозрительно следил за ним, но вскоре его однообразные движения мне наскучили, и я решил оглядеться.

Какой-то шорох привлек мое внимание. Я взглянул на пол и обнаружил, что его буквально затопило полчище огромных крыс. Все новые и новые твари выныривали из щели, находившейся в моем поле зрения справа. Все они, нисколько не опасаясь меня, жадно устремлялись к миске, привлеченные запахом жаркого. Немалого труда стоило мне отогнать их от миски.

Прошло с полчаса, а может быть, и целый час — я плохо осознавал ход времени, когда я снова поднял глаза кверху. То, что я там увидел, поразило меня и озадачило. Размах маятника увеличился почти на

целый ярд. Возросла, следовательно, и его скорость. Но особенно встревожило меня то, что он заметно опустился. Теперь я хорошо видел (надо ли описывать мой ужас!), что его нижняя часть имеет форму массивного серпа из сверкающей стали длиной примерно в фут; рожки этого серпа были повернуты вверх, а его нижний край казался остро отточенным, словно лезвие бритвы. Выше лезвия серп утолщался и даже с виду казался тяжелым. Он был закреплен на прочном медном стержне, и все это устройство, раскачиваясь, со свистом и шипением рассекало воздух.

Нечего было больше сомневаться в том, какую участь предназначила мне злоеющая изобретательность монахов. Инквизиторы поняли, что я обнаружил колодец — вполне достойную, по их мнению, кару для такого закоренелого еретика, как я. Падения в него я избежал по чистой случайности, и им пришлось задуматься о другом роде наказания. Ведь внезапность кары и страдания, ужас жертвы, захваченной врасплох, — неперемное условие их чудовищных тайных экзекуций. Раз уж я не свалился в пропасть, меня не станут в нее толкать, а уничтожат иным, более мягким способом. Мягким? Я готов был расхохотаться, осознав, как мало это слово отвечает сути происходящего.

Нет смысла рассказывать о долгих, нескончаемо долгих часах нечеловеческого ужаса, когда я считал колебания стального серпа! Дюйм за дюймом, снова и снова — казалось, проходили века между двумя взмахами смертоносного орудия, — но оно неотвратимо опускалось все ниже и ниже! Дни ли миновали или недели — но пришел час, когда сверкающий серп опустился так низко, что ветер от него шевелил мои волосы, а едкий запах недавно отточенной стали бил мне прямо в ноздри. Я молился, я убеждал небеса сделать так, чтобы страшный маятник спускался быстрее. Теряя рассудок, я рвался всем телом вверх, навстречу свистящим взмахам злоеющего ятагана. Но затем вдруг успокаивался, лежал, улыбаясь своей блистающей смерти, как дитя — яркой погремушке.

Я снова лишился чувств — видимо, ненадолго, потому что, когда я пришел в себя, маятник почти не опустился. Могло быть и так, что я провел в забытии долгие часы, а эти злые духи, заметив мой обморок, нарочно остановили движение маятника.

Однако, придя в себя, я почувствовал такую невыразимую слабость, словно меня долго изнуряли голодом. Несмотря ни на какие страдания, человеческая природа требует пищи. Я с трудом вытянул левую руку, насколько позволяли путы, и нашарил жалкие объедки, оставленные крысами. Но как только я отправил в рот первый кусок, в моем мозгу вдруг мелькнул обрывок мысли, окрашенной отблеском надежды. Надежда для меня? Возможно ли? Однако, как я уже сказал, то был лишь обрывок мысли. Мало ли таких мелькает в мозгу, ни к чему не приводя! Я ощутил мгновенную радость, но сама мысль, вызвавшая ее, умерла, так и не родившись. Напрасно пытался я додумать ее, нащупать, вернуть. Длительные мучения лишили меня обычной способности мыслить и рассуждать. Я стал почти слабоумным.

Маятник раскачивался в плоскости, перпендикулярной к моему телу, и я давно уже понял, что серп рассечет мою грудь там, где находится сердце. Сначала он коснется мешковины, лопнет одна, другая нить, затем он откачнется, повторит все сначала, потом опять... и опять... Несмотря на то что размах колебаний маятника стал уже огромным — футов тридцать, не меньше — и его свистящая мощь была способна сокрушить самые стены моей тюрьмы, он всего лишь надрежет мешковину на мне, и только!..

Здесь я остановился, так как дальше мое воображение идти не посмело. Я сосредоточился на этой картине, я цеплялся за нее, будто таким образом мог удержать спуск маятника. Я заставил себя представить звук, с каким серп рассечет мой жалкий балахон, и тот озноб, который пройдет по всему моему телу в ответ. Я истязал себя этим вздором, покуда совершенно не изнемог.

Тем временем маятник сползал вниз — и только вниз. С сумасшедшей радостью противопоставлял я скорость его подъема и спуска. Вправо — влево, во всю ширь, со скрежетом преисподней — и прямо к моему сердцу, неторопливо, крадучись, словно кровожадный хищник. Я то хохотал, то рыдал, окончательно потеряв власть над собой.

Вниз, неотвратимо, непреклонно вниз! Вот он уже качается всего в трех дюймах от моей груди. Я безумно, отчаянно пытался высвободить полностью левую руку, так как она могла двигаться лишь от локтя до кисти. Я мог только дотянуться до миски и поднести пищу ко рту, и то

ценой мучительных усилий. Но если бы я владел всей рукой, я бы схватил маятник и постарался его остановить! Правда, с таким же успехом я мог бы пытаться остановить лавину в горах!

Вниз, неумолимо, беспрестанно вниз! Я задыхался и обмирал, от каждого его взмаха у меня все обрывалось внутри. Мои глаза провожали его в сторону и вверх с нелепой сосредоточенностью. Я закрывал глаза, когда он начинал опускаться, хотя смерть была бы для меня избавлением, желанным избавлением от мук. И все же во мне дрожала каждая жилка при мысли о том, как бездушный механизм рассечет острой сталью мою волнующуюся и дышащую грудь. Но не только: это была дрожь надежды! О, надежда, победительница скорбей, — это она нашептывает слова утешенья обреченным даже в тайных темницах инквизиции, прорывается даже на эшафоты!..

Наконец я увидел, что еще десять-двенадцать взмахов, и сталь впрямь коснется моего балахона. От этого я вдруг собрался и преисполнился тем холодным спокойствием, которое дает только последняя степень отчаяния. Впервые за долгие часы, а может быть, и дни, я смог ясно мыслить. И тотчас понял, что мои путы, этот тонкий, но очень прочный сыромятный ремень — цельный по всей своей длине. Меня связали одним-единственным ремнем! Где бы лезвие маятника ни коснулось ремня, оно рассечет его, и я с помощью одной только левой руки смогу моментально освободиться. Но как же близко от меня в это мгновение окажется сверкающая сталь! Каким гибельным может оказаться одно-единственное неверное движение!.. Но мыслимо ли, чтобы столь опытные палачи не предусмотрели такой возможности? Что, если там, куда нацелен смертоносный маятник, нет ни одного витка пут?

Боясь утратить слабую и, скорее всего, последнюю надежду, я приподнял голову, чтобы взглянуть на свою грудь. Ремень обвивал мой торс, живот, руки и ноги — но только не там, куда опускался разящий серп!

Я уронил голову, и вдруг в моем мозгу возникло то, что следовало бы назвать недостающей половиной идеи об избавлении, первая часть которой лишь смутно явилась моему уму, когда я поднес кусок пищи к своим запекшимся губам. Теперь мысль эта оформилась — слабая, вряд ли здравая, во многом смутная, но она приобрела форму. Отчаяние придало мне сил, и я тотчас принялся ее осуществлять.

На протяжении уже многих часов пол темницы вокруг моего низкого помоста буквально кишел крысами. Наглые, жадные, голодные, они пристально следили за мной своими горящими красными глазками, будто только и ждали, когда я перестану шевелиться, чтобы тотчас наброситься на меня. «К какой же пище, — невольно подумал я, — привыкли они в этом подземелье?»

Как я ни старался отвадить их от миски, они умудрились растащить почти все ее содержимое, оставив только жалкие объедки да несколько ложек острого и жирного соуса на дне. Я механически махал свободной рукой над миской, и в конце концов это монотонное движение перестало пугать прожорливых тварей — они то и дело пытались схватить меня за пальцы. Но я перехитрил их: придвинув миску поближе к себе, я старательно натер связывавший меня ремень остатками жаркого там, где сумел до него дотянуться. После этого я убрал руку и, затаив дыханье, застыл.

Крыс поначалу поразила и даже испугала перемена в моем поведении и моя неподвижность. Они отступили, некоторые из тварей даже устремились обратно к своей щели. Но это смятение продолжалось лишь какое-то мгновение. Не напрасно я рассчитывал на алчность этих тварей! Убедившись, что я не шевелюсь, две-три самых наглых вспрыгнули на мой помост и начали обнюхивать ремень. Остальные будто только и ждали сигнала. Новые полчища хлынули из щели: они запрудили все мое ложе и десятками топтались прямо на мне. Мерное движение маятника ничуть их не пугало. Увертываясь от его движений, крысы занялись аппетитным ремнем. Они теснились, отталкивали друг друга, метались у моего горла и груди, их холодные носы тыкались в мои губы. Я задыхался от омерзения, которого не передать никакими словами, и липкого ужаса. Но еще минута — и я понял, что скоро все это останется позади. Я явственно ощутил, что ремень ослабел. Значит, крысы уже перегрызли его. Однако нечеловеческим усилием воли я все еще заставлял себя сохранять неподвижность.

Нет, я не ошибся в своих расчетах, не напрасно терпел! Наконец-то я почувствовал, что свободен. Ремень, перегрызенный во множестве мест, болтался на мне обрывками. Но серп уже коснулся моей груди. Одним движением он вспорол мешковину, затем рассек белье под ней. Еще два взмаха — и меня насквозь пронзила жгучая боль. Но я уже

был готов действовать. Одним взмахом руки я обратил крыс в паническое бегство, а затем осторожным, заранее продуманным движением — в сторону, медленно, не отрывая лопаток от помоста, — выскользнул из ремней и откатился в сторону, туда, где меня не мог настичь смертоносный ятаган. Хотя и ненадолго — но я был свободен.

Свободен — но по-прежнему в когтях инквизиции!

Едва я покинул свое кошмарное ложе, едва сделал несколько шагов, как движение адского механизма прекратилось, и я увидел, как он неторопливо поднимается к потолку. Это наполнило мое сердце отчаянием и показало, что за каждым моим движением следят. Свободен? Я всего лишь избегнул одной смертной муки ради другой, худшей, быть может, чем сама смерть!

Подумав так, я принялся с беспокойством разглядывать железные стены, отделявшие меня от мира. В моей темнице за это время произошла какая-то перемена, которую я не сразу осознал. На меня нахлынули тревожные мысли, я терялся в тщетных, бессвязных догадках. Тут я впервые обнаружил источник зеленоватого света, освещавшего камеру. Он шел из щели в полдьюма шириной, располагавшейся у самого пола и опоясывавшей всю камеру. Я наклонился, пытаюсь заглянуть в эту щель — но без всякого успеха.

Но когда я выпрямился, мне вдруг открылась тайна перемены, произошедшей с моей камерой. Я уже говорил, что росписи на ее стенах имели достаточно четкие очертания, но их краски как бы поблекли и размылись. А сейчас они прямо на глазах у меня обретали пугающую, невероятную яркость, придавая адским фигурам такой вид, что человек и с более крепкими нервами, чем у меня, содрогнулся бы. Глаза кривляющихся демонов — живые, кровожадные и мрачные — устремлялись на меня из таких мест, где я прежде их даже не замечал, они горели грозным огнем, который я все еще пытался считать воображаемым.

Воображаемым? Но ведь при каждом вдохе мои ноздри втягивали запах раскаленного железа! В темнице становилось все жарче, и глаза, насмешливо созерцающие мою агонию, разгорались все ярче и ярче! Безобразные кровавые фрески наливались багрянцем и кармином! Я начал задыхаться.

Теперь не оставалось ни малейших сомнений в намерениях моих палачей — это действительно были сущие демоны, а не люди. Металл стен все сильнее накалялся, и мне пришлось отступить к центру темницы. По контрасту с происходящим мысль о сырости и свежести колодца казалась мне истинным бальзамом. Я припал к его краю и бросил взгляд в глубину, озаренную до самого дна мрачными отблесками багровеющего свода камеры. И все же в первое мгновение разум мой отказался постичь безумный смысл того, что я увидел. Тем

не менее, страшная правда насильно вторглась в мою душу, завладела ею, опалила отчаянно противящийся разум. О Господи! Чудовищно! Только не это!..

С хриплым воплем я отпрянул от колодца, спрятал лицо в ладонях и горько разрыдался.

Жар быстро нарастал, и я снова огляделся, лихорадочно дрожа. Новая перемена — на сей раз менялась форма камеры. Как и прежде, сначала я тщетно пытался понять, что творится вокруг. Но теряться в догадках мне пришлось недолго. Мое двукратное спасение раздражило палачей, а значит, игра в прятки с Костлявой близилась к концу. Прежде моя темница была прямоугольной, почти квадратной. Но сейчас я увидел, что два ее железных угла мало-помалу становятся острыми, а два других, соответственно, тупыми. Все это сопровождалось каким-то глухим рокотом и скрежетом, напоминающим мучительный стон. Камера складывалась вдоль одной из осей, принимая форму ромба. Это движение неумолимо продолжалось, просвет между стенами сужался — да я и не ждал ничего иного. В ту минуту я готов был сам броситься на эти раскаленные докрасна стены, которые казались мне символами вечного покоя. «Смерть, — думал я, — лучше любая смерть, лишь бы не в колодце!»

Глупец! Как же я сразу не догадался, что именно в колодец-то и загоняет меня раскаленное железо? Разве я мог выдержать его жгучее дыхание, устоять против его напора? Просвет между стенами становился все уже и уже, и времени для размышлений у меня больше не оставалось. В самой широкой части раскаленного ромба зияла пасть колодца, и медленно смыкающиеся стены неодолимо толкали меня туда. И вот уже на полу темницы не осталось ни фута пространства, где могло бы разместиться мое обожженное, корчащееся тело. Я перестал сопротивляться, но то, что творилось в эту минуту в моей погибающей душе, вырвалось в долгом крике, полном невыносимого отчаяния. Я едва удерживал равновесие на самом краю бездны, не смея снова заглянуть в нее...

И вдруг послышался нестройный гул, выстрелы, звуки труб! Могучий рев тысячи голосов сотряс воздух, словно громовой раскат! Огненные стены начали отступать назад — и весьма быстро. Внезапно чья-то рука схватила меня за плечо — и как раз в ту минуту, когда я,

теряя сознание от изнеможения, готов был рухнуть в бездну. То была рука генерала Лассалья. Французская армия вступила в Толедо: инквизиция была в руках своих врагов.

Лигейя

И в этом заложена воля, которой несть смерти. Кому ведомы тайны воли и сила ея? Ибо что есть Бог, как не воля великая, наполняющая все сущее провидением своим. Человек не предает ся до конца ангелам ни́же са́мой смерти, едино по немощи воли своя.

Джозеф Гленвилл[105]

Даже во имя спасения души своей не вспомнить мне, как, когда и даже где впервые повстречал я госпожу Лигейю. Многие годы прошли с тех пор, и память моя ослабела из-за пережитых мук. А быть может, это потому, что характер моей возлюбленной, ее редкостная ученость, ее своеобразная и в то же время безмятежная красота, волнующая и пленительная прелесть ее мягкого певучего голоса проникали в мое сердце столь постепенно, входили в него шагами столь неслышными, что вторжение это осталось незамеченным и неведомым. И все же кажется мне, что впервые я стал встречать ее (и встречи те были самыми частыми) в каком-то большом стареющем городе близ Рейна. О семье ее... Да, конечно, она рассказывала о своей семье. Род ее был древним, могло ли быть иначе? Лигейя! Лигейя! В изучении природы, занятии, которое более чем что-либо иное избавляет от образов материального мира, одно слово это — Лигейя! — заставляет меня вспомнить, представить, увидеть перед собой ту, кого больше нет. И сейчас, когда я пишу, меня молнией пронзает воспоминание о том, что я никогда не знал фамилии той, кто была моим другом и моей суженой, участницей моих исследований и наконец стала моей женой. Было ли это веселой прихотью моей Лигейи? Или проверкой силы моего чувства, и я не должен был спрашивать ее об этом? А может, причиной тому был мой собственный каприз, безумная романтическая жертва, принесенная на алтарь беззаветной преданности? Я лишь с трудом припоминаю это... Стоит ли удивляться, что я совершенно забыл обстоятельства, ставшие тому причиной или сопутствующие этому? И если она, бледноликая и туманнокрылая Аштофет[106]

идолопоклончивого Египта действительно властвует над браками, которым не суждено стать счастливыми, то нет никакого сомнения, что ее крылья распростерлись и надо мной.

Однако есть одно милое моему сердцу воспоминание, которое память моя сохранила. Это то, какой была Лигейя. Высокого роста, довольно тонкая, а в последние дни даже истощенная. Напрасными были бы мои усилия, если бы я взялся описывать ее царственное спокойствие, тихую невозмутимость или невообразимую легкость и мягкость ее походки. Она приходила и исчезала, как тень. О том, что она появлялась в моем закрытом рабочем кабинете, я узнавал лишь, когда слышал сладкую музыку ее милого тихого голоса и чувствовал прикосновение ее мраморной руки к своему плечу. Красотою ни одна дева не сравнится с ней. То было сияние, которое видит в забвенье потребитель опиума, воздушное и возвышенное видение, более божественное, чем фантазии, порождающие образы дремлющих душ дочерей Делоса[107]. Однако черты ее не были подобны той обычной маске, которую научили нас почитать классические труды варваров. «Не существует такой изысканной красоты, — утверждает Бэкон, лорд Верулам[108], говоря о всех формах и видах красоты, — у которой не было бы какой-либо необычности в пропорциях». И все же, хоть я и видел, что черты Лигейи не были классически правильными, хоть и понимал, что красота ее «изысканная», и чувствовал, что в ней немало «необычности», я был не в силах понять, в чем заключена неправильность, так и не смог разобраться, что такое «необычность» в моем собственном понимании. Я рассматривал черты высокого бледного лба — он был безупречен (до чего холодное слово, когда речь идет о величии столь божественном!), чистотой соперничал с лучшей слоновой костью, широкий и величаво спокойный, мягко выпуклый на висках; я рассматривал цвета воронова крыла блестящие, густые, вьющиеся от природы локоны, передающие всю силу гомеровского эпитета «гиацинтовые»! Я смотрел на утонченные очертания носа... Только на прекрасных медальонах иудеев встречал я подобное совершенство. Та же роскошная гладкость, та же почти неуловимая горбинка, те же гармонично изогнутые ноздри, свидетельствующие о свободолюбии. Я разглядывал дивные уста... Венец всего неземного! Величественный изгиб короткой верхней губы и мягкая, чувственная неподвижность нижней; заметные ямочки и выразительный цвет;

зубы, с почти невероятным сверканием отражавшие каждый луч божественного света, который попадал на них, когда лицо ее озарялось безмятежной, покойной и в то же время ослепительно-счастливой улыбкой. Я изучал форму подбородка и в нем тоже находил изящную широту, мягкость и благородную одухотворенность эллинов, очертания, которые бог Аполлон лишь во сне явил Клеомену, сыну афинянина[109]. А потом я заглядывал в глаза Лигейи.

Для глаз античность не сохранила образца красоты. Возможно, глаза моей возлюбленной тоже скрывали в себе ту тайну, о которой говорил лорд Верулам. Я должен признать, что они были намного больше, чем глаза, обычные для нашей расы. Они были крупнее, чем самые крупные газели глаза племени долины Нурджахада[110]. Но лишь изредка, в мгновения величайшего возбуждения, эта особенность Лигейи становилась более чем едва заметной. И именно в такие мгновения — возможно, лишь в моем разгоряченном воображении — проявлялась ее красота, красота существ, не принадлежащих этому миру, красота сказочных турецких гурий. Зрачки ее сверкали самым восхитительным из оттенков черного цвета, а сверху их оттеняли разительной длины ресницы, находившиеся высоко над ними. Брови, слегка неправильной формы, были того же цвета. Однако «необычность», которую я видел в ее глазах, заключалась не в их очертаниях, цвете или великолепии, а в их выражении. О, это бессмысленное слово, за безграничной простотой звучания которого мы скрываем наше полное неведение духовного. Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов провел я, размышляя о нем. Как всю летнюю ночь напролет силился постичь его! Что это было... то нечто, более глубокое, чем Демокритов колодец[111], что скрывали зрачки моей любимой? Что это было? Я был одержим страстным желанием узнать это. Эти глаза! Эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они для меня стали двойными звездами Леды[112], а я для них — увлеченнейшим из астрономов.

Среди многочисленных самых невообразимых аномалий, известных науке о работе человеческого разума, нет ничего более захватывающего, чем факт (которого, боюсь, никогда не замечают в школах), что часто, мучительно пытаюсь вспомнить нечто давно забытое, мы чувствуем, что вот-вот воспоминание всплывет в памяти, но в конце концов оказываемся не в силах вспомнить. Сколько раз,

когда я пристально всматривался в глаза Лигейи, мне казалось, что сейчас я сумею наконец осознать и до конца понять их выражение, я чувствовал, что это вот-вот случится... потом ощущение это слабело... и наконец покидало меня вовсе! А еще (удивительная... нет, удивительнейшая из загадок!) в самых простых вещах я замечал некую схожесть с этим выражением. Я хочу сказать, что после того как красота Лигейи поселилась у меня в душе, стала покоиться там, как святыня в раке, многие сущности материального мира стали вызывать во мне то же чувство, которое всегда пробуждал во мне взгляд этих огромных лучезарных глаз. Но это нисколько не помогло мне понять, что это было за чувство, подвергнуть его анализу или даже спокойно обдумать. Повторяю, я замечал сходство, наблюдая за скорым ростом виноградной лозы, глядя на мотылька, на бабочку, на куколку, рассматривая стремительный водный ручей. Я чувствовал его в океане, в падении метеора. Я чувствовал его во взглядах людей, доживших до необычайно преклонного возраста. А еще есть в небесах пара звезд (особенно одна, звезда шестой величины, двойная и переменная, которую можно увидеть рядом с большой звездой в созвездии Лиры), рассматривая которые в телескоп, я испытывал похожее чувство. Меня наполняли им звуки некоторых струнных инструментов, нередко и отдельные места из книг. Я мог бы привести множество примеров, но особенно мне запомнилось одно место в томике Джозефа Гленвилла, которое (возможно, своей необычностью) неизменно преисполняло меня этим чувством: «И в этом заложена воля, которой несть смерти. Кому ведомы тайны ея и сила ея? Ибо что есть Бог, как не воля великая, наполняющая все сущее провидением своим. Человек не предает ся до конца ангелам ниже самой смерти, едино по немощи воли своя».

Годы и последующие размышления позволили мне проследить некоторую отдаленную связь между этими словами английского моралиста и какими-то чертами характера Лигейи. Энергия ее мыслей, действия и речи, возможно, была следствием или, по меньшей мере, признаком той гигантской силы воли, которая за все время нашего долгого знакомства не нашла иного, более непосредственного проявления. Из всех женщин, которых я знал, она, внешне безмятежная и неизменно спокойная, была самой беспомощной добычей беснующихся коршунов безумной страсти. И этой страсти я

не мог найти мерил, кроме как в удивительном размере ее огромных глаз, одновременно восхищавших меня и приводивших в смятение; в почти колдовской мелодичности, звучности, ясности и спокойствии ее необыкновенно тихого голоса и в безумной энергии ее речей (сила которых удваивалась благодаря контрасту с ее манерой говорить).

Я упоминал об учености Лигейи, она была безграничной... У других женщин я такой не встречал. Она прекрасно владела классическими языками, и, насколько я мог судить, трудностей с современными европейскими наречиями у нее тоже не было. Да и были ли у нее пробелы в остальных знаниях, считавшихся только из-за своей невразумительности академическими? Каким всеобъемлющим порывом понимание этой грани личности моей жены только сейчас ворвалось в мои мысли... Как это поразило меня! Я говорил, что не встречал у других женщин учености Лигейи... Но существует ли такой мужчина, который пересек, и успешно, все бескрайние просторы нравственных, физических и математических наук? Тогда я не замечал того, что вижу сейчас: познания Лигейи были поразительными... И все же я достаточно хорошо понимал ее бесконечное превосходство, чтобы отдаться с детской доверчивостью ее руководству через хаотический мир метафизических исследований, в которые я с головой ушел в первые годы нашего брака. С каким бесконечным торжеством, с каким упоительным счастьем, преисполнившись всего, что есть божественного в надежде, погружался я, когда она делилась со мной своими знаниями — как бы между прочим, почти незаметно, — в мечты о раскрывающихся восхитительных далях, по великолепным и доселе нехоженым тропам которых я мог устремиться вперед к плодам мудрости слишком божественной и драгоценной, чтобы не быть запретной.

До чего мучительной была моя скорбь, когда по прошествии нескольких лет я увидел, что все мои упования рассыпаются прахом. Без Лигейи я был точно ребенок в ночи. Ее чтения, одного ее присутствия было достаточно, чтобы озарить ясным светом многочисленные тайны трансцендентализма, в которые мы погружались. Без ее сияющих великолепных глаз искрящиеся золотые письма стали тусклее Сатурнов свинца[113]. Теперь же ее глаза все реже сияли над страницами, которые я штудировал. Здоровье Лигейи пошатнулось. Безумный взор сиял слишком... слишком ярким

блеском, бледные пальцы приобрели могильную восковую прозрачность, а синие вены на широком челе порывисто вздымались и опадали, когда ее охватывало малейшее волнение. Я видел, что она умирает, и в душе я отчаянно боролся с грозным Азраилом[114]. Но борьба моей несчастной супруги, к моему изумлению, была еще более страстной, чем моя. Зная, какая мощная внутренняя сила заключена в ней, я был убежден, что ее смерть не будет ужасной... Но это было не так. Словами не передать, как отчаянно она сопротивлялась Тени. Я сам стонал от адской боли, наблюдая за этой жалкой битвой. Я мог бы попытаться утешить ее, я мог бы воззвать к разуму, но в ее безумном желании жить... — жить... — просто жить! — и утешения, и здравый смысл были совершенно нелепы. И все же лишь в последний миг, когда ее неукротимый дух уже корчился в последних судорожных конвульсиях, она утратила внешнюю безмятежность. Голос ее стал еще мягче... еще тише... Но я не желал постигать безумный смысл едва слышимых слов, слетавших с ее уст. Разум мой пошатнулся, когда я прислушивался, впав в оцепенение, к печальной мелодии похоронной, к предположениям и порывам, дотоле неведомым ни одному смертному.

В том, что она любила меня, я мог не сомневаться и, конечно, мог бы легко понять, что в сердце, таком, как у нее, любовь была далеко не обычным чувством. Однако близость смерти позволила мне осознать всю силу ее страсти. Долгими часами, удерживая мою руку, она изливала свою душу, открывала тайны сердца, более чем страстная преданность которого граничила с идолопоклонством. Чем заслужил я счастье услышать такие признания?.. Чем заслужил я проклятие потерять свою возлюбленную в тот самый час, когда она произносила их?.. Об этом я не хочу и не могу говорить. Скажу только, что в такой, более чем женской, преданности любимому, который, увы, не заслуживал и не стоил того, увидел я наконец причину ее страстного желания продлить жизнь, теперь столь стремительно вытекавшую из нее. Это безумное желание, эту испепеляющую жажду жизни... — только жизни — я не в силах описать, да и не существует слов, которые смогли бы передать их.

В ночь своей смерти, когда часы показывали двенадцать, она властным жестом призвала меня и приказала повторить стихотворение, сочиненное ею несколькими днями раньше. Я повиновался. Вот оно:

Смотри! огни во мраке блещут
(О, ночь последних лет!).
В театре ангелы трепещут,
Глядя из тьмы на свет,
Следя в слезах за пантомимой
Надежд и вечных бед.
Как стон, звучит оркестр незримый:
То — музыка планет.
Актеров сонм, — подобье бога, —
Бормочет, говорит,
Туда, сюда летит с тревогой, —
Мир кукольный, спешит.
Безликий некто правит ими,
Меняет сцены вид,
И с кондоровых крыл, незримый,
Проклятие струит.
Нелепый фарс! — но невозможно
Не помнить мимов тех,
Что гонятся за Тенью, с ложной
Надеждой на успех,
Что, обегая круг напрасный,
Идут назад, под смех!
В нем ужас царствует, в нем властны
Безумие и Грех.
Но что за образ, весь кровавый,
Меж мимами ползет?
За сцену тянутся суставы,
Он движется вперед,
Все дальше, — дальше, — пожирая
Играющих, и вот
Театр рыдает, созерцая
В крови ужасный рот.
Но гаснет, гаснет свет упорный!
Над трепетной толпой
Вниз занавес спадает черный,
Как буря роковой.
И ангелы, бледны и прямы,

Кричат, плащ скинув свой,
Что «Человек» — название драмы,
Что «Червь» — ее герой![115]

— О Боже! — пронзительно воскликнула Лигейя, вскакивая и судорожно поднимая широко расставленные руки, когда я дочитал до конца эти строки. — О Боже! Отец Небесный!.. Ужели не может быть иначе? Ужели победитель этот не может быть хоть раз побежден? Мы ли не часть Твоя? Кому, кому ведомы тайны воли и сила ея? Человек не предает ся до конца ангелам ниже самóй смерти, едино по немощи воли своя.

Потом, словно опустошенная страстным порывом, она уронила свои белые руки и покорно вернулась на смертный одр. И с последним вздохом с ее уст слетел тихий шепот. Наклонившись над ней, я снова разобрал заключительные слова отрывка из Гленвилла: «Человек не предает ся до конца ангелам ниже самóй смерти, едино по немощи воли своя».

Она умерла... И я, сраженный горем, уже не мог выносить одинокого существования в унылом, стареющем городе близ Рейна.

Тем, что мир зовет богатством, я обделен не был. Лигейя принесла мне еще больше, намного больше, чем обычно выпадает на долю смертных. И вот после нескольких месяцев утомительных и бесцельных странствий я купил и восстановил аббатство, название говорить не стану — в одном из самых пустынных уголков прекрасной Англии. Мрачное и угрюмое величие здания, почти первозданное запустение земель вокруг, множество скорбных и облагороженных временем воспоминаний вполне соответствовали чувству полного одиночества, которое привело меня в этот глухой и безлюдный район страны. Однако, если стены аббатства, покрытые гниlostной зеленью, почти не претерпели изменений, то внутри я с детским упрямством, а возможно, и в слабой надежде облегчить скорбь, обустроил все с более чем королевской роскошью. Еще ребенком я увлекся подобными причудами, и теперь они стали возвращаться ко мне, как если бы я от горя впал в детство. Увы, теперь я знаю, сколько зарождающегося сумасшествия может таиться в великолепных и фантастических портьерах, в мрачных египетских камнях, покрытых диковинной резьбой, в нагромождении карнизов и мебели, в безумных узорах ковров с золотыми кистями. Меня опутал своими сетями опиум, и я

стал его рабом. Мои труды и мои приказания исходили из моих болезненных снов. Но не стоит тратить время на описание этих бессмыслиц. Лучше я буду говорить об одной, ставшей мне ненавистной, комнате, в которую я в минуту помешательства привел от алтаря как супругу, как преемницу незабвенной Лигеи светлокудрую и голубоглазую леди Ровену Тревенион из Тремейна.

Нет ни одной мельчайшей подробности устройства этого брачного покоя, которая сейчас не стояла бы перед моими глазами. Где были души высокомерных родственников невесты, когда, движимые жаждой золота, они позволили деве, дочери столь любимой, перешагнуть порог комнаты, украшенной подобным образом? Я сказал, что запомнил до мелочей внешний вид стены (хотя, к сожалению, многое несравненно более важное я позабыл), но здесь, в этом причудливом помещении, не было никакого порядка, никакой системы, которая могла бы задержаться в памяти. Комната располагалась в высокой башне аббатства, выстроенного в виде замка, имела форму пятиугольника и была очень большой. Всю южную сторону пятиугольника занимало одностворчатое окно — огромного размера лист небьющегося венецианского стекла, подкрашенного свинцом так, что лучи солнца и луны, проходя сквозь него, придавали всему внутри призрачный блеск. Над верхней частью этого громадного окна выступала решетка, увитая лозой старого винограда, который взобрался на самый верх по массивным стенам башни. Тяжелый сводчатый потолок из мрачного дуба был весь покрыт тонким гротескным полуготическим-полудруидическим узором. Из самой середины этого темного свода, поддерживаемый одной золотой цепью с длинными звеньями, свисал огромный сарацинский светильник в форме кадила из того же металла, испещренный многочисленными отверстиями, которые складывались в узоры столь затейливые, что разноцветные языки горящего внутри пламени, будто живые огненные змеи, вырывались наружу и вились вокруг него в непрекращающемся танце.

Несколько оттоманок и восточные золотые канделябры были в беспорядке расставлены в разных местах, еще там стояло брачное ложе индийской работы, невысокое, с резными фигурами из цельного эбена, с пологом, напоминающим гробовой покров. В каждом углу находились прислоненные к стене гигантские черные гранитные

саркофаги из царских гробниц Луксора[116]. Их древние крышки украшали старинные рисунки. Однако самое фантастическое заключалось в драпировке комнаты. Высокие, огромные даже для такого размера комнаты стены сверху донизу были увешаны многочисленными тяжелыми гобеленами из того же материала, что и ковер на полу, что и покрывала на оттоманках и на эбеновом ложе, что и балдахин над ним, что и богатые спирали занавесей, частично оттенявших окно. Это была роскошнейшая золотая ткань. Всю ее покрывали беспорядочно разбросанные тканые арабески около фута в диаметре и черные как смоль. Однако узоры эти принимали облик арабесок, только если смотреть на них под определенным углом. Благодаря приему, используемому часто в наши дни, но на самом деле придуманному в глубокой древности, они могли менять вид. Входящему в комнату они представлялись безобразными фигурами, но при дальнейшем продвижении их облик начинал постепенно преобразоваться, и, шаг за шагом меняя свое положение, вошедший оказывался окруженным бесконечным хороводом призрачных фигур, порождений норманнских суеверий или ночных кошмаров монаха. Фантазмагорическое впечатление необычайно усиливалось искусственно созданным сильным непрерывным током воздуха за драпировкой, который оживлял фигуры, делая их еще более беспокойными и жуткими.

В таких залах — в таком брачном покое — проводил я с леди из Трмейна порочные часы первого месяца нашего брака... проводил их, почти не испытывая волнения. Супругу страшило мое неизменно дурное настроение, она сторонилась меня и не любила, и я не мог этого не замечать, но это скорее доставляло мне удовольствие. Я ненавидел ее и презирал с чувством скорее демоническим, нежели человеческим. Память уносила меня в прошлое (о, до чего горьким было мое сожаление!) к Лигейе, любимой, царственной, прекрасной, мертвой. Я упивался воспоминаниями о ее чистоте, о ее мудрости, о ее широкой возвышенной душе, о ее страстной, исступленной любви. Теперь сердце мое горело жарче, чем все огни, сжигавшие ее. В горячке опиумного забытья (я неизменно находился под наркотиком) я выкрикивал ее имя, в ночной тиши или днем среди узких горных долин, словно поддавшись безумному порыву, страсти,

всепоглощающему огню тоски по ушедшей, которые возвратили бы ее на землю.

С началом второго месяца супружества леди Ровену неожиданно сразила болезнь. Выздоровление было долгим. Жар, снедавший ее, лишил ее ночного покоя, и, пребывая в тревожном полусне, она говорила о звуках и движениях в башне, которые, как я решил, были порождением исключительно ее душевного расстройства или фантасмагорического влияния самой комнаты. Спустя какое-то время здоровье ее поправилось... наконец она выздоровела. Но прошло совсем немного времени — и второй, еще более жестокий удар приковал ее к постели, и от этого приступа она, еще слабая, так и не смогла до конца оправиться. Затем болезни Ровены стали все более серьезными и все чаще повторяющимися вопреки познаниям и стараниям ее врачей. С усилением хронической болезни, которая уже овладела ею настолько, что не осталось доступных человеку способов справиться с ней, я не мог не замечать, как усиливаются ее раздражительность, вызванная столь банальной причиной, как страх. Она снова заговорила (теперь еще чаще и настойчивее) о звуках... о едва слышных звуках и о необычных движениях среди складок драпировки, пугающих ее.

Однажды ночью, в конце сентября, она настойчивее, чем обычно, пыталась привлечь мое внимание к этому печальному предмету. Она только пробудилась от беспокойного сна, и я с чувством тревоги и смутного страха наблюдал за переменами, происходящими на ее изможденном лице. Я сидел на одной из индийских оттоманок рядом с ее ложем. Она приподнялась и горячо заговорила тихим взволнованным шепотом о звуках, которые услышала, но я не слышал их, о движениях, которые она увидела, но я не заметил. За гобеленами гулял беспокойный ветер, и я решил показать ей (в чем, признаюсь, сам не был полностью уверен), что почти неслышное дыхание и едва заметные колебания фигур на стенах были всего лишь следствием обычного движения ветра. Но мертвенная бледность ее лица показала мне, что попытки мои окажутся напрасными. Похоже, она вот-вот лишится чувств, а рядом никого не было. Я вспомнил, где находился графин с легким вином, которое прописали ей врачи, и быстро направился за ним в другой конец комнаты. Но, как только на меня упали лучи светильника, два удивительных обстоятельства привлекли

мое внимание. Я почувствовал, что какой-то осязаемый, хоть и невидимый объект беззвучно прошел мимо меня, и еще на золотом ковре в середине круга яркого света, отбрасываемого светильником, я увидел тень... легкую, неясную тень, наподобие ангельской... такую тень, должно быть, отбрасывает бесплотный дух. Но я был слишком возбужден непомерной дозой опиума и не придавал этому значения; Ровене тоже ничего не сказал. Найдя вино, я пошел обратно и, до краев наполнив кубок, поднес его к устам больной. Однако к тому времени она уже почти пришла в себя, взяла кубок в руки, а я, не отводя от нее взора, опустился на оттоманку рядом. Тогда-то я совершенно отчетливо услышал мягкие шаги по ковра рядом с ложем. А затем, в тот миг, когда Ровена подносила вино к губам, я увидел (или мне это пригрезилось?), как в бокал, словно из ниоткуда, как будто бы в воздухе находился некий незримый источник, упали три-четыре большие искрящиеся рубиновые капли. Я это заметил, а Ровена — нет. Без колебаний она выпила вино, я же не стал говорить ей о том, что скорее всего было лишь порождением живого воображения, болезненно разгоряченного страхами больной, опиумом и поздним часом.

Однако я не могу вычеркнуть из сознания тот факт, что после тех рубиновых капель здоровье моей супруги стало стремительно ухудшаться, и уже на третью ночь слуги леди Ровены готовили ее к кончине. На четвертую ночь я сидел один рядом с ее завернутым в саван телом в том самом фантастическом покое, в который она вступила моей супругой. Дикие видения, порождения опиума, витали передо мной призрачными тенями. Тревожным взором смотрел я на саркофаги в углах комнаты, всматривался в изменчивые фигуры на драпировке и на танец разноцветных языков пламени в лампе у себя над головой. Потом, когда я стал вспоминать обстоятельства той ночи, взгляд мой пал на место под светильником, где я видел неясные следы тени. Однако ее там уже не было, и, спокойно вздохнув, я устремил взор на бледную и застывшую фигуру на смертном ложе. И тут тысячи воспоминаний о Лигейе обрушились на меня... на сердце, точно бушующий потоп, снова нахлынула вся та неизмеримая скорбь, с которой смотрел я на нее, убранную так же. Ночь шла, а я, все еще преисполненный горьких мыслей о той единственной, истинно любимой, продолжал взирать на тело Ровены.

В полночь, может быть, раньше или позже, ибо я не обращал внимания на время, меня из задумчивости неожиданно вывел всхлип, негромкий и приглушенный, но совершенно явственный. Мне показалось, что донесся он с эбенового ложа... со смертного одра. Скованный суеверным страхом, я прислушался... Но звук не повторился. Я напряг зрение, пытаюсь увидеть какое-нибудь движение трупа... Но он оставался неподвижен. И все же я не мог ошибиться. Каким бы тихим ни был этот звук, я его услышал, и моя душа пробудилась. Я упорно продолжал всматриваться в мертвое тело и вслушиваться в тишину. Немало прошло минут, прежде чем хоть что-то смогло пролить свет на эту тайну. Мало-помалу стало заметно, что очень легкий, едва различимый оттенок цвета проступил на щеках и тонких впалых жилках на веках. Застыв на месте от невероятного ужаса, я почувствовал, что сердце у меня остановилось, а члены мои отказываются мне повиноваться. И все же чувство долга взяло верх и вернуло мне самообладание. Я уже не сомневался, что мы поспешили с приготовлениями... что Ровена еще жива! Нужно было срочно что-то предпринять, но башня находилась далеко от той части аббатства, где жили слуги, и меня никто бы не услышал. У меня не было способа призвать их на помощь, не покидая надолго комнаты, а на это я не мог решиться. Поэтому я сам стал изо всех сил пытаться вернуть в тело дух, витавший поблизости. Но вскоре стало ясно, что она снова впала в прежнее состояние. Щеки и веки стали белее мрамора, губы вдвойне усохли и туго сжались в жуткой смертельной гримасе. Поверхность тела стала омерзительно липкой и холодной, мгновенно наступило обычное окоченение. Содрогаясь, я опустился на ложе, с которого был так стремительно поднят, и снова вернулся к страстным мыслям о Лигейе.

Так минул час, когда я (возможно ли это?) снова услышал тихий звук со стороны смертного одра. В бесконечном страхе я прислушался. Звук повторился — то был вздох. Бросившись к трупу, я узрел — совершенно ясно, — что губы его слегка затрепетали. Прошла минута, и они разомкнулись, обнажив яркую полосу жемчужных зубов. Удивление теперь боролось во мне с сильнейшим страхом, который до этого поглотил меня полностью. Я почувствовал, что в глазах у меня темнеет, разум начинает покидать меня, и лишь неимоверным усилием воли я заставил себя приняться за дело, которого требовало чувство

долга. На сей раз слегка порозовели лоб, щеки и шея, ощутимое тепло разлилось по всему телу, даже почувствовалось слабое биение сердца. Ровена жила, и я с удвоенным усердием принялся бороться за ее жизнь. Я растирал и увлажнял ее виски и руки, делал все, что подсказывали опыт и немалая начитанность в медицине. Все попусту. Вдруг с лица ее сошла краска, биение сердца прекратилось, губы снова мертвенно искривились, и через миг все тело похолодело как лед, сделалось серовато-синим, совершенно окоченело, сморщилось и приобрело отвратительные особенности трупа, пролежавшего в могиле много дней.

И снова я стал грезить о Лигейе... И снова (как странно, что я дрожу, когда пишу об этом!) до моего слуха донесся тихий всхлип с эбенового ложа. Но к чему мне описывать все подробности невыразимых кошмаров той ночи? К чему тратить время на пересказ того, как раз за разом, почти до самого рассвета, повторялась эта отвратительная драма оживания... как с каждым новым возвратом признаков жизни смерть все сильнее и увереннее вступала в свои права... как каждая агония напоминала борьбу с невидимым врагом... и как за каждой схваткой происходила неподвластная моему разумению перемена внешнего облика трупа? Лучше я перейду к концу.

Большая часть кошмарной ночи осталась позади, когда мертвая снова зашевелилась — теперь еще заметнее, чем до сих пор, хотя и восставала из разложения куда более страшного, нежели раньше. Я уже давно перестал бороться и неподвижно сидел на оттоманке — беспомощная жертва круговерти неистовых чувств, среди которых благоговейный трепет был, пожалуй, наименее жутким, наименее поглощающим. Труп, я повторяю, пошевелился, и на этот раз заметнее прежнего. Жизненные краски непривычно скоро появились на лице, члены утратили окоченение, и если бы веки не были сомкнуты, а погребальные одежды и покровы не придавали телу могильный вид, я бы мог решить, что Ровена и в самом деле окончательно сбросила с себя узы смерти. Но, если даже тогда эта мысль еще казалась невозможной, я уже не мог более в том сомневаться, когда, не раскрывая глаз, неверной походкой, едва переставляя ноги, словно во сне, то, что было уготовано для могилы, поднявшись с ложа, вышло на середину комнаты.

Я не дрожал... я не шевелился, ибо множество непередаваемых словами мыслей, связанных с выражением лица, осанкой и поведением фигуры, заполонило мой разум, парализовало меня... обратило в камень. Я не шевелился... но, не в силах оторвать взгляда, смотрел на видение. В мыслях моих царил полный хаос, кошмарный ад. Ужели со смертного одра действительно восстала Ровена? Ровена ли это... светлокудрая голубоглазая леди Ровена Тревенион из Тремейна? Что, что может заставить меня усомниться в этом? Тугая повязка стягивала ее уста... Но не эти ли уста источали живое дыхание леди из Тремейна? А щеки — розы на них цвели так же ярко, как в юности — да, это в самом деле чистые щеки живой леди Ровены. А подбородок с той же ямочкой, такой же, как и во времена ее здоровья, неужели это не ее подбородок?.. Но что это? Могла ли она за время болезни стать выше? Что за неизъяснимое безумие внушило мне подобную мысль? Один шаг... и вот я уже у ее стоп! Почувствовав мое прикосновение, она отпрянула, стянула с головы распустившиеся белые погребальные покровы, и из-под них в зыбкий воздух комнаты хлынули пышные волны длинных и буйных локонов... И были они чернее воронова крыла! А потом глаза фигуры, стоящей предо мною, медленно раскрылись.

— Ужели? — вскричал я. — Ужели я ошибаюсь? Но нет! Ведь это, это огромные черные беспокойные глаза... той, что я потерял... моей любимой... госпожи... ГОСПОЖИ ЛИГЕЙИ.

Письма с борта воздушного корабля «Жаворонок»

1 апреля 2848 г. [117]

Теперь, мой дорогой друг, в наказание за ваши грехи посылаю вам длинное и многословное письмо. Говорю прямо — этим письмом я намерена наказать вас за все ваши дерзости, поэтому постараюсь сделать его донельзя скучным, болтливым, непоследовательным и бестолковым. Тем более что сейчас я нахожусь в заточении на довольно грязном воздушном корабле в компании двух сотен пассажиров, которые отправляются в увеселительную поездку — удивительное представление имеют некоторые люди об увеселениях! — и не смогу ступить на твердую землю раньше, чем через месяц. Поговорить здесь решительно не с кем. Делать совершенно нечего. А когда нечего делать, садишься писать письма друзьям. Теперь вы

понимаете, почему я пишу вам это письмо? Главные причины — моя скука и ваши прежние грехи.

Наденьте же очки и приготовьтесь скучать. Я намерена писать вам ежедневно в течение всего этого невыносимого путешествия.

Ах, неужели человеческий разум не изобретет ничего лучшего? Неужели мы вовеки веков обречены терпеть неудобства этих воздушных кораблей? Неужели никогда не появится более быстрое и удобное средство передвижения? Ведь это путешествие черепаashьим шагом — сушая пытка. Могу поклясться: со времени нашего отлета мы ни разу не летели со скоростью больше сотни миль в час! Даже некоторые птицы опережают нас, и я ничуть не преувеличиваю. Я знаю, что движение корабля кажется нам медленнее, чем на самом деле, и происходит это оттого, что у нас нет никаких ориентиров, по которым мы могли бы определить нашу скорость; кроме того, мы летим по ветру.

Конечно, встречаясь с другими кораблями, мы получаем такую возможность, и тогда, надо признаться, кажется, что дело еще не так плохо. Несмотря на то что я давно привыкла к такого рода поездкам, я все же ощущаю легкое головокружение каждый раз, когда рядом или над нашими головами проносится встречный воздушный корабль. Он представляется мне огромной хищной птицей, готовой ринуться на нас и унести в своих когтях. Сегодня один из них пролетал над нами на рассвете так близко, что его причальный канат задел сетку нашей кают-компаний, и все мы основательно перепугались. А наш капитан заметил, что, будь наш корабль построен из непрочного «шелка», пропитанного лаком, из которого строили аэростаты не то пятьсот, не то тысячу лет назад, дело непременно закончилось бы катастрофой. Этот самый «шелк», растолковал мне капитан, изготавливали из внутренностей каких-то земляных червей. Перед этим их долго откармливали шелковицей — плодами, похожими на арбуз, а откормив, перемалывали на специальной мельнице. Получавшаяся таким образом масса называлась «папирус», и ее подвергали целому ряду обработок, пока она, наконец, не превращалась в «шелк». Как ни странно, но когда-то он высоко ценился как материал для дамских нарядов, а не только для оболочек воздушных шаров. Впоследствии был найден гораздо лучший материал — пух, окружающий семенные коробочки растения, которое ботаники называют эвфорбией, а в то

время оно звалось молочаем. Ткань из него из-за особой прочности получила название «букингем». Ее обычно пропитывали раствором каучуковой смолы — веществом, как считается, похожим на широко используемую в наши дни резину. Этот раствор иногда называли индийской резиной, или гуммиластиком; его, говорят, добывали из какого-то вида грибов. И попрошу вас больше никогда не говорить мне, что в душе я не археолог!

Кстати, о причальных канатах. Один из наших собственных канатов, кажется, только что столкнул пассажира с одной из небольших и битком набитых электрических лодок, шныряющих по океану под нами. Следовало бы запретить таким крохотным суденышкам брать на борт больше определенного числа пассажиров. Этого человека, конечно, не стали поднимать обратно на борт, и он вскоре исчез из виду вместе со своим спасательным снаряжением.

Я рада, друг мой, что мы живем в столь просвещенный век — век, когда даже речи быть не может о существовании такой нелепицы, как отдельная личность. Ныне единое человечество само заботится о широких народных массах. Кстати, о человечестве! Известно ли вам, что наш бессмертный Уггинс далеко не так оригинален в своих взглядах на общественные отношения, как склонны думать его современники? Пандит уверяет меня, что подобные взгляды высказывались около тысячи лет назад одним философом по имени Фурье, который вел розничную торговлю кошачьими шкурами и прочими меховыми изделиями[118]. Ничего удивительного, ведь одни и те же взгляды, мнения и теории не раз и не два, а снова и снова возникают у человечества, в особенности цивилизованного!

2 апреля

Я разговаривала сегодня с капитаном электрического катера, обслуживающего среднюю секцию плавучих телеграфных кабелей. Я с удивлением узнала, что когда такой телеграф был впервые испытан неким Хорзе[119], считалось совершенно невозможным проложить кабели по морю; а ныне мы даже не в состоянии понять, в чем заключалась трудность! Вот как все меняется на свете. Мы задали капитану несколько вопросов, и он сообщил нам некоторые любопытные новости. Оказывается, в Африке свирепствует жестокая междоусобная война, а Юропу и Этайр опустошает какая-то новая

эпидемия. Удивительное дело: в эпоху, не озаренную светом истинной мудрости, мир обычно считал вóйны и эпидемии истинными бедствиями. Известно ли вам, что в древних храмах даже молились о том, чтобы эти кары не обрушивались на человечество? Поистине трудно понять, чем при этом руководствовались наши предки. Неужели они были так глупы, что не понимали, до какой степени выгодно для общества уничтожение миллионов отдельных особей?

3 апреля

Удивительно интересно забраться по веревочной лестнице на самый верх сетки воздушного корабля и окинуть взглядом окружающий мир. Из кают-компания и с палубы рассмотреть можно лишь немного. Но сидя здесь, где я пишу сейчас эти строки, на устланной роскошными атласными подушками и коврами верхней площадке, можно видеть все, что происходит вверху, внизу и по сторонам. Как раз сейчас на горизонте показалась целая армада кораблей, представляющая собой очень живописное зрелище. Я слышала, будто уже самые первые воздухоплаватели предполагали, что существует возможность перемещаться по воздуху в любых направлениях — надо только подняться или опуститься до такой высоты, где проходит воздушное течение благоприятного направления. Но современники почти не обратили на это внимания, поскольку их ученые мужи считали такой полет вещью категорически невозможной. Правда, странно, что такая очевидная вещь когда-то казалась неосуществимой?

Впрочем, во все времена наука сталкивалась с самыми серьезными препятствиями со стороны так называемых людей науки. Наши ученые далеко не так ограничены, как их предшественники... О, по этому поводу я расскажу вам весьма забавную историю! Знаете ли вы, что прошло не более тысячи лет с тех пор, как метафизики решили избавить человечество от странного заблуждения, что для постижения истины существуют только два пути? Можете вы в это поверить? Очень давно, во времена, покрытые мраком, жил турецкий — а может быть, индийский, я не вполне уверена, — философ по имени Ариес Тоттль[120]. Этот господин выдумал (или, по крайней мере, пропагандировал) метод исследования, называвшийся дедуктивным, или априорным. Он исходил из так называемых «аксиом очевидной

истины», из которых «логически» выводил следствия. Его величайшими учениками были некий Невклид[121] и некий Кантор. Этот самый Ариес Тоттль считался авторитетом до появления некоего Гоггля[122], который проповедовал совершенно иной метод, называвшийся индуктивным. Его система основывалась на ощущениях. Он шел к истине, наблюдая, анализируя, классифицируя факты — *instantiae naturae*[123], как их высокопарно называли тогда, — и постепенно переходя к общим законам. И так велико было восхищение этим последним методом, что при его появлении Ариес Тоттль совершенно потерял значение; однако со временем он снова обрел почву под ногами и разделил власть в царстве истины со своим более современным соперником.

Уверяю вас, друг мой, что я излагаю все это, основываясь на самых надежных источниках, и вы легко можете представить, насколько подобные нелепые представления должны были тормозить развитие всякого истинного познания, которое на самом деле движется вперед почти исключительно интуитивно, скачками. По прежним взглядам, любое исследование должно было двигаться чуть ли не ползком, и в продолжение целых столетий влияние Гоггля было так велико, что всякой свободной мысли (в подлинном значении этого слова) был положен предел. Никто не осмеливался высказывать истин, обретением которых он был бы обязан только собственному духу, даже в тех случаях, когда истина была очевидной. Тупоголовые ученые мужи того времени смотрели только на метод, с помощью которого она была добыта. Они не желали взглянуть на цель. «Покажите нам средство, — заявляли они, — прежде всего, средство!» И если выяснялось, что средство не подходит ни под категории Ариеса, ни под категории Гоггля, тогда ученые вставали на дыбы, а «теоретика» объявляли самоуверенным глупцом и не обращали больше внимания ни на него самого, ни на его истину.

Однако нельзя сказать, чтобы эта примитивная система способствовала открытию большого числа истин. Подавление воображения оказалось злом, которое не могла обезвредить никакая, даже возведенная в квадрат, точность. Ошибка всех этих гурманцев, французов, инглиджей и аммерикцев (последние, кстати, считаются нашими прямыми предками) была точно такой же, какую совершает человек, вообразивший, что чем ближе поднести к глазам предмет, тем лучше его можно будет рассмотреть. Эти народы буквально тонули в деталях и подробностях. Применяя гогглевский метод, они добывали «факты», которые далеко не всегда были таковыми, поскольку «фактами» их делала предвзятая мысль, что они должны быть ими, раз кажутся «фактами». При применении же метода Ариеса (чье имя, сказали мне, можно перевести как «Баран» или «Овен») их путь был не прямее закрученного бараньего рога, потому что у них не существовало ни одной аксиомы, которая была бы в действительности аксиомой, и лишь крайняя слепота мешала им заметить это, ведь даже в те времена многие прежние аксиомы уже отвергались. В их числе были «ex nihilo nihil fit»[124]; «тело не может действовать там, где его нет»; «антиподы не существуют»; «тьма не может рождаться от света». Все эти и множество других положений, прежде считавшихся непреложными, были признаны уже в то время, о котором я говорю, не выдерживающими критики. До чего же нелепа была упорная вера этих людей в аксиомы как в непоколебимые основы истины. Ведь даже словами самых глубоких умов того времени легко доказать безосновательность и призрачность их пресловутых аксиом! Кто там у них считался сильнейшим из мыслителей?.. Пойду спрошу у Пандита и вернусь...

Ага, нашла! Вот книга, написанная около тысячи лет назад и недавно переведенная с инглиджского языка, замечу, кстати, послужившего основанием аммерикского. Пандит говорит, что это определенно лучшее сочинение по логике. Автор — Мимлер, или Милль, пользовался громкой известностью в свое время. Заглянем же в его трактат.

Вот! «Представимость или непредставимость, — говорит этот Милль, и в этом он прав, — ни в коем случае не может считаться критерием объективной истины».

Кому из наших здравомыслящих современников могло бы прийти в голову оспаривать эту банальность? Единственное, что удивляет, — как мог господин Милль тратить время на доказательство вещей, столь очевидных самих по себе?

Отлично. Перевернем страницу. Что мы видим? «Из двух противоречий оба не могут быть истиной, то есть не могут существовать в действительности одновременно». Этим Милль хочет сказать, что дерево, например, должно быть либо деревом, либо не деревом, так как одновременно оно никак не может быть и деревом, и не деревом. Хорошо, но следует спросить: «Почему?» Милль по этому поводу говорит только одно и на этом останавливается: «Потому что невозможно представить, чтобы два взаимоисключающих положения оба были истинными». Но это вовсе не ответ! Разве он сам только что не заявлял с важностью: «Представимость или непредставимость ни в коем случае не может считаться критерием объективной истины».

Но не столько логика этих древних возмущает меня — по их собственному признанию, она совершенно беспочвенна, несостоятельна и фантастична. Гораздо хуже их высокомерное и тупое отрицание любых других путей к истине, всех других средств ее достижения, кроме двух хорошо известных тропинок — той, по которой приходится пробираться ползком, и той, по которой на каждом шагу приходится карабкаться. И вот таким образом они предлагают двигаться душе, наделенной стремлением свободно парить!

Как вы думаете, дорогой друг, разве не зашли бы эти дряхлые догматики в тупик, если бы им довелось определять, каким из двух путей была добыта самая важная и возвышенная из всех познанных ими истин? Я говорю о законе всемирного тяготения. Ньютон, как известно, обязан им Кеплеру. Кеплер же утверждал, что все три его великих закона были интуитивно угаданы. Именно эти три закона привели великого инглиджского математика к тем положениям, на которые опираются все физические принципы и за которыми мы вступаем уже в царство метафизики. Кеплер угадывал — то есть чувствовал и воображал. Он был в первую очередь теоретиком. Слово это, ныне столь почтенное, в те времена считалось чуть ли не презрительным эпитетом. Представляю, как растерялись бы эти старые кроты, если бы им пришлось объяснять, каким из двух их «путей»

Шампольон[125] привел человечество к познанию тех истин, которые открылись благодаря расшифрованным им египетским иероглифам?

Еще несколько слов, и я перестану надоедать вам. Не кажется ли странным, что, вечно разглагольствуя о путях к истине, эти убогие консерваторы проходили мимо того, что мы теперь считаем столбовой дорогой — мимо пути всеобщей связности? Не кажется ли странным, что они, созерцая творение Божье, не сделали главного вывода — что совершенная связность и должна быть абсолютной истиной? Как ясно и просто стало все с тех пор, как было провозглашено это положение! Исследование было отнято у кротов, роющих под землей, и стало достоянием истинных мыслителей, людей, одаренных пылким воображением. Именно они создают теории! Но вообразите взрыв хохота, которым эти слова были бы встречены нашими пращурами, если бы они могли заглянуть на эту страницу! Повторяю: эти люди создают теории, а затем эти теории исправляются, сокращаются, систематизируются, мало-помалу очищаются от всего бессвязного и ложного, пока, наконец, совершенная связность, признаваемая даже самыми темными умами, не превратит их в абсолютную и бесспорную истину.

4 апреля

Новый газ творит сущие чудеса. Как безопасны, покойны и легко управляемы современные воздушные корабли! Вот один, поистине исполинских размеров, приближается к нам со скоростью, по крайней мере, полутора ста миль в час. На нем масса народа — вероятно, человек триста или четыреста. И все-таки какие-нибудь сто или даже двести миль в час — не самый быстрый способ передвижения. Помните, как мчался наш поезд во время путешествия через Канадский материк? Целых триста миль в час! Вот это езда! И при этом никаких других занятий, кроме роскошной еды, напитков, флирта и танцев... А какое странное ощущение мы испытывали, когда случайно за окном на полном ходу проносились какие-то детали пейзажа, сливавшиеся в одну сплошную мельтешащую массу! Что касается меня, то этим экспрессам я предпочитаю путешествие обычным поездом, делающим сто миль в час. Там разрешают открывать окна, и можно даже составить представление о местности или стране, по которой едешь.

Пандит говорит, что маршрут Трансканадийской железной дороги был более или менее проложен лет девятьсот тому назад! Он даже утверждает, что и теперь можно обнаружить следы путей, относящихся к той эпохе. Колея, по-видимому, была в те времена двойной, тогда как наши дороги имеют двенадцать путей и требуется прокладка еще трех-четырех новых. Старинные рельсы были очень тонкими, а ширина путей так мала, что, с нашей точки зрения, езда по ним была невероятно опасной. Даже теперешняя ширина между рельсами — пятьдесят футов — считается не вполне достаточной. Я не сомневаюсь, что этот путь действительно существовал уже тогда — ведь еще семьсот лет назад Северный и Южный Канадийские материки составляли одно целое, и их обитателям была необходима железная дорога через весь континент.

5 апреля

Просто не знаю, куда деваться от скуки. Пандит — единственный человек на нашем корабле, с которым можно поговорить, а он, бедняга, ни о чем не может беседовать, кроме древностей. Сегодня он весь день пытался убедить меня, что аммирикцы управляли сами собой. Неслыханная нелепость! Якобы они жили в так называемой «конфедерации», где каждый человек был сам по себе, словно те собаки из прерий, про которых сложена басня. По его словам, наши предки руководствовались самым странным утверждением, какое только можно себе представить. Вот как оно звучит: «Все люди рождаются свободными и равными». И это притом, что неравенство накладывает свой отпечаток на все явления, все области духовной и физической жизни! Каждый человек «имел право голоса», как они тогда выражались, то есть мог вмешиваться в общественные дела. Пока наконец не выяснилось, что общее дело — по сути, ничье и что «республика» (так называлось это несуразное государственное устройство), в сущности, никем не управляется, а правительство — миф. Однако самодовольство философов, создавших эту самую «республику», быстро пошло на убыль, когда стало очевидным, что «всеобщее голосование» открывает простор для всевозможных подтасовок и мошеннических проделок, с помощью которых можно собрать необходимое число голосов. Причем невозможно ни предупредить, ни наказать подобный образ действий со стороны

партии, настолько недобросовестной, чтобы прибегать к обману и ложным обещаниям. Очевидны и последствия — преобладание мошенников во власти, следовательно, любое республиканское правительство могло быть только мошенническим.

Но пока философы, пристыженные своей недалечностью, не позволившей им предвидеть неминуемое зло, занимались изобретением новых теорий, всему положил конец некий господин по имени Чернь. Он все захватил в свои руки и создал такой деспотизм, по сравнению с которым деспотизм древних правителей мог показаться легким и приятным. Этот самый Чернь (кстати сказать, иностранец) был, говорят, гнуснейшим из людей, когда-либо топтавших землю. Он был гигантского роста, дерзкий, хищный, нечистоплотный, в нем соединялись желчь быка с сердцем гиены и мозгами павлина. В конечном итоге он нашел свой конец от истощения из-за злоупотребления собственной энергией. Однако и от его деспотического господства была некоторая польза, как вообще бывает польза от всего, даже от худшего зла. Он преподавал человечеству урок, который не скоро забылся: не следует идти против естественного порядка вещей. Что касается республики, то ее нельзя уподобить ни одному из порядков, существующих на земле, разве только порядку у прерийных собак, что, кажется, может служить доказательством пригодности демократического строя лишь для собак.

6 апреля

Прошлой ночью любовалась Вегой. Под углом в полградуса она видна в подзорную трубу нашего капитана как диск, отдаленно похожий на Солнце в туманный день. Вега, она же α Лиры, гораздо больше нашего Солнца, но очень похожа на него наличием пятен, атмосферы и многими другими особенностями. Лишь в последние два столетия, говорит Пандит, астрономы стали догадываться о странной связи, существующей между обоими этими мирами. Предполагалось, что видимое движение обоих планетных систем совершается по орбите вокруг некоего огромного светила. Утверждали также, что все миры Млечного Пути обращаются вокруг этого светила или вокруг центра тяготения, общего для всех его звезд и находящегося где-то вблизи Альционы в созвездии Плеяд, причем для нашей Солнечной системы период обращения составляет 117 миллионов лет!

Нам, с нашими совершенными телескопами и другими астрономическими приборами, конечно, трудно понять, как возникали подобные представления. Первым, кто выдвинул эту дикую гипотезу, был некто Медлер. Поводом для ее возникновения была простая аналогия. Действительно, можно предположить существование одного сверхбольшого тела в Млечном Пути, в этом Медлер прав. Но это сверхбольшое тело должно превосходить по массе все остальные вместе взятые. Естественно, возникает вопрос: «Почему мы его не видим, это чудовищное центральное солнце?»

Астроном мог бы предположить, что тело это — не светящееся собственным светом. Но и тут аналогия хромает. Почему же тогда его не делает видимым отраженный свет бесчисленных солнц, сияющих вокруг? В конце концов автор гипотезы заявляет просто о том, что существует общий центр тяготения для всех известных миров. И опять же аналогия бессильна. Наша Солнечная система действительно вращается вокруг одного центра тяготения, но это происходит в связи с существованием гигантского материального объекта — Солнца, масса которого уравнивает всю остальную систему.

Далее. С точки зрения математики, окружность — замкнутая кривая, состоящая из бесконечного множества отрезков прямой. Если же эта окружность имеет почти бесконечный радиус, то и движение по ней практически не отличается от движения по прямой. Допустим, что наша система вместе со всеми остальными обращается вокруг одной центральной точки, пусть самое могущественное человеческое воображение попытается представить себе такую невообразимую орбиту. Как же обнаружить, что движение нашей системы хоть бы ненамного, пусть даже за миллион лет, отклоняется от прямой? Нелепость! А ведь астрономы прошлого воображали, будто им в самом деле удалось заметить такое отклонение, хотя вся история астрономических наблюдений насчитывает не больше двух-трех тысячелетий!

Иными словами, удивительно, почему все эти соображения не натолкнули ученых мужей сразу на мысль о том, что и Солнце, и Вега в действительности вращаются вокруг общего центра тяготения.

7 апреля

Ночью мы продолжали свои астрономические забавы. Любовались пятью спутниками Нептуна и с большим интересом наблюдали за сборкой карниза нового храма Дафны на Луне. Странно, что такие крохотные существа, как лунные обитатели, совершенно не похожие на людей, многократно превосходят нас в технической изобретательности. Трудно поверить, что те огромные массы, с которыми лунный народец так ловко управляется, вовсе не так тяжелы, как это кажется на первый взгляд.

8 апреля

Пандит торжествует. Сегодня мы встретили воздушный корабль из Канады, который сбросил на нашу палубу свежие номера газет с опубликованными в них любопытными сообщениями о канадийских или, скорее, аммириксских древностях. Вы, вероятно, знаете о подготовительных работах для строительства нового фонтана в Парадизе, главном увеселительном саду императора. С незапамятных времен Парадиз[126] был островом, то есть его западную границу образовывала река, а восточную — морской пролив, или рукав. Этот рукав в некоторых местах достигает ширины в одну милю, а длина острова составляет девять миль. Вся его территория, как уверяет Пандит, восемьсот лет тому назад была тесно застроена домами, которые имели до двадцати и более этажей, так как земля, по совершенно непонятной причине, в этой местности стоила страшно дорого.

Однако катастрофическое землетрясение 2050 года разрушило и засыпало весь город до такой степени, что самые неугомонные археологи до сих пор не могут докопаться до артефактов в виде монет, медалей, документов или настенных надписей, которые помогли бы составить хоть приблизительное представление о нравах, внешнем облике и обычаях его коренных обитателей. Нам известно только, что они принадлежали к племени никербокеров[127] — дикарей, первоначально населявших эту страну. Однако они вовсе не были дикарями в полном смысле слова; напротив, им были известны многие искусства и даже науки. Говорят, они отличались живым умом, но были одержимы манией возведения зданий, которые в древней Аммирихии назывались «церквями» — что-то вроде пагод, где совершались служения двум идолам — Богатству и Моде. В итоге

девять десятых острова оказались покрыты этими самыми «церквями». Говорят, что женщины никербокеров отличались чрезмерным развитием той части тела, что находится ниже спины[128]. И это безобразие — удивительное дело — считалось красотой. Сохранилось несколько изображений таких женщин — они имеют очень странный вид: нечто среднее между индюшкой и дромадером.

Эти немногие сведения — почти все, что дошло до нас о жизни и свершениях древних никербокеров. Но в недавнее время, работая в императорском саду, занимающем ныне, как вам известно, весь остров, землекопы наткнулись на кубическую гранитную глыбу весом в несколько сот фунтов. Она превосходно сохранилась и, по-видимому, не пострадала при землетрясении. На одной из сторон глыбы обнаружилась мраморная плита — только вообразите! — с надписью, которая легко читается, если вы знакомы с древним алфавитом. Пандит просто в экстазе. Когда плиту сняли, под ней обнаружилось углубление, в котором находился свинцовый ящичек с различными монетами, длинным списком имен, несколькими документами и другими предметами, от которых все археологи просто обезумели. Несомненно, все это аммириксские древности, принадлежавшие племени никербокеров. Газеты, сброшенные нам встречным судном, полны снимков этих монет и документов. Приведу здесь надпись на мраморной плите:

Этот краеугольный камень монумента
ДЖОРДЖУ ВАШИНГТОНУ,
установлен с подобающими церемониями
19 октября 1847 года,
в годовщину сдачи в плен
лорда Корнуолла
генералу Вашингтону в Йорктауне в
году от Рождества Христова 1781-м.
Иждивением общества памяти Джорджа Вашингтона
в городе Нью-Йорке.

Это построчный перевод, выполненный самим Пандитом, так что ошибки тут быть не может.

Таким образом, из немногих сохранившихся слов мы можем почерпнуть массу любопытнейших сведений. Прежде всего,

установлен тот факт, что уже тысячу лет назад настоящие памятники вышли из употребления. Подобно нам, люди стали довольствоваться одним только выражением намерения когда-нибудь в будущем воздвигнуть памятник, и лишь краеугольный камень служил символом этого прекраснодушного намерения. Из этой удивительной надписи мы также узнаем, кто, когда и каким образом сдался. Случилось это в Йорктауне, где бы это место ни находилось. Но кто сдался? Некий генерал Корнуолл. Но почему так памятна дикарям эта сдача в плен? Тут не следует забывать, что никербокеры, без сомнения, были людоедами, и, следовательно, пленный генерал предназначался на колбасы. И произошло это благодаря заботам общества памяти Джорджа Вашингтона — некоего благотворительного учреждения, ведавшего закладкой краеугольных камней и не только...

Ах, боже мой! Что происходит?.. Ну вот, теперь понятно — оболочка нашего судна лопнула, и сейчас мы все рухнем в море. Но все же у меня остается время прибавить, что, судя по снимкам в газетах, в те времена у аммирикцев было еще два великих человека: некто Джон, кузнец, и портной по имени Захария...

Прощайте! Дойдет это письмо или нет — не важно, потому что я писала больше для собственного развлечения. И все же я запечатаваю эту рукопись в бутылку и бросаю ее в море с борта терпящего бедствие воздушного корабля «Жаворонок».

Навеки ваша, Пандита.

Заживо погребенные

Есть темы, полные жгучего интереса, но слишком чудовищные, чтобы быть воплощенными в литературном произведении. Писателю следует избегать их, если он не хочет вызвать отвращение или оскорбить читателя. Касаться их следует лишь в тех случаях, когда это делается ради суровой истины. С дрожью «сладостной боли» мы читаем о зимнем переходе армии Наполеона через Березину, о лиссабонском землетрясении, о лондонской чуме, о кровавой Варфоломеевской ночи, о гибели ста двадцати трех пленных англичан в «Калькуттской черной яме»[129]. Но в этих рассказах нас волнует факт, быль, история. Будь это выдумка, они внушали бы только отвращение.

Я перечислил лишь немногие из самых известных, самых трагических катастроф, вошедших в летописи человечества, но во всех этих случаях масштабы бедствия усиливаются его особо мрачным характером, что производит исключительно сильное впечатление на наше воображение. Вряд ли следует напоминать читателю, что в длинном и зловещем списке человеческих бедствий найдутся отдельные случаи, полные несравненно более жестоких страданий, чем эти катастрофы. Подлинное отчаяние и высшая скорбь постигают именно отдельного человека, они не распространяются на многих. И слава милосердному Богу, что эти нечеловеческие муки выпадают на долю единиц, а не тысяч и тысяч несчастных.

Быть погребенным заживо — несомненно, одна из ужаснейших пыток, когда-либо выпадавших на долю смертного. Ни один разумный человек не станет отрицать, что это случается, и случается часто. Границы, отделяющие жизнь от смерти, смутны и неопределенны. Кто уверенно скажет, где кончается одна и начинается другая? Мы знаем, что при некоторых болезненных состояниях совершенно прекращаются все внешние жизненные функции, хотя на самом деле это прекращение — лишь временная приостановка, недолгая пауза в работе сложнейшего и во многом непонятного механизма человеческого тела. Проходит известный срок, и какой-то таинственный сигнал снова пускает в ход волшебные рычаги и магические колеса. Серебряная нить жизни не порвана, золотой кубок бытия не разбит окончательно. Но где же пребывала душа на протяжении всего этого времени?

Априори мы знаем, что одни и те же причины ведут к одинаковым следствиям, значит, временное прекращение жизненных функций должно в отдельных случаях приводить к погребению заживо. Но, независимо от этих отвлеченных соображений, прямые свидетельства медиков да и обычный опыт показывают, что такие погребения случались сравнительно часто. Я мог бы при необходимости привести десятки вполне достоверных примеров. Одно весьма примечательное событие такого рода, обстоятельства которого, возможно, еще свежи в памяти некоторых моих читателей, случилось не так давно в Балтиморе и произвело сильное и угнетающее впечатление на широкую публику. Жена одного из самых уважаемых горожан — известного адвоката и члена Конгресса — внезапно заболела какой-то

странной болезнью, поставившей в тупик ее врачей. После продолжительных и тяжких страданий она умерла или была признана умершей. Никому в голову не пришло, да и не могло прийти, что на самом деле она жива. Все признаки смерти были налицо. Черты лица заострились и осунулись. Губы побелели, как мрамор, глаза угасли, пульс остановился. Тело стало быстро коченеть и в течение трех дней, прошедших до момента погребения, затвердело, как камень. Ввиду быстрого начала того, что показалось врачам разложением, похороны были произведены весьма поспешно.

Гроб с телом усопшей поместили в семейный склеп, который в течение последующих трех лет ни разу не открывали. По истечении этого времени склеп открыли, чтобы установить там саркофаг. Но, увы, чудовищное потрясение ожидало мужа, который сам же и отпер дверь усыпальницы, отворявшуюся наружу. Едва он распахнул ее, как нечто в белом тряпье с костяным стуком рухнуло ему на грудь. То был скелет его жены в еще не истлевшем саване!

Дальнейшее исследование обстоятельств показало, что она очнулась через двое-трое суток после погребения и металась в гробу, пока тот не сдвинулся с места и не упал с возвышения на пол, расколовшись при этом. Теперь она могла выбраться оттуда. Масляная лампа, случайно забытая в склепе, оказалась совершенно пустой, впрочем, вполне возможно, что масло просто высохло. На верхней ступени лестницы, у входа в склеп, валялся увесистый обломок гроба: по-видимому, женщина стучала им в железную дверь, пытаясь привлечь чье-нибудь внимание. Здесь же, истощив все силы, она потеряла сознание, а может быть, и окончательно умерла от ужаса. При падении ее тело зацепилось саваном за торчавшую из двери скобу и осталось в таком положении, пока не истлело.

В 1810 году случай погребения заживо имел место во Франции, причем при обстоятельствах, которые красноречиво свидетельствуют, что правда порой бывает куда удивительнее любых досужих вымыслов. Героиня этого происшествия — мадемуазель Викторин Лафуркад, молодая девушка из знатной семьи, богатая и красивая. Среди ее многочисленных поклонников был некто Жюльен Боссюз, бедный парижский литератор и журналист. Благодаря своим талантам и иным достоинствам месть Жюльен завоевал благосклонность красавицы, но аристократическая гордость вынудила ее отклонить

предложение Боссюэ и выйти за некоего Ренеля, банкира и довольно известного дипломата. Однако после свадьбы этот господин стал пренебрегать молодой супругой, поговаривают, что не обошлось и без рукоприкладства. Прожив с ним несколько полных горечи лет, она умерла — по крайней мере, впала в состояние, совершенно ничем не отличавшееся от смерти. Ее похоронили не в склепе, а в обыкновенной могиле на деревенском кладбище вблизи того поместья, где она родилась. Истерзанный отчаянием и по-прежнему верный своей единственной любви, Боссюэ приехал из Парижа в эту глухую провинцию с романтическим, но весьма странным намерением: вскрыть могилу и взять на память роскошные косы красавицы. Ночью он отправился на кладбище, разрыл могилу, открыл гроб и уже собирался отрезать волосы возлюбленной, как вдруг, леденея от ужаса, заметил, что ее глаза открыты.

Оказалось, что Викторин похоронили заживо. Ее жизненные силы не совсем иссякли, и прикосновения любимого пробудили ее от летаргии, которую все приняли за смерть. Жюльен отнес женщину в деревенскую гостиницу, где снял комнату, и с помощью сильных укрепляющих средств (он обладал некоторыми познаниями в медицине) окончательно привел ее в чувство. Она тут же узнала своего избавителя и оставалась с ним до полного выздоровления. Женское сердце не камень, и этот последний урок любви и преданности смягчил его. Викторин отдала свое сердце Боссюэ, не вернулась к супругу и, скрыв от него свое чудесное «воскресение», бежала с возлюбленным в Америку. Через двадцать лет они вернулись во Францию в надежде, что время изменило ее внешность и ни друзья, ни близкие ее не узнают. Однако это оказалось ошибкой: при первой же встрече господин Ренель узнал жену и потребовал, чтобы она к нему вернулась. Она ответила категорическим отказом, а суд поддержал ее, решив, что, ввиду исключительных обстоятельств и за давностью дела, а также по закону и по справедливости права мужа следует считать утратившими силу.

Лейпцигский «Хирургический журнал», весьма авторитетный научный орган, сообщает о довольно прискорбном случае в том же роде.

Один артиллерийский офицер, мужчина громадного роста и железного здоровья, был сброшен с седла необъезженной лошадью и

ушиб голову так, что лишился чувств. Череп был поврежден, однако рана оказалась не опасной для жизни. Трепанация удалась. Офицеру пустили кровь, были приняты и другие меры для его исцеления. Тем не менее он все глубже погружался в летаргическое состояние и в конце концов был признан умершим.

Погода стояла чрезвычайно жаркая, и покойника похоронили с почти непристойной поспешностью на одном из общественных кладбищ. Похороны состоялись в четверг. В воскресенье на кладбище собралось, как обычно, много посетителей, и около полудня один крестьянин возбудил всеобщую панику, заявив, что, когда он сидел на могиле офицера, насыпь задрожала, будто под ней покойник шевелился в гробу. Сначала решили, что крестьянин просто пьян, но его непритворный ужас и настойчивость в конце концов возымели действие. Достали заступы и поспешно разрыли неглубокую и кое-как засыпанную могилу. Офицер был, или казался, мертвым, но не лежал, а сидел, почти выпрямившись, в гробу, крышку которого успел приподнять в своей отчаянной борьбе за жизнь.

Его доставили в ближайшую больницу, где врачи объявили, что он еще жив, но находится в состоянии асфиксии[130]. Спустя несколько часов офицер очнулся, узнал своих знакомых и, как мог, поведал о своей агонии в могиле.

Из его рассказа выяснилось, что, очнувшись, он не менее часа провел в гробу, пытаясь выбраться из него, и только потом потерял сознание. Могила была засыпана очень рыхлой почвой, и воздух, по всей вероятности, проникал сквозь нее. Он слышал шаги посетителей кладбища над своей головой и пытался привлечь их внимание. Вероятно, воскресный шум на кладбище и пробудил его от летаргии, однако, придя в себя, он тотчас же осознал весь ужас своего положения.

Больной поправлялся довольно быстро и был уже близок к полному выздоровлению, но пал жертвой местного врача-шарлатана, который вздумал лечить его электричеством. В результате он скончался в припадке судорог, вызванных разрядом гальванической батареи.

Эта гальваническая батарея напомнила мне известный и весьма примечательный случай, когда она вернула-таки к жизни молодого лондонского юриста, пролежавшего в могиле двое суток.

Мистер Эдуард Степлтон якобы скончался от тифозной горячки, сопровождавшейся весьма необычными симптомами, которые вызвали любопытство врачей. После его официально объявленной смерти они обратились к близким покойного с просьбой разрешить им исследование *post mortem*[131], но получили отказ. Как нередко бывает в таких случаях, медики сговорились все же вырыть труп из могилы и тайно его анатомировать. Связались с шайкой кладбищенских грабителей, которых в Лондоне всегда хватало, и на третью ночь после погребения мнимый труп был извлечен из могилы глубиной в восемь футов и доставлен в морг одной частной больницы.

Был уже сделан надрез в области брюшины, когда совершенно свежий вид тела, без малейших признаков разложения, натолкнул врачей на мысль испробовать гальваническую батарею. Прделанные ими эксперименты сопровождались обычными явлениями, не представлявшими ничего исключительного; лишь раз или два вызываемые электрическим током судороги напомнили движения живого тела.

Время, однако, шло. Близилося утро, и врачи решили приступить к вскрытию. И тут один студент, желая проверить какое-то свое предположение, стал убеждать их предпринять еще одну попытку, приложив провод непосредственно к одному из грудных мускулов. Сделали надрез и едва приложили провод, как мертвец быстрым, но вовсе не судорожным движением поднялся, спрыгнул с секционного стола на пол, тревожно огляделся и заговорил. Слов его не удалось разобрать, но все-таки это были слова, вполне членораздельные звуки. Произнес их, он плашмя рухнул на пол.

В первую минуту все оцепенели, но необходимость что-то предпринять заставила медиков опомниться. Очевидно, мистер Степлтон был жив, хоть и в обмороке. Эфир вскоре привел его в чувство, затем он быстро поправился и вернулся к своим близким, от которых скрывали факт его «воскресения» до тех пор, пока не миновала всякая опасность рецидива. Может вообразить себе их неопишное изумление.

Но то, что сообщил сам мистер Степлтон, вдвойне удивительно. Он утверждал, что ни на миг не терял сознания; пусть смутно и неясно, но он сознавал все происходившее с ним с той минуты, когда врачи объявили, что он умер, до той, когда он упал без чувств в больничном

морге. «Я жив», — именно эти слова он попытался произнести первыми, едва очнулся.

Количество подобных историй можно множить до бесконечности, но я воздержусь, потому что после всего сказанного нет нужды доказывать, что погребения заживо имеют место. Однако, в силу тех или иных обстоятельств, они не часто становятся известными, а многие из них вообще происходят без чьего бы то ни было ведома. И действительно: не было еще случая, чтобы при раскопках старых кладбищ не обнаруживались скелеты в позах, наводящих на самые скверные подозрения.

Да, подозрения эти ужасны, но еще кошмарнее сама могила! Можно смело утверждать, что никакое состояние не связано с такими адскими телесными и душевными муками, как состояние похороненного заживо. Невыносимая тяжесть в груди, удушливые испарения сырой земли, тесный саван, жесткие объятия гроба, непроглядная тьма, безмолвие, точно на морском дне, невидимое, но осязаемое присутствие могильных червей... Но еще хуже мысль о свежем воздухе и траве наверху, воспоминания о друзьях, которые примчались бы, как на крыльях, чтобы спасти вас, если бы знали о вашем положении, и уверенность, что они никогда этого не узнают, что ваша участь — участь трупа. Все это наполняет еще бьющееся сердце таким невыносимым ужасом, какого не в силах себе представить даже самое смелое воображение. Мы не знаем большей муки на земле и не можем представить себе более ужасной казни в недрах преисподней.

Понятно, что рассказы об этом вызывают глубокий и болезненный интерес, который, однако, в силу благоговейного ужаса, возбуждаемого самой темой, всецело зависит от нашей убежденности в правдивости рассказчика. Но то, что я намерен поведать читателю, заимствовано из моих собственных воспоминаний, из моего личного и неповторимого опыта.

В течение нескольких лет я был подвержен припадкам странной болезни, которую врачи называли катаlepsией из-за отсутствия более точного наименования. Прямые и косвенные причины этого недуга, равно как и диагноз, все еще остаются тайной, хотя его многочисленные симптомы довольно хорошо изучены и отличаются у разных пациентов разве что интенсивностью. Иногда пациент впадает в летаргию всего на день-два или даже на меньший срок. Он лежит без

чувств, без движения, но слабые удары сердца еще прослушиваются; тело его хранит еще немного тепла, легкий румянец окрашивает щеки, а приставив зеркало к губам, можно заметить замедленную и слабую работу легких.

Но бывает и так, что подобный припадок длится недели, даже месяцы, и в такой форме, что даже самое углубленное медицинское исследование не находит ни малейшего различия между этим состоянием и тем, которое мы, не колеблясь, признаем смертью. Чаще всего такой пациент избегает преждевременного погребения только потому, что близкие знают о его прежних припадках и вследствие этого у них возникает сомнение, тем более что никаких признаков разложения тела не обнаруживается. К счастью, эта болезнь овладевает человеком постепенно. Первые симптомы мало заметны, однако имеют недвусмысленный характер. Мало-помалу припадки становятся все острее и продолжаются все дольше. Это обстоятельство — главная гарантия от несвоевременного погребения. Несчастный, у которого первый припадок имеет острый характер, присущий этой болезни в самой тяжелой форме, почти неизбежно обречен живьем угодить в могилу.

Мой случай не отличался ничем особенным от других, многократно описанных в медицинских книгах. Временами я без всякой видимой причины мало-помалу впадал в состояние полуметаргии или полубоморока; в этом состоянии, не ощущая никакой боли, неспособный двигаться и мыслить, со смутным летаргическим сознанием собственного бытия и присутствия тех, кто окружал мою постель, я оставался до тех пор, пока кризис не возвращал мне силы. Иногда же, наоборот, болезнь поражала меня почти мгновенно. Меня охватывала слабость, оцепенение, озноб, головокружение, и я лишался чувств. Затем по целым неделям вокруг меня царила пустота, тьма и безмолвие; вся вселенная превращалась для меня в ничто. Иными словами, наступало полное небытие. От этих припадков я оправлялся тем медленнее и труднее, чем быстрее они наступали. Свет разума возвращался ко мне так же медленно и неторопливо, как заря для бесприютного, одинокого странника, блуждающего по улицам в долгую зимнюю ночь.

Однако в целом мое здоровье, по-видимому, не ухудшалось; я не замечал, чтобы эти припадки сопровождались какими-либо

болезненными явлениями, если не считать одной особенностью. Пробудившись, я не мог сразу овладеть всеми своими чувствами и в течение нескольких минут пребывал в самом ошеломленном и нелепом состоянии; интеллект, и в первую очередь память, совершенно притуплялись.

При этом я не испытывал ни малейших физических страданий, лишь безмерное душевное смятение. Мое воображение блуждало по склепам. Я толковал исключительно о червях, могилах и эпитафиях. Я только и думал, что о смерти, и страх быть заживо погребенным неотступно преследовал меня. Ужасная опасность, которой я подвергнулся, не давала мне покоя днем, а ночью она становилась еще нестерпимей. Когда зловещая тьма окутывала землю, я дрожал под гнетом ужасных мыслей, как пучок перьев на погребальной колеснице. Даже когда мое тело уже не могло переносить бодрствования, я продолжал бороться со сном — до того пугала меня мысль очнуться в могиле. А когда наконец сон побеждал, я переносился в царство призраков, над которым простирала свои широкие траурные крылья все та же мысль о могиле.

Из бесчисленных мрачных видений, терзавших меня во сне, приведу для примера только одно.

Мне чудилось, будто я впал в каталептический сон, более глубокий и продолжительный, чем обычно. Вдруг ледяная рука коснулась моего лба, и нетерпеливый голос едва слышно шепнул:

— Вставай!..

Я сел на кровати. Тьма вокруг была кромешная. Я не мог разглядеть фигуру того, кто меня разбудил. Я не мог вспомнить, когда со мной случился припадок и где я нахожусь. Пока я сидел неподвижно, стараясь собраться с мыслями, та же холодная рука крепко схватила меня за запястье, нетерпеливо потрянула мою руку, и тот же голос проговорил:

— Вставай! Ведь я же велел тебе встать!

— Кто ты? — с замирающим сердцем спросил я.

— Там, откуда я, нет имен, — печально ответил голос. — Я был смертным, теперь я дух. Я был безжалостен, теперь я полон милосердия. Ты чувствуешь, как я дрожу? Мои зубы стучат, но не от холода ночи — той ночи, что пребудет во веки веков. Это отвратительное зрелище невыносимо. Как можешь ты безмятежно

спать? Мне не дают покоя вопли предсмертных мучений. Видеть это превыше моих сил. Встань, ступай за мной в бездну ночи, и я отворю перед тобой могилы. Это ли не юдоль скорби?.. Смотри же!

Я взглянул, и незримая фигура, все еще державшая меня за руку, отворила передо мной могилы всего человечества. Из каждой исходил слабый фосфорический свет, так что я мог рассмотреть глубочайшие склепы, полные спеленутых саванами трупов в их печальном и торжественном сне среди могильных червей. Но увы! Тех, кто обрел вечный покой, оказалось на много миллионов меньше, чем тех, кто вовсе не спал; отовсюду доносились звуки слабой борьбы, ощущалось общее тоскливое беспокойство; из бездонных ям доносился скорбный шорох саванов. Даже лежавшие спокойно изменили те неловкие и неестественные позы, в которых были погребены. И снова голос шепнул мне:

— Это ли не зрелище скорби?

Но прежде чем я успел что-нибудь ответить, фигура выпустила мою руку, фосфорический свет погас, земля сомкнулась над могилами, и из них вырвался отчаянный вопль великого множества голосов:

— Это ли, Господи, не зрелище скорби?

Кошмары, отравлявшие мои ночи, мучили меня и наяву. Нервы мои совершенно расстроились, и я беспрестанно испытывал непреодолимый страх. Я боялся ездить верхом, гулять, боялся каких бы то ни было развлечений, ради которых надо было покидать дом. Я стремился постоянно находиться в окружении людей, знавших о моей болезни. Мне казалось, что, случись подобный приступ в их отсутствие, меня могут заживо похоронить. Я сомневался в преданности лучших друзей, боялся, что, если припадок затянется дольше обычного, они все-таки сочтут меня умершим. Я дошел до того, что спрашивал себя: а что, если они будут только рады отделаться от меня, причиняющего им столько хлопот? Напрасно меня старались успокоить самыми торжественными обещаниями и заверениями. Я заставил их поклясться самыми страшными клятвами, что меня не предадут земле, пока тело мое не разложится настолько, что медлить дальше станет невозможно.

Но даже после этого мой смертельный страх не отступал, несмотря ни на какие утешения. Я принял целый ряд тщательно продуманных предосторожностей. Первым делом я перестроил наш семейный склеп

так, чтобы его можно было открыть изнутри. Стоило лишь слегка нажать на длинный рычаг, расположенный в глубине склепа, чтобы железные двери распахнулись. В гробу, в который меня должны были положить, были устроены приспособления для свободного доступа света и воздуха, а также в склепе имелся солидный запас пищи и питья. Сам гроб был выстлан мягкой стеганой обивкой, а его крышка имела вид своего рода свода с пружинами, с помощью которых при малейшем движении тела она откидывалась. Но мало того, под потолком склепа был подвешен большой колокол, от него спускалась веревка, проходившая в отверстие на крышке гроба, которую должны были в момент погребения привязать к моей руке.

Но чего стоят все наши предосторожности перед лицом судьбы! Даже эти ухищрения не могли спасти от пытки преждевременного погребения несчастного, который был на нее осужден!

Случилось однажды (как не раз случалось и раньше), что я очнулся от полного бесчувствия, почувствовав первые смутные признаки сознания. Медленно, черепашьям шагом, наступал тусклый серый рассвет душного дня. Я испытывал во всем теле ощущение неловкости и одеревенения. Какое-то смутное недомогание — ни тревоги, ни надежды, ни сил. Спустя некоторое время появился звон в ушах; затем возникло ощущение мурашек в конечностях; потом начался бесконечный период блаженного спокойствия, когда просыпающиеся чувства постепенно начинают будить мысль. А следом — кратковременное погружение в небытие и внезапное пробуждение; легкая дрожь одного века, и тотчас — электрический удар смертельного ужаса, от которого вся моя кровь прилила к сердцу. И только теперь — первая попытка мыслить и вспомнить. Только теперь успех, да и то неполный, мимолетный. И вот память возвращается ко мне настолько, что я начинаю осознавать свое положение. Я понимаю, что очнулся не от обычного сна, припоминаю, что со мной случился приступ каталепсии. И вот мой судорожно трепещущий дух наконец подхватывает, точно прибойная волна, сознание грозной опасности — одна-единственная адская мысль.

Как только она проникла в мое сознание, я несколько минут пролежал неподвижно. Но почему? Я не смел сделать усилие, которое откроет мне мою участь, а между тем, сердце подсказывало мне, что самое ужасное уже совершилось. Отчаяние, перед которым меркнут

все прочие человеческие горечи, заставило меня после долгих колебаний поднять отяжелевшие веки. Я открыл глаза. Тьма, непроницаемая тьма! Я точно знал, что припадок позади. Что кризис давно миновал. Знал я и то, что зрение мое сейчас в полном порядке. И все-таки вокруг была тьма — крошечная тьма, полное, совершенное отсутствие света, вечная ночь.

Я попытался крикнуть: губы мои и пересохший язык судорожно зашевелились, но никакого звука не было; мои легкие, словно придавленные целой горой, сжимались от усилий и трепетали вместе с сердцем при каждом мучительном и прерывистом вздохе.

Я попробовал открыть рот, чтобы издать хоть какой-то звук, но почувствовал, что челюсть моя подвязана, как у покойника. Я ощутил также, что лежу на чем-то жестком и это жесткое сжимает мне бока. До сих пор я не пытался пошевелиться, но теперь одновременно поднял обе руки, которые лежали скрещенными у меня на груди. Кисти ударились обо что-то деревянное и прочное, находившееся дюймах в шести у меня над головой. Сомнений не оставалось: я действительно лежал в гробу!

В эти мгновения оглушительного ужаса передо мной мелькнул кроткий лучик надежды: я вспомнил о своих предосторожностях. Я начал судорожно биться, стараясь поднять крышку, но она не двигалась. Я стал искать веревку от колокола — ее не было. Мой ангел-утешитель отлетел навсегда, и меня охватило еще горшее отчаяние. Я не мог не заметить отсутствия в гробу обивки, о которой позаботился, и в ту же минуту моего обоняния коснулся резкий запах сырой земли.

Вывод из всего этого был страшен: я лежал не в своем склепе. Припадок застиг меня вне дома, среди чужих людей (когда или как, я совершенно не помнил), и меня зарыли, как собаку, в простом гробу, забитом гвоздями, глубоко под землей, в обычной безвестной могиле.

Когда эта страшная уверенность проникла в мою душу, я снова попытался крикнуть; и на этот раз попытка удалась: долгий, отчаянный, нескончаемый вопль агонии огласил тишину подземной ночи.

— Эй, что там такое?! — вдруг прозвучал в ответ чей-то грубоватый голос.

— Что это еще за чертовщина? — добавил второй.

— Ну-ка, вылезай отсюда! — подхватил третий.

— Что ты там воешь, словно мартовский кот? — поинтересовался четвертый.

Затем меня без всяких церемоний схватили и принялись трясти какие-то мбодцы весьма грубого вида. Они не разбудили меня, я и без того уже проснулся, но вернули мне память.

Происшествие это имело место близ Ричмонда в Виргинии. Вместе с приятелем я предпринял охотничью прогулку вдоль берегов Джеймс-Ривер. Близилась ночь, и нас застала непогода. Небольшая баржа, нагруженная садовой землей, стоявшая на якоре у берега, оказалась единственным убежищем, которое нам удалось отыскать. За неимением ничего лучшего, мы воспользовались ею и провели ночь на барже. Я занял одну из двух кают, и можете себе представить, что такое каюта на барже водоизмещением в шестьдесят—семьдесят тонн. В каюте, которая мне досталась, постели вовсе не было. Ширина ее достигала не больше двадцати дюймов, столько же было и в высоту — от пола до потолка, и мне стоило немалого труда втиснуться в нее. Тем не менее спал я крепко, а все, что мне представилось, — а это был не сон и не бред — стало естественным следствием моего положения, обычного хода моих мыслей и того обстоятельства, о котором я уже упоминал: неспособности сразу очнуться и, так сказать, «включить» память. Люди, которые трясли меня, оказались владельцами баржи и работниками, нанятыми ими для ее разгрузки. Запах земли исходил от груза в трюме, а повязка под челюстью — это был шелковый платок, которым я обмотал голову за неимением ночного колпака.

Так или иначе, но пытка, которой я подвергся в течение некоторого времени, была ничуть не меньше мук по-настоящему заживо погребенного. Она была ужасна, и нет слов, которые могли бы выразить все, что я чувствовал.

Но нет худа без добра: сама чрезмерность моих страданий вызвала неизбежное противодействие. Мои душевные силы восстановились, и со временем я постепенно успокоился. Я уехал за границу, занялся физическими упражнениями, дышал чистым воздухом полей. Стал думать о других предметах, а не только о смерти, перестал читать медицинские трактаты и всякую ерунду о кладбищах, склепах и мертвецах. Словом, я стал другим человеком и зажил обычной человеческой жизнью. С той памятной ночи я навсегда расстался со своими могильными страхами, а вместе с ними исчезли и приступы каталепсии, которые, вполне возможно, были скорее следствием, чем причиной этих страхов.

Бывают минуты, когда даже трезвому рассудку наш печальный человеческий мир видится адом. Но воображение человека не может безнаказанно заглядывать в такие бездны. Увы, мрачные ужасы могилы существуют не только в воображении. Но, подобно демонам, в обществе которых Афрасиаб[132] спускался по Оксусу[133], им надлежит спать, иначе они растерзают нас. Что касается нас, то мы не должны тревожить их сон, иначе погибнем.

Бесценный груз

Несколько лет назад я взял каюту на пакетботе «Индепенденс» капитана Харди, следовавшем из Чарльстона в Южной Каролине в Нью-Йорк. Отплытие было назначено на пятнадцатое июня при благоприятной погоде, поэтому четырнадцатого числа я отправился на судно, чтобы проверить, все ли в порядке в моей каюте.

Уже на борту выяснилось, что пассажиров чрезвычайно много, в особенности дам. Я обнаружил в списке несколько знакомых имен, но больше всего обрадовался, за приметив имя мистера Корнелиуса Уайетта, молодого художника, к которому я питал самые искренние дружеские чувства. Он был моим университетским товарищем, и мы немало времени проводили вместе в годы учебы. Уайетт обладал обычным темпераментом человека одаренного — смесь мизантропии, болезненной чувствительности и восторженности. Вместе с тем в его груди билось доброе и верное сердце, равного которому я не знал.

Я заметил, что на его имя записаны три каюты, а снова заглянув в список, обнаружил, что он едет вместе с женой и двумя своими сестрами. Каюты на пакетботе были довольно просторны, в каждой

располагалось по две койки — одна над другой. Разумеется, эти койки были чрезвычайно узкими, и в каждой могло хватить места только для одного человека. И все же я не совсем понимал, зачем понадобились три каюты для четырех человек.

В то время мною владело одно из тех капризных состояний духа, которые заставляют человека придавать преувеличенное значение пустякам; признаюсь, к стыду своему, что я тут же начал строить множество неуместных и невероятных предположений относительно этой самой лишней каюты. Конечно, это меня совершенно не касалось, но с тем бóльшим упорством я пытался разрешить эту тайну. И вдруг я пришел к весьма простому заключению, заставившему меня подивиться, как же оно не пришло мне на ум раньше. «Ну разумеется, это каюта для прислуги! — сказал я себе. — Какой же я глупец, если сразу не понял столь очевидной вещи!» Тут я снова вернулся к списку и убедился, что мои знакомые путешествуют без прислуги, хотя поначалу явно намеревались взять ее с собой: в списке напротив номера каюты стояло «с прислугой», но затем эти слова были вычеркнуты. «Ну тогда это какой-нибудь багаж, который нельзя перевозить в трюме, — сказал я себе. — Картины или что-нибудь в этом роде. Так вот о чем Уайетт торговался с этим итальянским евреем Николини!»

Догадка эта меня успокоила, и я на время забыл о своем недоумении.

Сестер Корнелиуса Уайетта я знал хорошо, это были милые и умные девушки. Но с женой его я не был знаком, так как женился он совсем недавно. Однако он не раз описывал мне ее со свойственным ему энтузиазмом, изображая ее как светоч ума и поразительной красоты. Благодаря этому познакомиться с супругой приятеля мне хотелось вдвойне, и вот такой случай вроде бы представился.

К счастью, в тот день, когда я решил наведаться на борт корабля, капитан сообщил мне, что ждет также и мистера Уайетта вместе с его спутниками. Я прождал на палубе целый час, в надежде быть представленным новобрачной, но дождался только того, что стюард передал мне их извинения: «Миссис Уайетт несколько нездоровится, и она поднимется на корабль лишь завтра в час отплытия».

На следующий день я, собрав вещи, уже направлялся из отеля на пристань. Однако на полпути меня перехватил капитан Харди. «В силу

некоторых обстоятельств непреодолимой силы, — сказал он, воспользовавшись тем бессмысленным, но удобным оборотом речи, который я терпеть не могу, — весьма вероятно, что «Индепенденс» задержится в порту еще на день-другой. Как только все будет готово к отплытию, я пришлю за вами матроса». Такое заявление показалось мне странным, ибо с юга дул свежий попутный ветер, но что это за «обстоятельства непреодолимой силы», я так и не узнал, сколько ни допытывался. Поэтому не оставалось ничего другого, как вернуться в свой номер и постараться отвлечься, чтобы унять собственное нетерпение.

Никаких сигналов от капитана я не получал почти целую неделю. Но наконец матрос-посыльный явился, и я немедленно отправился на судно. На палубе уже толпилось множество пассажиров, кипела обычная суeta, предшествующая отплытию. Уайетт вместе со своими спутницами — новобрачной и обеими сестрами — прибыл минут на десять позже меня. Сам художник находился в разгаре одного из характерных для него приступов капризной мизантропии. Я, однако, слишком привык к таким вещам, чтобы обращать на это какое-нибудь внимание. Он даже не соблаговолил представить меня супруге, этот жест вежливости поневоле пришлось совершить его сестре Мериэн — милой и сообразительной девушке. Та произнесла несколько обязательных в таких случаях слов и познакомила нас.

Лицо миссис Уайетт было скрыто густой вуалью, но когда она слегка приподняла ее в ответ на мой поклон, я был, признаюсь, поражен до глубины души. Я был бы поражен еще больше, если бы опыт не научил меня не слишком полагаться на слова моего друга-художника, в особенности тогда, когда он предавался восторженным описаниям женской красоты. Я хорошо знал, с какой легкостью он воспаряет в небеса, когда речь идет о красоте.

Сказать по чести, миссис Уайетт, как ни старался я убедить себя в обратном, показалась мне совершенной дурнушкой, и не более того. Если она и не была безнадежно нехороша собой, то, на мой взгляд, отделяло ее от этого немного. Правда, одета она была очень изысканно. Что ж, вполне возможно, что она покорила сердце моего друга возвышенным умом и нежным сердцем, а очарование этих качеств куда долговечнее красоты. Обронив несколько вежливых фраз,

молодая женщина тут же вслед за мистером Уайеттом удалилась в каюту.

Любопытство мое снова разгорелось. Служанки при них не было, в этом не оставалось сомнений. Что ж! Я принялся высматривать багаж. Спустя какое-то время на пристани появилась тележка с довольно длинным ящиком, сколоченным из сосновых досок, который, похоже, только и ждали на борту. Ящик погрузили, и «Индепенденс» тотчас отдала швартовы и подняла паруса. В самое короткое время мы благополучно миновали прибрежную отмель и вышли в открытое море.

Ящик, о котором идет речь, был, как я уже сказал, довольно длинным. Он имел футов шесть в длину и фута два с половиной в ширину. Я осмотрел его с самым пристальным вниманием и постарался запомнить все детали. Ящик был весьма необычной формы, и, едва увидев его, я поздравил себя с верной догадкой. Я, как вы помните, решил, что друг мой везет с собой картины или, по меньшей мере, картину. Мне также было известно, что в течение нескольких недель он вел переговоры с торговцем живописью Николини, и вот передо мной ящик, в котором, судя по его форме, могла находиться только одна картина — копия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, та самая копия работы талантливого Рубини-младшего из Флоренции, которая, как мне было известно, какое-то время находилась в руках Николини. С этим все было ясно. Я только самодовольно посмеивался, хваля свою проницательность.

Вместе с тем это был, пожалуй, первый случай, чтобы Уайетт держал что-то в тайне от меня. Прежде у него не было никаких секретов, но в этом случае он явно намеревался меня обскакать и втихомолку, под самым моим носом, привезти в Нью-Йорк прекрасную картину, будучи при этом уверенным, что я ничего об этом не узнаю. Я решил вдоволь над ним посмеяться — и сейчас, и впоследствии.

Раздосадовало меня только одно обстоятельство: ящик поместили не в свободную каюту, а доставили в каюту Уайетта. Там он и остался, заняв почти все свободное пространство и наверняка причиняя всевозможные неудобства художнику и его молодой супруге. Более того, битумный лак или краска, которой была сделана надпись на ящике, источала весьма неприятный, а как по мне, так просто

невыносимый запах. На крышке размашистыми буквами было выведено: «Миссис Аделаиде Кертис, Олбани, Нью-Йорк. От Корнелиуса Уайетта, эсквайра. Не переворачивать! Обращаться с особой осторожностью!»

Я знал, что миссис Аделаида Кертис из Олбани — матушка жены художника; но в ту минуту я счел этот адрес неуклюжей мистификацией, предназначенной для отвода глаз. Разумеется, решил я, и ящик, и его содержимое так и останутся в стенах студии моего мизантропического друга на Чэмберс-стрит в Нью-Йорке.

В первые три-четыре дня плавания погода стояла превосходная, хоть ветер теперь дул нам прямо в лицо, внезапно переменившись на северный вскоре после того, как мы потеряли берег из виду. Пассажиры, тем не менее, пребывали в веселом и общительном настроении — за исключением Корнелиуса Уайетта и его сестер, которые вели себя весьма холодно и, я бы даже сказал, нелюбезно.

Впрочем, поведение Уайетта меня не удивляло. Он был угрюм даже больше, чем обычно, а если уж быть точным — попросту мрачен, но ведь от него можно было ожидать любой странности. Что касается его сестер, то я считал их поведение, по меньшей мере, странным и непростительным. Большую часть пути они провели одни в своей каюте и, несмотря на все мои усилия, решительно отказывались знакомиться со своими спутниками.

Зато миссис Уайетт оказалась на редкость любезна, вернее, разговорчива, а это качество в морском путешествии — само по себе немалая заслуга. С дамами она вскоре свела близкую дружбу и, к моему полному изумлению, проявила совершенно недвусмысленную готовность кокетничать со всеми мужчинами подряд. Пассажиров пакетбота она чрезвычайно забавляла. Я произношу «забавляла» — и, право, ловлю себя на том, что звучит это двусмысленно. Дело в том, что я быстро обнаружил, что на судне чаще смеются не с ней, а над ней. Мужчины помалкивали, но дамы вскоре признали миссис Уайетт «добродушной особой самой заурядной внешности, совершенно невежественной и почти вульгарной».

Все только диву давались, как мог Уайетт, утонченный эстет и интеллектуал, вступить в этот брак. Богатство, и только оно, — таково было общее мнение, но я-то знал, что дело вовсе не в том. Уайетт не раз говорил мне, что жена не принесла ему ни цента приданого и не

имела в этом отношении никаких надежд в будущем. Он женился, утверждал художник, по любви и только по любви, и жена его более чем достойна этой любви.

Вспоминая об этих словах, я, признаться, терялся в догадках. Неужели мой друг окончательно потерял рассудок? А что еще я мог подумать? Корнелиус, столь тонкий, столь проницательный, столь строгий, мгновенно чувствующий любую фальшь, так глубоко понимающий прекрасное! Правда, жена в нем явно души не чаяла, в его отсутствие беспрестанно цитировала слова своего «дорогого супруга мистера Уайетта», чем вызывала лишние насмешки над собой. Да и само словцо «супруг» было у нее — тут я решаюсь употребить одно из ее собственных выражений — вечно «на самом кончике языка». При этом пассажирам и команде было известно, что Уайетт явно ее избегает и большую часть времени проводит в одиночестве, запершись в каюте и предоставляя жене развлекаться, как ей будет угодно, в шумном обществе, вечно наполнявшем пассажирский салон.

Из всего, что я видел и слышал, я заключил, что художник — то ли по необъяснимому капризу судьбы, то ли повинувшись какой-нибудь минутной вспышке, полной энтузиазма или причудливой страсти, связал свою жизнь с существом, во всех отношениях стоявшим ниже его. Что, вполне естественно, вскоре привело к полному охлаждению его чувств и отвращению к молодой женщине. Я искренне жалел его, но все же не мог только поэтому простить ему скрытность в отношении «Тайной вечера». За это, решил я, Уайетту придется заплатить, и заплатить сполна.

Однажды мой приятель все-таки покинул свою каюту, и я, взяв его, как обычно, под руку, принялся прогуливаться с ним по палубе. Корнелиус был все в том же подавленном состоянии, которое, правда, в данных обстоятельствах казалось мне вполне объяснимым. На мои вопросы он отвечал скупой, односложно и с явным усилием. Пару раз я рискнул пошутить, но он только криво усмехнулся в ответ на мои шутки. Бедняга! Я вспомнил о его жене и подумал: как он вообще может притворяться веселым?

В ходе нашей беседы я решил осторожными намеками и двусмысленными замечаниями коснуться вопроса о содержимом длинного ящика, а под конец дать понять, что не так-то я прост, чтобы стать жертвой его невинной мистификации. Для начала я, посмеиваясь,

заявил, что кое о чем подозреваю. Затем упомянул о ящике необычной формы, ухмыльнулся, подмигнул и легонько ткнул приятеля пальцем в грудь.

Эта вполне невинная шутка вызвала, однако, такую реакцию, что мне немедленно стало ясно: Уайетт, несомненно, лишился рассудка. Сначала он уставился на меня, словно не понимая, что я нахожу в этом смешного. Когда же он осознал смысл моих слов, глаза его буквально выкатились из орбит. Он побагровел, побледнел, как покойник, а затем, словно несказанно развеселившись, разразился безудержным истерическим хохотом, который, к моему изумлению, продолжался, постепенно усиливаясь, минут десять или даже больше. В конце концов он рухнул плашмя на палубу. Я бросился его поднимать, мой приятель казался мертвым!

Я стал звать на помощь, и с величайшим трудом мы привели его в чувство. Опомнившись, он что-то долго и невнятно бормотал. Наконец судовой врач пустил ему кровь и уложил в постель. На следующее утро Корнелиус был абсолютно здоров, во всяком случае, физически. О его рассудке я, конечно, не говорю. Весь остаток нашего плавания я его избегал, прислушавшись к совету капитана, который, казалось, разделял мои опасения относительно состояния рассудка Уайетта, но просил не говорить об этом ни с кем на борту.

Вскоре после этого случая произошли и другие события, еще больше раздражившие мое врожденное любопытство. Вот что произошло. Мои нервы были взвинчены: я в последнее время пил слишком много крепкого зеленого чая и плохо спал. А если точнее, не мог заснуть в течение двух ночей подряд. Надо заметить, что моя каюта выходила в пассажирский салон, как, впрочем, каюты всех мужчин-холостяков на корабле. Три каюты, которые занимал Уайетт со своими спутницами, выходили в холл, отделенный от салона лишь легкой раздвижной дверью, которая никогда не запиралась. Так как мы почти постоянно шли галсами при крепком ветре, корабль заметно кренился на борт; когда ветер дул с правого борта, дверь в салон сама собой отъезжала в сторону и оставалась в таком положении, потому что никому не хотелось вставать и закрывать ее снова и снова. Дверь моей каюты из-за духоты постоянно оставалась также открытой, и мне с моей койки был виден холл, вернее, та его часть, где находились двери трех кают мистера Уайетта. И в те две ночи, когда я страдал

бессонницей, я совершенно отчетливо видел, как около одиннадцати часов миссис Уайетт, крадучись, выходила из каюты своего мужа и отправлялась в свободную каюту, где и оставалась до самого рассвета. Ранним утром она, по зову Уайетта, возвращалась назад.

Так вот в чем дело! Муж и жена фактически разошлись. Они жили врозь, очевидно, в ожидании формального развода; в этом и состояла тайна свободной каюты.

Кроме того, было еще одно обстоятельство, чрезвычайно меня заинтриговавшее. Всякий раз после того, как миссис Уайетт удалялась, из каюты ее мужа раздавались какие-то странные, осторожные и глухие звуки. Затаив дыхание, я довольно долго прислушивался к ним и, наконец, поразмыслив как следует, понял их причину. Звуки эти производил сам художник, открывая длинный ящик, стоявший в его каюте, при помощи долота и деревянного молотка, обернутого шерстяной тканью, смягчающей и приглушающей стук.

Мне чудилось, что я безошибочно улавливаю то мгновение, когда мой приятель освобождает крышку, затем снимает ее окончательно и кладет на нижнюю койку в своей каюте. Об этом я догадывался по тому, как дощатая крышка негромко ударялась о деревянный край койки, хотя он старался опускать ее как можно тише. Почему так, а не иначе? Да просто потому, что на полу для крышки уже не было места. Потом наступала мертвая тишина. И в обе эти бессонные ночи я до самого рассвета ничего больше не слышал. Лишь какой-то протяжный звук — не то плач, не то стон, настолько тихий, что почти вовсе неразличимый, — изредка доносился до моего слуха. А впрочем, и сам этот звук был, скорее всего, фантомом, порождением моего воображения. Если же он существовал в действительности, то это наверняка был не плач и не стон, а нечто иное. Или у меня просто-напросто звенело в ушах. Что касается мистера Уайетта, то он, несомненно, предавался одному из своих излюбленных занятий — давал волю своей художественной восторженности. Он вскрывал заколоченный ящик, чтобы насладиться заключенным в нем сокровищем. Еще один довод в пользу того, что для плача здесь вовсе не было повода.

Вот почему я не устаю повторять, что все это было, по-видимому, плодом моего воображения, взвинченного зеленым чаем из запасов добрейшего капитана Харди. Но факты остаются фактами: в обе ночи

за несколько минут до рассвета я отчетливо слышал, как мистер Уайетт возвращает крышку ящика на место и осторожно вколачивает гвозди. Покончив с этим, он выходил в холл уже полностью одетым и вызывал миссис Уайетт из той каюты, где она находилась по ночам.

Наше плавание продолжалось уже семь дней, и мы только что миновали мыс Гаттерас[134], когда с юго-запада налетел шторм. Правда, мы были уже готовы к нему, так как погода в течение последних часов указывала на приближение бури. На пакетботе все было приведено в порядок и тщательно закреплено; и по мере того как ветер набирал силу, мы легли в дрейф, оставив из парусов только контр-бизань и фор-марс, причем оба этих паруса были взяты на двойные рифы[135].

В таком положении мы оставались в течение двух суток, и наш пакетбот показал себя во всех отношениях отличным судном. Но на исходе вторых суток шторм превратился в настоящий ураган, наш задний парус изорвало в клочья, и вал за валом с чудовищной силой начали обрушиваться на палубу. Мы потеряли трех матросов, камбузную надстройку и чуть ли не всю обшивку левого борта. Вскоре и передний парус тоже был сорван. Тогда мы подняли шторм-стаксель, и несколько часов все шло как будто неплохо — корабль выдерживал натиск волн значительно лучше, чем прежде.

Шторм, однако, не собирался утихать, и мы не видели никакой надежды на перемену. От непрерывной качки снасти расшатались, ослабли и не выдерживали нагрузки, а в пять пополудни на третий день под ударами бешеного шквала рухнула бизань-мачта. Более часа мы пытались отделаться от нее, корабль бешено раскачивался, но мы ничего не могли поделать; тут в кормовую рубку поднялся боцман и объявил, что в трюме судна четыре фута воды. В довершение всех бед обнаружилось, что трюмные насосы засорились и от них нет никакого проку.

Смятение и отчаяние овладело всеми. Однако мы предприняли попытку облегчить «Индепенденс», выбросив за борт как можно больше груза и срубив две оставшиеся мачты. В конце концов это нам удалось, но мы по-прежнему ничего не могли сделать с насосами, а течь тем временем усиливалась.

На закате буря наконец-то ослабила свой натиск, и, поскольку волнение начало мало-помалу затихать, у нас появилась надежда

спастись хотя бы в шлюпках, если вода в трюме поднимется выше критической отметки. К восьми вечера сплошной облачный покров разорвался с наветренной стороны, и в разрыве появилась полная луна. Судьба посылала нам добрый знак, и это наполнило наши души надеждой.

С невероятными усилиями команда спустила на воду палубный бот, в который пересели матросы и большинство пассажиров. Бот немедленно отчалил и, претерпев немало лишений, на третий день благополучно прибыл в гавань на острове Окракок.

Четырнадцать пассажиров и капитан остались на борту, решив доверить свои судьбы небольшой спасательной шлюпке, висевшей на кормовых таях. На воду мы спустили ее без особого труда, но, едва коснувшись воды, шлюпка чуть не перевернулась, и только чудом удалось не позволить ей затонуть. В нее-то и сели капитан с женой, мой приятель мистер Уайетт со своими спутницами, один мексиканский офицер с семьей и я с моим темнокожим слугой.

Разумеется, мы ничего не взяли с собой, кроме самых необходимых навигационных инструментов, провианта и той одежды, что была. Никому и в голову не приходило пытаться спасти что-нибудь из вещей. Представьте же наше изумление, когда сидевший на корме мистер Уайетт вдруг поднялся с места, едва мы отошли от борта судна на несколько сажений, и категорически потребовал от капитана Харди, чтобы шлюпка вернулась назад, ибо он должен забрать из каюты свой ящик!

— Сядьте, мистер Уайетт, — сурово ответил капитан. — Вы опрокинете шлюпку, если не будете вести себя спокойно. Мы и без того уже по самые борта в воде.

— Ящик! — возопил Уайетт, продолжая стоять, — ящик, говорю я вам! Капитан Харди, вы не можете отказать мне — нет, вы мне не откажете! Он весит совсем немного... не весит почти ничего... Во имя вашей матери, во имя самого неба и спасения вашей души, заклинаю вас — вернемся за ящиком!

Мне показалось, что капитан на мгновение заколебался, тронутый этой неистовой мольбой, но затем снова принял суровый вид и проговорил:

— Мистер Уайетт, вы сошли с ума! Я не могу этого сделать, сядьте, говорю вам, или вы потопите шлюпку. Нет, стойте!.. Держите его,

иначе он сейчас прыгнет за борт! Ну вот — я так и знал...

Корнелиус Уайетт действительно прыгнул за борт. Мы находились с подветренной стороны судна. С нечеловеческим усилием художник уцепился за канат, свисавший с палубы. Мгновение — и он уже был на палубе.

Пока Уайетт пробирался в свою каюту, нас относило все дальше от борта. Выйдя из-под его прикрытия, мы оказались во власти волн, все еще гулявших по морю. Мы напрягали все силы, чтобы повернуть обратно, но течение подхватило шлюпку и понесло, как щепку. Участь несчастного была решена.

Расстояние между нами и «Индепенденс» все увеличивалось, и тут мы увидели, как безумец — иначе его не назовешь — показался на трапе, волоча с поистине исполинской силой длинный ящик. Остановившись у борта, он быстро обмотал тонким линем сначала ящик, а потом и себя самого. Через мгновение оба оказались за бортом и тут же исчезли из виду.

Мы подняли весла и некоторое время медлили, глядя туда, где наверняка погиб несчастный. Затем принялись грести и двинулись прочь от судна, готового вот-вот уйти на дно. Никто в течение целого часа так и не решился нарушить молчание. Наконец, я осмелился произнести:

— А вы заметили, капитан, как быстро они погрузились? Удивительно, не правда ли? Признаться, когда я увидел, что этот безумец привязал себя к ящику и бросился в воду, я все еще надеялся, что ему каким-то образом удастся спастись.

— Неудивительно, что ящик вместе с мистером Уайеттом пошел ко дну камнем, — мрачно ответил капитан. — Они скоро всплывут, но не раньше, чем растворится вся соль.

— Соль?! — пораженно воскликнул я.

— Тише! — проговорил капитан, кивнув в сторону жены и сестер погибшего. — Молчите! Мы поговорим об этом в другом месте и в более подходящее время.

Нам довелось испытать множество лишений, мы едва избежали гибели. Однако судьба покровительствовала нам, как и тем, кто оказался в боте. После четырех дней скитаний по морю, еле живые от

истощения, мы высадились на берег материка в бухте, лежащей напротив острова Роанок. Там мы пробыли с неделю, благополучно избежав стычек с местными жителями, промышляющими сбором обломков кораблекрушений. В конце концов нам и нашим товарищам по несчастью удалось добраться до Нью-Йорка.

Приблизительно через месяц после гибели «Индепенденс» случай свел меня с капитаном Харди на Бродвее. Разговор наш, само собой, тут же коснулся той катастрофы и злосчастной судьбы Корнелиуса Уайетта. И вот что я узнал.

Покойный на самом деле уплатил за три каюты на пакетботе — для себя и жены, а также для обеих сестер и горничной. Жена его действительно была женщина прелестная и на редкость образованная. Утром четырнадцатого июня — в тот день, когда я впервые поднялся на судно, она внезапно заболела и скорострительно скончалась. Молодой муж был вне себя от горя, но срочные обстоятельства не позволяли ему отложить поездку в Нью-Йорк. Тело обожаемой жены необходимо было доставить ее матери; в то же время он хорошо знал о распространенном предубеждении: девять из десяти пассажиров скорее отказались бы от своих мест, чем вышли в море с покойницей на борту.

В этом крайне двусмысленном положении капитан Харди посоветовал мистеру Уайетту забальзамировать тело молодой женщины и, уложив его в засыпанный солью ящик соответствующих размеров, доставить на корабль под видом багажа. Кончину миссис Уайетт было решено держать в тайне, а так как всем уже было известно, что художник едет с женой, возникла необходимость, чтобы кто-нибудь во время путешествия сыграл ее роль. Согласие на это без особого труда дала горничная покойной. От лишней каюты, которая поначалу предназначалась для этой девушки, отказываться не стали — из тех же соображений. Мнимая жена проводила в ней ночи, а днем, как умела, изображала свою госпожу, с которой, к счастью, никто из пассажиров не был знаком. Что касается моего заблуждения насчет «Тайной вечери», то оно было всего лишь следствием моего чересчур живого, легкомысленного, любознательного и импульсивного характера.

Странно только одно: с тех пор я редко спокойно сплю по ночам. Как я ни улягусь, какое положение ни приму — одно и то же лицо

преследует меня. Один и тот же истерический смех звучит у меня в ушах и, боюсь, будет звучать вечно.

Рукопись, найденная в бутылке

Qui n'a plus qu'un moment à vivre N'a plus rien à dissimuler.
Кому осталось жить одно мгновенье, Тому уж нечего скрывать.

Филипп Кино. Атис

О моей родине и моем семействе мне почти нечего сказать. Несправедливость изгнала меня из отечества, а годы разлуки отдалили от близких. Солидное состояние позволило мне получить неплохое по тем временам образование, а пытливый склад ума позволил в конце концов систематизировать знания, накопленные упорным трудом в юности. Моим излюбленным занятием стало чтение немецких философов-моралистов — и вовсе не потому, что их безумное красноречие внушало мне слепой восторг, а потому лишь, что навыки логического мышления позволяли мне с легкостью обнаруживать и изобличать ложность их мудрствований. Меня часто упрекали в сухой рассудочности, недостаток фантазии ставили мне в вину как некое преступление, и я всегда слыл последователем Пиррона[136]. Боюсь, что чрезмерная приверженность к натурфилософии в самом деле превратила меня в жертву весьма распространенного заблуждения нашего века — я имею в виду привычку объяснять все явления, даже те, которые меньше всего поддаются объяснению, принципами этой науки. Мало того, кажется почти невероятным, чтобы *ignes fatui*[137] суеверия смогли увлечь за грань истины человека моего склада ума.

Это небольшое вступление кажется здесь вполне уместным, так как я намерен поведать о столь необыкновенных происшествиях, которые могут быть скорее сочтены плодом безумной игры воображения, чем действительным опытом человеческого разума, презиравшего всякую игру фантазии как полную бессмыслицу.

После нескольких лет, проведенных в скитаниях по чужим краям, я не имел никаких особых причин, чтобы отправиться куда-либо еще. Однако нервное беспокойство, словно некий злой дух, гнало меня вперед и вперед, и в 18.. году я отплыл из Батавии — гавани,

расположенной на богатом и густонаселенном острове Ява, — на корабле, направлявшемся к архипелагу Зондских островов.

Наше судно, великолепный быстроходный парусник водоизмещением около четырехсот тонн, был построен в Бомбее из малабарского тикового дерева, корпус его был обшит листовой медью, а в трюмах лежали тюки хлопка и бочонки хлопкового масла с Лаккадивских островов, а также копра[138], пальмовый сахар, топленое масло из молока буйволиц, кокосовые орехи и несколько ящиков опиума. Погрузка была произведена наспех, груз размещен кое-как, и это сильно уменьшало остойчивость судна.

Мы отплыли с попутным ветром и в течение нескольких дней шли вдоль восточного берега Явы, причем единственным развлечением, нарушавшим монотонность нашего плавания, были случайные встречи с небольшими каботажными судами с островов, на которые мы держали курс.

Однажды вечером, облокотясь на гакаборт[139], я следил за странным облаком, одиноко стоявшим на северо-западе. Оно было замечательно не только своим цветом, но и тем, что было первым облаком, которое мы увидели после выхода из Батавии. Я пристально наблюдал за ним до самого заката солнца, когда оно вдруг словно развернулось на запад и на восток, опоясав горизонт узкой полосой тумана, и приняло вид длинной и низкой береговой линии какой-то неведомой суши. Вскоре мое внимание переключилось на цвет луны (она была странного багрового оттенка) и на то, что происходило на поверхности моря. Там совершалась быстрая перемена, но вода выглядела даже более прозрачной, чем обычно. Я мог совершенно отчетливо видеть дно, однако, бросив лот, удостоверился, что у нас под килем не меньше пятнадцати фатомов[140].

Воздух стал невыносимо душным и насыщенным испарениями, которые клубились, словно пар, поднимающийся от кипящего котла. С приближением ночи замерли даже самые тихие вздохи ветерка, воцарился совершенно невообразимый штиль. Не колебалось даже пламя свечи, горевшей на юте, а длинный волос, который я зажал между большим и указательным пальцами, свисал совершенно неподвижно. Наш капитан заявил, что не видит ни малейших признаков опасности, тем не менее приказал убрать все паруса и

отдать якорь. На вахту никто не заступил, и экипаж — преимущественно ленивые малайцы — завалился спать на палубе.

Я спустился вниз, прямо скажу, не без скверных предчувствий. С моей точки зрения, все происходящее свидетельствовало о приближении тайфуна. Я поделился своими соображениями с капитаном, хотя он не только не обратил внимания на мои слова, но даже не удостоил ответом. Тревога и плохое самочувствие, однако, не давали мне уснуть, и ближе к полуночи я снова поднялся на палубу. Едва ступив на верхнюю ступень трапа, я вздрогнул от низкого гула, напоминавшего звук, который производит стремительно вращающееся мельничное колесо. Прежде чем я смог определить, откуда он доносится и что означает, судно задрожало от киля до кончиков мачт, а секундой позже гигантская масса kloкочущей и пенящейся воды положила корабль на бок и, пройдясь по палубе от носа до кормы, словно гигантская метла, унесла в море все и всех, кто там находился.

Каким чудом я спасся от гибели, не могу объяснить. Оглушенный ударом волны, я не сразу пришел в себя и обнаружил, что зажат между румпелем и фальшбортом. С огромным трудом поднявшись на ноги и растерянно озираясь, я сначала решил, что нас швырнуло на рифы, ибо даже самая буйная фантазия не смогла бы нарисовать те огромные пенящиеся буруны, вздымавшиеся ввысь вокруг нас, словно адские стены. Внезапно до меня донесся голос пожилого шведа — того самого, что поднялся на борт судна перед самым отплытием. Я что было силы закричал в ответ, и швед, шатаясь и цепляясь за обрывки снастей, пробрался ко мне на ют.

Вскоре выяснилось, что на судне в живых осталось всего двое. Всех, кто находился на палубе, кроме нас со шведом, смыло за борт, а капитан и оба его помощника, по-видимому, погибли во сне, ибо их каюты были доверху заполнены водой. Совершенно беспомощные, мы не могли ничего предпринять для безопасности судна, тем более что вначале, парализованные ужасом, с минуты на минуту ожидали страшного конца. При первом же ударе урагана наша якорная цепь лопнула, как тонкая бечевка, и только благодаря этому парусник не перевернулся килем вверх. А теперь мы с невероятной скоростью неслись куда-то, и палубу то и дело захлестывали волны. Кормовые шпангоуты были основательно расшатаны еще первым ударом, а все судно сильно повреждено, но, к нашей неопишуемой радости, мы

убедились, что трюмные помпы работают исправно и балласт почти не сместился. Буря уже начинала стихать, но ветер все еще был силен. Однако мы не видели особой опасности в силе ветра и, наоборот, со страхом ждали той минуты, когда он прекратится совсем. Тогда на смену катящимся валам придет мертвая зыбь, и уж она-то непременно погубит наш потрепанный тайфуном парусник.

Впрочем, это вполне обоснованное опасение пока не подтверждалось. Пять суток кряду нашим единственным пропитанием служило небольшое количество пальмового сахара, который мы с великим трудом добывали в трюме, а тем временем наше наполовину разбитое судно, подгоняемое ударами шквалов, мчалось вперед со скоростью, которую нам не удавалось определить. Каждый из этих шквалов, хоть и уступал первому удару тайфуна, был гораздо сильнее любой из тех бурь, какие мне довелось повидать на своем веку.

В первые четыре дня нас несло с незначительными отклонениями на юго-юго-восток, и мы, должно быть, находились уже недалеко от берегов Новой Голландии[141]. Но на пятый день холод стал невыносимым, хотя ветер изменил направление всего на один румб к северу. Взошло тусклое желтое солнце; поднявшись всего лишь на несколько градусов над горизонтом, оно почти не давало света. Небо было безоблачным, но ветер снова начал свежить и налетал яростными порывами. Приблизительно в полдень — насколько мы могли судить — наше внимание снова привлек странный вид солнца. От него исходил не свет, а какое-то мутное, мрачное свечение, которое совершенно не отражалось в воде, словно все его лучи были поляризованы. Перед тем как погрузиться в бушующее море, свет в центре солнечного диска внезапно погас, словно стертый какой-то неведомой силой, и за горизонтом скрылся только тусклый серебристый ободок.

Напрасно мы ждали рассвета, который возвестил бы о наступлении шестого дня наших скитаний. Но для меня он и по сей час так и не наступил, а для старого шведа не наступит уже никогда. С той поры нас окутала такая непроглядная тьма, что уже в двадцати шагах от корабля невозможно было ничего увидеть. Все плотнее окутывала нас вечная ночь, не нарушаемая даже фосфорическим свечением океана, которое мы привыкли видеть в тропиках. И вот что еще было странным: буря продолжала свирепствовать все с той же яростной

силой, но вокруг больше не было видно вспененных гребней, которые сопровождали нас прежде. Повсюду царили ужас, непроницаемый мрак и мятущаяся черная пустота.

Суеверный страх постепенно овладел душой старого шведа, да и мое сердце наполнилось немым смятением. Мы перестали следить за кораблем, сочтя это занятие совершенно бесполезным. Привязав друг друга насколько возможно крепко к основанию рухнувшей бизань-мачты, мы только и делали, что с тоскою взирали на бесконечный океан. Нам нечем было измерять время, и мы не видели ни единой возможности определить свое местоположение. Ясно было лишь одно: нас унесло на юг дальше, чем кого-либо из мореплавателей прошлого, поэтому мы и удивлялись, что до сих пор не встретили обычных для этих широт плавучих льдов.

Между тем каждая следующая минута могла стать для нас последней, ибо любой из огромных, как горные хребты, валов грозил опрокинуть нашу утлую посудину. Высота их превосходила всякое воображение, и я считал истинным чудом, что мы до сих пор еще не покоимся на дне океана. Мой спутник списывал это на малую загрузку трюмов и превосходные мореходные качества нашего судна, но я невольно ощущал всю беспочвенность надежды и упорно готовился к гибели, которую, как я полагал, ничто на свете не могло оттянуть более чем на час. С каждой пройденной нами милей мертвая зыбь усиливалась, и гигантские черные валы вздымались все выше. Порой у нас захватывало дух, когда мы взлетали на высоту, казалось, недоступную даже альбатросам, а порой темнело в глазах во время спуска в сущую водяную преисподнюю, где воздух был зловонным и спертым и ни малейший звук не нарушал дремоты подводных чудищ.

Мы как раз находились на дне одной из таких пропастей, когда во тьме страшно прозвучал истошный крик моего спутника. «Смотрите! Смотрите! — завопил он прямо мне в ухо. — Господь всемогущий, вы только взгляните на это!»

Едва он умолк, я заметил, что стены водяного ущелья, на дне которого мы как раз находились, озарило тусклое багровое сияние, его мерцающий отблеск коснулся и палубы нашего судна. Подняв глаза вверх, я увидел зрелище, от которого кровь остановилась у меня в жилах, а сердце заледенело. На огромной высоте прямо над нами, на самом краю крутого водяного обрыва, вздыбился гигантский военный

корабль водоизмещением не меньше четырех тысяч тонн. Но хотя он висел на гребне волны, в десятки раз превосходившей его собственную высоту, я видел, что его истинные размеры все равно больше любого известного мне линейного корабля или торгового судна Ост-Индской компании. Колоссальный матово-черный корпус не покрывали обычные для всех таких кораблей резные украшения. Из открытых портов торчали стволы бронзовых орудий, а их тщательно отполированные поверхности отражали свет многочисленных ходовых огней, поднятых на снастях. Но особый ужас внушило нам то, что этот корабль, как бы пренебрегая яростью бушующего океана, неся на всех парусах навстречу ураганному ветру совершенно сверхъестественной силы. В первые мгновения мы видели только носовую часть корабля, медленно поднимавшегося из жуткого черного провала. На одно мгновение, полное невыразимого ужаса, он застыл на головокружительной высоте, словно наслаждаясь собственным величием и мощью, затем вздрогнул, помедлил — и стремительно обрушился вниз.

В тот миг душу мою охватил необъяснимый покой. С трудом пробравшись как можно ближе к корме, я без малейшего трепета ожидал неминуемой смерти. Наш корабль больше не мог противостоять стихии и зарылся носовой палубой в надвигавшийся вал. Поэтому удар низвергавшейся вниз черной массы другого корабля пришелся как раз на ту часть его корпуса, которая уже скрылась под водой. В результате меня подбросило в воздух и со страшной силой швырнуло в сторону корабля-чужака, где я немедленно вцепился в ванты.

Когда это произошло, чужое судно как раз выполняло поворот оверштаг[142], и, очевидно, благодаря суматохе на палубе, никто из команды не обратил на меня ни малейшего внимания. Никем не замеченный, я вскоре отыскал грот-люк, который был слегка приоткрыт, и вскоре оказался в трюме. Почему я так поступил, право, не могу сказать. Возможно, причиной моего стремления укрыться был глубокий трепет, охвативший меня при первом же взгляде на экипаж этого корабля. Я не стал бы доверять свою судьбу существам со столь зловещим и странным обликом. Поэтому я предпочел юркнуть в трюм и не показываться им на глаза. Там я соорудил себе убежище, отодвинув часть временной переборки, чтобы в случае необходимости

быстро спрятаться между огромными корабельными шпангоутами[143].

Едва успел я с этим покончить, как звук шагов, раздавшийся в трюме, заставил меня воспользоваться убежищем. Вскоре мимо медленной и нетвердой поступью прошел какой-то человек. Лица его я не разглядел, но все же смог составить общее представление о его внешности. Все в ней свидетельствовало о весьма преклонном возрасте и крайней немощи. Колени этого человека сгибались под тяжестью лет, все тело дрожало, словно под непосильным бременем. Слабым, прерывистым голосом что-то бормоча на неизвестном языке, он пошарил в углу трюма, где были свалены грудой какие-то диковинные навигационные инструменты и полуистлевшие морские карты на пергаменте. Вся его манера держаться представляла собой смесь капризной суетливости впавшего в детство старца и величавого достоинства полубога.

В конце концов пришелец снова вернулся на палубу, и больше я его не видел...

Душой моей овладело чувство, для которого я не нахожу названия. Это ощущение не поддается анализу, ибо для него нет объяснений в уроках моего прошлого, и даже грядущее, боюсь, не даст мне к нему ключа. Для человека моего склада последнее соображение просто убийственно. Никогда — я в этом совершенно уверен — никогда не смогу я объяснить, не говоря уже о том, чтобы ясно истолковать, происшедшее. Однако нет ничего удивительного в том, что мое истолкование окажется неопределенным и расплывчатым, ведь мне придется заняться предметами, никем до меня не изведенными. Дух мой обогатился каким-то новым знанием, проник в некую новую субстанцию...

Уже немало времени прошло с тех пор, как я впервые ступил на палубу этого ужасного корабля, и мне кажется, что лучи моей судьбы начинают собираться в некий фокус. Его экипаж — непостижимые люди! Погруженные в размышления, смысл которых я не могу разгадать, они, не замечая меня, проходят мимо. Прятаться от них

совершенно бессмысленно, ибо они упорно не желают вас видеть. Только что, минуту назад, я прошел прямо перед глазами первого помощника, а незадолго перед тем осмелился проникнуть даже в каюту капитана и похитил там письменные принадлежности, которыми пользуюсь сейчас. Изложив предшествующие события, я время от времени буду продолжать эти записки, пусть и отрывочно. Правда, я сильно сомневаюсь, что мне когда-либо подвернется оказия передать их людям, но я все же попытаюсь это сделать. В последнюю минуту я вложу свою рукопись в бутылку, запечатаю ее и брошу в море.

Произошло событие, которое дало мне пищу для новых размышлений. Вероятно, такие вещи следует считать непостижимой игрой случая. Я рискнул выйти на палубу и, по-прежнему никем не замечаемый, улегся среди груды тросов и старых парусов на дне спасательной шлюпки. Размышляя о превратностях своей судьбы, я машинально водил кистью для дегтя по краю аккуратно сложенного лиселя[144], лежавшего рядом со мной на бочонке. Сейчас этот лисель поднят, и мои бездумные, совершенно бесцельные мазки сложились в слово «открытие».

В последнее время я сделал несколько наблюдений относительно особенностей судна, на котором я оказался. Несмотря на пушечное вооружение, оно, по-моему, вовсе не является военным кораблем. Его общий строй, оснастка и прочее оборудование опровергают такие предположения. Я хорошо понимаю, чем оно не может быть, но что оно такое на самом деле, боюсь, определить невозможно. Сам не знаю почему, но при виде необычных обводов его корпуса, своеобразного рангоута, огромных размеров и избытка парусного оснащения, строгой простоты носовой части и старинной формы кормы в голове моей то и дело проносятся какие-то смутно знакомые образы, и вместе с этими теньями воспоминаний в памяти безотчетно всплывают страницы старых иноземных летописей и века давно минувшие...

...Я только что внимательно обследовал шпангоуты корабля. Он построен из неизвестного мне материала. Это дерево обладает

некоторыми свойствами, которые, как мне кажется, делают его совершенно непригодным для той цели, для которой его использовали. Я имею в виду его необыкновенную пористость, и это независимо от того, что остов судна сплошь источен червями (естественное следствие плавания в этих морях). Я уже не говорю о трухлявости, указывающей на огромный возраст древесины. Следующее мое замечание может показаться курьезным, но это дерево было бы похоже на испанский дуб, если бы последний можно было бы каким-нибудь сверхъестественным способом растянуть и изогнуть.

Перечитываю последнюю фразу, и мне вспоминается афоризм одного старого, выдавшего виды голландского морехода. Когда кто-нибудь выражал сомнение в правдивости его слов, он, бывало, говаривал: «Это так же верно, как то, что есть на свете море, где даже судно растет подобно живому телу моряка!»

Час назад, набравшись храбрости, я осмелился-таки приблизиться к группе матросов. Они не обратили на меня ни малейшего внимания и, хотя я замешался в самую их гущу, казалось, совершенно не замечают моего присутствия. Подобно тому человеку, которого я впервые увидел в трюме, на всех здесь лежала печать глубокой старости. Колени их тряслись от немоции, дряхлые спины горбились, пергаментная кожа шуршала на ветру, надтреснутые голоса звучали сипло и прерывисто, глаза были затянуты мутной старческой пеленой, а редкие седые волосы ожесточенно трепала буря. Вся палуба вокруг них была завалена навигационными и астрономическими инструментами архаичной, но необычайно замысловатой конструкции...

Недавно я упомянул о том, что команда поставила лисели. С этого времени корабль идет в полный бакштаг[145], продолжая свой зловещий путь на юг под всеми парусами и поминутно окуная концы своих рей в непостижимую для человеческого ума чудовищную бездну вод. Я только что убрался с палубы, где просто не мог устоять на ногах, хотя команда, казалось, не испытывает ни малейших неудобств. Чудом из чудес представляется мне то, что огромный корпус нашего судна до сих пор раз и навсегда не поглотила пучина. Очевидно, мы обречены постоянно балансировать на краю вечности, но так никогда и не рухнуть в бездну. С гребней валов, фантастические размеры которых многократно превосходят все, что мне когда-либо доводилось видеть, мы со стремительностью чайки легко соскальзываем вниз, и тогда исполинские волны возносят над нами свои вершины, словно демоны из глубин ада. Однако этим демонам дозволено грозить, но по какой-то причине не дано нас уничтожить. То, что мы все время чудом уклоняемся от гибели, я могу приписать лишь единственной естественной причине, лишь она может вызвать подобные следствия. Очевидно, этот корабль находится под воздействием какого-то сильного поверхностного течения или могучего глубинного водного потока...

Я столкнулся с капитаном лицом к лицу в его собственной каюте, но, как я и надеялся, он не обратил на мою персону ни малейшего внимания. Пожалуй, ни одна черта его внешности не подтолкнула бы случайного наблюдателя к мысли, что это существо не принадлежит к числу смертных, и все же я смотрел на него с чувством благоговейного трепета, смешанного с крайним изумлением. Он приблизительно одного со мною роста, то есть пяти футов восьми дюймов, и крепко, но вполне пропорционально сложен. Вместе с тем, с его лица не сходит необычное выражение — напряженное, невиданное еще никем, вызывающее нервную дрожь свидетельство столь глубокой старости, вселяющее в душу поистине неизъяснимые чувства. Чело капитана, на котором, однако, почти не видно морщин, отмечено печатью бесчисленного множества лет. Его даже не седые, а бесцветные волосы — свидетельство далекого прошлого, а выцветшие серые глаза — глаза сивиллы[146], которой открыт облик грядущего. На полу капитанской

каюты валялось множество диковинных фолиантов с медными застежками, позеленевших от сырости научных инструментов и древних, давным-давно забытых мореходных карт. Опершись подбородком на руки, он вперил свой горячий, беспокойный взор в какую-то бумагу, которую я принял за капитанский патент — во всяком случае, она была скреплена подписью одной из венценосных особ. Капитан сердито бормотал про себя — в точности так же, как и первый моряк с этого судна, которого я увидел в трюме. И хотя я стоял совсем рядом, его глухой голос и слова чужеземного наречия, казалось, доносятся до меня с расстояния в целую милю...

Корабль вместе со всем, что на нем есть, буквально пропитан духом Минувшего. Матросы скользят по палубе, словно призраки ушедших столетий, глаза их сверкают каким-то лихорадочным, тревожным огнем, когда же в грозном мерцании ходовых огней их руки случайно преграждают мне путь, я испытываю чувства, никогда прежде мною не испытанные, хоть я на протяжении всей своей жизни занимался торговлей древностями и так долго дышал прахом рухнувших колоннад храмов и дворцов, что моя душа, как мне кажется, и сама превратилась в развалины...

Озираясь с палубы корабля, я стыжусь своих былых страхов и опасений. Если я дрожал от шквалов, сопровождавших нас до сих пор, разве не должна повергнуть меня в ужас схватка бури и океана, для описания которой слова «смерч» и «ураган» могут показаться бледными и ничего не выражающими? Рядом с кораблем царит непроглядный мрак вечной ночи и клокочет хаос волн, но примерно в одной лиге[147] от нас там и сям виднеются смутные силуэты гигантских плавучих ледяных гор, которые, словно бастионы мироздания, возносят к пустому безотрадному небу свои сверкающие вершины....

Как я и предполагал, корабль находится во власти течения — если только это слово может дать хотя бы отдаленное представление о том

бешеном грозном потоке, который, с неистовым ревом прорываясь сквозь бело-голубое ледяное ущелье, стремительно мчится на юг...

Понять весь ужас моих ощущений, пожалуй, не смог бы никто; но жадное желание проникнуть в тайны этих страшных областей мира перевешивает во мне даже отчаяние, и оно же способно примирить меня с самым отвратительным видом гибели. Мы, без сомнения, быстро приближаемся к какому-то ошеломляющему открытию, к разгадке какой-то небывалой тайны, которой ни с кем не сможем поделиться, ибо заплатим за нее собственной жизнью. У меня возникло подозрение, что это течение ведет нас прямо к Южному полюсу. И следует признать, что в этом предположении, с виду столь безумном, нет ничего невероятного...

Матросы бродят по палубе беспокойным неверным шагом; но в выражении их лиц больше трепетной надежды, чем безразличия отчаяния.

Между тем ветер все еще остается попутным, а поскольку наши мачты несут слишком много парусов, судно временами едва не взмывает в воздух. Внезапно — о ужас, не имеющий пределов! — стены льдов справа и слева от нас расступаются, и мы с головокружительной скоростью начинаем описывать концентрические круги вдоль краев колоссального амфитеатра, верхушки стен которого теряются в непроглядной выси. Для размышлений об ожидающей меня и весь экипаж корабля участи остается слишком мало времени!

Радиус наших кругов стремительно сокращается. И вот мы стремглав ныряем в самую пасть исполинского водоворота, наш корабль судорожно вздрагивает среди неистового рева, грохота и завываний океана и бури и — о боже! — низвергается в бездну!..

В Крутых горах

В конце 1827 года, когда я некоторое время жил в штате Виргиния близ Шарлоттсвилля, я случайно познакомился с мистером Огастесом Бедлоу. Это был молодой джентльмен, замечательный во всех отношениях, и он пробудил во мне глубокий интерес и любопытство.

Я обнаружил, что как телесный, так и духовный его облик в равной мере для меня непостижимы. Я не смог получить никаких достоверных сведений о его семье. Мне не удалось узнать, откуда он прибыл. Даже его возраст — хотя я и назвал его «молодым джентльменом» — серьезно смущал меня. Несомненно, он выглядел молодым и порой ссылался на свою молодость и неопытность, и все же бывали минуты, когда мне начинало казаться, что мистеру Бедлоу никак не меньше ста лет. Но больше всего остального меня поражала его внешность. Он был невероятно высок и тощ, и при этом всегда сутулился. Его руки и ноги были худы, как палки, лоб широк и низок, а лицо вечно покрывала восковая бледность. Рот был крупным и подвижным, а зубы, хоть и крепкие, отличались какой-то чудовищной неровностью, какой мне не доводилось видеть ни у кого другого. Однако его улыбка вовсе не казалась неприятной, как можно было бы предположить, но она никогда не менялась и свидетельствовала не о веселье или удовольствии, а о глубочайшей меланхолии, какой-то неизбывной тоске.

Я не упомянул его глаза: они казались неестественно большими и круглыми, как у кошек. И зрачки их в зависимости от освещения суживались и расширялись в точности так же, как у всего кошачьего племени. В минуты волнения или возбуждения глаза мистера Бедлоу начинали сверкать самым невероятным образом — но не отраженным светом, а как бы испуская собственные лучи, зарождающиеся где-то внутри, словно в потайном фонаре. Впрочем, в обычное время они чаще всего оставались пустыми, мутными и тусклыми, словно глаза давным-давно погребенного покойника.

Эти внешние особенности, очевидно, доставляли ему массу неприятностей, и он постоянно упоминал о них — то виновато, то как бы оправдываясь, что поначалу произвело на меня самое гнетущее впечатление. Вскоре, однако, я к этому привык, и ощущение неловкости прошло. По-видимому, Бедлоу пытался, избегая прямых утверждений, дать мне понять, что он не всегда был таким и что постоянные невралгические припадки лишили его незаурядной красоты и сделали таким, каким он стал теперь.

В течение многих лет его лечил врач по имени Темплтон — человек весьма преклонного возраста, лет семидесяти или даже более, к которому он впервые обратился в Саратогe и получил (или только

вообразил, что получил) большое облегчение. В результате мистер Бедлоу, человек богатый, предложил доктору Темплтону весьма солидное годовое содержание, и тот согласился посвятить ему одному все свое время и весь свой медицинский опыт.

Доктор Темплтон в юности много путешествовал и во время пребывания в Париже стал большим приверженцем учения Франца Месмера[148]. Мучительные боли, которые постоянно испытывал его пациент, он облегчал исключительно с помощью магнетических средств, и нет ничего удивительного, что Бедлоу проникся известным доверием к идеям, эти средства породившим. Однако доктор, подобно всем энтузиастам, прилагал все более значительные усилия, чтобы окончательно убедить пациента в их истинности, и так преуспел, что страдалец дал согласие участвовать в различных месмерических экспериментах. А многократное повторение этих экспериментов привело к возникновению феномена, который в наши дни стал настолько обычным, что уже почти не привлекает внимания, хотя в эпоху, которую я описываю, в Америке был почти неизвестен. Я имею в виду, что между доктором Темплтоном и Бедлоу установилась весьма четкая и сильно выраженная магнетическая связь, или раппорт[149].

Не буду, однако, утверждать, что эта связь выходила за пределы простой власти вызывать сон; но зато эта власть достигла необыкновенной силы. При первой попытке вызвать магнетическое забытие Темплтон потерпел полную неудачу. При пятой или шестой успех был частичным и потребовал продолжительных усилий. И только двенадцатая увенчалась полным успехом. И каким! С этого времени воля пациента окончательно подчинилась воле врача, так что, когда я впервые познакомился с обоими, врач мог вызвать у Бедлоу сон одним мысленным приказанием, даже когда тот и не подозревал о его присутствии. Только сейчас, в 1845 году, когда подобные чудеса засвидетельствованы тысячами очевидцев, я решаюсь писать об этом как о бесспорном факте, тогда же все это казалось немыслимым.

Бедлоу обладал в высшей мере впечатлительным, возбудимым и восторженным характером. Воображение его было чрезвычайно деятельным и творческим; кроме того, оно, несомненно, приобретало дополнительную силу благодаря морфину, который Бедлоу принимал постоянно и в больших количествах и без которого просто не мог существовать. Он имел привычку, проглотив солидную дозу утром

сразу же после завтрака — а вернее, после чашки крепкого черного кофе, так как в первой половине дня он никогда ничего не ел, — отправляться в одиночестве или в сопровождении собаки на прогулку в дикую, холмистую и довольно унылую местность, лежавшую к западу и к югу от Шарлоттсвилля. Местные жители прозвали эти холмы «Крутыми горами».

В один тусклый и теплый туманный день на исходе ноября, во время того странного междуцарствия во временах года, которое в Америке зовется индейским летом, мистер Бедлоу, по своему обыкновению, отправился в холмы. День уже заканчивался, а он все не возвращался.

Часов в восемь вечера, встревоженные столь долгим его отсутствием, мы уже собирались отправиться на поиски, как вдруг он вернулся. Чувствовал он себя не хуже, чем обычно, но был в состоянии возбуждения, для него редкого. То, что он поведал нам о своей прогулке и событиях, его задержавших, было поистине необычайным.

— Как вы помните, — начал он, — я вышел из Шарлоттсвилля часов в девять утра. Я сразу же отправился к Крутым горам и часов около десяти оказался в узкой долине, в которой никогда раньше не бывал. Я с интересом следовал ее извилам. Картину, которая открывалась моим глазам, вряд ли можно было назвать величественной, но для меня в ней было неоспоримое преимущество — восхитительная унылая пустынность. В этой долине ощущалась какая-то девственная нетронутость, и я невольно подумал, что на этот зеленый дерн и серые каменные россыпи до меня еще не ступала нога человека. Вход в эту долину так хорошо укрыт и настолько труднодоступен, что попасть туда можно только в результате стечения ряда случайностей, и я в самом деле мог быть первым, кто осмелился проникнуть в ее тайные пределы.

На долину вскоре опустился тот особый молочный туман, который бывает только в пору индейского лета, и от этого все вокруг стало еще более смутным и неопределенным. Этот теплый туман был настолько плотным, что порой нельзя было различить очертания предметов даже в десяти ярдах. Долина была чрезвычайно извилиста, а поскольку солнце совершенно погрузилось в непроницаемую пелену, вскоре я потерял всякое представление о том, в какую сторону иду. Тем временем морфин оказал свое обычное действие: каждая мелочь в

облике окружающего мира стала казаться мне важной и необыкновенно интересной. В трепете ветки ясеня, в оттенках стебельков травы, в очертаниях трилистника клевера, в жужжании шмеля, в сверкании росинки, в дыхании ветра, в свежих ароматах, доносившихся из леса, — во всем чувствовалась целая вселенная таинственных намеков, все давало пищу для пестрого хоровода причудливых и бессистемных мыслей.

Погруженный в них, я шел несколько часов подряд, а туман становился все гуще, и в конце концов мне пришлось двигаться на ощупь в самом буквальном смысле слова. И тут мною овладела болезненная тревога, дитя нервной нерешительности и робости. Я боялся сделать лишний шаг, опасаясь, что под моими ногами вот-вот развернется бездна. Вдобавок мне стали вспоминаться довольно странные истории, которые рассказывают об этих самых Крутых горах, в частности — о каких-то свирепых полудикарях, которые обитают в здешних рощах и пещерах. Тысячи неясных фантомов — еще более тягостных из-за своей неясности — тревожили мой дух и усугубляли овладевшую мной робость.

Внезапно мой слух поразил громкий барабанный бой.

Изумление мое, как вы сами понимаете, было безграничным. Эти горы никогда не слышали барабана. Даже если бы надо мною прогремела труба архангела, я и то удивился бы меньше. Однако вскоре мое недоумение и любопытство возросли многократно — раздалось оглушительное бряцание, точно кто-то совсем рядом встряхнул связку огромных ключей, и в следующее мгновение мимо меня с воплем пронесся полуобнаженный смуглый человек. Он был так близко от меня, что я почувствовал его горячее дыхание и ощутил запах его пота. В одной руке он держал странный инструмент, состоящий из множества железных колец, которые он энергично встряхивал на бегу. Не успел он скрыться в тумане, как следом, хрипло дыша, пробежал крупный зверь с оскаленной пастью и горящими глазами. Я не мог ошибиться — то была гиена!

Вид этого чудовища несколько развеял мои страхи, теперь я вполне убедился, что сплю, и попытался заставить себя очнуться. Я смело и решительно сделал несколько шагов. Протер глаза. Громко закричал. Ущипнул себя за щеку и запястье. А когда заметил маленький ручеек, присел на берегу, наклонился и ополоснул руки, смочил голову и лицо.

Все это немного рассеяло смутные ощущения, угнетавшие меня. Я снова стал прежним человеком и твердо двинулся вперед по неизведанной тропе.

Наконец, утомленный ходьбой и тяжелой духотой, разлитой в воздухе, я присел под деревом, чтобы немного отдохнуть. Тем временем сквозь туман пробились бледные солнечные лучи, на траву легли пока еще прозрачные, но уже отчетливые тени деревьев. Я долго смотрел на эти тени, борясь с невольным изумлением. Их очертания буквально ошеломили меня. Я поднял глаза и взглянул вверх. Надо мной слегка покачивалась пальма!

Я вскочил, как ошпаренный, охваченный жутким волнением, ибо больше уже не мог убеждать себя, что вижу все это во сне. Я отлично сознавал, что вполне владею всеми своими чувствами, но теперь эти чувства распахнули передо мной целый мир новых и совершенно необычных ощущений. Жара в считанные минуты стала невыносимой. Ветер приносил все более странные и незнакомые запахи. До моих ушей донесся мерный плеск, словно неподалеку струила свои воды большая, но спокойная река, и к этому плеску примешивался хаотический гул множества человеческих голосов.

Пока я прислушивался, изумленный до последнего предела, короткий, но сильный порыв ветра, словно мановение волшебной палочки, унес в сторону завесу тумана.

Я увидел, что нахожусь у подножия высокой горы, а передо мной расстилается обширная равнина, по которой несет свои воды величественная река. На берегу стоял город восточного облика — вроде тех, о которых мы читаем в арабских сказках, но гораздо более своеобразный, чем какой-либо из них. Находясь высоко над городом, я мог видеть сверху каждый его уголок и закоулок, словно они были начерчены на плане. Бесчисленные улицы разбегались во всех направлениях, беспорядочно пересекая друг друга. Собственно говоря, это были даже не улицы, а узкие и длинные переулки, заполненные шумными толпами. Городские дома поражали своей причудливой живописностью. Повсюду балконы, галереи, минареты, храмы, святилища и круглые оконца с резными деревянными решетками. Множество многолюдных базаров привлекали покупателей бесконечным разнообразием товаров, представленных в неопишемом количестве. Там были шелка, муслины, сверкающие клинки,

великолепные драгоценные камни и жемчуг, пряности и благовония. И повсюду взгляд натыкался на паланкины и носилки с закутанными в покрывала знатными женщинами, на слонов в расшитых золотом и шелком попонах, на безобразных каменных идолов, барабаны, знамена, гонги, копья, серебряные и позолоченные палицы стражников. И среди этих толп, среди всей этой суеты, по запутанному лабиринту улочек, в окружении сотен тысяч темнокожих и желтокожих людей в тюрбанах и свободно ниспадающих одеждах, бродили стада украшенных лентами храмовых быков и коров, а полчища грязных священных обезьян прыгали, лопотали и визжали на карнизах, на кровлях домов и в оконных нишах. От заполненных людьми улиц к берегу спускались широкие каменные лестницы, ведущие к местам омовений, а сама река, казалось, с трудом прокладывает себе путь между целыми флотилиями тяжело нагруженных судов, под которыми скрывалась от глаз поверхность воды. За городом тянулись ввысь рощи кокосовых и масличных пальм и других экзотических деревьев неслыханной высоты и толщины. Взгляд выхватывал среди зелени то рисовое поле, то крытую пальмовыми листьями крестьянскую хижину, небольшой водоем, одинокий храм, а то и стройную смуглую девушку, спускающуюся к берегу величавой реки с медным кувшином на голове.

Вы, конечно, скажете, что все это мне привиделось во сне. Но клянусь, что это не так. В том, что я видел, слышал и чувствовал, больше того — даже в том, что я думал тогда, не было ни одной из тех особенностей, которые присущи сну. Все было строго логично и неразрывно связано в отдельных частях. Вначале, усомнившись, не чудится ли мне все это, я использовал несколько различных проверок, и они убедили меня, что я бодрствую и сознание мое остается ясным. Ведь когда человеку снится сон, а во сне он подозревает, что все происходящее ему всего лишь снится, это подозрение обязательно находит подтверждение в том, что спящий вскоре просыпается. Если бы я сразу не заподозрил, как только это видение явилось передо мной, что оно может быть сном, тогда оно, несомненно, и оказалось бы сном и ничем другим. Но раз уж я заподозрил, что оно может быть сном, и всесторонняя проверка не подтвердила эти подозрения, то приходится считать его чем-то иным.

— Я полагаю, что в этом вы не ошиблись, — кивнул доктор Темплтон. — Но продолжайте: итак, вы встали и спустились в город.

— Да, я встал, — продолжал Бедлоу, удивленно взглянув на доктора, — как вы верно заметили, и спустился в город. По пути я оказался в огромной толпе, запрудившей все дороги и двигавшейся в одном направлении. Поведение этих людей свидетельствовало о крайней степени возбуждения. Внезапно, словно под действием какого-то непостижимого толчка извне, я проникся всепоглощающим личным интересом к тому, что происходило вокруг. Я почувствовал, что мне предстоит сыграть какую-то важную роль, хотя и не знал, в чем она может заключаться. Вместе с тем эта толпа внушала мне глубокую враждебность. Я поспешил отделиться от нее и добрался до города окольными путями.

В городе я обнаружил невероятное смятение и неразбериху. Небольшой отряд воинов в наполовину восточных, наполовину европейских одеждах, под командованием офицеров в мундирах, напоминающих британские, отражал натиск городской бедноты, многократно превосходящей их численностью. Я присоединился к защитникам города, взял оружие одного из убитых офицеров и вступил в бой, хотя и не знал, против кого. Тем не менее я сражался с той яростью, которую рождает лишь отчаяние. Однако вскоре нас начали теснить, и нам пришлось укрыться в здании, напоминавшем какой-то павильон. Там мы забаррикадировались и смогли перевести дух. В узкое оконце под самым сводом павильона я увидел, как многотысячная бушующая толпа окружила мраморный дворец, стоявший над самой рекой, и бросилась на приступ. Не прошло и нескольких минут, как в одном из окон этого дворца, выходивших к реке, появился некий человек в роскошных одеждах. Спустившись вниз с помощью связанных между собой тюрбанов своих приближенных, он ступил в спешно поданную ему лодку и переправился на противоположный берег реки.

В этот миг какое-то новое стремление овладело моей душой. Я обратился к своим новым товарищам с кратким, но энергичным призывом совершить внезапную вылазку. Покинув павильон, мы отчаянно врезались в окружающую его толпу. Поначалу враги отступили, затем оправились, начали оказывать ожесточенное сопротивление, но мы снова начали их теснить. Тем временем мы

оказались далеко в стороне от павильона, в лабиринте узких темных переулков. Верхние этажи домов почти смыкались над ними, сюда почти не проникал солнечный свет, а мостовые были покрыты смрадными нечистотами. Городская чернь окружила нас, грозя нам копьями и пуская тучи стрел со странными наконечниками, с виду напоминавшими лезвия малайских крисов[150] или тела извивающихся змей. Длинные и темные, эти наконечники завершались отравленным острием. Одна такая стрела впилась мне в правый висок. Я зашатался и упал, почувствовав мгновенную ужасную дурноту. Все мое тело свела судорога... из моей груди вырвался конвульсивный вздох... И я умер!

— Ну, а теперь-то вы наверняка не станете отрицать, что все это ваше приключение было сном, — с улыбкой заметил я. — Не собираетесь же вы утверждать, что мертвы?

Произнося эти слова, я, разумеется, ждал, что Бедлоу ответит мне какой-нибудь забавной шуткой, но, к моему удивлению, он замолчал, вздрогнул и страшно побледнел. Я взглянул на Темплтона. Доктор сидел, выпрямившись и словно окостенев, его зубы стучали, а глаза буквально выкатывались из орбит.

— Продолжайте! — наконец хрипло выдавил он, обращаясь к Бедлоу.

— В течение нескольких минут, — заговорил тот, — была только бездонная тьма, растворение в беспредельности и осознание себя мертвым. Затем мою душу сотряс внезапный толчок, подобный удару электрического тока. А с ним вернулись ощущения упругости и света, но свет этот я воспринимал не зрением, а чувствовал каким-то иным образом. Я мгновенно вознесся над землей, не обладая при этом никакой телесной сущностью — видимой, слышимой или осязаемой. Толпа моментально рассеялась, мятеж погас. В городе установилось относительное спокойствие. Внизу, прямо подо мной, лежало мое мертвое тело — из виска торчала стрела, голова страшно распухла, лицо посинело и вздулось. Но все это я, повторяю, только чувствовал, а не видел. Ничто больше меня не интересовало, даже мой собственный труп, казалось, больше не имел ко мне отношения. Воля моя испарилась, но что-то иное побуждало меня двигаться, и я полетел прочь от города, в точности следуя тем же путем, каким вошел в него.

Когда я опять оказался в том месте долины, где видел в тумане гиену, я снова испытал сильнейший толчок, словно от прикосновения к контактам гальванической батареи. Ко мне моментально вернулось ощущение весомости, воли, телесного бытия. Я снова стал самим собой. После этого я поспешно направился в сторону дома, однако все, что случилось со мной, не утратило живости и реальности. Даже теперь, в эту минуту, я не могу заставить себя поверить, что все это было необыкновенно ярким и убедительным сновидением.

— О нет! — с глубокой серьезностью произнес Темплтон. — Конечно же, вы правы, хотя и трудно подыскать иное наименование тому, что с вами произошло. Давайте удовлетворимся предположением, что наука о человеческой душе ныне стоит на пороге каких-то грандиозных открытий. Все остальное я могу с большей или меньшей точностью объяснить. Вот рисунок акварелью, который мне давным-давно следовало бы показать вам обоим. Но мне мешало некое странное чувство, какой-то необъяснимый ужас, охватывавший меня всякий раз, когда я собирался это сделать...

Мы оба взглянули на рисунок, который Темплтон нам протянул. В нем не было ничего необычайного, однако на Бедлоу он произвел сокрушительное впечатление — бедняга едва не потерял сознание. А ведь это был всего лишь акварельный портрет, воспроизводивший — с неподражаемой, надо сказать, точностью — его собственные весьма примечательные черты. Во всяком случае, так я решил, взглянув на эту миниатюру.

— А теперь, — важно произнес Темплтон, — взгляните на дату создания этой акварели. Видите — в левом нижнем углу стоит едва заметная цифра, написанная свинцовым карандашом: тысяча семьсот восемьдесят? Именно тогда был создан этот портрет. Он изображает моего покойного друга мистера Олдеба, с которым я близко сошелся в Калькутте в ту пору, когда генерал-губернатором Индии был Уоррен Гастингс. Мне было тогда всего двадцать лет. Когда я впервые увидел вас в Саратогге, мистер Бедлоу, ваше невероятное сходство с этим портретом заставило меня искать знакомства, а затем и дружбы с вами. Именно поэтому я принял ваше предложение, предоставившее мне возможность стать вашим постоянным спутником. Конечно, в этом сыграли свою роль воспоминания о покойном друге, но в большей степени — тревожное и пугающее любопытство, которое вы сами

вызывали во мне. И вот вам подтверждение: только что, рассказывая нам о видении, явившемся вам в Крутых горах, вы с большой точностью описали индийский город Бенарес, стоящий на священной реке Ганг. Уличные беспорядки, стычки с толпой, гибель части отряда — все это реальные события, имевшие место во время восстания Чейт Сингха. Оно произошло в 1780 году, и тогда сам Уоррен Гастингс едва не простился с жизнью. Человек, спустившийся из окна дворца по веревке из связанных тюрбанов, как раз и был этот самый Чейт Сингх. В павильоне укрывались сипаи[151] и английские офицеры во главе с самим Гастингсом. Среди них был и я. Когда один из офицеров — он был моим самым близким другом — безрассудно отважился на вылазку, я приложил все силы, чтобы его отговорить, но безуспешно. В результате он пал в одном из переулков, пораженный отравленной стрелой бенгальского повстанца. Это и был мистер Олдеб... А вот эти записи — тут доктор достал тетрадь, несколько страниц которой были исписаны мелким почерком, и, очевидно, совсем недавно, — очень важное свидетельство. В те самые часы, когда вы грезили в долине в Крутых горах, здесь, дома, я заносил на бумагу все те события, которые вам виделись...

Примерно через неделю после этого разговора в одной из шарлоттсвилльских газет была опубликована заметка следующего содержания:

«Считаем своим долгом с глубоким прискорбием сообщить о кончине мистера Огастеса Бедло, джентльмена, чьи любезные манеры и многочисленные достоинства завоевали сердца обитателей Шарлоттсвилля. В последние годы мистер Бедло страдал тяжелой невралгией, приступы которой не раз грозили стать роковыми, однако этот недуг явился лишь косвенной причиной его смерти. Непосредственная же причина поистине необычайна. Во время прогулки по Крутым горам несколько дней назад покойный простудился, и у него началась лихорадка, сопровождавшаяся сильными приливами крови к голове. Пользовавшийся его доктор Темплтон решил прибегнуть к местному кровопусканию, и больному были поставлены пиявки на височную область. После чего больной скоропостижно скончался. Лишь дальнейшее расследование обстоятельств столь внезапной смерти показало, что в банку с медицинскими пиявками случайно попал ядовитый кровосос —

водное животное, изредка встречающееся в стоячих водоемах в наших краях. Это отвратительное беспозвоночное присосалось к малой артерии на правом виске, впрыснув в кровь больного смертельную дозу яда, а его сходство с медицинской пиявкой привело к тому, что ошибка была обнаружена слишком поздно.

Редакция напоминает, что ядовитый кровосос отличается от медицинской пиявки совершенно черной окраской, а главное, особой манерой плавать, напоминающей движения ползущей змеи».

Беседуя с редактором шарлоттсвилльской газеты об этом необыкновенном происшествии, я, к слову сказать, спросил, почему фамилия покойного указана в заметке как «Бедло».

— Полагаю, — заметил я, — у вас были какие-то основания для такого написания, хотя мне всегда казалось, что в действительности этого несчастного джентльмена зовут Бедлоу.

— Основания? — пожал плечами редактор. — Да нет, это обычная типографская опечатка. Разумеется, фамилия покойного пишется с «у» в конце — Бедлоу, и я ни разу в жизни не встречал иного написания.

«В таком случае, — пробормотал я, уже направляясь к двери, — остается только признать, что правда порой бывает куда более странной, чем самый затейливый вымысел: ведь «Бедлоу» без «у» — это же «Олдеб», только прочитанный наоборот! И этот человек пытается убедить меня, что здесь имела место обычная опечатка?»

Черный кот

История, о которой я собираюсь поведать, совершенно чудовищна и в то же время очень проста. Я не жду, что кто-то поверит, будто такое могло случиться, и не прошу об этом. С моей стороны было бы истинным безумием ожидать доверия, ибо мой собственный разум отказывается верить свидетельствам чувств. И все же я не безумен... и уж точно то, что произошло, мне не приснилось. Но завтра я умру и сегодня я хочу облегчить душу. Моя цель — в простых словах, кратко и без комментариев поведать миру о череде самых обычных событий, произошедших у меня дома. О череде событий, которые вселили в меня страх... заставили страдать... привели к гибели. Но я не стану пытаться объяснить, что произошло, ибо для меня то, что было, — неизъяснимый ужас... хотя многим это покажется не столько страшным, сколько *baroque*[152]. Когда-нибудь, возможно, сыщется

интеллект, который лишит пережитое мною иллюзий... какой-нибудь более сдержанный, более логический и гораздо менее возбудимый разум, чем мой, разум, который в тех обстоятельствах, о которых я вспоминаю с трепетом, увидит всего лишь обычную череду естественных причин и следствий.

С малых лет я отличался восприимчивостью и добротой. Мое мягкосердие было столь очевидно, что я даже превратился в своего рода посмешище для друзей. Особенно я любил животных, и благодаря потакавшим мне родителям у меня всегда были домашние любимцы, с которыми я проводил почти все время, и для меня не было большего удовольствия, чем кормить их и играть с ними. Эта особенность характера росла вместе со мной, и когда я повзрослел, животные стали для меня одним из главных источников удовольствия. Тем, кто знает, что такое любовь преданной и умной собаки, не нужно объяснять, какую радость это может приносить. В бескорыстной и самоотверженной любви зверя есть что-то такое, что не может не волновать сердце того, кто имел возможность познать жалкую дружбу и призрачную привязанность, существующие между людьми.

Женился я рано и был рад узнать, что моя супруга разделяет мое увлечение. Видя, насколько для меня важно иметь домашнего любимца, она постоянно приносила в дом разных животных. У нас были птицы, золотая рыбка, породистый пес, кролики, обезьянка и кот.

Последний был большим и удивительно красивым животным, полностью черным и невероятно умным. Что касается его ума, то жена моя, хоть суеверностью и не отличалась, не раз вспоминала о старом поверье, будто каждая черная кошка — это принявшая облик животного ведьма. Не то чтобы она когда-либо относилась к этому серьезно, и я привожу эту подробность лишь потому, что сейчас есть повод об этом вспомнить.

Плутон (так звали кота) был моим любимцем. С ним я проводил больше всего времени. Только я кормил его, и он всегда сопровождал меня, когда я ходил по дому. Более того, мне даже стоило больших трудов не давать ему следовать за мной, когда я выходил на улицу.

Эта дружба продлилась несколько лет, но за это время мой характер и нрав полностью переменились, и перемена была недоброй, причиной чему стало (хоть мне и стыдно это признавать) неумеренное

пристрастие к спиртному. С каждым днем я становился все мрачнее, все раздражительнее, меня все меньше беспокоили чувства других. Я стал позволять себе несдержанные высказывания в адрес жены. Со временем дошло даже до рукоприкладства. Питомцы мои, естественно, не могли не чувствовать, что со мной происходит. Я не только забросил их, но даже стал поднимать на них руку. Только к Плутону я сохранил уважение, не позволявшее мне обижать его, как я не моргнув глазом обижал кроликов, обезьянку и даже собаку, когда те случайно попадались мне на пути или ласкались. Но болезнь моя захватывала меня все сильнее (есть ли болезнь страшнее алкоголизма!), и теперь даже Плутон, который к тому времени уже начал стареть и сделался несколько капризен, даже Плутон начал страдать от моего испортившегося характера.

Однажды ночью, когда я сильно выпивший вернулся домой после очередной «вылазки» в город, мне показалось, что кот избегает меня. Все же я поймал его, и он, боясь, что я причиню ему боль, слегка укусил меня за руку. И тогда в меня будто вселился демон. Я перестал быть самим собой. Истинная душа моя в один миг покинула тело, и дьявольская злоба, подогреваемая выпитым джином, овладела мною. Я достал из кармана жилета перочинный нож, раскрыл его, взял несчастное животное за горло и вырезал ему один глаз. Когда я вспоминаю об этом чудовищном поступке, я сгораю от стыда, меня трясет и бросает в жар.

Наутро, когда разум вернулся ко мне, когда сон выветрил из моей головы винные пары ночной попойки, вспомнив о своем злодеянии, я испытал чувство, похожее одновременно на ужас и на раскаяние, но даже это чувство было слабым и каким-то смутным. Душа моя осталась холодна. Я снова взялся за бутылку и вскоре утопил в вине все воспоминания об этом поступке.

Со временем кот медленно пошел на поправку. Пустая глазница, правда, выглядела ужасно, но боли он, похоже, уже не испытывал. Он, как и раньше, разгуливал по всему дому, но, о чем нетрудно догадаться, едва заметив меня, тут же убегал в страхе. Какая-то частица прежнего меня еще сохранилась в моем сердце, поэтому очевидная неприязнь, которую теперь испытывало ко мне существо, раньше меня так любившее, поначалу очень печалила меня, но вскоре это чувство уступило место раздражению. А потом, словно в

подтверждение моего окончательного упадка, мною овладел дух противоречия. Философы не задумываются над этим понятием. Но ничто не заставит меня усомниться в том, что дух этот является одним из главных побуждающих начал в человеческом сердце... одним из неотделимых первичных качеств или чувств, которые превращают человека в то, что он есть. Кто не совершал тысячу злых или глупых поступков только лишь потому, что знал: так поступать не следует? Разве не заложено в нас неискоренимое желание вопреки здравому разуму нарушать то, что зовется «Законом» по той единственной причине, что мы его считаем таковым? Я повторю еще раз, пробуждение духа противоречия ознаменовало мое окончательное падение. Это был тот непостижимый душевный порыв *«сделать хуже самому себе»*, совершить насилие над собственной природой... сотворить зло ради самого зла, который заставил меня продолжить и в конечном итоге довести до конца издевательство над безобидным животным. Однажды утром я хладнокровно накинул ему на шею петлю и повесил на ветке дерева... Когда я это делал, слезы текли у меня по щекам, сердце разрывалось на части... Я повесил его, так как знал, что он любил меня, и так как чувствовал, что он не дал мне ни единого повода так поступить с ним... Я повесил его, поскольку знал, что, делая это, я совершаю грех, страшный грех, который заставит, если такое вообще возможно, отвернуться от моей бессмертной души даже самого всемилостивого, самого страшного Бога.

Ночью того дня, когда был совершен этот жестокий поступок, меня разбудили крики о пожаре. Полог моей кровати был охвачен пламенем. Горел весь дом. Мне, моей жене и слуге лишь каким-то чудом удалось спастись от огня, но разрушение было полным. Погибло все, что у меня было, и с тех пор меня не покидало отчаяние.

Я не настолько слабодушен, чтобы усмотреть причину и следствие в своем злодеянии и случившейся беде. Но я излагаю факты в их последовательности и не хочу, чтобы из этой цепочки выпало хотя бы одно звено. На следующий день после пожара я пришел на руины. Все стены дома, кроме одной, рухнули. Осталась стоять лишь одна из внутренних стен между комнатами, изголовьем к которой стояла моя кровать. Штукатурка на ней большей частью выдержала воздействие огня. Я приписал этот факт тому, что недавно эту стену чинили и штукатурка была еще свежей. У этой стены собралась довольно

большая группа людей, которые, похоже, очень внимательно и с особым интересом рассматривали какую-то ее отдельную часть. Восклицания «Странно!», «Необычно!» и другие, подобные им, пробудили во мне любопытство. Я подошел к толпе и увидел на белой поверхности стены изображение огромного *кота*, которое, словно bas-relief[153], въелось в штукатурку. Изображение было в самом деле поразительно достоверным. На шее животного четко просматривалась веревка.

Едва я узрел этот призрак (а другим словом я не могу это назвать), необычайное удивление и ужас охватили меня. Но позже разум пришел мне на помощь. Я вспомнил, что кот был повешен в саду, примыкающем непосредственно к дому. Как только началась вызванная пожаром суматоха, в этом саду собралось множество людей, из которых кто-то, должно быть, перерезал веревку и бросил животное в открытое окно моей комнаты. Возможно, это было сделано для того, чтобы разбудить меня. При падении остальные стены могли впечатать жертву моей жестокости в свежую штукатурку. Содержащаяся в ней известь вместе с огнем и аммиаком, выделяемым мертвым телом, и привели отпечаток в тот вид, в котором я его увидел.

Объяснив подобным образом этот удивительный факт, я успокоил свой разум (но не совесть), и все же это произвело на меня очень большое впечатление. Несколько месяцев меня преследовал призрак этого кота, и я снова испытал некое смутное чувство, которое было похоже на раскаяние, но не им являлось. Я дошел до того, что пожалел о том, что лишился этого кота, и в грязных притонах, где проводил теперь все больше времени, стал подыскивать другое животное того же вида и сходной наружности, которое могло бы занять его место.

Однажды вечером, когда, доведя себя почти до беспамятства, я сидел в пивной более чем сомнительной репутации, мое внимание неожиданно привлек какой-то черный предмет, лежащий на огромной бочке то ли джина, то ли рома, которая была главным предметом мебели в этом помещении. Я уже несколько минут смотрел на эту бочку и сильно удивился, что не заметил лежащего на ней предмета раньше. Я подошел и прикоснулся к нему рукой. Это был кот... огромный черный кот, не меньше Плутона и очень на него похожий, с одним лишь различием. У Плутона на всем теле не было ни одной белой шерстинки, а у этого кота было большое, хотя и нечеткое белое

пятно почти во всю грудь. Как только я прикоснулся к нему, он сразу встал, громко заурчал и потерся о мои пальцы. Похоже, ему было приятно, что я обратил на него внимание. Это было именно то, что я искал, поэтому я тут же предложил хозяину заведения купить животное, но он ответил, что это кот не его, он о нем ничего не знает и никогда раньше не видел.

Я еще немного погладил его, а когда собрался уходить, животное явно вознамерилось составить мне компанию. Я позволил ему следовать за мной, и, пока мы шли домой, я время от времени наклонялся и ласкал его. Дома он освоился сразу и быстро стал любимцем моей жены.

Я же вскоре почувствовал, что во мне растет неприязнь к этому существу, хотя ожидал отнюдь не этого. Не знаю, как или почему, но его явная любовь ко мне сделалась мне противна и скоро начала сильно раздражать. Мало-помалу ощущение отвращения и раздражения переросло в злость и ненависть. Я стал избегать кота, но некоторое чувство вины и воспоминания о своем прошлом жестоком поступке удерживали меня от того, чтобы обижать его. Несколько недель я его не бил и вообще не прикасался к нему, но постепенно, очень постепенно, его вид стал вызывать у меня непередаваемое отвращение. Я избегал его навязчивого присутствия, бежал от него, как от дыхания чумы.

Одной из причин, по которой я возненавидел кота еще больше, несомненно, стало то, что на следующее утро после того, как я привел его к себе домой, выяснилось, что у него, как и у Плутона, нет одного глаза. Впрочем, это обстоятельство сделало его только дорожкой для моей жены, которая, как я уже говорил, была в большой степени наделена той душевной добротой, которая когда-то была моей главной отличительной чертой и благодаря которой раньше я столько раз испытывал простую и чистую радость.

Но похоже, что по мере того, как росло мое отвращение к этому коту, его привязанность ко мне только усиливалась. Он не отступал от меня ни на шаг, с упрямством, которое трудно описать, следовал за мной буквально повсюду. Если я садился, он забирался под стул или запрыгивал мне на колени и начинал тошнотворно ластиться. Если я вставал, чтобы пойти на прогулку, он путался у меня под ногами, из-за чего я чуть не падал, а то и впивался длинными острыми когтями в

одежду и вскарабкивался по ней мне на грудь. В такие минуты, хоть меня и терзало жгучее желание уничтожить его одним ударом, я не делал этого, частично из-за воспоминания о своем прошлом преступлении, но в основном — лучше признаться в этом сразу, — потому что я жутко боялся этого создания.

Страх мой не был боязнью какого-то определенного несчастья... хотя как иначе его определить, я не знаю. Мне почти стыдно признаться... да, даже здесь, в тюремной камере, я почти испытываю стыд, говоря о том, что страх и ужас, внушаемые мне этим животным, были приумножены одной из самых незначительных химер, которые можно себе представить. Жена не раз указывала мне на белую отметину на груди кота, о которой я упоминал и которая была единственным видимым различием между этим странным существом и тем, которое я погубил. Читатель помнит, что пятно это хоть и было большим, имело неопределенную форму, однако постепенно, настолько незаметно, что долгое время разум мой отказывался верить в то, что это не игра воображения, тем не менее через какое-то время пятно это оформилось в четкий контур. Теперь по форме оно было неотлично от предмета, название которого заставляет меня содрогнуться — и за одно это я больше всего ненавидел, боялся его и избавился бы от этого чудовища, если бы осмелился — теперь это было изображение отвратительной... жуткой вещи... теперь на груди кота было отчетливо видно изображение ВИСЕЛИЦЫ! Мрачного и жуткого орудия ужаса и преступления... устройства, несущего агонию и смерть!

Отныне жизнь моя превратилась в муку, невыносимее самых страшных страданий, кои когда-либо испытывал смертный. Жалкая тварь, собрата которой я уничтожил с презрением, *тварь* эта причинила мне — мне, *человеку*, сотворенному по образу и подобию Всевышнего, столько неизъяснимого горя! Увы, с тех пор ни днем, ни ночью я не испытывал покоя, я навсегда утратил это благословение. Днем это существо ни на миг не оставляло меня, а по ночам, пробуждаясь ежечасно от мучавших меня нестерпимых кошмаров, я ощущал его жаркое дыхание у себя на лице и чувствовал огромный вес тела — воплощенный ужас, который сбросить с себя я был не в силах, — я чувствовал огромный вес тела, возлежащего на моем *сердце*!

Под тяжестью подобных адовых мучений ничтожные остатки добра, которые еще оставались у меня в душе, умерли. Злые помыслы, самые темные и отвратительные думы стали моими единственными спутниками. Привычная для меня угрюмость обернулась ненавистью ко всему и ко всем; и самой частой и самой безропотной жертвой моих многочисленных и внезапных приступов безотчетной ярости, которым я слепо поддавался, увы, была моя несчастная жена.

Однажды по какой-то хозяйственной надобности она спустилась вместе со мной в подвал старого здания, в котором нужда вынудила нас ютиться. На ступеньках крутой лестницы меня догнал кот и стал крутиться под ногами, из-за чего я едва не свалился вниз. Это привело меня в бешенство. Не помня себя и позабыв тот детский страх, который до сих пор сдерживал меня, я схватил топор и замахнулся. Удар, конечно же, стал бы для животного смертельным, если бы достиг цели, но мою руку остановила жена. Ее вмешательство привело меня в какое-то адское исступление. Я выдернул руку и вонзил топор ей в голову. Она упала, не издав ни звука.

Совершив это жуткое убийство, я тотчас стал думать, как избавиться от тела. Понятно было, что ни днем, ни ночью вынести его из дома я не мог, потому что в любое время меня могли увидеть соседи. Разные мысли приходили мне в голову. Поначалу я думал изрубить тело на куски и сжечь. Потом подумал было закопать его в подвале. Затем я решил бросить труп в колодец во дворе. Еще у меня возник план запаковать его в коробку, оформить как посылку и вызвать носильщика, который вынес бы его из дома. Наконец я остановился на том, что показалось мне гораздо лучшей идеей, чем все остальные. Я вознамерился замуровать его в стенах подвала, как это делали средневековые монахи со своими жертвами.

Для подобной цели подвал подходил как нельзя лучше. Стены в нем были шаткие, и совсем недавно их покрыли грубой штукатуркой, которая еще не успела высохнуть из-за влажности воздуха. Более того, в одной из стен имелась ниша: раньше там, должно быть, находилось нечто вроде фальшивого дымохода или очага, но сейчас это место было заложено и ничем не отличалось от остальных стен подвала. Я не сомневался, что смогу легко разобрать кладку, поместить туда труп и снова заложить стену так, что никто не заметит ничего подозрительного. И в своих расчетах я не ошибся. Вооружившись ломом, я легко разобрал кирпичи, потом аккуратно поместил в нишу тело, прислонил его к внутренней стене и подпер его в таком положении. Выстроить стену так, как она выглядела раньше, было нетрудно. Соблюдая всяческие предосторожности, я принес в подвал известку, песок и паклю, приготовил штукатурку, неотличимую от прежней, и замазал ею новую кладку. Закончив, я остался доволен своей работой. Ничто во внешнем виде стены не указывало на то, что ее недавно разбирали. Строительный мусор на полу я тщательно убрал. Осмотревшись вокруг, я в полном восторге сказал себе: «Ну вот, по крайней мере, мой труд не пропал даром».

Следующим моим делом было найти создание, ставшее причиной стольких бед, потому что наконец я решил казнить его. Если бы в тот миг кот попался мне под руку, участь его была бы определена, но, похоже, коварное животное, испугавшись моего припадка ярости, спряталось. Невозможно описать и даже представить, какое благословенное облегчение принесло мне отсутствие этой мерзкой твари. Ночью кот не пришел, так что, по крайней мере, один раз со дня

его появления в моем доме я получил возможность выспаться. Сон был глубоким и спокойным, даже несмотря на тяжесть убийства на душе!

Прошел еще день, за ним еще один, а мой мучитель так и не появлялся. Я снова начал дышать свободно. Чудовище в страхе навсегда покинуло мой дом! Больше я его не увижу! Радость моя не знала границ. Чувство вины за совершенный поступок почти не тревожило меня. Кое-кто меня спрашивал, куда запропастилась моя супруга, но я заранее подготовил ответы, так что отделаться от любопытствующих было нетрудно. Дом даже подвергся обыску, но, разумеется, ничего найдено не было. Я не сомневался, что в будущем меня ждет полное благоденствие. На четвертый день после убийства ко мне неожиданно нагрянула полиция. Они еще раз тщательно осмотрели весь дом и прилегающий участок. Впрочем, полностью уверенный в том, что труп спрятан надежно, я не чувствовал ни малейшего смущения. По настоянию офицеров во время обыска я держался рядом с ними. Они осмотрели каждый уголок, каждую нишу. Наконец в третий или четвертый раз они спустились в подвал. Я пошел с ними, и на моем лице не дрогнул ни один мускул. Мое сердце билось спокойно, как у спящего праведника. Сложив руки на груди, я неторопливо прохаживался по подвалу. Полностью удовлетворившись, офицеры приготовились уходить. Радость, которую я ощущал на сердце, была слишком сильна, чтобы я мог ее сдержать. Для полноты торжества меня так и подмывало что-нибудь сказать, чтобы их уверенность в моей невиновности удвоилась.

— Господа, — когда офицеры стали подниматься по лестнице, произнес наконец я, — я рад, что сумел развеять ваши подозрения. Желаю вам всего наилучшего, будьте здоровы и чуточку повежливее. Кстати, господа... а дом у меня очень надежный, — испытывая непреодолимое желание произнести что-нибудь непринужденным тоном, я почти не задумывался над тем, что говорю. — Я бы даже сказал, *изумительно* надежный. Эти стены... Вы торопитесь, господа? Эти стены строились на совесть...

И тут, опьяненный бравадой, я с силой постучал тростью по той самой кладке, за которой стоял замурованный труп моей жены.

Да защитит меня Господь от клыков врага рода человеческого! Едва звук удара стих, из глубины склепа мне ответил голос. Плач... Поначалу приглушенный и прерывистый, как нытье ребенка, он

быстро превратился в один долгий, громкий, непрекращающийся вопль... совершенно нечеловеческий и жуткий. Пронзительный, исполненный не то безраздельного ужаса, не то безудержного ликования, визг, который мог исходить только из преисподней... Вой, который могут исторгнуть лишь глотки проклятых, обреченных на вечные мучения, и демонов, упивающихся их страданиями.

Глупо говорить, что я почувствовал в тот миг. Покачнувшись, я отпрянул и вжался в противоположную стену. На какой-то миг люди на лестнице замерли, охваченные безотчетным страхом. А в следующее мгновение дюжина крепких рук навалилась на свежую кладку. Стена рухнула, и взору полицейских во весь рост предстал труп, уже сильно разложившийся и весь покрытый запекшейся кровью. На голове его, разинув красную пасть и сверкая единственным глазом, восседало адское создание, чьи происки подтолкнули меня к убийству и чей предательский голос отправил меня в руки палача. Я замуровал чудовище в склеп вместе с телом!

Золотой жук

Смотрите! Смотрите! Он пляшет, как безумный! Его укусил тарантул!

Все не правы[154]

Много лет назад я познакомился с неким мистером Вильямом Леграном. Он происходил из древнего рода гугенотов и был богат, но несколько случившихся подряд несчастий ввергли его в нужду. Чтобы отделаться от тягостных воспоминаний о своих бедах, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и переехал в Южную Каролину, на остров Салливана, где поселился недалеко от Чарлстона. Остров этот весьма необычен — три мили сплошного морского песка, отделенные от Большой земли почти невидимым проливом, похожим на вязкое болото из ила и грязи, в густых зарослях тростника, где обитает множество водяных курочек. Ширина этого клочка суши нигде не превышает четверти мили. Понятно, что растительность на нем очень скудная, большей частью карликовая. На всем острове нет ни одного высокого дерева. На западной оконечности острова, где вокруг форта Моултри разбросано несколько жалких каркасных домов, в

которых летом городские жители спасаются от пыли и лихорадки, правда, можно найти чахлые заросли пальметто[155]. Но в целом остров, за исключением этой западной точки и белого контура жесткого песка на побережье, покрыт густым миртовым подлеском, столь ценным английскими садоводами. Эти кусты часто достигают пятнадцати — двадцати футов и образуют почти непроходимые заросли, источающие густой удушливый аромат.

В самом сердце этих зарослей, недалеко от восточного края острова, Легран построил небольшую хижину, где он и жил, когда я совершенно случайно впервые повстречался с ним. Знакомство наше вскоре переросло в дружбу, поскольку отшельник этот вызывал во мне огромный интерес и уважение. Он выглядел человеком хорошо образованным и наделенным необычайно острым умом, зараженным, правда, мизантропией. К тому же он был подвержен резким переменам настроения: то его охватывали приступы необузданного воодушевления, то он впадал в меланхолию. Легран обладал немалым количеством книг, но редко к ним обращался. Главными его развлечениями были ружейная охота и рыбалка либо прогулки вдоль берега или в зарослях мирта, целью которых был поиск раковин или редких видов насекомых. Надо сказать, что его энтомологической коллекции позавидовал бы даже Сваммердам[156]. В этих своеобразных экспедициях его обычно сопровождал старый негр по имени Юпитер, бывший раб, освобожденный еще до того, как на семью его хозяина обрушились неудачи. Ни посулы, ни угрозы тем не менее не смогли заставить негра отказаться от того, что он считал своим правом всюду следовать за «масса Виллом» и заботиться о нем. Нельзя исключать того, что родственники Леграна, сомневаясь в его психической уравновешенности, умудрились каким-то образом специально внушить Юпитеру подобное упрямство с тем, чтобы скиталец не оставался без опеки.

Зимы на широтах острова Салливана редко бывают суровыми, осенью зажженный камин считается редкостью. Однако примерно в середине октября 18... года выдался необычно холодный день. Перед самым закатом я пробился через заросли вечнозеленых растений к хижине своего друга, которого последний раз навещал несколько недель назад — дело в том, что я жил в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и в те времена добраться туда было несравненно тяжелее, чем

в наши дни. Оказавшись у двери, я постучал, как было условлено, и, не услышав ответа, взял ключ, спрятанный в известном мне месте, открыл дверь и вошел. В очаге полыхал огонь. Это было необычно, но вполне уместно. Сбросив пальто, я сел в кресло рядом с камином, в котором потрескивали поленья, и стал терпеливо дожидаться возвращения хозяев.

Вернулись они затемно и очень мне обрадовались. Юпитер, улыбаясь во весь рот, бросился готовить на ужин водяных курочек. Легран пребывал в состоянии воодушевления. Он обнаружил еще неведомого науке двустворчатого моллюска, к тому же ему посчастливилось с помощью Юпитера изловить какого-то жука, скарабея, как он считал, тоже доселе неизвестного вида. Правда, по поводу последнего он хотел завтра услышать мое мнение.

— Почему же не сегодня? — поинтересовался я, потирая протянутые к огню руки и в душе проклиная все скарабеево племя.

— Эх, если б я знал, что вы здесь! — воскликнул Легран. — Но я вас так давно не видел, мог ли я предположить, что вы решите навестить меня именно сегодня вечером? По пути домой я встретил лейтенанта Дж. из форта и совершил непростительную глупость: отдал ему жука на время, так что до завтра вам никак не удастся его увидеть. Переночуйте у меня, а на рассвете я пошлю за ним Юпа. Может ли что-нибудь быть прекраснее?

— Вы о чем? О рассвете?

— Что за вздор? Нет, конечно. О жуке. Он золотого цвета и сверкает, как бриллиант... Размером с большой орех гикори... На спинке на одной стороне — два черных пятнышка, а на другой — еще одно, немного вытянутое. Усики и голова у него...

— Да нет в нем олова, говорю вам, масса Вилл, — вмешался в разговор Юпитер. — Золотой это жук, весь как есть из чистого золота! И внутри и снаружи, кроме крылышек... Я такого тяжеленного жука в жизни не видывал.

— Хорошо, хорошо, Юп, пусть будет золотой, — ответил Легран, как показалось мне, несколько серьезнее, чем можно было ожидать в подобной ситуации. — Что, из-за этого мы должны есть пригоревшую птицу? Цвет у него, — он снова повернулся ко мне, — в самом деле такой, что можно поверить Юпитеру. Видели бы вы, каким металлическим блеском сверкают его надкрылья... Но вы сами

сможете завтра в этом убедиться. А пока я могу нарисовать вам, как он выглядит.

С этими словами он уселся за небольшой стол, на котором лежало перо, стояла чернильница, но не было бумаги. Легран заглянул в ящик.

— Ладно, — сказал он, не найдя бумаги и там, — воспользуемся этим. — И вынул из кармана жилета какой-то очень грязный листок бумаги, на котором стал делать пером грубый набросок.

Пока он этим занимался, я продолжать сидеть у огня, поскольку все еще не согрелся. Когда рисунок был закончен, он, не вставая, передал его мне. Как только я взял его в руки, раздалось громкое рычание, а потом кто-то стал царапать в дверь. Когда Юпитер открыл ее, в хижину ворвался огромный ньюфаундленд Леграна, который тут же устремился ко мне, положил лапы мне на плечи и принялся ласкаться — вспомнил, наверное, как я играл с ним, когда приходил раньше. Наконец отделившись от него, я взглянул на бумагу и, честно говоря, изрядно удивился, увидев то, что изобразил на ней мой друг.

— Хм! — произнес я после того, как несколько минут рассматривал рисунок. — Надо признать, довольно странный жук. Никогда раньше такого не видел. Если бы я не знал, что это жук, я бы решил, что вы нарисовали череп или мертвую голову.

— Мертвую голову! — повторил Легран. — Да... Действительно... На бумаге некоторое сходство несомненно есть. Верхние два пятнышка похожи на глазницы, да? А длинное нижнее — это рот... Да и общий контур тела овальный.

— Возможно, — сказал я. — Но, Легран, боюсь, дело просто в том, что вы — неважный художник. Думаю, мне нужно увидеть ваше открытие своими глазами.

— Право, не знаю, — сказал он, несколько уязвленный моим замечанием. — Я всегда рисовал довольно сносно... По крайней мере, должен рисовать сносно, потому что у меня были прекрасные учителя. Да и болваном себя тоже, знаете ли, никогда не считал.

— Но, дорогой мой, в таком случае вы, очевидно, просто шутите! — воскликнул я. — Ну посмотрите сами, это же вылитый череп, как представляют этот предмет простые люди, не особо сведущие в физиологии... Если ваш жук в самом деле имеет такой вид, то это самый странный жук из всех существующих в природе. Представьте только, как на него должны смотреть суеверные люди! Вам нужно

назвать своего жука *Scarabaeus caput hominis*[157] или как-нибудь в этом роде. В естествознании есть множество похожих названий. Но где же усики, о которых вы говорили?

— Усики? — горячо воскликнул Легран, которого этот разговор, похоже, расстроил. — Неужели вы их не видите? Я нарисовал их точно так, как они выглядят, и, по-моему, этого должно быть вполне достаточно.

— Ну, знаете... — ответил я. — Может быть, вы их и рисовали, но я тем не менее их не вижу. — И я передал ему рисунок без дальнейших комментариев, поскольку не хотел продолжать его огорчать. По правде говоря, меня очень удивило, что разговор наш принял такой оборот. Его дурное настроение озадачило меня... А что касается рисунка, у жука на нем в самом деле не было никаких усиков, и он действительно очертаниями чрезвычайно напоминал обычный череп.

Легран с раздражением взял у меня листок и в сердцах хотел скомкать его и бросить в огонь, но случайно что-то в рисунке привлекло его внимание. Мгновенно лицо его сделалось красным, как вареный рак, а в следующую секунду жутко побледнело. Не вставая с места, он несколько минут сосредоточенно рассматривал рисунок, потом поднялся, взял со стола свечку и уселся на матросский сундучок, стоявший в дальнем углу. Там он еще раз подверг внимательному осмотру бумагу, поворачивая ее во все стороны, крутил и так и этак, за все это время не проронив ни звука. Меня, признаться, сильно удивило подобное поведение, однако, не желая обострять нарастающую раздражительность друга, я посчитал за лучшее воздержаться от каких-либо замечаний и тоже молчал. Наконец он достал из кармана бумажник, аккуратно положил в него листок и спрятал в ящик письменного стола, который запер на ключ. Теперь он держался значительно сдержаннее, но от былой радости не осталось и следа. Впрочем, он был скорее задумчив, чем мрачен, и в течение вечера все больше и больше уходил в себя, как я ни старался вернуть его в прежнее расположение духа. Сначала я собирался остаться на ночь в хижине, как много раз прежде, но, видя настроение своего друга, решил все же покинуть его. Он не стал настаивать на том, чтобы я остался, но на прощание пожал мне руку крепче обычного.

С того дня прошло около месяца (в течение которого я не встречался с Леграном и ничего не слышал о нем), когда ко мне в

Чарлстон наведася Юпитер. Никогда я не видел доброго старого негра в таком подавленном настроении и решил, что с моим другом стряслась какая-то беда.

— Слушай, Юп, — сказал я, — что случилось на этот раз? Как твой хозяин?

— О, правду вам скажу, масса, совсем не хорошо.

— Нехорошо! Ай-я-яй! На что же он жалуется?

— То-то и оно... Он ни на что не жалуется... Но ему совсем-совсем худо.

— Совсем худо? Юпитер, что же ты сразу не сказал? Он что, прикован к постели? Не может встать?

— Нет, куда там!.. Совсем наоборот... В том-то и дело... Ох, волнуюсь я за бедного масса Вилла.

— Юпитер, я не понимаю, о чем ты. Говоришь, твоему хозяину совсем плохо. Он не сказал тебе, что его беспокоит?

— Я и сам не знаю, что и думать... Масса Вилл не говорит Юпу, что с ним... Да только почему он все время ходит, уткнувшись носом в землю, плечи у него вверх торчат, сам белый, как гусь? И еще считает все время...

— Что делает?

— Считает, цифры какие-то пишет на доске грифельной... Да такие чудные, что я сроду таких не видал. Ох, страшно мне! Боюсь я за него, как бы с нервами у него ничего не приключилось. Недавно, пока я спал, когда еще даже солнце не встало, он сбежал и пропадал весь день! Я решил: вернется — ну и задам же я ему трепку! Уже и палку приготовил, чтоб проучить как следует. Да только дурак старый Юп! Не решился я этого сделать... Он такой несчастный тогда пришел...

— Что?.. А-а-а... Ну да! Но не думаю я, что тебе нужно так уж строго с несчастным парнем... Не бей его, Юпитер... Он не перенесет этого... Но неужели ты не знаешь, что вызвало эту болезнь или, вернее сказать, подобную перемену в поведении? Может быть, с тех пор как я в последний раз был у вас, что-нибудь случилось?

— Нет, масса, ничего такого с тех пор не случилось... Боюсь я, что все как раз в тот самый день и началось... Ну, когда вы приходили.

— Что ты имеешь в виду?

— Да как же, жука того, чтоб ему...

— Что?

— Жука... Говорю вам, масса Вилла этот жук золотой в голову укусил...

— И что же тебя, Юпитер, привело к такой мысли, интересно было бы узнать.

— Вот-вот, лапы, да с когтями, масса, и еще пасть его. Никогда раньше Юпитер не видел таких жуков... Он бросается на все и кусает все, что к нему ни приближается. Масса Вилл поймать-то быстро его поймал, да только тут же и выронил... Говорю вам, тогда-то жук и укусил его. Мне пасть его сразу не понравилась, я даже прикоснуться к нему не захотел, поймал его бумажкой, которую там рядом нашел. Завернул его в нее и кусок в пасть ему засунул. Так и было!

— И ты думаешь, что тогда твоего хозяина укусил жук и от этого укуса он заболел, верно?

— Ничего я не думаю... Я знаю. Если б золотой жук не укусил его, стало бы золото ему сниться всю ночь? Слышал я про этих жуков.

— Но откуда тебе известно, что ему снится золото?

— Откуда известно? Да он разговаривает во сне и все про него твердит...

— Что ж, Юп, возможно, ты и прав. Но чем все-таки я обязан твоему визиту?

— Что-что, масса?

— Мистер Легран просил мне что-то передать?

— Нет, масса. Я письмо принес.

И Юпитер вручил мне следующую записку:

«Дорогой...

Что же Вы так долго не заходите? Надеюсь, Вы не обиделись на небольшую brusquerie[158] с моей стороны во время нашей последней встречи? Нет, конечно же нет. С тех пор как мы в последний раз виделись, у меня появилась серьезная причина для беспокойства. Мне нужно кое-что Вам сказать, хотя я даже не представляю, как говорить об этом, и даже не уверен, стоит ли это делать.

На днях мне немного нездоровилось, к тому же бедный старик Юп невыносимо досаждал мне своей заботой. Можете себе представить, он даже недавно огромную палку приготовил, чтобы меня поколотить за то, что я улизнул от него и провел весь день solus[159] на холмах. Боюсь, что избежать наказания мне удалось лишь благодаря своему жалкому виду.

После нашей с Вами встречи я ничем не пополнил свою коллекцию.

В любом случае, если Вас это не затруднит, приходите с Юпитером. *Прошу Вас*, приходите. Мне бы очень хотелось увидеть Вас *сегодня*. Дело очень серьезное, поверьте.

Всегда Ваш,
Вильям Легран».

Тон этого послания меня сильно взволновал. Такой стиль совершенно не был в духе Леграна. О чем он думал? На какой новый крючок попался этот беспокойный мозг? Что это за «очень серьезное дело», о котором он пишет? Рассказ Юпитера не предвещал ничего хорошего. С ужасом я подумал, что пережитые моим другом несчастья в конце концов сказались на его рассудке, и без промедления стал собираться в дорогу.

Когда мы пришли на причал, я увидел в лодке, на которой нам предстояло плыть, косу и три лопаты, судя по всему, новые.

— Что это, Юп? — поинтересовался я.

— Коса и лопаты, масса.

— Я вижу, но что они тут делают?

— Масса Вилл велел купить их в городе. Ох, и не дешево они мне обошлись, скажу я вам!

— Но зачем, во имя всего загадочного, твоему «масса Виллу» понадобились коса и лопаты?

— Не знаю, и пусть меня черти к себе в преисподнюю утащат, если он сам это знает! Да только все это из-за жука проклятого, вот увидите.

Поняв, что Юпитер, у которого все мысли были заняты этим жуком, ничем не сможет мне помочь, я вошел в лодку, и мы отчалили. Дул свежий попутный ветер, и уже скоро мы высадились в небольшой бухточке к северу от форта Моултри; затем, пройдя две мили, достигли хижины. Прибыли мы примерно в три часа пополудни. Легран дожидался нас в необычайном волнении. Он так горячо и нервно стал жать мне руку, что я встревожился не на шутку, и мои опасения еще больше возросли. Он был пугающе бледен, а глубоко посаженные глаза его сверкали совершенно неестественно. Осведомившись первым делом о его здоровье, я, не зная, как продолжить беседу, спросил его, забрал ли он у лейтенанта Дж. своего жука.

— О да, — ответил он, густо краснея, — на следующее же утро. Ничто теперь не сможет заставить меня разлучиться с этим скарабеем. А вы знаете, Юпитер оказался прав насчет него.

— В чем именно? — спросил я с недобрым предчувствием.

— В том, что считает этого жука золотым, — ответил он с таким серьезным видом, что у меня упало сердце. — Этот жук принесет мне состояние, — продолжил он, радостно улыбнувшись. — С его помощью я верну утраченное родовое богатство. Так что не удивляйтесь, что я его так ценю. Раз уж судьба решила дать мне его в руки, мне остается только умело воспользоваться ее даром, и он выведет меня к золоту. Юпитер, принеси скарабея!

— Что, жука? Масса, я к этому жуку не прикоснусь... Сами его себе несите.

Легран встал и с важным, преисполненным достоинства видом принес жука, который находился в закрытом стеклянном сосуде. Действительно, жук был на редкость красив, и биологам тогда этот вид был еще не известен... Несомненно, с научной точки зрения ценность его была неоспорима. На спинке у него красовалось три черных пятна, два круглых с одной стороны и одно вытянутое — с другой. Поразительно твердые и гладкие надкрылья действительно сверкали, как настоящее полированное золото. Вес насекомого тоже был очень необычным. Увидев этого жука своими глазами, я не мог так уж строго судить Юпитера. Однако что заставило Леграна принять точку зрения негра, я, хоть убей, не мог понять.

— За вами я послал, — произнес он торжественным голосом, когда я закончил исследовать жука, — для того чтобы заручиться вашей поддержкой и помощью в достижении целей, указанных Провидением и жуком...

— Дорогой Легран, — воскликнул я, прерывая его, — вы явно нездоровы, вам нужно лечиться. Давайте, вы ложитесь, а я останусь с вами на несколько дней, пока вам не станет лучше. У вас лихорадка и...

— Проверьте мой пульс, — сказал он.

Я выполнил его просьбу и не обнаружил никаких признаков лихорадки.

— Но можно болеть и без лихорадки. Уж позвольте мне на этот раз дать вам совет. Во-первых, вы должны лечь в постель. Во-вторых...

— Вы ошибаетесь, — перебил он меня. — Я совершенно здоров, если не считать переполняющего меня возбуждения. Если вы действительно хотите мне помочь, помогите мне от него избавиться.

— И как же это сделать?

— Очень просто. Мы с Юпитером отправляемся в экспедицию на Большую землю в горы, и нам понадобится помощь человека, на которого мы могли бы положиться. Вы — единственный, кому мы доверяем. Независимо от того, чем экспедиция закончится, успехом или провалом, мое возбуждение оставит меня.

— Я с радостью окажу вам любую помощь, — ответил я. — Но не хотите ли вы сказать, что этот чертов жук имеет какое-то отношение к вашей экспедиции?

— Самое непосредственное.

— В таком случае, Легран, я не собираюсь участвовать в этой бессмысленной затее.

— Как жаль... Действительно, очень жаль... потому что тогда нам придется справляться одним.

— Справляться одним! Нет, вы точно сошли с ума!.. Но погодите... Как долго, по-вашему, продлится ваша экспедиция?

— Возможно, всю ночь. Мы выходим немедленно и вернемся, скорее всего, с восходом.

— И вы клянетесь честью, что, когда этот ваш каприз будет удовлетворен и все это дело с жуком (Боже правый!) закончится, вы вернетесь домой и неукоснительно выполните все предписания, которые я дам как ваш врач?

— Да. Клянусь. А теперь в путь. Время не ждет!

С тяжелым сердцем я вышел из хижины вслед за своим другом. В путь мы двинулись около четырех часов — Легран, Юпитер, собака и я. Косу и лопаты нес Юпитер по собственному желанию: мне кажется, больше из страха доверить эти орудия своему хозяину, а не из вежливости или старательности. Настроение его не изменилось, и единственные слова, которые слетали с его уст в течение всего путешествия, были: «Этот проклятый жук». Мне было доверено нести пару потайных фонарей, а сам Легран нес жука, привязанного к концу тонкой бечевки, которого на ходу поворачивал то в одну, то в другую сторону с видом заправского фокусника. Глядя на это последнее очевидное доказательство помутнения рассудка моего друга, я не мог

сдержат слез. Тем не менее я посчитал, что будет разумнее до поры до времени потворствовать его фантазиям, хотя бы до первого подходящего случая, когда понадобится применить какие-нибудь более энергичные меры воздействия. Пока же я осторожно пытался выяснить у него, какова цель нашей экспедиции. Зря старался — добившись от меня согласия сопровождать его, он, похоже, утратил всякое желание поддерживать какие бы то ни было разговоры и на все мои вопросы отвечал лишь: «Посмотрим!»

Пролив мы пересекли на плоскодонке и, высадившись на Большой земле, двинулись в северо-западном направлении через дикие и пустынные земли, где, похоже, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас за собой, останавливаясь лишь ненадолго, для того чтобы свериться с какими-то одному ему известными ориентирами, которые, должно быть, запомнил, побывав здесь прежде.

Так продолжалось примерно два часа, пока на закате мы не добрались до мест более унылых и неприветливых, чем все, что мы видели до сих пор. Это была равнина у подножия казавшейся неприступной горы, густо поросшей деревьями до самой вершины и усеянной огромными валунами, которые лежали прямо на земле, будто готовые в любую секунду скатиться в долину. Многие держались на месте только потому, что упирались в деревья. Длинные ущелья, тянущиеся во всех направлениях, придавали картине еще больше строгой торжественности.

Естественная платформа, на которую мы стали карабкаться, была сплошь покрыта зарослями ежевики, и вскоре стало понятно, что без косы нам их не преодолеть. Поэтому Юпитер по указанию хозяина начал прокладывать нам путь к гигантскому тюльпановому дереву, росшему среди десятка дубов, но превосходившему их и все остальные деревья, которые мне когда-либо приходилось видеть, красотой кроны и ствола, размахом ветвей и царственным величием общего вида. Когда мы достигли дерева, Легран повернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли он взобраться на него. Старика этот вопрос, похоже, удивил. Несколько секунд он молчал, потом приблизился к стволу и, внимательно осматривая его, обошел вокруг. Затем просто сказал:

— Да, масса. Юп еще не видел дерева, на которое не смог бы залезть.

— В таком случае поторапливайся — скоро станет совсем темно.

— Как высоко лезть, масса? — поинтересовался Юпитер.

— Сначала доберись до веток, а там я скажу... Стой, возьми жука.

— Жука, масса Вилл?.. Золотого жука? — воскликнул негр и стал пятиться в смятении. — Это зачем? Да провалиться мне сквозь землю, если я возьму его в руки!

— Если ты, Юп, взрослый большой негр, боишься взять в руки безобидного мертвого жука, держи его за эту веревочку... Но если ты не возьмешь его с собой, мне придется проломить тебе башку этой лопатой.

— Да что на вас нашло, масса? — пошел на попятную пристыженный Юп. — Вечно вы старого негра обижаете. Я ведь просто пошутил. Чтоб я жука испугался! Да чего его бояться-то?

Он осторожно взялся за кончик бечевки и, держа ее на вытянутой руке подальше от себя, подошел к дереву и приготовился лезть вверх.

Когда тюльпановое дерево, или *Liriodendron Tulipiferum*, прекраснейшее из американских лесных жителей, молодо, ствол у него ровный и гладкий и часто уходит высоко вверх без поперечных веток, но, когда оно достигает зрелого возраста, кора его становится сучковатой и неровной, а ствол покрывается множеством коротких отростков. Поэтому в данном случае сложность подъема была скорее кажущейся. Обхватив огромный цилиндр руками и коленями, хватаясь за одни сучья и упираясь босыми ногами в другие, Юпитер, дважды чудом избежав падения, наконец втиснулся в первую большую развилку и, похоже, посчитал, что на этом самая сложная часть его задания выполнена. Главная опасность действительно была позади, хотя верхолаз теперь находился футах в шестидесяти — семидесяти над землей.

— Куда теперь, масса Вилл? — спросил он.

— Лезь по самому большому суку... С этой стороны, — сказал Легран. Негр послушно устремился вверх по ветке. Теперь карабкаться ему, похоже, было не так трудно. Через какое-то время его скрюченная фигура исчезла из виду в густой листве, а потом сверху послышался его голос:

— Сколько еще лезть?

— Как высоко ты забрался? — крикнул в ответ Легран.

— Высоко! — отозвался негр. — Вижу небо сквозь верхушку дерева.

— Нечего на небо смотреть, слушай, что я буду говорить. Посмотри вниз и посчитай, сколько боковых веток под тобой с этой стороны. Через сколько веток ты перелез?

— Одна, две, три, четыре, пять... Через пять веток, масса, с этой стороны.

— Тогда поднимись еще на одну.

Через несколько минут голос сверху возвестил, что достигнута седьмая ветка.

— А теперь, Юп, — крикнул Легран, явно очень взволнованный, — лезь по этой ветке как можно дальше. Увидишь что-нибудь необычное — дай мне знать.

К этому времени, если какие-то сомнения насчет сумасшествия моего несчастного друга у меня и оставались, они развеялись окончательно. Его, безусловно, охватило безумие, и я всерьез задумался, как доставить его домой. Пока я размышлял над всем этим, снова раздался голос Юпитера.

— Дальше лезть страшно... Ветка вся сухая!

— Ты сказал сухая, Юпитер? — крикнул Легран дрожащим от волнения голосом.

— Да, масса, совсем-совсем мертвая... Мертвее не бывает...

— Черт возьми, что же делать? — в отчаянии воскликнул Легран.

— Что делать? — я обрадовался подвернувшемуся случаю вставить свое слово. — Отправляться домой и ложиться спать. Пойдемте... Ну же! Поздно уже, к тому же вы слово дали, помните?

— Юпитер, — крикнул он, не обратив на мои слова ни малейшего внимания, — ты меня слышишь?

— Да, масса Вилл, слышу, как же не слышать.

— Попробуй ветку ножом. Что, совсем сгнила?

— Совсем, масса, — ответил негр через несколько секунд. — Но не до конца. Один я еще мог бы чуть-чуть дальше проползти.

— Один? Что ты имеешь в виду?

— Жука! Жук очень тяжелый. Может, я его сброшу, а? Одного негра ветка еще выдержит, не сломается.

— Ах, чтоб тебя черти забрали, мерзавец! — крикнул Легран с явным облегчением. — Что за чепуху ты несешь? Попробуй только

бросить жука, я тебе сам шею сверну! Юпитер, слышишь меня?

— Да, масса. Что вы все на бедного негра так кричите!

— Ну, вот что, послушай!.. Если еще дальше проползешь по ветке и не бросишь жука, как только спустишься, получишь от меня в подарок серебряный доллар.

— Хорошо, масса Вилл... Готово! — почти сразу крикнул негр. — Я уже у самого конца.

— У самого конца? — завопил Легран. — Ты что, хочешь сказать, что дальше ползти некуда?

— Нет-нет, масса! Я хотел сказать, до конца совсем близко, рукой уже подать... А-а-а-а! У-у-у-у! Господи всемогущий, что это? Что это такое?

— Ну? — обрадованно крикнул Легран. — Что там?

— Ничего такого. Просто череп!.. Кто-то оставил свою голову на дереве, а вороны склевали все мясо.

— Череп, говоришь... Прекрасно... А как он держится на ветке?.. Он чем-то прикреплен?

— Да, масса, прикреплен! Посмотреть надо... Ну дела! Вы не поверите, масса... В черепе здоровенный гвоздь!.. Он им прибит к ветке.

— Так, слушай меня очень внимательно, Юпитер, и делай все точно как я говорю... Ты слышишь?

— Да, масса.

— Внимательно там!.. Найди левый глаз черепа.

— Э-э-э... Гм... Хорошо, сейчас... А у него совсем глаз нету, масса. Ни одного!

— Тупица! Ты знаешь, где у тебя рука правая, а где левая?

— Знаю... Как же такого не знать... Левой рукой я дрова рублю.

— Точно, ты же левша! Так вот, твой левый глаз находится у тебя с той же стороны, что и левая рука. Ну, теперь-то, надеюсь, ты найдешь левый глаз черепа или то место, где был левый глаз? Нашел?

Ответа не было долго. Наконец раздался голос негра:

— У черепа левый глаз с той же стороны, что и левая рука? Так у черепа совсем рук нету... Но я нашел!.. Нашел, вот он, левый глаз. И что мне с ним делать?

— Свесь через него жука, насколько хватает веревки. Только смотри, не отпусти!

— Готово, масса Вилл. Свесить жука через дырку — ничего сложного. Вам снизу видно? Вон на веревочке болтается.

За все время этого диалога Юпитера было совершенно не видно, но жука, которого ему удалось-таки опустить, мы заметили сразу. Он покачивался на конце бечевки и блестел, как начищенный золотой шарик, в последних лучах заходящего солнца, все еще озарявших возвышенность, на которой мы стояли. Жук свободно свисал между веток, и, если бы его отпустили, он упал бы прямо к нашим ногам. Легран тут же схватился за косу и расчистил под ним круглое пространство три-четыре фута в диаметре. После этого приказал Юпитеру отпустить бечевку и спускаться.

Вбив в землю колышек в том месте, куда упал жук, мой друг достал из кармана рулетку. Прикрепив один ее конец к стволу дерева в месте рядом с колышком, он протянул мерную ленту до колышка, а потом стал разворачивать ее в направлении, на которое указывали две полученные точки (ствол и колышек), пока не отмерил пятьдесят футов. Заросли ежевики косою расчищал Юпитер. В определенном таким образом месте был вбит в землю еще один колышек, а вокруг него описан круг диаметром около четырех футов. После этого Легран взял лопату, вручил лопаты нам с Юпитером и попросил как можно скорее начать копать.

Откровенно говоря, подобного рода занятия никогда не доставляли мне большого удовольствия, и при других обстоятельствах я отказался бы это делать, тем более что приближалась ночь, да и сказывалась усталость. Однако я не смог придумать способа отвертеться и побоялся своим отказом лишить моего бедного друга душевного равновесия. Если бы я был уверен, что могу положиться на помощь Юпитера, я, несомненно, попытался бы доставить обезумевшего домой силой, но я слишком хорошо знал старого негра, чтобы надеяться на его помощь мне, если я открыто выступлю против его хозяина. У меня уже не осталось сомнения, что Легран позволил себе увлечься одним из бесчисленных на наших южных берегах преданий о якобы зарытых сокровищах и что фантазии его подогрел жук или, возможно, настойчивые уверения Юпитера, что этот жук золотой. Разум, предрасположенный к безумству, легко поддается подобному влиянию, особенно если оно согласуется с уже имеющимися тайными стремлениями души... Тут я вспомнил и слова бедняги о том, что жук

этот приведет его к богатству. Я очень расстроился и не знал, как поступить, но, не видя другого выхода, решил смириться с неизбежным и все-таки взялся за лопату, дабы побыстрее наглядно убедить фантазера в ошибочности его взглядов.

Мы зажгли фонари и приступили к работе с усердием, достойным более разумного применения. Когда неяркий свет упал на нас и наши инструменты, я не мог не подумать, каким живописным выглядит наш небольшой отряд со стороны и как удивило бы наше занятие какого-либо путешественника, забреди он в эти дебри.

Два часа мы упорно копали, без отдыха и почти не разговаривая. Больше всего нам мешал лай пса, у которого наше занятие, похоже, вызвало чрезвычайный интерес. В конце концов он до того разошелся, что мы начали побаиваться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, околачивающегося поблизости. Вернее, этого опасался Легран, потому что я, наоборот, был бы только рад, если бы нам что-то помешало и я бы смог увести своего друга домой. Но этот назойливый шум наконец прекратил Юпитер, который, неторопливо выбравшись из ямы, снял помочи и просто завязал ими морду животного, после чего, криво усмехаясь, вернулся к работе.

За два часа мы углубились в землю на пять футов, но не обнаружили никаких признаков сокровищ. Последовал перерыв в работе, и я уж начал надеяться, что этот фарс наконец-то завершится, но Легран, хоть и был явно обескуражен, сдаваться, похоже, не собирался. В задумчивости погладив лоб, он снова взялся за лопату. Мы уже выкопали круг диаметром четыре фута, теперь слегка расширили его и углубили яму еще на два фута — все так же безрезультатно. Лишь после этого Легран выбрался из ямы. Величайшее разочарование было написано на лице кладоискателя, он стал медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который энергично сбросил, когда мы приступали к работе. Надо сказать, что в ту минуту мне даже стало его искренне жаль, но я почел за лучшее сохранять молчание. Юпитер по сигналу хозяина стал собирать инструменты. Сняв путы с морды собаки, мы молча двинулись домой.

Мы не прошли и дюжины шагов, как вдруг Легран, громко выругавшись, подскочил к Юпитеру и схватил его за воротник. Негр, от изумления распахнув глаза и разинув рот, выронил лопаты и повалился на колени.

— Каналья! — прошипел сквозь стиснутые зубы Легран. — Подлый черный негодяй!.. Говори! Ну!.. Отвечай сию же секунду без уверток!.. Где... где у тебя левый глаз?

— Умереть мне на месте, масса Вилл, вот он, вот! Разве нет? — в ужасе закричал Юпитер, закрыв ладонью свой правый глаз так, будто боялся, что хозяин собирает его выколоть.

— Я так и знал! Ура! — завопил Легран, отпустил негра, в восторге сделал несколько курбетов и пустился в пляс, чем поверг в глубочайшее изумление своего слугу, который молча поднялся с колен, воззрился на хозяина, потом на меня и снова перевел взгляд на хозяина.

— Идемте! Мы должны вернуться. Игра не окончена! — выкрикнул мой друг и устремился в обратном направлении. — Юпитер, — сказал он, когда мы снова подошли к тюльпановому дереву, — иди сюда. Скажи, череп был прибит лицом к ветке или от нее?

— Лицо смотрело от дерева, масса, чтобы воронам легче было глаза выклевывать.

— Хорошо. Так, значит, через какой глаз ты опустил жука, через этот или через этот? — спросил Легран, прикоснувшись сначала к левому, потом к правому глазу Юпитера.

— Через этот, масса... через левый... как вы и велели, — и он указал на свой правый глаз.

— Все понятно... Значит, попытаемся еще раз.

С этими словами мой друг, в безумии которого я теперь начал замечать определенную последовательность, вынул из земли колышек в том месте, куда упал жук, и воткнул его несколькими дюймами западнее. После этого, снова приложив рулетку к стволу дерева, он нашел на нем ближайшую к колышку точку и, продвигаясь по прямой в найденном направлении, отмерил от колышка пятьдесят футов. Новое место оказалось в нескольких ярдах от выкопанной нами ямы.

Начертив новый круг, несколько большего диаметра, мы снова взялись за лопаты. Я совершенно выбился из сил, но во мне произошла какая-то непонятная мне самому перемена. Теперь наше занятие уже не вызывало у меня отвращения, я даже стал испытывать к нему интерес. Даже не интерес, а настоящее волнение. Возможно, некая продуманность или рассудительность в столь странном поведении

Леграна оказала на меня такое воздействие. Увлеченно копая, я несколько раз ловил себя на том, что с каким-то вожделением думаю о сокровищах, призрачный блеск которых уже лишил ума моего несчастного приятеля. Когда мы проработали примерно полтора часа и все эти мысленные завихрения захватили меня окончательно, нас снова прервал лай пса. Если в первый раз беспокойство его было вызвано игривостью или капризом, то теперь он завывал заунывно и, похоже, совершенно не был склонен к озорству. Когда Юпитер опять попытался надеть на него самодельный намордник, пес стал яростно сопротивляться, вырвался, прыгнул в яму и принялся изо всех сил грести влажную землю лапами. Не прошло и минуты, как он откопал грудку костей, которые оказались двумя человеческими скелетами, перемешанными с металлическими пуговицами и клочками сгнившей шерстяной ткани. Еще пара взмахов лопаты — и перед нами предстал большой испанский нож и несколько золотых и серебряных монет.

Когда Юпитер увидел их, его радости не было предела, но хозяин его явно был разочарован. Все же он потребовал, чтобы мы продолжали, и как только он произнес это, я споткнулся и полетел лицом на землю из-за того, что угодил носком ботинка в большое железное кольцо, обнаружившееся в рыхлой земле.

Это придало нам силы, и я не помню, чтобы когда-нибудь в своей жизни трудился с таким же рвением, как в следующие десять минут. Этого времени хватило нам, чтобы извлечь на поверхность продолговатый сундук, деревянные стенки которого, судя по их удивительной сохранности и необычной твердости, явно подверглись какому-то процессу минерализации, возможно, пропитались двухлористой ртутью. Длина этого сундука была три с половиной фута, ширина — три фута, высота — два с половиной фута. Со всех сторон сундук был обтянут прочными железными лентами с заклепками, чем-то похожими на решетку. Кроме того, ближе к крышке были приделаны железные кольца (всего шесть штук, по три с каждой стороны), за которые могли взяться шесть человек. Как мы ни тужились, нам удалось лишь немного расшевелить сундук на том месте, где он засел в земле. Стало понятно, что такой вес мы не одолеем. К счастью, крышка крепилась всего двумя засовами. Дрожащими руками, задыхаясь от волнения, мы сдвинули их, и в следующий миг нашему взору открылись сокровища неисчислимой

ценности. Когда в яму упали лучи фонарей, она вся наполнилась ослепительным сиянием и блеском, исходящими из сундука, доверху набитого золотом и драгоценными камнями.

Даже не буду пытаться описать чувства, охватившие меня, когда я все это увидел. Главным, конечно же, было изумление. Легран от восторга потерял дар речи и смог пробормотать лишь несколько слов. Юпитер побледнел, насколько природа позволяет побледнеть негру. Несколько минут он остолбенело таращился на сокровища, потом упал на колени, запустил свои голые руки по локоть в золото и замер с таким видом, точно наслаждался ванной. Наконец, тяжело вздохнув, он изрек, точно обращаясь к самому себе:

— И все это благодаря золотому жуку! Бедному золотому жучку, которого я так обижал... И не стыдно тебе, старый глупый негр? Отвечай, не стыдно?

Наконец я понял, что пора напомнить хозяину и слуге, что находку нашу хорошо бы как-то доставить домой. Уже было довольно поздно и нужно было решать, как это сделать до наступления утра. Все мы были порядком сбиты с толку, никто не знал, как поступить, поэтому на обдумывание ушло много времени. Наконец мы облегчили сундук, достав из него две трети содержимого, и лишь после этого, и то с огромным трудом, вытащили его из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в зарослях ежевики. Охранять их оставили пса, получившего от Юпитера строгий наказ ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не сходить с места и не раскрывать пасть до нашего возвращения. После этого мы поспешили домой с сундуком и без приключений, но совершенно выбившиеся из сил добрались до хижины примерно в час ночи. При такой усталости не могло быть и речи о том, чтобы немедленно пуститься в обратный путь, поэтому мы отдохнули, часа в два перекусили, после чего отправились назад в горы, прихватив три прочных мешка, которые, к счастью, отыскались в хозяйстве. Почти в четыре утра мы снова были на месте, по возможности поровну разделили остаток нашей добычи на три части и, не закапывая ямы, отправились обратно к хижине, куда пришли с первыми лучами солнца, уже показавшегося над верхушками деревьев.

Ни у кого из нас не осталось сил, но овладевшее нами волнение лишило нас полноценного сна. Часа три-четыре беспокойной дремоты, и мы как по команде поднялись, чтобы наконец внимательно осмотреть наши сокровища. Драгоценности были свалены как попало. Все аккуратно разобрав, мы поняли, что стали обладателями богатства намного большего, чем нам представлялось сначала. Находившиеся в сундуке монеты мы, пользуясь специальными таблицами, оценили больше чем в четыреста пятьдесят тысяч долларов в пересчете на современный курс. Серебра там не было вовсе, сплошное золото, старинное и разнообразное: французские, испанские, немецкие деньги, несколько английских гиней и еще какие-то золотые кружочки, которых мы раньше никогда не видели. Встречались среди них очень большие и тяжелые монеты, до того истертые, что на них невозможно было что-либо прочесть. Американских не было ни одной. Оценить драгоценности оказалось сложнее. Всего мы обнаружили сто десять бриллиантов (в том числе несколько необычайно больших и чистых, но ни одного маленького); восемнадцать рубинов изумительного блеска; триста десять прекрасных изумрудов; двадцать один сапфир и один опал. Все эти камни были извлечены из оправ и просто брошены в сундук. Оправы, найденные нами среди прочих золотых вещей, были специально расплющены молотком, очевидно, чтобы их нельзя было опознать. Помимо этого, там было и огромное количество украшений из чистого золота: почти две сотни крупных колец и серег; тридцать богатых цепочек, если мне не изменяет память; восемьдесят три очень больших и тяжелых распятия; пять золотых кадил огромной ценности; загадочная золотая чаша, украшенная богатым орнаментом в виде виноградных листьев и вакхических фигур; две сабельных рукоятки прекрасной ювелирной работы и еще множество мелких предметов, которых я сейчас даже не вспомню. Общий вес этих драгоценностей превысил триста пятьдесят английских фунтов. Я не включил в этот список великолепные золотые часы, которых мы насчитали сто девяносто семь штук, и среди них трое стоили не меньше пятисот долларов. Многие из них были очень старыми и как показатели времени никуда не годились (их механизмы заржавели), но все имели богатые корпуса, инкрустированные драгоценными камнями. В то утро полное содержимое сундука мы оценили в полтора миллиона долларов. Правда, когда мы продали золото и драгоценные камни (кое-

что оставили себе на память), выяснилось, что стоимость нашей находки оказалась значительно выше. Когда было покончено с осмотром и наше волнение несколько утихло, Легран, видя, как мне не терпится узнать решение этой поразительной загадки, приступил к подробному рассказу обо всем, что с ней связано.

— Вы, конечно, помните, — сказал он, — тот вечер, когда я нарисовал для вас жука. Наверняка вы не забыли, как я рассердился, когда вы принялись так настойчиво утверждать, что мой набросок похож на мертвую голову. Когда вы сказали об этом в первый раз, я решил, что вы шутите, но потом, вспомнив про необычные пятнышки на спинке насекомого, вынужден был признать, что ваше сравнение не лишено основания. И все же меня укололо то, как вы прошлись по моему художественному таланту (я ведь считаюсь неплохим художником), поэтому, когда вы вернули мне обрывок пергамента, я от злости даже хотел смять его и бросить в огонь.

— Вы хотели сказать, клочок бумаги.

— Нет, это было очень похоже на бумагу, и сначала я тоже думал, что это бумага, но, едва начав рисовать, понял, что это пергамент, очень тонкий и грязный, как вы помните. Так вот, когда я комкал его, мой взгляд случайно упал на тот рисунок, который видели вы, и можете себе представить мое изумление, когда на месте, где я рисовал жука, я тоже увидел изображение черепа. На какой-то миг я до того изумился, что просто был не в состоянии думать. Я-то знал, что мой набросок совершенно не был похож на это изображение, просматривалось лишь некоторое сходство в общих очертаниях. Потом я взял свечу, отошел в другой конец комнаты и стал внимательно рассматривать пергамент. Перевернув его, я увидел и свой рисунок в том виде, в котором я его набросал. Сначала я удивился от того, что два разных рисунка действительно оказались так похожи, от того, что на пергаменте, именно на том месте, где я нарисовал жука, только на оборотной стороне, оказалась нарисована мертвая голова, о чем я до этого не знал. Причем голова эта не только размерами, но и очертаниями очень походила на мое изображение. Поверьте, невероятность подобного совпадения на какое-то время повергла меня в полнейшее смятение. Впрочем, это обычная реакция человека на подобные совпадения. Разум лихорадочно пытается найти какую-то связь... некую причинно-следственную последовательность, но, не

находя ее, впадает во временный паралич. Но, когда я наконец очнулся, во мне постепенно начала зарождаться уверенность, удивившая меня даже больше, чем само совпадение. Я совершенно отчетливо помнил, что на пергаменте не было никаких других изображений, когда я рисовал на нем жука. Я перестал в этом сомневаться, вспомнив, как в поисках чистого места осмотрел пергамент сначала с одной стороны, а потом — с другой. Если бы череп там был, разумеется, я не мог бы его не заметить. Эту загадку объяснить я был не в силах, но уже тогда в самых потаенных уголках моего сознания забрезжил слабый, похожий на светлячка огонек понимания истины, которое прошлой ночью нашло столь яркое подтверждение. Я тотчас поднялся и, надежно спрятав пергамент, на время выбросил из головы все мысли на этот счет, намереваясь вернуться к ним, когда останусь один.

Когда вы ушли, а Юпитер крепко заснул, я занялся более методичным изучением этого дела. Я восстановил в памяти, каким образом пергамент попал ко мне. Мы нашли жука на берегу Большой земли, примерно в миле на восток от острова и совсем рядом с линией прилива. Когда я взял жука в руки, он сильно укусил меня, отчего я его выронил. Жук подлетел к Юпитеру, но тот, с его врожденной осторожностью, не захотел брать насекомое голыми руками и стал искать какой-нибудь лист или что-нибудь в этом роде. Именно тогда его взгляд, да и мой тоже, упал на этот клочок пергамента. Я принял его за бумагу. Он лежал в песке, и только уголок торчал наружу. Недалеко от места, где мы его обнаружили, я видел остатки корпуса чего-то похожего на корабельную шлюпку. Судя по виду, эти обломки пролежали там очень долго, уже почти полностью утратив сходство с лодкой.

Юпитер взял пергамент, завернул в него жука и отдал мне. Вскоре после этого мы отправились домой и по дороге повстречались с лейтенантом Дж., которому я показал насекомое. Он попросил взять его у меня на время в форт. Когда я согласился, он сунул его в жилетный карман без пергамента, который остался у меня в руке, пока он осматривал жука. Возможно, он испугался, что я передумаю, и решил, что лучше будет побыстрее спрятать его... Вы же знаете его интерес ко всему, что касается естествознания. Я же тем временем, очевидно, механически опустил пергамент в собственный карман.

Возможно, вы помните, как я, собираясь нарисовать жука, подошел к столу и, не найдя бумаги, заглянул в ящик, а затем поискал в карманах, надеясь найти какое-нибудь старое письмо. Тут-то я и нащупал пергамент. Я так подробно все описываю, потому что все эти обстоятельства поразили меня неимоверно.

Наверняка вы сочтете меня мечтателем... Но к тому времени я уже нащупал некую связь. Соединил два звена длинной цепи. Остатки лодки на берегу, недалеко от них — пергамент (заметьте, не бумага, а именно пергамент) с изображением черепа. Вы, разумеется, спросите, где же связь? Я отвечу, что череп, или мертвая голова, — это известный пиратский знак. Они всегда поднимают флаг с мертвой головой, собираясь вступить в бой.

Как я сказал, это была не бумага, а пергамент. Пергамент — материал более прочный, почти вечный. Какие-то не важные вещи редко записывают на пергаменте, тем более что для письма или рисунка лучше подходит бумага. Эта мысль показалась мне важной... Это придавало особое значение изображению мертвой головы. Обратил я внимание и на форму пергамента. Один угол его, вероятно, случайно был уничтожен, но изначально он был продолговатым. На таком листе могла быть какая-нибудь памятная записка... Нечто предназначенное для долгого и бережного хранения.

— Но, — вставил я, — вы ведь сказали, что черепа на пергаменте не было, когда вы на нем рисовали. Как вам пришло в голову усмотреть связь между шлюпкой и черепом... если последний, по вашим же словам, появился там (один Бог знает, как это было сделано и кем) после того, как вы изобразили своего жука?

— Вот тут-то и начинается загадка, правда, понять, как на пергаменте появился череп, было сравнительно нетрудно. Я знал, где искать, и мои поиски не могли не дать однозначного ответа на этот вопрос. К примеру, я размышлял так: когда я рисовал жука, на пергаменте черепа не было. Закончив рисунок, я отдал его вам и не сводил с вас глаз до тех пор, пока вы не вернули его мне. Следовательно, череп нарисовали не вы и рядом с нами не было никого, кто мог бы это сделать. Значит, рисунок этот появился без вмешательства человека. И все же он появился.

Придя к этой мысли, я попытался восстановить в памяти все происходившее в тот отрезок времени, который нас интересует. Тот

вечер был прохладным (редкостный и невероятно счастливый случай!), и в камине у меня горел огонь. Я тогда был разгорячен прогулкой и сидел за столом, вы же придвинули кресло близко к очагу. Как только я передал вам в руки пергамент и вы начали его осматривать, Волк, мой ньюфаундленд, ворвался в комнату и взгромоздился лапами вам на плечи. Левой рукой вы его сначала погладили, потом отстранили от себя, при этом ваша правая рука, в которой был зажат пергамент, опустилась между колен и оказалась рядом с огнем.

Мне тогда даже показалось, что пергамент загорелся, и я хотел предупредить вас, но, прежде чем я успел раскрыть рот, вы отдернули руку и принялись рассматривать рисунок. Восстановив в памяти эти подробности, я уже ни на секунду не сомневался, что причиной появления на пергаменте черепа стал огонь. Вам ведь прекрасно известно, что с незапамятных времен существуют химические составы, которыми можно писать на бумаге и на пергаменте так, что написанное становится видимым только под воздействием тепла. Иногда для этих целей используют раствор цафры[160] в aqua regia[161], разведенный в четырехкратном объеме воды. Это дает зеленую краску. Королек кобальта, растворенный в нашатырном спирте, дает красные чернила. Когда материал, на котором пишут таким составом, остывает, изображение пропадает, но появляется, если его снова нагреть.

Я стал внимательно рассматривать мертвую голову. Одна сторона рисунка, более близкая к краю пергамента, была видна намного отчетливее, чем остальные. Совершенно очевидно, что тепловое воздействие было недостаточным или неравномерным. Я тут же развел огонь и стал прогревать всю поверхность пергамента. Вначале отчетливее проявился весь череп, но мне этого было мало и я упорно держал лист над огнем. Через какое-то время в противоположном углу пергамента начало проявляться другое изображение. Вначале я подумал, что это коза, но, присмотревшись, понял, что это козленок.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся я. — Я, конечно, не имею права смеяться над вами (полтора миллиона — дело нешуточное), но не хотите же вы сказать, что третьим звеном вашей цепочки... Какая может быть связь между вашими пиратами и козой? Пираты не имеют

никакого отношения к козам, скотоводством они никогда не занимались.

— Я только что сказал, что это была не коза, а козленок.

— Ну хорошо, козленок, невелика разница!

— Да, разница невелика, но она есть, — сказал Легран. — Вы слышали о капитане Кидде? Я сразу сопоставил слово «kid» (козленок) с этой фамилией и понял, что фигурка животного является своего рода каламбуром или иероглифом, заменяющим подпись. Я говорю «подпись», так как само расположение этого рисунка подсказывает, что это именно подпись. А мертвая голова в противоположном углу в свою очередь наводила на мысль о печати. Но меня волновало отсутствие всего остального... главного, что я надеялся найти... самого текста.

— То есть вы думали, что между печатью и подписью должен быть текст.

— Что-то в этом роде. Дело в том, что меня охватило непреодолимое предчувствие... ощущение того, что все это как-то связано с большим богатством. Я даже не могу сказать, почему у меня возникли такие мысли. Возможно, это было скорее подспудное желание, чем подозрение... И, знаете, глупые слова Юпитера о том, что этот жук был на самом деле золотым, тоже запали мне в душу. К тому же эти совпадения... Все было настолько необычно! Вы понимаете, насколько мала была вероятность того, что все эти обстоятельства придутся на единственный достаточно холодный день в году, когда в камине горит огонь? А вмешательство собаки? Появись она секундой раньше или секундой позже, я, возможно, так и не узнал бы о мертвой голове и не нашел бы сокровища!

— Но что же вы сделали потом? Мне ужасно интересно.

— Вы, конечно же, слышали рассказы... все эти бесконечные смутные предания о сокровищах Кидда и его сообщников, которые они прятали где-то на атлантическом побережье. Предания эти не могли возникнуть на голом месте. И причина, по которой они не забылись и дошли до наших дней, решил я, заключалась в том, что сокровища до сих пор оставались в земле. Если бы Кидд прекратил заниматься грабежом и забрал их, эти рассказы не дожили бы до наших дней в их нынешней форме. Заметьте, в большинстве из них говорится о поисках сокровищ, а не о том, как они найдены. Если бы наш пират забрал

припрятанные денежки, на этом бы все и закончилось. Мне же казалось, что какое-то непредвиденное обстоятельство (скажем, потеряно описание, где их искать) лишило его возможности вернуть их, и об этом стало известно другим пиратам, которые в противном случае даже не знали бы, что сокровища вообще были спрятаны. Их безрезультатные поиски (безрезультатные, потому что искали они вслепую) и породили молву, первые рассказы, разошедшиеся по свету и дожившие до наших дней. Вы когда-нибудь слышали, чтобы где-то на побережье были найдены более-менее ценные сокровища?

— Нет.

— Тем не менее хорошо известно, что Кидд обладал огромными богатствами. В общем, я решил, что клад все еще в земле, и вряд ли вы удивитесь, если я скажу, что во мне загорелась надежда, почти уверенность, что пергамент, найденный при столь необычных обстоятельствах, должен был содержать указание на то место, где он зарыт.

— И как же вы поступили?

— Я усилил огонь и снова поднес к нему пергамент. Но и это ничего не дало. Тогда я подумал, что, возможно, моя неудача каким-то образом объясняется грязью на пергаменте. Я осторожно промыл его теплой водой, после чего положил на сковороду нарисованным черепом вниз и поставил ее на раскаленные уголья. Через несколько минут сковорода сильно нагрелась, я вытащил из нее листок и, к моему неописуемому восторгу, увидел, что в нескольких местах он покрыт чем-то наподобие цифр, написанных в строчку. Я снова опустил пергамент на сковороду примерно на минуту, после чего он и принял такой вид, который имеет сейчас.

С этими словами Легран нагрел пергамент и вручил мне. Между мертвой головой и козой я увидел знаки, грубо нарисованные чем-то красным. Вот они:

53‡‡‡305))6*;4826)4‡.)4‡);806*;48‡8
60))85;1‡(;‡*8‡83(88)5*‡;46(;88*96
‡;8)‡(;485);5*‡2:*‡(;4956*2(5*-4)8
8*;4069285);)6‡8)4‡‡;1(‡9;48081;8:8‡
1;48‡85;4)485‡528806*81(‡9;48;(88;4
(‡?34;48)4‡;161;:188;‡?;

— Ну, знаете, — воскликнул я, возвращая ему листок, — мне бы это ничего не дало. За все сокровища Голконды[162] я не смог бы разгадать эту загадку.

— И все же, — сказал Легран, — решение вовсе не так сложно, как могло показаться на первый взгляд. Эти значки, как можно легко догадаться, представляют собой шифр, другими словами, они передают какой-то смысл. Судя по тому, что нам известно о Кидде, он вряд ли мог изобрести какую-нибудь слишком уж хитроумную тайнопись, поэтому я сразу для себя решил, что шифр этот будет несложным... и в то же время таким, который грубому матросу показался бы совершенно неразрешимым без ключа.

— Неужели вы его разгадали?

— Это оказалось проще простого. Я разгадывал шифры и в тысячу раз сложнее. Благодаря некоторым обстоятельствам и определенному складу ума я в свое время увлекся такими загадками, и, поверьте, один человеческий разум не в силах измыслить такую головоломку, которую другой человек, наделенный определенной смекалкой и правильно ее применяющий, был бы не в силах разгадать. Если в руки мне попадает набор знаков и если текст написан без грубых ошибок, для меня уже не имеет значения, насколько сложно их прочитать.

В данном случае (как и всегда, когда приходится иметь дело с тайнописью) первым делом требуется установить, на каком языке написано зашифрованное послание, поскольку принципы решения, особенно когда речь идет о более-менее простых шифрах, разнятся и во многом зависят от общего строя каждого конкретного языка. В общем, у того, кто берется разгадывать шифр, нет другого выхода, кроме как действовать наугад, учитывая различные обстоятельства, перебирать все известные ему языки. В шифре, с которым столкнулся я, эта задача отпала благодаря подписи. Каламбур со словом «Кидд» возможен только в английском языке. Если бы не это, я сначала стал бы проверять испанский и французский как языки, на которых вероятнее всего мог писать пират Испанских морей[163]. А так я с самого начала пришел к выводу, что криптограмма написана на английском.

Вы наверняка заметили, что в документе между словами нет пробелов. Если бы они отделялись друг от друга, задача была бы намного проще. Я бы начал с сопоставления и анализа коротких слов,

и, если бы среди них встретилось однобуквенное (например, союз «а» или местоимение «I» — «я»), я бы посчитал загадку решенной. Но, поскольку разделения на слова не было, мне прежде всего понадобилось выяснить, какие символы встречаются в письме чаще всего и какие реже всего. Пересчитав их, я составил такую таблицу:

Знак 8 встречается 34 раза
знак ; встречается 27 раз
знак 4 встречается 19 раз
знак) встречается 16 раз
знак # встречается 15 раз
знак * встречается 14 раз
знак 5 встречается 12 раз
знак 6 встречается 11 раз
знак + встречается 8 раз
знак 1 встречается 7 раз
знак 0 встречается 6 раз
знаки 9 и 2 встречаются 5 раз
знаки : и 3 встречаются 4 раза
знак ? встречается 3 раза
знак || встречается 2 раза
знаки = и] встречаются 1 раз.

Итак, в английском языке чаще всего встречается буква «e». Далее, в порядке убывания, английские буквы располагаются в такой последовательности: *a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k, p, q, x, z*. Без «e», практически господствующей буквы, невозможно составить какое-нибудь длинное предложение.

Таким образом, с самого начала мы имеем фундамент, который позволяет нам полагаться на нечто большее, чем просто догадки. Как пользоваться данной таблицей, я думаю, объяснять не надо. Но в шифре, с которым имеем дело мы, она нам пригодится лишь вначале. Поскольку самый частый знак у нас «8», примем его за букву «e» английского алфавита. Чтобы проверить это предположение, давайте посмотрим, встречается ли «8» парами, поскольку в английском «e» достаточно часто удваивается, например, в таких словах, как «meet», «fleet», «speed», «seen», «been», «agree» и так далее. В нашем шифре таких удвоений не меньше пяти, хотя криптограмма достаточно коротка.

Итак, принимаем знак «8» за букву «e». Идем дальше. Из всех слов в английском языке чаще всего встречается «the». Давайте посмотрим, есть ли в нашем послании часто повторяющееся сочетание трех символов, последним из которых был бы знак «8». Если мы такое обнаружим, можно почти с уверенностью говорить, что это слово «the». Внимательно изучив документ, видим не меньше семи случаев повторения стоящих рядом символов «;48». Это позволяет предположить, что «;» обозначает «t», «4» — «h», а «8», как мы знаем, — «e». Это уже достижение.

То, что мы поняли одно слово, поможет нам сделать еще один, очень немаловажный шаг: теперь мы можем установить начало и конец еще нескольких слов. Давайте, скажем, рассмотрим предпоследний пример употребления сочетания «;48». Мы догадываемся, что знак «;», идущий сразу за «8», является началом следующего слова и что из шести знаков, следующих за этим «the», нам знакомы целых пять. Давайте запишем их в виде букв, оставив пропуск на месте неизвестной, получается: «t.eeth». Мы знаем, что «th» не может быть окончанием слова, начинающегося на «t» и состоящего из шести букв: какую бы букву мы ни подставили на место пропуска, слово не получится. Следовательно, наше следующее слово, если отбросить две последние буквы, превращается в короткое «t ee». Можно, как и в предыдущий раз, перебрать все буквы алфавита, и единственным словом с подобным сочетанием букв окажется «tree». Отсюда — еще одна буква «r», которая обозначается символом «(», что вместе с предыдущим словом дает «the tree» (дерево).

Посмотрим немного дальше, здесь мы видим еще одно сочетание «;48» и, приняв его за границу, получаем такой отрывок:

«the tree;4 (‡?34 the».

Подставляем уже известные нам буквы:

«the tree thr‡?3h the».

Теперь, если не известные еще буквы заменить точками, получаем:

«the tree thr...h the».

И тут же напрашивается слово «through» (через), что дает нам три новых буквы: «o», «u» и «g», представленные символами «‡», «?» и «3».

Теперь, если внимательно просмотреть криптограмму в поисках уже известных нам знаков, мы находим недалеко от начала такую

комбинацию:

«83 (88»,

то есть «egree», что, разумеется, является окончанием слова «degree» (градус) и дает нам еще одну букву, «d», представленную символом «‡». Через четыре символа после «degree» мы видим такую комбинацию:

«;46 (;88».

Переведя уже известные знаки в буквы и подставив, как и раньше, вместо неизвестной точку, читаем: «th.rtee». Такое расположение сразу заставляет подумать о слове «thirteen» (тринадцать), и мы становимся богаче еще на две буквы: «i» и «n», обозначенные соответственно «6» и «*».

Теперь, обратившись к самому началу криптограммы, мы видим такое сочетание:

«53‡‡‡».

Переведя это на язык букв, получаем:

«.good».

Не остается сомнения, что первая буква — «a» и что первые два слова: «A good» (хороший).

Но настало время, чтобы избежать путаницы, расположить наши трофеи в виде таблицы.

5 означает a
+ означает d
8 означает e
3 означает g
4 означает h
6 означает i
* означает n
^ означает o
(означает r
; означает t

Итак, мы имеем не меньше десяти самых важных букв английского алфавита, и, думается, продолжать объяснять не имеет смысла. Я и так уже достаточно наговорил, чтобы вы поняли общую структуру подобных шифров и убедились, что они легко поддаются расшифровке. Однако повторюсь: такой шифр относится к

простейшим. Остается лишь показать вам перевод всего текста, приведенного на этом пергаменте. Вот он:

«A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat twenty one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's head a bee line from the tree through the shot fifty feet out».

(Доброе стекло в подворье епископа на чертовом троне сорок один градус тринадцать минут норд-норд-ост главный сук седьмая ветка восточная сторона стреляй из левого глаза мертвой головы по прямой от дерева через выстрел пятьдесят футов).

— Но, — заметил я, — от этого загадка стала не намного проще. Как, скажите на милость, понимать всю эту тарабарщину насчет «чертовых тронов», «мертвых голов» и «подворий епископа»?

— Должен признать, — ответил Легран, — что с первого взгляда эта задача действительно не кажется простой. Сначала я разделил текст на отдельные предполагаемые смысловые части.

— Вы хотите сказать, что расставили знаки препинания?

— Что-то вроде этого.

— Но как же вам это удалось?

— Я подумал, что тот, кто составлял криптограмму, намеренно решил не разделять слова, чтобы все усложнить. Человек не слишком смысленный, задавшись подобной целью, почти наверняка перестарается и в тех местах, где по содержанию требуется определенный интервал, станет, наоборот, лепить знаки ближе друг к другу. Посмотрите внимательнее. Видите, здесь есть по меньшей мере пять мест, бросающихся в глаза. Руководствуясь этой подсказкой, я разделил текст следующим образом: «Доброе стекло в подворье епископа на чертовом троне — сорок один градус тринадцать минут — норд-норд-ост — главный сук седьмая ветка восточная сторона — стреляй из левого глаза мертвой головы — по прямой от дерева через выстрел пятьдесят футов».

— Даже и это деление мне мало что дало, — признался я.

— Мне сначала тоже, — кивнул Легран. — Первые несколько дней я рыскал в окрестностях острова Салливана, разыскивая место, которое называлось бы «Bishop's Hotel» — «Двор епископа» (от устаревшего слова «hostel» — «подворье» я, разумеется, отказался), и, не найдя ничего, уже хотел расширить круг поисков и сделать их более

систематичными, когда однажды утром мне пришло в голову, что этот «Bishop's Hostel» может иметь отношение к одному старинному роду, который очень давно владел поместьем на материке милях в четырех к северу от острова. Род этот носил фамилию Бессоп (Bessop). Я поехал на плантацию и стал расспрашивать старых негров, не помнит ли кто такого места. Наконец одна дряхлая старуха вспомнила, что когда-то слышала о месте под названием «Bessop's Castle» — «Замок Бессоп», но это был не замок и не таверна, а высокая гора, и она еще помнит к ней дорогу.

Я попросил провести меня туда, она отказывалась, но потом, когда я пообещал хорошо заплатить за труды, согласилась. На место мы добрались без приключений. Отправив старуху обратно, я осмотрелся. «Замок» представлял собой нагромождение утесов и скал, и одна из них выделялась своей высотой и каким-то неестественным видом: она выглядела так, будто ее нарочно поставили чуть в стороне от остальных. Я взобрался на самую вершину, но, оказавшись там, честно говоря, растерялся, совершенно не представляя, что делать дальше.

Пока я думал, мой взгляд упал на небольшой выступ на восточной стороне скалы, где-то на ярд ниже места, где я стоял. Эта своеобразная каменная полочка шириной не больше фута выступала дюймов на восемнадцать, а выемка в скале прямо над ней делала ее чем-то похожей на старинное кресло с вогнутой спинкой. Я сразу догадался, что это и есть тот самый «чертов трон», о котором говорится в манускрипте, и окончательно понял, о чем идет речь в шифре.

«Доброе стекло», как я знал, могло означать только одно: подзорную трубу, моряки редко используют это слово в другом смысле. Значит, сообразил я, нужно сесть на «трон» и посмотреть в подзорную трубу в определенном направлении. К тому же у меня не было сомнений, что выражения «сорок один градус тринадцать минут» и «норд-норд-ост» указывают, куда направлять «стекло». Неимоверно взволнованный этими открытиями, я поспешил домой, нашел подзорную трубу и вернулся на то место.

Усевшись на каменный выступ, я обнаружил, что сидеть на нем можно только в одном положении, и это лишний раз подтвердило мою догадку. Итак, я взялся за подзорную трубу. «Сорок один градус тринадцать минут», конечно же, может означать лишь одно — угол подъема над видимым горизонтом, поскольку направление обозначено

словами «норд-норд-ост». Нужное направление найти мне было несложно, поскольку я прихватил карманный компас. Далее я поднял подзорную трубу примерно на сорок один градус и стал медленно водить ею вверх-вниз в поисках чего-нибудь такого, что привлекло бы мое внимание. Наконец я заприметил маленький круглый просвет в листве большого дерева, которое возвышалось над остальными растущими рядом. Прямо в середине этого пустого пятка я увидел какую-то белую точку, но поначалу не смог определить, что это. Наведя резкость, я снова посмотрел туда и понял, что это человеческий череп.

После этого открытия я уже почти не сомневался, что загадка решена, ведь выражение «главный сук седьмая ветка восточная сторона» может означать только положение черепа на дереве. Если речь идет о поиске сокровищ, то и «стреляй из левого глаза мертвой головы» тоже может иметь только одно толкование. То есть нужно бросить пулю из левого глаза черепа, найти точку на стволе дерева, ближайшую к «выстрелу» (то есть к тому месту, куда упадет пуля), провести от нее к «выстрелу» прямую и продлить ее еще на пятьдесят футов. В конце этой прямой и будет зарыт клад, по крайней мере, я на это надеялся.

— Ясно, — сказал я. — Придуманно довольно хитро, но описано все очень просто и понятно. А когда вы покинули «Двор епископа», что потом?

— Я отправился домой, предварительно определив положение дерева. И знаете, как только я встал с «чертова трона», круглый просвет в кроне исчез из виду. Как я ни поворачивался, увидеть его с другого места мне так и не удалось. Самая большая хитрость во всем этом, мне кажется, заключается именно в том, что этот просвет можно увидеть только лишь с маленького и узкого выступа на склоне скалы. Я даже еще раз уселся на него и убедился, что это действительно так.

В «экспедиции» к «Двору епископа» меня сопровождал Юпитер, который еще несколько недель назад обратил внимание на мое настроение и старался не оставлять меня одного. Однако на следующий день, встав пораньше, я умудрился выйти из дому, не разбудив его, и отправился в горы на поиски того дерева. С большим трудом я все же нашел его. А когда вечером вернулся домой,

представьте, что я увидел: мой собственный слуга хотел задать мне взбучку. Ну, о том, что было дальше, вам известно не хуже меня.

— А ошибка с определением места в первый раз, — сказал я, — надо полагать, объясняется глупостью Юпитера, который спустил жука через правую, а не через левую глазницу черепа.

— Совершенно верно. Эта ошибка дала погрешность примерно в два с половиной дюйма в определении «выстрела», то есть того места, где был установлен первый колышек. Если бы клад был зарыт под самым черепом, это не имело бы значения, но и сам «выстрел», и ближайшая к нему точка на дереве были лишь указателями для определения направления, поэтому отклонение, хоть и незначительное вначале, увеличивалось по мере того, как мы отдалялись от дерева. Поэтому, пройдя пятьдесят футов, мы оказались совсем не в том месте. Если бы не моя уверенность, что сокровища где-то рядом, все наши усилия могли оказаться напрасными.

— Надо полагать, идея с использованием черепа и бросанием пули через глазницу была подсказана Кидду пиратским флагом. Наверняка он чувствовал некую поэтическую логичность в том, что его деньги вернутся к нему с помощью столь зловещих предметов.

— Возможно. Хотя мне больше кажется, что здравый смысл сыграл тут роль не меньшую, чем поэтическая логичность. Сидящий на «троне» мог увидеть указатель на дереве, сам по себе небольшой, только если он был белым, а ничто лучше человеческого черепа не сохраняет и даже подчеркивает белизну при любых превратностях погоды.

— Но к чему все эти тайны? Почему вы так носились с жуком?.. Признаться, все это выглядело чрезвычайно странно! Я был уверен, что вы повредились рассудком. И почему вы решили опускать через череп именно жука, а не пулю?

— Если честно, меня несколько разозлили ваши откровенные подозрения относительно моей вменяемости, и я решил в свою очередь немного проучить вас, для чего и развел всю эту таинственность. Для этого же и привязал жука к веревочке и именно его спустил с дерева. Кстати, на эту мысль меня натолкнуло ваше замечание о его весе.

— Вот как! Ясно... Что ж, теперь мне непонятно только одно: что это за скелеты, которые мы нашли в яме?

— Об этом мне известно не больше вашего. Я вижу лишь одно объяснение... Хотя самому мне трудно поверить, что подобная чудовищная жестокость возможна. Можно не сомневаться, что Кидд (если это действительно Кидд зарыл эти сокровища, в чем лично я совершенно уверен) один не смог бы управиться с таким тяжелым сундуком. Наверняка у него были помощники. И когда с делом было покончено, он решил избавиться от всех, кто знал о его тайне. Возможно, хватило двух ударов мотыгой, чтобы решить судьбу находившихся вместе с ним в яме. Возможно, понадобилась дюжина. Кто теперь скажет?..

Метценгерштейн

Pestis eram vivus — moriens tua mors ero.[164]

Мартин Лютер[165]

Ужас и рок во все века бродили по разным странам. Так стоит ли говорить, когда произошло то, о чем я буду повествовать? Достаточно сказать, что в то время, о котором я веду рассказ, во внутренних районах Венгрии укоренилась, правда, скрытая вера в доктрины метемпсихоза. О самих доктринах, то есть об их ложности либо же об их правильности, я говорить не стану. Однако вслед за Лабрюйером[166], рассуждавшим о человеческом несчастье, я утверждаю, что большая часть нашего неверия *«vient de ne pouvoir etre seule»*[167].

Однако в суеверии венгров есть определенные особенности, которые граничат с абсурдом. Они (венгры) очень отличались от своих восточных правителей. К примеру, душа, утверждали первые (и тут я приведу слова одного весьма проницательного и образованного парижанина), *«ne demeure qu'une seule fois dans un corps sensible: au reste — un cheval, un chien, un home même, n'est que la ressemblance peu tangible de ces animaux»*[168].

Домá Берлифитцинг и Метценгерштейн враждовали веками. Еще не было в мире, чтобы два столь блистательных рода испытывали друг к другу такую смертельную ненависть. Во время, когда произошла эта история, один старик изможденного и мрачного вида заметил, что «скорее огонь и вода сольются воедино, чем Берлифитцинг пожмет

руку Метценгерштейну». Истоки этой неприязни, похоже, следует искать в словах древнего пророчества, которое гласит: «Высокое имя ждет страшное падение, когда смертность Метценгерштейнов, подобно всаднику над лошадью, восторжествует над бессмертием Берлифитцингов».

Конечно же, в самих этих словах смысла не много, если он вообще там есть, но мы-то знаем примеры, когда (причем не так давно) причины куда более заурядного характера приводили к последствиям столь же бурным. К тому же оба рода, земельные владения которых располагались рядом, с давних пор оказывали влияние на правительство. Кроме того, близкие соседи редко бывают друзьями, а обитатели замка Берлифитцинг с высоты своих величественных контрфорсов могли заглянуть прямо в окна дворца Метценгерштейнов. И более чем феодальная роскошь, обнаруживаемая таким образом, меньше всего могла унять раздражение менее родовитых и не таких богатых Берлифитцингов. Так стоит ли удивляться, что слова того предсказания, какими бы нелепыми они ни были, стали причиной непримиримой вражды между двумя семействами, и без того предрасположенными к ссоре переходящей из поколения в поколение завистью? Пророчество словно бы утверждало (если оно вообще что-либо утверждало) окончательное торжество и без того более могущественного дома, но о нем чаще и с большей горечью, что неудивительно, вспоминали представители дома менее влиятельного и сильного.

Вильгельм, граф Берлифитцинг, при всей своей высокородности, к описываемому здесь времени был уже дряхлым, выжившим из ума стариком, непримечательным ничем, кроме необузданной и закоснелой личной неприязни к семье своего соперника и до того страстной любви к лошадям и охоте, что ни почтенный возраст, ни дряхлость телесная и умственная не могли удержать его от опасностей ежедневных выездов на лов.

Фредерик же, барон Метценгерштейн, еще не достиг совершеннолетия. Отец его, министр Г., умер совсем молодым, и мать, госпожа Мария, вскоре последовала за ним. Фредерику в то время шел пятнадцатый год. В городе пятнадцать лет — не так уж много. Ребенок в таком возрасте может быть еще ребенком, но в глуши, в глуши столь

величественной, как это овечье веками княжество, пятнадцать лет — возраст гораздо значительнее.

Прекрасная госпожа Мария! Как могла она умереть? И от чахотки! Но я молюсь о том, чтобы самому пройти такой путь. Смерти от этой нежной болезни я готов пожелать всем, кого люблю. До чего славно — уйти в расцвете, когда кровь молода, когда сердце преисполнено чувств, когда воображение горит — в воспоминаниях о днях большего счастья — под конец года, чтобы быть навсегда погребенным в изумительных осенних листьях!

Вот так умерла госпожа Мария. Когда юный барон Фредерик стоял у гроба усопшей матери, рядом с ним не было родственников. Он положил ладонь на ее безмятежное чело. По хрупкому телу его не прошла дрожь, уста его не исторгли вздоха. Бессердечный, своенравный и вспыльчивый с самого детства, к тому возрасту, о котором веду рассказ я, он пришел, познав бесчувствие, распутство и безрассудство кутежей; и в душе его давно уже пересох родник чистых помыслов и добрых воспоминаний.

Благодаря некоторым особенностям управления наследством отца юный барон вступил во владение всем огромным состоянием сразу же после его смерти. И до того мало кому из венгерских дворян доставалось такое несметное богатство. Замкам его не было счета, а красивейшим и самым большим из них был «Шато Метценгерштейн». Никто не знал наверняка, где заканчиваются принадлежащие ему земельные владения, но главный его парк простирался вокруг на пятьдесят миль.

Когда столь молодой и известный своим недобрым нравом хозяин вступил во владение отцовским наследством, ни у кого не осталось сомнений в том, какой образ жизни он будет вести. И действительно, за три дня наследник переиродил самого Ирода[169] и превзошел все ожидания. Отвратительные бесчинства, ужасающие оргии, неслыханные гнусности быстро заставили его повергнутых в ужас вассалов понять, что ни самое подобоострастное отношение к нему с их стороны, ни остатки его собственной совести не защитят их от безжалостных клыков этого маленького Калигулы. Вечером четвертого дня запылали конюшни замка Берлифитцинг, и безликая молва тут же приписала поджог к уже устрашающему списку чудовищных беззаконий и выходок барона.

Однако во время суматохи, вызванной этим событием, сам юный дворянин сидел, погрузившись в задумчивость, в огромных и пустынных верхних покоях родового дворца Метценгерштейнов. Со всех сторон барона окружали призрачные, загадочные фигуры его славных предков, изображенные на богатых, хоть и потускневших от времени гобеленах. Здесь священники в дорогих горностаевых мехах и папские сановники рядом с тираном и самодержцем налагали запрет на желания очередного светского короля или волей понтифика умирляли самого врага рода человеческого. Высокие и смуглые князья Метценгерштейнские, своими воинственными ликами способные поразить даже самого выдержанного зрителя, восседали на могучих боевых конях, дыбавших над телами поверженных врагов; чувственные лебединые станы высокородных дам давно минувших дней скользили в причудливом танце под звуки воображаемых мелодий.

Однако же, когда барон прислушался либо попытался прислушаться к постепенно усиливающемуся шуму в конюшнях Берлифитцинга — или, возможно, в тот миг он лишь задумался над новой хитроумной и еще более дерзкой выходкой, — взор его сам по себе устремился на огромного небывалой масти коня, изображенного на одном из гобеленов и принадлежавшего кому-то из сарацинских предков его противника. Сам конь, занимавший центральное место на гобелене, стоял неподвижно, точно изваяние, а на заднем плане его побежденного седока пронзал кинжалом кто-то из Метценгерштейнов.

Уста Фредерика тронула дьявольская усмешка, когда он осознал, на что непроизвольно направились его глаза. Но он не отвел взгляда. Напротив, его вдруг охватило непонятное ему страшное волнение, которое точно балдахином накрыло все остальные чувства. Ему стоило немалых сил стряхнуть с себя оцепенение, привести в порядок смешавшиеся мысли и убедить себя, что он не спит и видит это наяву. Но чем дольше он всматривался в изображение, тем сильнее становились чары, тем труднее было ему отвести взгляд от того гобелена. Лишь когда шум за стенами дворца неожиданно усилился, он, переборов себя, увидел багровые отблески, которые пылающие конюшни отбрасывали на окна зала.

Впрочем, внимание его отвлеклось лишь на мгновение, и уже в следующий миг взор его снова обратился к стене. К его невероятному

ужасу и удивлению, голова гигантского коня изменила положение. Шея животного, до того выгнутая аркой над распростертым телом хозяина, будто в скорби, теперь была вытянута во всю длину по направлению к барону. Глаза, до того невидимые, теперь были полны энергии и смотрели по-человечьи, хоть и сверкали необычайно ярким красным огнем, а за разверзнутыми губами явно разъяренной лошади были отчетливо видны огромные и отвратительные зубы.

Не помня себя от страха, юный дворянин неверной походкой подошел к двери. Когда он распахнул ее, вспышка кровавого света очертила на колышущемся полотне четким контуром его длинную тень, и он содрогнулся, заметив, что тень, когда он замешкался ненадолго на пороге, положением и формой в точности совпала с изображением непреклонного убийцы, торжествующего над умирающим сарацином Берлифитцингом.

Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, барон быстро вышел на свежий воздух. У главных ворот дворца он увидел трех конюших. С огромным усилием и подвергая опасности свои жизни, они удерживали мечущегося огромного коня огненно-красной масти.

— Чей конь? Откуда он у вас?! — сердитым охрипшим голосом вскричал юноша, ибо с первого взгляда понял, что загадочный жеребец из зала с гобеленами был как две капли воды похож на взбешенное животное.

— Он ваш, господин, — ответил один из конюших. — По крайней мере, никто не назвался его хозяином. Мы его поймали, когда он, исходя пеной и паром, как бешеный, выскочил из горящих конюшен замка Берлифитцинга. Подумав, что это один из заграничных коней, которых держит старый граф, мы отвели его назад. Но их конюхи никогда его раньше не видели, что очень странно, ведь по нему ясно видно, что он едва спасся от огня.

— И буквы «В. Ф. Б.» выжжены у него на лбу, — добавил второй конюший. — Конечно же, я решил, что это инициалы Вильгельма фон Берлифитцинга, да только все в замке в один голос твердят, что этот конь им не знаком.

— Необычайно странно! — произнес молодой барон с задумчивым видом, явно не осознавая смысла своих слов. — Это и вправду, как вы говорите, замечательный конь... Удивительный конь! Хотя, как вы правильно заметили, подозрительно, что у него не сыскалось хозяина.

Хорошо, пусть он будет моим, — добавил он, немного подумав. — Может статься, что такой наездник, как Фредерик Метценгерштейн, сумеет усмирить даже самого дьявола из конюшен Берлифитцинга.

— Вы ошибаетесь, господин, лошадь эта, о чем мы, кажется, уже говорили, не из конюшен графа. Уж мы-то свое дело знаем, и, будь оно так, мы бы ни за что не осмелились показаться с ней на глаза никому из вашего благородного семейства.

— Конечно! — сухо отозвался барон, и в то же мгновение из дворца выбежал комнатный слуга. Был он весьма взволнован, отчего весь покраснелся. Слуга принялся нашептывать на ухо своему хозяину о неожиданном исчезновении части гобелена в спальнях покоях, не обходя вниманием самые мелкие подробности и частности, но как бы тихо он ни говорил, ничто не ускользнуло от внимания сгоравших от любопытства конюших.

Юного Фредерика за время этого доклада поочередно охватывали различные чувства, однако вскоре он овладел собой, и лицо его сковало выражение решительности и злобы, когда он властным голосом приказал немедленно запереть указанное помещение на ключ, а ключ принести ему.

— Вы уже слышали о кончине старого охотника Берлифитцинга? — обратился к барону один из его вассалов, когда после ухода слуги огромный жеребец, которого этот аристократ согласился принять, пошел, брыкаясь, прыгая и вырываясь с удвоенной силой, по длинной дороге от дворца к конюшням Метценгерштейна.

— Нет! — ответил барон, резко поворачиваясь к говорившему. — Значит, он умер?

— Совершенно верно, господин, и благородному мужу с вашей фамилией это известие, я полагаю, не покажется дурным.

По лицу барона промелькнула быстрая усмешка.

— Как он умер?

— Он, не помня себя, бросился спасать своих любимых лошадей из охотничьего выезда и сгинул в огне.

— Во-о-от ка-а-ак! — протянул барон, точно его охватила какая-то внезапная и волнующая мысль.

— Да, — ответил вассал.

— Это ужасно! — холодно бросил юноша и спокойно повернул ко дворцу.

С того дня беспутный молодой барон Фредерик фон Метценгерштейн заметно изменился. Правда, перемены эти расстроили все ожидания и разочаровали надежды многих хитроумных мамаш, к тому же новые привычки и поступки юноши не шли ни в какое сравнение с образом жизни его аристократических соседей. Он вовсе перестал показываться за пределами своих владений, но и в этих необъятных и многолюдных просторах всегда проводил время в полном одиночестве — лишь загадочный бешеный конь огненной масти, который отныне почти все время был под его седлом, по какому-то непостижимому праву мог именоваться его другом.

Впрочем, еще долго юный аристократ получал многочисленные приглашения от соседей. «Не почтит ли барон своим присутствием наши празднества?», «Не желает ли барон присоединиться к охоте на вепря?» — «Метценгерштейн не охотится», «Метценгерштейн не прибудет» — таковы следовали высокомерные, немногословные ответы.

Гордые дворяне не могли долго терпеть подобные систематические оскорбления. Приглашения становились все менее сердечными, стали приходить реже и реже, а со временем и вовсе прекратились. Поговаривали даже, что вдова несчастного графа Берлифитцинга как-то высказала уверенность, что «барон вынужден оставаться дома против своей воли, потому что он брезгует обществом себе равных, а верхом ему приходится ездить, даже когда ему этого совсем не хочется, из-за того что он предпочитает общество лошади». Несомненно, эти глупые слова были не более чем очередным примером злословия, ставшего обычным для обоих враждующих родов, и доказывали лишь то, насколько бессмысленными могут быть наши высказывания при попытках выразить что-то мудреное.

Тем не менее настроенные более снисходительно склонны были видеть причину перемены молодого дворянина во вполне объяснимой скорби сына по безвременно почившему отцу, при этом, правда, напрочь забыв о тех бесчинствах, которыми отличалось его беспечное поведение сразу после недавней тяжелой утраты. Кое-кто заводил разговор о благородстве, о гордости и чувстве собственного достоинства, но были и такие (среди них стоит упомянуть и семейного врача), кто нимало не сомневался в том, что причина всему — смертная тоска и унаследованное от предков слабое здоровье. И все же большинство прислушивалось к недобрым пересудам более сомнительного характера.

В самом деле, извращенная привязанность барона к недавно доставшемуся ему коню — привязанность, которая обретала все большую силу с каждым новым примером яростного и демонического нрава этого животного — со временем в глазах всех здравомыслящих людей приобрела форму отвратительной и противоестественной страсти. Под полуденным солнцем и в мертвый ночной час, в болезни и в здоровье, в спокойствии и в волнении юный Метценгерштейн был словно прибит гвоздями к седлу исполинской лошади, чья упрямая непокорность столь гармонировала с его собственным духом.

Кроме того, были и другие обстоятельства, которые в сочетании с недавними событиями придали мистический и зловещий характер мании наездника и повадкам жеребца. Расстояние, которое мог преодолеть конь за один прыжок, было тщательно измерено и оказалось таким огромным, что превзошло все, даже самые

невероятные предположения. Барон к тому же так и не дал имени животному, хотя имена всех остальных лошадей в его конюшне соответствовали тем или иным их особенностям. Помимо этого, жеребцу была отведена отдельная конюшня в стороне от остальных, а что касается ухода за конем, никто, кроме самого хозяина, ни за что на свете не отважился бы не то что прикоснуться к нему, но даже близко подойти к его стойлу. Следует также заметить, что, несмотря на то что трое конюших, перехвативших коня, когда тот вырвался из объятий пламенем конюшен Берлифитцинга, сумели остановить его при помощи цепной узды и аркана, ни один из них не мог с уверенностью сказать, что во время этой опасной борьбы хотя бы раз прикоснулся к телу животного. Примеры необычайного ума в поведении благородной и горячей лошади вполне обоснованно обратили на себя внимание — особенно тех, кто ежедневно выезжал верхом на лов и не понаслышке знал о смысленности этих животных, — однако существовали и особые обстоятельства, которые понимали даже самых отъявленных скептиков и флегматиков. А еще, говорят, не раз случалось, что толпа зевак, наблюдающая за животным, в страхе подавалась назад, услышав, как глухо и многозначительно оно бьет копытом в землю; что сам юный Метценгерштейн становился бледнее мела и, охваченный ужасом, пятился от огненного коня, заметив, как тот умным человеческим глазом бросает на него быстрый и внимательный взгляд.

Среди всей свиты барона, однако, не было ни одного человека, кто сомневался бы в той удивительной страсти, которую вызывал в молодом дворянине горячий нрав его лошади. По крайней мере ни одного, кроме единственного невзрачного маленького пажа-калеки, чье уродство было предметом всеобщей насмешки и мнение которого не интересовало никого. Он — если его мысли вообще достойны упоминания — имел дерзость утверждать, что хозяин его всякий раз, запрыгивая в седло, почему-то едва заметно дрожал, а когда возвращался домой после ежедневных долгих выездов, каждая черточка его лица выражала преисполненное злорадства торжество.

Однажды в ненастную ночь Метценгерштейн, пробудившись от глубокого сна, точно обезумев, стремглав сбежал по лестнице вниз, запрыгнул на коня и умчался в лесные дебри. Подобное поведение с некоторых пор стало для него привычным, поэтому никто не придавал этому событию особого внимания, однако возвращения хозяина

домочадцы барона дожидались с необычайным волнением, ибо через несколько часов после его отъезда огромные величественные стены «Шато Метценгерштейн» затрещали и задрожали до самого основания под напором густого, яростного и безудержного пламени.

Когда пожар заметили, он достиг уже такой ужасной силы, что любые попытки спасти хоть часть здания были бессмысленны. Изумленные соседи молча и с жалостью наблюдали за буйством огня, но вскоре новый жуткий объект привлек к себе внимание большинства, доказав, насколько сильнее возбуждает толпу созерцание человеческой агонии, нежели любые, даже самые страшные катаклизмы, происходящие с неодушевленной материей.

По длинной старой дубовой аллее, тянувшейся от леса к главным воротам дворца Метценгерштейн, конь, несший на себе растрепанного седока с непокрытой головой, мчался во весь опор, точно демон бури, и среди оцепеневших зрителей не было никого, кто, увидев его, не вскричал бы: «О, ужас!»

Всадник, вне всякого сомнения, уже не мог управлять лошадью. Отчаяние, написанное на его лице, и конвульсивные движения явно говорили о нечеловеческом напряжении, однако ни звука, кроме одного отчаянного вопля, не слетело с его истерзанных уст, прокушенных во многих местах от страха. Миг — и вот уже неистовый грохот копыт заглушил рев огня и завывание ветра. Второй — и, перескочив одним прыжком ворота и ров с водой, конь взлетел по ходящей ходуном широкой лестнице и вместе с всадником исчез в вихре огромных мечущихся языков пламени.

В тот же миг неистовство пожара точно рукой сняло и воцарилась мертвая зловещая тишина. Белое пламя все еще окутывало саваном здание, и из него в спокойное небо исторгся луч сверхъестественного света, а на зубчатые стены древнего дворца тяжело опустилось густое облако дыма, формой неотличимое от колоссальных размеров... лошади.

Человек, в котором не осталось ни одного живого места

Pleures, pleures, mes yeux, et- fonde-vous en eau! La moitié de ma vie a mis l'autre au tombeau[170].

Корнель

Рассказ из времен последней экспедиции против племен бугабу и кикапу

Не могу сейчас в точности припомнить, где и когда я познакомился с бригадным генералом Джоном А. Б. С. Смитом. Должно быть, кто-то представил меня ему на каком-нибудь публичном собрании, происходившем где-то по какому-то важному поводу. Но кто это был — совершенно не помню. Дело в том, что это знакомство сопровождалось с моей стороны своего рода тревожным смущением, из-за которого у меня и не сохранилось определенного впечатления о времени и месте. Я от природы человек нервный — это у меня наследственное — и не всегда в состоянии справиться с собой. Любая тень тайны, малейшее обстоятельство, которое я не в состоянии здраво объяснить, приводит меня в глубокое волнение.

Во всем облике этого джентльмена было что-то примечательное, хотя это слово лишь в малой степени выражает мое впечатление. Росту он имел футов шесть, и в его манерах чувствовалась привычка властвовать. Внешность его, однако, носила отпечаток благородного изящества — свидетельство превосходного воспитания и высокого происхождения. Мне доставляет какое-то печальное удовольствие подробно описывать мистера Смита. Шапка волос на его голове просто поражала: невозможно было вообразить кудрей более пышных и более красивого оттенка. Его волосы были темны, как вороново крыло, и такими же были его ухоженные усы. Не будет преувеличением, если я скажу, что вторых таких усов не сыскать во всем мире. К тому же они обрамляли и отчасти прикрывали рот несравненной формы. Улыбка генерала открывала самые ровные, самые ослепительно белые зубы, какие только можно представить, а из-за этих зубов — когда представлялся случай — звучал чрезвычайно ясный, мелодичный и сильный голос. Даже глаза природа подарила моему знакомцу выдающиеся. Каждый из них стоил пары обыкновенных органов зрения. Они были темно-карие, необыкновенно большие, блестящие и с той легкой косинкой, которая придает взгляду особую выразительность.

Такого торса, как у генерала, я, могу присягнуть, не видал ни у кого. Он был настолько пропорционален, что не было возможности

обнаружить в нем хоть малейший изъян. Особенно выделялись плечи — они заставили бы даже мраморного Аполлона покраснеть от зависти. Твердо могу сказать — до знакомства с генералом я не встречал подобного совершенства.

Руки у мистера Смита также были превосходной формы, а ноги, само собой, им не уступали. Это было своего рода *pes plus ultra*[171] красоты мужских ног. Любой знаток присудил бы им первенство. Они были не слишком мускулисты, но и не худы; в них не было ни чрезмерной массивности, ни хрупкости. Я не могу даже представить более грациозного изгиба, чем изгиб его *os femoris*[172], и с задней стороны его икр была именно такая полнота, которая придает икре абсолютную пропорциональность. Хотел бы я, чтобы мой талантливый друг Чипончипино, скульптор, мог взглянуть на ноги бригадного генерала Джона А. Б. С. Смита!

Но хотя такие редкостные красавцы не попадаются на каждом шагу, я никак не мог убедить себя, что то особое впечатление, которое он на меня произвел, связано исключительно с его физическим совершенством. Оставалось еще что-то неуловимое. Может быть, это следовало бы отнести на счет его манеры держаться, но тут уж я не берусь судить. В ней постоянно присутствовала какая-то натянутость, напряженность, если не сказать «одеревенелость». Эту размеренность, нарочитую взвешенность, прямолинейную точность в каждом движении при менее крупной фигуре можно было бы счесть аффектацией, напыщенностью или принужденностью, но в джентльмене таких колоссальных размеров они без затруднений расценивались как благородная сдержанность и чувство собственного достоинства.

Приятель, познакомивший меня с генералом Смитом, шепнул мне на ухо несколько слов о нем, охарактеризовав его как замечательного, в высшей степени замечательного человека — одного из замечательнейших людей нашего времени. У женщин генерал также пользовался большим успехом, благодаря, главным образом, устойчивой репутации редкостного храбреца.

— В этом отношении у него нет соперников; он положительно сорвиголова, просто какой-то отчаянный, — говорил мой друг, еще больше понижая голос и поражая меня этой таинственностью. — Генерал доказал это в последней, наделавшей столько шуму

экспедиции против индейских племен бугабу и кикапу. — Тут мой друг вытаращил глаза. — Господи! Будь я проклят! Да ведь это же настоящие чудеса отваги... Да вы, вероятно, слышали о нем?... Ведь он человек...

— Человек божий, вероятно, имели вы в виду? Как вы поживаете? Страшно рад вас видеть, — прервал его сам генерал, подходя и пожимая руку моему собеседнику. На мой поклон он ответил сдержанным, но довольно глубоким поклоном. Я подумал тогда, и теперь остаюсь при том же мнении, что никогда не слышал столь сильного и вместе с тем чистого голоса и не видал более красивых зубов. Но должен признаться, что в ту минуту я подсадовал на то, что моего приятеля прервали на самом интересном месте. Герой экспедиции против бугабу и кикапу очень интересовал меня, но в светской беседе я едва ли узнал бы об этом что-либо новое.

Но очаровательная манера бригадного генерала Джона А. Б. С. Смита вести разговор вскоре рассеяла мое неудовольствие. Так как мой приятель вскоре удалился, мы довольно долго проговорили с глазу на глаз, и я провел это время не только приятно, но и с пользой. Редко доводится встретить столь любезного собеседника и столь разносторонне образованного человека. Однако, из понятной скромности, генерал не коснулся темы, которая больше всего интересовала меня в ту минуту, то есть загадочных обстоятельств, связанных с бугабужской войной; я же из деликатности не мог затронуть эту тему, хотя — каюсь — чувствовал сильное искушение. Я заметил также, что храбрый воин предпочитал темы научные, и его особенно занимали быстрые успехи в области техники. О чем бы я ни заводил речь, генерал неизменно возвращался к этим достижениям.

— Ничто не сравнится с современным прогрессом, — говорил он, — мы живем в удивительный век. Парашюты и железные дороги, дальнобойная артиллерия и скорострельные ружья! Наши пароходы плавают во всех морях; а почтовые воздушные шары вскоре начнут совершать регулярные рейсы — плата в один конец всего двадцать фунтов стерлингов — между Лондоном и Тимбукту. А кто измерит влияние великих открытий в области электромагнетизма на общественную жизнь, искусство, торговлю, литературу? И это еще далеко не все — поверьте! Нет предела человеческой изобретательности. Самые удивительные, остроумные и, позволю себе

прибавить, мистер... мистер Томпсон, если не ошибаюсь? — самые полезные, истинно полезные изобретения в области механики возникают ежедневно, так сказать, как грибы или как саранча... буквально, как саранча, мистер Томпсон!

Меня зовут вовсе не Томпсон, но нечего и говорить, что я расстался с генералом, чрезвычайно заинтересованный его личностью, и составил весьма высокое мнение о его достоинствах в качестве собеседника. Кроме того, я глубоко проникся мыслью о преимуществах жизни в эпоху технических изобретений. Однако мое любопытство не было удовлетворено, и я немедленно принялся собирать в кругу своих знакомых сведения о самом бригадном генерале и, прежде всего, о достопамятных событиях во время экспедиции против бугабу и кикапу.

Первый же случай, которым я не постеснялся воспользоваться, представился мне в церкви, где однажды, в воскресенье во время проповеди, я оказался не только на одной скамье, но и рядом со своей милой и общительной приятельницей — мисс Табитой Т. Я поздравил себя, и совершенно справедливо, с такой удачей. Если кто и знал что-либо о бригадном генерале Джоне А. Б. С. Смите, то это была именно мисс Табита Т. Сначала мы обменивались с ней условными знаками, а затем начали перебрасываться оживленными фразами.

— Смит! — воскликнула мисс Табита в ответ на мой серьезный вопрос. — Вы имеете в виду этого генерала? Боже мой, а я-то думала, что вы все знаете о нем! Какой изобретательный век! Какое ужасное происшествие!.. Какие кроважадные мерзавцы эти кикапу! Он сражался как герой... проявил чудеса отваги... обессмертил свое имя. Смит!.. Разве вы не знаете, что этот человек...

— Человек, — громогласно возгласил в это мгновение проповедник, хватив кулаком по кафедре, — человек, рожденный от женщины, живет недолго: он рождается, но затем коса смерти скашивает его, как цветок!..

Я поспешно отодвинулся на противоположный конец скамьи, заметив по горящему взору проповедника, что его гнев, чуть было не покончивший с кафедрой, был вызван нашим с мисс Табитой перешептыванием. Что тут было делать? Пришлось волей-неволей покориться и в мучительном молчании выслушать до конца нескончаемо длинную проповедь.

Следующим вечером я наведалься в Рентипольский театр, где надеялся одним махом выяснить все, что меня занимало, заглянув в ложу двух столпов всеведения — мисс Арабеллы и Миранды Коньосченти. В тот день давали «Отелло», превосходный трагик Клаймакс играл Яго при переполненном зале, и мне оказалось довольно трудно объяснить, чего я хочу, тем более, что ложа располагалась у самых кулис, прямо над просцениумом.

— Ах, Смит! — обронила мисс Арабелла, наконец уразумев, чего я добиваюсь. — Уж не генерал ли это Джон А. Б. С. Смит?

— Смит? — задумчиво повторила Миранда. — Встречали ли вы другого человека с такой фантастической фигурой?

— Нет, сударыня... Но скажите...

— Такого безукоризненно изящного?..

— Нет, даю слово джентльмена! Но прошу вас, скажите мне...

— Так тонко ценящего и понимающего все драматические эффекты?

— Мисс Миранда!..

— Кто умел бы так оценить красоты Шекспира? Взгляните только на эту ногу...

— О дьявол! — И я снова обратился к ее сестре.

— Смит! — снова сказала она. — Вы спрашиваете про генерала Джона А. Б. С. Смита? Не правда ли, ужасно? Какие негодяи эти бугабу... Дикари, конечно, и все такое прочее... Но мы живем в удивительно изобретательный век!.. Смит!.. О да!.. Великий человек!.. Сорвиголова! Он, конечно же, стяжал вечную славу... Чудеса храбрости! И вы ничего не знаете?.. — Последние слова она произнесла, слегка взвизгнув. — Да ведь это человек...

— «...Ни мак, ни мандрагора, ни зелья все, какие есть на свете, не возвратят тебе тот мирный сон, которым ты вчера еще был счастлив!..» — внезапно заревел прямо у меня над ухом трагик Клаймакс, потрясая кулаком так, что вытерпеть это было решительно невозможно. Я тотчас же покинул ложу, отправился за кулисы и в антракте задал негодяю такую трепку, что он, надо полагать, не забудет ее до самой смерти.

Я был уверен, что на вечере у очаровательной вдовушки миссис Кэтлин О'Тремпа меня уже не постигнет подобное разочарование. Поэтому, едва усевшись за ломберный стол с прелестной хозяйкой, я

обратился к ней с вопросами, ответы на которые были совершенно необходимы для восстановления моего душевного равновесия.

— Смит! — сказала вдовушка. — То есть генерал Джон А. Б. С. Смит? Ужасная штука, не правда ли?.. Вы говорите: брильянты?.. Ужасные негодяи эти кикапу!.. Вистую, мистер Тэттл!.. Ну да, теперь, конечно, век изобретений... изобретений по преимуществу... Говорит по-французски?.. О да, он герой!.. Отчаянный храбрец!.. Без червей, мистер Тэттл? Но нет, я в это не верю... Бессмертная слава... Такие чудеса храбрости! Не слышали?.. Да, ведь это тот, в котором...

— Тотт!.. Вы говорите о капитане Тотте и его дуэли?.. — вдруг запищала какая-то дамочка в противоположном углу комнаты. — Продолжайте же, миссис О'Тремп, прошу вас, продолжайте!

И миссис О'Тремп продолжала рассказывать, но уже о каком-то неизвестном капитане Тотте, которого не то застрелили, не то проткнули, или пытались застрелить и проткнуть в одно и то же время. Миссис О'Тремп разошлась и раскраснелась, а я... я поднялся и ушел, потеряв всякую надежду узнать в этот вечер еще что-нибудь о моем бригадном генерале.

Однако я продолжал утешать себя тем, что не всегда волна неудачи катится навстречу, и в конце концов принял решение навести свои справки у первоисточника всех справок — у очаровательного ангела, грациозной мисс Пируэтт.

— Смит? — спросила она в то время, как мы кружились в па-де-зефир. — Генерал Джон А. Б. С. Смит? Согласитесь, ужасно иметь дело с этими бугабу... Что за изверги эти индейцы!.. Выламывать пальцы!.. И какой храбрец!.. Ужасно жаль его!.. Но мы живем в век удивительных изобретений... О боже, что-то у меня кружится голова!.. Давайте присядем, и я расскажу вам... Чудеса храбрости... Неужели не слышали? Просто не верится... Да ведь это человек...

— Вы говорите о Байроне? — ни с того ни с сего вмешалась мисс Синий Чулок, мимо которой мы проходили, пока я вел мисс Пируэтт к ее месту.

И я был вынужден выслушать пространный комментарий о новой поэме лорда Байрона, а когда вырвался из плена и отправился разыскивать мисс Пируэтт, нигде не нашел ее и вернулся домой крайне враждебно настроенным против всякого рода Синих Чулков.

Дело принимало серьезный оборот, и я решился, наконец, отправиться к своему задушевному приятелю Теодору Синнивэту, зная, что он, скорее всего, располагает более-менее точными сведениями.

— Сми-ит? — сказал он, растягивая по своему обыкновению слова. — Генерал Джон А. Б. С. Сми-ит? Ужасная история с этими кика-апу-у... не правда ли?.. Отча-а-янный храбрец... А жа-аль... чес-с слово!.. Удивительно изобретателен наш век, правда?.. Чудеса храбрости!.. А слышали ли вы об этом капитане Тотте?..

— К дьяволу капитана! — вскричал я... — Прошу вас, продолжайте о генерале...

— Хм, хорошо! Ита-ак, бригадный генерал Джон А. Б. С... Ну ведь не станете же вы утверждать... — тут мой собеседник принялся разминать свой нос. — Ведь не станете вы утверждать, что не знаете всего этого дела так же хорошо, как я... Это человек...

— Мистер Синнивэт! — умоляюще возопил я. — Этот человек не тот, за кого себя выдает?

— О, не-е-ет, — глубокомысленно протянул он, — и не человек, свалившийся с лу-у-ны...

Я счел такой ответ оскорбительным и в бешенстве покинул этот дом, твердо решив потребовать у мистера Синнивэта удовлетворения за некорректное поведение и двусмысленные намеки.

И тем не менее я пребывал в растерянности. Откуда еще я мог почерпнуть необходимые мне сведения? Теперь мне положительно не к кому было обратиться. И я решил отправиться прямо к источнику: явиться к генералу и попросить у него пояснить мне все эти загадочные обстоятельства. Тут, по крайней мере, не могло быть никаких недоразумений. Я намеревался быть кратким и сухим, как черствая корка, и точным, как Тацит или Монтескье.

Было еще довольно рано, когда я явился к генералу. Мне сообщили, что он еще одевается, но я отвечал, что пришел по делу, и старый слуга-негр ввел меня прямо в спальню, где и оставался во время всего моего визита. Войдя в комнату, я первым делом осмотрелся, ища хозяина, но его не было видно. На полу мне попался под ноги какой-то внушительных размеров узел странной формы, а поскольку я находился в довольно мрачном и решительном настроении, то пинком отшвырнул его в сторону.

— Нечего сказать, учтиво! — вдруг послышался из узла тоненький голосок: не то писк, не то свист, в общем, самый комичный голосок, какой мне доводилось слышать.

— Вежливо, нечего сказать! — ехидно повторил голосок.

Я вскрикнул от испуга и отпрянул в самый дальний угол комнаты.

— Да скажите же, ради Бога, — продолжал насвистывать узел, — что... что вам, собственно, здесь понадобилось? Мы... мы, кажется, даже не знакомы...

Что я мог ответить? Я рухнул в кресло и, выпучив глаза и разинув рот, стал ждать, чем все это разрешится.

— Хотя довольно странно, что вы не узнали меня, — снова пропищал узел, совершавший, как я теперь заметил, какие-то невообразимые эволюции на полу: он как будто натягивал на себя чулки. Впрочем, мне видна была только одна нога.

— Право, странно, что вы не узнаете меня! Помпей, живо подай сюда вторую ногу!

Негр подал узлу здоровенную пробковую ногу, уже обутую. Узел в мгновение ока привинтил ее на место и выпрямился, утвердившись на обеих конечностях.

— Да уж, кровавое было дельце, — продолжало это существо, словно разговаривая само с собой, — хотя, впрочем, нечего и надеяться отделаться царапинами, когда идешь против бугабу и кикапу. Помпей — руку!.. Томас, — на сей раз существо обращалось уже ко мне, — несомненно, лучший мастер по части пробковых ног, но если вам, любезный, понадобится рука, советую обратиться к Бишопу.

Помпей между тем привинтил руку на ее законное место.

— Горячее было дельце, ей-богу... Давай, накладывай плечи и грудь. Питт делает лучшие плечи, ну а за грудью вам все-таки придется обратиться к Дюкре.

— За грудью? — потрясенно переспросил я.

— Помпей, да когда же ты закончишь эту возню с париком? Скверная штука — расстаться с собственным скальпом; но какие восхитительные парики делает Делорм!

— Парики?

— Ну же, негр, пошевеливайся! Зубы!.. За хорошей челюстью лучше всего обращаться прямо к Пэрмли — дороговато обходится, но работа превосходная... Мне довелось проглотить с дюжину

великолепных собственных зубов, когда здоровенный бугабу саданул меня прикладом... Да-да, ружейным прикладом!.. Ну а теперь глаз! Давай, Помпей, ввинчивай!.. У этих кикапу кулак всегда наготове, но доктор Уильямс ловок — вы и представить не можете, как хорошо я вижу глазами его изготовления!..

Только теперь до меня начало доходить, что передо мной не кто иной, как мой новый знакомый бригадный генерал Джон Смит. Манипуляции чернокожего слуги произвели в его внешности удивительные перемены. Лишь голос все еще сбивал меня с толку; однако и на эту загадку вскоре нашелся ответ.

— Помпей, черномазая скотина, — запищал и засвистел генерал, — ты, похоже, намерен оставить меня без неба!

Слуга, бормоча извинения, бросился к господину, открыл ему рот с ловкостью жокея, заглядывающего в зубы лошади, и с невероятной быстротой вложил туда какое-то таинственное приспособление. Теперь и в лице генерала произошла поразительная перемена. Когда он снова заговорил, голос его обрел ту же силу и мелодичность, которые так поразили меня при первом знакомстве.

— Дьявол бы побрал этих диких скотов! — произнес он таким ясным голосом, что я даже вздрогнул. — Дьявол бы их побрал! Они не только насквозь проткнули мне небо, но и позаботились о том, чтобы лишить вашего покорного слугу по меньшей мере семи девятих языка... Но, доложу я вам, в Америке нет мастера по этой части, который мог бы сравниться с Бонфанти. Смело берусь рекомендовать его вам (тут генерал слегка поклонился), и не без удовольствия.

Я вежливо поблагодарил его за любезность и распрощался, наконец-то получив разъяснение всех тайн, так долго мучивших меня. Теперь все стало очевидным. Бригадный генерал Джон А. Б. С. Смит был тем человеком, в котором не осталось ни одного живого места.

Трагическое положение. Коса Времени

Что так безмерно огорчило вас, Прекраснейшая дама?

Комус

Был тихий и ясный вечер, когда я отправилась пройтись по улицам славного города Эйдина[173]. Толкотня и сутолока на улицах были

ужасные. Мужчины переговаривались, женщины пронзительно вскрикивали, дети вопили, свиньи визжали, телеги скрипели, быки ревели, коровы мычали, лошади ржали, кошки мяукали, собаки танцевали. Да, танцевали! Возможно ли? Именно — тацевали!

Увы, подумала я, для меня дни танцев миновали!

Так бывает всегда. Целый сонм печальных воспоминаний пробуждается порой в душе гения и поэта, наделенного даром созерцания и постижения, в особенности гения, обреченного на беспрестанное, постоянное и, можно сказать, длительное — да, длительное и длящееся — горькое, мучительное, тревожащее, и да позволено мне будет сказать, весьма тревожащее воздействие светлого, божественного, небесного, возвышенного, возвышающего и очищающего влияния того, что по праву можно назвать самой завидной — нет, самой благотворно прекрасной, самой сладостно неземной и самой очаровательной (если мне простят столь неуместное слово) вещи в целом мире...

Прости, любезный читатель, я позволила себе увлечься. Повторяю: в такой душе столько воспоминаний способен пробудить даже пустяк! Собаки танцевали! А я — я не могла! Они резвились — а я плакала. Они прыгали — я горько рыдала. Волнующая картина! Читателю образованному она, несомненно, напомним прелестные строки в начале третьего тома великолепного классического китайского романа «Чи Пу-ха».

В моих одиноких блужданиях по городу меня сопровождали два смиренных, но верных товарища. Это Диана, мой пудель, прелестнейшее из созданий, с клоком шерсти, свисающим на один глаз, и голубой лентой, повязанной вокруг шеи по последней собачьей моде. Она была не больше пяти дюймов ростом, но голова ее была несколько больше туловища, а хвост, отрубленный чрезвычайно коротко, придавал этому незаурядному животному вид оскорбленной невинности и делал Диану всеобщей любимицей.

А Помпей, мой чернокожий слуга! Милый Помпей! Как мне забыть тебя! Я шла, опираясь на его руку. Росту в нем было не больше трех футов (я люблю точность), возраст — семьдесят, а быть может, и все восемьдесят лет. Он был кривоног и тучен. Рот его, равно как и уши, никак нельзя было назвать маленькими. Однако зубы его походили на жемчуг, а выпуклые белки сверкали белизной. Одет он был с

удивительной простотой. Весь его костюм состоял из шейного платка в девять дюймов шириной и почти нового суконного пальто, принадлежавшего прежде рослому и статному доктору Денеггрошу. Это было отличное пальто. Отменно скроенное. Превосходно сшитое. Помпей придерживал его обеими руками, чтобы его полы не замарались в грязи.

Наша компания состояла из трех персон, и с двумя из них читатель уже знаком. Третьим лицом здесь была я. Кто я? Синьора Психея Зенобия, а никакая не Сьюки Сноббс. Внешность у меня запоминающаяся и импонирующая. В тот памятный день на мне было малиновое атласное платье и небесно-голубая арабская мантилья. Платье мое было отделано зелеными аграфами[174] и семью изящными оборками из оранжевых аурикул[175]. Итак, нас было трое: я, Диана и Помпей. Говорят, что первоначально и фурий было всего три: Мельти, Нимми и Хетти — Размышление, Память и Пиликанье на скрипке[176].

Опираясь на руку галантного Помпея и в сопровождении Дианы, следовавшей в почтительном отдалении, я шла по одной из многолюдных и живописных улиц Эйдина. Внезапно передо мной предстала церковь — огромный старинный готический собор с высоким шпилем, уходящим под облака. Что за безумие овладело мной? Зачем я поспешила навстречу року? Не знаю, но меня охватило неудержимое желание подняться на головокружительную высоту и оттуда окинуть взглядом огромный город. Дверь собора была отворена и словно приглашала войти. Судьба моя решилась — я вступила под эти мрачные своды.

Где был в то время мой ангел-хранитель, если такие ангелы в действительности существуют? Если бы я просто миновала собор или двери оказались запертыми! «Если» — короткое, но такое злое слово! Целый мир тайн, смыслов, сомнений и колебаний заключен в этих четырех буквах! Я вошла, ничего не задев своими оранжевыми оборками, миновала портал и оказалась в преддверии храма. Так, говорят, великая река Альфред протекает под морским дном, не сливаясь и не смешиваясь с ним.

Мне уже думалось, что лестнице не будет конца. По кругу! Да-да, ступени вились по кругу, все выше и выше, так что, наконец, и я, и Помпей, на чью руку я доверчиво опиралась, — мы оба начали

подозревать, что верхний конец этой длинной винтовой лестницы кем-то случайно или, может быть, преднамеренно снят. Я остановилась перевести дух, и тут произошло нечто настолько важное, как в моральном, так и в философском смысле, что я просто не могу умолчать об этом. Мне показалось — я даже была уверена, что не ошиблась, ведь я уже несколько минут внимательно и тревожно следила за движениями Дианы и, повторяю, ошибиться не могла: моя Диана почуяла крысу! Я тотчас обратила на это внимание Помпея, и он согласился со мной. Сомнений больше не было. Крысу почуяли — и почуяла ее Диана. Силы небесные! Как я могу забыть глубокое волнение той минуты? Увы! Вот вам хваленый ум человеческий. Крыса! Она была здесь, где-то поблизости. И Диана почуяла ее. А я — я не могла! Так, говорят, прусский ирис обладает для некоторых сладким и крепким ароматом, а для других он совершенно лишен запаха.

Наконец мы одолели лестницу: всего три-четыре ступени отделяли нас от ее верхней площадки. Мы продолжали подниматься, оставалась всего одна ступень. Только один маленький шаг! Сколько людского счастья или горя часто зависит от такой ступени на лестнице человеческой жизни! Я подумала о себе, потом о Помпее, а потом о таинственной и необъяснимой судьбе, тяготеющей над нами. Я подумала о Помпее — увы! — подумала и о любви! Я подумала о тех ложных шагах, которые сделаны и еще могут быть сделаны, и решила быть более сдержанной и осторожной. Я отняла у Помпея руку и сама, без его помощи, преодолела последнюю ступеньку, оказавшись на площадке колокольни. Диана тотчас последовала за мной, а Помпей остался позади. Стоя на верху лестницы, я попыталась приободрить его. Он протянул ко мне руку, но при этом, к несчастью, упустил пальто, которое придерживал. Ужели боги не утомились нас преследовать? Пальто съехало вниз, и Помпей наступил на его длинные полы, волочившиеся по земле, споткнулся и упал.

Это было неизбежно, но упал он вперед и своей проклятой головой ударил меня в грудь, а затем, увлекая меня за собой, повалился на твердый, отвратительно грязный пол колокольни. Месть моя была решительной и немедленной. Свирепо вцепившись обеими руками в эту курчавую голову, я выдрала изрядные клочья его жесткой черной шерсти и отшвырнула их прочь. Сквозняк подхватил их, и они упали

где-то среди колокольных веревок. Помпей безмолвно поднялся. Он не проронил ни слова, лишь жалобно взглянул на меня, поворочал белками и горестно вздохнул. О всемогущие боги, что это был за вздох! Он уязвил меня в самое сердце. В ту минуту я, если бы могла дотянуться, омочила бы слезами раскаяния эти жалкие клочья волос, унесенные ветром. Но увы — они были недосягаемы! Болтаясь между колокольными веревками, они все еще казались живыми, и мне чудилось, что некоторые из них торчат дыбом от негодования. Так, говорят, редкостный хэппиденди флос аэрис с острова Ява продолжает цвести и расти, даже если его выдернуть из почвы с корнями. Туземцы подвешивают это растение к потолку хижины и наслаждаются его ароматом в течение нескольких лет.

Мы помирились и принялись искать отверстие, через которое можно было взглянуть на город Эйдина. Однако окон здесь не было. Свет проникал в это мрачное помещение через единственный проем, имевший около фута в диаметре и находившийся на высоте семи-восьми футов от пола. Но разве это препятствие для истинного гения? Я решила добраться до него. Тут, помимо всего, была масса каких-то колес, шестерней и кабалистического вида рычагов, загораживавших проход, а через отверстие проходил стальной стержень механизма башенных часов. Между зубчатыми колесами и той стеной, в которой находилось отверстие, я могла протиснуться лишь с большим трудом, но я была полна отчаянной решимости и намеревалась добиться своего.

Я подозвала Помпея.

— Видишь это отверстие? Мне хочется посмотреть в него. Встань здесь, прямо под ним. Протяни руку — вот так. А теперь другую, чтобы я могла взобраться к тебе на плечи!

Он сделал все, чего я хотела, и, когда я выпрямилась, оказалось, что легко могу просунуть в проем голову и шею. Вид оттуда открывался неопиcуемый. Ничего великолепнее я еще никогда не видела. Я лишь велела Диане сидеть смирно, а Помпея заверила, что буду осторожна и постараюсь не слишком топтаться у него на плечах. И добавила, что буду нежна с ним, как правильно прожаренный бифштекс.

Проявив таким образом должное внимание к моему преданному другу, я с восторгом и упоением предалась созерцанию пейзажа,

расстилавшегося перед моими глазами.

Впрочем, на эту тему я не буду особенно распространяться. Нет смысла описывать Эдинбург — все вы наверняка в нем бывали. Ограничусь лишь самыми важными моментами, имеющими отношение к моим собственным злоключениям. Удовлетворив свое любопытство относительно размеров, расположения и общего вида города, я окинула взглядом собор, в котором находилась, и изящную архитектуру его колокольни. Кроме того, я обнаружила, что отверстие, в которое я просунула голову, находилось в циферблате гигантских часов и снизу наверняка казалось чем-то вроде дырочки для ключа, какие бывают у настенных часов. А предназначалось оно, скорее всего, для того, чтобы смотритель башенных часов мог просунуть в него руку и в случае необходимости перевести стрелки изнутри. Не без удивления я также отметила, до чего же велики эти стрелки: минутная, самая длинная, достигала примерно десяти футов, а в самом широком месте имела ширину в девять дюймов. Стрелки были изготовлены из прочной стали, и края их выглядели острыми, как лезвия мечей. После этого я снова вернулась к созерцанию великолепной панорамы, расстилавшейся внизу.

Спустя несколько минут меня отвлек голос Помпея, который стал утверждать, что больше не может терпеть и покорнейше просит меня спуститься. Я сочла его требование необоснованным и довольно пространно объяснила ему это. Он отвечал, явно не понимая моих мыслей по этому поводу. Тогда я рассердилась и напрямик объявила ему, что он дурак и косоглазый невежда, что в голове у него столько же, сколько у безмозглого быка, а речи — полная чушь. Судя по всему, это его успокоило, а я снова вернулась к созерцанию.

Прошло, может быть, около получаса; я все еще была поглощена божественным видом, расстилавшимся подо мной, когда что-то очень холодное коснулось моего затылка. Я вздрогнула. Стоит ли описывать, как я испугалась! Я знала, что верный Помпей стоит у меня под ногами, а Диана, в соответствии с моим строгим приказом, сидит в дальнем углу площадки. Что же это могло быть?

Увы! Я очень скоро это узнала. Слегка повернув голову, я, к своему несказанному ужасу, увидела, что огромная сверкающая минутная стрелка, подобная мечу, продолжая движение вокруг циферблата, достигла моей шеи. Нельзя было терять ни секунды. Я рванулась назад

— но уже было слишком поздно. Я не могла вынуть голову из страшной западни, в которую она угодила и которая продолжала смыкаться с кошмарной быстротой. То, что я чувствовала в те мгновения, невозможно представить. Я вскинула руки и изо всех сил принялась толкать вверх массивную стальную полосу. С тем же успехом можно было попытаться приподнять весь собор. Стрелка опускалась все ниже, ниже и ниже. Я закричала и стала звать на помощь Помпея, но он заявил, что я его оскорбила, назвав старым дураком. Я позвала Диану, но та ответила только «вау-вау!» и добавила, что ей не велено ни в коем случае выходить из угла.

Итак, от моих спутников мне не приходилось ждать помощи.

Между тем массивная и жуткая Коса Времени (только теперь я поняла буквальное значение этого сочетания слов) продолжала свое неотвратимое движение. Она опускалась все ниже. Ее острый край уже на полдьюма впился в мое тело, и мои мысли начали путаться. Я видела себя то в Филадельфии в обществе статного доктора Денеггроша, то в приемной мистера Блэквуда, где слушала его бесценные наставления. А потом на меня вдруг нахлынули сладостные воспоминания о былых счастливых днях, и я перенеслась в то благодатное время, когда мир не был для меня пустыней, а Помпей был моложе и чувствительнее.

Между тем звучное тиканье механизма забавляло меня. Я не ошиблась, сказав «забавляло», потому что мои ощущения граничили теперь с полным блаженством и любой пустяк доставлял мне удовольствие. Неумолкающее «тик-так» казалось мне самой мелодичной музыкой и в чем-то напоминало превосходные проповеднические разглагольствования доктора Оллапода. А крупные цифры на циферблате — до чего же умный был у них вид! Внезапно они принялись танцевать мазурку, и больше всего мне понравилось, как это удастся цифре V. Она, я думаю, получила отличное воспитание. В ее движениях не было ничего вульгарного, ни малейшей нескромности. Она восхитительно делала пируэты, вращаясь на своем остром кончике. Я уже хотела было предложить ей стул, так как она казалась утомленной танцем, и только тут вполне осознала всю безвыходность своего положения. Оно было поистине безвыходным! Стрелка врезалась мне в шею уже на дюйм и причиняла нестерпимую

боль. Я призывала смерть и среди своих страданий невольно повторяла прекрасные строки поэта Мигеля де Сервантеса:

Ванни бюрен, тан эскондида,
Квори но ти сенти венте,
Полк на пляже делли мори
Номми, торни, дари види...[177]

Но меня ожидало новое несчастье, которого не выдержали бы самые крепкие нервы. Под давлением стрелки глаза мои начали вылезать из орбит. Пока я раздумывала, как непросто мне будет без них обойтись, один из них вывалился и, скатившись с крутой кровли колокольни, упал в водосток, проложенный вдоль крыши главного здания.

Не так обидна была потеря глаза, как нахальный, независимый и презрительный вид, с которым он уставился на меня, после того как выпал. Он лежал в водосточном желобе прямо у меня под носом и напускал на себя неслыханную важность, которая была бы смешна, если бы не была так неуместна. Никогда еще ни один человеческий глаз так не косил и не подмигивал. Такое его поведение не только раздражало меня явной дерзостью и черной неблагодарностью, но и причиняло крайнее неудобство. В силу сродства, существующего между обоими глазами одной и той же головы, какое бы расстояние их ни разделяло, я волей-неволей моргала и подмигивала вместе с беглецом. Вскоре, однако, с этим было покончено, так как выпал и второй глаз. Он отправился туда же, куда и его собрат (возможно, они успели сговориться). Затем оба выкатились из водостока, и я, признаться, была только рада от них избавиться.

Стрелка уже вдавилась в мою шею на четыре дюйма, и ей оставалось только расцечь тонкий слой кожи. Я испытывала непередаваемое счастье, сознавая, что, самое позднее через несколько минут, избавлюсь от своего неприятного положения. И мои ожидания не были обмануты. Ровно в двадцать пять минут шестого огромная минутная стрелка передвинулась и перерезала оставшуюся часть моей шеи. Я без всякого сожаления увидела, как голова, причинившая мне столько хлопот, окончательно отделилась от туловища. Она соскользнула по стене колокольни, немного помедлила в водосточном желобе, а затем, подпрыгнув, покатила по самой середине улицы.

Должна признаться, что мои чувства приняли очень странный, больше того, совершенно необъяснимый и таинственный характер. Мое сознание раздвоилось и находилось одновременно и тут, и там. Головой я считала, что я, то есть голова, и есть настоящая синьора Психея Зенобия, а спустя мгновение убеждалась, что моя личность заключена не где-нибудь, а именно в туловище. Чтобы прояснить свои мысли на этот счет, я полезла в карман за табакеркой, но, достав ее и попытавшись обычным образом использовать ее содержимое, тотчас поняла свою несостоятельность и бросила табакерку вниз, своей голове. Та с видимым удовольствием нюхнула табачку и послала мне улыбку в знак признательности. А затем обратилась ко мне с речью, которую я неважно расслышала, опять же, за неимением ушей. Однако я поняла, что она удивляется моему желанию жить в таких обстоятельствах. В заключение она привела благородные слова Ариосто[178], сравнив меня с героем, который, не заметив в пылу битвы, что умер, с отчаянной храбростью продолжал сражаться.

Теперь уже ничто не мешало мне спуститься вниз, что я и сделала. Что уж так поразило Помпея в моей внешности, я до сих пор не знаю. Однако он растянул рот до ушей, зажмурился так крепко, будто собирался колоть веками орехи, а затем, бросив пальто, помчался вниз по лестнице и исчез из виду. Я бросила вслед негодяю гневные и страстные слова Демосфена: «Эй, Эндрю О'Флегетон, как можешь ты бросать меня?»[179] — а затем обернулась к своему сокровищу, лохматой и короткохвостой Диане. Но боже, что за страшное зрелище предстало предо мной! Неужели это крыса только что юркнула в нору? А это что? Обглоданные косточки моего ангела, съеденного злобным чудовищем? О боги, боги! Мне кажется, я вижу в углу призрак, дух моей любимой собачки, сидящей в углу с обычной меланхолической грацией... Но что это? Кажется, она заговорила, и — о небо! — на языке Шиллера:

Унд штабби дак, зо штабби дун
Дук зи! Дук зи!
Увы! Сколько правды в этих словах!
Пусть это смерть — я смерть вкусил
У ног, у ног, у милых ног твоих...

Нежное создание! Она тоже пожертвовала собой ради меня. Без Дианы, без Помпея, без головы, что теперь остается несчастной

синьоре Психее Зенобии? Увы, ничего! Для нее все кончено.

Лягушонок

Я в жизни своей не видал такого шутника, как этот король. Он, кажется, жил только ради шуток. Рассказать забавную историю, и рассказать ее хорошо, как полагается, — таков был наилучший способ добиться его милости. Потому-то все его семь министров пользовались славой отменных шутов. Словно взяв пример со своего короля, все они были люди крупные, грузные, обрюзгшие и неподражаемые шутники. Толстеют ли люди от шуток, или сама по себе толщина к ним располагает — этого я никогда не мог выяснить доподлинно, но, так или иначе, худощавый шутник — *gaga avis in terris*[180].

Король не особенно заботился об утонченности или, как он выражался, о «духе» остроумия. В шутке ему нравилась главным образом широта, и ради нее он готов был пожертвовать глубиной. Он предпочел бы «Гаргантюа» Рабле «Задигу» Вольтера, да и в целом ему больше нравились шутовские выходки, чем словесные остроты.

В эпоху, к которой относится мой рассказ, профессиональные шуты еще не перевелись при дворах. Даже в некоторых великих континентальных державах имелись придворные «дураки», носившие пестрое платье, колпак с погремушками и обязанные отпускать остроты по первому требованию в обмен на объедки с королевского стола.

Разумеется, и наш король держал при себе «дурака». Правду говоря, он испытывал потребность в некоторой дозе глупости, хотя бы в качестве противовеса утомительной мудрости своих министров, не говоря уже о своей собственной.

Однако его «дурак» — то есть профессиональный шут — был не только шутом. В глазах короля он имел тройную цену, потому что был еще и карлик, и калека. Карлики при тогдашних дворах были явлением столь же обычным, как и «дураки»; и многие короли не знали бы, как скоротать время (а время при дворе тянется медленнее, чем где-либо), не будь у них возможности посмеяться над шутом или карликом. Но, как я уже говорил, шутники в девяноста девяти случаях из ста тучны, пузаты и неповоротливы, ввиду этого наш король немало радовался

тому, что в лице Лягушонка — так звали его шута — обладает тройным сокровищем.

Я не думаю, что имя Лягушонок было дано этому карлику восприимчивыми при крещении. Вернее всего, оно было пожаловано ему — с согласия семи министров — за неумение ходить по-человечески. Действительно, Лягушонок двигался как-то судорожно — не то ползком, не то прыжками; одна его походка вызывала безграничное веселье и немало тешила короля, считавшегося при дворе красавцем, несмотря на огромное брюхо и благоприобретенную одутловатость лица.

Несмотря на то что Лягушонок мог передвигаться по земле или по каменным плитам дворца только с трудом, чудовищная сила, которой природа наделила его руки, как бы в возмещение за слабость нижних конечностей, позволяла ему проделывать изумительные трюки. Когда ему доводилось уцепиться за ветки или веревки и куда-нибудь вскарабкаться, он сразу становился похож скорее на белку или обезьяну, чем на лягушку.

Я не знаю толком, откуда был родом Лягушонок. Кажется, из какой-то варварской страны, о которой никто ничего не слышал из-за ее отдаленности от двора нашего короля. Лягушонок и одна молодая девушка по имени Трипетта, такая же карлица, как и он, но удивительно пропорционально сложенная и превосходная танцовщица, были оторваны от своих семей и посланы в подарок королю одним из его непобедимых полководцев.

Немудрено, что при таких обстоятельствах между двумя маленькими пленниками возникла близкая дружба. Вскоре они стали закадычными друзьями. Лягушонок, который, несмотря на свои шутки, не пользовался большой популярностью, не мог оказать Трипетте больших услуг, зато она благодаря своей грации и красоте пользовалась большим влиянием при дворе и всегда была готова использовать его ради Лягушонка.

Однажды по случаю какого-то важного события (какого именно, не упомню), король решил устроить маскарад. А всякий раз, когда при нашем дворе устраивали маскарад или что-нибудь в этом роде, Лягушонку и Трипетте приходилось всю демонстрировать свои таланты. Лягушонок был невероятно изобретателен по части декораций, новых костюмов и масок, так что без его помощи решительно не могли обойтись.

Наступил вечер, назначенный для празднества. Парадный зал был убран под надзором Трипетты всевозможными гирляндами и эмблемами, чтобы придать eclat[181] маскараду. Весь двор томился в лихорадочном ожидании.

О масках и костюмах каждый должен был позаботиться сам, и заранее. Многие приготовили их — в соответствии с теми ролями, которые решили играть, — за неделю и даже за месяц. На этот счет ни у кого не возникло колебаний, кроме короля и семи его министров. Почему они медлили, я не могу объяснить, разве что шутки ради. Но, скорее всего, просто затруднялись что-либо придумать из-за своей толщины. Однако время шло, и в конце концов они послали за Лягушонком и Трипеттой.

Когда маленькие друзья явились на зов короля, он сидел со своими министрами в Зале совета за бутылкой вина и, казалось, пребывал в скверном расположении духа. Король знал, что Лягушонок не любит вина, так как оно доводило бедного калеку почти до безумия, а безумие не так уж приятно. Но король любил пошутить и потому решил заставить беднягу «пить и веселиться».

— Поди сюда, Лягушонок, — проговорил он, едва шут и его подруга вступили в зал. — А ну-ка, осуши этот стакан за здоровье своих отсутствующих друзей (Лягушонок невольно вздохнул) и помоги нам своей изобретательностью. Нам нужны костюмы, костюмы, слышишь, парень! — причем что-нибудь новое, небывалое. Нам осточертело одно и то же. Давай, пей! Вино малость прочистит твои мозги.

Лягушонок попробовал было ответить шуткой на любезности короля, но из этого ничего не вышло. Как раз был день рождения бедного карлика, и приказание выпить «за здоровье отсутствующих друзей» вызвало слезы на его глазах. Горько-соленые капли упали в кубок, когда шут с поклоном принял его из рук венценосца.

— А-ха-ха-ха! — загрохотал король, когда карлик с отвращением опорожнил кубок. — Вот что значит стакан доброго вина! Мигом глазки заблестели!

Бедняга! Его глаза не заблестели, а, скорее, засверкали, потому что вино на его легко возбудимый мозг действовало сильно и мгновенно. Судорожным движением он поставил кубок на стол и обвел

присутствующих уже полубезумным взглядом. Все, по-видимому, находили королевскую шутку чрезвычайно забавной.

— А теперь к делу, — сказал первый министр, человек очень тучный.

— Да, — подтвердил король, — помоги же нам, Лягушонок! Нам нужны характерные костюмы, милый мой! Нам всем не хватает характера, всем до единого — ха-ха-ха!

И поскольку он всерьез считал это удачной шуткой, все семеро принялись вторить его хохоту.

Лягушонок тоже засмеялся, но дребезжащим и каким-то бессмысленным смехом.

— Ну же, ну! — торопил король, — неужели не можешь ничего придумать?

— Я стараюсь придумать что-нибудь совсем новое, — ответил карлик почти машинально, так как вино совершенно затуманило ему голову.

— Стараешься? — воскликнул король с гневом. — Это еще что такое? А, понимаю! Тебе грустно оттого, что ты мало выпил. Тогда пей еще! — С этими словами он снова наполнил кубок до краев и протянул калеке, который молча смотрел на него, с трудом переводя дух.

— Пей же, говорят тебе, — гаркнул тиран, — или, клянусь преисподней...

Карлик все медлил. Король побагровел от гнева. Придворные ухмылялись. Трипетта, бледная, как покойница, приблизилась к трону короля и, упав на колени, стала умолять пощадить ее друга.

В течение нескольких мгновений король глядел на нее в полном изумлении. Он просто растерялся, не зная, как достойно выразить свое негодование ввиду такой неслыханной дерзости. Наконец, не проронив ни слова, он с силой оттолкнул девушку и выплеснул ей в лицо содержимое кубка.

Бедная Трипетта, не смея вздохнуть или оправить платье, вернулась на свое место в конце стола.

Воцарилось гробовое молчание, продолжавшееся с полминуты; можно было услышать падение листка или пушинки. И вдруг тишина была прервана тихим, но резким и продолжительным скрежетом, который, казалось, исходил из всех углов зала.

— Что, что это за звук? Ты еще смеешь скрежетать зубами? — вскричал король, в бешенстве поворачиваясь к карлику.

По-видимому, опьянение Лягушонка немного прошло; он спокойно и твердо взглянул на короля и воскликнул:

— Я? Да разве это я?

— Звук как будто доносится снаружи, государь, — заметил один из придворных. — Должно быть, это попугай, что сидит в клетке за окном, вздумал точить клюв о прутья.

— И верно, — отвечал монарх, успокаиваясь, — но я едва ли не был готов поклясться рыцарской честью, что скрипел зубами этот бездельник.

Тут карлик рассмеялся (король был слишком известным шутником, чтобы рассердиться в ответ на чей-либо смех), обнаружив ряд безобразных, но крупных и крепких зубов. Мало того — он изъявил готовность пить еще, и сколько угодно. Монарх уgomонился, а Лягушонок, осушив еще кубок без малейших последствий, тут же приступил к обсуждению вопроса о маскарade.

— Не могу объяснить, в силу какой связи идей, — заметил он совершенно спокойно, будто и не прикасался к вину, — но сразу же после того, как ваше величество ударили девушку и плеснули ей в лицо вином, и в ту самую минуту, когда попугай так странно заскрежетал клювом, мне вспомнилась одна восхитительная забава, распространенная на моей родине, но совершенно неизвестная здесь. Однако для нее требуется восемь человек, и...

— Да вот же они! — воскликнул король, радуясь своей сообразительности. — Ровным счетом восемь — я и мои семь министров. Продолжай! Что за забава?

— Мы называем ее, — отвечал калека, — «восемь орангутангов в цепях». И если все разыграть как следует, то зрелище получится поистине необыкновенное.

— И мы разыграем это, — заметил король, приосанившись.

— Главная прелесть игры, — продолжал Лягушонок, — в том, что она отчаянно пугает женщин.

— Превосходно! — хором взревели монарх и его министры.

— Я наряжу вас орангутангами, — продолжал Лягушонок, — уж это вы предоставьте мне. Сходство будет таким неотразимым, что все

примут вас за настоящих обезьян и, разумеется, будут страшно напуганы и удивлены.

— Просто великолепно! — воскликнул король. — Лягушонок, я награжу тебя по-королевски.

— А цепи своим бряцанием еще увеличат панику. Будет пущен слух, что все вы сбежали от своих сторожей. Ваше величество может вообразить, какой эффект произведет появление на маскараде восьми неотличимых от настоящих орангутангов, когда они с диким визгом ворвутся в толпу разряженных в пух и прах дам и кавалеров. Контраст получится бесподобный!

— Так и сделаем, — кратко подвел итог король.

Было уже поздно, и совет немедленно взялся за осуществление выдумки Лягушонка.

Средства, с помощью которых он хотел превратить всю компанию в орангутангов, были очень просты, но вполне годились для целей Лягушонка. В то время животные, о которых идет речь, редко попадали в цивилизованные страны; а поскольку костюмы, придуманные карликом, придавали наряженным в них действительно звероподобный и отвратительный вид, публика могла принять их за настоящих обезьян. Прежде всего, король и министры надели трико в обтяжку. Затем их вымазали дегтем. Кто-то посоветовал употребить перья, но это предложение было резко отвергнуто карликом, который убедил всех восьмерых, что для шерсти такого зверя, как орангутанг, лучше всего воспользоваться пенькой. Толстый слой пеньки был наклеен на деготь. Затем принесли длинную цепь. Сначала ее обвили вокруг талии короля и наглухо заклепали, потом вокруг талии одного из министров и тоже заклепали, и так далее, пока не сковали всех. После этого ряженные встали как можно дальше друг от друга — насколько позволяла цепь — и образовали круг. Ради полного правдоподобия Лягушонок протянул свободный конец цепи поперек круга, как делают охотники, занимающиеся ловлей шимпанзе и других крупных обезьян в Африке и на острове Борнео.

Парадный зал, предназначенный для маскарада, был высоким и круглым, с одним-единственным окном в потолке. Ночью он освещался огромной люстрой, висевшей на цепи, прикрепленной в центре этого потолочного окна. Люстру обычно поднимали и опускали

с помощью блока, но сам блок, чтобы не портить убранство зала, находился снаружи здания.

Украсить зал было поручено Трипетте, хотя в некоторых деталях она, видимо, пользовалась указаниями своего изобретательного друга-карлика. По его совету люстра была снята: горящие и тающие восковые свечи наверняка нанесли бы серьезный ущерб роскошным костюмам гостей. Взамен люстры по всему залу — так, чтобы не мешать публике, — были установлены канделябры, а в правой руке каждой кариатиды — а их было здесь пятьдесят или шестьдесят — закрепили благовонный факел.

Восемь орангутангов, по совету Лягушонка, терпеливо ждали полуночи, когда зал до отказа заполнится гостями. Но едва затих бой часов, как они разом ворвались, или, вернее, вкатились в зал, ибо из-за цепи все они то и дело спотыкались и падали.

Переполох среди гостей был невообразимый, и это привело короля в восторг. Как и ожидалось, большинство гостей приняло ряженных если не за орангутангов, то, по крайней мере, за каких-то неведомых зверей. Многие дамы попадали в обморок, и если бы король не запретил являться на маскарад с оружием, веселая компания могла бы поплатиться жизнью за свою проделку. Гости, давя и толкая друг друга, ринулись к выходу, но король заранее приказал слугам запереть двери, едва ряженные войдут в зал, а карлик попросил отдать ключи ему.

Суматоха достигла высшей степени, и каждый думал только о собственном спасении, паника, вспыхнувшая в обезумевшей толпе, действительно становилась смертельно опасной. В этот миг цепь, на которой прежде висела люстра и которая была поднята к потолку, мало-помалу опустилась так, что массивный крюк на ее конце повис на расстоянии трех футов от пола.

А вскоре после этого король и семеро его товарищей, с рычанием кружившие по залу, очутились на его середине. Как только они оказались там, Лягушонок с молниеносной быстротой подцепил их крюком — как раз в том месте, где пересекались сковывавшие ряженных цепи. В ту же минуту невидимая сила подняла крюк футов на тридцать, а вместе с ним и «орангутангов», беспомощно повисших, словно лохматая гроздь.

Тем временем гости немного пришли в себя после минутного испуга и, догадавшись, что все происходящее — всего лишь ловко разыгранная шутка, принялись хохотать при виде комического положения «орангутангов».

— Позвольте мне! — неистово завизжал Лягушонок, покрыв своим пронзительным голосом всеобщий хаос. — Позвольте мне! Кажется, я знаю их! Дайте только взглянуть на них поближе, и я скажу вам, кто они такие!

Буквально по головам зрителей он пробрался к стене, выхватил факел у одной из кариатид, мигом вернулся обратно, с ловкостью обезьяны вспрыгнул на голову королю, вскарабкался по цепи еще выше и, очутившись над орангутангами, осветил их факелом, продолжая восклицать:

— Сейчас мы узнаем, кто они!

Внезапно, пока толпа и сами орангутанги помирали со смеху, он пронзительно свистнул — и цепь быстро поднялась еще футов на тридцать, увлекая за собой испуганных, барахтающихся «обезьян», повисших теперь как раз посередине между полом и потолком. Лягушонок, поднимавшийся вместе с цепью, остался на прежнем расстоянии от восьмерки ряженных и, словно ничего не произошло, освещал их факелом, якобы пытаясь разглядеть, кто они.

Публика была так поражена этим подъемом, что на минуту воцарилось гробовое молчание. И вдруг его нарушил негромкий, резкий, скрежещущий звук — в точности такой же, как тот, что привлек внимание короля и его министров, когда монарх выплеснул вино в лицо Трипетте. Но теперь нечего было и гадать, откуда он исходит. Этот скрежет издавали крепкие и кривые зубы карлика. Он устремил бешеный взгляд на обращенные вверх лица министров и короля, и на губах его показалась пена.

— Ха-ха-ха! — внезапно расхохотался разъяренный шут. — Ох-хо-хо! Кажется, я начинаю узнавать этих людей!

В следующее мгновение, как бы желая получше рассмотреть самого крупного «орангутанга», он поднес факел к пеньковой «шерсти» короля, и она мгновенно вспыхнула ярким пламенем. Не прошло и минуты, как пылали уже все восемь «орангутангов». Толпа, в ужасе следившая снизу за происходящим, разразилась бессильными криками, ибо никто не мог оказать помощь скованным ряженным.

Жар усиливающегося пламени заставил карлика вскарабкаться повыше, и пока он поднимался по цепи, толпа внизу опять на мгновение смолкла. Воспользовавшись этим, Лягушонок снова крикнул:

— Теперь я вижу ясно, что за люди эти ряженые! Это наш великий король и семь его министров! Король, который не постыдился унижить беззащитную девушку, и его советники, которые одобрили эту подлость! А я — я просто Лягушонок, шут, но это моя последняя шутка!

Пенька и деготь воспламеняются быстро и горят жарко, поэтому месть карлика завершилась прежде, чем он успел закончить свою речь. Восемь обугленных тел болтались на цепи — смрадная, черная, отвратительная, бесформенная масса. Калека швырнул в них факел, взобрался по цепи к своду и скрылся в окне наверху.

Кое-кто считает, что Трипетта, находившаяся в это время на крыше дворца, помогала своему другу в его огненной мести и что оба они бежали на родину, потому что с тех пор их больше никто не видел.

Мистификация

Уж если таковы ваши пасады и монтанты[182], то нам их не надобно.

Нед Ноулз

Барон Ритцнер фон Юнг происходил из знатного венгерского рода, все представители которого, как сообщают нам летописи, далеко проникающие в глубь веков, отличались какими-нибудь талантами или странностями вроде тех, которые описывал Людвиг Тик[183], состоявший с этим семейством в дальнем родстве.

Мое знакомство с бароном Ритцнером началось в великолепном замке Юнг, куда летом 18.. года меня забросил ряд забавных обстоятельств, обнародовать которые я не стану. Там барон впервые обратил на меня внимание, а я отчасти постиг склад его ума. По мере того как крепла наша дружба, я начал понимать его яснее и впервые смог заглянуть в его душу. Когда же мы снова встретились в Геттингене после трехлетней разлуки, я знал о характере барона Ритцнера фон Юнга все, что мне требовалось.

Помню волну любопытства, вызванную его появлением в университетских стенах вечером двадцать пятого июня. Помню еще отчетливее, что, хотя с первого взгляда все провозгласили его «самым замечательным человеком на свете», никто не сделал ни малейшей попытки обосновать это мнение. Его абсолютная уникальность представлялась настолько неопровержимой, что любая попытка определить, в чем же она состоит, казалась дерзостью. Но пока, оставляя все это в стороне, замечу лишь, что как только барон вступил в пределы университета, он тут же начал оказывать на привычки, манеры, характеры, кошельки и склонности всех, кто его окружал, совершенно беспредельное, деспотическое и в то же время ничем не объяснимое влияние. Поэтому его недолгое пребывание отмечено в анналах университета как целая эпоха, и все, кто имел в ту пору прямое или косвенное отношение к университету, называют ее «эрой владычества барона Ритцнера фон Юнга».

По приезду в Геттинген барон явился ко мне. Выглядел он как-то неопределенно, и не было ни малейшей возможности догадаться о его возрасте. Ему можно было дать и пятнадцать, и пятьдесят, а в действительности ему исполнился лишь двадцать один год и семь месяцев. Он не был красавцем, скорее наоборот. Строение его лица отличалось угловатостью и резкостью: вздернутый нос, высокий и очень чистый лоб, большие глаза навывкате, взгляд тяжелый, обычно ничего не выражающий. Впрочем, по его слегка выпяченным чувственным губам можно было догадаться о большем. Складки его рта удивительным образом производили полное и неповторимое впечатление безграничной гордости, достоинства и покоя.

Из всего сказанного становится ясно, что барон относился к тем диковинным особам, хоть и редко встречающимся, которые превращают искусство мистификации в объект глубокого изучения, а затем и в дело всей жизни. Особый склад ума фон Юнга с неизбежностью привел его к этому искусству, а его внешность чрезвычайно облегчила ему осуществление его замыслов. Я совершенно убежден, что в ту славную пору, которую в Геттингене нарекли «эрой владычества барона Ритцнера фон Юнга», ни один студент не сумел ни на мизинец проникнуть в тайну его характера. Правда состоит в том, что никто в университете, исключая меня, ни разу даже не заподозрил, что этот человек способен на шутку в слове

или на деле — скорее в этом заподозрили бы дряхлого бульдога, сторожившего садовые ворота, или парик отставного профессора теологии.

Так бывало даже тогда, когда становилось ясно, что самые дикие и невообразимые выходки, шутовские бесчинства и плутни если не прямо исходят от него, то, во всяком случае, совершаются при его посредничестве или пособничестве. Редкостное изящество его мистификаций было обусловлено свойственным барону почти инстинктивным знанием человеческой природы, а также его беспримерным самообладанием. Он неизменно умел представить учиняемые им проделки как такие, которые совершаются вопреки его усилиям предотвратить их, дабы наша альма-матер сохранила в неприкосновенности благоприличие и достоинство. Острое и глубокое огорчение при всякой неудаче этих похвальных намерений накладывало свой отпечаток на каждую черточку его облика, не оставляя в сердцах даже самых недоверчивых места для сомнений в искренности барона. Не меньшего внимания заслуживала ловкость, с какой он умудрялся, так сказать, перемещать внимание с творца на творение — то есть со своей персоны на те нелепые затеи, которые он измышлял и воплощал. Мне больше никогда не приходилось видеть, чтобы известный всем мистификатор избежал прямого следствия своих действий — всеобщего несерьезного отношения к собственной персоне. Постоянно предаваясь самым затейливым причудам, мой друг казался человеком самых строгих правил; даже его собственная прислуга ни на миг не сомневалась, что ее господин — человек добропорядочный, хоть и чопорный и надменный.

Во время его пребывания в Геттингене над университетом витал дух сладкой праздности. Студенты проводили день за днем за едой, питьем и увеселениями. Студенческие квартиры превратились чуть ли не в трактиры, и ни один трактир не пользовался более громкой славой и не посещался усерднее, чем жилище барона. Наши кутежи были частыми, шумными, продолжительными и всегда увенчивались какими-нибудь событиями.

Однажды мы засиделись почти до зари и выпили огромное количество вина. Компания наша состояла человек из семи-восьми, не считая барона и меня. Большинство из нас были людьми состоятельными, гордившимися своим аристократическим

происхождением и крайне щепетильными в вопросах чести. Относительно дуэлей все присутствовавшие разделяли самые радикальные взгляды. Несколько статей, появившихся в последнее время в журналах, и три-четыре отчаянных стычки в Геттингене, имевшие роковой исход, придали этим донкихотским устремлениям новую силу. И главной темой разговоров в тот вечер как раз и был дуэльный кодекс, живо интересовавший всех. Барон, на редкость молчаливый и рассеянный в начале вечера, наконец пробудился от апатии и завладел всеобщим вниманием, отстаивая пользу и, главным образом, красоту традиционного кодекса в случаях разрешения вопросов чести. Говорил он с таким жаром, красноречием и убедительностью, что вызвал всеобщий энтузиазм и поразил даже меня — а ведь я хорошо знал его ироническое отношение к тем вещам, которые он в тот момент горячо отстаивал. Особое его презрение вызывал хвастливый этикет, принятый на дуэлях в Германии.

Оглянувшись во время паузы в речи барона, я заметил, что один из присутствующих слушает его с особым интересом. Этот господин — назовем его Германом — был довольно оригинальной личностью во всех отношениях, за исключением одного: он был законченный дурак. Однако ему удалось приобрести в некоем узком студенческом кругу репутацию глубокого мыслителя-метафизика, к тому же наделенного даром логического мышления. Как дуэлянт он прославился даже в Геттингене, где дуэли не редкость. Не припомню, сколько именно жертв пало от его руки, во всяком случае — немало. Он был, безусловно, смелым человеком. Но особенно он гордился скрупулезным знанием дуэльного кодекса и своей особой чуткостью в вопросах чести. Это было его коньком. Барона, вечно поглощенного поисками всевозможных нелепостей, подобное увлечение уже давно провоцировало на мистификацию. Впрочем, в тот момент я этого не знал, хотя и понял, что друг мой готовит какую-то проделку, наметив очередной жертвой Германа.

По мере того как барон продолжал свой монолог, я заметил, что Герман все больше и больше волнуется. Наконец он заговорил, возражая против какой-то частности, на которой фон Юнг настаивал, и подробно мотивируя свое возражение. Барон отвечал, все еще сохраняя взятую им с самого начала патетическую ноту, и закончил — по-моему, совершенно некстати — едкой иронией, сопровождаемой

усмешкой. Тут Герман закусил удила. Это я понял из его возражений, представлявших беспорядочную смесь из всевозможных тонкостей, не имеющих отношения к делу. Последние его слова я хорошо запомнил:

— Позвольте мне сказать, барон фон Юнг, что ваши мнения, хотя и справедливые в главном, во многих пунктах подрывают уважение и к вам лично, и к университету, к которому вы принадлежите. Более того — во многих отношениях они даже не заслуживают серьезных возражений. Я бы сказал и больше, если бы не опасался вас оскорбить, — здесь Герман дерзко усмехнулся. — Я имею в виду, что мнения, подобные вашему, — не те, каких мы вправе ждать от благородного человека!

Когда Герман окончил свою двусмысленную тираду, все глаза обратились на барона. Он побледнел и затем весь вспыхнул. Потом уронил свой носовой платок, и когда нагнулся поднять его, я успел заметить выражение его лица, которое не мог видеть никто из сидевших за столом. Оно озарилось выражением присущей фон Юнгу насмешливости, выражением, которое он позволял себе лишь наедине со мной, переставая притворяться. Миг — и он выпрямился, оказавшись лицом к лицу с Германом! Столь полной и мгновенной перемены выражения я прежде не видывал. Казалось, он задыхается от ярости, смертельная бледность покрыла его щеки. Какое-то время барон молчал, как бы пытаясь овладеть собой. Наконец, когда это ему, по-видимому, удалось, он схватил стоявший на столе графин и проговорил, крепко сжимая его:

— Против всего, что вы здесь высказали, мингер Герман, можно возразить столь многое, что я не имею ни времени, ни желания вступать в продолжительный диспут. Но ваше замечание о несоответствии моих взглядов с достоинством благородного человека настолько оскорбительно, что мне остается только одно. Впрочем, как хозяин дома, я обязан быть вежлив со своими гостями и с вами также. Надеюсь, вы извините меня, если я, вследствие этих соображений, несколько отступлю от обычного образа действия дворянина, которому нанесено личное оскорбление. Вы простите меня, ежели я попрошу вас немного напрячь воображение и всего на единый миг счесть отражение вашей особы вон в том зеркале настоящим мингером Германом. В этом случае не возникнет решительно никаких затруднений. Я швырну этим графином в вашу фигуру, отраженную в

зеркале, и так выражу по духу, если не строго по букве, насколько я возмущен вашим оскорблением, а от необходимости применять к вашей особе физическое насилие буду избавлен.

С этими словами он метнул графин с вином в зеркало, висевшее как раз напротив Германа. Барон попал точно в цель, а зеркало, само собой, разлетелось вдребезги. Все присутствовавшие вскочили и, за исключением фон Юнга и меня, поспешно удалились. Когда Герман вышел, барон шепнул мне, чтобы я последовал за гостем и предложил ему свои услуги в качестве секунданта. Я согласился, сам не зная, что думать о столь нелепом поручении.

Дуэлянт принял мое предложение с самым чопорным и корректным видом и, подхватив меня под руку, повел к себе. Я с трудом сдерживал смех, глядя на него и слушая, как он с глубокой серьезностью обсуждает «нанесенное ему утонченное оскорбление, не имеющее себе равных». После утомительных разглагольствований в свойственной ему манере, он достал с полок несколько заплесневелых книг, посвященных дуэльным правилам, и долго изнурял меня чтением вслух и комментированием прочитанного. Там были «Ордонанс Филиппа Красивого о единоборствах», «Театр чести» некоего Фавина и трактат Д'Одигье «О разрешении поединков». С самым напыщенным видом он продемонстрировал мне «Мемуары о дуэлях» Брантома, изданные в 1666 году в Кельне, — уникальный том, напечатанный на веленовой бумаге с большими полями. Затем он с таинственным видом попросил меня обратить внимание на толстую книгу в одну восьмую листа, написанную на средневековой латыни и снабженной курьезным заглавием «Законы дуэли, писанные и неписанные». Оттуда он огласил главу «Оскорбление прикосновением, словом и само по себе», около половины которой, как он меня заверил, в точности применимо к его случаю, хотя я не смог понять ни слова из того, что услышал, хоть убейте меня на месте.

Дочитав главу до конца, он захлопнул книгу и осведомился, что, по-моему мнению, ему следует предпринять. Я ответил, что вполне доверяю его тонкому чутью и выполню все, что он мне предложит. Ответ мой, видимо, ему польстил, и он уселся за письмо к барону. Привожу его полностью.

«Барону Ритцнеру фон Юнгу. Августа 18 дня 18.. года.

Милостивый государь! Мой друг господин П. вручит Вам эту записку. Считаю необходимым просить Вас при первой же возможности дать мне исчерпывающие объяснения о происшедшем у Вас в доме сегодня вечером. Если же на мою просьбу Вы ответите отказом, господин П. будет рад вместе с одним из Ваших друзей, которого Вы сообразовали назвать, обеспечить возможность нашей встречи.

Примите уверения в совершеннейшем к Вам почтении.

Иоганн Герман».

Не зная, что делать дальше, я отправился с этой запиской к барону. Он поклонился мне, когда я подал ее ему, а затем с важным видом усадил меня в кресло. Прочитав вызов, он написал следующий ответ, который я и доставил Герману.

«Господину Иоганну Герману. Августа 18 дня 18.. года.

Милостивый государь!

Наш общий друг господин П. вручил мне Ваше письмо, написанное нынче вечером. По глубокому размышлению вынужден откровенно признать законность требуемого Вами объяснения. Но, признав это, все же испытываю серьезные затруднения. Ввиду необычного характера наших разногласий и личной обиды, мною нанесенной, я не могу представить себе словесного выражения тех извинений, каких вы от меня ждете, чтобы они могли исчерпать все многообразные оттенки и сложности, заключенные в данном инциденте. Однако я в полной мере полагаюсь на то глубочайшее проникновение во все тонкости этикета, которым Вы давно и по праву славитесь. Вследствие этого и с уверенностью, что буду правильно понят, осмелюсь отослать Вас к высказываниям сьера Эделена, приведенным в девятом параграфе главы «Оскорбление прикосновением, словом и само по себе» его труда «Законы дуэли, писанные и неписанные». Глубины и тонкости Ваших познаний во всем, о чем трактует автор, будет, я вполне уверен, достаточно для того, чтобы убедить Вас, что самый факт моей ссылки на это превосходное высказывание должен удовлетворить Вашу просьбу объясниться, просьбу человека чести.

Примите уверения в глубочайшем к Вам почтении.

Барон Ритцнер фон Юнг».

Герман начал читать это послание с язвительной усмешкой; но когда он добрался до ссылки на упомянутую главу, она превратилась в улыбку самого наивного самодовольства. Окончив чтение, он с самой любезной улыбкой попросил меня сесть, а сам снял с полки книгу сьера Эделена. Отыскав указанное место, он внимательно прочитал его про себя, затем закрыл книгу и попросил меня в качестве близкого знакомого передать барону свое восхищение его рыцарским поведением и заверить его, что представленное им объяснение является самым полным, почетным, недвусмысленным и вполне его удовлетворяющим.

Окончательно сбитый с толку всем этим, я вернулся к барону. Он принял слова Германа как нечто само собой разумеющееся, а затем удалился в соседнюю комнату, откуда вернулся все с тем же томом «Законов дуэли», который и вручил мне, предложив кое-что прочесть. Я так и поступил, но совершенно напрасно, ибо не понял ровно ничего из того, что хотел сказать автор. Тогда барон сам взял книгу и прочитал всю главу вслух. И к моему полному изумлению, я услышал подробный рассказ о дуэли между двумя павианами, полный самых смехотворных подробностей. Барон объяснил мне секрет. Оказывается, это сочинение было написано совершенно особым образом — слова в нем были подогнаны так, чтобы, обладая всеми внешними признаками разумности и даже глубины, не заключать в действительности ни тени смысла. Ключ к истинному содержанию был в том, чтобы при чтении опускать каждое второе, а затем каждое третье слово — и тогда перед вами представляли уморительные насмешки над поединками нашего времени.

Барон рассказал мне, что несколько недель назад он специально подsunул Герману эту книгу, а сегодня из спора с ним уяснил, что тот серьезно изучил ее, приняв ее содержание за чистую монету. Это и послужило фон Юнгу путеводной нитью. Герман скорее бы тысячу раз умер, но не признался бы в неспособности понять что-либо на свете, написанное о правилах поединков.

Черт на колокольне

«Который час?»

Расхожее выражение

Все знают, что прекраснейшим местом в мире является, или — увы! — являлся, голландский городок Вондервоттеймиттис[184]. Но поскольку он расположен вдалеке от больших дорог, так сказать, в захолустье, то вряд ли многим из читателей довелось в нем побывать. Для тех, кто там не бывал, стоит привести некоторые сведения о нем. Это тем более необходимо, что, рассчитывая привлечь сочувствие к его обитателям, я собираюсь поведать здесь историю бедственных событий, случившихся недавно в его пределах. Никто из тех, кто знает меня, не усомнится, что я исполню эту добровольно взятую на себя обязанность с полной добросовестностью, строгой беспристрастностью, осторожно взвешивая факты и сопоставляя источники, чем ни при каких обстоятельствах не должен пренебрегать тот, кто претендует на звание историка.

На основании летописей, старинных монет и иных раритетов можно положительно утверждать, что город Вондервоттеймиттис с самого своего основания находился в таком же состоянии, в каком пребывает и ныне. К сожалению, о времени этого основания я могу говорить лишь с той определенной неопределенностью, с которой порой вынуждены мириться математики в некоторых алгебраических формулах. Поэтому могу сказать одно: городок стар, как и все на земле, и существует со времен сотворения мира.

Что касается происхождения названия «Вондервоттеймиттис», приходится признать, что и оно остается неясным. Среди множества гипотез и мнений, высказанных по этому деликатному поводу — остроумных, ученых и прямо противоположных по смыслу, я не могу отыскать ничего вполне удовлетворительного. Поэтому отсылаю читателя к трудам Шнапстринкена и Тугодумма, которые, при известных оговорках, заслуживают предпочтения.

Несмотря на мрак, окутывающий эпоху основания Вондервоттеймиттиса и происхождение его названия, нет никаких сомнений, как я уже сказал выше, что он всегда существовал в том же виде, как и теперь. Старейший из жителей городка не помнит ни малейших изменений в его облике, и даже предположение о подобной возможности счел бы жестоким оскорблением. Городок лежит в совершенно круглой долине, имеющей четверть мили в диаметре, и со всех сторон окружен пологими холмами, за пределы которых жители

никогда не решаются забредать. В объяснение этого феномена они приводят вполне основательную причину — дескать, они вообще не верят, чтобы по ту сторону существовало хоть что-нибудь.

По окружности долины, совершенно плоской и вымощенной кафельной плиткой, располагаются шестьдесят домиков. Тылами они обращены к холмам, а их фасады смотрят, конечно же, на центр долины, который отстоит ровно на шестьдесят ярдов от входной двери всякого жилища. Перед каждым домом — садик с дорожкой по кругу, солнечными часами и двумя дюжинами кочанов капусты. Сами постройки так похожи одна на другую, что их не различить. Ввиду большой древности, архитектура несколько странная, что не мешает домам быть живописными. Они выстроены из сильно обожженных кирпичей — темно-красных с черными краями — так, что стены смахивают на шахматную доску. Коньки крыш обращены к центру площади; вторые этажи далеко выступают над первыми. Окна узкие и глубокие, с маленькими стеклами и частыми переплетами. Крыши покрыты крупной черепицей с высокими гребнями. Деревянные части домов — потемневшие от времени, и хоть они сплошь украшены резьбой, но разнообразия в этой резьбе мало, ибо с незапамятных времен резчики Вондервоттеймиттиса умели изображать только два предмета — часы и капустный кочан. Но зато с этим они справляются отменно и с поразительной изобретательностью.

Внутри жилища горожан так же сходны, как и снаружи, и даже мебель расставлена по одному плану. Полы покрыты все теми же плитками кафеля, стулья и столы с тонкими гнутыми ножками изготовлены из черного дерева. Каминные полки — высокие и темные, на них имеются не только изображения часов и кочанов, но и настоящие часы, которые помещаются на самой середине, часы эти необычайно громко тикают. По краям полок, как бы в качестве пристяжных лошадей, стоят цветочные горшки, и в каждом горшке — по капустному кочану. Между горшками и часами располагаются пузатые фарфоровые человечки; в животе у каждого — круглое отверстие, в котором виднеется часовой циферблат.

Что касается самих каминов, то они широки и глубоки, с прочными, причудливо изогнутыми таганами. Под ними постоянно пылает огонь, а на них — громадный котел, полный кислой капусты и свинины, за которым всегда следит хозяйка дома. Это маленькая

толстая старушка, голубоглазая и краснолицая, в огромном, похожем на сахарную голову чепце, украшенном лиловыми и желтыми лентами. На ней оранжевое полушерстяное платье, очень широкое сзади и очень плотно облегающее в талии, но не длинное, ибо доходит только до икр. Икры у нее толстоваты, щиколотки — тоже, но обтягивают их нарядные зеленые чулки. Туфли хозяйки — из розовой кожи с пышными украшениями из желтых лент, которым придана форма капустных кочанов. В левой руке у нее старинные голландские часы, в правой — половник для помешивания свинины с капустой. Рядом трется жирный полосатый кот, к хвосту которого ее «мальчуганы» потехи ради привязали позолоченные игрушечные часики с музыкальным боем.

Сами «мальчуганы» — их трое — в саду, присматривают за свиньей. Все они ростом в два фута. На них треугольные шляпы, лиловые жилеты, короткие панталоны из оленьей кожи, красные шерстяные чулки, тяжелые башмаки с большими серебряными пряжками и долгополые сюртуки с большими перламутровыми пуговицами. У каждого во рту трубка, а в правой руке пузатые часики. Затянутся — и посмотрят на часы, посмотрят на часы — и затянутся. Дородная ленивая свинья то подбирает опавшие капустные листья, то пытается достать рылом позолоченные часы с музыкой, которые привязаны к ее хвосту, чтобы она была не менее хороша собой, чем кот.

У входной двери, в обтянутом кожей кресле с высокой спинкой и с такими же изогнутыми ножками, как у прочей мебели, восседает сам хозяин. Это весьма пухлый старичок с большими круглыми глазами и жирным двойным подбородком. Одет он так же, как «мальчуганы», и нечего больше об этом распространяться. Разница только в том, что трубка у него побольше и затягивается он глубже и сильнее. Как и у «мальчуганов», у него имеются часы, но он их носит в кармане. Правду говоря, ему приходится следить кое за чем поважнее часов, а за чем именно, я скоро объясню. Он сидит, закинув ногу на ногу, облик его строг, и, по меньшей мере, один его глаз всегда прикован к некой примечательной точке в центре долины.

Эта точка, или предмет, находится на башне городской ратуши. Городские советники — все как один маленькие, кругленькие, жирные, смышленные человечки с выпученными глазами и двойными

подбородками. Их кафтаны длиннее, а пряжки башмаков больше, чем у всех остальных жителей Вондервоттеймиттиса. За время моего пребывания в городке они провели несколько специальных заседаний, на которых приняли три очень важных решения.

Первое: не следует менять прежний порядок вещей.

Второе: нет ничего стоящего за пределами Вондервоттеймиттиса.

Третье: надо держаться своих часов и своей капусты.

Над залом ратуши высится башня, а на башне есть колокольня, на которой находятся — и находились с незапамятных времен — гордость и диво Вондервоттеймиттиса — главные городские часы. Это и есть точка, к которой обращены взоры старичков, восседающих в обитых кожей креслах.

У городских часов семь циферблатов, по одному на каждой из семи граней башни, поэтому их можно видеть со всех концов города. Циферблаты у них большие и белые; стрелки массивные и черные. Есть специальный смотритель, единственной обязанностью которого является надзор за часами; но эта обязанность — совершенная синекура[185], ибо с часами на башне ратуши никогда еще ничего не случалось. До недавних времен даже подобное предположение могло быть сочтено зловредной ересью. В самые отдаленные времена, о каких только можно найти упоминания в архивах городского совета, большой колокол регулярно отбивал время. Как, впрочем, и все остальные часы в городе тоже. Нигде так не следили за точным временем, как в этом городе. Когда большой колокол находил нужным произнести: «Полдень!» — все его верные последователи одновременно откликались, словно само эхо. Короче говоря, добрые бюргеры отдавали дань кислой капусте, но своими часами они гордились.

Всех, чья должность является синекурой, в той или иной степени уважают, а так как у смотрителя колокольни в Вондервоттеймиттисе был наиболее совершенный вид синекуры, то и уважают его больше, чем кого-либо. Он главный городской сановник, и даже свиньи взирают на него с глубоким почтением — снизу вверх. Фалды его сюртука гораздо длиннее, трубка, пряжки на башмаках, глаза и живот гораздо больше, нежели у других городских старцев. Что до его подбородка, то он даже не двойной, а тройной.

Вот я и описал этот счастливый уголок. Какая жалость, что столь прекрасная картина ныне превратилась в совершенно противоположную!

Напомню, что среди самых умудренных обитателей города издавна бытовала поговорка: «Из-за холмов добра не жди». И в самом деле: в ней, как выяснилось, содержался пророческий смысл.

Два дня назад, когда до полудня оставалось каких-то пять минут, на вершине холмов с восточной стороны появился объект весьма необычного вида. Такое событие, конечно, привлекло всеобщее внимание, и каждый старичок, сидевший в кожаном кресле, в смятении устремил один глаз на это явление, не отрывая, однако, второго глаза от башенных часов.

Когда до двенадцати не хватало всего трех минут, выяснилось, что странный объект представляет собой миниатюрного молодого человека, по-видимому иностранца. Он с необыкновенной быстротой спускался с холма, так что довольно скоро все могли хорошо его рассмотреть. Такого жеманного и франтоватого человечка еще не видывали в Вондервоттеймиттисе. У него было табачного цвета лицо с длинным крючковатым носом, глазами-горошинами, большим ртом и великолепными зубами, которые он все время выставлял напоказ, потому что беспрестанно ухмылялся до ушей. Что касается бороды и усов, то никаких признаков этой растительности обнаружить не удалось. Франт был без шляпы, а его волосы были аккуратно накручены на папильотки. Костюм его состоял из превосходно сидящего черного фрака, из кармана которого выглядывал длинный угол белого платка, черных кашемировых панталон до колен, черных чулок и тупоносых черных лакированных туфель с пучками черных атласных лент вместо бантов. К одному боку он прижимал локтем огромнейшую шляпу, а к другому — скрипку, чуть ли не в пять раз превосходящую его размерами. В левой руке он держал золотую табакерку, из которой, сбегая вприпрыжку с холма и выделявая на бегу самые фантастические па, непрерывно брал табак и нюхал его с крайне самодовольным видом.

Да уж, было на что поглазеть добрым бюргерам Вондервоттеймиттиса!

Надо отметить, что, несмотря на улыбку, лицо этого малого имело дерзкое и злое выражение, и когда он, выделявая всяческие

курбеты, влетел в городок, странный вид его бальных башмаков сразу же возбудил у бюргеров сильные подозрения. Не один из них дорого бы дал, чтобы заглянуть под белый батистовый платок, торчавший из кармана его фрака. Но главным, что возбудило праведное негодование горожан, было то, что негодный франт, вытанцовывая тут фанданго, там джигу, казалось, не имел ни малейшего понятия о необходимости соблюдать в танце правильный счет тактов.

Добрые обыватели не успели даже выпучить глаза, как наглый бездельник — ровно за минуту до двенадцати — оказался среди них. Отколов тут «шассе», там «балансе», а потом сделав пируэт и па-де-зефир, негодник вспорхнул прямо на башню, где сидел со своей трубкой исполненный достоинства смотритель. А человек, не раздумывая ни секунды, схватил его за нос, дернул как следует, нахлобучил ему на лицо шляпу, закрыв глаза и рот, а потом взмахнул своей здоровенной скрипкой и стал колотить смотрителя, да так долго и усердно, что при соприкосновении полой скрипки со столь упитанным смотрителем получился такой звук, будто целый полк барабанщиков выбивает сатанинскую дробь на колокольне вондервоттеймиттской ратуши.

Кто знает, к какому яростному возмездию побудило бы бюргеров это наглое нападение, если бы не одно важное обстоятельство: до полудня оставалось всего полсекунды. Колокол должен был вот-вот ударить, а пристальное наблюдение за своими часами было абсолютной и насущной необходимостью для горожан. Вместе с тем было замечено, что в тот самый миг прищелец проделал с главными часами что-то неподобающее. Но часы начали отбивать полдень, и ни у кого уже не было времени следить за его действиями, ибо всем пришлось считать удары колокола.

«Раз!» — пробили часы.

— Раз-з-з! — отозвался каждый маленький старичок с каждого обитого кожей кресла. «Раз-з-з!» — сказали его часы; «раз-з-з!» — сказали часы его супруги; «раз-з-з!» — добавили часы «мальчуганов» и позолоченные часики на хвостах у кота и свиньи. «Два!», — продолжали башенные часы; и то же самое повторили все репетиры. «Три!» — «Четыре!» — «Пять!» — «Шесть!» — «Семь!» — «Восемь!» — «Девять!» — «Десять!» — били часы на ратуше, и в точности так же отзывались все остальные. «Одиннадцать!» — объявили большие

часы. «Одиннадцать»! — подтвердили все прочие. «Двенадцать»! — возвестили башенные часы. «Двенадцать!» — удовлетворенно ответили маленькие и умолкли.

— Так ведь двенадцать и есть, — с облегчением вздохнули все бюргеры, пряча свои часики. Но башенные часы и не думали на этом останавливаться.

«Тринадцать!» — сказали они.

— Что за дьявольщина? — ахнули старички.

Все они побледнели, выронили трубки и сняли правую ногу с левого колена.

— Чертовщина! — застонали они. — Тринадцать! Боже мой, тринадцать часов!

Как описать ужас того, что последовало за этим? Весь городок пришел в неопишное волнение.

— Что с моим животом? — орал каждый из «мальчуганов». — Я уже целый час голодаю!

— Что с моей капустой? — визжали хозяйки. — Она вся перепрела за этот час.

— Что такое с моей трубкой? — сердито вопрошали старички. — Гром и молния, она погасла целый час назад!

И в гневе они снова набили трубки и, откинувшись на спинки кресел, запыхтели так свирепо, что вся долина мгновенно окуталась непроницаемым дымом.

А тем временем все капустные кочаны покраснели, и казалось, сам нечистый вселился во все, что имело форму часов. Резные часы над каминами принялись плясать и прыгать, как заколдованные, а стоявшие на каминных полках принялись неистово отбивать тринадцать раз, причем их маятники так метались и дергались, что на них было жутко смотреть.

Но еще хуже то, что ни коты, ни свиньи не пожелали больше мириться с поведением часиков, привязанных к их хвостам, и выражали свое возмущение тем, что метались, царапались, повсюду совали морды и рыла, визжали и верещали, мяукали и хрюкали, бросались людям в лицо и забирались под юбки, — словом, устроили самый омерзительный переполох, какой только может вообразить здравомыслящий человек.

А тем временем маленький негодяй на башне усердствовал изо всех сил. По временам его можно было видеть сквозь клубы дыма. Он сидел в башне верхом на рухнувшем навзничь смотрителе. В зубах злодей держал веревку колокола, которую дергал, яростно мотая головой, и при этом поднимал такой трезвон, что у меня до сих пор в ушах звенит. На коленях у него лежала скрипка, которую он терзал обеими руками, немилосердно фальшивя, и делал вид, будто наигрывает «Джуди О’Фланнаган и Пэдди О’Рафферти» — мелодию, доселе не слыханную в этих краях.

При виде столь плачевных обстоятельств я с отвращением покинул славный городок и теперь взываю ко всем любителям точных часов и кислой капусты: давайте же объединимся, отправимся туда в боевом порядке и восстановим в Вондервоттеймиттисе былой уклад жизни, изгнав этого малого с колокольни!

Бес противоречия

При рассмотрении способностей и побуждений — этих перводвигателей человеческой души, френологи[186] упустили из виду одно побуждение, которое, несмотря ни на что, существует изначально как первичное, врожденное и непреодолимое. В равной мере оно было упущено и всеми моралистами, их предшественниками. Благодаря заносчивой гордыне разума все мы потеряли его из виду, позволили ему ускользнуть от наших чувств исключительно по недостатку веры, будь то вера в Апокалипсис или вера в Каббалу. Само

представление о нем никогда не приходит нам в голову просто потому, что в нем нет никакой надобности. Мы не видим нужды в этом влечении, в этой склонности. Мы не можем постичь его необходимость. Мы не понимаем, да и не могли бы понять, каким образом оно способно приблизить человечество к его целям, временным или даже вечным. Нельзя отрицать, что френология и в большой степени вся прочая метафизика были состряпаны на скорую руку, без учета опыта и наблюдения. Выдумывать схемы и диктовать цели Богу дерзнул не тот, кто способен понимать и наблюдать, а тот, кто обладал интеллектом и логикой. Охватив, таким образом, ради собственного удовлетворения замыслы Всевышнего, он построил из этих замыслов, словно из кирпичей, бесчисленные философские системы.

В области френологии, например, мы, во-первых, установили, по вполне естественным основаниям, что божество повелело человеку принимать пищу. Затем мы наделили человека органом питания, с помощью которого божество вынуждает человека принимать пищу, хочет он того или нет. Во-вторых, зная, что Бог повелел человеку продолжать свой род, мы тут же обнаружили и орган любострастия. Так же дело обстояло с воинственностью, воображением, причинностью, даром созидания — иначе говоря, с каждым органом, независимо от того, выражает ли он какую-либо склонность, моральную особенность или же интеллектуальную черту. И в этих схемах первопричин человеческих действий последователи Галля и Шпурцгейма всего лишь следовали по стопам своих предшественников, выводя и определяя все из заведомо предустановленных судеб рода человеческого и целей Творца.

Было бы гораздо разумнее и надежнее создавать такую классификацию (если уж она и в самом деле необходима) на основании того, как человек обычно или иногда поступает, а не того, как, по нашему мнению, предназначило ему поступать божество. Если мы не в силах постичь Бога в его видимых деяниях, то откуда нам знать его замыслы, порождающие эти деяния? И если нам непонятны его объективные создания, то как понять его свободные желания и созидательные импульсы?

Опираясь на опыт, френология обязана была бы обнаружить нечто парадоксальное и в то же время являющееся одним из первичных

начал человеческих поступков. За неимением более точного термина его можно было бы назвать противоречивостью, или упрямством. Это, так сказать, побудительная причина без мотива. Повинуясь ее подсказке, мы действуем без видимой цели или поступаем определенным образом именно потому, что так поступать не должны. В теории не может быть рассуждения менее основательного, но на самом деле нет побуждения, которое осуществлялось бы более неуклонно. Для некоторых умов и при определенных условиях оно становится абсолютно истинным. Я настолько же убежден в том, что дышу, как и в том, что сознание вреда или ошибочности данного действия нередко оказывается единственной непреодолимой силой, которая толкает нас это действие совершить. И эта ошеломляющая способность поступать себе во вред исключительно ради вреда не поддается анализу. Это первичный, изначальный, элементарный импульс. Мне, разумеется, возразят, что наше стремление упорствовать в поступках, зная, что мы в них упорствовать не должны, является лишь разновидностью черты, которую френология называет «воинственностью». Но даже самый поверхностный взгляд обнаружит ошибочность такого предположения. Френологическое чувство страсти к борьбе — так они определяют «воинственность» — по своей сути связано с представлением о самозащите. Это — наша охрана от несправедливости, оберегающая наше благополучие. Таким образом, одновременно с развитием «воинственности» в нас пробуждается стремление к собственному благополучию. Отсюда довольно логично вытекает, что стремление к благополучию неизбежно должно возникать вместе с любым побуждением, которое представляет собой видоизменение страсти к борьбе. Но в том, что я называю противоречивостью, нет стремления к благополучию, наоборот: нами движет, и весьма энергично, чувство прямо противоположное.

Обращение к собственному сердцу — лучший ответ на всю эту софистику. Ни один человек, если только он захочет честно и прямо спросить свою собственную душу, не станет отрицать коренного характера обсуждаемой склонности. Она столь же непостижима, сколь и очевидна. Нет человека, который когда-нибудь не мучился бы, например, непреодолимым желанием истерзать слушателя многословием. Говорящий сознает, что вызывает недовольство и недоумение; он всемерно хочет угодить собеседнику; к тому же,

обычно он изъясняется кратко, точно и ясно. Самые лаконичные и простые фразы вертятся у него на языке, но лишь с трудом он удерживается от их произнесения; он боится разгневать того, к кому обращается, и все же его удерживает мысль, что, если он будет отклоняться от своего предмета и нанизывать нудные отступления, гнев может возникнуть. Одной этой мысли достаточно. Неясный порыв превращается в желание, желание — в стремление, стремление — в жажду, и жажда эта, к глубокому огорчению и сожалению говорящего, несмотря на все вероятные последствия, утоляется.

Перед нами задача, которую мы должны разрешить немедленно. Мы знаем, что всякая отсрочка пагубна. Важнейший жизненный кризис призывает нас к самой бурной деятельности и к неукоснительной точности. Мы сгораем от нетерпения, нас снедает желание поскорее начать необходимую работу, вся наша душа полна предчувствием блестящих результатов. Надо как можно скорее, уже сегодня, взяться за дело, и, однако, мы откладываем его на завтра. Почему? Ответа нет; разве что мы испытываем желание поступить наперекор, сами не зная почему. Наступает завтра, а с ним еще более нетерпеливое желание исполнить свой долг, но, по мере роста нетерпения, приходит и безымянное, прямо-таки ужасающее — ибо непостижимое — желание медлить еще и еще. Это желание растет с каждым мгновением. Вот уже близится последний час. Мы буквально содрогаемся от борьбы, происходящей внутри нас, борьбы определенного с неопределенным, реальности — с ее тенью. Но если единоборство заходит далеко, то почти всегда побеждает тень, и продолжать борьбу бессмысленно. Бьют часы — и это похоронный звон по нашему благополучию. Но в то же время это и крик петуха для призрака, овладевшего нами. Он исчезает, мы свободны! Теперь мы готовы трудиться. Увы, уже слишком поздно!

Мы стоим на краю пропасти. При взгляде в бездну у нас кружится голова, нам делается дурно. Наше первое движение — отступить в безопасное место. Но по непостижимой причине мы остаемся на месте. Мало-помалу и дурнота, и головокружение, и ужас сливаются в одно смутное чувство. Затем это туманное чувство, это облако ощущений принимает явственные очертания, подобно тому, как в арабских сказках из лампы возникает джинн. Но из нашего «облака» на краю пропасти возникает и становится осязаемым образ куда более

ужасающий, чем самый зловредный джинн или демон. Это всего лишь мысль, хотя и страшная, леденящая, но упоительная, — представление о том, что мы будем чувствовать во время стремительного падения с такой высоты. И это падение, эта мгновенная гибель — именно потому, что ее сопровождает наиболее отвратительный из всех самых жутких образов смерти и страдания, когда-либо являвшихся вашему воображению, — именно поэтому оно становится желанным. Наш рассудок яростно оттаскивает нас от края пропасти — поэтому мы с такой настойчивостью пытаемся к нему приблизиться. Нет в природе страсти, исполненной такого адского нетерпения, как страсть того, кто, стоя на краю пропасти, представляет себе прыжок. Если рядом не найдется дружеской руки, которая удержала бы нас, или если нам не удастся сверхъестественным усилием отшатнуться от бездны и упасть навзничь, мы бросаемся в нее и гибнем.

Можно рассматривать подобные поступки и стремления как угодно, и все равно останется очевидным, что исходят они исключительно из духа противоречия. Мы совершаем их, ибо понимаем, что не должны их совершать. Никакого объяснимого разумом принципа за ними не кроется; и, право, можно было бы счесть это стремление поступать наперекор прямой подсказкой нечистой силы, если бы порой оно не служило добру...

Все это я говорю исключительно для того, чтобы в какой-то мере ответить на ваш вопрос, чтобы объяснить вам, почему я здесь, в камере приговоренных к смерти, и почему я закован в цепи. Без этих довольно пространств рассуждений вы могли бы понять меня превратно или, подобно черни, сочли бы меня помешанным. А так вы с легкостью сможете убедиться, что я — одна из неисчислимых жертв Беса противоречия.

Никакой поступок, и уж тем более преступление, не могло быть рассчитано с большей точностью. В течение целых месяцев я обдумывал способ убийства. Я отверг тысячу вариантов, ибо их исполнение не исключало вероятность случайного раскрытия. Наконец, читая какие-то французские мемуары, я обнаружил в них описание того, как некая мадам Пило была поражена роковым недугом при помощи отравленной свечи. Идея эта мгновенно привлекла мое внимание. Я хорошо знал, что тот, кого я наметил своей жертвой, имел обыкновение читать в постели. Знал я также, что его спальня тесна и

скверно проветривается. Но нет никакой необходимости докучать вам излишними подробностями и описывать те уловки, с помощью которых я подменил свечу из подсвечника в его спальне на другую, изготовленную моими руками. На следующее утро его нашли в постели бездыханным, и заключение coronera[187] гласило: «Смерть от руки Божьей».

Я унаследовал состояние старика, и в течение нескольких лет все шло прекрасно. Мысль о разоблачении даже не приходила мне на ум. Остатки роковой свечи я уничтожил. Я не оставил ни малейших улик, с помощью которых можно было бы обвинить меня в преступлении или хотя бы заподозрить в преступных намерениях. Вам не дано представить, какое великолепное чувство удовлетворения рождалось в моем сердце, когда я размышлял о своей полной безопасности. Со временем я постепенно приобрел привычку упиваться этим чувством. Оно доставляло мне более истинное наслаждение, чем все выгоды, которые я приобрел благодаря своему греху.

Но в конце концов настало время, когда это отрадное чувство мало-помалу превратилось в навязчивую и угнетающую мысль. Именно ее навязчивость и угнетала меня. Мне недоставало сил отделаться от нее хотя бы на миг. Порой у нас в ушах, или, вернее, в памяти, назойливо звучит мотив какой-нибудь пошлой песенки или ничем не примечательные обрывки оперной увертюры. И мучения наши ничуть не меньше, если песня сама по себе хороша, а увертюра достойна самой высокой оценки. Так и я, наконец, начал ловить себя на том, что постоянно думаю о своей безопасности и едва слышно повторяю себе под нос: «Нечего бояться!»

Однажды, прогуливаясь по улицам, я внезапно заметил, что бормочу эти привычные слова вполголоса. В припадке своеволия я переиначил их следующим образом: «Нечего бояться, нечего бояться — конечно, если только я по собственной глупости сам не сознаюсь!»

Не успел я выговорить эти слова, как ледяной холод сдавил мое сердце. У меня был некоторый опыт подобных приступов противоречия (их-то природу я и пытался вам объяснить), и я отчетливо помнил, что ни разу мне не удалось успешно противостоять их натиску. А теперь то, что я сам себе неосторожно внушил — будто я могу оказаться таким глупцом, что сознаюсь в совершенном мною

убийстве, — восстало передо мной, словно призрак моей жертвы, и поманило к смерти.

Сперва я еще пытался избавиться от этого кошмара. Я ускорил шаг, зашагал быстрее, еще быстрее — и, наконец, побежал. Я испытывал бешеное желание завопить во весь голос. Каждая следующая волна мыслей обдавала меня еще бóльшим ужасом, ибо я хорошо, слишком хорошо сознавал, что в моем положении думать — значит погибнуть. Словно сумасшедший, я метался по запруженным толпами улицам, все ускоряя шаг. Наконец кое-кто из прохожих встревожился, меня начали преследовать. И тогда я почувствовал, что судьба моя решена. Я бы вырвал себе язык, если бы мог, но в ушах у меня прогремел грубый голос, и чья-то рука еще более грубо схватила меня за плечо и встряхнула. Я обернулся, задыхаясь. В одно мгновение я испытал все муки удушья, ослеп и оглох. Голова моя закружилась. В то же мгновение мне показалось, что некий невидимый демон ударил меня своею широкой ладонью в спину. И долго скрываемая тайна вырвалась из моей души!

Говорят, произношение мое было весьма отчетливым, хотя я чрезмерно акцентировал каждый слог и бешено торопился, словно опасаясь, что меня перебьют до того, как я выскажу все, что ввергнет меня в нечистые руки палача, а затем и в преисподнюю.

Сообщив все, что требовалось для того, чтобы вполне убедить правосудие в моей виновности, я упал без чувств.

Что к этому добавить? Сегодня я в кандалах — и камере смертников. Завтра я буду свободен от цепей — но где окажусь?

Маска Красной смерти

Уже давно Красная смерть опустошала страну. Ни одна моровая язва никогда не была столь ужасной и губительной. Ее гербом и печатью была кровь, жуткий багрянец крови. Болезнь начиналась острыми болями и внезапным головокружением; затем через поры начинала сочиться кровь, и приходила смерть. Если на теле, и в особенности на лице, выступали ярко-алые пятна, никто уже не решался оказать поддержку или помощь заразившемуся. Болезнь от первых до последних симптомов протекала меньше чем за полчаса.

Но принц Просперо был по-прежнему весел — страх не сковал его сердце, разум не утратил остроту. После того как его владения

наполовину обезлюдели, он созвал тысячу веселых и здоровых рыцарей и дам из числа своих придворных и удалился с ними в одно из уединенных аббатств, где никто не мог его потревожить.

Причудливое и величественное здание аббатства было детищем фантазии принца, эксцентричной и пылкой. Весь монастырь был обнесен высокой стеной с железными воротами. Едва ступив за ворота, придворные принесли горн и тяжелые молоты и наглухо заклепали все засовы. Было решено закрыть все входы и выходы, чтобы тем или иным способом не прокралось сюда безумие и никто не поддался бы отчаянию. Всевозможных припасов в аббатстве хватало с избытком, и все, кто в нем находился, могли не опасаться заразы. Что до тех, кто остался за стенами, то пусть они сами о себе позаботятся! Глупо было в такие времена грустить или предаваться раздумьям. Тем более что принц позаботился и о том, чтобы не было недостатка в развлечениях. В аббатстве были шуты и гистрионы, актеры и импровизаторы, танцовщицы и музыканты, красавицы на любой вкус и сколько угодно вина. Все это имелось здесь, а сверх того — здесь была безопасность. Тогда как внешним миром правила Красная смерть.

На исходе не то пятого, не то шестого месяца такой затворнической жизни, когда неукротимая моровая язва свирепствовала в стране с неопикуемой яростью, принц Просперо созвал свою избранную тысячу на великолепный бал-маскарад.

Это была самая пышная вакханалия, какую только можно вообразить! Но прежде я опишу покои, в которых проходило это празднество. Покоев было семь, и все они образовывали царственную анфиладу. В некоторых дворцах такие анфилады представляют собой длинную и прямую перспективу, створчатые двери распахиваются настежь, и глаз беспрепятственно может охватить всю перспективу. Но в этом аббатстве, выстроенном как замок, было нечто совершенно иное, как и следовало ожидать от принца с его пристрастием ко всему причудливому и дикувинному. Покои располагались столь причудливо, что взгляду открывался лишь один из них. Через каждые двадцать—тридцать ярдов следовал резкий поворот, и за каждым поворотом вас ожидало что-нибудь новое. Справа и слева, в середине каждой стены, находилось узкое и высокое готическое окно, выходившее на крытую галерею, которая повторяла резкие зигзаги анфилады. Окна эти были

украшены витражами из цветных стекол, и их основной тон гармонировал со всем убранством каждого из покоев. Так, покой в восточном конце галереи был обит голубым атласом, и витражи в окнах были ярко-синие. Второй покой был отделан винно-красным шелком, и витражи там были пурпурные. В третьем, зеленом, такими же были и окна. В четвертом покое драпировки и освещение были ярко-оранжевыми, в пятом — снежно-белыми, в шестом — сумрачно-фиолетовыми. Седьмой покой был затянут черным бархатом: драпировки спускались здесь с самого потолка и тяжелыми складками ниспадали на ковер из такого же черного бархата. И только в этом покое витражи отличались от драпировок: они были пурпурно-багряными — цвета крови.

Ни в одном из этих семи чертогов среди многочисленных золотых украшений, разбросанных там и сям или свисавших со сводов, нельзя было найти ни ламп, ни канделябров. Во всей анфиладе не было ни единого источника света; но на галерее, примыкавшей к ней, напротив каждого окна высился массивный треножник с пылающей жаровней. Отблески огня, проникая сквозь стекла витражей, заливали покои цветными лучами, отчего все вокруг приобретало какой-то призрачный вид. Но в черном западном покое свет, струившийся сквозь кроваво-красные стекла и падавший на темные занавеси, казался невыразимо таинственным и так странно искажал лица гостей, что лишь немногие из них решались входить сюда.

А еще в этом покое, у дальней западной стены, стояли огромные напольные часы из черного дерева. Их тяжелый маятник с монотонным приглушенным позвякиванием раскачивался из стороны в сторону, и когда минутная стрелка завершала оборот и часам наступала пора бить, из их медных недр вырывался громкий, проникновенный и поразительно мелодичный звук, до того необычный по силе и тембру, что музыканты вынуждены были каждый час останавливаться, чтобы прислушаться к нему. Тогда и вальсирующие пары замедляли свои движения, и веселье шумного праздника прерывалось, возникало короткое смятение, и, покуда часы отбивали удары, заливались бледностью лица даже самых беспутных, а те, кто был старше и умудреннее, невольно прикасались к вискам, словно отгоняя назойливую думу. Но бой часов умолкал, и тотчас веселый смех наполнял покои; музыканты с усмешкой переглядывались, словно

удивляясь своему беспочвенному испугу, и каждый вполголоса говорил другому, что в следующий раз ни за что не поддастся магии этих звуков. Но когда пробежало шестьдесят минут — эти три тысячи шестьсот секунд быстротечного времени, часы снова начинали бить, возникало прежнее замешательство и гостями вновь овладевали тоска и тревога.

Несмотря на это, пышный праздник продолжался, и веселье не угасало. Принц отличался своеобразным вкусом: он с особой остротой воспринимал различные эффекты и не слишком следовал моде. Мало того: он презирал так называемую благопристойность. Его замыслы были дерзки и необычны, а их воплощение отличалось варварским блеском. Некоторые считали его безумцем, но его приближенные точно знали, что это вовсе не так. Для этого достаточно было видеть и слышать его высочество, находиться с ним рядом.

Принц лично руководил почти всем, что касалось убранства всех семи покоев к этому грандиозному балу-маскараду. В подборе масок тоже чувствовалась его рука. И уж конечно, эти маски были гротескными сверх всякой меры! В них смешивалась роскошь и балаганная мишура, иллюзорность и пикантность, наподобие того, что мы позднее видели в «Эрнани»[188]. Повсюду кружились какие-то фантастические существа, и у каждого в фигуре или одежде присутствовало что-нибудь нелепое.

Все это казалось порождением горячечного бреда. Иное здесь было по-настоящему красиво, иное — безнравственно, многое — безвкусно, кое-что вызывало ужас, но встречалось и такое, что вызывало непреодолимое отвращение. По всем покоям во множестве разгуливали видения из наших снов. Эти видения, корчась и извиваясь, мелькали тут и там, за каждым углом анфилады меняя свой цвет, и порой чудилось, что хриплые звуки оркестра — всего лишь отзвуки их нетвердых шагов. А когда из залы, обтянутой черным бархатом, доносился бой часов, все на миг замирало и цепенело — все, кроме голоса часов, и фантастические существа цепенели и прирастали к месту. Но вот бой часов умолкал — и тотчас веселый, чуть приглушенный смех снова наполнял покои, снова гремела музыка, снова оживали видения, и еще смешнее кривлялись и плясали маски среди бликов витражных стекол, сквозь которые струили свои лучи пылающие жаровни.

Только в западный покой — тот, что в дальнем конце анфилады, все еще не решалась вступить ни одна из масок. Близилась полночь, и кровавые лучи уже сплошным потоком лились сквозь багряные стекла, и чернота бархатных драпировок и траурного ковра от этого казалась особенно жуткой. Всякому, кто оказался даже в дверном проеме, слышались в перезвоне часов зауспокойные колокола, и сердце его при этом звуке сжималось даже сильнее, чем у тех, кто предавался веселью в прочих чертогах.

А те были буквально набиты гостями и ряжеными — там лихорадочно пульсировала жизнь во всей своей полноте. Празднество было в самом разгаре, когда часы начали отбивать полночь. Смолкла, как и прежде, музыка, остановились танцоры, и всех охватила необъяснимая тревога. Теперь часам предстояло пробить двенадцать раз, и чем дольше они били, тем сильнее проникала тревога в души даже самых рассудительных и трезвых. И не успел еще умолкнуть смутный отзвук последнего удара, как многие из присутствующих вдруг заметили маску, которой до той поры никто еще не видел. Слух о ее появлении разом облетел гостей; поначалу его почему-то передавали шепотом, пока наконец вся толпа, наполняющая покои, не загудела и не зажужжала, выражая сначала неудовольствие и раздражение, а уж затем — страх, ужас, отвращение и негодование.

Появление обычной маски в столь фантастическом сборище не вызвало бы, разумеется, ничего подобного. И хотя на этом ночном празднестве царила поистине чрезвычайная разнузданность, новая маска преступила все границы дозволенного — даже те, которые признавал сам принц. В сердцах самых беспечных и легкомысленных людей есть струны, которых нельзя касаться, не заставляя их трепетать. И даже у тех отчаянных, что готовы потешаться над жизнью и смертью, есть нечто такое, над чем они никогда не позволят себе смеяться.

Несомненно одно: в ту минуту каждый из гостей почувствовал, до какой степени не смешон и неуместен наряд незнакомца и его манеры. Гость был высок ростом, изможден и с ног до головы закутан в рваный саван. Маска, за которой скрывалось его лицо, с такой неотразимой точностью воспроизводила застывшие черты трупа, что даже самый придирчивый взгляд не смог бы обнаружить обман. Впрочем, это не смутило бы хмельную толпу, наоборот — даже вызвало бы одобрение.

Но шутник дерзнул придать себе сходство с Красной смертью. Одежда его была забрызгана кровью, а на челе и щеках проступали многочисленные пятна — багряный ужас.

Принц Просперо также заметил этого гнусного призрака, который, словно для того чтобы лучше выдержать взятую на себя роль, торжественно прохаживался среди танцующих, и все увидели, что по телу принца пробежала странная дрожь — не то ужаса, не то омерзения. В следующее мгновение лицо его полыхнуло гневом.

— Кто посмел? — хрипло обратился он к придворным, толпившимся вокруг него. — Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене!

Слова эти принц Просперо произнес в восточном, голубом, покое. Громко и отчетливо прозвучали они во всех семи покоях, ибо принц был человек могучий телом и решительный. Тотчас по мановению его руки умолкла музыка.

Едва отзвучали эти слова, как толпа придворных будто качнулась к непрошеному гостю, этому наглецу, который в то мгновение был уже близко и продолжал, мерно и величественно ступая, приближаться к принцу. Однако никто не решился поднять на него руку — такой непостижимый ужас внушила всем безумная дерзость незнакомца. Маска беспрепятственно прошествовала мимо принца, как бы не заметив его, и — странное дело — все придворные, словно в едином порыве, прижались к стенам, чтобы дать ему дорогу. Той же размеренной и торжественной поступью, которая отличала его от других гостей, замаскированный вступил из голубой комнаты в красную, из красной — в зеленую, из зеленой — в оранжевую, оттуда — в белую и наконец — в черную. И на всем этом пути не нашлось никого, кто решился бы его остановить.

Тогда принц Просперо, потерявший голову от ярости и стыда за свое минутное малодушие, бросился вглубь анфилады. Но и на этот раз ни один из его придворных, охваченных леденящим страхом, не последовал за ним. Принц мчался с обнаженным кинжалом в руке, и когда уже на пороге черной комнаты почти настиг врага, тот вдруг обернулся и вперил в него мертвый взор.

Прозвучал отрывистый крик — и кинжал, сверкнув, упал на черный ковер. А мгновением позже на том же бархате распростерся

принц Просперо, но уже в объятьях смерти. Тогда, призвав на помощь все свое мужество, толпа пирующих ринулась в черную комнату. Принц лежал бездыханным, а зловещая фигура пришельца неподвижно застыла в тени часов. Его тотчас схватили, но, к невыразимому их ужасу, под саваном и жуткой маской, которую они истступленно пытались сорвать, не оказалось ничего...

Теперь уже никто не сомневался, что это не маска, а сама Красная смерть. Она прокралась за стены аббатства, как ночной вор, и один за другим начали падать бражники в забрызганных кровавой росой пиршественных залах, умирая в самых причудливых позах. И когда последний из них испустил дух, остановились эбеновые часы, угасло пламя в жаровнях, воцарилась непроглядная тьма — и Красная смерть распростерла надо всем свое покрывало.

Стук сердца

Да! Я нервничал... Я очень, очень нервный... Ужасно нервный... И тогда я нервничал, и сейчас нервничаю, но разве это значит, что я сумасшедший? Просто болезнь обострила мои чувства. Ведь не уничтожила же, не притупила. И более всего у меня обострился слух. Я слышал все, что творится на земле и на небе. И многое из того, что происходит в преисподней. Разве сумасшедший на это способен? Выслушайте меня и обратите внимание, каким здоровым, каким спокойным будет мой рассказ.

Как эта мысль впервые пришла мне в голову, я не могу сказать, но, как только это случилось, — все, она уже не покидала меня ни днем ни ночью. Никакой особой причины у меня не было. Никаких вспышек ярости. Я любил старика. Он меня никогда не обижал. Ничего плохого я от него не видел. Золото его мне было не нужно. Я думаю, это все его глаз!

Да, глаз. Представьте глаз грифа: бледно-голубой, закрытый пленкой. Каждый раз, когда этот глаз смотрел на меня, у меня кровь стыла. И вот постепенно у меня появилось желание лишить старика жизни и навсегда избавить себя от этого взгляда.

Я это вот к чему веду. Вы думаете, я сумасшедший. Но сумасшедшие-то не понимают, что творят. А видели бы вы меня!

Видели бы вы, как я готовился, как все продумывал...

С какой осторожностью действовал...

С какой предусмотрительностью.

О, а как я за работу взялся! Меня бы в жизни никто не заподозрил!

Никогда еще я не был так добр к старику, как всю последнюю неделю до того, как убил его. И каждую ночь, около полуночи, я поворачивал ручку его двери и медленно открывал ее... Очень, очень аккуратно. Потом, когда она открывалась настолько, что могла пройти моя голова, я просовывал внутрь руку с фонарем, плотно закрытым, чтобы из него не пробился ни один лучик света, а потом просовывал голову.

О, вы бы хохотали до упаду, если б видели, как медленно я это проделывал. Я просовывал ее осторожно, очень, очень осторожно, чтобы не побеспокоить сон старика. У меня час уходил только на то, чтобы полностью просунуть голову внутрь и увидеть его лежащим на кровати.

Ха! Покажите мне сумасшедшего, у которого хватит ума на такое!

А потом, когда голова моя оказывалась внутри, я начинал медленно открывать фонарь. Осторожно-осторожно (петли у него поскрипывали) я открывал его ровно настолько, чтобы один, только один луч из него падал на этот грифов глаз. И это я проделывал семь длинных ночей подряд...

Каждую ночь, ровно в полночь... Но глаз всегда оказывался закрытым, поэтому я не мог совершить то, зачем приходил туда, потому что ведь не сам старик выводил меня из себя, а его дьявольский глаз. И каждое утро, когда поднималось солнце, я как ни в чем не бывало входил в его комнату и начинал разговаривать с ним, причем без капли волнения или страха, называл его по имени (спокойненько так, даже с улыбочкой), спрашивал, как он провел ночь. Так что, будь этот старик хоть семи пядей во лбу, он бы и то не догадался, что каждую ночь, ровно в полночь, я прихожу и смотрю на него, пока он спит.

На восьмую ночь я открывал дверь даже осторожнее, чем обычно. Минутная стрелка на часах движется быстрее, чем шевелилась моя рука. До той ночи я не представлял себе, насколько велика моя сила... моя проницательность.

Меня всего колотило от восторга. Я с трудом сдерживался! Вот ведь подумать: я открываю дверь в его комнату — медленно, понемногу, — а он и не догадывается ни о чем. Я даже чуть

усмехнулся, и он, видно, услышал это — шевельнулся в кровати, будто вздрогнул.

Думаете, я тут же отскочил и закрыл дверь? Нет.

В комнате у него было темно, как в шахте (ставни-то были наглухо закрыты от воров), так что я знал, он не увидит, как я открываю дверь, поэтому продолжал медленно приоткрывать ее.

Я уже просунул голову и собирался открыть фонарь, но тут мой палец соскользнул с оловянного крепления. Старик тут же подскочил в кровати и крикнул: «Кто здесь?»

Я и тут не дрогнул, притаился, знай себе молчу. Целый час я так простоял, и ни один мускул у меня не дрогнул, но только я не слышал, чтобы он снова лег. Он продолжал сидеть в кровати и прислушиваться... Так, как и я до этого каждую ночь прислушивался к тиканью часов на стене, отмеривающих час смерти.

А потом я услышал негромкий стон и понял, что это стон смертельного ужаса.

Это не был стон боли или печали... О нет!.. То был тихий сдавленный звук, который вырывается из самой глубины души, скованной жутким страхом.

Мне этот звук был знаком прекрасно. Сколько ночей, ровно в двенадцать, когда весь мир спит, он рвался из моей груди, своим жутким эхом сгущая мучившие меня страхи.

Я хорошо знал этот звук, уж поверьте.

Я знал, что старик чувствовал тогда, мне даже стало его немного жаль, хотя на душе у меня было необыкновенно радостно.

Я знал, что он лежит там, не в силах сомкнуть глаз, с той самой секунды, когда вздрогнул, услышав первый слабый шум. И все это время страх его растет, пожирает его.

Он пытается убедить себя, что бояться нечего, что это ему померещилось, но не может. Он говорил себе: «Это всего лишь ветер в дымоходе... Мышь по полу пробежала» или «Это просто сверчок застрекотал и умолк». О да, наверняка он пытался успокоить себя такими предположениями, да только ничего не помогало.

Ничего не помогало, потому что Смерть уже подкралась к нему и окутала жертву своею тенью. Эта жуткая и неосязаемая тень и заставила его ощутить (хоть он ничего не видел и не слышал) присутствие в комнате моей головы.

Простояв достаточно долго и так и не услышав, чтобы он лег, я решил чуть-чуть, самую малость, приоткрыть дверцу фонаря. И стал приоткрывать... Вы представить себе не можете, как осторожно и медленно я ее приоткрывал, пока наконец один тусклый, тоненький, как паутинка, луч света не выскользнул из щелки и не упал на хищный глаз.

Он был открыт. Распахнут. Во всю ширь. И, когда я это увидел, у меня внутри все прямо заклокотало от ярости. Я видел его совершенно отчетливо... этот бледно-голубой зрачок, закрытый мерзкой пленкой, от которой меня пробирало до мозга костей. Но, кроме этого глаза, я не видел больше ничего, ни лица старика, ни его тела, потому что луч как будто специально упал прямоком на эту проклятую точку.

А дальше... Разве не говорил я вам, что то, что вы считаете безумством, — на самом деле всего лишь обостренное чувство? До моего слуха донесся тихий, глухой и частый звук — если часы завернуть в вату, они будут так тикать.

Этот звук мне тоже был хорошо знаком. Это билось стариковское сердце. И оно только разожгло горевший во мне огонь, как барабанный бой распаляет храбрость солдат.

Но даже тогда я сдержался и не шелохнулся. Я почти не дышал. Фонарь у меня в руке даже не дрогнул. Я решил проверить, как долго я смогу не сводить луч с этого глаза. А адский стук сердца тем временем нарастал. Оно билось все быстрее и быстрее, с каждой секундой все громче и громче. Старик, должно быть, испытывал жуткий ужас. Я не шучу, сердце его колотилось все сильнее.

Помните, я говорил, что нервный? Так и есть. А тогда глухой ночью, в адской тишине этого старого дома, слушая этот странный звук, я испытывал непреодолимый ужас. И все же еще несколько минут я сдерживался и стоял, точно окаменел. Но биение становилось громче, громче!

Мне показалось, что его сердце сейчас лопнет. И тут меня будто осенило: этот адский звук услышат соседи! И час старика пробил! Громко крикнув, я раскрыл фонарь и прыгнул в комнату.

Он вскрикнул раз... Всего один раз. Я мгновенно стащил его на пол и привалил тяжелой постелью. Поняв, что дело сделано, я радостно улыбнулся. Но еще долго сердце продолжало приглушенно биться. Но это уже не тревожило меня — за стеной этого не услышат.

Наконец звук стих. Старик умер. Я стащил с него постель и осмотрел труп.

Да, он был мертв, абсолютно. Я приложил руку к его груди, на сердце, и держал несколько минут. Биения не было. Признаков жизни он не подавал. Его глаз больше не побеспокоит меня.

Если вы все еще думаете, что я сумасшедший, я опишу вам, как мудро я избавился от тела, и вы перестанете так думать. Близилось утро, поэтому я работал быстро, но тихо. Во-первых, я расчленил труп. Отрезал голову, руки и ноги.

Затем прямо в той комнате снял три половицы и сложил все аккуратненько в нишу. После этого уложил доски обратно, да сделал все так тщательно, так точно, что ни один человеческий глаз (даже его!) ничего не заметил бы. И смывать было нечего — нигде ни единого пятнышка не осталось. Ни от крови, ни от чего. Уж я за этим проследил! Все ушло в ванну. Ха-ха!

Я покончил со всем в четыре утра, но на улице было еще совсем темно, не светлее, чем в полночь. Как только прозвонил колокол, в дверь постучали. Я пошел открывать с легким сердцем — чего мне теперь бояться?

На пороге стояли трое, они вежливо представились, сообщив, что из полиции. Ночью кто-то из соседей услышал какой-то вскрик и заподозрил неладное. Об этом сообщили в полицейский участок, и их (офицеров) направили осмотреть дом.

Я улыбнулся — бояться-то мне было нечего! — и пригласил войти. Про крик я сказал, что это я сам вскрикнул во сне. Старик, упомянул я мимоходом, уехал за город.

Я провел своих гостей по всему дому. Говорю: пожалуйста, обыскивайте, ищите где хотите. Потом и в его комнату их завел. Показал им его богатства, вот, мол, они, целехонькие, никто к ним и пальцем не прикасается. Я до того был уверен в себе, что даже притащил в комнату пару стульев и предложил им посидеть, отдохнуть, а самого такое торжество охватило, что свой стул я поставил прямехонько над тем самым местом, где лежал труп.

Офицеры были удовлетворены. Мое поведение убедило их: держался-то я совершенно непринужденно и расслабленно. Они сели и давай болтать о всяких пустяках, о том о сём, о работе, я сижу, поддакиваю с улыбочкой. Но вскоре чувствую: начинаю бледнеть.

Мне захотелось, чтобы они ушли. Голова даже разболелась, и в ушах звенеть начало. А они все сидят себе и разговаривают. Звон в ушах стал сильнее... Не прекращался ни на секунду, только явственнее становился... Тогда я и сам стал больше говорить, чтобы избавиться от этого чувства... Но оно не уходило и делалось только отчетливее, а потом наконец меня осенило, что это вовсе не в ушах у меня звенит.

Наверняка я тогда очень побледнел. Теперь я уже говорил вовсе без умолку, да еще и очень громко. Но этот звук все усиливался...

Что я мог поделать?

Глухой быстрый звук, как часы, завернутые в вату. Я уже начал задыхаться, а офицеры его будто и не слышали. Я заговорил еще быстрее, уже захлебывался словами, но звук все нарастал. Я вскочил, уже чуть ли не криком кричу, руками размахиваю, а звук все громче и громче.

Что же они не уходят?

Я стал расхаживать по комнате, но они как будто и не собирались уходить, и это меня бесило... А звук все нарастал.

О боже, что мне было делать?

Я метался по комнате, я клокотал от бешенства, я ругался! Я схватил свой стул и гроыхнул им об пол, но тот звук заглушал уже все остальные и продолжал усиливаться. Становился громче — громче — громче! А полицейские все болтают как ни в чем не бывало, улыбаются.

Неужели они не слышат?

Господь всемогущий! Нет! Нет! Они слышат!.. Они подозревают!.. Они потешаются надо мной и моим ужасом!.. Так я думал тогда и сейчас так же думаю.

Я уже был согласен на все, лишь бы избавиться от этой агонии! Все, что угодно, лишь бы не слышать этих насмешек! Я больше не мог видеть эти притворные улыбки! Я почувствовал, что, если сейчас не закричу, — я умру! И снова этот звук! Да! Да! Еще громче! Громче! Громче! Громче!

— Изверги! — завопил я. — Хватит притворяться! Я признаюсь!.. Это я! Я! Срывайте доски!.. Здесь, здесь!.. Это бьется его жуткое сердце!

Береника

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas.

Ибн-Зайат[189]

Горе многолико. Печаль земная многогранна. Она простирается над широким земным горизонтом, точно радуга, и оттенки ее так же бесчисленны, как цвета этой арки, так же отчетливы, но так же и безгранично неотделимы друг от друга. Простирается над широким горизонтом! Как вышло, что красоту я превратил в уродство? Заговор мира и покоя — в метафору печали? Однако, подобно тому как в этике зло считается следствием добра, так и в действительной жизни скорбь рождается из счастья. Не то воспоминания о былом блаженстве приносят сиюминутную муку, не то страдания, которые *есть*, коренятся в восторгах, которые *могли бы быть*.

При крещении я был наречен Эгеем. Свое родовое имя я не назову. Но на этих землях нет замков, более овеванных веками, чем мои мрачные, серые фамильные чертоги. Линию нашу всегда почитали племенем мечтателей, и во множестве удивительных частных — в самих формах родового жилища, во фресках главного зала, в обивке стен почивален, в резьбе некоторых колонн в оружейной комнате, но более всего в галерее старинных полотен, в обустройстве библиотеки и наконец в особенном своеобразии ее содержимого — доказательств, подтверждающих эту веру, более чем достаточно.

Воспоминания о моих самых ранних годах связаны с этой комнатой и хранящимися в ней томами, о которых более я упоминать не стану. Здесь умерла моя мать. Здесь появился на свет я. Впрочем, неверно говорить, что меня до тех пор не существовало; утверждать, что душа человека не имеет предыдущего существования — пустые слова. Возражаете? Давайте не будем о том спорить. Будучи убежден сам, я не испытываю потребности убеждать. И все же память моя хранит воспоминания о каких-то тонких неземных формах; о взорах, преисполненных разума и духа; о звуках, мелодичных и в то же время грустных, — воспоминания, которые нельзя исключить, воспоминания, подобные неуловимой тени, такие же неосязаемые, непостоянные, зыбкие, сходные с тенью еще и тем, что мне не избавиться от них, доколе разум мой будет озарять их своим сиянием.

В той комнате появился на свет я. Итак, пробудившись после долгой ночи того, что казалось, но не было небытием, оказавшись в самом сердце полного чудес волшебного мира, во дворце воображения, в неизведанных просторах монастырской мысли и учености, стоит ли дивиться тому, что я посмотрел вокруг удивленным и горящим взором, что детство свое я провел за книгами, а отрочество посвятил раздумьям? Но что *удивительно*, по прошествии стольких лет, в зените зрелости, все еще пребывая в отцовских стенах, что *на самом деле поразительно*, так это то, какое безволие сковало родники моей жизни; поразительно, какая полнейшая перемена произошла в природе даже самых обыденных моих помыслов. Реальности мира стали представляться мне порождением фантазии, всего лишь видениями, не более; но вот дивные помыслы мира грез превратились, нет, не в смысл моего каждодневного существования, они полностью и всецело заменили самое это существование.

Береника была моей кузиной, и в родовом замке мы росли вместе. Но росли по-разному: я — нездоровым, хмурым, она — живой, изящной, пышущей энергией; ей бы все резвиться среди лугов на склонах холмов, мне — корпеть над книгами в тишине; я — живя своим сердцем, телом и душой отданный самым напряженным и болезненным размышлениям, она — беспечно идя по жизни, не задумываясь о тенях на пути или о молчаливом полете вранокрылого времени. Береника! К ее имени взываю я... Береника!.. И из серых руин памяти тысячи беспокойных воспоминаний восстают, потревоженные этим звуком. Ах, как же ясно образ ее теперь стоит у меня перед очами, так же ясно, как в дни ее беспечной юности и беззаботного счастья. О прекраснейшая из красавиц, пленяющая диковинной красотой! О сильфида меж зарослей арнхеймских! О плещущаясь средь волн наяда! А после... а после — тайна и ужас, то, о чем рассказывать негоже. Болезнь, смертельная болезнь горячим самумом обрушилась на нее; и, глядя на нее, я не мог не заметить, что дух перемены витал над ней, пронизывая ее разум, ее привычки, ее характер, самым незаметным и жутким манером тревожа даже самое ее суть! Увы! Разрушитель явился и сгинул, а жертва... Где она? Я не узнавал ее... во всяком случае, я более не узнавал в ней Беренику.

Среди многочисленных недугов, принесенных этою хворью, смертельным и тягчайшим, вызвавшим столь жуткую душевную и физическую перемену в моей кузине, самым удручающим и стойким по природе своей была эпилепсия, которая не раз заканчивалась *трансом*, трансом, неотличимым от смерти, от которого пробуждалась она почти всегда с поразительной внезапностью. Тем временем моя собственная болезнь — ибо мне было сказано, что никаким иным словом называть мое состояние не следует — моя собственная болезнь стремительно поглощала меня и наконец приобрела характер мономании, необычной и исключительной формы, ежечасно, ежесекундно укрепляющейся и набирающей силу и со временем обретшей надо мной непонятную власть. Мономания эта — раз уж я должен так ее называть — заключалась в болезненной раздражительности тех качеств разума, которые, как полагает метафизическая наука, отвечают за внимание. Более чем вероятно, что изъясняюсь я непонятно, но боюсь, что просто не существует того способа, которым можно было бы вложить в разум обычного читателя должное представление о той нервной «напряженности интереса», с которой я погружался в созерцание и «обдумывание» (если не воспринимать этот термин технически) даже самых будничных, самых наиобычайнейших предметов во Вселенной.

Размышлять долгими нескончаемыми часами, глядя на какую-нибудь легкомысленную картинку, нарисованную на полях книги, или рассматривая шрифт, которым набран текст; сосредоточиться на затейливых тенях, падающих наискось на гобелен или на пол, и просидеть так большую часть летнего дня; замороженно наблюдать целую ночь за ровным огнем какой-нибудь лампы или за тлеющими углями в камине; посвятить несколько дней кряду обдумыванию аромата цветка; монотонно твердить одно и то же слово, какое-нибудь самое обычное, повседневное слово, покуда звук его от многократного повторения полностью не утрачивает смысл; потерять всяческое ощущение движения или вообще физического существования, предавшись полнейшей телесной расслабленности, длительной и настойчивой, — вот лишь некоторые из самых частых и наименее безобидных причуд, вызванных состоянием умственных процессов, не то чтобы совсем утративших какое-либо подобие четкости, но, несомненно, не поддающихся анализу либо объяснению.

И все же я не хочу быть понятым неправильно. Столь непомерное, искреннее и нездоровое внимание, вызываемое подобными, по самой природе своей малозначимыми объектами, ни в коем случае не стоит приравнивать к той предрасположенности, к созерцательности, которая свойственна всем людям, и в особенности проявляющейся у личностей, наделенных слишком живым воображением. Это даже не было, как может поначалу показаться, каким-то необычным состоянием или даже просто преувеличенным проявлением подобной склонности — это было совершенно определенное и ни на что не похожее состояние. Если в первом случае мечтатель, или человек увлеченный, заинтересовавшись каким-либо объектом, обычно *не* малозначимым, незаметно для себя теряет из виду сей объект в бесконечном множестве порожденных им разнообразных идей и умозаключений, пока на излете этой мысли, часто весьма возвышенной, он вдруг не обнаруживает, что *incitamentum*[190], или первопричина, его задумчивости исчезла или полностью забыта. В случае со мной первопричина была *всегда малозначимой*, хотя мое расстроенное воображение неизменно наделяло ее какой-то противоестественной и фантастической важностью. Если моя мысль и делала какие-то шаги в сторону, то их было немного, и всегда она упрямо возвращалась к тому, что являлось отправной точкой.

Размышления *никогда* не приносили мне удовольствия, и если что-то выводило меня из задумчивости, первопричина этого, если уже не находилась перед глазами, вызывала тот еще больший, на этот раз прямо-таки сверхъестественный интерес, который и был основным признаком моего недуга. Одним словом, у меня в первую очередь в ход шли те силы разума, которые отвечают, как я уже говорил, за *внимание*, а у обычного мечтателя — за *мышление*.

Надо сказать, что книги, увлекавшие меня в ту пору, если сами и не являлись причиной моего расстройства, своею фантастичностью, своим разнообразием во многом отражали признаки этого расстройства. Среди прочих я хорошо помню трактат благородного итальянца Целия Секунда Куриона[191] «De Amplitudine Beati Regni Dei»[192], великий труд Блаженного Августина[193] «О граде Божием» и «De Carne Christi»[194] Тертуллиана[195], парадоксальные слова из которой «Mortuus est Dei filius; credible est quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»[196] на многие недели погрузили меня в напряженные и бесплодные изыскания.

Так может показаться, что разум мой, утрачивающий равновесие только лишь под влиянием самых обыденных вещей, имел сходство с тем упоминаемым Птолемеем Гефестионом[197] океанским утесом, который, не поддавшись могучей силе человека и еще более яростному неистовству волн и ветра, дрогнул от прикосновения цветка, называемого асфоделью. Впрочем, если досужему мыслителю и может показаться несомненным фактом то, что в переменах, произведенных ее горестным недугом в *душевном* состоянии Береники, я мог отыскать немало поводов для той напряженной и ненормальной работы мысли, природу которой мне стоило таких трудов объяснить, это ни в коем случае не соответствует действительности. В периоды, когда задумчивость моя на время оставляла меня, ее беда заставляла меня страдать, и все же, принимая близко к сердцу тот крошечный ад, в который превратилась ее светлая и чистая жизнь, я довольно редко и не так уж глубоко задумывался над тем, каким чудодейственным образом подобный перелом мог произойти столь внезапно. Однако мысли эти не имели ничего общего с моей болезнью и ничем не отличались от тех, что в подобных обстоятельствах приходят в голову любому человеку. Оставаясь верным себе, безумие мое упивалось менее важными, но более удивительными переменами в *физическом*

облике Береники, в том, как необыкновенно и страшно исказилась ее внешность.

В дни расцвета ее несравненной красоты я не любил ее. Мое существование было настолько противоестественным, что чувства *никогда* не шли от сердца, а волнения *всегда* были порождением разума. Сквозь серость раннего утра, среди пестрых теней полуденного леса и в тиши своего кабинета ночью я видел ее, порхающую, но видел ее не как живую, дышащую Беренику, а как Беренику из мира грез; не как земное (приземленное) существо, а как абстракцию такого существа; видел в ней предмет не для восторга, а для анализа; видел в ней не объект любви, а тему для самых глубоких, хоть и бессвязных мыслей. *А теперь* — теперь я трепетал, когда она была где-то рядом, а когда приближалась — бледнел. И все же, горько оплакивая ее падение, ее жалкое состояние, я напоминал себе о том, что она долго любила меня, и о том, что в один злосчастный день я заговорил с ней о браке.

И вот, когда свадьба наша была уже не за горами, зимой, в один из тех необычно теплых, тихих и туманных дней, дней, которые порождают на свет прекрасную Альциону[198], я сидел (как я полагал, в одиночестве) во внутренних покоях библиотеки. Но, подняв глаза, я увидел, что предо мной стоит она, Береника.

Мое ли разыгравшееся воображение или туманная пелена в самом воздухе; робкая ли полутьма зала либо же серые складки ее убранства, ниспадающие вокруг ее фигуры, — что делало контур ее столь робким и неясным? Я не мог определить. Она не произнесла ни единого слова, а я... Ни за какие блага земные или небесные я бы не смог вымолвить и слова. Ледяным холодом обдало меня с ног до головы, чувство нестерпимого волнения поглотило меня, но душа моя преисполнилась всепоглощающим любопытством, и, вжавшись в спинку стула, я какое-то время сидел не дыша и не в силах пошевелиться или оторвать взгляд от ее застывшей фигуры. Увы! Истощение ее было чрезмерным, и теперь в очертаниях ее фигуры не было ни малейшего изгиба, который напоминал бы о том существе, которым некогда была она. Наконец мой лихорадочный взор пал на ее лицо.

Высокое и очень бледное чело ее было исключительно ясным; некогда черные как смоль, а теперь ярко-желтые волосы, обрамляющие его и оттеняющие бесчисленными локонами впалые

виски, своей нестройной буйностью вступали в спор с печатью печали на ее лице. Тусклые, безжизненные, стеклянные глаза ее, казалось, были лишены зрачков, и, увидев их, я невольно содрогнулся, отчего взгляд мой упал на тонкие сморщенные губы. Те разомкнулись, и в особенной, наделенной непонятным мне смыслом улыбке взору моему медленно открылись зубы новой Береники. Господи боже! Лучше бы я не видел их или, увидев, умер!

Потревожил меня звук закрывшейся двери, и, подняв глаза, я увидел, что моя кузина покинула зал. Но, увы, растревоженный мой разум не покинул и (я осознавал это) уже не покинет никогда белый жуткий призрак тех зубов. Ни темного пятнышка на поверхности, ни тени на гладкой эмали, ни единой зазубринки по краям — но краткого мига ее улыбки было достаточно, чтобы они врезались в мою память навечно. *Сейчас* я видел их даже еще более ясно, чем *тогда*. Зубы!.. Зубы!.. Они были здесь, они были там, я уже не видел ничего, кроме зубов. Они были предо мной, совершенно отчетливо, даже осязаемо; длинные, узкие и абсолютно белые, в обрамлении скорченных бледных губ, точно взор мой застиг первый, жуткий миг их появления на свет. А потом моя *мономания* обрушила на меня всю свою безудержную мощь, и напрасно я пытался воспротивиться ее странному и неодолимому воздействию. Среди бесчисленного множества вещей, существующих в мире, только те зубы занимали меня. Лишь их одних я желал страстно и безотчетно. Все иные материи и все прочие интересы поглотило единственно их созерцание. Они, лишь они одни самую суть превратились в квинтэссенцию моей мысленной жизни. Я рассматривал их при разном свете. Я представлял себе их с разных сторон. Я изучил каждую их линию. Я размышлял над их особенностями. Я постигал их структуру. Я обдумывал различие в природе каждого из них. Я содрогался, когда в мыслях наделял их способностью чувствовать и думать и даже выражать те или иные чувства без помощи губ. О мадемуазель Салле[199] было хорошо сказано: «Que tous ses pas étaient des sentiments»[200], а о Беренике я гораздо серьезнее мог сказать: «Que toutes ses dents étaient des idées. Des idées!!»[201] Ах, вот эта глупая мысль и погубила меня!

Des idées! Ах, вот почему я желал их так безумно! Я чувствовал, что лишь обладание ими может меня успокоить, вернув мне разум.

За такими помыслами меня и застал вечер — потом пришла темнота, сгустилась в смоль, снова ушла — и вновь начался день — и уже туманы второго вечера начали сгущаться вокруг — и все так же я сидел без движения в пустынной комнате — и все так же был погружен в раздумья — и все так же находился под жуткой властью phantasma[202] этих зубов, ибо они, видимые до отвращения отчетливо, плавали вокруг меня в переменчивых бликах и тенях читального зала. Затем в мои помыслы вторгся крик, подобный воплю ужаса и смятения, а за ним, после недолгой тишины, послышался ропот взволнованных голосов, перемежающихся многочисленными стенаниями, преисполненными скорби или боли. Я покинул место, где сидел, и, распахнув одну из дверей библиотеки, увидел в соседнем покое горничную, всю в слезах, которая поведала мне, что Береники... больше нет! Приступ эпилепсии охватил ее рано утром, и вот под конец вечера могила уже готова принять покойницу, и все приготовления к похоронам закончены.

Я снова в библиотеке, и снова один. Как будто пробудился от бессвязного и волнительного сна. Я видел, что теперь полночь, и знал наверняка, что на заходе солнца Береника была погребена, однако о том, что было после, за все это скорбное время, я не имел четкого, да и вообще никакого представления. И все же память о нем была насыщена ужасом, ужасом оттого ужаснее, что был он неуловим, и страхом, страхом оттого страшнее, что был он неясен. То была пугающая, жуткая страница моего существования, вся измалеванная неясными, отвратительными, неразборчивыми воспоминаниями. Как ни силился я расшифровать их — тщетно; но время от времени призраком утихнувшего звука истошный, пронзительный женский визг слышался мне. Я что-то сотворил... Но что? Я задал себе этот вопрос вслух, и пустынный зал ответил, вторя мне шепчущими отголосками: «Но что?»

На столе рядом со мной горела лампа, а около нее стояла небольшая коробка. Ничего особенного в ней не было, я и раньше ее часто видел, принадлежала она семейному врачу, но как она попала

сюда, на мой стол, и почему, когда я ее увидел, меня бросило в дрожь? Этому я не мог дать объяснения, и мой взгляд упал на раскрытую книгу и подчеркнутое предложение на ее странице. То были удивительные, но простые слова поэта Ибн-Зайата: «Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas». Но отчего, когда я прочитал их, волосы зашевелились у меня на голове и кровь застыла в жилах?

В дверь библиотеки тихо постучали, и в зал неслышно вошел бледный, как покойник, лакей. Глаза его были полны безумного ужаса, и обратился он ко мне голосом дрожащим, хриплым и очень тихим. Что сказал он? Я расслышал несколько обрывочных предложений. Он рассказал о диком крике, потревожившем ночную тишину, о том, как слуги собрались в зале, о том, как они пошли туда, откуда слышался крик; а потом голос лакея сделался поразительно отчетливым, когда он зашептал об оскверненной могиле — о скорчившемся теле, окутанном саваном, но все еще дышащем — еще вздрагивающем — *еще живом!*

Он указал на мое облачение, оказалось, оно было в грязи и пятнах запекшейся крови. Я не промолвил ни слова, и он осторожно взял меня за руку: следы от человеческих ногтей покрывали ее. Он обратил мое внимание на предмет, прислоненный к стене. Несколько минут молча смотрел я на него: то был заступ. А потом я с криком кинулся к столу и схватил коробку. Открыть ее я не смог, но руки мои до того дрожали, что она выскользнула у меня из пальцев, тяжело упала и разлетелась на куски. Из нее со звоном высыпались несколько зубоврачебных инструментов, а вперемежку с ними — тридцать два маленьких белых, точно вырезанных из слоновой кости предмета — они рассыпались по всему полу.

Остров феи

Nullus enim locus sine genio est[203].

Сервий

«Музыкальность, — говорит Мармонтель в своих «Contes Moraux»[204], которые наши переводчики, как бы в насмешку над их духом, упорно именуют «Нравоучительными рассказами», — единственный вид таланта, который довольствуется самим собой; все

остальные требуют второго лица». Здесь он смешивает наслаждение, получаемое от нежных звуков, со способностью их творить. Совершенно так же, как и всякий другой талант, музыка может доставлять полное наслаждение лишь в том случае, если присутствует слушатель, который мог бы оценить исполнение; и совершенно так же, как и другие таланты, она создает эффекты, которыми можно вполне наслаждаться в одиночестве. Мысль, которую автор не сумел ясно выразить или которую он сознательно выразил именно так из присущей французам любви к игре словами, является вполне основательной. Высокая музыка может быть нами оценена во всей полноте лишь тогда, когда мы совершенно одни. С положением, выраженным таким образом, тотчас согласится всякий, кто любит музыку как ради нее самой, так и ради ее духовного воздействия. Но есть еще одно наслаждение, доступное роду человеческому, быть может, единственное, которое даже в большей мере, чем музыка, возрастает в соседстве с чувством одиночества. Я имею в виду счастье, доставляемое созерцанием природы.

Воистину человек, желающий узреть славу Божию на земле, должен созерцать ее в одиночестве. По крайней мере, для меня жизнь — не только человеческая, но в любом виде, кроме жизни молчаливых зеленых существ, произрастающих из земли, портит пейзаж и враждует с духом — покровителем местности. Честно говоря, мне нравится любоваться темными долинами, серыми скалами, тихо улыбающимися водами, лесами, вздыхающими в своей дремоте, и горделивыми горами, вззирающими на все свысока. Я люблю рассматривать их как части одного огромного целого, наделенного ощущениями и душой, — целого, чья форма наиболее совершенна и всеобъемлюща; чья тропа пролегает среди иных планет; чья робкая прислужница — Луна; чей покорный Богу властелин — Солнце; чья жизнь — вечность; чья мысль — о некоем божестве; чье наслаждение — в познании; чьи судьбы теряются в бесконечности; чье представление о нас сродни нашему представлению о микроскопических существах, кишящих у нас в крови, — вследствие чего это огромное существо представляется нам сугубо материальным, но неодушевленным, подобно тому, какими, наверное, мы кажемся этим микробам.

Наши телескопы и математические исследования убеждают нас, несмотря на дремучее ханжество святош, что пространство и, следовательно, его объем, весьма важны в глазах Всемогущего. Орбиты, по которым вращаются небесные тела, наиболее приспособлены к движению без столкновений. Формы этих тел как раз таковы, чтобы в пределах данной поверхности заключать возможно большее количество материи, а сами эти поверхности расположены таким образом, чтобы поместить на себе возможно большее население. И бесконечность пространства — не довод против мысли о том, что Бога заботит объем, ибо для его заполнения может существовать бесконечное количество материи. И так как мы совершенно ясно видим, что наделение материи жизненной силой является принципом, и, насколько мы можем судить, ведущим принципом в деяниях божества, то вовсе нелогично предполагать, что принцип этот ограничен пределами малого, где мы каждый день усматриваем его проявления, и не распространяется на великое. Если мы обнаруживаем циклы, до бесконечности вмещающие другие циклы, но при этом имеющие некий единый отдаленный центр — божество, то не можем ли мы по аналогии представить себе существование жизней в иных жизнях, меньших в больших, и все это в пределах того же божественного духа? Иначе говоря, в своей самонадеянности мы доходим до безумия, предполагая, будто человек в своей временной или грядущей жизни значит во Вселенной больше, чем те «глыбы долины», которые он возделывает и презирает, не желая видеть в них душу лишь на том основании, что действий этой души он никогда не замечал.

Подобные мысли, посещавшие меня во время скитаний среди гор и лесов, на берегах рек и морей, придавали моим раздумьям особую окраску, которую будничным мир не преминет назвать фантастической. Мои скитания по таким местам были многочисленны, полны любознательности и часто происходили в одиночестве; и любопытство, с каким я блуждал по тенистым долинам или созерцал небеса, отраженные в ясных озерах, многократно усиливалось оттого, что я блуждал и созерцал все это один. Некий красноречивый француз однажды заметил: «*La solitude est une belle chose; mais il faut quelqu'un pour vous dire que la solitude est une belle chose*»[205]. Острота хоть куда; но необходимости в этом нет ни малейшей.

Во время одного из таких странствий по весьма отдаленной местности, в краю гор, печально выющихся рек и уныло дремлющих озер, мне довелось набрести на некий ручей и остров. Я неожиданно наткнулся на них в пору июньского шелеста листвы и распростерся на дерне под сенью благоухающего куста неизвестной мне породы, чтобы предаться созерцанию и дремоте. Я остро почувствовал, что видеть окружающее дано только мне одному — настолько призрачной была эта картина.

Со всех сторон, кроме западной, где солнце уже склонялось к закату, меня окружали зеленеющие стены леса. Небольшая река, делавшая резкий поворот в своем течении и тотчас терявшаяся из виду, казалось, не могла найти выхода и поглощалась на востоке плотной завесой листвы, а с противоположной стороны (так, по крайней мере, представлялось мне, пока я лежал и смотрел вверх) беззвучно и непрерывно низвергался в долину густой пурпурно-золотой каскад закатных лучей.

Примерно посередине небольшого пространства, которое охватывал мой затуманенный взор, на водном лоне дремал круглый островок, покрытый густой и яркой зеленью. Чистая вода была так спокойна и зеркальна, что я не мог бы сказать, где именно на склоне, покрытом изумрудным дерном, начинаются ее хрустальные владения.

И берег в глубь реки глядел,
С своим сливаясь отраженьем, —
Как будто в воздухе висел...

Со своего места я мог охватить взглядом оба конца острова — и восточный, и западный, и мне сразу же бросилось в глаза удивительное различие в их облике. Западная оконечность казалась лучезарным гаремом цветущих красавиц. Она блистала, и вспыхивала под косыми лучами заката, и улыбалась нежными цветами. Короткая, упругая, ароматная трава была усыпана асфоделями. Было что-то от Востока и в очертаниях деревьев — гибких, веселых, стройных и грациозных, с гладкой и глянцевиной корой. Все там было пронизано ощущением полноты жизни и радостью; и хотя с небес не слетало ни дуновения, все колыхалось — везде порхали бабочки, подобные крылатым тюльпанам.

Восточный край острова был объят глубокой тенью. Там царил суровый, но прекрасный и спокойный сумрак. Деревья печально

клонились, сплетаясь, словно призраки, и наводя на мысли о горькой скорби и безвременной кончине. Трава была темна, как хвоя кипариса, и бессильно никла; там и сям среди травы виднелись небольшие бугорки, низкие и продолговатые, издали похожие на могильные холмики, поросшие рутой и розмарином. Тени от деревьев тяжело ложились на воду, как бы сразу погружаясь на дно и насыщая мраком глубину. Мне даже почудилось, что каждая тень, по мере того как солнце опускалось ниже и ниже, неохотно отделялась от породившего ее ствола и поглощалась течением, а на ее месте возникала другая.

Этот образ, единожды возникнув в моем воображении, захватил его всецело, и я погрузился в мечты. «Если и существует где-нибудь очарованный остров, — сказал я себе, — то вот он, передо мной. Это уголок, где обитают те немногие нежные феи, которым удалось избежать гибели, постигшей их народец. Не под этими ли зелеными холмиками они обретают вечный покой? Расстанутся ли они со своей эфемерной жизнью так же, как люди или угасают постепенно, исчерпывая по капле свое бытие, как эти деревья отдают свои тени речной глубине? И не может ли жизнь фей относиться к всепоглощающей смерти, как дерево — к воде, которая впитывает его тень, становясь при этом все чернее?»

Пока я размышлял, полузакрыв глаза, солнце быстро склонялось к закату. Сильные струи течения кружились у острова, покачивая неизвестно откуда взявшиеся светлые куски платановой коры, которые так легко скользили по поверхности, что живое воображение могло превратить их во что угодно. Мне вдруг представилось, что одна из тех фей, о которых я думал, вдруг появилась на западном берегу острова и ступила в хрупкий платановый челнок. Челнок отчалил, держа путь из царства света во тьму. Фея стояла, выпрямившись, на этом странном челноке и приводила его в движение призрачным подобием весла. Пока она еще находилась в области угасающего света, ее лицо сияло тихой радостью, но темная печаль исказила его, едва она вступила в область тени. Так она медленно скользила вдоль островка и, обогнув его, снова вернулась в пределы света и радости.

«Круг, который только что совершила фея, — мечтательно подумал я, — равен краткому году ее жизни. То были для нее зима и лето. Она приблизилась к своей кончине на год». Я не мог не заметить, как в

темной части острова собственная тень феи отделилась от ее фигуры и сумрачные воды поглотили ее.

И вновь показался челн и фея на нем, но теперь сквозь ее светлый облик проступали забота и сомнение, а радости стало куда меньше. И снова она всплыла из света во тьму, которая тем временем сгустилась, и вновь ее тень, отделившись, погрузилась во влагу цвета эбенового дерева и была поглощена ее чернотой.

Снова и снова проплывала она вокруг острова, пока солнце торопилось на покой, и всякий раз, появляясь из сумрака, выглядела все печальнее, а ее облик становился все более неясным и зыбким. Когда же фея вновь вступала в темную область, от нее отделялась еще более темная тень, растворяясь во влаге цвета траурного агата.

И наконец, как только солнце скрылось за горизонтом, фея — вернее, бледный призрак той феи, какой она была еще совсем недавно, — в последний раз печально всплыла в черный поток. Я не знаю, удалось ли ей вернуться, ибо все вокруг поглотил мрак и я уже никогда не видел ее волшебного облика.

Морелла

Собой, только собой, в своем вечном единстве.

Платон. Пир, 211

Глубокою, но поистине странную привязанность питал я к своей подруге Морелле. Случай свел нас несколько лет назад, и с первой же встречи в моей душе вспыхнул огонь, какого она никогда прежде не знала. Однако не Эрос зажег это пламя, и горечь все больше терзала мой дух, пока я постепенно убеждался, что не могу постичь его неведомого смысла. Но мы встретились, и судьба связала нас перед алтарем. И не было у меня слов страсти и мыслей о любви. Морелла избегала общества людей и, посвятив себя одному мне, сделала меня счастливым. Ибо счастье — размышлять и удивляться, и счастье — грезить.

Морелла была очень начитанна. Ее дарования были редкостными, а сила ума поистине беспредельной. Я это чувствовал и многому научился от нее. Но скоро я обнаружил, что, может быть, под влиянием своего воспитания в юности, она постоянно предлагала мне для чтения

мистические произведения, которые обычно считаются всего лишь жалкой пеной старой немецкой литературы. По непостижимой причине они были для нее постоянным предметом изучения, а то, что со временем я и сам увлекся ими, следует приписать влиянию привычки и примера.

Если не обманываюсь, мой рассудок к этому не имел никакого отношения. Или я плохо знаю себя, или мои взгляды слишком далеки от всего идеального, но мистицизм, которым я усиленно питался, не накладывал никакого отпечатка на мои поступки и дела. Твердо уверовав в это, я полностью подчинился руководству жены и с недрогнувшим сердцем последовал за ней в сложный лабиринт ее изысканий. Но когда я вчитывался в запретные страницы, когда Морелла клала свою прохладную руку на мою и извлекала из пепла мертвых мудрствований какие-нибудь негромкие, но странные слова, необычный смысл которых прочно запечатлевался в моей памяти, я начинал чувствовать, что во мне возгорается тяга к запретному. Час за часом я проводил рядом с ней, наслаждаясь музыкой ее голоса, но в конце концов его мелодия начинала навевать на меня ужас, а мою душу окутывала тень. Я бледнел и внутренне содрогался от этих звуков, в которых было так мало земного. Так радость постепенно становилась кошмаром, самое прекрасное превращалось в отвратительнейшее, и Гинном преобразался в Геенну[206].

Нет нужды излагать содержание наших бесед, темы которых навеивали упомянутые мною трактаты, но в течение долгого времени иных разговоров мы с Мореллой не вели. Люди, изучавшие то, что можно назвать теологической моралью, легко представят себе, о чем мы говорили, непосвященным же наши беседы все равно не будут понятны. Буйный пантеизм Фихте, учение пифагорейцев о вторичном рождении и переселении душ и, главное, доктрина тождества, как ее излагал Шеллинг, — вот в чем впечатлительная Морелла находила особую красоту. Тождество, называемое личным, мистер Джон Локк, если не ошибаюсь, справедливо определяет как здравый рассудок мыслящего существа. А так как под «личностью» мы понимаем рациональное начало, наделенное рассудком, и так как мышлению всегда сопутствует сознание, то именно они и делают нас самими собой, в отличие от всех других существ, которые мыслят. Представление о личности, которая исчезает или не исчезает после

смерти, всегда меня остро интересовало. И не столько из-за его парадоксальных и притягательных следствий, сколько из-за волнения, с которым говорила о них Морелла.

Но в конце концов настало время, когда непостижимая таинственность моей жены начала тяготить меня, как злые чары. Я больше не мог выносить прикосновения ее тонких полупрозрачных пальцев, ее тихую музыкальную речь, мягкий блеск ее печальных глаз. И она понимала это, но не упрекала меня. Казалось, она постигает мою слабость или мое безумие, с улыбкой называя его роком. Она, видимо, знала также неведомую мне причину изменения моего отношения к ней, но даже не намекала на нее.

Тем не менее, она была женщиной и с каждым днем таяла и увядала. Временами красные пятна не сходили с ее щек, а голубые жилки на висках проступали все яснее. Болезнь подтачивала ее тело. Порой меня охватывала глубокая жалость, но в следующий миг я встречал взгляд ее говорящих глаз, и мою душу поражало то смятение и страх, которые овладевают человеком, когда он, едва держась на ногах от головокружения, заглядывает в бездонную пропасть.

Стоит ли говорить, что я со страстным, почти болезненным нетерпением ждал смерти Мореллы? Да, я ждал ее; но этот хрупкий дух цепко держался за свою бrenную оболочку в течение еще многих дней, недель и томительных месяцев. В конце концов мои истерзанные нервы взяли верх над рассудком и я впал в исступление из-за этой отсрочки, с адской яростью проклиная дни, часы и горькие секунды, которые становились все длиннее и длиннее по мере того, как угасала ее кроткая жизнь. Так удлиняются тени по мере того, как угасает день.

Но одним осенним вечером, когда ветры уснули в небесах, Морелла подозвала меня к своей постели. Над всей землей висел прозрачный туман, мягкое сияние лежало на водах, на пышную листву октябрьских лесов с вышины пало золото и пурпур.

— Вот день из дней, — сказала она, когда я приблизился. — День, чтобы жить и чтобы умереть. Дивный день для сыновей земли и жизни... но еще более дивный для дочерей небес и смерти! — Я осторожно поцеловал ее лоб, а она продолжала:

— Я умираю, и все же я буду жить.

— Морелла!

— Не было дня, когда бы ты любил меня; но ту, которая внушала тебе отвращение при жизни, в смерти ты станешь боготворить.

— Морелла!

— Повторяю: я умираю. Но я не уношу с собой плод той нежности — о, бесконечно малой! — которую ты питал ко мне, Морелле. И когда мой дух отлетит, это дитя — твое и мое — останется жить. Но твои дни будут днями печали, той печали, которая долговечней всех иных чувств, как кипарис нетленней всех деревьев. Часы твоего счастья позади, цветы радости не распускаются дважды в одной жизни, как дважды в год распускаются иные розы. И больше тебе не доведется играть со временем: ты сам понесешь по земле свой саван, как мусульманин, отправляющийся в Мекку.

— Морелла! — закричал я. — Морелла, откуда ты это знаешь?

Но вместо ответа она отвернулась, легкая судорога пробежала по ее членам, и она умерла. Никогда больше я не слышал ее голоса.

Но как Морелла и предрекла, ее дитя, дочь, которой она дала жизнь, уже умирая, которая начала дышать с последним вздохом матери, осталась в живых. Однако она очень странно развивалась — как физически, так и умственно — и была точным подобием умершей. И я полюбил ее такой могучей любовью, какой, думалось мне прежде, нельзя испытывать к земным существам.

Но вскоре безоблачное небо этой чистой привязанности омрачилось: уныние, страх и печаль заволокли его тучами. Ребенок действительно развивался очень странно. Меня приводил в смущение необычайно быстрый рост девочки; но гораздо ужаснее были мысли, которые овладевали мной, когда я следил за развитием ее духа! И разве могло быть иначе, если я ежедневно обнаруживал в этом малолетнем ребенке, в каждом его слове и поступке, силу и зрелость ума взрослой женщины? Когда с детских уст слетали уроки житейского опыта, когда я читал знаки мудрости и страстей зрелого возраста в ее больших задумчивых глазах?

С тех пор как все это стало очевидно и я уже был не в силах закрывать на это глаза, не мог продолжать бороться с жаждой уверовать, стоит ли удивляться, что мною овладели необычайные и жуткие подозрения? Отныне мои мысли снова и снова возвращались к цветистым фантазиям и поразительным теориям Мореллы, ныне покоящейся в склепе.

Что мне оставалось? Я скрыл от любопытных посторонних глаз ту, кого мне самой судьбой было предназначено полюбить всей душой, и в строгом уединении сельского дома с мучительной тревогой следил за обожаемым существом, не упуская ничего. Проходили годы, а я день за днем всматривался в ее кроткое и выразительное лицо и находил в дочери все новые черты сходства с умершей матерью. И ежечасно тени этого сходства сгущались, становились все более глубокими, все более четкими, все более непостижимыми, и чем полнее и определеннее они становились, тем больший ужас меня охватывал. Сходство улыбки дочери с улыбкой матери я мог бы еще понять, но меня пугала их совершенная тождественность; мог я перенести и сходство ее глаз с глазами Мореллы, но они все чаще заглядывали в глубину моей души с тем же тревожным и напряженным выражением, как и глаза Мореллы. И очертания высокого чистого лба, и шелковистые кудри, и тонкие полупрозрачные пальцы, погружающиеся в них, и грустная мелодичность голоса, но главное — слова и выражения мертвой на устах живой, любимой! Все это питало во мне одну и ту же неотвязную мысль.

Так минуло два пятилетия ее жизни, но дочь моя все еще оставалась безымянной. Как любящий отец, обычно я звал ее «дитя мое» или «любовь моя», а строгое уединение, в котором она проводила свои дни, лишило ее иных собеседников. Имя Мореллы умерло вместе с ней. Я никогда не говорил с дочерью о матери; для меня это было невозможно. На протяжении всего краткого срока ее затворнического существования внешний мир оставался для нее неведомым.

Но в конце концов моему смятенному уму открылся путь к спасению и избавлению от ужасов моей собственной судьбы — обряд крещения. И у крестильной купели я заколебался, выбирая ей имя. В моем уме теснилось множество имен мудрых и прекрасных женщин былых и нынешних времен, обительниц этой страны и дальних краев. Многие из них были красивы, были кротки душой, счастливы и добры... Но что же побудило меня потревожить память мертвой и погребенной? Какой демон принудил меня произнести это имя, при одном воспоминании о котором кровь застывала в моих жилах, а затем прилиwała к сердцу? Какой злой дух подал голос в недрах моей души, когда в тусклом полусвете, в безмолвии ночи я шепнул святому отцу эти три слога: «Морелла»? И некто больший, чем злой дух, исказил

черты моего ребенка и лишил их красок жизни, когда, содрогнувшись при чуть слышном звуке этого имени, она возвела остановившиеся глаза к небесам и, бессильно опускаясь на черные плиты нашего фамильного склепа, ответила: «Я здесь!»

Отчетливо, бесстрастно и холодно отдались эти простые слова в моих ушах и, подобно расплавленному свинцу, шипя, прожгли мой мозг. Пройдут годы, но память об этом мгновении не изгладится во мне никогда. С той минуты я больше не замечал ни времени, ни места, звезда моей судьбы погасла в небесах. Вся земля погрузилась во мрак, ее обитатели скользили мимо меня, как смутные тени, и среди них я видел только одну — Мореллу! Ветер нашептывал мне только одно имя, и рокот моря повторял снова и снова — Морелла, Морелла...

Но она умерла; я сам похоронил ее и рассмеялся долгим и горьким смехом, когда не обнаружил никаких следов первой Мореллы в том склепе, в который опустил вторую.

Овальный портрет

Он жив и заговорил бы, если б не соблюдал обета молчания.

Надпись на итальянской картине, изображающей св. Бруно

Лихорадка моя была упорной и продолжительной. Все средства, какие только можно было раздобыть в этой дикой местности у подножия Апеннин, были использованы, но без видимых результатов. Мой слуга Педро, он же единственный спутник, был слишком несведущ, чтобы решиться пустить мне кровь, хотя я и без того немало потерял ее после схватки с горными разбойниками. Мы заночевали в пустующем уединенном замке, но я чувствовал себя так скверно, что даже не решался отправить слугу за помощью в близлежащее селение.

И тут я вспомнил о маленьком свертке опиума, который лежал вместе с трубочным табаком в деревянном ящичке: еще в Константинополе я приобрел привычку курить табак вместе с такой примесью, которая в тех краях считалась лекарственной. Педро подал мне ящичек. Порывшись, я отыскал сверток с зельем, но, когда задумался о том, какую дозу следует принять в моем состоянии, остановился. При курении никакой точности не требовалось — я просто перемешивал некоторое количество опиума с табаком. Иногда

эта смесь не оказывала на меня ни малейшего действия, но порой я замечал кое-какие угрожающие симптомы мозгового расстройства, которые как бы предостерегали меня и призывали к воздержанию.

Правда, действие, производимое опиумом при курении, не несет в себе никакой серьезной опасности. Но тут все обстояло иначе — я никогда еще не принимал этот наркотик в чистом виде внутрь, и его последствия были мне неизвестны. Мой Педро знал об этом не больше меня. Таким образом, несмотря на критические обстоятельства, я пребывал в полной нерешительности. Впрочем, огорчаться не следовало — выход нашелся. Я решил принимать опиум постепенно, причем первая доза должна была быть совершенно ничтожной. Если она не возымеет действия и я не получу облегчения, можно будет ее повторить. И так до тех пор, пока лихорадка не отступит или пока ко мне не явится великий целитель — благодатный сон, не посещавший меня уже целую неделю.

Уснуть мне было совершенно необходимо. Чувства мои находились в состоянии какого-то беспрестанного смятения, напоминавшего тяжелое опьянение. Именно это смутное и тягостное состояние души помешало мне заметить отсутствие логики в моих мыслях: я принялся рассуждать о больших и малых дозах, не имея никакого определенного масштаба для сравнения. В ту минуту я вовсе не думал о том, что доза опиума, представлявшаяся мне ничтожной, на самом деле могла оказаться вполне достаточной, чтобы убить меня. Я хорошо помню, как с невозмутимой самоуверенностью определил количество, необходимое для первого приема, отделив частицу от сероватого, похожего на черствеющее тесто куска, лежавшего в свертке. Я проглотил ее, и сделал это бесстрашно, так как эта частица была, несомненно, очень мала по отношению к общему количеству наркотика, находившегося у меня в руках.

Замок, куда мой слуга ворвался силой, взломав дверь, ибо не желал допустить, чтобы я, измотанный лихорадкой и раненый, провел ночь под открытым небом, был одной из тех мрачных и величественных громад, которые со времен Средневековья хмурятся среди отрогов Апеннин — причем не только в фантазии миссис Рэдклиф[207], но и в действительности. Судя по всему, замок этот был покинут владельцами совсем недавно и не окончательно. Мы расположились в одном из самых небольших и наименее роскошно обставленных

покоев в уединенной башенке. Обстановка здесь также была богатой, но обветшавшей и очень старой. Стены были обиты тафтой, увешаны всевозможными военными доспехами и множеством изысканных современных картин в пышных золоченых рамах с арабесками. Взгляд натывался на них не только на самих стенах, но и в закоулках, которых здесь было множество из-за причудливой формы здания, и я принялся рассматривать эти картины с каким-то чрезвычайно глубоким и обостренным интересом. Возможно, он был вызван уже начинавшимся лихорадочным бредом.

Я велел Педро закрыть тяжелые ставни, так как уже окончательно стемнело, зажечь свечи в высоком канделябре, стоявшем в изголовье кровати, и отдернуть черные бархатные занавеси с бахромой, отделявшие постель от остального помещения. Я решил: если уж мне не дано сегодня уснуть, то по крайней мере я буду рассматривать одну за другой эти картины, попутно заглядывая в маленький, изящно переплетенный томик, который обнаружил на подушке. Томик этот содержал обстоятельное описание всей живописи, находящейся в башне.

Читал я довольно долго, время от времени отвлекаясь, чтобы полюбоваться тем или иным полотном. Быстро летели чудесные мгновенья, близилась полночь. Положение канделябра показалось мне неудобным, и я, чтобы не тревожить уснувшего Педро, с трудом протянул руку и сам передвинул его таким образом, чтобы ярче освещались страницы книги.

Но это мое движение произвело совершенно неожиданный эффект. Свет проник в нишу, которая до того была скрыта глубокой тенью, падавшей от резного столбика балдахина над кроватью, и я увидел картину, которую прежде совершенно не замечал. Это был портрет юной, еще только расцветающей девушки. Я быстро взглянул на картину и тотчас закрыл глаза. Почему я так поступил, в первую минуту я и сам не мог понять. Но пока веки мои оставались закрытыми, я принялся лихорадочно размышлять о причине этого действия и пришел к выводу, что оно было совершенно инстинктивным, с целью выиграть время, а затем удостовериться, что зрение меня не обмануло, а заодно успокоить свою фантазию и подчинить трезвому рассудку. Через несколько мгновений я опять устремил на портрет пристальный взгляд.

Теперь у меня не было ни малейших сомнений, что я вижу все отчетливо, тем более что первая вспышка света, озарившая это полотно, рассеяла дремотное оцепенение, которое владело всеми моими чувствами, и вернула меня к реальности.

Портрет, как уже было сказано, изображал молодую девушку. Это было всего лишь погрудное изображение, выполненное в так называемой «виньеточной» манере, во многом напоминающей манеру Салли[208]. Ее руки, грудь и даже золотистые волосы неприметно растворялись в неясной, но глубокой тени, образующей фон. Рама была овальной, густо позолоченной, покрытой мавританским орнаментом тонкой работы. Трудно представить себе произведение искусства прекраснее этого портрета. Но ни мастерство художника, ни нетленная красота изображенного им облика не могли так внезапно и сильно взволновать меня. Не мог я принять в полудремоте это изображение и за живую женщину. Особенности рисунка, манера живописи, тяжелая рама мгновенно разрушили бы подобную иллюзию и не позволили бы поверить ей ни на миг.

Я упорно размышлял об этом в течение целого часа, то полусидя, то полулежа, но не отрывая от портрета напряженного взгляда. Наконец, разгадав подлинный секрет производимого портретом эффекта, я откинулся на подушки. Картина заворожила меня совершенным, поистине невероятным жизнеподобием, которое вначале поразило меня, а затем вызвало смущение, подавленность и даже страх. Полный трепетного благоговения, я вернул канделябр на прежнее место. Теперь, уже не видя того, что так глубоко взволновало меня, я с нетерпением схватил томик, содержащий описания картин и их историю. Отыскав номер, под которым числился овальный портрет, я прочитал следующие весьма странные слова:

«Она была девушкой редчайшей красоты, и была столь же очаровательна, как и весела. Но злым роком был отмечен тот час, когда она встретила и полюбила живописца и стала его женой. Одержимый, упорный, суровый, он уже был обручен с Живописью; она же, вся — свет, вся — улыбка, шаловливая, как молодая лань, ненавидела в этом мире одну лишь Живопись, свою соперницу, боялась только палитры, кистей и красок, лишавших ее возлюбленного. Она поневоле испытала ужас, узнав, что живописец вознамерился написать портрет своей молодой жены. Но она была кротка и покорна и много недель

неподвижно просидела в высокой башне, где только сверху просачивался свет, падая на бледный холст. Художник вложил весь свой гений в эту работу, что длилась из часа в час, изо дня в день. Одержимый, необузданный, угрюмый, он всецело предавался своим мечтам, не замечая, как от жуткого света в одиноко стоящей башне тают душевные силы и здоровье его жены, как она на глазах увядает. Это видели все, кроме него. А она все улыбалась и улыбалась, не проронив ни слова жалобы, ибо видела, что художник, чья слава была уже велика, черпает в своем труде жгучее упоение и работает днем и ночью, дабы запечатлеть ту, что так любила его, но с каждым днем становилась все бледнее и слабее. Те, кому довелось видеть портрет, шепотом говорили о сходстве как свидетельстве и могучего дара живописца, и его глубокой любви к той, кого он изобразил с таким непревзойденным искусством.

Но когда работа уже близилась к концу, доступ посторонним в башню был закрыт, потому что художник в пылу труда впал в исступление, граничащее с безумием, и редко отрывал свой взор от холста даже для того, чтобы взглянуть на жену. Он не желал видеть, как оттенки, наносимые им на холст, отнимаются у той, что сидела напротив него. И когда минули долгие недели и лишь немного осталось довершить — всего лишь положить один мазок на уста и один блик на зрачок, душа красавицы снова вспыхнула, как угасающий светильник, выгоревший до конца. И вот кисть коснулась холста, и полутон был положен, и блик заиграл там, где ему надлежало быть. На мгновение художник остановился, охваченный восторгом перед собственным творением, и, все еще не отрываясь от холста, вздрогнул, страшно побледнел и воскликнул: «Да ведь это же — сама Жизнь!», после чего стремительно обернулся, чтобы взглянуть на возлюбленную.

Она была мертва!

Сфинкс

Во времена, когда Нью-Йорк охватила ужасная эпидемия холеры, я принял приглашение одного своего родственника провести с ним пару недель в его уединенном уютном коттедже на берегах Гудзона. Здесь было все, что нужно для приятного летнего отдыха. Мы могли гулять по лесу, рисовать, кататься на лодках, ходить на рыбалку или купаться,

слушать музыку или предаваться чтению и вообще приятно и безмятежно проводить время, если бы не ужасные новости, которые каждое утро приходили из огромного города. Не было и дня, чтобы мы не узнавали о том, что болезнь поразила кого-нибудь из наших знакомых. Затем, когда смертность повысилась, мы научились жить в ожидании утраты кого-то из друзей. Поэтому вскоре уже каждое новое появление вестника стало ввергать нас в страх. Нам стало казаться, что даже ветер, дующий с юга, несет в себе запах смерти. Эта неотступная гнетущая мысль полностью завладела мною. Я не мог ни говорить, ни думать ни о чем другом, она преследовала меня даже во сне. Хозяин мой был не таким впечатлительным человеком, как я, и, хоть и сам пребывал в довольно подавленном настроении, как мог старался подбодрить меня. Однако его тонкому философскому уму было свойственно сугубо реальное восприятие действительности. Он был знаком и с чувством страха, но без каких-либо отклонений.

Его попытки вырвать меня из состояния необычайного уныния, в которое я впал, не имели успеха, причиной чему были определенные книги, найденные мной в его библиотеке, которые могли пробудить к жизни заложенные в моей душе семена наследственных суеверий. Хозяин мой не знал, что я читал эти книги, поэтому часто не мог понять, откуда мне приходят в голову те или иные бурные фантазии.

Любимой темой наших разговоров в ту пору стала расхожая вера в плохие приметы — вера, которую в тот период своей жизни я даже почти готов был защищать. Тема эта часто становилась объектом долгих и оживленных бесед — он настаивал на совершенной беспочвенности подобной веры, я же возражал ему, доказывая, что то или иное общественное мнение, возникающее совершенно самопроизвольно (другими словами, если оно ни на чем не основано), должно содержать в себе неоспоримые элементы истины, почему и требует к себе уважения в той же степени, что и интуиция, являющаяся не чем иным, как отличительной особенностью гения.

Все это я говорю вот к чему: вскоре после моего приезда в коттедж со мной произошло нечто, настолько необъяснимое и по природе своей столь сходное с дурной приметой, что у меня были все основания всерьез посчитать это самым настоящим знамением. Случай этот потряс меня и одновременно настолько смутил и удивил, что прошло немало дней, прежде чем я решился заговорить о нем со своим другом.

Ближе к завершению необычайно жаркого дня я сидел с книгой в руке у окна, из которого открывался широкий вид на берега реки, на далекий холм, обращенную ко мне сторону которого то, что принято называть оползнем, лишило большей части деревьев. Мысли мои уже давно занимала не лежащая передо мной книга, а мрачный опустевший город. И вот, когда я поднял глаза, взгляд мой пал на голый склон холма и на некий объект — то было чудовище ужасного вида, которое быстро спускалось с вершины к основанию холма, пока наконец не скрылось внизу, в густом лесу. Как только я это увидел, первой моей мыслью было: не сошел ли я с ума или, по крайней мере, могу ли я верить собственным глазам? Прошло немало времени, прежде чем мне удалось убедить себя, что я не спятил и не сплю. Однако боюсь, читателям моим будет труднее поверить в это, чем мне самому, когда я опишу монстра, которого видел совершенно отчетливо и успел хорошо рассмотреть за время его спуска.

Приблизительно сравнив размер этого создания с диаметром стволов больших деревьев, рядом с которыми оно прошло (теми несколькими гигантами, которых не затронула ярость оползня), я пришел к выводу, что оно намного крупнее любого существующего линейного корабля. Я сравниваю его с линейными кораблями, потому что сам общий вид этого чудовища наводил на мысль о них. Форма

корпуса одного из наших семидесятичетырехпушечников может довольно сносно передать общий контур его тела. Рот животного располагался на конце хобота, который в длину имел футов шестьдесят-семьдесят, а по толщине мог сравниться с телом среднего слона. Начало этого ствола было густо покрыто черной косматой шерстью (ее было больше, чем на шкурах нескольких бизонов), и из шерсти этой торчали нацеленные вниз и в стороны два блестящих клыка, напоминающих клыки дикого кабана, только несравнимо большего размера. Параллельно с хоботом, слева и справа от него, шли два гигантских образования длиной тридцать или сорок футов, по виду очень похожие на чистый кристалл и имеющие форму идеальной призмы — в них удивительно красиво отражались лучи заходящего солнца. Тело имело клинообразную форму, острым концом обращенную к земле. Из него торчало две пары крыльев (каждое длиной почти сто ярдов), причем одна пара располагалась над второй и обе были покрыты густой сияющей металлическим блеском чешуей, каждая чешуйка — не меньше десяти-двенадцати футов в диаметре. Я заметил, что верхние и нижние слои крыльев соединялись крепкой цепью. Однако главной особенностью этого жуткого создания было изображение мертвой головы, которое сверкало белизной на его темной груди, занимая почти всю ее площадь, и было настолько четким и правдоподобным, будто его вывела кисть художника. Вглядываясь в это страшилище, и особенно в изображение у него на груди, я, охваченный ужасом и ощущением надвигающегося зла, которое не мог подавить силой разума, вдруг увидел, как громадные челюсти на конце хобота разверзлись, и из них исторгся звук столь громкий и столь скорбный, что я задрожал, точно услышав похоронный звон, и, прежде чем чудище скрылось среди деревьев у подножия холма, без чувств рухнул на пол.

Когда я пришел в себя, первым моим побуждением было, разумеется, рассказать о том, что я увидел и услышал, своему другу, и вряд ли я смогу описать то ощущение отвращения, которое в конце концов помешало мне это сделать.

Но как-то вечером, спустя три или четыре дня после этого случая, мы сидели в той же комнате, где мне явилось это видение, — я занимал то же место у того же окна, а мой друг расположился на диване рядом. Вызванные временем и местом ассоциации побудили

меня рассказать ему о странном явлении. Он выслушал мой рассказ до конца и сначала от души рассмеялся, а потом сделался необычайно серьезен, будто мое безумие не вызывало у него сомнения. Однако случилось так, что в тот миг я снова отчетливо увидел чудовище, и, закричав от ужаса, указал на него. Он внимательно посмотрел туда, куда я указывал, но сказал, что ничего не видит, хотя я и описал ему во всех подробностях, как оно спускается по голому склону холма.

Теперь я встревожился не на шутку, поскольку был почти уверен, что видение это — не что иное, как знамение моей смерти, или, хуже того, предвестник помутнения рассудка. Я в отчаянии откинулся на спинку кресла и на несколько секунд закрыл лицо руками. Когда я отнял ладони от лица, видения уже не было.

Впрочем, к моему хозяину уже отчасти вернулось спокойствие, и он принялся подробно расспрашивать меня о том, как выглядело это создание. Когда я полностью удовлетворил его любопытство относительно головы животного, он глубоко вздохнул, точно сбросил с себя какой-то тяжкий груз, и с совершенным спокойствием, которое показалось мне даже жестоким, принялся рассуждать о различных аспектах спекулятивной философии, теме нашей прерванной беседы. Помнится, он (среди прочего) особенно настаивал на том, что главным источником ошибок во всех умозрительных построениях было неотъемлемое свойство разума недооценивать или преувеличивать важность того или иного объекта вследствие неправильной оценки его отдаленности.

— К примеру, — говорил он, — для того чтобы точно установить, какое влияние на общество в целом может оказать распространение демократии, необходимо правильно себе представлять ту эпоху, когда подобное распространение может прийти к завершению. Но можете ли вы назвать хотя бы одного писателя, озаботившегося проблемами общественного уклада, который считал бы эту сторону данного вопроса заслуживающей обсуждения?

Тут он на миг замолчал, подошел к книжному шкафу и снял с полки один из учебников по естествознанию. Потом, попросив меня поменяться с ним местами (так ему лучше были видны напечатанные мелким шрифтом буквы), он занял мое кресло у окна и, раскрыв книгу, продолжил тем же тоном, что и прежде:

— Если бы не ваше подробнейшее описание чудовища, — сказал он, — я, возможно, так и не смог бы объяснить вам, что вы увидели. Но сначала, с вашего позволения, я прочитаю вам школьное описание рода *Sphinx* из семейства *Crepuscularia* класса *Insecta*, то есть насекомых. Итак: «Четыре перепончатых крыла, покрытые маленькими разноцветными чешуйками; рот в форме закрученного хоботка образован вытянутыми челюстями, по бокам от которых расположены рудиментарные жвала и щупики. Нижняя пара крыльев соединяется с верхней жесткими волосками; усики имеют форму продолговатой булавы призматической формы; брюшко заостренное. Сфинкс Мертвая голова часто вызывает страх у не знакомых с ним людей своей способностью издавать протяжный заунывный звук, а также узором, напоминающим символ смерти, который находится у него на щитке».

Тут он закрыл книгу, чуть подался вперед, не вставая с кресла, и принял ту же позу, в которой сидел я, когда заметил «чудовище».

— Ага, вот он! — почти сразу воскликнул мой друг. — Теперь он поднимается по холму. Признаю, это создание весьма необычно с виду! И все же оно не настолько велико и не так далеко от нас находится, как вам показалось. На самом деле оно карабкается по паутинке, которую какой-то паук протянул по окну. Я думаю, длина его — приблизительно одна шестнадцатая дюйма, и приблизительно одна шестнадцатая дюйма отделяет его от моего зрачка!

Тишина

Горные вершины дремлют; В долинах, утесах и пещерах тишина.

Алкман[209]

Притча

— Внимай мне! — молвил Демон, опуская мне на голову свою руку. — Область, о которой я говорю, — печальный край в Ливии, у берегов реки Заиры. И нет там покоя и тишины.

Воды реки окрашены в болезненные шафрановые тона и текут они не в море, но трепещут и вздуваются во всякий миг под багровым оком солнца, охваченные судорожным волнением. На много миль вокруг по обе стороны реки раскинулись заросли гигантских водяных лилий.

Они вздыхают в этом безлюдье, и, словно привидения, вытягивают к небу свои длинные шеи-стебли, и вечно кивают бледными венчиками одна другой. Смутный ропот исходит от них, подобный журчанью подземного ручья. И они вздыхают.

Но есть предел их владениям — полоса темного, дремучего, высокого леса. Там, подобно океанским волнам у Гебридских островов, беспрестанно колышутся заросли кустарников, хотя нет ни малейшего ветра в небесах. И могучие первобытные деревья вечно скрипят и шумят вершинами. И с их высоких ветвей капля за каплей падает роса. И у корней сплетаются в тревожной дремоте ядовитые цветы. И высоко над головой с гулом несутся на запад рваные серые тучи, перекатываясь, словно исполинский водопад, через огненную стену горизонта. Но, повторяю, нет там ветра в небесах, и на берегах реки Заиры нет ни покоя, ни тишины.

Была ночь, и лил дождь; и пока он падал, он был дождем, но упав на землю, превращался в кровь. И я стоял в трясине среди высоких лилий, и дождь падал мне на плечи, и лилии вздыхали, кивая одна другой.

И вдруг из тонкого призрачного тумана показался диск луны, и был он огненно-красен. И взор мой устремился к громадному прибрежному утесу, озаренному лунным сиянием. Он был дикого, мертвенного, серого цвета и стоял, словно привидение. На той его стороне, что была обращена ко мне, на камне были высечены таинственные письмена; и я пробирался через топкую пустыню водяных лилий, пока не оказался на самом берегу, чтобы прочесть знаки на камне. Но я не сумел постичь их. Тогда я вернулся обратно в болота, но вдруг ярче разгорелся лунный диск, я обернулся и снова взглянул на утес и на письмена — и они гласили: «Отчаяние».

Тогда я взглянул вверх — на вершине утеса стоял человек. И я укрылся среди водяных лилий, чтобы следить за его действиями. Человек тот был рослым и статным, с плеч до ступней его тело было закутано в римскую тогу. И очертания его фигуры были неясны, но лик его был ликом божества; и покровы ночи, тумана, луны и росы не могли скрыть его лица. И чело его было изрезано бороздами многих дум, и глаза его были безумны от множества забот; и в немногих складках на его щеках я прочел повесть скорби, усталости, отвращения к роду людскому и жажду одиночества.

И человек этот присел на скалу, оперев голову на руку, и стал смотреть на картину запустения. Он смотрел на низкорослый, вечно волнующийся кустарник, на высокие первобытные деревья, смотрел на небо, исполненное гула, и на багрово-красную луну. А я таился в гуще лилий и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но ночь уже начала убывать, а он все сидел на утесе.

И вот он оторвал взгляд от неба и посмотрел на печальную реку Заиру, на ее желтые призрачные воды и на бледные толпы водяных лилий. И стал прислушиваться к их вздохам и к ропоту, который исходил от них. И я лежал тайно в своем прибежище и следил за его действиями. И человек вновь трепетал в уединении, и ночь убывала, но он все еще оставался на утесе.

Тогда я спустился в трясину, и пошел среди ропота лилий, и позвал гиппопотамов, что живут на островках среди самых глухих топей. И гиппопотамы услышали мой зов, и пришли к подножию утеса, и принялись ужасающе вопить и устрашающе рычать, и луна пылала в небесах. И я таился в своем укрытии и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но ночь убывала, а он все сидел на утесе.

Тогда я пришел в ярость и наложил на стихии заклятие буйства. И страшная буря разразилась в небесах, где прежде не было ветра. И небо потемнело от бешенства, и дождь хлестал человека, словно сотней бичей, и река вышла из берегов, и воды ее вспенились, и водяные лилии пронзительно заголосили, и вековые деревья рушились под натиском ветра, и гром сотрясал утес в самом его основании. А я притаился в моем убежище и следил за человеком. И человек дрожал в уединении; но убывала ночь, а он все сидел на утесе.

Тогда я снова пришел в ярость и наложил заклятие тишины на реку и лилии, на ветер и лес, на небо и гром и даже на вздохи водяных лилий. И они погрузились в безмолвие. Даже луна перестала взбираться к зениту по своей небесной тропе, и гром замер в отдалении, и молнии погасли, и тучи повисли недвижно, и воды вернулись в прежние берега и замерли, и водяные лилии больше не вздыхали — ни тени звука во всей этой беспредельной пустыне. И я взглянул на письма на утесе и увидел, что они изменились — теперь они гласили: «Тишина».

И взор мой устремился к лицу человека, и лицо это было бледно от ужаса. Он поспешно поднял голову, вскочил и стал прислушиваться.

Но не было ни звука во всей огромной бесконечной пустыне, и письма на утесе гласили: «Тишина». И человек задрожал, и отвернулся, и кинулся прочь как только мог быстро. С тех пор я больше его не видел...

Поистине, немало сказаний можно отыскать в томах, исписанных магами и волхвами — в этих окованных железом и переплетенных в кожу томах. Там, говорю я вам, заключены удивительные летописи о земле и о небе, о могучем океане, о демонах и джинах, что завладели морем, землей и высоким небом и стали ими править. Немало скрытых знаний было в речениях, произносимых сивиллами; и самые святы тайны были услышаны некогда темной листвой, трепетавшей близ Додонского оракула. И все же ту притчу, которую поведал мне Демон, сидя в тени заброшенной гробницы, я считаю чудеснейшей из всех!

Завершив свой рассказ, Демон снова скрылся в разверстой гробнице и захохотал. Но я не мог смеяться вместе с ним, и он проклял меня, оттого что я не мог смеяться. И рысь — зверь, живущий в гробницах, — вышла из угла, легла у ног Демона и стала пристально смотреть ему в глаза.

Тень

И если я пойду долиною смертной тени...

Псалмы Давида, 22

Вы, читающие эти строки, еще среди живых; но я, написавший их, уже давно отошел в страну теней. Ибо воистину странное свершится, и много тайных дел откроется, и века уйдут за веками, прежде чем эти записи будут найдены и прочитаны. Тогда одни им не поверят, другие усомнятся, и лишь немногие найдут пищу для размышлений в письменах, которые я высекаю на этих таблицах железным резцом.

Тот год был годом ужаса, он был исполнен чувств, которые сильнее, чем ужас, и для которых на земле нет имени. Ибо много было явлено чудес и предзнаменований, и повсюду — и над землей, и над морем — чума широко распростерла свои черные крылья. И все же тем, кто постиг суть движения светил, было ведомо, что небеса предвещают зло; да и мне, греку по имени Ойнос, в числе прочих было

ясно, что настало завершение того семьсот девяносто четвертого года, когда с восхождением Овна планета Юпитер сочетается с багряным кольцом ужасного Сатурна. Если я не ошибаюсь, особое состояние небес сказалось не только на внешнем облике Земли, но и на душах, мыслях и воображении всего человечества.

Мы сидели всемером в глубине роскошного пиршественного зала в сумрачном городе Птолемаиде перед чашами, наполненными пурпурным хиосским вином. В этом покое был только один вход — высокая бронзовая дверь, сработанная искусником Коринносом, изукрашенная затейливой резьбой и литьем и запертая изнутри. Черные завесы ограждали этот угрюмый покой от вида луны, зловещих звезд и опустевших улиц, но от предвестий Зла и памяти о них отделаться было не так-то легко. Вокруг нас находилось многое — и материальное, и духовное, что я не берусь в точности описать: тяжесть в атмосфере... ощущение удушья.... тревога и, прежде всего, то ужасное состояние, которое испытывают нервные люди, когда их чувства бодрствуют и живут, а силы разума уснули. Нас гнала смертельная тяжесть. Она опускалась на наши тела, на убранство зала, на кубки, из которых мы пили; все склонялось под бременем этого уныния — все, кроме языков пламени в семи железных светильниках, освещавших наше пиршество. Бледные и неподвижные, они горели, вздымаясь тонкими столбами света, и в зеркале тщательно отполированного круглого эбенового стола, вокруг которого мы собрались, каждый из пирующих мог созерцать бледность собственного лица и тревожный блеск в глазах сотрапезников. И все же мы смеялись, стараясь казаться веселыми, оттого наш смех звучал хрипло и безрадостно; мы пели песни Анакреонта — и в них звучало безумие, мы пили без меры и удержу — хотя пурпур вина казался нам кровью. Ибо в покое находился наш восьмой сотоварищ — юный Зоил. Мертвый, он лежал, распростершись навзничь, завернутый в саван, — гений и демон нашего сблища. Увы! Он не участвовал в нашем веселье, разве что его лицо, обезображенное чумой, и его глаза, в которых смерть погасила пламя болезни лишь наполовину, казалось, выражали то особое любопытство, какое только умершие способны проявить к забавам обреченных на смерть. И хотя я, Ойнос, чувствовал, что глаза усопшего устремлены на меня, я все же делал вид, что не понимаю затаившейся в них горечи, и, упрямо вглядываясь

в глубину эбенового зеркала, громко и звучно распевал насмешливые строфы великого теосца[210].

Но мало-помалу мой голос ослабел, и его неясные отзвуки затерялись среди черных завес. И вот из глубины этих завес, где только что замер последний звук песни, восстала тень, мрачная и размытая, подобная той, которую отбрасывает человек, когда луна стоит низко над горизонтом. Смутная, бесформенная, неопределенная, она не была тенью ни человека, ни Бога, ни одного из существ, известных нашему миру. Поколебавшись всего мгновение среди завес, она, наконец, твердо и прямо остановилась под дверным сводом и больше не двинулась, не проронила ни слова, но стояла недвижно на месте; а дверь, на которой застыла тень, располагалась, если я правильно помню, прямо против ног юного Зоила, облаченного в саван. Но мы, семеро, при виде тени, выходящей из черных завес, не посмели взглянуть на нее в упор. Мы опустили глаза и долго вглядывались в омут эбенового зеркала. И лишь я, Ойнос, промолвив несколько вежливых слов, все же спросил тень о ее обителище и прозвании.

И тень заговорила. «Я — Тень, — произнесла она, — и обителище мое вблизи от птолемаидских катакомб, рядом со смутными равнинами Элизиума, сопредельными мерзостному Харонову проливу!»

И тогда мы, семеро, в ужасе вскочили с мест и застыли, трепеща, ибо звуки голоса Тени были не голосом какого-либо одного существа, но хором голосов бесчисленных существ, и, перетекая от слога к слогу, наш слух сумрачно поразили бесконечно памятные и близкие нам голоса многих и многих ушедших друзей.

Беседа между Моносом и Уной

То, что грядет

Софокл. Антигона

Уна. «Рожденная заново»?

Монос. Да, прекраснейшая и нежно любимая моя Уна, «рожденная заново». Именно такими были слова, о мистическом значении которых я так долго размышлял, отвергая толкования жрецов, пока Смерть сама не раскрыла мне эту тайну.

Уна. Смерть!

Монос. Как странно, милая Уна, ты повторяешь мои слова! Я замечаю какую-то неверность в твоей поступи, а в глазах твоих — некое радостное беспокойство. Ты смущена и подавлена величественной новизной Вечной Жизни? Да, я говорил о Смерти. И как необычно звучит здесь это слово, издавна вселявшее ужас во все сердца, пятнавшее ржавчиной все земные утехы и наслаждения!

Уна. Ах, Смерть, тот самый призрак, что восседал во главе стола на всех празднествах! Как часто, Монос, терялись мы в предположениях о ее природе! Как загадочно обрывала она наше блаженство, говоря ему: «Доселе и не дальше!» Та чистая и искренняя взаимная любовь, что горела в наших сердцах, мой Монос, — о, как же самонадеянно были мы убеждены, испытав счастье при ее первом проблеске, что наше счастье будет возрастать вместе с нею! Увы, по мере ее роста, рос в наших сердцах и страх пред тем злым часом, который спешил разлучить нас навсегда! И так с течением времени любить стало мукой. Даже ненависть в сравнении с этим показалась бы милосердием!

Монос. Не говори здесь об этих горестях, Уна, теперь ты моя, моя навеки.

Уна. Но память о прошлой печали — это ли не радость в настоящем? Мне еще многое хочется поведать о том, что было. Прежде всего, мне не терпится узнать о твоем пути через Темный Дол и Тень.

Монос. Был ли случай, чтобы лучезарная Уна понапрасну просила о чем-либо своего Моноса? Я поведаю все, вплоть до ничтожных подробностей, но с чего мне начать свой рассказ?

Уна. С чего?

Монос. Да.

Уна. Я поняла тебя, Монос. В Смерти мы оба узнали о склонности человека определять неопределимое. Поэтому я не скажу: начни с момента, когда жизнь пресеклась. Нет, начни с того бесконечно грустного мгновения, когда лихорадочный жар прекратился, ты погрузился в бездыханное и недвижимое оцепенение, а я закрыла твои бледные веки, прикоснувшись к ним перстами неизъяснимой любви.

Монос. Но для начала, милая Уна, скажу несколько слов об общих условиях жизни людей той эпохи. Помнишь ли, как двое-трое мудрецов из числа наших пращуров — истинно мудрых, а не тех, кто

пользуется пустой мирской славой, — посмели усомниться в том, что понятие прогресса нашей цивилизации хоть каким-то образом связано с понятием «улучшение». В каждом из пяти-шести столетий, предшествовавших нынешнему упадку, рождался какой-нибудь могучий ум, смело отстаивавший те принципы, которые нашему освобожденному уму ныне кажутся совершенно очевидными. Эти принципы должны были научить род человеческий скорее повиноваться зову законов природы, нежели пытаться управлять ими. Через долгие промежутки времени появлялись первоклассные умы, которые видели в каждом шаге вперед практической науки некий шаг назад в смысле истинной полезности. Но есть еще и поэтический интеллект — тот интеллект, что является самым возвышенным, ибо истины, полные для нас наиболее глубокого значения, постигаются лишь путем аналогии, доказательной для одного лишь воображения и бессильной перед доводами рассудка. Так вот — время от времени этот поэтический интеллект совершал следующий шаг в развитии философской мысли и обретал в мистическом мифе о древе познания и запретном плоде, приносящем смерть, точное указание на то, что познание не на благо человеку в пору младенчества его души. Эти люди — поэты — жили и гибли, окруженные презрением жалких педантов, присвоивших себе наименование «утилитаристов», но при этом мудро размышляли о стародавних днях, когда наши потребности были простыми, а радости и наслаждения безмерно острыми. Самое слово «веселость» тогда не было известно — так торжественно и полнозвучно было счастье. В те благословенные дни синие реки, не перекрытые плотинами и шлюзами, привольно бежали среди не тронутых ничьей рукой холмов в дальнюю лесную глушь — первозданную, благоуханную и неизведанную.

Но такие благородные исключения из общего правила лишь увеличивали сопротивление массы. Увы, настали самые недобрые из всех недобрых дней. Великое «развитие» — так лицемерно его называли — шло своим чередом: на деле же оно было ничем иным, как смутой, тлетворной и физически, и духовно. Ремесла возвысились и, однажды захватив трон, заковали в цепи разум и интеллект, которые привели их к власти. Человек не мог не признавать величие Природы и оттого впал в ребяческий восторг от достигнутой и всевозрастающей власти над ее проявлениями. И как раз тогда, когда он уже мыслил себя

в мечтах Богом, им овладело младенческое неразумие. В самом начале этого недуга он заразился страстью систематизировать и тягой к абстракциям. Затем он запутался в обобщениях. Среди других нелепых идей его вниманием овладела мысль о всеобщем равенстве, и вопреки предостерегающему голосу законов градации, которым так явственно подчинено все, что есть на земле и на небе, были предприняты безумные попытки установления всеобщей демократии.

Но это зло неизбежно проистекало из главного зла — познания. Человек не был создан, чтобы и знать, и подчиняться. А между тем возникли огромные закопченные города, населенные неисчислимыми толпами. Зеленая листва съежилась и почернела от горячего дыхания металлургических печей. Прекрасный лик Природы был обезображен, словно губительным действием какой-то омерзительной болезни. И мне кажется, милая Уна, что даже то дремавшее чувство, что нашептывало нам о принуждении и насилии, еще могло бы тогда остановить нас. Но теперь уже совершенно ясно, что мы сами уготовили себе гибель извращением нашего вкуса, или, скорее, слепым пренебрежением к его развитию в самом раннем возрасте. Поистине, при таком кризисе один только вкус — качество, занимающее среднее положение между разумом и моральным чувством, — мог бы плавно обратить нас к Красоте, Природе и Жизни. Но увы — горе духу чистого созерцания и царственной интуиции Платона! Горе музыке, которую этот мудрец справедливо считал лучшим средством воспитания души! Горе им обоим, ибо, когда в них была отчаянная нужда, их постигло полное забвение или презрение.

Паскаль, философ, которого мы оба ценим и любим, однажды заметил, и как верно: «Все наши рассуждения сводятся к тому, чтобы уступить чувству». Вполне возможно, что естественные чувства, если бы время позволило, могли бы вернуть себе прежнее главенствующее место, отстранив жесткий математический рассудок, насаждаемый в школах. Но этому не суждено было случиться. Обремененный неумеренным знанием, мир преждевременно одряхлел. Но толпа — основная масса человечества — этого даже не заметила или, живя энергичной, но лишенной счастья жизнью, не пожелала заметить. Земные летописи и исторические хроники научили меня одному: усматривать в величайшем разрушении плату за величайшую цивилизацию. Я почерпнул предвидение нашей судьбы в

сопоставлении Китая, простого и терпеливого, с великим зодчим Вавилоном, с Египтом, чей гений — астрология, с Нубией, более утонченной и хитроумной, чем обе эти страны вместе взятые, матерью всех ремесел. В судьбах этих стран мне сверкнул луч из будущего. Присущая вавилонянам, египтянам и нубийцам изощренность была всего лишь локальным заболеванием, и в падении этих цивилизаций мы видели применение местных целительных средств. Но для мира, зараженного во всем его объеме, я не вижу иного лекарства для возрождения, кроме полной гибели. Но поскольку род человеческий не мог прекратиться, мне открылось, что он должен «родиться заново».

И тогда-то, моя прекрасная возлюбленная, мы стали ежедневно погружаться в грезы. В сумерках мы рассуждали о грядущих днях, когда изуродованная ремеслами и промышленностью поверхность Земли, подвергнувшись тому очищению, которое лишь одно сможет стереть с ее лица все эти угловатые и неряшливые непристойности, заново оденется в зелень и улыбчивые райские воды и станет, наконец, достойным обиталищем для человека — человека, очищенного Смертью, человека, для чьего возвышенного ума познание больше не будет ядом, — искупленного, возрожденного, блаженного, уже бессмертного, но все еще материального.

Уна. Я отлично помню эти беседы, милый Монос; но эпоха огненной катастрофы была не так близка, как мы верили и как предвещал тот упадок, о котором ты так ясно сказал. Люди жили и умирали каждый сам по себе. И ты сам занемог и сошел в могилу; вслед за тобой последовала и твоя верная Уна. И хотя с тех пор минуло столетие, вновь соединившее нас, наши дремлющие чувства не томились слишком долгой разлукой. И тем не менее, милый Монос, это было целое столетие.

Монос. Скажи лучше: точка в неопределенной бесконечности. Бесспорно, я умер в эпоху одряхления Земли. Сердце мое было измучено тревогой из-за всеобщей смуты и упадка; я стал жертвой жестокой лихорадки. После нескольких дней страданий и долгих недель бредовых видений, пронизанных экстазом, проявления которого ты считала страданиями, а я пытался тебя разубедить в этом, но не сумел, на меня сошло, как ты сказала, бездыханное и недвижимое оцепенение. Его-то и называли Смертью те, кто был вокруг меня.

Слова — зыбкая вещь. Мое состояние не лишило меня способности к восприятию. Оно не слишком отличалось от полного покоя человека, очнувшегося от долгой и глубокой дремоты в летний полдень; он лежит недвижно, но к нему постепенно начинает возвращаться сознание — просто оттого, что он выспался, а не от каких-либо внешних помех его забытью.

Я прекратил дышать. Пульс мой остановился, а значит, сердце перестало биться. Воля не покинула меня, но была бессильна. Чувства были необычайно обострены, но при этом странным образом заимствовали одно у другого свои свойства. Вкус и обоняние нерасторжимо смешались и стали единым чувством — чрезвычайно напряженным. Розовая вода, которою ты увлажняла мои губы до последнего часа, пробуждала во мне сладостные грезы о цветах, о фантастических цветах, куда более прекрасных, чем любые земные цветы, о цветах, чьи прообразы мы видим распускающимися здесь, вокруг нас. Веки мои, бескровные и прозрачные, как ни странно, не препятствовали зрению. А поскольку волевое начало бездействовало, глазные яблоки не могли вращаться в орбитах, но все предметы в моем поле зрения были видны более или менее отчетливо; странно, но лучи, попадавшие во внутренний или наружный угол глаза, производили более сильное действие, чем те, что касались его передней поверхности. Но и в том, и в другом случае я воспринимал свет только в качестве звука — мелодичного или резкого в зависимости от того, были ли предметы, расположенные сбоку или передо мной, светлыми или темными, округлыми или угловатыми. В то же время слух, хотя и крайне обостренный, не изменил своей природе и оценивал реальные звуки с поразительной точностью. Осязание подверглось перемене куда более своеобразной. Его впечатления поступали как бы с большим запозданием, но сохранялись очень долго и всегда сопровождались невероятным физическим наслаждением. То, как ты коснулась моих век, закрывая мне глаза, я сначала ощутил только зрением, и лишь спустя продолжительное время после того, как это произошло, все мое существо наполнилось чувственным восторгом. Я говорю чувственным, ведь все мои восприятия были сугубо чувственными по своей природе. Показания, сообщаемые пассивному мозгу чувствами, ни в коей мере не осмыслялись, а просто регистрировались. Было немного больно и очень приятно; но ни

моральных страданий, ни удовлетворения, ни скорби. Когда твои безумные рыдания проникли в мой слух, я лишь наслаждался их скорбной напевностью и воспринимал каждое изменение их ритма и тона. Но это были всего лишь нежные музыкальные звуки — не более. Они ничего не внушали угасшему рассудку, не указывали на горькую скорбь, их породившую, а твои слезы, падавшие мне на лицо, когда ты говорила, обращаясь к очевидцам моей кончины, о своем разбитом сердце, приводили меня в чувственный экстаз. И это была истинная Смерть, о которой стоявшие рядом почтительно говорили шепотом, а ты, милая Уна, — рыдая и задыхаясь.

Потом меня обрядили и положили в гроб. Этим занимались три или четыре темные фигуры, озабоченно сновавшие туда и сюда. Когда они пересекали линию моего прямого взгляда, они воспринимались мною как формы, но едва они оказывались на краю моего поля зрения, их образы наполняли меня отголосками криков, стонов и прочих зловещих выражений страха, ужаса и горя. Ты одна, одетая в белое, двигалась во всех направлениях музыкально.

День угасал; и по мере того как его свет слабел, мною стало овладевать смутное беспокойство — тревога, которую испытывает спящий, когда печальные звуки реальности настойчиво тревожат его слух. Мне слышался мерный, отдаленный, негромкий звон, похожий на колокольный, — торжественный, с длинными паузами. Он смешивался с какими-то меланхолическими грезами. Наступила ночь, и мною овладела тягостная тревога. Ясно ощутимая, она давила на мое тело, как некий обременительный груз. Временами слышался также звук, подобный стону или отдаленному рокоту прибоя. Он появился с началом сумерек и продолжал усиливаться по мере того, как стужалась тьма.

Внезапно в комнату внесли свечи, и этот рокот, ненадолго прервавшись, возник снова в виде частых, но неравномерных вспышек того же звука, но не столь угрюмого и менее отчетливого. Тревога и ощущение тяжести отступили, в мой слух беспрерывно вливалась волна монотонной мелодии, исходившей от каждого источника света. Когда же ты, милая Уна, приблизившись к ложу, на котором я был распростерт, тихонько села рядом, а твои уста, прижимаясь к моему лбу, источали благоухание, в груди моей трепетно пробудилось, смешавшись с чисто физическими ощущениями, вызванными во мне

окружающим, нечто родственное самому чувству — полупризнание, полуотклик на твою искреннюю любовь и скорбь. Но это чувство не задержалось в неподвижном сердце и, право, казалось скорее тенью, чем реальностью. Возможно, поэтому оно быстро поблекло, вначале став полным бесчувствием, а затем — чисто физической отрадой, как и прежде.

И тогда из обломков и хаоса обычных чувств во мне возникло некое шестое чувство, более совершенное. В нем, в его проявлениях я обрел безумный восторг — но восторг все еще физический, ибо там еще не было места пониманию. Движение в моем теле полностью прекратилось. Не сокращалась ни одна мышца; не напрягался ни один нерв; не трепетала ни одна артерия. Но в мозгу как бы всплыло то, о чем никакие слова не могут дать человеческому разуму хотя бы смутное представление. Я бы назвал это смутной пульсацией ума, подобной колебаниям маятника, внутренним воплощением абстрактной идеи Времени, доступной человеку. Путем абсолютного выравнивания этого движения — или чего-то подобного — были установлены циклы небесных орбит. С его помощью я определил ошибку времени на часах, стоявших на каминной полке, а также на часах, принадлежавших тем, кто присутствовал. Их тиканье гулко отдавалось у меня в ушах. Малейшее отклонение от единственно верной меры — а этим отклонениям не было числа — действовало на меня так же, как на земле поправление высоких истин должно воздействовать на нравственное чувство. И это острое, совершенное, самодовлеющее чувство протяженности во времени, которое ни один из живущих на земле не в силах себе представить, это чувство, существующее независимо от какого-либо чередования событий как некая идея, это шестое чувство, родившееся из праха остальных, и было первым шагом вневременной души на пороге Вечности.

Была полночь, и ты все еще сидела рядом. Все прочие удалились из комнаты. Меня положили в гроб. Свечи теперь горели неверным светом — это я определил по звуку их пламени. Внезапно отчетливость и сила этих звуков стала убывать. Наконец они умолкли. Исчезли все запахи. Зрение больше не отражало никаких форм. Тяжесть перестала давить мне на грудь. Тупой удар, похожий на электрический, пронизал мое тело, после чего полностью исчезло даже представление об осязании. Все, что человек называет чувствами,

смешалось воедино в сознании существования, единственном оставшемся, и в непреходящем ощущении протяженности во времени. Смертное тело было, наконец, поражено рукой посмертного распада.

Но еще не вся восприимчивость исчезла, летаргическое наитие оставило мне кое-что, совсем небольшое. Я мог осознать зловещую перемену, совершившуюся в моем теле, и как спящий иногда осознает присутствие того, кто склоняется над ним, так и я, о моя Уна, все еще смутно чувствовал тебя рядом со мной. И когда наступил полдень второго дня, я каким-то образом еще сознавал то, что разлучило тебя со мной, то, что замкнуло меня в гробу, поместило на катафалк, доставило меня к могиле, опустило туда, засыпало тяжелой сырой землей и покинуло среди тьмы и гниения для сурового и скорбного сна.

Там, в этой темнице, скрывающей так мало тайн, проносились дни, недели, месяцы; и душа пристально следила за каждой мимолетной секундой и без усилия отмечала ее бег — без усилия, но и без цели.

Прошел год. Сознание бытия с каждым часом становилось менее явственным и постепенно замещалось всего лишь сознанием положения в пространстве. Идея сущности сливалась с идеей места. Узкое пространство, вплотную окружавшее то, что было телом, теперь стало самым телом. Наконец, как часто случается на земле с погруженным в глубокий сон (лишь посредством сна и мира снов можно описать Смерть), когда какой-нибудь промелькнувший свет отчасти пробуждает его, но оставляет наполовину погруженным в сновидение, так и мне, заключенному в суровые объятия Смертной Тени, явился свет, который один был в силах тронуть меня, — свет моей непреходящей Любви. Над могилой, где я лежал во мраке, копошились какие-то люди, разбрасывая влажную землю. И вот на мои истлевающие кости опустился гроб моей милой Уны.

И вновь все опустело, призрачный свет погас. Слабое трепетание заглохло. Протекли многие десятилетия. Прах вернулся к праху. Не стало пищи у червей. Чувство того, что я есть, наконец ушло, и взамен ему — взамен всему — воцарились царственные и вечные властители — Место и Время. И для того, чего уже не было, для того, что не имело формы, для того, что не имело ни единой мысли, для того, что не испытывало ощущений, для того, что было бездушно и в то же

время нематериально, — для всего этого бессмертного Ничто могила еще оставалась обиталищем, а часы распада — братьями...

Разговор между Эйрос и Хармионой[211]

Я принесу тебе огонь.

Эврипид. Андромаха

Эйрос. Почему ты зовешь меня Эйрос?

Хармиона. Так отныне ты будешь зваться всегда. И ты должна забыть мое земное имя. Зови меня Хармиона.

Эйрос. Значит, это действительно не сон?

Хармиона. Для нас нет больше снов. Но об этих тайнах речь впереди. Я рада, что тебе удалось сохранить подобие жизни и разум. Завеса тени уже упала с твоих глаз. Будь мужественна и ничего не бойся. Назначенные тебе дни оцепенения миновали, и завтра я сама посвящу тебя во все радости и чудеса твоего нового существования.

Эйрос. Это правда — я больше не чувствую оцепенения. Странное недомогание и тьма покинули меня, я больше не слышу того безумного, стремительного, ужасного гула, подобного гулу исполинского водопада. Но чувства мои в смятении, Хармиона, от остроты восприятия нового.

Хармиона. Через несколько дней это пройдет. Но я вполне понимаю тебя и сочувствую тебе. Уже десять земных лет прошло с тех пор, как я испытала то, что испытываешь сейчас ты, но воспоминания об этом все еще не покидают меня. Все страдания, уготованные тебе в Эдеме, уже позади.

Эйрос. В Эдеме?

Хармиона. В Эдеме.

Эйрос. О боже! Пощади меня, Хармиона! Меня подавляет величие всего этого: неизвестного, ставшего известным, и грядущего, слившегося с достоверным и могущественным настоящим.

Хармиона. Не пытайся найти ответы на эти вопросы. Мы будем говорить об этом завтра. Твой ум все еще колеблется, но его волнение уляжется, если ты вернешься к простым воспоминаниям. Не смотри ни вокруг, ни вперед — только назад. Но я горю от нетерпения услышать подробности о том грандиозном событии, что привело тебя к нам.

Поведай же о нем. Побеседуем о привычных вещах на старом языке мира, погибшего столь ужасно.

Эйрос. О, ужасно, ужасно! Но ведь это действительно не сон?

Хармиона. Снов больше нет. Скажи, Эйрос, меня оплакивали?

Эйрос. Оплакивали, Хармиона? Неописуемо горько. До самого последнего часа над твоими близкими, подобно туче, тяготело безысходное горе и неотступная печаль.

Хармиона. А этот последний час — расскажи о нем! Ведь я, помимо краткого известия о свершившейся катастрофе, ничего не знаю. Когда, покинув людей, я прошла через могилу в Ночь — в ту пору бедствий, подобных тем, что постигли вас, никто не ожидал. Впрочем, я мало знала о предсказаниях ученых и философов тех дней.

Эйрос. Как ты уже сказала, бедствия, постигшего нас, не ждали; но подобные катастрофы на протяжении долгого времени служили для астрономов предметом обсуждения. Вряд ли стоит говорить тебе, друг мой, что даже тогда, когда ты нас покинула, люди истолковали те места из наших священных писаний, где повествуется об окончательной гибели всего сущего от огня, как относящиеся лишь к земному шару. Но в отношении того, что станет непосредственной причиной гибели, не было никаких мнений с той поры, как астрономы перестали считать, что кометы способны уничтожить нас огнем, и убедились в ничтожной плотности этих небесных тел. Наблюдения показали, что они проносятся между спутников Юпитера, не вызывая ни малейших изменений в орбитах этих второстепенных планет. Мы давно смотрели на этих небесных скитальцев как на крайне разреженные газообразные скопления, неспособные причинить вред нашему массивному земному шару даже в случае столкновения. Но и столкновения мы не опасались, ибо орбиты всех комет были досконально изучены. И то, что среди них может оказаться носитель огненной смерти, много лет считалось смехотворной выдумкой. Но в последнее время всевозможные причудливые фантазии и вера в чудеса широко распространились по свету. Предчувствие грядущей катастрофы нашло благодатную почву лишь в среде людей необразованных, но после того, как астрономы объявили об открытии новой кометы, эта весть была воспринята всеми со смутной тревогой и недоверием[212].

Элементы орбиты этого странного небесного тела были немедленно вычислены, и все наблюдатели признали, что его

прохождение через перигелий приведет его в тесное соседство с Землей. Нашлись также несколько астрономов, категорически утверждавших, что столкновение двух небесных тел неизбежно. Я не могу достоверно передать тебе впечатление, которое это сообщение произвело на толпу. В течение нескольких дней никто не хотел верить в то, чего не мог принять разум, постоянно погруженный в повседневное и обыденное. Но правда о вещах жизненно важных быстро находит путь даже к самым закосневшим умам. В конце концов все убедились, что астрономия не лжет, и принялись ждать комету. Ее приближение на первых порах не выглядело слишком стремительным; да и облик ее ничем не поражал воображение. Она выглядела как тускло-красное туманное пятнышко с едва видимым хвостом. В течение семи или восьми дней ее диаметр почти не увеличивался, и лишь цвет хвоста слегка менялся. Между тем люди забросили повседневные дела; всеобщий интерес был направлен исключительно на обсуждение природы кометы, начало которому положили те, кому был не чужд философский склад ума. Даже полные невежды напрягали свои скудные умственные способности, рассуждая о комете. Теперь ученые больше не тратили времени на то, чтобы рассеять опасения или отстоять собственную теорию. Выбиваясь из сил, они искали истину и мучительно добивались точности. И наконец истина явилась во всем своем беспредельном величии, и мудрые благоговейно склонились перед ней.

Мнение, будто земному шару и его обитателям будет нанесен серьезный ущерб от предполагаемого соприкосновения с кометой, с каждым часом теряло сторонников среди мудрых — тех, кто теперь властвовал над разумом и фантазией толпы. Было доказано, что плотность ядра новой кометы значительно ниже плотности самого разреженного из наших газов; астрономы снова и снова подчеркивали факт прохождения подобного небесного гостя среди спутников Юпитера, не имевший никаких последствий, и это способствовало уменьшению паники. Богословы же с рвением, вызванным страхом, обращались к библейским пророчествам и толковали их с такой прямолинейностью и простотой, какой прежде избегали. Представление о том, что Земле предназначена окончательная гибель от огня, внедрялось с настойчивостью, убеждавшей всех, а тот факт, что кометы состоят не из пламени (об этом к тому времени знали все),

значительно ослабил всеобщее напряжение и отодвинул на задний план предчувствие беды. Даже обычные суеверия и заблуждения простонародья относительно эпидемий и войн, предвестием которых служит появление новой кометы, угасли. Разум как бы неким судорожным усилием низверг темные суеверия с их престола, и даже слабый и неопытный рассудок черпал силы в обостренной любознательности.

Однако о некоторых неприятностях, которые могут последовать за столкновением с небесным телом, говорилось тщательно и подробно. Ученые рассуждали о незначительных геологических сдвигах, о возможных изменениях климата, а значит, и растительного покрова, о вероятных магнитных и электрических феноменах. Многие утверждали, что никакого видимого или ощутимого воздействия встреча Земли с кометой не произведет. Но пока все эти дискуссии шли своим чередом, предмет обсуждения постепенно приближался, становясь все лучше видимым в диаметре, а его яркость и блеск постепенно усиливались. И по мере приближения кометы возрастала тревога человечества. Все обычные дела приостановились.

Настало время, когда комета наконец достигла такой величины на небосклоне, что превзошла размеры всех ранее наблюдавшихся блуждающих небесных тел. Теперь люди, отбросив всякую надежду на ошибку астрономов, убедились, что беда неотвратима. Ужас утратил свою призрачность. И сердца даже самых отважных бешено застучали. Нескольких дней оказалось достаточно, чтобы превратить эти ощущения в чувства еще более непереносимые. Мы не могли более подходить к неведомой комете с какими-либо привычными мерками. Всякие исторические признаки исчезли. Она мучила нас ужасающей новизной внушаемых ею чувств. Каждый видел в ней не астрономический феномен, но сумрачную угрозу, недоступную разуму. С невероятной стремительностью она превратилась в гигантскую мантию разреженного пламени, распростершуюся от горизонта до горизонта.

Но прошел еще день, и люди вздохнули свободнее. Стало ясно, что мы уже находимся в сфере влияния кометы, но по-прежнему живем. Мы даже чувствовали необыкновенную энергию в теле и редкую живость ума. Стала очевидной крайняя разреженность кометы, так ужасавшей нас: сквозь нее были ясно видны все небесные тела. Тем временем растительность Земли в считанные дни заметно изменилась; и это ранее предсказанное обстоятельство заставило нас уверовать в прозорливость мудрецов. Буйная листва, более роскошная, чем когда-либо, покрыла каждое растение.

Наступил новый день — а зло так и не постигло нас. Теперь стало очевидно, что первым Земли коснется ядро кометы. Между тем и для людей все невероятно изменилось; и первые же признаки боли послужили сигналом для нового всплеска всеобщего страха. Эту боль вызывало резкое стеснение грудной клетки и легких и невыносимая сухость кожи. Теперь уже нельзя было отрицать, что наша атмосфера загрязнена; начались споры о составе атмосферы и о допустимых изменениях в ней. Итоги этих исследований проникли в каждое сердце, как электрическая искра глубочайшего ужаса.

Было давно известно, что окружающий нас воздух состоит из смеси кислорода и азота в пропорции двадцать один к семидесяти девяти на каждую единицу объема. Кислород, поддерживающий горение и служащий проводником тепла, был, безусловно, необходим для поддержания жизни в природе. Азот же, наоборот, неспособен

поддерживать ни физическую жизнь, ни пламя. Было установлено, что избыток кислорода должен был выразиться как раз в таком повышении телесной живости, какую мы испытали совсем недавно. Логическое развитие этой мысли — вот что породило волну чудовищного страха. Что может стать следствием полного замещения азота в атмосфере кислородом? Воспламенение от малейшей искры — неудержимое, всепожирающее, мгновенное. Иначе говоря — полное осуществление во всех страшных подробностях тех мрачных пророчеств, которыми полно Священное Писание.

Стоит ли описывать, Хармиона, безумие, охватившее человечество, лишившееся всяких уз? Разреженность кометы, которая сперва внушила нам надежду, стала теперь источником самого горчайшего отчаяния. В ее неосязаемой газообразности ясно читалось свершение Судьбы. Между тем прошел еще день, и он унес с собой последний отблеск надежды. Мы задыхались в быстро менявшемся воздухе. Алая кровь бурно неслась и билась в своих тесных сосудах. Исступленный бред охватил всех людей; и они, судорожно простирая руки к грозным небесам, пронзительно кричали, охваченные трепетом. И тогда на нас надвинулось ядро кометы-разрушительницы...

Даже здесь, в Эдеме, я содрогаюсь, говоря об этом. Поэтому позволь мне быть краткой — такой же краткой, как и постигшая нас гибель. В течение какого-то мгновения в небесах полыхнул зловещий, яростный свет, который, казалось, пронизывал все насквозь. А затем — позволь мне, Хармиона, склониться перед бесконечным величием Всемогущего! — затем раздался громовой удар, звук, наполнивший собой все и словно исходящий из Его уст. Вся масса атмосферы, в которой мы существовали, в один миг вспыхнула тем пламенем, чьей яркости и невиданному жару нет наименования даже у ангелов, витающих в горних пределах чистого знания.

Так завершилось все.

Могущество слов

Ойнос. Прости мне, Агатос, слабость духа, лишь недавно окрыленного бессмертием!

Агатос. Тебе не за что просить прощения, милый Ойнос. Знание и здесь не дается наитием. Что касается мудрости, то смело проси о ней ангелов, она может быть тебе дана!

Ойнос. А я-то полагал, что в этой жизни разом познаю все и буду счастлив этим знанием.

Агатос. О, счастье заключается не в познании, а в приобретении знания! В вечном познании — вечное блаженство; но знать все — адская мука.

Ойнос. Но разве Всевышний не знает всего?

Агатос. Это единственная вещь, неведомая даже Ему.

Ойнос. Но ежечасно приобретая познания, не познаем ли мы, в конце концов, все?

Агатос. Взгляни в эти бездонные пространства! Постарайся проникнуть взором в эти сонмы звезд, пока мы медленно скользим среди них. Даже духовное зрение останавливается перед золотой преградой Вселенной, перед несчетным множеством светил. Они сливаются для взора в единое целое лишь благодаря своей бесчисленности.

Ойнос. Теперь я вижу ясно, что бесконечность материи — не сон.

Агатос. В Эдеме нет снов, но тайный голос говорит, что единственная цель всей этой бесконечной материи — служить неиссякаемым источником, в котором душа могла бы утолять жажду знания, жажду неутолимую, потому что утолить ее — значит истребить самую душу. Спрашивай же, Ойнос, обо всем, свободно и без боязни. Смотри! Мы оставляем слева величавое созвездие Плеяд и устремляемся в сияющие звездные луга за Орионом, где вместо фиалок и анютиных глазок цветут содружества тройных трехцветных солнц.

Ойнос. А теперь, Агатос, пока мы стремимся вперед, наставь меня! Объясни мне земным языком! Я не понял твоих слов об образе и путях осуществления того, что в земной жизни мы привычно называем Творением. Имел ли ты в виду, что Творец — не Бог?

Агатос. Я хотел сказать, что божество не созидает.

Ойнос. Я не понимаю!

Агатос. Лишь в самом начале начал оно созидало. А те мнимые создания, которые беспрестанно возникают во Вселенной, есть лишь опосредованное или косвенное, а не прямое следствие творческой воли божества.

Ойнос. Люди, любезный Агатос, сочли бы эту мысль крайне еретической.

Агатос. Зато ангелы, Ойнос, считают ее истиной.

Ойнос. Может быть, ты хотел сказать, что то, что мы называем Природой или законами Природы, может, при некоторых условиях, привести к результатам, имеющим вид созидания. Я хорошо помню, как незадолго до окончательной гибели Земли учеными были проведены успешные опыты по созданию микроскопических существ. Именно так называли их некоторые простодушные естествоиспытатели.

Агатос. Опыты, о которых ты говоришь, обычный случай вторичного творения — того единственного способа творения, который возможен во Вселенной с тех пор, как первое Слово вызвало к жизни первый Закон.

Ойнос. А как же эти звездные миры, которые, возникая из бездны небытия, ежечасно вспыхивают на небесах? Разве эти звезды, Агатос, не являются непосредственным творением Всемогущего?

Агатос. Я попытаюсь, милый Ойнос, шаг за шагом привести тебя к тому, что все это означает. Ты хорошо знаешь, что точно так же, как ни одна мысль не может исчезнуть бесследно, так и любое действие приводит к неисчислимому количеству последствий. Например, шевеля рукой, ты, когда был жителем Земли, возбуждал слабые колебания в окружающем воздухе. Колебания эти распространялись и передавались каждой частице земной атмосферы, которая с тех пор и навсегда была приведена в движение единственным движением руки. Земным математикам хорошо известно это явление. Они так точно вычислили действия, производимые в жидкостях или газах приложением внешних сил, что смогли определить, в какое время толчок определенной силы распространится и приведет в движение каждый атом атмосферного воздуха. И наоборот — по состоянию атомов они способны определить силу первоначального толчка. Осознав, что последствия каждого действия силы бесконечны, что часть этих последствий может быть точно вычислена с помощью математического анализа и что обратное вычисление также удастся произвести без труда, математики поняли, что такой род анализа сам по себе способен к бесконечному совершенствованию, а его приложения ограничены только пределами разума. Но на этом они и остановились.

Ойнос. Но почему же, Агатос, они не решились идти дальше?

Агатос. Потому что далее возникли глубочайшие вопросы. Из всего, что знали ученые, можно было сделать вывод, что существо с бесконечным пониманием, существо, которому открыт математический анализ во всей его полноте, без труда могло бы проследить каждый толчок, сообщенный воздуху — и межзвездному эфиру через посредство воздуха — до его отдаленнейших последствий в любой, пусть и бесконечно отдаленный отрезок времени. Ясно, что каждый подобный толчок должен, в конце концов, воздействовать на каждое отдельное существо, находящееся в пределах Вселенной. Значит, существо с бесконечным пониманием, которое мы себе представили, могло бы проследить самые отдаленные изменения, вызванные этим толчком, в том числе и превращения старых форм в иные, до тех пор пока они не угаснут, отразившись от престола божества. Не только такие вычисления доступны для нашего существа: оно может в любое время по любому следствию — например, по размерам орбиты и скорости движения одной из бесчисленных комет — определить силу первоначального толчка, вызвавшего это следствие. Такая способность к обратным вычислениям во всей их полноте и совершенстве, способность сопоставить все ныне существующие вещи и их действия со всеми причинами, их порождающими, — преимущество, которым обладает только божество. Но до известной степени оно присуще и всему сонму ангелов.

Ойнос. Но ведь ты говоришь только о толчках, сообщенных воздуху!

Агатос. Говоря о воздухе, я имел в виду только Землю; но в целом все это относится и к толчкам, сообщенным эфиру, который один заполняет все пространство Вселенной, являясь таким образом истинной средой творения.

Ойнос. Значит, всякое движение, каким бы оно ни было, созидает?

Агатос. По крайней мере, так должно быть, но истинная философия давно установила, что источник всякого движения — мысль, а источник всякой мысли...

Ойнос. Бог!

Агатос. Ведь я говорил тебе, Ойнос, сыну прекрасной, но недавно погибшей Земли, о движениях в земной атмосфере?

Ойнос. Верно.

Агатос. А пока я это говорил, не мелькнула ли в твоём уме мысль о физическом могуществе слов? Разве каждое слово не является силой, воздействующей на воздух?

Ойнос. Но почему я вижу слезы на твоих глазах, Агатос? И почему твои крылья опускаются и слабеют, когда мы парим над этой прекрасной звездой — самой зеленой и самой яростной из всех, что мы встретили в нашем полете? Ее краски подобны волшебным грезам, но ее неистовое полыхание напоминает о страстях мятежного сердца!

Агатос. О, как ты угадал!.. Эта безумная звезда... Триста лет назад я, у ног моей возлюбленной, до боли стиснув руки, с глазами, полными слез и мольбы, вызвал это светило к жизни несколькими страстными словами! Я сам сотворил его, и этот неистовый блеск — мои невоплотившиеся мечты, а эта могучая энергия — не что иное, как страсти самого оскорбленного и мятежного из отвергнутых сердец!

Ворон

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,
Над старинными томами я склонялся в полусне,
Грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался,
Будто кто-то постучался — постучался в дверь ко мне.
«Это, верно, — прошептал я, — гость в полночной тишине,
Гость стучится в дверь ко мне».

Ясно помню... Ожиданья... Поздней осени рыданья...

И в камине очертанья тускло тлеющих углей...

О, как жаждал я рассвета, как я тщетно ждал ответа
На страданье, без привета, на вопрос о ней, о ней —
О Леноре, что блистала ярче всех земных огней,
О светиле прежних дней.

И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,
Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне.

Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:

«Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,
Поздний гость приюта просит в полуночной тишине —
Гость стучится в дверь ко мне».

подавив свои сомненья, победивши опасенья,

Я сказал: «Не осудите замедленья моего!

Этой полночью ненастной я вздремнул, — и стук неясный

Слишком тих был, стук неясный, — и не слышал я его,
Я не слышал...» Тут раскрыл я дверь жилища моего:
Тьма — и больше ничего.
Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный,
Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;
Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,
Лишь — «Ленора!» — прозвучало имя солнца моего, —
Это я шепнул, и эхо повторило вновь его, —
Эхо — больше ничего.
Вновь я в комнату вернулся — обернулся — содрогнулся, —
Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того.
«Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось,
Там, за ставнями, забилося у окошка моего,
Это — ветер, — усмирю я трепет сердца моего, —
Ветер — больше ничего».
Я толкнул окно с решеткой, — тотчас важною походкой
Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней,
Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво,
И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей,
Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей,
Он взлетел — и сел над ней.
От печали я очнулся и невольно усмехнулся,
Видя важность этой птицы, жившей долгие года.
«Твой хохол оципан славно и глядишь ты презабавно, —
Я промолвил, — но скажи мне: в царстве тьмы, где ночь всегда,
Как ты звался, гордый Ворон, там, где ночь царит всегда?»
Молвил Ворон: «Никогда».
Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало,
Подивился я всем сердцем на ответ ее тогда.
Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится,
Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь, когда —
Сел над дверью говорящий без запинки, без труда
Ворон с кличкой: «Никогда».
И взирая так сурово, лишь одно твердил он слово,
Точно всю он душу вылил в этом слове «Никогда»,
И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он,
Я шепнул: «Друзья сокрылись вот уж многие года,

Завтра он меня покинет, как надежды, навсегда».

Ворон молвил: «Никогда».

Услышав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной,
«Верно, был он, — я подумал, — у того, чья жизнь — Беда,
У страдальца, чьи мученья возрастали, как течение
Рек весной, чье отречение от Надежды навсегда
В песне вылилось о счастье, что, погибнув навсегда,
Вновь не вспыхнет никогда».

Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая,
Кресло я свое придвинул против Ворона тогда,
И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной
Отдался душой мятежной: «Это — Ворон, Ворон, да.
Но о чем твердит зловещий этим черным “Никогда”,
Страшным криком “Никогда”».

Я сидел, догадок полный и задумчиво-безмолвный,
Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда,
И с печалью запоздалой головой своей усталой
Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда:
Я — один, на бархат алый — та, кого любил всегда,
Не прильнет уж никогда.

Но постой: вокруг темнеет, и как будто кто-то веет, —
То с кадилъницей небесной серафим пришел сюда?
В миг неясный упоенья я вскричал: «Прости, мученье,
Это Бог послал забвенье о Леноре навсегда, —
Пей, о, пей скорее забвенье о Леноре навсегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда».

И вскричал я в скорби страстной: «Птица ты — иль дух ужасный,
Искусителем ли послан, иль грозой прибит сюда, —
Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый,
В край, Тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда!
О, скажи, найду ль забвенье, — я молю, скажи, когда?»
Каркнул Ворон: «Никогда».

«Ты пророк, — вскричал я, — вещий! Птица ты — иль дух
зловещий,

Этим небом, что над нами — Богом, скрытым навсегда, —
Заклинаю, умоляя, мне сказать, — в пределах Рая
Мне откроется ль святая, что средь ангелов всегда,

Та, которую Ленорой в небесах зовут всегда?»
Каркнул Ворон: «Никогда».
И воскликнул я, вставая: «Прочь отсюда, птица злая!
Ты из царства тьмы и бури, — уходи опять туда,
Не хочу я лжи позорной, лжи, как эти перья, черной,
Удались же, дух упорный! Быть хочу — один всегда!
Вынь свой жесткий клюв из сердца моего, где скорбь — всегда!»
Каркнул Ворон: «Никогда».
И сидит, сидит зловещий, Ворон черный, Ворон вещий,
С бюста бледного Паллады не умчится никуда,
Он глядит, уединенный, точно Демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, — на полу дрожит всегда,
И душа моя из тени, что волнуется всегда,
Не восстанет — никогда!

Улялюм

Небеса были серого цвета,
Были сухи и скорбны листы,
Были сжаты и смяты листы,
За огнем отгоревшего лета
Ночь пришла, сон глухой черноты,
Близ туманного озера Обер,
Там, где сходятся ведьмы на пир,
Где лесной заколдованный мир,
Возле дымного озера Обер,
В зачарованной области Вир.
Там однажды, в аллее Титанов,
Я с моею Душою блуждал,
Я с Психеей, с Душою блуждал.
В эти дни трепетанья вулканов
Я сердечным огнем побеждал,
Я спешил, я горел, я блистал, —
Точно серные токи на Яник,
Бороздящие горный оплот,
Возле полюса, токи, что Яник
Покидают, струясь от высот.
Мы менялись лаской привета,

Но в глазах затаилась мгла,
Наша память неверной была,
Мы забыли, что умерло лето,
Что октябрьская полночь пришла,
Мы забыли, что осень пришла,
И не вспомнили озеро Обер,
Где открылся нам некогда мир,
Это дымное озеро Обер,
И излюбленный ведьмами Вир.
Но когда уже ночь постарела,
И на звездных небесных часах
Был намек на рассвет в небесах, —
Что-то облачным сном забелело
Перед нами, в неясных лучах,
И внезапно предстал серебристый
Полумесяц, двурогой чертой,
Полумесяц Астарты лучистый,
Очевидный двойной красотой.
Я промолвил: «Астарта нежнее
И теплей, чем Диана, она —
В царстве вздохов, и вздохов полна:
Увидав, что, в тоске не слабея,
Здесь душа затомилась одна, —
Чрез созвездие Льва проникая,
Показала она в облаках
Путь к забвенной тиши в небесах,
И чело перед Львом не склоняя,
С нежной лаской в горящих глазах,
Над берлогою Льва возникая,
Засветилась для нас в небесах».
Но Психея, свой перст поднимая,
«Я не верю, — промолвила, — в сны
Этой бледной богини Весны.
О, не медли, — в ней бледность больная!
О, бежим! Поспешим! Мы должны!»
И в испуге, в истоме бессилья,
Не хотела, чтоб дальше мы шли,

И ее ослабевшие крылья
Опускались до самой земли —
И влачили, влачили в пыли.
Я ответил: «То страх лишь напрасный,
Устремимся на трепетный свет,
В нем кристальность, обмана в нем нет,
Сибиллически-ярко-прекрасный,
В нем Надежды манящий привет,
Он сквозь ночь нам роняет свой след,
О, уверуем в это сиянье,
Так зовет оно вкрадчиво к снам,
Так правдивы его обещанья
Быть звездой путеводною нам,
Быть призывом, сквозь ночь, к Небесам!»
Так ласкал, утешал я Психею
Толкованием звездных судеб,
Зоркий страх в ней утих и ослеп.
И прошли до конца мы аллею,
И внезапно увидели склеп,
С круговым начертанием склеп.
«Что гласит эта надпись?» — сказал я,
И как ветра осеннего шум,
Этот вздох, этот стон услышал я:
«Ты не знал? Улялюм — Улялюм —
Здесь могила твоей Улялюм».
И сраженный словами ответа,
Задрожав, как на ветке листы,
Как сухие под ветром листы,
Я вскричал: «Значит, умерло лето,
Это осень и сон черноты,
Небеса потемневшего цвета.
Ровно — год, как на кладбище лета
Я здесь ночью октябрьской блуждал,
Я здесь с ношею мертвой блуждал.
Эта ночь была ночь без просвета,
Самый год в эту ночь умирал, —
Что за демон сюда нас зазвал?

О, я знаю теперь, это — Обер,
О, я знаю теперь, это — Вир,
Это — дымное озеро Обер
И излюбленный ведьмами Вир».

Линор

О, сломан кубок золотой! душа ушла навек!
Скорби о той, чей дух святой — среди Стигийских рек.
Гюи де Вир! Где весь твой мир? Склони свой темный взор:
Там гроб стоит, в гробу лежит твоя любовь, Линор!
Пусть горький голос панихид для всех звучит бедой,
Пусть слышим мы, как нам псалмы поют в тоске святой,
О той, что дважды умерла, скончавшись молодой.
«Лжецы! Вы были перед ней — двуликий хор теней.
И над больной ваш дух ночной шепнул: умри скорей!
Так как же может гимн скорбеть и стройно петь о той,
Кто вашим глазом был убит и вашей клеветой,
О той, что дважды умерла, невинно-молодой?»
Рессавитус; но не тревожь напева похорон,
Чтоб дух отшедший той мольбой с землей был примирен.
Она невестою была, и Радость в ней жила,
Надев несвадебный убор, твоя Линор ушла.
И ты безумствуешь в тоске, твой дух скорбит о ней,
И свет волос ее горит, как бы огонь лучей,
Сияет жизнь ее волос, но не ее очей.
«Подите прочь! В моей душе ни тьмы, ни скорби нет.
Не панихиду я пою, а песню лучших лет!
Пусть не звучит протяжный звон угрюмых похорон,
Чтоб не был светлый дух ее тем сумраком смущен.
От вражьих полчищ гордый дух, уйдя к друзьям, исчез,
Из бездны темных Адских зол в высокий мир Чудес,
Где золотой горит престол Властителя Небес».

Заколдованный замок

В самой зеленой из наших долин,
Где обиталище духов добра,
Некогда замок стоял властелин,

Кажется, высился только вчера.
Там он вздымался, где Ум молодой
Был самодержцем своим.
Нет, никогда над такой красотой
Не раскрывал своих крыл серафим!
Бились знамена, горя, как огни,
Как золотое сверкая руно.
(Все это было — в минувшие дни,
Все это было давно.)
Полный воздушных своих перемен,
В нежном сиянии дня,
Ветер душистый вдоль призрачных стен
Вился, крылатый, чуть слышно звеня.
Путники, странствуя в области той,
Видели в два огневые окна
Духов, идущих певучей четой,
Духов, которым звучала струна,
Вкруг того трона, где высился он,
Багрянородный герой,
Славой, достойной его, окружен,
Царь над волшебною этой страной,
Вся в жемчугах и рубинах была
Пышная дверь золотого дворца,
В дверь все плыла и плыла и плыла,
Искрясь, горя без конца,
Армия Откликов, долг чей святой
Был только — славить его,
Петь, с поражающей слух красотой,
Мудрость и силу царя своего.
Но злые создания, в одеждах печали,
Напали на дивную область царя.
(О, плачьте, о, плачьте! Над тем, кто в опале,
Ни завтра, ни после не вспыхнет заря!)
И вкруг его дома та слава, что прежде
Жила и цвела в обаянии лучей,
Живет лишь как стон панихиды надежде,
Как память едва вспоминаемых дней.

И путники видят, в том крае туманном,
Сквозь окна, залитые красною мглой,
Огромные формы, в движении странном,
Диктуемом дико звучащей струной.
Меж тем как, противные, быстрой рекою,
Сквозь бледную дверь, за которой Беда,
Выносятся тени и шумной толпою,
Забывши улыбку, хохочут всегда.

Аннабель-Ли

Это было давно, это было давно,
В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
Называлась Аннабель-Ли,
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим мы жить и могли.
И, любовью дыша, были оба детьми
В королевстве приморской земли,
Но любили мы больше, чем любят в любви, —
Я и нежная Аннабель-Ли,
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.
Оттого и случилось когда-то давно,
В королевстве приморской земли, —
С неба ветер повеял холодный из туч,
Он повеял на Аннабель-Ли;
И родные толпой многознатной сошлись,
И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг,
В королевстве приморской земли.
Половины такого блаженства узнать
Серафимы в раю не могли, —
Оттого и случилось (как ведомо всем
В королевстве приморской земли), —
Ветер ночью повеял холодный из туч
И убил мою Аннабель-Ли.
Но, любя, мы любили сильнее и полней

Тех, что старости бремя несли, —
Тех, что мудростью нас превзошли, —
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
Обольстительной Аннабель-Ли.
И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель-Ли;
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель-Ли;
И в мерцаньи ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной — с невестой — с любовью моей —
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.

1

Треугольный парус между мачтами или впереди фок-мачты (ниже кливера). (Здесь и далее примеч. ред., если не указано иное.) note_1

2

Металлические полосы, стержни или цепи, проходящие снаружи борта парусного судна и прочно скрепленные с набором и обшивкой. note_2

3

Курс парусного судна при встречно-боковом ветре, когда угол между продольной осью судна и направлением ветра меньше 90° (8 румбов). note_3

4

Первая, считая от носа к корме, мачта на судне с двумя или более мачтами. note_4

5

Китобойные суда обычно оснащаются железными контейнерами для ворвани. Почему в «Косатке» было по-другому, мне не известно. (Примеч. авт.) note_5

6

Судовая мачта, обычно вторая мачта, считая от носа судна. note_6

7

Косой четырехугольный парус, имеющий форму неправильной трапеции. note_7

8

Косой треугольный или трапециевидный дополнительный парус. note_8

9

Продолжение бортовой обшивки судна выше верхней палубы. note_9

10

Рычаг для подъема и перемещения различных тяжестей, пушек, якорных канатов и проч. note_10

11

Прямой парус, ставящийся на фор-марса-рее. note_11

12

Отверстия в палубе или фальшборте для удаления воды. note_12

13

Наклонная верхняя часть кормовой оконечности корпуса судна, выступающая за ахтерштевень. note_13

14

Деревянное или железное гнездо, в которое вставляется мачта своим шпором. note_14

15

Выступающий за форштевень судна горизонтальный или наклонный брус. note_15

16

Палубный механизм лебедочного типа. note_16

17

Рангоутное дерево, первое удлинение нижних мачт. note_17

18

Пристрастие к кубку (*лат.*). note_18

19

Шхуна, оснащенная на первой мачте, помимо косого паруса, несколькими прямыми. note_19

20

Прямой парус на фор-брам-стеннге над фор-марселем. note_20

21

Здесь весьма уместно упомянуть случай с бригом «Полли» из Бостона, в судьбе которого так много удивительных совпадений с нашей, что я не могу умолчать об этом. 12 декабря 1811 года это судно грузоподъемностью сто тридцать тонн под командованием капитана Касно вышло из Бостона с грузом леса и съестных припасов в Санта-Крус. Кроме капитана на борту находились восемь душ: его помощник, четыре матроса, кок, а также некий мистер Хант и принадлежавшая ему молодая негрятка. Пятнадцатого числа, миновав отмель Джорджес, во время налетевшего с юго-востока ветра оно дало течь и вскоре перевернулось, но потом, когда мачты снесло водой за борт, выровнялось. В таком положении, без огня и с мизерным запасом провизии, они провели сто девяносто один день, с пятнадцатого декабря по двадцатое июня, когда капитана Касно и Сэмюеля Бэджера, единственных ставшихся в живых, подобрало судно «Слава» (порт приписки Халл, капитан Фэзерстоун), возвращавшееся из Рио-де-Жанейро. Когда их спасли, они находились на 20° северной широты и 13° западной долготы, пройдя дрейфом две тысячи миль! Девятого июля «Слава» встретила с бригом «Дромеро» капитана

Перкинса, который и высадил двух несчастных в Кеннебеке. Рассказ, из которого мы знаем все эти подробности, заканчивается следующими словами: «Вполне естественно задаваться вопросом: каким образом им удалось проплыть столь огромное расстояние в наиболее часто посещаемой судами части Атлантического океана и все это время оставаться незамеченными? Мимо них проходило более дюжины судов, одно из которых даже приблизилось к ним настолько, что они рассмотрели людей, глядевших на них с палубы, однако, к невыразимому огорчению голодающих и замерзающих жертв кораблекрушения, те презрели все законы сострадания и человечности, подняли парус и безжалостно бросили их на произвол судьбы».

note_21

22

Короткое корабельное орудие. note_22

23

Общее название устройств для подъема и растягивания парусов, он обеспечивает их постановку и удержание в штатном (рабочем) положении. note_23

24

Британская и американская единица измерения расстояния. 1 лига = 3 мили = 24 фурлонга = 4828,032 метра. note_24

25

Первоначальное название, использовавшееся европейскими исследователями и поселенцами для определения острова Тасмания, расположенного к югу от Австралии. note_25

26

Среди кораблей, которые в разное время якобы подходили к Авроре, можно упомянуть судно «Сан-Мигель», побывавшее там в 1769 году, судно «Аврора» — в 1774 году, бриг «Жемчужина» — в 1779 году и корабль «Долорес» — в 1790 году. Все они указывали на то, что острова расположены на 53° южной широты. (Примеч. авт.)

note_26

27

Здесь и далее температура приведена по Фаренгейту. note_27

28

Термины «утро» и «вечер», которые я использую для того, чтобы, насколько возможно, избежать путаницы в своем рассказе, не следует понимать буквально. Уже долгое время у нас вовсе не было ночи и круглые сутки светил дневной свет. Даты указываются в соответствии с морским временем, а местоположение определяется по компасу. Также отмечу здесь, что я не могу ручаться за точность дат, долгот или широт в первой части изложенного, поскольку начал вести постоянный дневник только после событий, описанных в первой части. Во многих случаях мне приходилось полагаться на память (*Примеч. авт.*). note_28

29

Около ста квадратных метров. note_29

30

Этот день запомнился тем, что мы заметили на юге несколько огромных клубов сероватого дыма, о котором я уже как-то упоминал. note_30

31

Мергель тоже был черным, мы вообще не увидели на острове ни одного светлоокрашенного предмета. (*Примеч. авт.*) note_31

32

По очевидным причинам я не могу ручаться за абсолютную точность дат, и приведены они главным образом для того, чтобы читателю было удобнее следить за изложением. (*Примеч. авт.*) note_32

33

Муслин — очень тонкая ткань полотняного переплетения. note_33

34

Пеммикан — мясной пищевой концентрат, который американские индейцы брали с собой в военные походы и охотничьи экспедиции.

Широко использовался полярными исследователями в XIX — первой половине XX века. Обладает очень высокой питательностью при малом объеме и весе. note_34

35

Перигелий — ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела. note_35

36

Котопаху — самый высокий активный вулкан на Земле, вторая по высоте (5911 м) вершина Восточных Кордильер (Эквадор). note_36

37

Афелий — наиболее удаленная от Солнца точка орбиты планеты или иного небесного тела. note_37

38

Зодиакальный свет — слабое свечение, наблюдающееся у горизонта вскоре после захода или перед восходом Солнца. В действительности возникает вследствие рассеяния солнечного света на скоплении частиц пыли, которое лежит в плоскости эклиптики. note_38

39

Эклиптика — плоскость, в которой лежит орбита Земли. note_39

40

Линия апсид — линия, соединяющая перигей и апогей орбиты небесного тела, вращающегося вокруг Земли. note_40

41

Перигей и апогей — ближайшая и наиболее удаленная точки орбиты небесного тела, обращающегося вокруг Земли. note_41

42

Оккультация — затмение одной планеты другой. Происходит, когда ближайшая к Земле планета заслоняет собой другую, более

удаленную, так что та становится полностью или частично невидимой.
note_42

43

Игра ума (*фр.*). note_43

44

Брыжи — гофрированный кружевной воротник, обычно тщательно накрахмаленный. note_44

45

Магнетизм — в середине XIX века так называли явление гипноза и различные попытки его применения. note_45

46

Каверна — полость в легких, образовавшаяся в результате туберкулезного процесса, заполненная распавшимися тканями. note_46

47

Каталепсия — длительное сохранение одной и той же ранее приданной позы, медики иногда называют это состояние «восковой гибкостью». Характеризуется повышенной внушаемостью. note_47

48

Гектические пятна — покраснения кожи лица, шеи и верхней части грудной клетки, возникающие у некоторых людей при интенсивных переживаниях. note_48

49

В высшей степени проявления. (*Примеч. пер.*) note_49

50

Продуманный, тонкий (*фр.*). note_50

51

Странность, причудливость (*фр.*) (*Примеч. пер.*) note_51

52

БЫВШИЙ (лат.) (Примеч. пер.) note_52

53

И ему подобных (лат.) (Примеч. пер.) note_53

54

Шарлатанство (фр.) (Примеч. пер.) note_54

55

Встреча (фр.) (Примеч. пер.) note_55

56

Первая буква уничтожила былое звучание (лат.) (Примеч. пер.)
note_56

57

Алжирский металл (фр.) (Примеч. пер.) note_57

58

«Чертов», «дьявол» (фр.) (Примеч. пер.) note_58

59

О боже (фр.) (Примеч. пер.) note_59

60

Большая берцовая кость (лат.) (Примеч. пер.) note_60

61

Чтобы лучше воспринимать музыку (фр.) (Примеч. пер.) note_61

62

Халат (фр.) (Примеч. пер.) note_62

63

Привратницкая (фр.) (Примеч. пер.) note_63

64

Я им потакал (фр.) (Примеч. пер.) note_64

65

На основании опыта (*лат.*) (*Примеч. пер.*) note_65

66

Клейма (*фр.*) (*Примеч. пер.*) note_66

67

Из ряда вон выходящее (*фр.*) (*Примеч. пер.*) note_67

68

Сумасшедший дом (*фр.*) (*Примеч. пер.*) note_68

69

Четвертый этаж (*фр.*). note_69

70

«Отрицает то, что есть, и растолковывает то, чего не существует». (Ж.-Ж. Руссо. «Новая Элоиза», второе предисловие.) (*Примеч. пер.*) note_70

71

Карл Вебер (1786—1826) — немецкий композитор, дирижер, пианист, один из основоположников немецкой романтической оперы. note_71

72

Генри Фюзели (1741—1825) — швейцарский и английский живописец, график, историк и теоретик искусства, автор знаменитой в прошлом серии картин на тему кошмаров. note_72

73

Пер. Константина Бальмонта. note_73

74

В одну восьмую долю листа (*лат.*). note_74

75

Сатиры, эгипаны — древнегреческие и римские божества пастушества и скотоводства, плодородия и дикой природы. note_75

76

В четвертую долю листа (*лат.*). note_76

77

По-кошачьи (*фр.*). note_77

78

Генри Брум (1778—1868) — британский государственный деятель и оратор, в 1830—1834 годах — лорд-канцлер. note_78

79

Бык Фаларида — древнее орудие казни, применявшееся тираном Агригента Фаларидом во второй половине VI в. до н. э. Представляло собой полое медное изваяние быка в натуральную величину. В нутро быка помещали жертву, закрывали, а затем разводили огонь под брюхом статуи. Отверстия в морде изваяния позволяли слышать стоны и вопли жертв, которые походили на бычий рев. note_79

80

Имеется в виду изречение древнегреческого философа Демокрита Абдерского (ок. 460 до н. э. — ок. 370 до н. э.): «Истина — на дне глубокого колодца!» note_80

81

Флегетон — в древнегреческой мифологии одна из пяти рек, протекающих в подземном царстве Аида. Греки считали, что вместо воды в русле Флегетона бушует пламя. note_81

82

Бейдевинд — курс парусного судна, при котором угол между направлением ветра и направлением движения судна составляет меньше 90°. Здесь рассказчик имеет в виду ветер соответствующего направления. note_82

83

Штирборт — правый по ходу движения борт судна. note_83

84

Фок — прямой парус, самый нижний на фок-мачте судна. note_84

85

Рым — металлическое кольцо, служащее для крепления тросов, цепей, растяжек и блоков на судне. note_85

86

Джайлс Флетчер (1548—1611) — английский поэт и дипломат, автор описания Русского царства в XVI столетии. note_86

87

Перфекционизм (от лат. *perfectio* — совершенство) — убежденность в том, что совершенствование, как собственное, так и других людей, является целью, к которой должен стремиться человек. note_87

88

Предпринятых задним числом (*лат.*). note_88

89

Произведения искусства, редкости (*итал.*). note_89

90

Марк Порций Катон (234—149 гг. до н. э.) — выдающийся древнеримский государственный деятель и писатель времен расцвета республики. note_90

91

Жермена де Сталь (1766—1817) — знаменитая французская писательница, поклонница идей Ж.-Ж. Руссо. Считается одной из основательниц французского романтизма. note_91

92

Тимон Афинский — персонаж одноименной трагедии У. Шекспира, человек, возненавидевший весь род людской. note_92

93

«Фонтхиллское аббатство», также известное как «каприз Бекфорда», — огромный дом в неоготическом стиле, построенный в начале XIX века в английской деревушке Фонтхилл-Гиффорд автором готических романов Уильямом Бекфордом. Здание вызвало настоящую сенсацию и способствовало возрождению интереса к готической архитектуре. В наши дни практически полностью разрушено. note_93

94

Фурлонг — старая британская единица измерения расстояния (201 м). note_94

95

Период по-летнему теплой и сухой погоды в преддверии осени в США, наступающий после длительного похолодания. То же, что наше бабье лето. note_95

96

Живописностью (*umal.*). note_96

97

Сальватор Роза (1615—1673) — итальянский живописец, гравёр, поэт и музыкант. Прославился небольшими полотнами с изображениями суровых гор, диких ущелий, глухих лесных чащ. note_97

98

Ватек — герой фантастической повести «Ватек», опубликованной в 1786 году молодым английским аристократом Уильямом Бекфордом. Эта повесть содержит элементы готического романа. note_98

99

По своей архитектуре являл собой нечто неведомое в летописях земли (*фр.*). note_99

100

Гонт — строительный материал в виде пластин из древесины. Изготавливают его откалыванием плашек от бревна с помощью

специального инструмента. note_100

101

Жаконет — тонкая хлопчатобумажная ткань, род батиста. note_101

102

Пьер Жюльен (1731—1804) — французский художник и скульптор. note_102

103

Штоф — тяжелая шелковая или шерстяная ткань с тканым рисунком. note_103

104

Аутодафе — торжественная религиозная церемония в Средние века, включавшая в себя процессии, богослужения, выступления известных проповедников, публичное покаяние осужденных еретиков и чтение их приговоров. Это также сама процедура приведения приговора в исполнение — главным образом, публичное сожжение осужденных на костре. note_104

105

Джозеф Гленвилл (1636—1680) — английский писатель, философ и священник. note_105

106

Вероятно, слово образовано от имени финикийской и египетской богини любви и плодородия Ашторет и Тофет — названия упоминаемого в Библии места на юге Иерусалима, где некогда стоял идол Молоха, которому приносили в жертву детей, сжигая их на огне (в Новом Завете: Геенна). note_106

107

Остров в Эгейском море. В греческих мифах говорится, что на нем родилась богиня Артемида, покровительница женского целомудрия. note_107

108

Фрэнсис Бэкон (1561—1626) — барон Веруламский и виконт Сент-Олбанский, английский историк, философ и политический деятель. В эссе «О красоте», откуда взята цитата, Бэкон говорит не об изысканной, а о «совершенной» красоте. note_108

109

Имя Клеомена, сына Аполлодора Афинского, значится на знаменитой статуе Венеры Медицейской. Бог Аполлон, покровитель искусств, очевидно, назван как вдохновитель ее создателя. note_109

110

Поэтический образ взят из романа «История Нурджахада» английской писательницы Фрэнсис Шеридан (1724—1766). note_110

111

Греческому философу Демокриту Абдерскому (ок. 460—370 до н. э.), одному из основателей атомистики, приписывается выражение: «Истина обитает на дне колодца». note_111

112

Очевидно, По имеет в виду две яркие звезды в созвездии Близнецов, носящие имена Кастора и Поллукса — согласно греческой мифологии, двух братьев-близнецов, рожденных Ледой. note_112

113

Сатурном называли свинец алхимики. note_113

114

В исламе и некоторых еврейских преданиях — архангел, который отделяет душу от тела. note_114

115

Стихотворение Э. По «Червь-победитель» (пер. К. Бальмонта). note_115

116

Город в Египте на месте древних Фив. note_116

117

Этот рассказ написан в 1848 году. Эдгар По попытался в сатирических тонах изобразить нашу цивилизацию такой, какой она, с его точки зрения, станет через тысячу лет. Память о ряде исторических личностей, ученых и мыслителей, по мнению автора, сохранится, но будет искажена не меньше, чем наши представления об истории и культуре очень отдаленных эпох. note_117

118

Ошибка, основанная на игре слов. Имя философа-утописта Ш. Фурье и слово «мех» по-французски и по-английски звучат почти одинаково. note_118

119

Имеется в виду С. Морзе, изобретатель телеграфного кода (азбуки Морзе) и электромагнитного телеграфного аппарата. note_119

120

Имеется в виду древнегреческий философ Аристотель (384 до н. э. — 322 до н. э.), основоположник формальной логики. note_120

121

Очевидно, Евклид и Кант. note_121

122

Речь идет, скорее всего, о Ф. Бэконе (1561—1626), основоположнике научного эмпиризма. note_122

123

Экземпляры природы (*лат.*). note_123

124

Из ничего ничего не возникает (*лат.*). note_124

125

Жан-Франсуа Шампольон (1790—1832) — французский историк и лингвист, основатель египтологии. Благодаря осуществленной им расшифровке текста Розеттского камня стало возможным чтение

египетских иероглифов и дальнейшее развитие египтологии как науки.
note_125

126

Автор имеет в виду остров Манхэттен, историческое ядро современного Нью-Йорка. note_126

127

Никербокеры — прозвище коренных белых нью-йоркцев, чьи родословные восходят к голландским поселенцам, прибывшим в устье Гудзона в XVII веке. note_127

128

Имеются в виду турнюры — модное в 1870—80-х годах XIX века приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась сзади под дамское платье ниже талии для придания пышности фигуре. note_128

129

«Калькуттская черная яма» — вошедшее в историю название крохотной тюремной камеры в калькутском форте Уильям, где в ночь на 20 июня 1756 года задохнулись десятки защищавших город англичан, брошенных туда правителем Бенгалии Сирадж уд-Даулой.
note_129

130

Асфиксия — удушье, обусловленное кислородным голоданием и избытком углекислоты в крови и тканях. note_130

131

Посмертное вскрытие (*лат.*). note_131

132

Афрасиаб — в иранской мифологии легендарный правитель туранцев — древних кочевых и полукочевых ираноязычных народов Центральной Азии. note_132

133

Оксус — древнегреческое название реки Амударьи. note_133

134

Мыс Гаттерас — крайняя юго-восточная точка Северной Америки.
note_134

135

То есть площадь обоих парусов была уменьшена до предела.
note_135

136

Пиррон (ок. 360 до н. э. — 270 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель скептической школы. Придерживался мнения, что ничто в действительности не является ни прекрасным, ни безобразным, ни справедливым, ни несправедливым, поэтому следует воздерживаться от суждений. note_136

137

Блуждающие огни (*лат.*). note_137

138

Копра — высушенная сердцевина кокосовых орехов, содержащая около 67 % жира. note_138

139

Гакаборт — кормовая часть борта парусного судна. note_139

140

Фатом — морская сажень. Равна 6 футам или 1,8288 м. note_140

141

Устаревшее название Австралии. note_141

142

Оверштаг — один из способов смены галса на парусном судне, идущем под углом к ветру. При повороте оверштаг нос корабля некоторое время смотрит прямо в ту сторону, откуда дует ветер. Именно это и увидел герой рассказа в первое мгновение и решил, что корабль невероятным образом движется прямо против ветра. note_142

143

Шпангоут — поперечное ребро корпуса судна. note_143

144

Лисель — дополнительный парус, который ставят в помощь прямым парусам для увеличения их площади при попутном ветре. note_144

145

Бакштаг — курс судна относительно ветра. При бакштаге ветер дует с кормы и в борт под углом больше 90 и меньше 180°. note_145

146

Сивиллы — у древних греков и римлян пророчицы и прорицательницы, предрекавшие будущее, зачастую бедствия и войны. note_146

147

Лига — британская и американская единица измерения расстояния, равная трем милям. note_147

148

Франц Месмер (1734—1815) — немецкий врач, целитель, создатель учения о «животном магнетизме», основоположник магнитотерапии. note_148

149

Раппорт — термин, введенный Ф. Месмером для обозначения физического контакта, благодаря которому происходит передача «магнетического флюида» от гипнотизера к пациенту. Раппорт подразумевает высокую степень доверия и взаимопонимания. note_149

150

Крис — широко распространенный в Индонезии и Малайзии длинный кинжал с характерной асимметричной «волнообразной» формой клинка. note_150

151

Сипай — в XVIII—XIX вв. наемные солдаты из числа местного населения в колониальной Индии. note_151

152

Нелепым, причудливым (*фр.*). note_152

153

Барельеф (*фр.*). note_153

154

Комедия английского драматурга Артура Мерфи (1727—1805). note_154

155

Пальма рода Сабаль. note_155

156

Ян Сваммердам (1637—1680) — голландский натуралист, известный исследователь насекомых. note_156

157

Жук — человеческая голова (*лат.*). note_157

158

Резкость, грубость (*фр.*). note_158

159

Один (*лат.*). note_159

160

Цафра — голубой пигмент, арсенат кобальта. note_160

161

Царская водка (*лат.*). note_161

162

Древняя крепость в Индии, недалеко от Хайдарабада. Ранее была знаменита алмазами, которые добывались и обрабатывались в округе. note_162

163

Старинное название южной части Карибского моря, место, где наиболее активно орудовали пираты. *note_163*

164

При жизни был для тебя несчастьем — умирая, буду твоей смертью (*лат.*). *note_164*

165

Мартин Лютер (1483—1546) — деятель Реформации в Германии. Основатель лютеранства. *note_165*

166

Жан Лабрюйер (1645—1696) — французский писатель-моралист. *note_166*

167

Проистекает оттого, что мы не умеем быть одни (*фр.*). *note_167*

168

Лишь раз вселяется в живую оболочку, будь то лошадь, собака, даже человек. Впрочем, разница между ними не так уж велика (*фр.*). *note_168*

169

Шекспировское выражение (см. «Гамлет», акт III, сцена 2). *note_169*

170

Плачьте, плачьте, глаза мои; проливайте потоки! Одна половина моей жизни похоронила другую (*фр.*). *note_170*

171

Высшее достижение, крайний предел (*лат.*). *note_171*

172

Бедренная кость (*лат.*). *note_172*

173

Имеется в виду столица Шотландии Эдинбург, в прошлом носивший название Крепость Эйдина — в честь короля Нортумбрии, правившего в VII веке. note_173

174

Аграф — пряжка, застежка. note_174

175

Имеются в виду украшения в виде цветков аурикулы — примулы садовой. note_175

176

Вся эта фраза, в которой героиня пытается показать свою ученость, изобличает лишь ее невежество. note_176

177

Набор слов, лишь звучанием отдаленно напоминающих испанский язык. note_177

178

Лудовико Ариосто (1474—1533) — итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения. note_178

179

Судя по ирландскому имени, эти слова никак не могли принадлежать древнегреческому философу и оратору Демосфену. note_179

180

Редкая птица (*лат.*). note_180

181

Блеск (*фр.*). note_181

182

Пасады и монтанты — приемы в фехтовании на шпагах. note_182

183

Людвиг Тик (1773—1853) — немецкий писатель-романтик.
note_183

184

Название этого городка — вопрос «Который час?» на ломаном голландско-английском. note_184

185

Синекура — должность, приносящая доход, но не связанная с какими-либо серьезными обязанностями (или вообще без них).
note_185

186

Френология — одна из первых псевдонаук, основным положением которой является связь психики человека и строения поверхности его черепа. Создателем френологии является австрийский врач и анатом Франц Йозеф Галль (1758—1828). note_186

187

Коронер — должностное лицо в Англии, в чьи обязанности входит расследование случаев смерти при необычных обстоятельствах или произошедших внезапно. note_187

188

Романтическая драма Виктора Гюго. note_188

189

Мне говорили собратья, что горе мое исцелится, если я навещу могилу подруги (*лат.*). Ибн-Зайат — арабский поэт XI в. note_189

190

Побудительная причина (*лат.*). note_190

191

Целий Секунд Курион (1503—1569) — итальянский гуманист. note_191

192

«О величии блаженного Царства Божия» (*лат.*). note_192

193

Блаженный Августин (354—430) — христианский богослов, влиятельный проповедник и писатель. note_193

194

«О пресуществлении Христа» (*лат.*). note_194

195

Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (ок. 160 — ок. 230) — раннехристианский богослов и писатель. note_195

196

«Умер Сын Божий — заслуживает доверия, ибо нелепо; умерший воскрес — не подлежит сомнению, ибо невозможно» (*лат.*). note_196

197

Клавдий Птолемей (87—165) — древнегреческий математик и географ. note_197

198

«Поскольку Юпитер каждую зиму дважды посылает по семь теплых дней кряду, люди стали называть эту нежную, теплую пору колыбелью красавицы Альционы». Симонид. (*Примеч. авт.*) note_198

199

Салле, Мари (1707—1756) — знаменитая французская артистка балета и балетмейстер. note_199

200

Что каждый ее шаг исполнен чувства (*фр.*). note_200

201

Что все зубы ее исполнены смысла. Смысла! (*фр.*) note_201

202

Мысленный образ, призрак (*лат.*). note_202

203

Ибо нет места без своего духа-покровителя (*лат.*). note_203

204

Буквально: «Повести о нравах» (*фр.*). note_204

205

Одиночество — превосходная вещь; но ведь необходимо, чтобы кто-то вам сказал, что одиночество — превосходная вещь (*фр.*). note_205

206

Геенна — долина к юго-западу от Иерусалима, символ Судного дня в иудаизме и христианстве. В исламе равнозначна понятию «ад». До конца 2 тыс. до н. э., когда там начали совершаться языческие жертвоприношения, носила название Гинном. note_206

207

Анна Рэдклиф (1764—1823) — английская писательница, одна из создателей жанра готического романа. note_207

208

Томас Салли (1783—1872) — американский художник, создатель ряда женских портретов, исполненных мягкой интимности и глубокого чувства. note_208

209

Алкман (2-я пол. VII в. до н. э.) — один из девяти величайших поэтов Древней Греции. [note_209](#)

210

Анакреонт (570—478 г. до н. э.) — древнегреческий лирический поэт, один из девятки великих лириков античности, родился в г. Теос в области Иония. Стихи его предназначались для сольного пения или декламации в сопровождении лиры. [note_210](#)

211

В пьесе Эдгара По «Полициан» имена Эйрос и Хармиона носят служанки египетской царицы Клеопатры. [note_211](#)

212

В этом рассказе нашли отражение наблюдения Эдгара По за тем, как восприняли жители Балтимора и Ричмонда метеоритный дождь уникальной силы, случившийся 13 ноября 1833 года, и новое появление кометы Галлея в 1835 году. [note_212](#)

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)